

Зарубежный
роман
ЖУБЕКА



Элиас Канетти
ОСЛЕПЛЕНИЕ

РОМАН

Перевод с немецкого

С. Анта



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

ББК 84.4А
К19

ELIAS CANETTI
DIE BLENDUNG
Roman
1935

Редакционная коллегия серии

«Зарубежный роман XX века»:

Т. В. БАЛАШОВА, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. А. СКОРОДЕНКО, В. С. СТОЛБОВ

Предисловие
Д. ЗАТОНСКОГО

Художник
А. АНТОНОВ

Канетти Э.

К19 Ослепление: Роман / Пер. с нем. С. Апта;
Редкол.: Т. Балашова, Д. Затонский, С. Николь-
ский и др.; Предисл. Д. Затонского; Худож. А. Ан-
тонов. — М.: Худож. лит., 1988. — 496 с. (Зарубеж.
роман XX в.)

ISBN 5-280-00343-3

Роман «Ослепление» (1935) выдающегося австрийского писателя XX века Элиаса Канетти (р. в 1905 г.) завоевал международную известность и переведен на многие языки. Роман обнажает механизм власти, показывает, что ширящаяся разобщенность и взаимное непонимание людей может привести человечество к катастрофе. Издается на русском языке впервые.

К 4703000000-281 149-88
028(01)-88

ББК 84.4А

© Предисловие, перевод, оформ-
ление. Издательство «Художе-
ственная литература», 1988 г.

АВТОР «ОСЛЕПЛЕНИЯ» ЭЛИАС КАНЕТТИ

В 1935 году некоему молодому человеку удалось опубликовать в Вене свой довольно толстый роман. Молодого человека звали Элиас Канетти, а его роман именовался «Ослепление».

Никакого шума роман не наделал. Канетти был литератором начинающим, публике неизвестным; его напечатанная в 1932 году в Берлине комедия «Свадьба» осталась и вовсе незамеченной.

Роман был написан до нее, только не находился издатель, готовый пойти на риск ради такого романа. Потом нашелся богатый филантроп из Страсбурга и согласился, даже не полистав манускрипт, взять на себя все вероятные, связанные с публикацией убытки.

Томас Манн посланную автором рукопись вернул непрочитанной. Правда, когда роман вышел в свет, откликнулся на него письмом более чем доброжелательным: «Я искренне захвачен богатством этого романа, его бьющей через край фантазией, горьким величием его идеи, его художественным бесстрашием, его грустью и его озорством».

Уважительно отозвался об «Ослеплении» и выдающийся австрийский писатель Герман Брох (1886—1951). Но он был не только большим художником, не только пронизательным мыслителем, в чем-то обогнавшим свое время, но и добрым знакомым, даже старшим другом Канетти. Так что наиболее, пожалуй, любопытна рецензия некоего П. фон Хазельберга, помещенная весной 1936 года в газете «Франкфуртер цайтунг»: в ней сказано, что автор «Ослепления» идет новыми путями и в некоем роде пошел дальше Джойса. И сказал это человек, ничем с Канетти не связанный, никакой неловкости перед ним не испытывавший.

Впрочем, к Хазельбергу никто не присоединился, его даже никто не понял. В 1937 году «Ослепление» было переведено в соседней с Австрией Чехословакии—и это, кажется, последнее (или, по крайней мере, наиболее примечательное), что случилось с романом Канетти до второй

мировой войны. В конце 30-х годов он был забыт — прочно, надежно, казалось — навсегда...

В 1946 году вышло его английское издание, в 1947-м — американское. Тогда зашевелились и немцы: как-никак, книга написана на их языке. Тот венский тираж, за который в свое время поручился чудаковатый филантроп из Страсбурга, был ничтожным, и мюнхенское издание 1948 года, в сущности, открывало Канетти заново. Шуму не наделало и оно, в то время как французское издание 1949 года было отмечено высокой международной премией «Prix International».

Лишь следующее мюнхенское издание, 1963 года, имело успех. «Наконец слава все-таки настигла его», — сказал о Канетти один западногерманский литературовед. В самом деле, литературные премии посыпались на писателя как из рога изобилия: премия им. Георга Бюхнера (1972), премия им. Нелли Закс (1975), премия им. Готфрида Келлера (1977). А в 1981 году фортуна и вовсе его приветила: Шведская академия присудила ему Нобелевскую премию. Это случилось ровно через полвека после того, как роман «Ослепление» был завершен.

Такое случается, читатели до поры до времени не понимают книгу, и нация (иллюстрируя правильность мысли, будто «нет пророка в своем отечестве») не спешит увенчать автора ее лаврами. Но чаще признание приходит по-иному, чем пришло оно к Канетти: признание, известность накапливаются постепенно. Писатель пишет все новые и новые книги, они завоевывают умы и сердца; написанное им *прежде* начинает рассматриваться сквозь призму написанного *потом* и осмыслиется по-новому или просто одобряется в качестве творения уже состоявшейся знаменитости.

С Канетти было иначе. Он очень мало написал после «Ослепления». И особенно мало в те годы, когда пребывал в безвестности. После упомянутой «Свадьбы» было еще две пьесы: «Комедия тщеславия» (создана в 1933—1934 гг., издана в 1950 г.) и «Ограниченные сроки» (создана в 1952 г., поставлена в Оксфорде в 1956-м, издана в Мюнхене в 1964-м). Остальное — заметки, статьи, путевые очерки, эссе. Среди них особо примечательны три книги мемуаров («Спасенный язык», 1977; «Факел в ухе», 1980; «Перемигивание», 1985) и обширный двухтомный труд социологического характера — «Масса и власть» (1960), являющийся в буквальном смысле слова трудом всей жизни Канетти. Так или иначе, он работал над ним начиная с 1925 года и лишь в 1948 году завершил собирание колоссального исторического, фольклорного и этнографического материала. Процесс его оформления занял еще добрый десяток лет.

«Дома я чувствую себя тогда, когда наношу карандашом на бумагу немецкие слова, а все вокруг меня говорит

по-английски» — эта датированная 1959 годом запись высвечивает почти курьезную неоднозначность отношений писателя с такими понятиями, как «язык», «отечество», «традиции», «национальная культура», неоднозначность, обусловленную причудами его происхождения и биографии.

Он родился 25 июля 1905 года в болгарском городе Русук (ныне Русе) на Дунае. Его предки были сефардами, то есть евреями, столетия тому назад переселившимися с Пиренейского полуострова на Ближний Восток (по преимуществу в пределы Оттоманской империи) и говорящими на языке ладино, близком к испанскому XV века. В 1911 году семья переехала в Манчестер, где отец занимался коммерцией, но уже через два года в связи с его ранней трагической смертью мать с тремя сыновьями перебирается в Вену. Английский язык юный Элиас выучил в шестилетнем возрасте, немецкий — в восьмилетнем. Обоими языками он владел в равной мере, но писателем стал немецкоязычным. Сказать со всей определенностью, почему вышло именно так, непросто.

Казалось бы, ответ лежит на поверхности: лишь два года, да и то ребенком, Канетти провел в Англии, а потом с 1916 по 1924 год посещал школы в Цюрихе и во Франкфурте-на-Майне, с 1924 по 1929 год изучал химию в Венском университете, вообще осел в австрийской столице, оставался там и после отъезда матери с братьями в Париж, женился. Только гитлеровский «аншлюс» 1938 года выкурил его с насиженного места. С тех пор он живет в Лондоне. Приехал туда молодым человеком, теперь он — старик.

Канетти в Западной Европе — пришелец, английским владеет с детства и в совершенстве, тем не менее, обрекая себя на немалые издательские сложности, упорно продолжает писать по-немецки. Почему?

Вена, вероятно, и является разгадкой. Канетти пришел в восторг от литературного Берлина конца 20-х годов, но лучше всего он чувствовал себя в австрийской столице. В сущности, он истинно австрийский писатель. Дело не только в том, что критика установила зависимость его драматургии от влияния со стороны австрийских классиков — Раймунда, Нестроя, К. Крауса и что действие единственного его романа развертывается в венских квартирах и на венских улицах. Типично австрийским является само отношение Канетти к собственному творчеству, собственной удаче, собственной славе. Как Грильпарцер, как Музиль, как Кафка, как Брех, он писал и не спешил публиковать написанное, проявлял безразличие к минутному успеху и готов был ждать своего часа.

Впрочем, во всем этом можно было бы усмотреть случайное совпадение умонастроений, привычек, вкусов, если бы не было чего-то другого. Уже говорилось, что Канетти ощущал себя в Европе пришельцем. Особенно в Англии (по

крайней мере, пока был молодым, начинающим писателем) он должен был чувствовать себя «человеком без тени» — в Англии, где незыблемая чистота традиций возводилась в ранг религии.

Иное дело Австро-Венгерская монархия. Объединив множество разноликих и разноразличных центрально-, восточно-, южноевропейских народов, она чем-то напоминала если не вавилонское столпотворение, то восточный базар. Коренному венцу полагались чешская бабушка, мадьярский дедушка, хорватский дядюшка и множество прочих родственников и свойственников из Словении, Польши, Галиции, Германии, а коль повезет, то и из далеких Нидерландов и Испании. Тут и такому пришельцу, как Канетти, немудрено было ощутить себя «коренным». И он обрел корни, иными словами, стал австрийским писателем. И им остался. Недаром его имя нередко называют среди трех наиболее показательных для австрийской литературы XX века имен, поставив рядом с ним Кафку и Броча.

* * *

Об австрийском искусстве первой трети нашего столетия Канетти отзываясь с раздражением: оно манерно, поверхностно, безвкусно. Он имеет в виду литературную пену, которую Броч окрестил «веселым Апокалипсисом». Манерное, поверхностное, безвкусное пользовалось популярностью у завсегдатаев салонов и венских кафе. Создавались идолы, среди которых, впрочем, попадались и настоящие поэты — вроде Гуго фон Гофманстала. Время все расставило по местам, и оказалось, что новое австрийское искусство создавали совсем другие люди. Подобно Музилю и Брочу, они творили в безвестности, продолжая дело, начатое классиками XIX века — прежде всего Грильпарцером и Штифтером.

Дело это по преимуществу состояло в выявлении трещин, раскалывавших фундаменты дряхлой тысячелетней империи. Габсбургская вотчина была государством почти комичным в своем слепом анахронизме, в непрерывной своей обреченности. Оттуда было как-то виднее, что весь мир уже стоит на пороге великих катастроф и глобальных перемен. Правда, видели это лишь самые прозорливые.

Канетти относится к ним. В его пьесе «Свадьба» представлена катастрофа — типично австрийская, но по сути глобальная. Обычный венский доходный дом. В прологе действии переносится из квартиры в квартиру (домовладелицы, школьного учителя, дворника и т. д.), а затем оккупирует жилище советника Зегенрайха, строителя дома, который выдает замуж дочь.

Поскольку за пределами упомянутого доходного дома в

«Свадьбе» не существует ничего, он отправляет функции человеческой вселенной. Но социальный аспект при этом отнюдь не утрачен. Каждый из персонажей силится чем-нибудь *за-владеть* или *о-владеть*. Кто домом, поскольку его хозяйка, старуха Гильц, дышит уже на ладан. Кто «ближним» иного пола: мать невесты совращает жениха, невеста жаждет ласк восьмидесятилетнего старца Бока¹ и т. д. и т. п. Инстинкт владения, частнособственническая, так сказать, страсть вызывает разобщение, ведет к взаимной вражде. Люди не слышат друг друга, не видят, не понимают. Связи распались, отношения расторгнуты.

Катастрофа как бы приходит снаружи. Рушится одна стена, затем другая. И наконец, крыша всех погребает под своими обломками. Это — всего лишь метафора внутреннего неблагополучия общественного организма, она доведена до крайней, чисто сценической степени наглядности.

Монархии Франца-Иосифа в дни, когда писалась «Свадьба», давно не существовало. Но повсюду лежали оставленные ею морены. И надвигались катастрофы новые: на горизонте уже маячил Гитлер. Через год он завладел Германией, пустил в рейхстаге «красного петуха», разжигал костры из книг. Канетти ответил на это «Комедией тщеславия».

Интрига, вырастающая из запрета глядеться в зеркало, с некоторых пор занимала его. Возможно, не без влияния венского народного театра. Мотив зеркала — обманывающего или, наоборот, разоблачающего — присутствует и у Раймунда и у Нестроя. «Но когда дело в Германии дошло до сожжения книг, — вспоминает Канетти, — когда мы увидели, какие вдруг стали издаваться и приводиться в жизнь запреты, с каким упорством они использовались для сколачивания восторженных масс, меня точно громом поразило, и шутка с зеркалами обратилась в нечто очень серьезное».

«Комедия тщеславия» — пьеса антифашистская, хотя изданный властями фантастический запрет пользоваться зеркалами и держать в доме собственные изображения ни на что реальное из жизни Третьего рейха не намекает. Такая борьба с человеческим тщеславием не более и не менее вписывается в нацистскую практику, чем представленный далее в пьесе стихийный бунт, якобы произошедший десятью годами позже и вернувший людей их зеркалам.

Канетти занимают обманутые, запуганные, податливые, как глина в руках мастера, обыватели. Поначалу они послушно, истово, радостно крушат свои зеркала и швыряют в костер семейные фотографии. Но тяга к наживе и тщеславию в этой среде неистребимы. И одни начинают продавать осколки зеркал, а другие — их покупать. Ни угроза тюрьмы,

¹ Имя означает «козел», «сатир» (нем.).

ни даже страх смерти не останавливает жадных и самовлюбленных людей, хотя доносительство постепенно становится нормой.

Наблюдая, как развиваются события в Европе XX века, Канетти бывал склонен к умозаключениям весьма пессимистическим. Но мизантропии Канетти чужд цинизм; не проглядывает сквозь нее и душевная усталость. В речи «Профессия поэта», произнесенной в 1976 году в Мюнхене, он процитировал запись, сделанную неизвестным накануне второй мировой войны: «Если бы я был настоящим поэтом, мне должно было бы удасться предотвратить войну». Канетти отдает себе отчет в наивности этой мысли, тем не менее она его потрясла: «Какая-то иррациональная претензия на ответственность — вот что меня здесь привлекло и подкупило». Ведь и сам Канетти полагает, «что быть поэтом способен лишь тот, кто обладает чувством ответственности... Это ответственность за разрушающуюся жизнь, и не следует стыдиться признания, что такую ответственность питает сострадание». Без веры в человека и его судьбу это были бы пустые слова.

«...Если бы я действительно расстался с надеждой, я не смог бы жить», — однажды признался молодой Канетти, а Канетти семидесятилетний сформулировал законы, которыми надлежит руководствоваться писателю: «Спускаться к Ничто лишь затем, чтобы найти и всем указывать выход; предаваться грусти и отчаянию, чтобы учиться уберечь от них других, а не из презрения к счастью, которое подобает живым, хоть они и рвут друг друга на части».

В ноябре 1936 года Канетти, выступая на вечере, посвященном пятидесятилетию Германа Броха, утверждал: «Истинный поэт, каким мы его видим, — добыча своего времени, временем этим закрепощен, ему подчинен, является его последним холопом». Это, однако, ни в малейшей мере не значит, будто писатель лишен права иметь об эпохе собственное суждение, не смеет принимать или отвергать те или иные стороны окружающей его действительности. В этом смысле он и противостоит своему времени.

Канетти вряд ли случайно ни разу не называет Камю по имени, хотя неоднократно с его идеями соприкасается: Канетти не может принять абсурдное в качестве объяснения загадок жизни и смерти. Да, смерть для него важнейший предмет размышлений, порой даже более важный, чем постоянно занимающие его отношения массы и власти, но о перспективе собственной неизбежной кончины он всегда говорит спокойно и отрешенно. Следовательно, речь идет как бы не о личном враге, а скорее уж об идейном, даже политическом. Во всяком случае смерть — его враг, и враг смертельный.

В отличие, скажем, от Льва Толстого, философской

стороной дела Канетти как будто специально не интересовался. Его исходное неприятие смерти почти спонтанно: это — здоровая реакция жизни на опасность ее насильственного прекращения. Постепенно главным моментом его неприятия смерти становится именно фактор насильственности. Канетти отвратительна смерть, оттого он с такой категоричностью отрицает войны — эти фабрики смерти. Вот соответствующий образ из его заметок 1942 года: «Он оторвал мне левое ухо. Я отнял у него правый глаз. Он выбил мне четырнадцать зубов. Я зашил ему рот. Он ошпарил мне зад. Я вывернул наизнанку его сердце. Он съел мою печень. Я выпил его кровь: ВОЙНА».

Войны XX века неизмеримо убийственнее прежних. Поэтому особой позицией писателя, защитника жизни, сегодня должно стать противостояние своему времени как эпохе массовых смертей. Только так, и никак иначе, можно и должно понимать Канетти. Он знает, что термоядерное оружие угрожает истреблением всему роду людскому, и требует сделать выводы, отсюда вытекающие. Еще в 1957 году, касаясь великих держав, Канетти отметил: «Война между ними становится все более невозможной... Конфликт при всех условиях означал бы полное истребление обеих сторон», а в 1965 году обратил внимание на открывающиеся в связи с этим возможности: «Существование такого оружия впервые в истории человечества подводит к соглашению о необходимости мира».

Перед нами один из весьма ранних примеров нового мышления XX века.

* * *

Мысли о смерти породили третью пьесу Канетти. Иногда у нас ее название переводят как «Обреченные», но это вряд ли верно — и по форме и по сути. Речь там идет не об обреченных, то есть не о людях, которые вообще знают, что умрут, а об «ограниченных сроком», то есть о тех, которые знают, когда умрут.

Как в «Свадьбе» и «Комедии тщеславия», место действия пьесы совершенно условно, а время — неопределенно. Впрочем, оно относится не к прошлому и не к настоящему, а скорее к будущему. В прологе двое беседуют о том, как прежде было ужасно, не зная дня своей смерти, ежечасно ожидать ее и непрестанно ее бояться и как замечательно сейчас, когда каждый уже из самого своего имени узнает, сколько лет ему определено прожить: пока его «мгновении» не наступило, он ничего на свете не боится. Основное же действие «Ограниченных сроком» складывается из множества примеров, свидетельствующих, что страх отнюдь не исчез, а

лишь видоизменил свои формы, и горя у людей ничуть не убавилось.

Героя зовут Фюнфциг¹. Иначе говоря, жить ему определено полвека. Но он не желает с этим примириться. Нет, не с малостью срока, а с тем, что он кем-то или чем-то определен и что люди, несущие непосильный груз этой определенности, глубоко несчастны. И Фюнфциг восстает против сложившейся системы: он продолжает жить после истечения срока, чем разрушает веру в незыблемость системы, а тем самым и в нее самое. Однако облегчения не наступило. Канетти не уверен, что лучше: знать, когда придет твой конец, или не знать. И эта неуверенность — самое, пожалуй, привлекательное в его наименее сценичной пьесе: ведь она по-своему отражает важные черты его художнического облика — некатегоричность, недогматичность, диалектичность.

Некатегоричность, недогматичность, диалектичность Канетти сформировали идею труда его жизни «Масса и власть». Поставив последнюю точку, он занес в записную книжку: «Теперь я говорю себе, что мне удалось схватить столетие за горло». Быть может, это высказывание слишком красиво, наверное, ему недостает скромности, но в принципе оно верно.

«Масса и власть» и сопутствующие ей статьи — это, по жанру, нечто стоящее между наукой и искусством, в равной мере оглядывающееся на их не во всем совместимые законы. И дело не просто в стиле — как всегда у Канетти, насыщенном, сжатом, образном. Решая проблемы из области социологии, он попутно создает образ властителя и образ толпы; иными словами, порождает нечто художественное, но за счет средств и доводов науки. Художественный образ, однако, способен оказаться, так сказать, шире самого себя; он предназначен к этому собственной природой. Научная точность, научная логика, великолепные в своих пределах, образности, метафорике по большей части противоположны.

Что не всегда удавалось Канетти в трудах теоретических, удалось в удивительном, прославившем его романе «Ослепление». Роман вобрал в себя проблематику чуть ли не всех прочих книг писателя, при этом (что делает его особенно удивительным) еще до того, как они были написаны.

* * *

В 1929 году у Канетти возник замысел цикла из восьми романов. В центре каждого должен был стоять герой, выделяющийся каким-нибудь маниакальным свойством. Оттого ему не полагалось имени — лишь кличка, отмечающая

¹ Пятьдесят (нем.).

свойство. Подражая Бальзаку, Канетти замыслил свою «Человеческую комедию», но поскольку речь шла о личностях маниакальных, он назвал ее «Человеческой комедией заблуждений».

Некоторое время он работал над всеми задуманными романами сразу, ни одному из героев не отдавая предпочтения, однако к осени 1930 года определенно стал отличать того, который носил кличку Книжный Червь (*Bücherwurm*). Вскоре у Книжного Червя появилось имя: Бранд¹. Оно указывало (хотя судьба Бранда во многом еще не была определена), что ему надлежит погибнуть в огне во время пожара.

«Что именем своим и своим концом, — вспоминал много позже Канетти, — он обязан дню 15 июля, я тогда еще не сознавал». Канетти имеет в виду 15 июля 1927 года. В тот день в Вене происходили народные волнения, был подожжен и сгорел Дворец юстиции.

Канетти обязан 15 июля не только мотивом огня, пожара, проникшим в его роман. Писатель сам был в тот день на улице, среди возбужденной толпы, видел, как она формируется, испытал на себе силу массовой психологии. «Из событий, которые мне довелось познать на собственном опыте, — писал он, — эти более всего напоминали революцию. С тех пор я совершенно точно знаю (мне и читать об этом незачем), как все выглядело в день штурма Бастилии». Если идея его труда «Масса и власть» и явилась ему ранее, то сколько-нибудь четкие очертания она обрела лишь после 15 июля. Тогда же обрел очертания и роман.

Вместе с именем героя появилось и его название — «Бранд ловит огонь». Затем имя, да и все название, как слишком навязчиво предрекающие финал, перестали удовлетворять автора. Бранд превратился в Канта. Но и намек на немецкого философа показался неуместным. В конце концов Канетти остановился на имени Кин. А когда дело дошло до публикации, старое название исчезло. Новое — «Ослепление» («*Die Blendung*») — было более универсальным. Оно и прямо и косвенно выражало главные идеи романа, его ведущие метафорические значения. Характерно, что английский издание было озаглавлено «Аутодафе», американское и французское — «Вавилонская башня». Первое — вернулось к мотиву огня, прочие выделили присущую действующим лицам неспособность понимать друг друга («вавилонское смешение языков»).

Этот, последний, смысл близок к тому, который автор вкладывает в понятие ослепления.

Сюжет романа Канетти, как и всякого хорошего романа

¹ Пожар (нем.).

(по крайней мере, таково было мнение Гете), может быть передан в немногих словах. Это легко сделать хотя бы потому, что в книге действуют всего пять героев и немногим более двух десятков персонажей второго и третьего плана, часть из которых попадает в поле читательского зрения совсем ненадолго. «Ослепление» как бы прикидывается книгой камерной, далекой от актуальных общественных событий, сосредоточенной на индивидуальной человеческой психологии, на ее капризах и абсурдах. Этим не в последнюю очередь объясняется, почему на первых порах она почти не привлекла внимания и не имела успеха: то было время «Семьи Оппенгейм» (1933) Л. Фейхтвангера, где шел прямой расчет с действиями фашизма, а время «Доктора Фаустуса» (1947) Т. Манна, где фашизм осмысливается в качестве ложной идеологии, еще не наступило.

Пять героев «Ослепления» — это уже упомянутый Петер Кин, крупный синолог¹; его служанка, а затем жена Тереза; отставной полицейский Бенедикт Пфафф, ныне привратник дома, где проживает Кин; горбатый карлик Фишерле, сутенер и мошенник; наконец, брат Кина — Георг, знаменитый парижский психиатр.

После нелепой женитьбы на Терезе жизнь старшего из братьев — Петера Кина, книжного червя, отшельника — превращается в ад. Тереза, движимая жадностью и похотью, вымогает у него завещание, отвоевывает одну за другой комнаты квартиры и в конце концов выбрасывает мужа на улицу. Поскольку чековая книжка случайно остается в кармане героя, в средствах он не стеснен, но с трудом осваивается с новыми для себя условиями венского городского дна. К тому же он попадает в цепкие лапки Фишерле, озабоченного, как избавить свою жертву от принадлежащих ей шиллингов. Однако планы карлика перечеркивает досадная случайность.

У входа в городской ломбард, где Фишерле разворачивает свои операции против Кина, тот сталкивается с Терезой и Пфаффом. Заделавшись ее любовником, Пфафф уговорил Терезу через ломбард обратить в деньги библиотеку Кина. Скандал завершается в полицейском участке, после чего блудный муж возвращается домой (правда, не к страстно ненавидимой супруге, а в швейцарскую Пфаффа).

Между тем, благополучно избежав ареста, Фишерле вызывает телеграммой Георга Кина: потерпев фиаско с синологом, он надеется поживиться за счет его брата, парижского психиатра. В судьбе Фишерле, которого вскоре убивает клиент проститутки-жены, приезд Георга Кина уже

¹ На выборе профессии главного героя по-своему сказался интерес Канетти к философии буддизма и конфуцианства, не иссякающий на протяжении всей его жизни.

ничего изменить не может, а для Петера Кина многое меняется: младший брат выгоняет Терезу и Пфаффа и возвращает старшего его книгам. Но, оставшись один, главный герой поджигает свою библиотеку и гибнет в пламени.

Рассказать все это—еще не значит дать хоть какое-нибудь представление о романе. Фабула у Канетти есть нечто вспомогательное. Описывая единичный, анекдотический случай, он стремится «схватить столетие за горло», иными словами—докопаться до сути окружающей действительности, проникнуть к управляющим ею законам. Ему удалось достичь высокой степени обобщения, но не за счет типизации обстоятельств, а за счет типизации характеров. При этом нарочитое сгущение, концентрация признаков, гротескная гиперболизация превратили эти характеры из личностей в некие условные «фигуры».

Прочитав роман еще в рукописи, Брех сказал: «Но это уже не настоящие люди. Они становятся чем-то абстрактным. Настоящие люди состоят из многого... Можно ли до такой степени исказить людей, чтобы их немислимо было узнать?»

«Это — фигуры, — ответил ему Канетти. — Люди и фигуры—не одно и то же. Роман как литературный жанр начинается с фигур. Первым романом был «Дон Кихот». Что вы думаете о его главном герое? Не представляется ли он вам достоверным именно потому, что он—крайность?»

У Канетти вовсе не было на уме соревноваться с Сервантесом. Он лишь указывал на традиции, которыми питалась его поэтика. В разговоре с Брехом он назвал также Гоголя. Тем и ограничился. Однако круг его ученичества, его приверженностей, его художественных симпатий весьма показателен и заслуживает того, чтобы поближе с ним познакомиться.

Из писателей прошлого, кроме уже названных, Канетти высоко ценит Кеведо, Свифта, Бюхнера, из художников—Брейгеля и Гойю. Среди современников он боготворил австрийского сатирика Карла Крауса (1874—1936) (правда, пока ему не стала претить авторитарность и политический консерватизм последнего); он преклоняется перед Кафкой, глубоко уважает Музиля, искренне расположен к Бабелю. Из братьев Манн Генрих нравится ему больше Томаса. Конечно, все это таланты очень разные. Но кое-что общее между ними есть: склонность если не к сатирическому, то к гротескному преображению эмпирической реальности.

«Однажды мне пришло в голову, — пишет Канетти, — что мир не следует более изображать так, как это делалось в старых романах, потому что мир *распался*...» Сказанное, однако, вовсе не означало для писателя, будто распасться надлежало и самому роману. Заимствуя у Гоголя «свободу фантазии», в учителя по классу композиции Канетти взял

себе совсем другого мастера — Стендаля. Работая над «Ослеплением», Канетти не случайно перечитывал «Красное и черное», приобщаясь к сухости его слога, к четкости и логичности его построения. Это не было попыткой наложить скрепы на внутренний хаос: безудержность и дисциплина для Канетти — две стороны одной медали.

На первый взгляд форма «Ослепления» не выглядит сколько-нибудь экспериментальной, скорее традиционной. Роман делится на три части; части, в свою очередь, на главы — более короткие или более длинные. Каждой (вне зависимости от размеров) присуще единство места, а нередко и действия, почти как в пьесе «Свадьба». Архитектоника романа вообще подчеркнута сценично, особенно в первой его части. Главы здесь уподоблены явлениям в драме: на подмостках одновременно пребывает не более двух-трех действующих лиц; нужные входят, ненужные уходят и т. д. Действие по преимуществу развивается хронологически, во всяком случае в пределах одной сюжетной линии. Вспять оно может воротиться лишь там, где нужно проследить другую линию, совпадающую с первой во времени: скажем, пока Петер Кин находился в сфере влияния карлика Фишерле, Бенедикт Пфафф подчинил себе соломенную вдовицу Терезу. Однако «строгость» романа не только в архитектонике — она и в продуманности всех его мотивов, аллюзий, символических и инносказательных планов.

Их расшифровкой тщательно занимается западная критика. Например, известный западногерманский литературовед Д. Диссингер резонно обращает внимание на диалог, открывающий роман. В нем участвуют Петер Кин и случайно повстречавшийся ему соседский мальчишка Франц Метцгер, который в дальнейшем никакой роли не играет, тихо и бесследно исчезая из сюжета. Но прежде чем исчезнуть, малолетний Франц оставляет след — косвенный и тем не менее глубокий. Кин опрометчиво пообещал ему книгу, и когда он за книгой приходит, служанка Тереза его выгоняет. Именно после этого эпизода Тереза показала Кину достойной хранительницей библиотеки. Поскольку библиотека для Кина самое дорогое, он на Терезе женится. Таким образом, не кто иной, как Франц Метцгер, завязывает чудовищный узел интриг — смешных и ужасных одновременно.

Что же до беседы между Кином и мальчишкой (во время которой старший спрашивает, как бы реализуя свою власть, а младший лишь отвечает), то она также вводит один из лейтмотивов книги. Собеседники не понимают и не способны понять друг друга; с них и начинается царящее в книге «вавилонское смешение языков».

Впрочем, не все подобные толкования и домыслы литературоведов стоит принимать безоговорочно. Стремление Дис-

сингера непременно доискаться до книжных, культурологических и мифологических истоков любого образа, любой фабульной ситуации «Ослепления» вольно или невольно переосмысливает роман в качестве чего-то если не вторичного, то по крайней мере сконструированного, «мозгового», «ученого». Канетти же, пожалуй, ближе к Кафке, который, по словам своего друга и душеприказчика М. Брода, «мыслил образами и высказывался образами». Канетти был убежден, что «путь к действительности ведет через образы». Но ближе всего ему всегда был Гоголь, которого он называл «моим величайшим русским».

Кто готов удовлетворительно объяснить, почему нос майора Ковалева то обнаруживается в буханке хлеба (и, следовательно, не превышает нормальных размеров), то, облаченный в генеральскую шинель, разезжает в карете (и, следовательно, величиной своей начинает догонять хозяина)? Вообще, что он такое, этот нос? На что намекает, что абстрактное или осязаемое символизирует? Вряд ли на такие вопросы был бы в состоянии ответить сам Гоголь. Но это почему-то не важно. Важно, что через посредство *смещенного* гоголевского образа мы проникаем в *смещенный* мир императорского Петербурга. Мир этот обретает для нас реальность, начинает выдавать нам свои на деле существующие тайны. Тут, однако, требовалось одно непрременное условие: смещение мира и смещение образа должны быть качественно равновелики и друг с другом стыковаться. Соблюсти меру, подобную стыковку обеспечивающую, не поможет ничто, кроме писательского таланта.

Канетти, автор «Ослепления», несомненно обладает талантом.

В романе ситуаций невероятных сколько угодно, но фантастических нет. Кроме одной. Изгнанник Кин лишился общения со своими книгами, что для него непереносимо. Поэтому он обзаводится новой, сравнительно небольшой библиотекой, но в скитаниях по гостиницам не имеет места для ее хранения. Выход, однако, находится: прежде чем покинуть утром временный приют, герой, обладая абсолютной памятью, «складирует» книги в своей голове, а по вечерам загромождает ими всю комнату. Когда Фишерле становится при Кине кем-то вроде Санчо Пансы, он помогает в загрузке и разгрузке хозяйской головы. Здесь мы сталкиваемся с иным нарушением реальности, чем тогда, когда из-за библиотечных полок в квартире Кина выходил Конфуций и вступал с Кином в беседу: то было видение, нечто субъективное, это — «объективное», на что указывает присутствие Фишерле.

Что это — шутка, игра? В какой-то мере игра, но не беспричинная и не бесцельная. Киновское «книгоглотатель-

ство» стыкуется с изломом изображаемого мира. И не только тем, что с наглядностью примитивистских полотен конкретизируется метафора: «мир в голове». «Ослепление» — это царство теней, царство маний, царство вымыслов. С веселой дерзостью ставя рядом с вымыслами Терезы или Фишерле свой собственный, автор подчеркивает этим беззаконность, ненормальность всего в романе происходящего. И одновременно утверждает свое право, свою свободу.

Строгость замысла и его стилистического воплощения, помноженная на яркую и смелую образность, сделала роман примечательным художественным документом эпохи — из тех, чьи страницы не желтеют, а буквы на них не выцветают.

Но совершеннейшее умение — ничто, если не служит значительной идее. Так на это смотрит и сам Канетти. «Верно, — признает он, — что многие важные мысли высказаны хорошей прозой, однако происходит это, так сказать, помимо воли пишущего. Если мысли действительно важны, проза становится хорошей».

* * *

Как уже упоминалось, Канетти представил на обозрение не индивидуализированные характеры, а решительно укрупненные литературные типы — типы людей, живущих и действующих в *ослеплении*. Хотя образ этот подсказан ему рембрандтовским «Ослеплением Самсона», хотя оба Кина неоднократно размышляют о слепоте и боятся ее, а Петер даже дает зарок умереть, если она будет ему угрожать, писатель, разумеется, занят в романе слепотой социальной.

Все пятеро героев — ее воплощения. И одновременно — ее варианты. Ни внешне, ни внутренне они несколько друг на друга не похожи — и потому, что предельно «специализированы» в качестве литературных типов, и потому, что в каждом из них есть нечто свое, живое (может быть, не индивидуальное, но, без сомнения, характерное).

И все же определяющим является то общее, что всех их объединяет.

Так, все пятеро всегда и во всем правы в собственных глазах, а другие кругом перед ними виноваты, постоянно им что-то должны. Пфафф, например, оценивает Петера Кина исходя лишь из регулярности поступления от него чаевых, а Тереза — поскольку ей не удалось завладеть чековой книжкой того же Кина — пребывает в искреннем убеждении, что он — вор.

Ни один из протагонистов «Ослепления» органически не способен стать на чужую точку зрения и взглянуть на себя как бы со стороны. Оттого-то мир и предстает перед ними до неузнаваемости искаженным. Садист Пфафф кажется Кину

грубоватым, но честным ландскнехтом; Фишерле считает Кина аферистом, прикидывающимся сумасшедшим; Кин принимает Фишерле за добряка, бескорыстно заботящегося о его книгах. Словом, сплошная «комедия ошибок», но с жутковатым оттенком.

Из жадности, из эгоизма, из чувства самосохранения «фигуры» романа Канетти постоянно лгут—лгут окружающим, лгут себе; и ложь становится их правдой. Они начинают верить ей и жить, с нею сообразуясь. Так, пятидесятишестилетняя Тереза верит, что ей не более тридцати и что мужчины оборачиваются на улице не на ее нелепую синюю юбку, а сраженные ее женскими прелестями; или Фишерле верит, будто он—лучший в мире шахматист и без труда обыграет Капабланку. Наконец, Кин верит, что Тереза умерла, сожрав себя в его запертой квартире, верит, даже столкнувшись нос к носу с мнимой покойницей. Это значит, что *миф* начинает весить для них больше свидетельства собственных глаз.

Кин или Тереза так и существуют—заключенные в свои мифы, как в капсулу, как в броню. И при неизбежном общении они не вступают во взаимоотношения друг с другом, а непримиримо и болезненно сталкиваются—как изначально чужие, изначально враждебные, друг друга отрицающие миры.

Хотя замысел многотомного цикла автором реализован не был, работа над ним принесла плоды. Техника, за счет которой мир каждого из восьми маньяков обособлялся в отдельное произведение, пригодилась при создании фатально разграниченных миров героев «Ослепления». Для Канетти это по преимуществу техника так называемой «акустической маски», о которой он чаще всего говорит в связи с собственными пьесами.

«Акустическая маска» представляет собой не что иное, как речевой портрет персонажа, только доведенный до того предела, где кончается человеческий, общепонятный язык и начинается примитивный жаргон какой-нибудь Элочки-Людоедки из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Тем самым «акустическая маска»—и средство характеристики, и порог непонимания героя окружающими, и даже та броня, в которую одевается расплевавшаяся с действительностью особь.

Сцена в полицейском участке—образец «вавилонского смешения языков»: Кин кается в умышленном убийстве присутствующей при сем Терезы, а она толкует его слова как исповедь об умерщвлении некоей первой супруги; блюстители закона видят в Терезе жертву, а в Кине—грабителя; Пфафф ищет защиты у «добрého» Кина и оплакивает себя, совращенного Терезой. Приводными ремнями «смешения языков» как

раз и служат «акустические маски». Вот красноречивый образчик: «В этот миг Кин упал. Тереза закричала: — Он лжет! — Он же ничего не говорит, — осадил ее один из полицейских. — Говорить может любой, — возразила она». Такие бессмысленные, обкатанные, словно галька, штампы, то и дело срывающиеся с уст Терезы, действительно и средства характеристики, и пороги непонимания, и броня, в которую рядится Терезина тупость.

Однако стилистика Канетти «акустическими масками» далеко не исчерпывается. Ведь если герои «Ослепления» живут в атмосфере мифов, то подать ее мыслимо лишь изнутри, но никак не снаружи. Значит, не следует зримо отделять зерна от плевел и направлять на читателя указующий перст автора, возмущаться или сокрушаться над несовершенством бытия. Иными словами, приходится побудить повествователя как бы «исчезнуть». Но отнюдь не по-флоберовски — приняв на себя функции бога, невидимого, вездесущего, объективного. Канетти ведь воссоздавал не самую действительность, а ее отражение в мозгах ослепленных «фигур». Отражение это характеризует «фигуры» (что было целью Канетти), но, увы, затемняет реальность (что не было целью, а лишь побочным продуктом). Избавление от этого побочного продукта потребовало особой манеры изложения.

Воображаемое и действительное, субъективное и объективное, ложь и истина подаются в романе нарочито нерасчлененными, катятся единым потоком. Не всегда сразу различишь, где сон, а где явь, случилось ли такое с героем на самом деле или только ему привиделось, придумалось. Порой граница между реальным и ирреальным проходит всего через одну фразу. Так, Кин свалился, доставая с полки книгу, и, будучи погребенным под стремянкой, лишился сознания. Приняв его за мертвого, Пфафф заподозрил в Терезе убийцу. И тут же вообразил себе громкий уголовный процесс, на котором выступает с блестящей разоблачительной речью. «Еще во время речи он заметил, что стремянка шевелится. Он оторопел. На миг ему стало жаль, что профессор жив».

Впрочем, нерасчлененность всегда достаточно условна для читателя. Ведь существуют самостоятельные миры Кина, Терезы, Фишерле, Пфаффа. Своей взаимной нетерпимостью они не только ставят друг друга под сомнение, но, в некотором философском смысле, друг друга «снимают». То, что остается, как после решительного размена фигур на шахматной доске, и есть искомая истина.

Да и сам повествователь не столь уж невидим, как могло бы показаться. Нет, он — не сопровождающий нас по кругам ада Данте. Он — судья, и его оружие — насмешка, ирония, сарказм.

Правда, все это весьма неравномерно распределено в ткани романа. Наиболее гротескна, фантастична и смешна его вторая часть. Колоссальный горб Фишерле, будто магнит, притягивает к себе все комическое и все ужасное. Первая часть может показаться растянутой и скучноватой, третья — несколько умозрительной. Это в большой мере связано и со сменой декораций: сперва однотонность квартиры Кина, затем пестрота городского дна, наконец, в ретроспекции, раздумья Георга Кина и его споры со старшим братом.

Впрочем, смена декораций по-своему тоже высвечивает природу романа. В своих корнях он чужд абстракциям; его почва — жизнь, как она есть.

В «Ослеплении» повествуется о самой что ни на есть обыкновенной жизни, и автор порой дает нам это явственно ощутить.

Вот, вызванный странной телеграммой Фишерле, парижский психиатр приехал в Вену и явился на Эрлихштрассе, 24, где живет брат. «Георг поднялся на пятый этаж и позвонил. Дверь открыла какая-то старая женщина. Она была в крахмальной синей юбке и ухмылялась. Он хотел было оглядеть себя, все ли в порядке, но совладал с собой и спросил: «Дома мой брат?» Женщина сразу же перестала ухмыляться и сказала: «Здесь, доложу вам, никаких братьев нет!» Георг Кин — в некотором роде «человек со стороны». Поэтому, видя Терезу его глазами, мы, может быть, впервые видим ее такой, какой она воспринимается сознанием неподвзятым, нейтральным. Хотелось бы даже сказать: «объективным», если бы это не порождало новых сомнений.

Ибо что объективнее на самом деле — облик «обыкновенной» Терезы или образ фурии, в каком она является Петеру Кину? С точки зрения Канетти, вне всякого сомнения, образ фурии. Как, впрочем, и миф о волнующей мужчин красоте, которым она сама себя тешит. Во всяком случае, этот миф и образ много нужнее, чем спокойный взгляд со стороны; без них из замысла Канетти ничего бы не вышло.

Писателю Канетти необходимы суть, *квинтэссенция*, *экстракт* души героя. И он беззастенчиво преувеличивает. Но ведь преувеличивает и специально для этой цели созданный Левенгуком микроскоп, ибо иначе бациллу не разглядеть.

В «Ослеплении» Канетти речь, в частности, идет о бациллах алчности и бациллах страха. Тереза слишком глупа, чтобы всерьез испытывать страх; Петер Кин никогда не нуждался в деньгах, чтобы быть инфицированным бациллой алчности. Остаются Пфафф и Фишерле; они в интересующем нас смысле образцовы.

Алчность — как бы средство активизации энергии, страх — средство ее торможения. Об алчности на протяжении веков сочинены тысячи книг. Страх — специфическая тема

XX столетия. Канетти — один из первых «разработчиков» этой темы, не упускающий, однако, из виду и алчности. Это придает его интерпретации страха характер социальный.

Стоит выплате чаевых со стороны Кина приостановиться, и Пфафф немедленно его предает. Но привратник и без денежной компенсации способен вернуть ему свою «любовь», если начинает рассматривать его как возможную защиту от угрожающих внешних сил. Такое происходит в полицейском участке, когда Пфаффу кажется, будто наружу может выйти тот факт, что он забил насмерть сначала свою жену, а потом дочь.

Страх побуждает и Фишерле действовать алогично, как бы вступая в противоречие с собственной натурой стяжателя. Банкноты в чужом кармане — для него чистая мука, и он не успокоится, пока их не заполучит. А если терпит неудачу — чувствует себя ограбленным. И все-таки Фишерле добровольно сует банкноты в карман Кина. Во время потасовки у ломбарда их обронила Тереза, а Фишерле подобрал, но с появлением представителя власти поспешил «вернуть» законному владельцу. И в этом проявляется не честность, не уважение к закону, а именно страх человека «толпы» перед неограниченностью и всевластием власти.

Роман «Ослепление» не просто связан с «Массой и властью» воспоминаниями о дне 15 июля 1927 года, когда сгорел Дворец юстиции. Отношения массы с властью — одна из важнейших проблем романа. При этом взгляд Канетти обращен на подножье пирамиды, то есть на «мелких людишек», в совокупности своей служащих питательной средой для фашистских движений, для всех тоталитаристских идеологий.

Как масса «мелкие людишки» представлены в романе только один раз, но с большой художественной убедительностью, которая многого стоит. Речь идет о памятной сцене у входа в ломбард. Скандал между Терезой и Кином, с умеренным участием Пфаффа и Фишерле, обрастает (по причине странного вида и поведения действующих лиц) мифотворческими толкованиями, одно другого кошмарнее. Толпе зевак начинают мерещиться трупы, кровавые убийства, кража бесценного жемчужного колье. Толпа эта вдруг начинает ощущать себя единым организмом, обладающим тысячью рук и глоток. Сплачивает ее ненависть, иррационально вспыхнувшая против Фишерле, в данной ситуации вполне невинного. Но ведь Фишерле — карлик, калека; он уродлив, уродство выделяет его из толпы и противопоставляет толпе.

Уже познав на себе тупую агрессивность Терезы, Петер Кин в речи, которую держит перед книгами собственной библиотеки, призывает их остерегаться «людей толпы». Себя же он видит неким избранником. Да и нам он способен

показаться, на поверхностный взгляд, если не избранником, то, по крайней мере, жертвой. Возникает ощущение, будто имеешь дело с конфликтом между беспомощным интеллектуалом и его беззащитным, сильным своей практичностью окружением. Не без едкой иронии Канетти наделяет главного своего героя обликом Дон Кихота: хоть оба они — «фигуры», Кин, вопреки высокому росту, худобе и лихорадочному упорству, отнюдь не Рыцарь Печального Образа.

В окружении своих безумных фантазий Дон Кихот все-таки шел *в мир*, а этот — от мира бежит. Библиотека — его бастион; но ради чего он там замкнулся? Книги не столько его «верные друзья», сколько безгласные и безответные «подданные». Он именует себя «библиотекарем», но никому не дает. Для него это логично: в его глазах книга — форма консервации, а не распространения знаний. Бесплодны, непродуктивны и его научные занятия: они — лишь способ удовлетворения его эгоистической страсти. По этой причине, а не в качестве бесребреника, он отказывается от университетской профессуры и не принимает участия ни в каких научных конференциях. Он может себе это позволить, ибо у него есть деньги, он — рантье, проедающий отцовское наследство.

Благодаря своим занятиям психиатрией Георг Кин, не в пример старшему брату, знал о существовании «глубочайшей и подлиннейшей движущей силы истории — о стремлении человека раствориться в форме высокой организации животного мира, массе, и там столь надежно затеряться, будто никогда и не существовало никакого отдельного человека». Образованность, знания — заслон против такой добровольной обезличенности, но, увы, не всегда надежный.

Если в своем романе Канетти что-то высказывает устами героя, то этим героем является Георг Кин. Что же до Петера Кина, то он скорее задуман как иллюстрация к мыслям младшего брата. К растворению в массе его, правда, не тянет, но по сути он ей не столь уж чужд, как воображает. Так, поселившись в швейцарской, Петер Кин на удивление быстро пристрастился к любимому времяпрепровождению Пфаффа. Оно состоит в подглядывании в «глазок», оборудованный недалеко от пола; поза у наблюдателя крайне неудобная, ему видны лишь ноги, зато наблюдаемые ни о чем не подозревают. Петер Кин и это выдает за научные занятия, но больше по привычке: в их свете лишь возрастает сомнительность его прежних занятий синологией.

Ничуть не в меньшей мере, чем Тереза, Фишерле, Пфафф, главный герой подвержен маниям, искажающим представления о действительности. Это не те коллективные мифы, что сплывали толпу, готовую растерзать Фишерле, но его мании — тоже мании «человека толпы». Толпа способна

распасться столь же внезапно, как и слиться в единый организм. В ней существуют разные заряды, нацеленные как на пресмыкательство перед сильным, так и на злоупотребление властью.

Тереза тиранит Кина. И она же покорна каждому слову Груба, продавца из мебельного магазина, а позднее — воле Пфаффа. Пфафф тиранит Терезу, но готов всячески унижаться перед Кином. Даже Фишерле имеет свою рабыню: это карлица Фишерша, влюбленная в него, ему преданная, ради него готовая принять смерть.

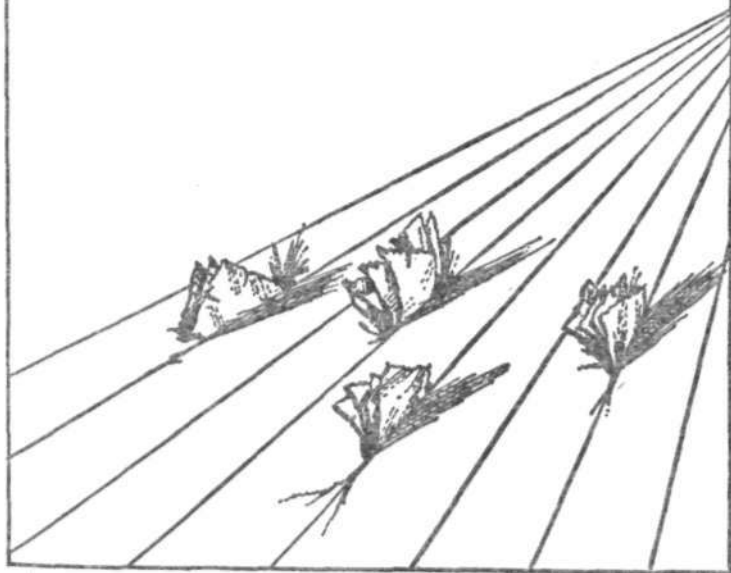
И Петер Кин включен в такое взаимодействие между массой и властью. Его «воля к власти» проглянула еще в диалоге с юным Францем; проявлялась она и в отношениях с Терезой, пока Тереза была служанкой. Даже в дни оскорбительнейших своих унижений он с завидной легкостью переходит от повиновения к повелеванию: «Я прошу вас немедленно покинуть мое рабочее место!» — требует он от Пфаффа, помешавшего его бдению у «глазка».

Канетти настойчиво подталкивает нас к выводу, что диктатор — это не личность, что это и есть «человек толпы», только наделенный властью или ее узурпировавший. И если Пфафф или Тереза предвосхищают исполнителей параноических приказов, тех, кто расстреливал, кто надзирал в лагерях, то старший из Кинов вырастает в финале до размеров некоего самостоятельного диктатора. Его акт самосожжения, его жест разрушения того, что даже ему самому прежде виделось святым, неожиданно начинает ассоциироваться с самоубийственной гонкой термоядерных вооружений.

Канетти, конечно, ничего такого в виду еще не имел. Но он писал «Ослепление» в годы, когда тоталитарные режимы стали распознаться по планете, и уже накопил некоторый опыт. Помноженный на его талант предвидения и талант сочинительства, опыт этот породил выдающийся роман XX века, впервые представляемый на суд советского читателя, — произведение столь же необычное, сколь и значительное.

Д. Затонский

Часть первая
ГОЛОВА БЕЗ МИРА





ПРОГУЛКА

- Что ты здесь делаешь, мальчик?
- Ничего.
- Почему же ты здесь стоишь?
- Просто так.
- Ты уже умеешь читать?
- Умею.
- Сколько тебе лет?
- Девять исполнилось.
- Что бы ты выбрал—шоколадку или книгу?
- Книгу.
- Правда? Молодец. Поэтому, значит, ты и стоишь здесь?
- Да.
- Почему ты не сказал это сразу?
- Отец ругается.
- Вот оно что. Как зовут твоего отца?
- Франц Метцгер.
- Тебе хочется поехать в какую-нибудь незнакомую страну?
- Да. В Индию. Там водятся тигры.
- Еще куда?
- В Китай. Там есть огромная стена...
- Ты, наверно, не прочь перелезть через нее?
- Она слишком толстая и большая. Через нее не перелезешь. Для того ее и построили.
- Все-то ты знаешь! Ты много читал.
- Да, я читаю всегда. Отец отнимает у меня книги. Мне бы в китайскую школу. Там выучивают сорок тысяч букв. Они даже в книге поместиться не могут.
- Это тебе только кажется.
- Я высчитал.
- Но это не так. Оставь эти книги в витрине. Это все дрянь. У меня в портфеле есть кое-что получше. Погоди, покажу. Знаешь, что это за буквы?
- Китайские! Китайские!

— Ты, однако, смысленный мальчик. Ты уже когда-нибудь видел китайскую книгу?

— Нет, я догадался.

— Эти два иероглифа означают Мэн-цзы, философ Мэн. Он был великий китаец! Он жил две тысячи двести пятьдесят лет назад, а его все еще читают. Запомнишь?

— Да. А сейчас мне надо идти в школу.

— Ага, значит, по дороге в школу ты осматриваешь книжные лавки? А как зовут тебя самого?

— Франц Метцгер. Как и отца.

— А где ты живешь?

— Эрлихштрассе, двадцать четыре.

— Я тоже ведь там живу. Что-то я не припоминаю тебя.

— Вы всегда отводите глаза, когда кто-нибудь идет по лестнице. Я вас давно знаю. Вы господин профессор Кин, но вы не учите. Мать говорит, что вы никакой не профессор. А я думаю— профессор, потому что у вас есть библиотека. Такого нельзя и представить себе, говорит Мария. Это наша прислуга. Когда я вырасту, у меня будет библиотека. Там будут все книги, на всех языках, и такая китайская тоже. Теперь мне надо идти.

— Кто же написал эту книгу? Еще не забыл?

— Мэн-цзы, философ Мэн. Ровно две тысячи двести пятьдесят лет тому назад.

— Прекрасно. Можешь как-нибудь прийти ко мне в библиотеку. Скажи экономке, что я разрешил. Я покажу тебе виды Индии и Китая.

— Вот хорошо! Приду! Приду непременно! Сегодня днем?

— Нет, нет, мальчик. Мне надо работать. Не раньше, чем через неделю.

Профессор Петер Кин, длинный, тощий человек, ученый, синолог по специальности, сунул китайскую книгу в набитый портфель, который он носил под мышкой, и тщательно запер его. Он смотрел вслед этому умному мальчику, пока тот не скрылся. От природы несловоохотливый и угрюмый, он корил себя за этот разговор, который завел без важной причины.

Во время своих утренних прогулок между семью и восемью он обычно заглядывал в витрины каждой книжной лавки, мимо которой проходил. Чуть ли не с удовольствием отмечал он, что макулатура и бульварщина распространяются все шире и шире. У него самого была самая значительная частная библиотека в этом большом городе. Крошечную часть ее он всегда носил с собой. Его страсть книголюба, единственная,

которую он позволил себе в своей строгой и трудовой жизни, заставляла его принимать меры предосторожности. Книги, даже скверные, легко соблазняли его купить их. Большинство книжных лавок открывалось, к счастью, лишь после восьми. Иногда какой-нибудь мальчик-ученик, старавшийся войти в доверие к начальнику, появлялся раньше и дожидался первого служащего, у которого торжественно принимал ключи. «Я здесь уже с семи!»—говорил он, или: «Я не могу войти!» Подобное усердие легко заражало такого человека, как Кин; ему стоило усилия тут же не последовать за служащими. Среди владельцев лавок вонемше часто встречались ранние пташки, которые возились за уже открытыми дверьми с половины восьмого. Наперекор этим соблазнам Кин гордился своим туго набитым портфелем. Он плотно прижимал его к себе особым способом, который придумал, чтобы с портфелем соприкасалась как можно большая площадь тела. Ребра осзали его через тонкий, плохой костюм. Верхняя часть руки лежала в боковой ложбинке; она точно входила в нее. Предплечье поддерживало портфель снизу. Растопыренные пальцы доставали до любой плоскости. Свой педантизм он оправдывал перед собой ценностью содержимого. Упади портфель случайно на землю, откройся замок, который он каждое утро, выходя, проверял, именно в этот опасный миг, — драгоценные произведения погибли бы. Ничто ему не было так отвратительно, как грязные книги.

Когда он сегодня, возвращаясь домой, остановился перед одной витриной, между нею и им вдруг втиснулся мальчик. Кин воспринял это как невоспитанность. Места ведь хватало. Он всегда становился на расстоянии одного метра от стекла; тем не менее он без труда читал любые буквы в витрине. Глаза его служили безотказно—для сорокалетнего человека, день-деньской сидящего над книгами и рукописями, факт немаловажный. Каждое утро глаза доказывали ему, как хорошо обстоит с ними дело. В такой отдаленности от продажных и публичных книг выражалось и его презрение, которого они, если сравнить их с неприступными и нелегкими сочинениями его библиотеки, в высокой мере заслуживали. Мальчик был мал, Кин—длины необыкновенной. Заслонить ему витрину мальчик не мог. Но Кин ожидал все-таки большей почтительности. Прежде чем отчитать мальчика, он отошел в сторону, чтобы рассмотреть его. Глядя на заглавия книг, мальчик медленно и беззвучно шевелил губами. Он терпеливо переводил взгляд от тома к тому.

Каждую минуту он поворачивал голову назад. На другой стороне улицы над лавкой часовщика висели огромные часы. Было без двадцати восемь. Малыш явно боялся прозевать что-то важное. Стоявшего позади себя он не замечал. Может быть, он упражнялся в чтении. Может быть, заучивал наизусть названия. Он обходился с ними ровно и беспристрастно. Сразу было видно, где он на миг задерживался.

Кину стало жаль его. Малыш тратил на эту пошлятину свой свежий, уже, может быть, жадный до чтения ум. Иные ничтожные книги он прочтет в более поздние годы лишь потому, что ему сызмала знакомы их названия. Как ограничить восприимчивость первых лет? Стоит ребенку научиться ходить и читать по складам — и он уже отдан на произвол любой скверно вымощенной улице, товару любого торговца, который черт знает почему метнулся на книги. Мальчишкам надо бы расти в солидных частных библиотеках. Каждодневное общение только со строгими умами, умная, сумрачная, спокойная атмосфера, упорное привыкание к безупречному порядку в пространстве и времени, — какое другое окружение более способно помочь столь нежным созданиям справиться с их молодостью? Единственным в этом городе владельцем серьезной частной библиотеки был, однако, сам Кин. Он не мог пускать к себе детей. Его работа не разрешала ему никаких отклонений. Дети шумят. Ими нужно заниматься. Для ухода за ними нужна жена. Для приготовления пищи достаточно обыкновенной экономки. Для детей надо заводить мать. Если бы мать была только матерью; но какая же удовольствуется своей истинной ролью? Каждая по своей главной специальности — *женщина* и предъявляет требования, исполнять которые честному ученому и во сне не придет в голову. Кин отказывается от жены. Женщины были ему до сих пор безразличны, безразличны будут и впредь. Поэтому мальчик с неподвижными глазами и подвижной головой останется обделен.

Из жалости он заговорил с ним, вопреки своему обыкновению. Он рад был бы откупиться шоколадкой от своих воспитательских чувств. Но тут оказалось, что есть девятилетние, которые предпочитают шоколадке книгу. Последовавшее затем поразило его еще больше. Мальчик интересовался Китаем. Он читал вопреки воле отца. Слухи о трудностях китайского письма подзадоривали его, вместо того чтобы отпугнуть. Он узнал это письмо с первого взгляда, хотя никогда не видел его. Экзамен на смысленность он выдержал с отличием. До книги, которую ему показали, он не дотронулся.

Может быть, он стыдился своих грязных пальцев. Кин проверил их: они были чистые. Другой схватил бы и грязными. Он спешил, уроки начинались в восемь, но он оставался на месте до последней секунды. В приглашение он вцепился как умирающий с голоду, — отец, видно, сильно мучил его. Он готов был прийти сразу же днем, в самое рабочее время. Ведь он жил в том же доме.

Кин простил себе этот разговор. Исключение, которое он позволил себе, стоило, казалось ему, затраченных усилий. Исчезнувшего уже мальчика он мысленно приветствовал как будущего синолога. Кого интересовала эта заброшенная наука? Мальчики играли в футбол, взрослые зарабатывали на жизнь; свободное время они коротали за любовью. Чтобы восемь часов спать и восемь часов ничего не делать, они отдавались остальное время ненавистной работе. Не брюхо, а все тело возвели они в ранг своего бога. Небесный бог китайцев был строже и достойнее. Даже если на следующей неделе мальчик не явится, что маловероятно, у него в голове останется имя, которое трудно забыть, — имя философа Мэна. Случайные толчки, полученные неожиданно, дают людям направление на всю жизнь.

Улыбаясь, продолжил Кин свой путь домой. Он улыбался редко. Это редкость, чтобы кому-то больше всего на свете хотелось владеть библиотекой. Когда ему было девять лет, он мечтал о книжной лавке. Мысль о том, чтобы расхаживать по ней хозяином, казалась ему тогда кощунственной. Книгопродавец — король, король — не книгопродавец. Для служащего, думалось ему, он слишком мал. Мальчишку на побегушках всегда куда-нибудь посылают. Какая ему радость от книг, если он будет только носить их под мышкой в виде пакетов? Он долго искал выхода. Однажды он пошел из школы не домой. Он вошел в самый большой в городе магазин, шесть витрин книг, и громко заплакал. «Мне нужно кое-куда, поскорей, я боюсь!» — захныкал он. Ему показали нужное место. Он хорошенько запомнил его. Вернувшись, он поблагодарил и спросил, не может ли он немного помочь. Его сияющее лицо позабавило служащих. Еще недавно оно было искажено смешным страхом. Они вовлекли его в разговор; он многое знал о книгах. Они нашли, что он умен для своего возраста. Под вечер они отрядили его с тяжелым пакетом. Он съездил на трамвае туда и обратно. Столько денег он успел накопить. Перед самым закрытием магазина, уже смеркалось, он доложил, что поручение выполнено, и бросил на прилавок

расписку. Кто-то дал ему в награду кисленький леденец. Пока служащие надевали пальто, он тихонько прошмыгнул в глубину магазина, к тому надежному месту, и заперся там. Никто ничего не заметил; они все думали, наверно, о свободном вечере. Он ждал там долго. Лишь через много часов, поздно ночью, он осмелился выйти. В магазине было темно. Он стал искать выключатель. Днем он об этом не подумал. Когда он нашел его и уже прикоснулся к нему, он побоялся зажигать свет. Может быть, кто-нибудь увидит его с улицы и отведет домой.

Глаза его сами собой привыкли к темноте. Только читать он не мог, это было очень печально. Он снимал с полок том за томом, листал их и действительно разобрал некоторые названия. Потом он стал пользоваться переносной лестницей. Он хотел узнать, не прячут ли наверху тайн. Он упал и сказал: мне не больно! Пол был твердый. Книги были мягкие. В книжном магазине человек падает на книги. Он мог бы взгромоздить перед собой целую башню, но беспорядок претил ему, и прежде чем снять с полки новую книгу, он ставил на место предыдущую. Спина у него болела. Может быть, он просто устал. Дома он сейчас давно уже спал бы. Здесь это не получалось, волнение не позволяло ему уснуть. Но его глаза перестали разбирать самые крупные заголовки, это раздражало его. Он стал подсчитывать, сколько лет можно было бы читать здесь, совсем не выходя на улицу и не ходя в дурацкую школу. Почему не остаться здесь навсегда! На маленькую кровать он накопил бы денег. Мать побоялась бы. Он тоже боялся, но только чуть-чуть, он боялся, потому что здесь было так тихо. Газовые фонари на улице погасли. Кругом сновали тени. Призраки все-таки существовали. Ночью они все слетались и торчали над книгами. Они читали. Им не нужно было света, у них были такие большие глаза. Теперь он не прикоснулся бы, нет, ни к одной книге вверху, да и внизу тоже. Он подполз под прилавок, стуча зубами. Десять тысяч книг, на каждой торчал призрак. Потому было так тихо. Порой он слышал, как они перелистывают страницы. Они читали в точности так же быстро, как он. Он привык бы к ним, но их было десять тысяч, один мог и укусить. Призраки сердятся, когда до них дотрагиваются, они думают, что над ними глумятся. Он ждался в комок, они пролетали над ним. Утро пришло лишь после множества ночей. Тогда он уснул. Когда служащие открывали магазин, он ничего не слышал. Они нашли его под прилавком и растормошили его.

Сперва он притворился, что еще спит, потом быстро заревел. Они, мол, заперли его вчера, он боится матери, та наверняка везде искала его. Хозяин расспросил его и, узнав его имя, сразу же отправил домой с одним из служащих. Он, мол, просит прощения у дамы. Мальчика по оплошности заперли, но вообще-то все благополучно. Он, мол, передает наилучшие пожелания. Мать поверила и была счастлива. Теперь тот маленький лжец обладал великолепной библиотекой и столь же знаменитым именем.

Кин терпеть не мог лжи; с малых лет он держался истины. Он не знал за собой ни одной лжи, кроме этой. Она тоже была предана проклятию и забвению. Только разговор со школьником, который показался ему точной копией себя, Кина, в детстве, напомнил о ней. «Долой это, — подумал он, — скоро восемь». Ровно в восемь начиналась работа, его служение истине. Наука и истина были для него тождественными понятиями. К истине приближаешься, отъединяясь от людей. Обыденность была поверхностным хаосом всяческой лжи. Сколько прохожих, столько лжецов. Поэтому он вовсе не смотрел на них. У кого из дурных актеров, из которых состояла масса, было лицо, способное пленить его? Они меняли лицо каждый миг; ни дня не оставались они в одной и той же роли. Это он знал наперед, опыт был тут излишен. *Его* честолюбие состояло в упорстве нрава. Не только какой-нибудь месяц, какой-нибудь год — всю свою жизнь он оставался одним и тем же. Характер, если им обладаешь, определяет и наружность. С тех пор как он стал думать, он был долговяз и тощ. Свое лицо он знал лишь приблизительно, по стеклам книжных витрин. Зеркала у него дома не было, из-за сплошных книг не хватало места. Но что лицо его было узким, строгим и костистым, он знал; этого было достаточно.

Не испытывая ни малейшего желания замечать людей, он шел с опущенным или высоко над ними поднятым взглядом. Где были книжные магазины, он и так безошибочно чувствовал. Он мог спокойно положить на свой инстинкт. То, что удастся лошадям, когда они трусят домой, в свои конюшни, удавалось и ему. Ведь гулять он ходил, чтобы подышать воздухом незнакомых книг, они вызывали у него желание возразить, они немного освежали его. В библиотеке все шло без запинки. Между семью и восемью часами утра он позволял себе кое-какие из тех вольностей, из которых жизнь прочих состоит целиком.

Хотя он и наслаждался этим часом, он соблюдал

порядок. Перед тем как перейти оживленную улицу, он помедлил немного. Он любил шагать равномерно; чтобы не торопиться, он выжидал удобную минуту. Кто-то громко крикнул кому-то: «Не скажете мне, где здесь Мутштрассе?» Спрошенный ничего не ответил. Кин удивился; на улице были и кроме него молчаливые люди. Не поднимая глаз, он прислушался. Как отнесется вопрошающий к этой немоте? «Простите, пожалуйста, не скажете ли вы мне, где здесь Мутштрассе?» Он повысил степень своей вежливости; повезло ему, однако, не больше. Спрошенный не отвечал. «Вероятно, вы не расслышали моих слов. Я хотел справиться у вас. Не будете ли вы столь любезны и не объясните ли мне, как отсюда пройти на Мутштрассе?» Любознательность Кина взыграла, любопытство было ему неведомо. Он решил взглянуть на молчавшего, при условии, что тот и теперь будет безмолвствовать. Человек этот, несомненно, был погружен в свои мысли и хотел избежать всяких помех. Он опять промолчал. Кин одобрил его. На тысяча один характер, противостоящий случайностям. «Вы что, глухой?» — закричал первый. «Теперь второй в долгу не останется», — подумал Кин, переставая испытывать радость от своего подопечного. Кто сдержит свои уста, когда его обижают? Он повернулся к улице; время пересечь ее наступило. Удивляясь продолжающемуся молчанию, он задержался. Второй все еще не отвечал. Тем более сильной вспышки гнева следовало теперь ожидать. Кин надеялся на спор. Если второй окажется человеком обыкновенным, то он, Кин, неоспоримо останется тем, кем он считал себя: единственным человеком с характером среди здешних пешеходов. Он подумал, не пора ли ему уже взглянуть туда. Событие это происходило справа от него. Там бушевал первый: «Вы не умеете вести себя! Я спросил вас самым вежливым образом! Что вы строите из себя! Вы хам! Вы что, немой?» Второй молчал. «Вы должны извиниться! Плевать мне на Мутштрассе! Любой мне покажет ее! Но вы должны извиниться! Слышите?» Тот не слышал. Поэтому он вырос в глазах прислушивавшегося. «Я отправлю вас в полицию! Знаете, кто я?! Скелет вы несчастный! И такой считает себя образованным человеком! Откуда ваша одежда? Из ломбарда? Такой у нее вид! Что это у вас под мышкой? Я вам еще покажу! В гробу я вас видел! Знаете, кто вы такой?!»

Тут Кина злобно толкнули. Кто-то схватил его портфель и потянул к себе. Рывком, изрядно превосходившим его обычные силы, он вызволил свои книги из

чужих лап и резко повернулся направо. Взгляд его был направлен на портфель, но упал на маленького толстяка, ожесточенно кричавшего на него: «Нахал! Нахал! Нахал!» Второй, молчаливый и человек с характером, был Кин сам. Он спокойно повернулся спиной к жестикулировавшему невеже. Этим узким ножом он разрезал его брань надвое. Жирный негодяй, чья вежливость в считанные секунды перешла в наглость, не мог обидеть его. На всякий случай он перешел улицу быстрее, чем собирался. Когда носишь с собой книги, надо избегать рукоприкладства. Он всегда носил с собой книги.

Ведь, в конце концов, ты не обязан откликаться на глупости любого прохожего. Недержание речи — величайшая опасность, угрожающая ученому. Кин предпочитал изъясняться письменно, а не устно. Он владел более чем дюжиной восточных языков. Некоторые западные оказывались понятны сами собой. Ни одна человеческая литература не была чужда ему. Он думал цитатами, писал хорошо продуманными абзацами. Бесчисленные тексты были обязаны ему своим восстановлением. В поврежденных или загубленных местах древних китайских, индийских, японских рукописей ему приходило на ум сколько угодно всяческих комбинаций. Другие завидовали ему из-за этого, а он должен был отбиваться от избытка. Со скрупулезной осторожностью, месяцами все взвешивая, предельно медленно, строже всего относясь к самому себе, он давал свое заключение о какой-нибудь букве, каком-нибудь слове или целом предложении только тогда, когда был уверен в их неуязвимости. Его опубликованные до сих пор работы, немногочисленные, но каждая из которых служила основой для сотни других, создали ему славу первого китаиста своего времени. Коллеги по специальности знали их досконально, чуть ли не наизусть. Положения, записанные им когда-либо, считались решающими и непреложными. В спорных случаях обращались к нему как к высшему авторитету и в смежных областях знания. Мало кому оказывал он честь письмами. Но тот, кого он избирал, получал в одном-единственном послании несметное множество рекомендаций и был на годы обеспечен работой, успешность которой, при таком рекомендателе, была гарантирована заранее. Личных связей он ни с кем не поддерживал. Приглашения он отклонял. Где бы ни освобождалась кафедра восточной филологии, ее прежде всего предлагали ему. Он отказывался с презрительной вежливостью.

У него нет, мол, ораторского дара. Плата за его деятельность отравила бы ему самую деятельность. По его скромному мнению, те же плодовые популяризаторы, которым доверяют преподавание в средней школе, должны занимать и кафедры высших учебных заведений, чтобы настоящие исследователи, истинно творческие натуры, могли отдаваться исключительно своей работе. В посредственных головах и так нет недостатка. Поскольку он предъявлял бы к своим слушателям самые высокие требования, лекции, которые он читал бы, привлекли бы лишь немногих. Экзаменов не выдержал бы у него, по-видимому, ни один соискатель. Он направил бы свое честолюбие на то, чтобы проваливать молодых, незрелых людей до тех пор, пока они не достигнут тридцатилетнего возраста и—от скуки ли, или просто остепенившись—хоть ненадолго что-нибудь выучат. Даже набор в факультетские аудитории людей, чья память была тщательно проверена, представляется ему делом рискованным и по меньшей мере бесполезным. Десять студентов, отобранных после труднейших вступительных экзаменов, преуспели бы, останься они в своем кругу, несомненно больше, чем смешавшись с обычными в любом университете оболтусами. Его опасения носят, таким образом, серьезный и принципиальный характер. Он просит ученый совет не возвращаться к своему предложению, которое, хотя он и не считает его почетным, было сделано из почтительности.

На конгрессах, где обычно говорят очень много, Кин был главным предметом обсуждения. Их участники, большую часть своей жизни тихие, робкие и близорукие мышки, тут раз в несколько лет становились совершенно другими людьми. Они приветствовали друг друга, сближали самые несходные головы, шушукались, ничего толком не говоря, и неуклюже чокались на банкетах. Глубоко растроганные, радостно взволнованные, они высоко несли свое знамя и хранили свою честь в чистоте. Они неустанно клялись в одном и том же на всех языках. Даже не давая обетов, они бы не отступились от них. В перерывах они заключали пари. Действительно ли появится на этот раз Кин? О нем говорили больше, чем просто о знаменитом коллеге, его поведение возбуждало любопытство. То, что он никогда не пожинал плодов своей славы, что более десяти лет упорно избегал поздравлений и банкетов, где его чествовали, несмотря на его молодость, что на каждом конгрессе он обещал выступить с важным докладом, который потом вместо него читал по рукописи кто-

нибудь другой, — на это его коллеги смотрели просто как на отсрочку. Когда-нибудь, может быть, именно в этот раз, он вдруг появится, с достоинством примет тем более бурные после такой длительной сдержанности аплодисменты и, под возгласы одобрения позволив избрать себя президентом конгресса, займет то подобающее ему место, которое он даже заочно по-своему занимал. Но господа ошибались. Кин не появлялся. Легковерные проигрывали пари.

Кин сообщал, что не приедет, в самый последний час. Посылая свою рукопись тому или иному избранному им лицу, он сопровождал ее ироническими замечаниями. Если при богатой программе развлечений найдется время и для работы, чего он, ради всеобщего удовольствия, отнюдь не желает, то он просит познакомить конгресс с этим пустячком, итогом двухлетнего труда. Для таких случаев он обычно приберегал новые и поразительные результаты своих исследований. За воздействием, которые эти результаты оказывали, за дискуссиями, которые вокруг них разгорались, он следил издали самым недоверчивым и добросовестным образом, как если бы отвечал за основательность каждого сказанного там слова. Собравшиеся мирились с его сарказмом. Из ста присутствующих восемьдесят ссылались на него. Его достижения были бесценны. Ему желали долгой жизни. Его смертью большинство было бы до смерти напугано.

Те немногие, что воочию видели его в его более молодые годы, уже не помнили его лица. Его не раз письменно просили прислать фотографию. Он не обзавелся ею, отвечал он, и обзаводиться не собирается. И то и другое соответствовало истине. Зато до одной уступки он снизошел добровольно. В тридцать лет, не составляя вообще-то завещания, он отписал свой череп с его содержимым институту исследования мозга. Он мотивировал этот шаг пользой, которую принесло бы объяснение его поистине феноменальной памяти особым строением, а может быть, и большим весом его мозга. Он, правда, не верит, написал он директору этого института, что гений есть память, как то многие с некоторых пор полагают. Он сам никоим образом не гений. Но отрицать полезность для его научной работы той почти пугающей памяти, какой он обладает, было бы ненаучно. Он носит в голове как бы вторую библиотеку, не менее богатую и надежную, чем та настоящая, которая, как ему доводится слышать, вызывает везде столько шума. Он сидит за письменным столом и сочиняет статьи, где касается мельчайших

подробностей, не справляясь нигде, кроме как в библиотеке своей головы. Конечно, цитаты и ссылки на источники он позднее тщательно проверяет по реальной литературе; но только из добросовестности. Он не припоминает, чтобы память его когда-либо подвела. Даже его сны имеют более четкую структуру, чем у большинства людей. Бесформенные, бесцветные, расплывчатые видения чужды снам, которые он до сих пор принимал к сведению. Ночь ничего не ставит у него с ног на голову. Звуки, которые он слышит, естественно-го происхождения; разговоры, которые он ведет, остаются совершенно разумными; все сохраняет свой смысл. Не его специальность исследовать, вправду ли существует предполагаемая связь между его точной памятью и однозначными, ясными снами. Он только самым скромным образом на это указывает и просит не считать соображения личного характера, которые он позволил себе в данном письме, признаком самонадеянности или болтливости.

Кин перебрал еще несколько фактов своей жизни, представлявших его необщительный, робкий и чуждый всякой суетности характер в правильном свете. Но досада на наглеца, который сперва спросил его о какой-то улице, а потом обругал, с каждым шагом росла и росла. Видно, ничего другого не остается, сказал он, вошел в подворотню, оглянулся—никто не наблюдал за ним—и вынул из портфеля длинную узкую записную книжку. На титульной ее странице значилось высокими, угловатыми буквами: *Глупости*. Его глаза сначала задержались здесь. Затем он перелистал книжку, больше половины было исписано. Все, что ему хотелось забыть, он вносил сюда. Начинал он с даты, указания часа и места. Далее шел случай, который снова показывал глупость людей. Подходящая цитата, каждый раз новая, составляла концовку. Собрание глупостей он никогда не перечитывал; взгляда на титульную страницу было достаточно. В будущем он собирался это издать под названием «Прогулки синополога».

Он достал остро заточенный карандаш и написал на первой пустой странице: «23 сентября, 3/4 восьмого. На Мутштрассе какой-то прохожий спросил меня, где Мутштрассе. Чтобы не посрамить его, я промолчал. Он не смутился и переспросил еще несколько раз; он вел себя вежливо. Вдруг его взгляд упал на табличку с наименованием улицы. Он понял свою глупость. Вместо того чтобы поскорей удалиться, как то сделал бы я на его месте, он страшно разозлился и стал ругать меня

самым грубым образом. Если бы я не пощадил его, я избавил бы себя от этой неприятной сцены. Кто был глупее?»

Последней фразой он доказал, что и себе не дает поблажки. Он был беспощаден ко всем. Удовлетворенно засунув записную книжку в портфель, он забыл об этом прохожем. Во время писания книги в портфеле пришли в неудобное положение. Он поправил их. На следующем углу он испугался немецкой овчарки. Собака пробивалась сквозь толпу быстро и уверенно. На туго натянутом поводке она тащила за собой слепого. Об его физическом недостатке, помимо собаки, свидетельствовала белая палка, каковую он нес в правой руке. Даже самые торопливые прохожие, у которых не было времени на слепого, дарили собаке восхищенный взгляд. Она отталкивала их в сторону терпеливой мордой. Поскольку она была красивой и сильной, все относились к ней хорошо. Вдруг слепой снял с себя картуз и протянул его, одновременно с палкой, навстречу прохожим. «На кормежку собаке!» — попросил он. Дождем посыпались монеты. Посреди улицы вокруг слепого и собаки образовалась толпа. Движение застыло; к счастью, на этом углу не было полицейского, который регулировал бы его. Кин рассматривал нищего с близкого расстояния. Он был одет с изысканной бедностью, и лицо у него было интеллигентное. Поскольку он непрестанно шевелил мышцами вокруг глаз, — он подмигивал, поднимал брови и морщил лоб, — Кин почувствовал недоверие к нему и решил, что это мошенник. Тут появился мальчик лет двенадцати, оттолкнул собаку и бросил в картуз тяжелую пуговицу. Слепой уставился на нее и поблагодарил еще чуть-чуть любезней, чем прежде. Пуговица звякнула так же, как золотые. У Кина сжалось сердце. Он схватил мальчика за вихор и шлепнул его, поскольку вторая рука была занята, портфелем по голове. «Как тебе не стыдно, — воскликнул он, — обманывать слепого!» Тут он вспомнил, что было в портфеле — книги. Он ужаснулся, такой большой жертвы он еще ни разу не приносил. Мальчишка с ревом убежал. Чтобы вернуться на обычный, куда более низкий уровень сострадания, Кин вытряхнул всю свою мелочь в картуз слепого. Окружающие громко кивали головами; теперь Кин показался себе более осторожным и мелочным. Собака снова натянула поводок. Затем, как только появился полицейский, поводьер и ведомый двинулись дальше.

Кин поклялся себе, что при угрозе слепоты покончит с собой. При каждой встрече со слепым его

охватывал один и тот же мучительный страх. Немых он любил; глухие, хромые и прочие калеки были ему безразличны; слепые беспокоили его. Он не понимал, почему они не расстаются с жизнью. Даже если они знали шрифт для слепых, их возможности читать были ограничены. Эратосфен, великий александрийский библиотекарь, ученый-универсал третьего дохристианского века, к чьим услугам было более полумиллиона свитков, сделал в восемьдесят лет ужасное открытие. Его глаза начали ему отказывать. Он еще видел, но читать больше не мог. Другой дожидался бы полной слепоты. Он счел разлуку с книгами достаточной слепотой. Он мудро улыбнулся, поблагодарил и после нескольких дней голодовки умер.

Этому великому примеру маленький Кин, чья библиотека состоит лишь из двадцати пяти тысяч книг, когда придет время, последует с легкостью.

Остаток пути к своей квартире он проделал в ускоренном темпе. Наверняка было уже восемь. В восемь начиналась работа. Неточность возбуждала у него позыв на рвоту. То и дело он украдкой хватался за глаза. Они видели хорошо и чувствовали себя приятно и в безопасности.

На пятом, и последнем этаже дома на Эрлихштрассе, 24, находилась его библиотека. Дверь квартиры была защищена тремя сложными замками. Он отпер их, прошел через переднюю, где стояла лишь вешалка для одежды, и вошел в свой кабинет. Он осторожно положил портфель на кресло. Потом несколько раз прошелся взад и вперед по анфиладе четырех высоких, просторных комнат, составлявших его библиотеку. Все стены были до потолка облицованы книгами. Он медленно оглядел их до самого верха. В потолке были прорублены окна. Своим верхним светом он гордился. Окна в стенах были замурованы много лет назад, после жестокой борьбы с домовладельцем. Таким образом, он приобрел в каждой комнате четвертую стену — лишнее место для книг. Да и свет, равномерно освещавший сверху все полки, казался ему более справедливым, более соответствующим его отношению к книгам. Сблужив наблюдать за происходящим на улице, этот порок, отнимающий много времени и явно свойственный человеку от природы, отпал вместе с боковыми окнами сам собой. Каждый день, садясь за письменный стол, он благословлял эту счастливую идею и упорство, которому был обязан исполнением высшего своего желания — обладать богатой, упорядоченной и замкнутой со всех сторон библиотекой, где ни лишнего предмета

мебели, ни лишний человек не отвлекут его от серьезных мыслей.

Первая комната служила кабинетом. Массивный письменный стол, кресло перед ним и второе в углу напротив составляли здесь всю меблировку. Кроме того, здесь ютился еще диван, который Кин предпочитал не замечать, потому что на нем он только спал. На стене висела переносная лесенка. Она была важнее, чем диван, и перекочевывала в течение дня из одной комнаты в другую. Пустоты трех других комнат не нарушал даже стул. Нигде не было ни стола, ни шкафа, ни печки, которые перебивали бы пестрое однообразие полок. Красивые, тяжелые ковры, везде покрывавшие пол, согрели жесткий полумрак, который через широко распахнутые двери соединял все четыре комнаты в единый высокий зал.

У Кина была твердая, энергичная походка. На ковры он ступал с особенным нажимом; его радовало, что такие шаги не вызывают ни малейшего шума. В его библиотеке даже слону не удалось бы громко топнуть по полу. Поэтому ковры он очень ценил. Он удостоверился в том, что все книги сохранили порядок, в каком ему пришлось покинуть их час назад. Затем он начал опорожнять портфель. Входя, он обычно клал его на стул перед письменным столом. А то бы он, чего доброго, забыл о нем и, не вынув из него книг, сел за работу, к которой его около восьми часов тянуло всюю. С помощью лесенки он принялся расставлять тома по местам. Несмотря на его осторожность, последний—дойдя до него, Кин заторопился еще больше—упал с третьей полки, для которой даже не нужно было стремянки, на пол. Это был тот самый Мэн-цзы, которого он любил больше всех. «Болван!—прикрикнул он на себя. — Варвар! Невежда!» — и, бережно подняв книгу, поспешил к двери. Прежде чем он достиг ее, ему пришло в голову нечто важное. Он вернулся и как можно тише подвинул к месту несчастного случая лестницу, которая висела напротив. Обеими руками он положил Мэн-цзы на ковер у подножья стремянки. Теперь он мог направиться к двери. Он отворил ее и крикнул:

— Самую лучшую пыльную тряпку, пожалуйста!

Вскоре после этого в незапертую дверь постучалась экономка. Он не ответил. Она скромно просунула голову в щель и спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Нет, давайте тряпку!

В его ответе, вопреки его воле, ей послышалась

жалоба. Она была слишком любопытна, чтобы махнуть на это рукой.

— Ну, доложу я вам, господин профессор! — сказала она укоризненно, вошла в комнату и с первого взгляда поняла, что случилось. Она скользнула к лежавшей на полу книге. Из-под синей накрахмаленной юбки, достававшей до ковра, ног женщины не было видно. Голова ее была посажена косо. Оба уха были у нее широкие, плоские и оттопыренные. Поскольку правое касалось плеча и было частично закрыто им, тем большим казалось левое. Ходя и говоря, она качала головой. Ее плечи попеременно сопровождали этому качанию. Она нагнулась, подняла книгу и раз десять основательно провела по ней тряпкой. Кин не пытался опередить ее. Вежливость ему претила. Он стоял рядом и следил, на совесть ли выполняет она свою работу.

— Да, это случается, когда стоишь наверху на стремянке, доложу я вам.

Затем она подала ему книгу, как тарелку, на которой нет ни пылинки. Ей очень хотелось завязать разговор с ним. Но это ей не удалось. Он коротко сказал «спасибо» и повернулся к ней спиной. Она поняла и пошла прочь. Взявшись за ручку двери, она вдруг обернулась и спросила с лицемерной любезностью:

— У вас, наверно, это уже часто случалось?

Она видела его насквозь и честно негодовала: «Ну, доложу я вам, господин профессор!» «Доложу я вам» прокалывалось острым шипом сквозь ее елейную речь. «Она еще, чего доброго, уйдет от меня», — подумал он и сказал смягчающе:

— Я просто так. Вы же знаете, какие ценности хранятся в этой библиотеке!

Столь приветливой фразы она не ждала. Она не нашлась что ответить и удовлетворенно вышла из комнаты. Когда она удалилась, он стал корить себя. О своих книгах он говорил как грязный торгаш. Как иначе заставишь такую особу прилично обращаться с книгами? Истинной их ценности она не понимала. Она, конечно, думала, что он спекулирует ими. Таковы люди! Таковы люди!

После произвольного поклона, относившегося к лежавшим на письменном столе японским рукописям, он сел наконец за него.

ТАЙНА

Восемь лет назад Кин поместил в газете следующее объявление:

«Ученый с библиотекой необыкновенной величины ищет ответственную экономку. С предложениями пусть обращаются только люди самых твердых правил. Всякое отребье будет спущено с лестницы. Жалованье несущественно».

У Терезы Крумбхольц было тогда хорошее место, на котором ей дотоле недурно жилось. Она каждый день, прежде чем подать завтрак своим хозяевам, внимательно прочитывала отдел объявлений «Ежедневной газеты», чтобы знать, что происходит в мире. Она не собиралась кончать свои дни в этой обыкновенной семье. Она была еще молодая особа, ей не было еще сорока восьми, и больше всего ей хотелось перейти к одинокому мужчине. Там можно устроиться лучше, а с женщинами ведь не найти общего языка. Она, однако, поостережется бросать свое надежное место ни с того ни с сего. Пока она не выяснит, с кем имеет дело, она не уйдет. Она знает, как врут в газетах и какие златые горы сулят порядочным женщинам. Не успеешь войти в дом, как тебя изнасилуют. Тридцать три года бьется она одна на свете, но этого с ней еще не случилось. И не случится, она глядит в оба.

На сей раз объявление прямо-таки бросилось ей в глаза. На словах «Жалованье несущественно» она задержалась и несколько раз задом наперед перечитала фразы, как бы усиленные сплошным жирным шрифтом. Их тон imponировал ей; это был настоящий мужчина. Ей было лестно представлять себя человеком самых твердых правил. Она видела, как спускают с лестницы всякое отребье, и искренне радовалась этому. Ни минуты не опасалась она, что с ней самой могут обойтись как с отребьем.

На следующее утро, уже в семь, она стояла перед Кином, который, впустив ее в переднюю, тотчас же объявил:

— Я категорически против того, чтобы в мою квартиру входили незнакомые люди. Вы можете взять на себя ответственность за сохранность книг?

Он рассматривал ее пристально и подозрительно. До ее ответа на этот вопрос он не хотел составлять себе мнение о ней.

— Ну, доложу я вам, за кого вы меня принимаете?

Растерявшись от его грубости, она дала ответ, в котором он не нашел никаких недостатков.

— Вам следует знать, — сказал он, — почему я уволил свою последнюю экономку. Из моей библиотеки пропала одна книга. Я велел обыскать всю квартиру. Книги не оказалось. Я вынужден был тут же уволить ее. — Он возмущенно умолк. — Вы должны это понять, — прибавил он затем, словно переоценил было ее смысленность.

— Порядок должен быть, — ответила она быстро. Он был обезоружен. Величавым жестом он пригласил ее в библиотеку. Она скромно вошла в первую комнату и остановилась в ожидании.

— Круг ваших обязанностей таков, — сказал он строго и сухо. — Ежедневно вытирать пыль в одной комнате сверху донизу. На четвертый день вы кончите. На пятый снова начнете с первой. Можете вы взять это на себя?

— Позволю себе.

Он снова вышел, отворил входную дверь и сказал:

— До свидания. Сегодня и приступим.

Она стояла уже на лестнице и все еще медлила. О жалованье он не сказал ни слова. Прежде чем отказываться от места, ей надо было спросить его. Нет, лучше не стоит. Как раз и останешься в дураках. Она ничего не скажет, он, может быть, сам даст больше. Над двумя спорившими силами, осторожностью и жадностью, одержала победу третья — любопытство.

— Да, а как насчет жалованья?

Смутившись от глупости, которую, возможно, сморозила, она забыла начать с «ну, доложу я вам».

— Сколько просите, — сказал он равнодушно и захлопнул входную дверь.

Своим обыкновенным хозяевам, которые на нее полагались, — уже больше двенадцати лет она жила у них и стала неотъемлемой принадлежностью дома, — она, к их ужасу, объявила, что с нее хватит, что лучше зарабатывать свой хлеб на улице, чем так. Ничем нельзя было переубедить ее. Она уйдет сейчас же, прожив в доме двенадцать лет, можно уволиться и без предварительного уведомления. Добропорядочное семейство воспользовалось возможностью сэкономить на выходном пособии по двадцатое число. Оно отказалось выплатить его, поскольку прислуга не предупредила о своем уходе заблаговременно. Тереза подумала: «Ну, что ж, придется раскошелиться ему», — и ушла.

Свои обязанности по отношению к книгам она выполняла, к удовольствию Кина. Про себя он выражал ей за это свою признательность. Хвалить ее публично, в ее присутствии казалось ему излишним.

Еда всегда подавалась вовремя. Хорошо ли она готовила или плохо, он не знал; это было ему совершенно безразлично. Во время приема пищи, проходившего за его письменным столом, он бывал занят важными мыслями. Обычно он не мог сказать, что у него сейчас во рту. Сознание надо беречь для настоящих мыслей; они питаются им, они нуждаются в нем; без сознания они немыслимы. Жеванье и пищеварение происходит само собой.

Тереза относилась к его работе с известным почтением, потому что он регулярно платил ей высокое жалованье и не был ни с кем приветлив, да и с ней тоже не разговаривал. К натурам общительным, вроде ее матери, она с детства испытывала большое презрение. Свою работу она выполняла самым тщательным образом. Поблажек она себе не давала. С самого начала к тому же ее занимала одна загадка. Это ей нравилось.

Ровно в шесть утра профессор вставал с дивана, на котором он спал. Одевание и умыванье продолжались недолго. Вечером, перед тем как улечься самой, она стелила ему на диване и вкатывала в кабинет, в самую середину, умывальник на колесиках. На ночь тот здесь и оставался. Четырехстворчатая ширма, расписанная снаружи незнакомыми буквами, ставилась так, чтобы избавить профессора от этого неприятного зрелища. Он терпеть не мог мебели. «Умывальную телегу», как он называл свой умывальник, он изобрел сам, чтобы этот противный предмет, выполнив свое назначение, поскорей исчезал. В четверть седьмого профессор отпирал дверь и с силой выталкивал телегу из комнаты. Разгона хватало на весь длинный коридор. Возле кухонной двери умывальник стучался о стенку. Тереза ждала в кухне, ее комнатка находилась рядом. Она открывала дверь и кричала: «Уже поднялись?» Он не отвечал и запирался снова. Потом он еще до семи оставался дома. Никто не знал, что он делает столько времени до семи. Вообще же он всегда сидел за письменным столом и писал.

Этот темный, тяжелый колосс был внутри до отказа набит рукописями, снаружи перегружен книгами. При самом осторожном шевелении того или иного ящика стол издавал пронзительный свист. Хотя шум Кина раздражал, он оставил в старинном, полученном по наследству столе это устройство, чтобы экономка, если его, Кина, не окажется дома, сразу же услышала воров. Ведь эти чудачки обычно ищут золото, прежде чем приняться за книги. Механизм своего драгоценного

стола он скупно и исчерпывающе объяснил Терезе тремя предложениями. Он со значением прибавил, что прекратить свист невозможно, не может и он. Днем она слышала этот звук каждый раз, когда Кин извлекал какую-нибудь рукопись. Она удивлялась: этот шум он терпел. На ночь он прятал все бумаги. До восьми часов утра письменный стол безмолвствовал. Когда она убирала комнату, она находила на нем только книги и пожелтевшие брошюры. Тщетно искала она новой бумаги с его собственными буквами. Было ясно, что от четверти седьмого до семи, три четверти часа, он вообще не работал.

Может быть, он молился? Нет, она так не думала. Кому охота молиться? Молитвы не вызывали у нее сочувствия. Достаточно лишь взглянуть на эту шушеру, которая ходит в церковь. Ну и людишки там собираются. И вечное попрошайничество ей тоже противно. Надо что-то дать, потому что все на тебя смотрят. А куда пойдут твои деньги, никто не знает. Молиться дома — зачем? Жаль время тратить. Порядочному человеку это не нужно. Она порядочно от природы. Другие только молятся. Но ей все-таки хочется узнать, что происходит в комнате между четвертью седьмого и семью. Она не любопытна, этого никто не скажет о ней. Она не вмешивается в чужие дела. Женщины сегодня такие, они во все суют нос. Она только выполняет свою работу. Ведь все день ото дня дорожает. Картошка стала уже вдвое дороже. Это искусство — сводить концы с концами при таких ценах. Он запирает все четыре двери. А то можно было бы как-нибудь подсмотреть из соседней комнаты. Хозяин, который вообще-то так строго расходует время и не тратит ни минуты впустую!

Во время его прогулки Тереза обыскивала доверенные ей комнаты. Она предполагала какой-то порок, какой именно, оставалось под вопросом. Сперва ей мерещился труп женщины в чемодане. Поскольку под коврами тело никак нельзя было поместить, она отказалась от мысли об обезображенном трупе. Не было шкафа, который мог бы помочь, а ей так хотелось, чтобы были шкафы — у каждой стенки по шкафу. Значит, преступление пряталось за какой-то книгой. Где же еще? Ее чувство долга, может быть, и удовлетворилось бы смахиванием пыли с корешков; непристойная тайна, которую она хотела раскрыть, вынуждала ее заглядывать и за книги. Она вынимала каждую в отдельности, стучала по ней — не полая ли, — дотягивалась неуклюжими, мозолистыми пальца-

ми до деревянной панели, ощупывала ее и недовольно качала головой, ничего не найдя. Ее интерес ни разу не заставил ее выйти за пределы установленного рабочего времени. За пять минут до того, как Кин отпирал квартиру, она уже стояла на кухне. Она спокойно проверяла один стеллаж за другим, не спеша, без небрежности и никогда не теряя надежды полностью.

В эти месяцы неутомимых розысков она не относилась своего жалованья в сберегательную кассу. Она не брала ни гроша оттуда, кто знает, что это были за деньги. Купюры, те самые, которые ей вручались, она складывала в чистый конверт, где еще в полной неприкосновенности хранилась вся почтовая бумага, вместе с которой она двадцать лет назад купила его. Преодолев все опасения, она поместила его в сундук, содержащий ее имущество, сплошь отборные хорошие вещи, приобретенные за большие деньги в ходе десятилетий.

Постепенно она поняла, что не так-то скоро разгадает загадку. Ничего, у нее есть время. Она может и подождать. Ей живется неплохо. Если в конце концов что-то выйдет наружу — она не виновата. Она обшарила библиотеку до последнего вершка. Да, иметь бы доброго знакомого в полиции, солидного, порядочного человека, который учитывал бы, что у нее хорошее место, — такого можно было бы деликатно посвятить в это дело. Извольте, она многое сносит, но что не на кого опереться... Чем сегодня интересуются люди? Танцами, купаньем, развлечениями, только не серьезными делами, только не работой. У ее хозяина, человека серьезного, тоже есть свои безнравственные стороны. Он ложится спать только в двенадцать. Лучший сон — до полуночи. Порядочный человек ложится в девять. Ничего особенного все равно не произойдет.

Так преступление сжалось и сделалось тайной. Тучное, упрямое презрение обволокло скрытый порок. Только любопытство осталось в ней, между 6.15 и 7 она была всегда начеку. Она допускала редкие, но человеческие возможности. Вдруг его погонят наружу внезапные спазмы в животе. Она поспешит в комнату и спросит, не нужно ли ему чего-нибудь. Спазмы проходят не так скоро. Через несколько минут она все разузнает. Но умеренный и разумный образ жизни Кина был слишком полезен ему. За те восемь долгих лет, что Тереза жила в его доме, его ни разу не мучили колики.

В утро после встречи со слепым и его собакой Кину срочно понадобились разные статьи. Он разворошил ящики письменного стола. Скопились кучи бумаги. Черновики, поправки, копии, все, что относилось к работе, он бережно хранил. Он находил писанину, содержание которой устарело и было опровергнуто. К его еще студенческим годам восходил этот архив. Чтобы отыскать какую-нибудь мелочь, которую он и так знал наизусть, только подтверждения ради, он терял несколько часов. Он прочитывал тридцать листов, когда нужна была какая-то одна строчка. Ненужные, давно изжившие себя вещи понадобились ему. Он проклинал их, зачем они здесь. Он не мог пройти мимо напечатанного или написанного, раз уж оно попало к нему на глаза. Другой отказался бы от такого подробного чтения. Он выдерживал от первого до последнего слова. Чернила выцветали. Было трудно разбирать бледные контуры букв. Ему вспомнился слепой, которого он встретил на улице. Он, Кин, играет своими глазами так, словно они открыты навеки. Вместо того чтобы ограничить их работу, он легкомысленно увеличивает ее из месяца в месяц. Каждая бумажка, которую он кладет на место, стоит ему частицы зрения. Собаки живут недолго, и собаки не читают; поэтому они помогают слепым своими глазами. Человек, который транжирит зрение, достоин своей собаки-поводыря.

Кин решил освободить письменный стол от хлама утром, сразу как встанет, ибо сейчас он был занят работой.

На следующий день, ровно в шесть, — ему еще снился какой-то сон, — он вскочил с дивана, бросился к переполненному колоссу и рывками выдвинул все его ящики. Раздался свист; резкие, душераздирающие, усиливающиеся звуки огласили библиотеку. Казалось, будто у каждого ящика есть горло и каждый старается позвать на помощь громче, чем соседний. Его грабят, его мучат, у него отнимают жизнь. Они не могли знать, кто поднял на них руку. Глаз у них не было; единственным их органом был пронзительный голос. Кин разбирал бумаги. Это длилось довольно долго. Он терпел шум; то, что он начинал, он доводил до конца. С грудой макулатуры на тощих руках он прошествовал в четвертую комнату. Здесь, поодаль от свистков, он с руганью стал разрывать листок за листком. Постучали в дверь; он заскрежетал зубами. Постучали снова; он топнул ногой. Стук перешел в грохот. «Тихо!» — приказал он и выругался. Он и сам рад был бы не шуметь. Но ему

было жаль своих рукописей. Только злость давала ему отвагу уничтожать их. Наконец, длинноногим, одиноким марабу, он стоял среди горы обрывков, робко и смущенно, словно в них была жизнь, ощупывая их и тихо жалея. Чтобы не причинять им еще и ненужной боли, он осторожно отставил в сторону одну ногу. Покончив с кладбищем, он облегченно вздохнул. У двери он нашел экономку. Усталым движением руки он указал на кучу бумаги и сказал: «Убрать!» Свистки были немые, он вернулся к столу и запер ящики. Они не пикнули. Он слишком сильно рванул их. Механизм сломался.

Когда поднялся шум, Тереза как раз влезала в крахмальную юбку, которой она завершала свой туалет. Она до смерти испугалась, кое-как закрепила на себе юбку и поспешно скользнула к двери кабинета. «Боже мой, — заныла она флейтой, — что случилось?» Она постучала сначала робко, потом стала стучать все громче. Не получив ответа, она попыталась открыть дверь — тщетно. Она скользила от двери к двери. Она услышала, что сам он находится в последней комнате, откуда донесся его злой возглас. Тут она принялась колотить в дверь изо всех сил. «Тихо!» — крикнул он зло, так зол он еще никогда не был. Полураздраженно-полусмирненно опустила она твердые ладони на твердую юбку и застыла деревянной куклой. «Такое несчастье! — шептала она. — Такое несчастье!» — и продолжала, скорей по привычке, стоять на месте, когда он уже открыл.

Медлительная от природы, она все же вмиг поняла, какой тут представился случай. С трудом сказав: «Сию минуту», она проскользнула в кухню. На пороге ее осенило: «Боже мой, он снова запрется, привычка — такая сила! Непременно что-нибудь да помешает, в последний миг, так уж водится! Не везет, не везет мне!» Это она сказала себе впервые, ибо обычно считала себя человеком с заслугами, а потому и везучим. От страха голова ее сильно закачалась. Она снова скользнула в коридор. Верхняя часть ее туловища низко склонилась вперед. Ноги задрожали, прежде чем осмелились оторваться от пола. Тугая юбка заволновалась. Скользя, она достигла бы своей цели гораздо тише, но это было для нее слишком привычно. Торжественный случай требовал торжественной поступи. Комната была открыта. Посредине еще лежала бумага. Чтобы дверь не захлопнул ветер, она заложила ее толстой складкой ковра. Затем она вернулась в кухню и с совком и веником в правой руке стала ждать

знакомого звука катящегося умывальника. Ей хотелось самой сходить за ним, очень уж долго он не появлялся сегодня. Когда он наконец стукнулся о стенку, она забылась и крикнула, как всегда: «Уже поднялись?» Она толкнула его в кухню и, сгорбившись еще сильнее, чем прежде, потащилась в библиотеку. Сок и веник она положила на пол. Медленно прокрадывалась она через промежуточные комнаты к порогу его спальни. После каждого шага она останавливалась и наклоняла голову в другую сторону, чтобы прислушаться правым, менее изношенным ухом. На тридцатиметровый путь у нее ушло десять минут; она казалась себе отчаянно смелой. Ее страх возрастал в той же пропорции, что и ее любопытство. Тысячу раз представляла она себе, как она будет держаться, достигнув цели. Она крепко прижалась к косяку двери. О свеженакрахмаленной юбке она вспомнила, когда было уже слишком поздно. Она попыталась все обозреть одним глазом. Пока второй оставался в укрытии, она чувствовала себя уверенно. Нельзя было допустить, чтобы ее увидели, а ей нельзя было ничего проглядеть. Правую руку, которую она любила упирать в бок, но которая так и норовила расслабиться, она заставила не шевелиться.

Кин спокойно расхаживал перед своими книгами и издавал нечленораздельные звуки. Под мышкой у него был пустой портфель. Он остановился, подумал немного, принес стремянку и полез наверх. Он снял с верхней полки какую-то книгу, перелистал и сунул в портфель. Спустившись, он снова походил, встрепенулся, потянул какую-то книгу, которая не поддавалась, нахмурился и, вытащив ее, дал ей шлепка. Затем она исчезла в портфеле. Он выбрал пять книг. Четыре маленьких, одну большую. Вдруг он заторопился. С тяжелым портфелем он влез на верхнюю ступеньку лесенки и втиснул первую книгу на прежнее место. Его длинные ноги мешали ему; он чуть не упал.

Если бы он упал и расшибся, пороку был бы конец. Рука Терезы поднялась, она вышла из повиновения; рука схватила мочку уха и сильно дернула ее. В оба глаза глядела теперь Тереза на находившегося в опасности хозяина. Когда его подошвы достигли толстого ковра, она облегченно вздохнула. Книги — это обман. Истина еще выйдет наружу. Она знает библиотеку как свои пять пальцев, но порок толкает на выдумки. Есть опиум, есть морфий, есть кокаин, как все это углядеть? Ее не обманешь. Это спрятано за книгами. Почему, например, расхаживая по комнате, он никогда не

пересекает ее? Он стоит возле лесенки и хочет снять что-то с полки прямо напротив. Он мог бы просто-напросто взять это, но нет, он непременно пойдет вдоль стены. С тяжелым портфелем под мышкой он делает большой крюк. Это спрятано за книгами. Убийцу тянет на место убийства. Теперь портфель полон. Больше туда ничего не влезет, она знает этот портфель, она ежедневно стирает с него пыль. Теперь что-то произойдет. Ведь еще нет семи? Когда будет семь, он уйдет. Но разве уже семь? Никак не может быть семь!

Нагло и уверенно она наклоняет вперед верхнюю часть туловища, упирает руки в бока, наостряет плоские уши и жадно таращит узкие глазки. Он хватается за портфель с двух сторон и кладет его на ковер. Его лицо кажется гордым. Он нагибается и стоит согнувшись. Она обливается потом и дрожит всем телом. У нее выступают слезы, — значит, все-таки под ковром. Так она сразу и подумала. Можно ли быть таким глупым. Он выпрямляется, хрустит суставами пальцев и что-то выплевывает. Или он просто сказал: «Так»? Он берет портфель, достает один из томов и медленно ставит его на место. То же самое проделывает он со всеми остальными.

Терезе делается дурно. Тыфу ты пропасть, вот тебе раз! Нечего больше видеть. Вот тебе и серьезный человек, который никогда не смеется и не обронит ни слова! Она тоже серьезный человек и работающий, но разве она так поступает? Пусть отрубят ей руки, прежде чем она так поступит. Он выставляет себя дураком перед собственной экономкой. И у такого типа есть деньги! Много, много денег! Над ним надо бы учредить опеку. Как он распоряжается деньгами! Будь у него в доме другая женщина, такая, что пробу негде ставить, из нынешней молодежи, она уж вытянула бы из-под него последнюю простыню. У него даже кровати нет. Что делает он с таким множеством книг? Он же не может читать все сразу. Она бы назвала такого человека дураком, отняла бы у него деньги, чтобы он их не промотал, и отпустила его на все четыре стороны. Она покажет ему, порядочную ли женщину заманил он к себе в дом. Он думает, что может одурачить любую. Ее не одурачишь. Восемь лет, может быть, и подурочит, но не дольше, нет!

Когда Кин собрал для прогулки второй набор книг, первая злость Терезы прошла. Увидев, что он собирается выйти, она с обычным самообладанием скользнула назад к куче бумаг и с достоинством ткнула в нее

совок. Теперь она казалась себе интереснее и значительнее.

Нет, решила она, от этого места она не откажется. Но в сумасшествии она его изобличила. Она кое-что узнала. Если она что-то увидела, она сумеет это использовать. Она мало что видит в жизни. Она никогда не покидала черты города. Загородных прогулок она не признает, потому что жаль денег. Купаться она не ходит, потому что это неприлично. Поездок она не любит, потому что нигде не ориентируется. Если бы не надо было делать покупки, она никогда не выходила бы из дому. Все стараются хоть как-то надуть тебя. Цены растут с каждым годом, и раньше все было по-другому.

КОНФУЦИЙ, СВАТ

В приподнятом настроении вернулся Кин домой с прогулки в следующее воскресенье. По воскресеньям улицы в этот ранний час бывали пустыни. Свой свободный день люди начинали со сна. Затем они надевали лучшую свою одежду. В благоговейном раздумье проводили они первые часы бодрствования перед зеркалом. В остальные часы они отдыхали от собственных физиономий при помощи других. Каждый, правда, был для себя лучше всех. Но чтобы это доказать, они выходили на люди. В будни они потели или болтали ради куска хлеба. В воскресенье они болтали даром. Под днем отдыха подразумевался первоначально день молчания. На то, что вышло из этого установления, как и из всех прочих, на его прямую противоположность, Кин взирал насмешливо. Для него не было проку в дне отдыха. Ибо молчал и работал он всегда.

У двери квартиры он увидел свою экономку. Она, по-видимому, ждала его уже давно.

— Приходил молодой Метцгер с третьего этажа. Вы ему обещали. Вы уже дома, сказал он. Горничная видела, как по лестнице прошел кто-то высокого роста. Через полчаса он снова зайдет. Он не будет мешать, он только за книгой.

Кин не слушал. Когда было произнесено слово «книга», он напряг внимание и с опозданием понял, о чем шла речь.

— Он лжет. Я ничего не обещал. Я сказал, что покажу ему виды Индии и Китая, когда у меня будет время. У меня никогда не бывает времени. Пошлите его прочь!

— Люди сразу на голову лезут. На этих, доложу вам, пробу негде ставить. Отец его был простой рабочий. Хотела бы я знать, откуда у него денюжки. Но все дело в них. Теперь только и слышишь: все для детей. Нет никакой строгости. Дети так обнаглели, что просто диву даешься. В школе они все время играют и ходят гулять с учителем. Как было, доложу я вам, в наше время! Если ребенок не хотел учиться, родители забирали его из школы и отдавали в науку ремесленнику. Какому-нибудь строгому мастеру, чтобы чему-то научился. Сегодня палец о палец не ударяют. А работать, что ли, кто-нибудь хочет? Скромности нет и в помине. Поглядите на молодых людей, когда они гуляют в воскресенье. Каждой фабричной девчонке подавай новую блузку. Зачем им, доложу я вам, такие дорогие тряпки? Ведь все же ходят купаться и опять раздеваются. И купаются-то вместе с парнями. Где это было видано прежде? Работали бы, гораздо умнее было бы. Я всегда говорю, откуда у них берутся деньги? Ведь все с каждым днем дорожает. Картошка стала уже вдвое дороже. Удивительно ли, что дети наглеют? Родители им все позволяют. Раньше, бывало, закатят оплеуху-другую, справа и слева. Вот дети и слушались. Плохая пошла жизнь. Когда они маленькие, не учатся, а как вырастут — не работают.

Сперва раздражившись, оттого что она задерживала его длинной речью, Кин вскоре почувствовал какой-то удивленный интерес к ее словам. Эта необразованная особа придавала такую важность учению. В ней таилось доброе начало. Может быть, с тех пор, как она стала ежедневно общаться с его книгами. На других людях ее сословия книги не оставляли никакого впечатления. Она была восприимчивей, быть может, мечтала об образовании.

— Вы совершенно правы, — сказал он, — я рад, что вы так верно думаете. Учение — это всё.

Они тем временем вошли в квартиру.

— Подождите, — приказал он и исчез в библиотеке. Вернулся он с каким-то томиком в левой руке. Листая книжку, он вывернул трубочкой узкие, строгие губы. — Послушайте! — сказал он и сделал ей знак отойти подальше. Предстоявшее требовало простора. С пафосом, резко противоречившим простоте текста, он прочел: — «Мой учитель велел мне писать каждый день три тысячи знаков и каждый вечер еще три тысячи. В короткие зимние дни солнце заходило рано, и я не успевал выполнить свой урок. Я выносил столик на веранду, которая выходила на запад, и дописывал там.

Поздно вечером, просматривая написанное, я уже не мог бороться с усталостью. Тогда я начал ставить возле себя два ведра с водой. Если меня одолевала сонливость, я снимал с себя платье и выливал на себя первое ведро. Раздетый, я снова садился за работу. Благодаря холодной воде я некоторое время сохранял свежесть. Постепенно я согревался, и меня снова клонило ко сну. Тогда я пускал в ход второе ведро. С помощью двух ведер я почти всегда справлялся с заданием. В ту зиму мне пошел девятый год». — Взволнованно и с восхищением захлопнул он книгу. — Так раньше учились. Отрывок из воспоминаний о молодости японского ученого Араи Хакусэки.

Во время чтения Тереза подошла ближе. Ее голова обозначала такт его фраз. Ее длинное левое ухо само тянулось навстречу словам, которые он свободно переводил с японского. Он непроизвольно держал книгу немного косо; Тереза безусловно видела незнакомые знаки и восхищалась гладкостью его чтения. Он читал так, словно в руке у него была немецкая книга.

— Ну и ну! — сказала она, он кончил, она тяжело дышала. Ее удивление развеселило его. Разве поздно, подумал он, сколько ей может быть лет? Учиться можно всегда. Начать ей следовало бы с простых романов.

Тут раздался настойчивый звонок. Тереза отворила. Маленький Метцгер всунул свой нос.

— Мне можно! — крикнул он громко. — Господин профессор позволил!

— Никаких книг! — крикнула Тереза и захлопнула дверь. За дверью неистовствовал мальчик. Он выкрикивал угрозы. Он был так зол, что нельзя было разобрать ни слова.

— Ему, доложу я вам, пальца в рот не клади! Сразу насадит пятен. Он ест на лестнице бутерброд.

Кин стоял у порога библиотеки; мальчик не заметил его. Он дружелюбно кивнул экономке. Ему было приятно, когда охраняли интересы его книг. Она заслуживала некоторой благодарности:

— Если вам захочется что-нибудь почитать, можете смело обратиться ко мне.

— С вашего позволения, я давно уже хотела попросить об этом.

Ну и оживилась она, когда зашла речь о книгах! Обычно ведь она совсем не такая. До сих пор она держалась скромно. Он не собирался устраивать библиотеку с выдачей книг на дом. Чтобы выиграть время, он ответил:

— Хорошо. Завтра что-нибудь подыщу вам.

Затем он сел за работу. Его обещание беспокоило его. Правда, она ежедневно стирает с книг пыль и еще ни одной книги не повредила. Но вытирать пыль и читать—разные вещи. У нее толстые, грубые пальцы. Тонкая бумага требует тонкого обхождения. Твердый переплет крепче чувствительных листков. И умеет ли она вообще читать? Ей далеко за пятьдесят, она не торопилась. Поздно учащимся стариком назвал Платон своего противника киника Антисфена. Теперь появляются поздно учащиеся старухи. Она хочет утолить жажду у родника. Или ей стыдно передо мной, потому что она совсем ничего не знает? Благотворительность, прекрасно, но не за чужой же счет. Почему книги должны страдать за других? Я плачу ей большое жалованье. Это мое право, это мои деньги. Отдавать на ее произвол книги было бы трусостью. Перед невеждами они беззащитны. Я не могу сидеть рядом, когда она будет читать их.

Ночью некий привязанный со всех сторон человек стоял на террасе храма и отбивался деревянными чурками от двух вздыбившихся ягуаров, свирепо наседавших на него справа и слева. Оба были украшены странными лентами самых разных цветов. Они оскаливались, фыркали и вращали глазами так дико, что мороз пробегал по коже. Небо было черное и тесное, оно спрятало свои звезды в карман. Стеклообразные шары текли из глаз пленника и вдребезги разбивались, упав. Поскольку ничего не менялось, ты привыкал к жестокой борьбе и зевал. Вдруг взгляд случайно упал на лапы ягуаров. Это были человеческие стопы. Ого, мелькнуло в голове у наблюдавшего за борьбой долгоязого образованного господина: это мексиканские жрецы, ведающие жертвенными обрядами. Они исполняют священную комедию. Жертва, конечно, знает, что должна умереть. Жрецы наряжены ягуарами, но я распознал их.

Тут правый ягуар берет увесистый каменный клин и ударяет им жертву в самое сердце. Один край клина взрезает грудь. Кин ослепленно закрывает глаза. Он думает, что кровь брызнет до неба, и порицает это средневековое варварство. Он ждет, чтобы кровь успела вытечь, и открывает глаза. Ужасно: из вскрытой груди выскакивает книга, затем выскакивает вторая, третья, много. Им нет конца, они падают наземь, их охватывают клейкие языки пламени. Кровь зажгла костер, книги сгорают. «Закрыть грудь! — кричит Кин пленнику. — Закрыть грудь!» Он показывает руками:

вот как надо сделать, только скорей, только скорей! Пленник понимает; сильным рывком он освобождается от пут и кладет обе руки на сердце, Кин облегченно вздыхает.

Тут жертва широко-широко разрывает себе грудь. Книги, книги бьют фонтаном. Десятки, сотни, их не счесть, огонь лижет бумагу, каждая книга зовет на помощь, повсюду раздаются пронзительные вопли. Кин протягивает руки к книгам, которые полыхают ярким пламенем. Алтарь гораздо шире, чем он думал. Он делает несколько прыжков и нисколько не приближается. Теперь надо бегом, если он хочет застать их живыми. Он бежит и падает, проклятая одышка, это бывает, когда не следишь за своим телом, он готов разорвать себя от ярости. Никчемный человек, когда что-то нужно, он никуда не годится. Эти гнусные изверги! О человеческих жертвоприношениях он знал, но книги, книги! Теперь он у самого алтаря. Огонь опалает ему волосы и брови. Костер огромен, издали он казался маленьким. Они, наверно, в самой середине пламени. Полезай туда, трус, хвостун, ничтожество!

Но почему он ругает себя? Он же в гуще огня. Где вы? Где вы? Пламя ослепляет его. Что это, черт побери, куда ни сунешь руку, везде он натывается на кричащих людей. Они отчаянно цепляются за него. Он отбрасывает их, они опять тут как тут. Они подползают снизу и хватают его за колени, а сверху на него падают горящие факелы. Он не глядит вверх и все же отчетливо видит их. Они вцепляются ему в уши, в волосы, в плечи. Они стискивают его своими телами. Безумный шум. «Отпустите же меня! — кричит он, — я вас не знаю. Что вам от меня нужно? Как мне спасти книги?»

Вот один уже кинулся к его рту и держится за сжатые губы. Ему хочется еще что-то сказать, но он не может раскрыть рот. Он мысленно молит: они же погибнут, они же погибнут у меня! Ему хочется заплакать, где же слезы, глаза жестоко закрыты, в них тоже вцепились люди. Он хочет топнуть ногой, он пытается поднять правую ногу, — тщетно, она падает под свинцовой тяжестью горящих людей. Они ему отвратительны, эти жадные существа, никогда они не бывают довольны жизнью, он ненавидит их. Как хочется ему обижать их, мучить, ругать, он не может, не может! Ни на миг не забывает он, зачем он здесь. Глаза у него насильственно закрыты, но духом он зорок. Он видит книгу, которая растет в четыре стороны и заполняет небо и землю, все пространство

до горизонта. По краям ее медленно и спокойно жрет красный жар. Неподвижно, беззвучно и невозмутимо принимает она мученическую смерть. Люди визжат, книга сгорает безмолвно. Мученики не кричат. Святые не кричат.

Тут слышится голос, он знает все и принадлежит самому богу: «Никаких книг. Все суета». Кин сразу же понимает, что это вещий голос. Он с легкостью стряхивает с себя горящее отребье и выскакивает из огня. Он спасен. Разве было больно? Адски, отвечает он себе, но все-таки не так страшно, как обычно кажется. Он бесконечно счастлив благодаря этому голосу. Он видит, как сам же вприпляску покидает алтарь. На некотором расстоянии он оборачивается. Его так и подмывает посмеяться над пустым огнем.

Вот он стоит погруженный в созерцание Рима. Он видит копошащиеся части тела, кругом все провоняло горящим мясом. Как глупы люди, он забывает свою злость, один прыжок — и они спаслись бы.

Вдруг — он не понимает, что с ним — люди превращаются в книги. Он громко кричит и сломя голову бросается в сторону огня. Он бежит, задыхается, ругает себя, прыгает в огонь, ищет, и его стискивают молящие тела. Старый страх охватывает его, голос бога освобождает его, он вырывается и смотрит на ту же картину с того же места. Четыре раза он дает себя одурочить. Скорость происходящего от раза к разу растет. Он знает, что обливается потом. Он втайне мечтает о передышке, дарованной ему между возбуждением и возбуждением. В четвертую передышку его настигает Страшный суд. Исполинские повозки, высотой с дом, с гору, до неба, приближаются с двух, с десяти, с двадцати сторон к прожорливому алтарю. Голос, мощный и сокрушительный, глумливо провозглашает: «Теперь это книги!» Кин вскрикивает и просыпается.

Этим сном, самым ужасным на его памяти, он был еще полчаса спустя подавлен и удручен. Оплошная спичка, когда он бродит по улице удовольствия ради, — и библиотека погибла! Она была у него застрахована и перестрахована. Но он сомневался в своей способности продолжать жить после уничтожения двадцати пяти тысяч томов, а не то что заботиться о выплате по полису. Он застраховал их в презренном состоянии духа, позднее он стыдился этого поступка. Всего охотнее он отменил бы страховку. Только чтобы никогда больше не входить в учреждение, где на книги и скот распространялись одни и те же законы, только

чтобы избавить себя от агентов, которых, несомненно, послали бы к нему на дом, он вовремя делал нужные взносы.

Разложенный на составные части, сон теряет свою силу. Мексиканские пиктографические рукописи он рассматривал третьего дня. Одна из них изображала жертвоприношение пленника, которое совершали, вырядившись ягуарами, два жреца. О старике Эратосфене, александрийском библиотекаре, он подумал несколько дней назад, по поводу встречи с каким-то слепым. Название «Александрия» будило в каждом воспоминание о пожаре в знаменитой библиотеке. На одной средневековой гравюре по дереву, над наивностью которой он всегда смеялся, были карикатурно изображены десятка три евреев, горевших ярким огнем и даже на костре упрямо выкрикивавших свои молитвы. Микеланджело он восхищался; выше всего он ставил его «Страшный суд». Там грешников тащили в ад безжалостные черти. Один из проклятых, воплощение страха и горя, прижимал ладони к трусливой тупой башке; с его ногами что-то делали черти; бед он никогда не замечал, не замечал он и собственной беды, которая теперь постигла его. Вверху стоял Христос, отнюдь не христианского вида, и проклинал жестокой, мощной рукой. Из всего этого сон и выстроил сновиденье.

Выкатив из комнаты умывальную телегу, Кин услышал непривычно высокое «Уже поднялись?». Зачем этой особе понадобилось так громко кричать, да еще в такую рань, когда почти еще спишь? Верно, он обещал ей книгу. Ей можно предложить всего лишь какой-нибудь роман. Только от романов уму пользы мало. За удовольствие, которое они, может быть, и доставляют, надо платить с лихвой: они разлагают и самый лучший характер. Учишься вживаться во всяких людей. Находишь удовольствие в непрестанной суете. Растворяешься в персонажах, которые тебе нравятся. Каждая точка зрения делается понятной. Покорно задаешься чужими целями и надолго упускаешь из виду свои собственные. Романы — это клинья, которые пишущий актер вбивает в цельную личность своего читателя. Чем лучше он рассчитывает клин и сопротивление, тем расщепленнее останется личность. Романы государство должно было бы запретить.

В семь Кин снова открыл дверь. Тереза стояла перед ней, уверенно и скромно, как всегда, несколько сильнее скосив ухо.

— Позволю себе, — напомнила она нагло.

Кину ударила в голову его скудная кровь. Эта проклятая юбка торчала здесь и помнила все, что ей необдуманно обещали.

— Вы хотите книгу! — вскричал он, и голос у него сорвался. — Вы ее получите!

Он швырнул дверь ей в лицо, прошел дрожащими ногами-ходулями в третью комнату и вытащил одним пальцем «Штаны господина фон Бредова». Книга эта была у него с ранних школьных лет, тогда он давал ее читать всем одноклассникам и терпеть ее не мог из-за вида, в каком она с тех пор пребывала. Переплет в пятнах и засаленные страницы вызвали у него злорадство. Он спокойно вернулся к Терезе и поднес книгу к самым ее глазам.

— Это не нужно было, — сказала она и вытащила из-под мышки толстую пачку бумаги, оберточной бумаги, он только теперь заметил ее. Она не спеша выбрала подходящий листок и накинула его на книгу, как распашонку на младенца. Затем взяла второй листок и сказала: — Двойной шов надежнее.

Когда оказалось, что новая обложка сидит недостаточно хорошо, она сорвала ее и примерила третью.

Кин следил за ее движениями так, словно видел ее впервые в жизни. Он недооценивал ее. Она обращалась с книгами лучше, чем он. Ему старье было ненавистно, а она обертывала его сразу двумя слоями. Она не прикасалась к переплету ладонями. Она работала только кончиками пальцев. Да и пальцы были у нее совсем не такие толстые. Ему стало стыдно за себя и радостно за нее. Не следовало ли принести что-нибудь другое? Она заслуживала менее грязного материала для чтения. Ну, начать-то она могла и с этого. Все равно ей скоро понадобится вторая. При ней библиотека была в безопасности, вот уже восемь лет, а он и не знал.

— Я должен завтра уехать, — заявил он вдруг, она как раз расправляла сгибами пальцев обертку, — на несколько месяцев.

— Тогда я смогу наконец как следует вытереть пыль. Разве за час справишься?

— Как вы поступите, если случится пожар?

Она испугалась. Бумага упала на пол. Книга осталась у нее в руке.

— Боже мой, буду спасать!

— Да я вовсе не уезжаю, я просто пошутил.

Кин улыбнулся. Тронутый свидетельством полной веры, что он уедет и оставит книги в одиночестве, он подошел к ней, похлопал ее по плечу костлявыми пальцами и сказал почти дружески:

— Вы славная особа.

— Посмотрю-ка, что вы для меня выбрали, — сказала она; уголки ее рта доставали уже до самых ушей. Она открыла книгу, прочла вслух: — «Штаны...» — запнулась и не покраснела. Лицо ее слегка покрылось потом. — Ну, доложу я вам, господин профессор! — воскликнула она и, мгновенно возликовав, ускользнула в кухню.

В течение следующих дней Кин старался обрести прежнюю сосредоточенность. У него тоже случались мгновения, когда он уставал от своих буквенных трудов и испытывал тайное желание выйти на люди на более долгий срок, чем то позволял его нрав. Открыто борясь с такими порывами, он терял много времени; в споре они обычно набирали силу. Поэтому он придумал более действенный способ: он старался перехитрить их. Он не клал голову на письменный стол и не предавался усталым желанием. Он не бежал на улицу и не вступал с дураками в какие-то пустые разговоры. Напротив, он оживлял свою библиотеку изысканными друзьями. Чаще всего он склонялся к древним китайцам. Он приказывал им выйти из тома и сойти со стены, где было их место, подзывал их, усаживал, приветствовал их, угрожал им, как когда, вкладывал им в уста их собственные слова и отстаивал свое мнение до тех пор, пока они не умолкали. Дискуссии, которые он должен был вести письменно, приобретали от этого неожиданную прелесть. Он упражнялся в устной китайской речи и выпрямлял себя с помощью умных оборотов, легко и победительно слетавших с его губ. Если я пойду в театр, я услышу ничтожные разговоры, которые развлекают, вместо того чтобы наставлять, и нагоняют скуку, вместо того чтобы развлекать. Два-три полноценных часа я должен убить, чтобы в конце концов с досадой лечь спать. Мои собственные диалоги менее продолжительны, и уровень их высок. Так оправдывал он перед собой свою невинную игру, потому что со стороны она показалась бы странной.

На улицах или в книжных магазинах Кин нередко встречал варваров, которые изумляли его человеческими высказываниями. Чтобы сгладить впечатления, противоречившие его презрению к массе, он в таких случаях вспоминал один небольшой подсчет. Сколько слов произносит этот тип в день? Самое меньшее десять тысяч. Три из них имеют смысл. Случайно я услышал эти три. Слова, которые сотнями тысяч в день мелькают у него в голове, которые у него на уме и которых он не произносит, — сплошная чушь;

они написаны у него на лице; их, к счастью, не слышишь.

Экономка, впрочем, говорила мало, потому что она всегда бывала одна. Как-то сразу у них появилось что-то общее, к чему ежечасно возвращались его мысли. При виде ее ему тут же приходили на память заботливо обернутые «Штаны господина фон Бредова». Десятки лет стояла эта книга в его библиотеке. Всякий раз, когда он проходил мимо нее, от одного вида ее корешка у него екало сердце. Почему он не догадался поправить дело красивой оберткой? Он жалким образом спасовал. А вот пришла эта простая экономка и научила его уму-разуму.

Или она только разыгрывала перед ним комедию? Может быть, она подольщалась к нему, чтобы усыпить его бдительность. Его библиотека была знаменита. Из-за некоторых уникамов торговцы уже осаждали его. Может быть, она готовит большую кражу. Надо узнать, что она делает, оставаясь наедине с книгой.

Однажды он неожиданно для нее нагрянул в кухню. Недоверие мучило его, он хотел ясности. Если она будет разоблачена, он ее выгонит. Он просит стакан воды, она, видимо, не слышала, как он кричал ей. Пока она поспешно исполняла его желание, он проверил стол, перед которым она сидела. На вышитой бархатной подушечке лежала его книга. 20-я страница. Продвинулась она еще не очень далеко. Она подала ему стакан на тарелке. На руках у нее были при этом белые лайковые перчатки. Он забыл прижать пальцы к стакану, стакан упал на пол, тарелка вслед за ним. Шум и отвлечение были к стати. Он не проронил ни слова. С пятого года своей жизни, в течение тридцати пяти лет, он читал. Мысль о том, чтобы надевать для чтения перчатки, никогда не приходила ему в голову. Его смущение показалось ему самому смешным. Он взял себя в руки и спросил невзначай:

— Вы прочли еще мало?

— Я перечитываю каждую страницу раз десять, иначе нет никакой пользы.

— Вам это нравится? — Он заставлял себя задавать вопросы, а то бы он устремился вслед за водой.

— Книга всегда хороша. Понимать это надо. В ней были жирные пятна, я всячески пробовала, они не выводятся. Что мне теперь делать?

— Они и раньше там были.

— Все равно жаль. Какую, доложу я вам, ценность имеет такая книга!

Она не сказала «сколько же стоит», она сказала

«имеет ценность». Она имела в виду внутреннюю ценность, не цену. А он-то болтал ей что-то о капитале, который, мол, составляет его библиотека. Эта женщина, наверно, презирала его. Это человек великолепной души. Она ночами сидела над старыми пятнами и мучилась с ними, вместо того чтобы спать. Он, из неприязни, дал ей самую растрепанную, самую захватанную, самую засаленную свою книгу, а она стала любовно за ней ухаживать. Она была милосердна — не к людям, это нетрудно, а к книгам. Она пускала к себе слабых и сирых. Она пеклась о последней, всеми покинутой, пропащей твари на земле божьей.

Кин вышел из кухни в глубоком волнении. Святой женщине он не сказал ни слова. Она слышала, как он что-то бормотал в коридоре, и знала, на что могла рассчитывать.

Походив по высоким комнатам своей библиотеки, он позвал Конфуция. Тот двинулся ему навстречу с противоположной стены спокойно и невозмутимо — в чем нет никакой заслуги, если твоя жизнь давно у тебя позади. Кин побежал к нему широченными шагами. Он забыл о всякой приличествующей почтительности. Его взбудораженность разительно отличалась от осанки китайца.

— Кажется, у меня есть какое-то образование! — крикнул он ему с расстояния в пять шагов. — Кажется, у меня есть и какой-то такт. Меня уверяли, что образование и такт составляют одно целое, что одно немыслимо без другого. Кто уверял меня в этом? Ты! — Он не боялся обращаться к Конфуцию на «ты». — И вот вдруг появляется человек без какого бы то ни было образования и обнаруживает больше такта, больше души, больше достоинства, больше человечности, чем я, ты и вся твоя школа ученых вместе взятые!

Конфуций не потерял самообладания. Он даже не забыл поклониться, прежде чем с ним заговорили. Несмотря на невероятные оскорбления, густые его брови не хмурились. Из-под них глядели древние черные глаза, мудрые, как глаза обезьяны. Он степенно открыл рот и изрек следующее:

— В пятнадцать лет моя воля была направлена на ученье, в тридцать я сложился, в сорок у меня уже не было сомнений, — но слух мой открылся лишь в шестьдесят.

Кин помнил эту фразу слово в слово. Но как ответ на его бурную атаку она очень рассердила его. Он быстро сравнил цифровые данные — сходились ли они. Когда ему было пятнадцать лет, он тайком, против

воли матери, проглатывал книгу за книгой, днем в школе, ночью под одеялом, при скупом свете крошечного карманного фонарика. Случайно просыпаясь среди ночи, его младший брат Георг, которого мать приставила к нему сторожем, неукоснительно срывал с него одеяло проверки ради. От того, насколько ловко прятал он под собой фонарик и книгу, зависела читальная судьба следующих ночей. В тридцать лет у него сложилось отношение к своей науке. От профессуры он презрительно отказывался. На проценты с отцовского наследства он мог бы приятно прожить всю жизнь. Он предпочел пустить капитал на книги. Через несколько лет, может быть, только через целых три года, все будет истрачено. Денежные затруднения в будущем ему никогда не снились, стало быть, он не боялся будущего. Сорок ему было теперь. До сегодняшнего дня он не знал никаких сомнений. «Штанов господина фон Бредова» он, правда, не одолел. Шестидесяти ему еще не было, а то бы он уже открыл свой слух. Да и кому открывать ему свой слух?

Словно угадав этот вопрос, Конфуций подошел на шаг ближе, приветливо поклонился Кину, хотя тот был выше его на две головы, и дал ему такой доверительный совет:

— Наблюдай за повадкой людей, наблюдай за побудительными причинами их поступков, проверяй, в чем находят они удовлетворение. Как скрытен может быть человек! Как скрытен может быть человек!

Тут Кину стало очень грустно. Что толку знать такие слова наизусть? Надо их применять, проверять, подтверждать. Восемь лет совсем рядом со мной человек жил зря. Повадку ее я знал, а о побудительных причинах не думал. Что она делала для моей библиотеки, это я знал. Результат был у меня перед глазами ежедневно. Я думал, она делает это ради денег. С тех пор как я узнал, в чем находит она удовлетворение, я лучше знаю ее побудительные причины. Она выводит пятна на несчастных, униженных книгах, о которых никто не скажет доброго слова. Это ее отдых, это ее сон. Не застигни я ее в кухне из-за своего подлого недоверия, ее поступок никогда не стал бы известен. В своей уединенности она вышила подушку для приемыша и уложила его на мягкое. В течение восьми лет она никогда не носила перчаток. Перед тем как решиться открыть книгу, эту книгу, она пошла и купила на свои тяжело заработанные деньги пару перчаток. Она не глупа, вообще-то она особа практичная, она знает, что вместо перчаток могла бы купить три новых таких

книги. Я совершил большую ошибку. В течение восьми лет я был слеп.

Конфуций не позволил ему подумать так дважды. «Ошибаясь, не исправляться—это и есть ошибаться. Совершив ошибку, не стыдись исправить ее».

Будет исправлено, воскликнул Кин. Я возьму ей эти восемь потерянных лет. Я женюсь на ней! Она—лучшее средство для содержания в порядке моей библиотеки. При пожаре я могу на нее положиться. Если бы я создавал какую-то особу по своим планам, она не получилась бы настолько целесообразной. У нее хорошие задатки. Она прирожденная опекунша. У нее доброе сердце. Ее сердце закрыто для неграмотного отребья. Она могла бы завести любовника, какого-нибудь булочника, мясника, портного, какого-нибудь варвара, какого-нибудь болвана. Она не решается на это. Ее сердце принадлежит книгам. Что проще, чем жениться?

На Конфуция он больше не обращал внимания. Когда он случайно взглянул в его сторону, тот уже успел раствориться. Он услышал только, как голос Конфуция тихо, но ясно сказал: «Видеть нужное и не сделать нужного—это отсутствие мужества».

У Кина не было времени, чтобы поблагодарить его за это последнее ободрение. Он ринулся к кухне и так рванул дверь, что ручка ее сломалась. Тереза сидела перед своей подушкой и делала вид, что читает. Почувствовав, что он уже стоит сзади, она поднялась и дала ему увидеть его книгу. От нее не ускользнуло его впечатление от прошлого разговора. Поэтому она снова задержалась на третьей странице. Он помедлил, не нашелся что сказать и посмотрел на свои руки. Тут он заметил отломившуюся дверную ручку, он со злостью швырнул ее на пол. Затем он стал перед ней навтыжку и сказал:

— Дайте мне вашу руку!

Тереза выдохнула: «Ну, доложу вам»—и протянула ему ее. «Сейчас начнется совращение»,—подумала она и вся вспотела.

— Да нет, — сказал Кин, он употребил слово «рука» не в прямом смысле, — я хочу жениться на вас!

Такого быстрого решения Тереза не ожидала. Она перекинула потрясенную голову в другую сторону и ответила гордо, борясь с заиканьем:

— Позволю себе!

РАКОВИНА

Бракосочетание состоялось без шума. Свидетелями были один старый посыльный, добивавшийся от своего дряхлого тела последних маленьких услуг, и один компанейский сапожник-пьянчужка, который, хитренько улизнув от всех собственных бракосочетаний, с большим удовольствием глядел на чужие. Заказчиков поприличнее он настоятельно просил поскорее поженить их дочерей и сыновей. В пользу ранних браков он находил убедительные доводы:

— Как только детки лягут вместе, так уже и внуки готовы. Теперь надо вам и внуков поскорей поженить, и пойдут правнуки.

В заключение он указывал на свой хороший костюм, позволяющий ему присутствовать где угодно. Перед особенно хорошими браками он отдает его в утюжку, при обычных гладит сам дома. Об одном только он молит — чтобы его заблаговременно известили. Если ему долго не случалось бывать на такой церемонии, то он, работник от природы не быстрый, предлагал починить обувь срочно и даром. Обещания, связанные с этой областью, он, хотя вообще-то на него нельзя было положиться, выполнял точно в срок и взимал действительно небольшую плату. Дети, достаточно испорченные, чтобы жениться тайком против воли родителей, но недостаточно испорченные, чтобы обойтись без регистрации брака, большей частью девицы, пользовались иногда его услугами. Вообще-то сама болтливость, он был в таких случаях скрытен. Ни единым намеком не выдавал он себя, со вкусом рассказывая ничего не подозревающим матерям о бракосочетании их собственных дочерей. Прежде чем отправиться к своему «идеалу», как он это называл, он вешал на дверь мастерской внушительную вывеску. На ней было написано кудрявыми, угольно-черными буквами: «Ушел по надобности. Возможно, приду. Нижеподписавшийся — Губерт Бередингер».

Он был первым, кто узнал о счастье Терезы. Он сомневался в правдивости ее слов до тех пор, пока она обиженно не пригласила его в загс. Когда церемония закончилась, свидетели вышли вслед за молодыми на улицу. Посыльный принял плату с подобострастной благодарностью. Бормоча поздравления, он удалился. «Если снова понадобится...» — звенело у Кина в ушах. На расстоянии десяти шагов беззубый рот был еще полон усердия. Зато Губерт Бередингер был горько разочарован. Такое бракосочетание было не по нему.

Он отдавал свой костюм в утюжку, а жених явился в будничном виде, в стоптанных башмаках, в изношенной одежде, не было в нем ни радости, ни любви, вместо того чтобы смотреть на невесту, он все смотрел на бумаги. «Да» он сказал так, как сказал бы «спасибо», руку этой старухе он затем даже не предложил, а поцелуй, которым сапожник жил несколько недель, — один чужой поцелуй возмещал ему двадцать собственных, — поцелуй, ради которого ему не жаль было раскошелиться, поцелуй, который, именуясь надобностью, висел на двери мастерской, официальный поцелуй, при котором присутствовал чиновник, поцелуй честь честью, поцелуй навеки, поцелуй, этот поцелуй не состоялся вообще. Свою обиду он спрятал за язвительной ухмылкой. «Минуточку», — хихикнул он, как фотограф, Кины помедлили. Тогда он вдруг склонился к какой-то женщине, ушипнул ее за подбородок, громко сказал «гугу» и стал похотливо обследовать ее пышные формы. Толще и толще становилось его круглое лицо, щеки натягивались, вокруг глаз дергались юркие змейки, его жесткие руки описывали все более широкие дуги. С каждой секундой женщина увеличивалась. Два взгляда посылались ей, третьим он ободрял жениха. Потом он совсем привлек ее к себе и левой рукой грубо схватил за грудь.

Правда, женщины, с которой развлекался сапожник, не существовало, но Кин понял эту бесстыдную игру и потянул прочь глядевшую на нее Терезу.

— Нализываются уже с утра! — сказала Тереза и вцепилась в руку мужа: она тоже была возмущена.

На ближайшей остановке они подождали трамвая. Чтобы подчеркнуть, что и этот день такой же, как все другие, Кин не взял такси. Подошел их вагон; он первым вскочил на подножку. Уже на площадке он подумал, что первой следовало бы пройти жене. Он слез спиной к улице и сильно толкнул Терезу. Кондуктор дал злобный сигнал отправления. Трамвай ушел без них.

— В чем дело? — спросила Тереза с упреком. Он, видимо, причинил ей немалую боль.

— Я хотел вам помочь подняться — тебе — пardon.

— Ну, — сказала она, — еще чего не хватало.

Когда они наконец уселись, он заплатил за двоих. Так надеялся он загладить свою неловкость. Кондуктор вручил ей билеты. Вместо того чтобы поблагодарить, она ослабилась; плечом она толкнула сидевшего рядом с ней мужа.

— Да? — спросил он.

— Можно подумать, — насмешливо сказала она и помахала билетами за тучной спиной кондуктора. Она смеется над ним, подумал Кин и промолчал.

Он начал чувствовать себя неуютно. Вагон наполнился. Напротив него села какая-то женщина. Она везла с собой целых четырех детей, мал мала меньше. Двоих она держала у себя на коленях, двое стояли. Господин, сидевший справа от Терезы, вышел. «Вон там, вон там!» — воскликнула мать и быстро дала знак своим шалунам. Дети стали протискиваться туда, мальчик и девочка, оба еще дошкольного возраста. С другой стороны приближался какой-то пожилой господин. Тереза подняла руки, защищая свободное место. Дети пролезли под ними. Им не терпелось что-нибудь сделать самим. Головы их вынырнули у самой скамейки. Тереза смахнула их, как пыль.

— Мои дети! — закричала мать. — Что вы делаете?

— Ну, доложу вам, — ответила Тереза и со значени-ем посмотрела на мужа. — Дети в последнюю очередь.

Пожилой господин тем временем подошел, поблагодарил и сел.

Кин перехватил взгляд жены. Ему захотелось, чтобы здесь оказался его брат Георг. Тот практиковал в Париже как гинеколог. Хотя ему еще не было тридцати пяти, он пользовался подозрительно хорошей репутацией. В женщинах он разбирался лучше, чем в книгах. Через какие-нибудь два года после окончания института его уже осаждало высшее общество, в той мере, в какой оно хворало, а оно, со всеми своими страждущими женщинами, хворало всегда. Уже этот внешний успех навлекал на него полное презрение Петера. Его красоту он Георгу, может быть, и простил бы, она была у него от природы, он не был в ней виноват. Искусственно обезобразить себя, чтобы избежать тягостных следствий такой большой красоты, не позволяя ему слабый, увы, характер. Сколь слабый, можно было судить по тому, что он изменил избранной специальности и открыто переметнулся к психиатрии. Там он будто бы чего-то достиг. В душе он оставался гинекологом. Безнравственный образ жизни был у него в крови. Без малого восемь лет назад Петер, возмущившись нетвердостью Георга, сразу прекратил переписку с ним и порвал несколько тревожных писем. А на то, что он рвал, он имел обыкновение не отвечать.

Женитьба давала сейчас прекрасный повод возобновить отношения. Влиянию Петера Георг был обязан своей любовью к научной деятельности. Обратиться к нему за советом, вторгшись в его истинную, естествен-

ную специальность, было бы вовсе не стыдно. Как обходиться с этим робким, скрытным существом? Она была уже не молода и относилась к жизни очень серьезно. У женщины, сидевшей напротив нее, несомненно куда более молодой, было уже четверо детей, у нее их вообще не было. «Дети в последнюю очередь». Это звучало очень ясно, но что она действительно имела в виду? Может быть, она не хотела детей; он тоже не хотел их. Он никогда не думал о детях. Зачем она это сказала? Может быть, она считает его безнравственным человеком? Она знает его жизнь. Уже восемь лет ей известны его привычки. Она знает, что у него есть характер. Разве он когда-нибудь уходил ночью? Разве к нему когда-нибудь приходила женщина, хотя бы на четверть часа? Когда она приступила к службе у него, он решительно заявил ей, что принципиально не принимает никаких гостей ни мужского, ни женского пола, начиная с младенцев и кончая древними стариками. Пусть она выпроваживает любого. «У меня никогда нет времени!»—это были его собственные слова. Что за бес вселился в нее? Может быть, этот распоясавшийся сапожник. Она была наивным, невинным созданием, как иначе, при своей необразованности, прониклась бы она такой любовью к книгам? Но этот грязный малый играл слишком грубо. Его движения были прозрачны, даже ребенок, не зная, зачем тот вытворяет это, понял бы, что он ошупывал женщину. Таким типам, распускающимся публично, место в закрытых лечебницах. Они наводят людей на гнусные мысли. Она человек дельный. Сапожник ее заразил. С чего бы иначе она подумала о детях? Не исключено, что она об этом слышала. Женщины много говорят между собой. Она, наверно, видела роды, на каком-нибудь прежнем месте работы. Что тут такого, если она все знает. Лучше, чем если бы самому пришлось просвещать ее. Какая-то застенчивость есть в ее взгляде, в ее возрасте это производит почти смешное впечатление.

Я и не собирался требовать от нее никаких пошлостей, вот уж нет. У меня никогда нет времени. Шесть часов мне нужно на сон. До двенадцати я работаю, в шесть мне надо вставать. Собаки и прочие животные могут и днем заниматься такими вещами. Может быть, от брака она ждет этого? Вряд ли. Дети в последнюю очередь. Глупая. Она хотела сказать, что все это знает. Знает цепь, в конце которой—готовые дети. Она выражает это прелестным образом. Она отталкивается от маленького эпизода, дети разбаловались, фраза эта напрашивалась, но взгляд был адресован лишь мне,

вместо всяческих исповедей. Понятно. Ведь такие знания вызывают неловкость. Я женился из-за книг, дети в последнюю очередь. Это ничего не значит. Она тогда сочла, что дети учатся слишком мало. Я прочел ей отрывок из Араи Хакусэки. Она была вне себя от радости. Так она себя впервые и выдала. Кто знает, когда бы я еще распознал ее отношение к книгам. Тогда мы сблизились. Может быть, она хочет только напомнить об этом. Она все та же. Ее мнение о детях не изменилось с тех пор. Мои друзья—это ее друзья. Мои враги остаются врагами и для нее. Короткой речи смысл невинный. О других связях она понятия не имеет. Мне надо быть начеку. Она может испугаться. Я буду осторожен. Как я скажу это ей? Говорить трудно. Книг об этом у меня нет. Купить? Нет. Что подумает книготорговец? Я не свинья. Послать кого-нибудь? Кого? Ее самое—тьфу ты, собственную жену! Как можно быть таким трусом. Я должен попробовать. Я сам. Если она не захочет. Она закричит. Жильцы — управляющий домом — полиция — отребье. Мне ничего нельзя сделать. Я женат. Мое право. Отвратительно. Как это мне пришло в голову? *Меня* заразил сапожник, не ее. Стыдись. В течение сорока лет. И вдруг. Я ее пощажу. Дети в последнюю очередь. Знать бы, что она действительно имела в виду. Сфинкс.

Тут встала мать четверых детей. «Осторожно!» — предупредила она и стала подвигать их вперед левой рукой. Справа, рядом с Терезой, находилась *она*, отважный офицер. Вопреки ожиданию Кина, она кивнула ей, приветливо попрощалась со своей недоброжелательницей, сказала:

— Вам хорошо. Вы еще не замужем! — и засмеялась, рот ее на прощанье сверкнул золотыми зубами. Лишь когда она вышла, Тереза вскочила и закричала отчаянным голосом:

— Извольте, мой муж, извольте, мой муж! Мы просто не хотим детей! Извольте, мой муж!

Она указывала на него, она тянула его за рукав. Я должен успокоить ее, думал он. Эта сцена была для него мучительна, Тереза нуждалась в его защите, она всё кричала и кричала. Наконец он поднялся на всю свою длину и сказал при всех пассажирах:

— Да.

Ее обидели, она должна была защищаться. Ее ответ был так же неделикатен, как и нападение на нее. Она была не виновата. Тереза опустила на сиденье. Никто, даже тот господин рядом с ней, которому она помогла занять место, не взял ее сторону. Мир был

отравлен симпатией к детям. Через две остановки Кины выходили. Тереза шла впереди. Он вдруг услышал, как за спиной у него говорят:

— Самое лучшее у нее — юбка.

— Крепость.

— Бедняга он.

— Что поделать — старуха не сахар.

Все засмеялись. Кондуктор и Тереза, которая пребывала уже на площадке, ничего не услышали. Но кондуктор все-таки засмеялся. На улице Тереза с довольным видом взяла мужа под руку и сказала:

— Ну и весельчак!

Весельчак высунулся из тронувшегося вагона, приложил руку ко рту и неразборчиво пробурчал какие-то слова. Он весь трясся, несомненно, от смеха. Тереза кивнула и в ответ на недоуменный взгляд оправдалась словами:

— Еще, того гляди, выпадет из вагона.

А Кин украдкой посмотрел на ее юбку. Она была синее, чем обычно, и накрахмалена еще жестче. Юбка была неотъемлемая от нее, как раковина от моллюска. Попробуй-ка силой раскрыть створки раковины, в которой замкнулся моллюск. Огромный моллюск, величиной с эту юбку. Надо его растоптать, превратить в слизь и обломки, как тогда в детстве на берегу моря. Раковина не приоткрывала ни щелки. Он никогда не видел голого моллюска. Какую тварь прятала скорлупа с такой силой? Он хотел это узнать, тотчас же, в руках у него была твердая, упрямая штука, он мучился, орудуя пальцами и ногтями, моллюск мучился тоже. Он поклялся себе, что не сойдет с места, пока не взломает раковину. Моллюск поклялся себе в противном. Моллюск не хотел, чтобы его увидели. «Почему моллюск стыдится, — думал он, — я потом отпущу его на волю, даже снова закрою, я не причиню ему никакого вреда, обещаю, если он глухой, то пусть боженька передаст ему мое обещание». Он уговаривал раковину несколько часов. Его слова были так же слабы, как его пальцы. Окольных путей он терпеть не мог, двигаться к цели он любил только напрямик. Под вечер мимо проходил большой пароход, далеко в море. Он, Кин, ринулся на могучие черные буквы на борту и прочел название «Александр». Тут он рассмеялся среди своей ярости, мгновенно надел башмаки, швырнул раковину изо всех сил на землю и, ликуя, сплясал на ней гордиев танец. Теперь вся оболочка моллюска оказалась ненужной. Его башмаки раздавили ее. Вскоре моллюск лежал

перед ним нагишом, комочек беды, слизи и надувательства и вообще не животное.

Терезы без оболочки—без юбки—не существовало. Юбка всегда безупречно накрахмалена. Это ее переплет, синий, цельнотканевый. Она ценит хорошие переплеты. Почему складки со временем не расходятся? Ясно, что она очень часто гладит юбку. Может быть, у нее их две. Никакой разницы не заметно. Ловкая особа. Никак нельзя мне мять ее юбку. Она лишится чувств от огорчения. Что мне делать, если она вдруг лишится чувств? Я заранее попрошу у нее прощения. Потом она сможет снова выгладить юбку. Я выйду тем временем в другую комнату. Почему ей просто не надеть вторую? Очень уж много трудностей чинит она мне. Она была моей экономкой, я женился на ней. Пусть купит себе дюжину юбок и почаще меняет их. Тогда можно будет крахмалить их не так жестко. Чрезмерная жесткость смешна. Люди в трамвае правы.

Подниматься по лестнице было нелегко. Незаметно для себя он замедлил шаг. На третьем этаже он решил, что находится уже у себя наверху, и испугался. С пеньем навстречу бежал маленький Метцгер. Едва увидев Кина, он указал на Терезу и пожаловался:

— Она не впускает меня! Она всегда захлопывает дверь. Отругай ее, господин профессор!

— Что это значит?— спросил Кин грозно, благодарный за козла отпущения, который вдруг явился как по заказу.

— Вы же разрешили мне. Я сказал ей это.

— Кому это «ей»?

— Вот этой!

— Вот этой?

— Да, мать сказала мне, что она не должна грубить, она всего лишь слуга.

— Ах ты паршивец!— воскликнул Кин и размахнулся, чтобы дать мальчишке затрещину. Тот пригнулся, споткнулся, упал и, чтобы не скатиться с лестницы, вцепился в юбку Терезы. Послышался хруст, который издает, когда его расправляют, накрахмаленное белье.

— Каково!— кричал Кин. — Ты еще и грубишь!

Этот мальчишка издевался над ним. Вне себя от злости, он пнул его несколько раз ногами, кряхтя, приподнял его за вихор, вlepил ему две-три костлявые оплеухи и затем отшвырнул его в сторону. Малыш с плачем побежал по ступенькам вверх.

— Я скажу матери! Я скажу матери!

Наверху отворилась и снова захлопнулась дверь. Женский голос начал браниться.

— Жаль ведь хорошей юбки, — оправдала Тереза это жестокое избиение и, остановившись, как-то особенно взглянула на своего защитника. Самое время было подготовить ее. Надо было что-то сказать. Он тоже остановился.

— Да, действительно, хорошая юбка. «Что прочно на земле?» — процитировал он, обрадовавшись своей находчивости, позволившей ему намекнуть на то, что позднее во всяком случае должно было последовать, словами прекрасного старого стихотворения. Стихами можно наилучшим образом сказать все. Стихи подходят к любой ситуации. Они называют предмет его самым церемонным именем, и все же их понимаешь. Уже продолжая идти, он повернулся к ней и сказал:

— Прекрасное стихотворение, правда?

— О да, стихи всегда прекрасны. Надо только понимать их.

— Все надо понимать, — сказал он медленно и со значением и покраснел.

Тереза толкнула его локтем в ребра, вздернула правое плечо, откинула голову в непривычную сторону и сказала колко и вызывающе:

— Что ж, видно будет. В тихом омуте черти водятся.

У него было такое чувство, что она имеет в виду его. Ее ответ он понял как неодобрение. Он сожалел о своем бесстыдном намеке. Язвительный тон ее замечания отнял у него последний остаток мужества.

— Я... я не то хотел сказать, — промямлил он.

Входная дверь спасла его от дальнейшего смущения. Он был рад поводу полезть в карман и поискать ключи. Так он хотя бы мог незаметно опустить взгляд. Он не нашел их.

— Я забыл ключи, — сказал он. Теперь он должен взломать квартиру, как тогда раковину. Трудности одна за другой, ничего не удастся. Он растерянно полез в другой карман штанов. Нет, ключей нигде не было. Он продолжал искать, когда услышал какой-то звук со стороны замка. Взломщики! — мелькнуло молнией у него в голове. В тот же миг он увидел возле замка ее руку.

— Зато мои при мне, — сказала она, довольная донельзя.

Счастье, что он не позвал «на помощь». Это уже вертелось у него на языке. Всю жизнь ему пришлось бы стыдиться ее. Он вел себя как мальчишка. Забыть ключи — такого с ним еще не бывало.

Наконец они оказались в квартире. Тереза открыла дверь в его спальню и направила его туда.

— Я сейчас приду, — сказала она и оставила его одного.

Он огляделся и облегченно вздохнул, выпущенный из тюрьмы на волю.

Да, это его родина. Здесь с ним ничего не может случиться. Он улыбается, представив себе, что здесь с ним может случиться что-либо. Он избегает глядеть в сторону дивана, где спит. Каждому человеку нужна родина, не такая, как понимают ее примитивные урапатриоты, и не религия, вялое предвкушение родины на том свете, нет, а родина, смыкающая почву, работу, друзей, отдых и духовный мир в одно естественное, упорядоченное целое, в собственный космос. Лучшее определение родины — библиотека. Женщин умнее всего держать подалеже от своей родины. Если все-таки решаешься принять туда какую-нибудь, то сперва надо постараться, как он это сделал, чтобы она полностью ассимилировалась там. За восемь долгих, тихих, упорных лет книги добились для него покорности этой женщины. Сам он для этого и пальцем не пошевелил. Его друзья завоевали эту женщину от его имени. Конечно, против женщин можно сказать многое, только дурак женится без испытательного срока. У него хватило ума подождать до сорока лет. Пусть другой попробует выдержать, как он, этот восьмилетний испытательный срок. То, что должно было произойти, созрело постепенно. Сам человек — своей судьбы владыка. Если вдуматься, то ему не хватало только жены. Он не бонвиван, — при слове «бонвиван» он представляет себе своего брата Георга, гинеколога, — он что угодно, только не бонвиван. Но тяжелые сны последнего времени были, вероятно, связаны с его чрезмерно суровой жизнью. Теперь это изменится.

Смешно и дальше уклоняться от положенного. Он мужчина, что должно произойти теперь? Произойти? Это чересчур. Сперва надо определить, когда это должно произойти. Сейчас она будет отчаянно защищаться. Его не должно это смущать. Понятно, что женщина защищает свое последнее достояние. Как только это произойдет, она будет восхищаться им, потому что он мужчина. Таковы будто бы все женщины. Произойдет это, стало быть, сейчас. Решено. Он дает себе честное слово.

Во-вторых: где должно это произойти? Противный вопрос. Фактически уже все это время у него стоит перед глазами диван. Его взгляд скользнул по полкам, диван тоже скользнул по ним. На нем лежала раковина с морского берега, огромная и синяя. Где задержива-

лись его глаза, туда становился и диван, приниженный и неуклюжий. Вид у него был такой, словно он нес на себе всю тяжесть полка. Оказываясь вблизи настоящего дивана, Кин резко отворачивал голову и отходил подальше. Теперь, когда решение принято и скреплено честным словом, он видит диван отчетливее и дольше. По привычке, наверно, взгляд несколько раз еще, правда, отскакивает. В конце концов он все же задерживается и останавливается. Диван, подлинный, живой диван пуст, и на нем нет ни раковины, ни тяжестей. А если на него искусственно навалить тяжесть? Если загрузить его слоем прекрасных книг? Если его совсем завалить книгами, так что его почти не будет видно?

Кин повинуется своему гениальному порыву. Он набирает целую охапку книг и осторожно взгромождает их на диван. Он предпочел бы брать книги сверху, но времени в обрез, она сказала, что сейчас придет. Он отказывается от этой мысли, оставляет стремянку на месте и довольствуется сочинениями, взятыми снизу. Четыре-пять тяжелых томов он кладет друг на друга и наспех гладит их, прежде чем пойти за новыми. Книг похуже он не берет, чтобы не обижать женщину. Правда, она мало что смыслит в этом, но он заботится о ней, потому что по отношению к книгам она деликатна и бережна. Сейчас она придет. Увидев перегруженный диван, она, по своей любви к порядку, сразу подойдет к нему и спросит, где место этих томов. Так он заманит в ловушку ничего не подозревающее существо. Названия книг послужат завязкой для разговора. Мало-помалу Кин будет продвигаться и медленно подведет к делу. Потрясение, которое предстоит ей, — величайшее событие в жизни женщины. Он не хочет пугать ее, он поможет ей. Это единственная возможность действовать смело и решительно. Порывистость ему ненавистна. Он благословляет книги. Только бы она не закричала.

Уже раньше слышал он какой-то слабый шум, как если бы открылась дверь в четвертой комнате. Он не обращает на это внимания, у него дела поважнее. Со стороны письменного стола оглядывает он бронированный диван, проверяя, каков будет эффект, и преисполняется чувством признательной любви к книгам.

Тут голос ее говорит:

— Вот и я.

Он оборачивается. Она стоит на пороге соседней комнаты, в ослепительно белой нижней юбке с широким подзором. Он сперва поискал глазами синего цвета,

цвета опасности. Он испуганно переводит взгляд вверх: блузку она не сняла.

Слава богу. Юбки нет. Теперь мне не надо ничего мять. Разве это пристойно? Такое счастье. Я постыдился бы. Как она может так. Я бы сказал: сними ее. Я так не смог бы. Она стоит себе как ни в чем не бывало. Мы, должно быть, уже очень давно знакомы. Конечно, моя жена. При любом браке. Откуда она это знает. Она служила. У одной супружеской пары. Все могла видеть. Как животные. Они находят то, что нужно, сами собой. У нее в голове не книги.

Тереза приближается, качая бедрами. Она не скользит, она переваливается с боку на бок. Значит, только из-за накрахмаленной юбки кажется, что она скользит. Она радостно говорит:

— В такой задумчивости? Да уж, эти мужчины.

Она сгибает мизинец, грозит и указывает им на диван. Надо и мне пойти туда, думает он, и тут же оказывается — он не знает, как это получилось, — возле нее. Что надо ему сделать теперь — положить на книги? Он дрожит от страха, он молитвенно взывает к книгам, последнему рубжу. Тереза перехватывает его взгляд, она наклоняется и одним размашистым движением левой руки сметает все книги на пол. Он делает беспомощное движение в их сторону, он хочет закричать, ужас сдавливает ему горло, он сглатывает и не может издать ни звука. Медленно вскипает страшная ненависть: она осмелилась на это. Книги!

Тереза снимает нижнюю юбку, заботливо складывает ее и кладет на лежащие на полу книги. Затем она устраивается на диване, сгибает мизинец, ослабливает и говорит:

— Ну вот!

Кин длинными прыжками вылетает из комнаты, запирается в уборной, единственном помещении в квартире, где нет книг, машинально спускает в этом месте штаны, садится на стульчак и плачет, как ребенок.

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

— Не буду же я в одиночестве есть в кухне, как прислуга. Хозяйка ест за столом.

— Стола нет.

— Вот я и твержу — нужен стол. Где это видано, чтобы в приличном доме человек ел за письменным столом? Все восемь лет я уже об этом думаю. Пора наконец сказать.

Был куплен стол, вместе со столовой орехового дерева. Грузчики установили все это в четвертой комнате, самой отдаленной от письменного стола. Каждый день, большей частью молча, обедали и ужинали с новой мебелью. Не прошло и недели, как Тереза сказала:

— У меня просьба. Здесь четыре комнаты. У мужа и жены одинаковые права. Таковы нынешние законы. На каждого по две комнаты. Что дозволено одному, разрешено и другому. Я возьму себе столовую и соседнюю комнату. Муж сохранит за собой прекрасный кабинет и большую комнату рядом. Так проще всего. Обстановка останется какая есть. Не нужно будет никаких счетов. Ведь жаль времени. Надо с этим покончить. Тогда у обеих сторон не будет никаких помех. Муж идет к письменному столу, жена приступает к своей работе.

— Хорошо, а книги?

Кин чувствует ее замысел. Его не обманешь. И даже если это будет стоить ему двух фраз, он у нее все выведает.

— Они скоро займут все место в моих комнатах.

— Я возьму их к себе!

Его голос зол. Боже мой, ему больно расставаться со своим добром. Ему жаль какого-то скарба.

— Зачем?— доложу я тебе. Перетаскивание не на пользу книгам. Я знаю, как быть. Оставь книги на месте. Я к ним не притронусь. Зато я возьму себе и третью комнату. Так это уравнивается. Прекрасный кабинет будет принадлежать исключительно мужу.

— Ты обязуешься молчать во время еды?

Мебель ему безразлична. Он продаст ее ей недешево. Во время еды она часто начинает говорить.

— Конечно, я люблю молчать.

— Договоримся об этом лучше в письменной форме!

С величайшей расторопностью скользнула она к письменному столу, вслед за ним. Договор, который он быстро набросал, еще не успел высохнуть, как она уже поставила под ним свою подпись.

— Ты знаешь, что ты подписала?— сказал он, высоко подняв листок, и для верности прочел ей свой текст вслух:— «Подтверждаю, что все книги, находящиеся в принадлежащих мне трех комнатах, составляют законную собственность моего мужа и что в этом распределении имущества никогда и ни при каких обстоятельствах ничего не изменится. За предоставление мне трех комнат обязуюсь молчать во время совместных трапез».

Обе стороны, и он и она, были довольны. Впервые после загса они пожали друг другу руки.

Так Тереза, молчавшая раньше по привычке, узнала, как высоко ценил он ее молчание. Условие, от которого зависел доставшийся ей подарок, она выполняла самым скрупулезным образом. За столом она передавала ему кушанья молча. Она добровольно отказалась от одного старого, давно томившего ее желания — рассказать мужу, как происходит в кухне приготовление пищи. Текст договора она твердо запомнила. Молчание по обязанности давалось ей труднее, чем просто молчание.

Однажды утром, когда он, отправляясь на прогулку, вышел из своей комнаты, она преградила ему путь и сказала:

— Сейчас мне можно говорить. Сейчас не трапеза. На этом диване я не могла бы спать. Разве он подходит к письменному столу? Такая дорогая, старая вещь и убогий диван. В приличном доме должна быть приличная кровать. Ведь стыдно же, если придут люди. Диван этот всегда меня угнетал. Как раз вчера я хотела это сказать. Но потом все-таки сдержалась. Хозяйке в доме получать отказ не положено. Этот диван, он ведь жесткий-прежесткий! Где это видано — держать такой жесткий диван? В жестком ничего хорошего нет. Я не безнравственна, этого никто обо мне не скажет. Но спать надо умеючи. Ложиться вовремя, и чтобы кровать была хорошая, вот как надо, а не такая жесткая.

Кин не прервал ее. Уверенный, что она будет молчать во всякое время суток, он неверно составил контракт и оговорил только часы трапез. В юридическом смысле договор не был нарушен. Правда, в моральном отношении она сплеховала. Но такие существа, как она, на это плюют. Он решил быть умнее впредь. Заговорив, он даст ей повод говорить дальше. Словно она была немая, словно он был глухой, Кин посторонился и пошел своей дорогой.

Однако она не отстала. Каждое утро она становилась перед дверью и поносила диван чуть жестче. Ее речь делалась все длиннее, его настроение — все хуже. Хоть и не позволяя себе глазом моргнуть, он, из любви к точности, выслушивал ее до конца. Насчет дивана она была, казалось, так осведомлена, словно сама спала на нем много лет. Непререкаемость ее суждений сказывала на него свое действие. Диван был скорее мягким, чем жестким. Кина так и подмывало заткнуть ее глупый рот одной-единственной фразой. Он спрашивал себя, сколь далеко может зайти ее наглость, и, чтобы

узнать это, рискнул произвести один маленький хитрый опыт.

Однажды, когда она снова ополчилась на жесткий, жесткий, жесткий диван, он насмешливо уставился ей в лицо — две жирные щеки, черная пасть — и сказал:

— Этого ты не можешь знать. Сплю на нем я.

— Все равно я знаю, что диван жесткий.

— Вот как! Откуда же?

Она ухмыльнулась.

— Этого я не скажу. Есть кое-какие воспоминания.

Внезапно она и ее ухмылка показались ему очень знакомыми. Возникла пронзительно белая нижняя юбка, разреженная кружевами, грубая рука набросилась на книги. Вот они лежали на ковре как трупы. Страшилище, наполовину голое, наполовину блузка, гладко сложило нижнюю юбку и покрыло их ею, как саваном.

В этот день работа у Кина не ладилась. У него ничего не вышло; еда вызывала у него отвращение. Один раз ему удалось забыть. Тем отчетливее он вспоминал теперь. Ночью он не сомкнул глаз. Диван казался ему проклятым и зараженным. Если бы он был только жестким! Грязное воспоминание прилипло к нему. Несколько раз Кин вставал и стряхивал эту тяжесть. Но бабища была тяжелая и оставалась, где ей нравилось. Он прямо-таки сбрасывал ее с дивана. Но стоило ему лечь, как он снова ощущал ее образ. Он не мог уснуть от ненависти. Ему требовалось шесть часов сна. Завтра его работу ждала та же участь, что и сегодня. Он заметил, что все скверные мысли кружатся только вокруг дивана. Счастливое озарение спасло его около четырех часов утра. Он решил пожертвовать диваном.

Тут же подбежав к находившейся возле кухни комнате жены, он забарабанил в дверь и барабанил до тех пор, пока Тереза не оправилась от испуга. Спать она не спала. Она мало спала с тех пор, как вышла замуж. Каждую ночь она еще втайне ждала великого события. Вот оно и пришло. Ей потребовалось несколько минут, чтобы в это поверить. Она тихо поднялась с кровати, сняла ночную рубашку и надела юбку с кружевной оборкой. Из ночи в ночь вынимала она ее из сундука и вешала на стул у изножья кровати, на всякий случай, мало ли что. На плечи она накинула широкую ажурную шаль, вторую и истинную жемчужину ее приданого. То первое поражение она приписала блузке. На широченных ее ножищах были сейчас красные туфельки. У двери она громко прошептала:

— Ради бога, я должна отпереть?

Она, собственно, хотела сказать: «В чем дело?»

— Нет, черт возьми, нет! — закричал Кин, злясь на ее мнимо крепкий сон.

Она заметила его заблуждение. Повелительный тон его голоса продлил ее надежду еще немного.

— Завтра будет куплена кровать для меня! — прорычал он. Она не ответила.

— Понятно?

Она собрала все свое искусство и прошептала сквозь дверь:

— Как хочешь.

Кин повернулся, громко захлопнул для подтверждения дверь своей комнаты и мгновенно уснул.

Тереза скинула шаль, бережно положила ее на стул и плюхнулась на кровать тяжелой грудью.

Разве так ведут себя? Разве так поступают? Как будто мне это нужно. Что воображает о себе такой мужчина? Разве это мужчина? На мне красивые панталоны с дорогими кружевами, а он ни с места. Это, конечно, не мужчина. У меня могли бы быть совсем другие любви. Какой это был видный мужчина, что постоянно приходил в гости к прежним хозяевам! У двери он брал меня за подбородок и каждый раз говорил: «Она все молодеет и молодеет!» Это был человек большой, сильный, он что-то представлял собой, не такой вот скелет. Как он, бывало, взглянет! Мне достаточно было только полсловечка сказать. Когда он бывал в доме, я входила в гостиную и спрашивала:

— Что закажут господа на завтра? Говядину с капустой и жареный картофель или копчености с овощами и клецками?

Мои старики никогда не соглашались друг с другом. Он был за клецки, она — за капусту. Тогда я обращалась к гостю и спрашивала его:

— Пусть скажут господин племянник!

И сейчас вижу, как я стою перед ним, а он, такой нахал, вскакивает и обеими руками — силен же он был! — хлопает меня по плечам.

— Говядину с капустой и клецками!

Смех, да и только. Говядину с клецками! Где это видано? Такого не бывало на свете.

— Всегда-то они в веселом расположении духа, господин племянник! — говорила я.

Он был банковский служащий, но после сокращения остался без места с хорошим выходным пособием, ничего не скажешь, но как быть, когда проешь посо-

бие? Нет, я заведу себе только серьезного человека с пенсией или уж господина почище, у которого есть какое-то состояние. Из-за любви нельзя портить себе жизнь. Надо быть себе на уме. В нашей семье все доживают до старости. Что удивительного при таком солидном образе жизни? Ведь это что-то значит, если вовремя ложишься спать и никуда не выходишь из дому. Мать, оборванка несчастная, умерла тоже только в семьдесят четыре. При этом она вовсе не умерла. Она сдохла с голоду, потому что ей нечего было жрать на старости лет. Ведь она все промотала. Каждую зиму — новую блузку. Не прошло и шести лет после смерти отца, как она завела себе хахалю. Малый был с норовом, мясник, он бил ее и вечно бегал за девками. Я ему хорошенько расцарапала морду. Он хотел меня, а мне-то он был противен. Я подпускала его, только чтобы позлить мать. Она всегда за своих детей горой стояла. Ну и вытаращила же она глаза, когда пришла с работы домой и застала хахалю со своей дочерью! До этого дело у нас еще не дошло. Мясник как раз хочет соскочить. Я крепко держу его, чтобы не вырвался, пока старуха не войдет в комнату, не подойдет к кровати. Ну и крик поднимается. Мать взащей выгоняет его из комнаты. Она хватается меня, ревет и даже пытается целовать. Я этого не допускаю и царапаюсь.

«Мачеха ты, вот кто ты!» — кричу я. До самой своей смерти она думала, что он отнял у меня девичью честь. Как бы не так. Я порядочная особа, и у меня ни с кем ничего не было. Да, если не защищаться, то у тебя будет их до десяти на каждый палец. Но что делать потом? Ведь все день ото дня дорожает. Картошка стала уже вдвое дороже. Никто не знает, к чему это еще приведет. Лучше мне быть в стороне. Теперь я замужем и впереди у меня одинокая старость...

Из газетных объявлений, единственного ее чтения, Тереза узнавала разные красивые обороты речи, которые она в минуты волнения или после важных решений вплетала в свои мысли. Такие слова действовали на нее успокоительно. Повторяя: «Впереди у меня одинокая старость», она уснула.

На следующий день Кину неплохо работалось, он сидел за столом, когда два грузчика принесли новую кровать. Диван исчез, а с ним и все, что к нему пристало. Кровать заняла то же место. Уходя, грузчики забыли закрыть дверь. Внезапно они внесли умывальныйник.

— Куда его? — спросил один другого.

— Никуда! — запротестовал Кин. — Я не заказывал умывальника.

— Он уже оплачен, — сказал грузчик поменьше.

— Ночной столик тоже, — добавил второй и быстро внес его в комнату, деревянное доказательство.

На пороге появилась Тереза. Она ходила за покупками. Прежде чем войти, она постучала в открытую дверь.

— Можно?

— Да! — крикнули вместо Кина грузчики и засмеялись.

— Уже здесь, господа?

С достоинством скользнув к мужу, она фамильярно приветствовала его плечом и головой, словно они были уже много лет ближайшими друзьями, и сказала:

— Не молодец ли я? За те же деньги! Муж ждет одного предмета, жена приносит в дом три.

— Я не желаю их. Мне нужна только кровать.

— Да что там. Должен же человек умываться.

Грузчики толкнули друг друга. Они, видно, подумали, что он до сих пор ни разу не умывался. Тереза навязала ему семейный разговор. Ему не хотелось представлять в смешном виде. Если он заговорит об умывальнике, они сочтут его дураком. Поэтому он предпочел оставить у себя этот предмет, несмотря на холодную мраморную плиту. Умывальник можно было наполовину спрятать за кроватью. Чтобы побыстрее покончить с этой неприятной обновкой, он сам помог установить умывальник.

— Ночной столик не нужен, — сказал он затем и указал на хлипкий, низкий предмет, который посредине высокой комнаты — он стоял еще там — выглядел особенно смешно.

— А ночной горшок?

— Ночной горшок?

Мысль о ночном горшке в библиотеке поставила его в тупик.

— Может быть, его под кровать?

— Что у тебя в голове?

— Разве можно срамить жену при чужих людях?

Ей нужно было, значит, только говорить. Она хотела говорить, говорить и ничего больше. Для этого она злоупотребляла присутствием грузчиков. Но он не дал втянуть себя в болтовню. По сравнению с ее речами ночной горшок был книгой.

— Поставьте его туда, возле кровати! — резко сказал он грузчикам. — Ну, вот, а теперь можете удалиться!

Тереза проводила их. Она была сама любезность и, вопреки своему обыкновению, дала им чаевые, из кармана мужа. Когда она возвратилась, он повернул спинкой к ней стул, на котором уже снова сидел. Он не хотел иметь с ней больше ничего общего, даже встречаться взглядами. Поскольку перед ним был письменный стол, она не смогла подойти к мужу и удовольствовалась злым взглядом сбоку. Она чувствовала необходимость какого-то оправдания и стала жаловаться на старый умывальник:

— Дважды в день одна и та же работа. Один раз утром, другой раз вечером. Разве это умно? С женой тоже надо считаться. Прислуга ведь получает...

Кин вскочил и, не оборачиваясь, приказал:

— Молчать! Ни слова больше! Все остается как есть. Никаких дискуссий. Отныне дверь в твои комнаты я буду держать запертой. Я запрещаю тебе входить сюда, куда я нахожусь здесь. Книги, которые понадобятся мне отсюда, я буду брать сам. Ровно в час и ровно в семь я буду выходить для еды. Прошу не звать меня, потому что посмотреть на часы я могу и сам. Против помех я буду принимать меры. Мое время драгоценно. Прошу выйти!

Он сложил кончики пальцев. Он нашел верные слова: ясные, точные и устанавливающие дистанцию. Как ей с ее неуклюжей речью осмелиться возразить на них. Она вышла и закрыла за собой соединительную дверь. Наконец ему удалось сорвать ее болтливые планы. Вместо того чтобы заключать с ней договоры, на смысл которых она ведь не обращает внимания, он приструнил ее. Кое-чем он пожертвовал: видом на темные, наполненные книгами комнаты, чистотой мебелировки своего кабинета. То, что он получил за это, было ему важнее — возможность продолжать свою работу, первым и главным условием которой была тишина. Он жадно глотнул молчанье, как другие воздух.

Все-таки сперва надо было привыкнуть к существовавшим переменам в своем окружении. Нескольким неделям мучила теснота его нового жилого участка. Ограниченный четвертью прежнего пространства, он начал понимать страдания заключенных, которых прежде — вот редкая возможность научиться чему-то, на свободе люди ничему не учатся — вопреки общему мнению считал счастливыми. Ходить взад и вперед при великих озарениях уже нельзя было. Раньше, когда все двери были открыты, библиотека хорошо проветривалась. Потолочные окна впускали воздух и мысли. В волнующую минуту можно было подняться и пройти не-

сколько раз сорок метров в одну сторону, сорок метров в другую. Открытый вид наверх соответствовал этому освежающему простору. Сквозь стекло окон ощущалось общее состояние неба, более приглушенное и спокойное, чем в действительности. Мягкая голубизна говорила: солнце светит, но свет его до меня не доходит. Такая же мягкая серость — польет дождь, но не на меня. Легкий шум выдавал, что падают капли. Они слышны были из далекой дали, они не касались тебя. Ты знал только: светит солнце, идут тучи, льет дождь. словно кто-то забаррикадировался от земли; словно кто-то построил укрытие от всего чисто материального, чисто планетарного, огромное укрытие, настолько большое, что в него вошло то немногое на земле, что больше, чем земля, и больше, чем прах, то, во что, распавшись, превращается жизнь, словно кто-то наглухо запер это укрытие и заполнил этим немногим. Езда в неведомое не походила ни на какую другую езду. Достаточно было с помощью смотровых окон убедиться в том, что по-прежнему существуют некоторые законы природы, смена дня и ночи, непрерывные причуды климата, течение времени, и ты ехал сам собой.

Теперь это укрытие сжалось. Когда Кин поднимал глаза от письменного стола, отрезавшего один угол комнаты, взгляд его упирался в бессмысленную дверь. За ней, несомненно, находились три четверти библиотеки, он чувствовал их, он почувствовал бы их и сквозь сто дверей, но только чувствовать то, до чего он прежде дотрагивался, казалось ему горьким. Иногда он корил себя за то, что добровольно разрезал на части единый организм, собственное детище. Книги не были живыми, верно, у них не было чувств, а значит, они не знали и боли, какую испытывают животные, а вероятно, и растения. Но кто действительно доказал бесчувственность неорганического мира, кто знает, не тоскует ли книга по другим, с которыми она долго была вместе, каким-то неведомым для нас образом, отчего мы и не обращаем на это внимания? У каждого мыслящего существа бывают мгновения, когда традиционная граница, установленная наукой между органическим и неорганическим миром, кажется искусственной и устаревшей, как все человеческие границы. Наш тайный протест против такого разграничения выдает себя выражением «мертвая материя». То, что мертво, было живым. Если уж нам приходится признать, что в каком-то веществе нет жизни, то мы все-таки желаем ему, чтобы в прошлом она у него была. Особенно

странным казалось Кину то, что книги принято ставить ниже животных. Неужели сильнейшему стимулу, определяющему наши цели, а стало быть — наше существование, принадлежит меньшая роль в жизни, чем нашей бессильной, обреченной на заклятие жертве, животному? Сомневаясь во всем этом, он все же подчинился общепринятому мнению. Сила ученого состоит в том, что все сомнения он ограничивает областью своей специальности. Здесь он дает им волю, и они похожи на непрерывный, неумный прибор: в остальном же и вообще он покорен господствующему в данный момент. Он обоснованно сомневается в существовании философа Ле-цзы. Он считает выясненным раз навсегда, что Земля вращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг нас.

К тому же Кину надо было обдумывать и преодолевать нечто поважнее. Эта мебель внушала ему отвращение. Она мешала ему своей настойчивостью, она вцеплялась в его ученые труды. Место, которое она занимала, не соответствовало ничтожеству ее значения. Он был отдан на ее произвол, во власть этих грубых колод, какое ему дело до того, где он спит и где умывается? Скоро он, пожалуй, начнет говорить о еде, как девять десятых человечества; у кого ее слишком много, говорят о ней еще больше, чем те, у кого не хватает ее.

Он был как раз погружен в восстановление одного текста; слова потрескивали. Жадно, как охотник, напряженно вглядываясь, взволнованный, но холодный, крался он от фразы к фразе. Тут ему понадобилась какая-то книга, он поднялся и пошел за ней. Прежде чем он взял ее, в голову его влезла проклятая кровать. Она порвала четкую связь, она отдалила его на много миль от его дичи. Умывальники перечеркнули великодушнейшие следы. Среди бела дня он увидел себя спящим. Когда он сел за стол, надо было начать сначала, обследовать местность, прийти в подходящее настроение. Для чего эта потеря времени? Для чего эта трата сил и внимания?

Постепенно он проникался ненавистью к этой неуклюжей кровати. Он не заменял ее диваном, тот ведь был еще хуже. Он не удалял ее, ведь другие комнаты принадлежали жене. Она никогда не согласилась бы уступить то, чем завладела однажды. Это он чувствовал, хотя и не говорил с ней об этом. Он и не собирался приступать к переговорам. Ибо теперь у него было одно бесценное преимущество перед ней. Уже несколько недель они не произносили ни слова. Он остерегался нарушить молчание. Лучше было терпеть ночной сто-

лик, умывальник и кровать, чем, обезумев, подбить ее на новые разговоры. Чтобы утвердить это положение, он избегал ее комнат. Нужные ему книги он брал оттуда в полдень или вечером после еды, поскольку в столовой ему тогда все равно, как говорил он себе, приходится бывать. Во время еды он не глядел на нее. Тайный страх, что она вдруг что-нибудь скажет, никогда не покидал его вовсе. Но как ни была она неприятна ему, одно он должен был признать: буквы договора она держалась.

Умываясь, Кин закрывал глаза, чтобы в них не попала вода. Это была старая его привычка. Он сжимал веки гораздо крепче, чем нужно было, чтобы не проникла вода. Глаза он старался обезопасить всячески. При новом умывальнике эта старая привычка пригодилась ему. Просыпаясь утром, он радовался предстоявшему умыванию. Ведь в какое другое время был он свободен от этой мебели? Нагнувшись над раковиной, он не видел ни одного из этих предательских предметов. (Все, что отвлекало его от работы, было, по сути, предательством.) Углубившись в раковину, погрузив голову в воду, он любил мечтать о прошлом. В эти минуты царила тайная, тихая пустота. Удачные конъектуры порхали по комнате и ни обо что не ударялись. Никакой диван не поднимал вокруг себя шума, можно было подумать, что его не существует, что это мираж, появившийся у самого горизонта и снова исчезающий.

Так получилось само собой, что Кин стал находить радость в закрытых глазах. Покончив с умыванием, он не спешил открыть их. Еще некоторое время он жил иллюзией исчезнувшей вдруг мебели. И, еще не подойдя к умывальнику, еще вставая с кровати, он закрывал глаза в предчувствии скорого облегчения. Принадлежа к людям, которые борются со своими слабостями, отдают себе во всем отчет и занимаются самоусовершенствованием, он внушал себе, что это не слабость, а сила. Надо содействовать ей, даже если она превратится в большую странность. Кто узнает об этом, он ведь живет один, а то, что на пользу науке, важнее, чем мнение толпы. Тереза вряд ли достигнет его, как посмеет она, вопреки его запрету, нагрязнить к нему?

Сперва он продлил слепоту на время одевания. Затем стал вслепую добираться до письменного стола. За работой он забывал, что находится у него за спиной, тем более что не видел этого. За письменным столом он давал глазам полную волю. Они радовались своей открытости, делались проворнее. Может быть, они

черпали силу в периодах отдыха, которые он отмерял им так щедро. Он оберегал их от внезапных атак. Он пускал в ход глаза лишь там, где от этого был толк: при чтении и письме. Нужные книги он приносил вслепую. Поначалу он сам смеялся над такой странностью. Как часто он доставал не те книги и, не подозревая об этом, с закрытыми глазами возвращался к письменному столу. Тут он замечал, что протянул руку на три тома правее, чем нужно, на один левее или порой даже ниже на целую полку. Это его не смущало, он был терпелив и отправлялся в путь второй раз. Нередко его тянуло покоситься на заголовок, разглядеть корешок, еще не дойдя до места. Тогда он иной раз мигал, а иногда и решался стрельнуть взглядом. Но чаще он превозмогал себя и дожидался письменного стола, где зрение не таило в себе никаких опасностей.

Навык в ходьбе вслепую сделал из него мастера. Прошло три-четыре недели, и он стал находить нужное в кратчайший срок, без обмана и ухищрений, с действительно закрытыми глазами, никакая повязка не ослепила бы его в большей мере. Этот инстинкт он сохранил даже на стремянке. Он хватал ее с обеих сторон длинными цепкими пальцами и вслепую взбирался по ступенькам. Наверху и при спуске он тоже играючи сохранял равновесие. Трудности, которых он в зрячие времена никогда полностью не преодолевал, потому что они были безразличны ему, он теперь походя устранил. Так, например, в состоянии слепоты он научился пользоваться своими ногами. Прежде они мешали ему при каждом движении, для своей длины они были слишком тонки. Теперь они ступали твердо и расчетливо. Они словно бы пополнили, нарастили мышцы и жир, он полагался на них, они были опорой ему. Они видели вместо него, слепого, а он зато помогал им, когда-то неповоротливым, новыми, лучшими ногами.

От некоторых своих привычек он отказывался, пока не был вполне уверен в оружии, которое выковал себе из своих глаз. Отправляясь на утреннюю прогулку, он уже не брал с собой портфеля с книгами. Как легко мог его взгляд, когда он, Кин, целый час нерешительно стоял перед полками, упасть на злосчастную тройцу, — так называл он это мебельное трио, которое лишь постепенно, к сожалению, уходило из его сознания. Позднее он осмелел от своих успехов. Дерзко и вслепую он стал наполнять портфель. Если его содержимое вдруг переставало нравиться Кину, он опустошал его и подбирал книги заново, словно все осталось

как было — он, библиотека, будущее и точное, практическое распределение часов.

Его комната была во всяком случае в его власти. Наука процветала. Ученые статьи росли как грибы из его письменного стола. Раньше он, правда, издевался над слепыми и презирал их за то, что они радуются жизни, несмотря на *этот* недостаток. Но как только он сменил свое предубеждение на некое преимущество, соответствующая философия нашлась сама собой.

Слепота — оружие против времени и пространства; наше существование — сплошная, чудовищная слепота, за исключением того немногого, что мы узнаем с помощью наших мелочных чувств — мелочных и по их сути, и по радиусу их действия. Господствующий принцип вселенной — слепота. Она делает возможным сосуществование вещей, которые были бы невозможны, если бы они видели друг друга. Она позволяет обрывать время там, где ты не справляешься с ним. Что такое, например, спора, как не частица жизни, окутанная временно слепотой? Уйти от времени, представляющего собой некий континуум, есть только один способ. Время от времени не видя его, ты разламываешь его на части, по которым его и знаешь.

Кин не изобретает слепоту, он только пускает ее в дело, естественную возможность, благодаря которой живут зрячие. Разве люди не пользуются сегодня всеми видами энергии, которыми им удается завладеть? На какие возможности люди не накладывали ручки? Остолопы орудут электричеством и сложными атомами. Структуры, невидимые из-за слепоты, которой поражены все, как один, наполняют комнаты, пальцы и книги Кина. Эта напечатанная страница, предельно ясная и расчлененная, есть в действительности адское скопище беснующихся электронов. Если бы он всегда это сознавал, буквы плясали бы перед его глазами. Как слабые булавочные уколы, ощущали бы пальцы давление этого злосчастного движения. За день он одолевал бы какую-нибудь строчку, не больше. Это его право — перенести слепоту, защищающую его от подобных эксцессов чувств, на все помехи в его жизни. Мебели не существует для него так же, как не существует полчищ атомов внутри и вокруг него. «*Esse percipi*», быть — значит ощущать, чего я не ощущаю, того не существует. Горе слабым созданиям, которые распускаются и видят что попало!

Из чего с непререкаемой логикой следовало, что Кин отнюдь не обманывал себя самого.

ДОРОГАЯ СУДАРЫНЯ

Уверенность Терезы тоже росла с каждой неделей. Из трех ее комнат мебель была только в одной, в столовой. Две другие были, к сожалению, еще пусты. Именно в них она и пребывала, чтобы не изнашивать мебели в столовой. Обычно она стояла за дверью, которая вела к его письменному столу, и подслушивала. Часами и по полдня торчала она там, головой к щели, через которую ничего не было видно, выставив в его сторону локти, без стула, без опоры, рассчитывая лишь на свои силы и на юбку, и ждала—она точно знала чего. Она никогда не уставала. Она застигала его, когда он вдруг начинал говорить, хотя был один. Жена была слишком плоха для него, вот он и говорил с воздухом, поделом. Перед обедом и ужином она удалялась в кухню.

За работой, в такой дали от Терезы, он чувствовал себя хорошо и был всем доволен. А она почти все время находилась на расстоянии ровно двух шагов от него.

Иногда, правда, у него возникала мысль, что она затаила какие-то слова против него. Но она все молчала и молчала. Он решил раз в месяц проверять сохранность книг в ее комнатах. От кражи книг никто не был защищен.

Однажды в десять, ей как раз так хорошо подслушивалось, он в инспекционном раже распахнул дверь. Она отпрянула; она чуть не упала.

— Что за манеры?—закричала она, обнаглев от ужаса. — Надо стучать, прежде чем входить. Можно подумать, что я подслушиваю, находясь в *своих* комнатах. Зачем мне подслушивать? Мужчина позволяет себе все, потому что он женат. Фу! только и можно сказать, какая невоспитанность, фу!

Что, он должен стучать, чтобы пройти к своим книгам? Бессовестно! Смешно! Нелепо! Она с ума сошла. Он влепит ей, пожалуй, пощечину. Может быть, она образумится.

Он представил себе следы своих пальцев на ее толстой, раскормленной, лоснящейся щеке. Было бы несправедливо предпочесть какую-то одну щеку. Надо бы огреть обеими руками сразу. Если чуть промахнешься, красные полосы на одной стороне будут выше, чем на другой. Это было бы некрасиво. Занятия китайским искусством воспитали в нем страстный вкус к симметрии.

Тереза заметила, что он проверяет ее щеки. Она

забыла о стуке в дверь, отвернулась и приглашающе сказала:

— Не надо.

Он победил, таким образом, без пощечин. Его интерес к ее щекам погас. В полном удовлетворении он устремился к полкам. Она оставалась в ожидании. Почему он ничего не говорил? Осторожно косясь, она обнаружила перемену в его лице. Тогда уж лучше она пойдет сейчас в кухню. Свои загадки она обычно решает там.

Зачем только она сказала это? Теперь он опять не захочет. Она слишком добропорядочна. Другая сразу бросилась бы ему на шею. Ничего с ним не получается. Такой уж она человек. Будь она старше, она сразу замкнулась бы. Разве такого можно назвать мужчиной? Может быть, он совсем не мужчина? Есть жуткие мужчины, в которых нет ничего мужского. Штаны ничего не значат, они носят их просто так. Но они и не женщины. Это уже было. Кто знает, когда он снова захочет. У таких людей это длится по несколько лет. Она не стара, но уже и не девочка. Это она сама знает, не надо говорить ей это. Она выглядит на тридцать, но уже не на двадцать. На улице все мужчины оглядываются на нее. Что сказал ей продавец в мебельном магазине: «Да, лет в тридцать господа норовят сочетаться браком, дамы ли, мужчины ли». Вообще-то она всегда думала, что на сорок, — разве это стыдно в пятьдесят шесть? Но уж если он сам это говорит, такой молодой человек, то ему виднее. «Ну, доложу я вам, чего вы только не знаете!» — ответила она. Интересный человек. Даже замужество он сразу определил по ее виду, не только возраст. А она должна жить с таким стариком. Люди, пожалуй, подумают, что он не любит ее.

«Любить» и «любовь» во всех формах были словами, которые Тереза знала по объявлениям. В молодости она привыкла к более метким словам. Позднее, когда она у своих хозяев усвоила среди прочих грамматических корней и этот, он оставался для нее восхитительным иностранным словом. Сама она таких священных заклятий никогда не произносила. Но она пользовалась любым случаем: везде, где она видела слово «любовь», она останавливалась и основательно изучала все вокруг него. Порою любовные предложения оставляли в тени блестящие предложения места. Она читала «большое жалованье» и протягивала руку; ладонь ее радостно изгибалась под тяжестью ожидаемых денег. Тут взгляд ее скользил по соседним столбцам и натывался на

слово «любовь»; здесь он отдыхал, здесь застревал на несколько вольготных минут. Она не забывала за этим о своих планах, денег на ладони она отнюдь не отдавала назад. Она только закрывала их на несколько коротких, трепетных мгновений любовью.

Тереза повторила вслух: «Он не любит меня». Слово, в котором заключалось все дело, она произнесла как «люпит» и уже ощутила губами чмокание поцелуя. Это утешило ее. Она закрыла глаза. Она отставила в сторону начищенную картошку, вытерла руки о передник и открыла дверь в свою каморку. У нее зарябило в глазах, и она зажмурилась. Вдруг стало жарко. В воздухе заплясали шарики, красные светляки, стало тесно, пол поднялся, ноги приросли к нему, туман, туман, незнакомый туман, или это дым, куда ни посмотришь, все пусто, голо, столько места, она ухватилась за что-то, ей было скверно до смерти, сундук, приданое, кто унес вещи, на помощь!

Когда она пришла в себя, она лежала на кровати. Чистая и аккуратная, возникла ее клетушка, предмет за предметом, каждый на своем месте. Тут ей стало страшно. Сначала каморка была пуста, потом наполнилась снова. Как тут разобраться? Она не останется здесь. Нет сил от жары. Здесь слишком тесно, слишком убого. Здесь, того и гляди, погибнешь в одиночестве.

Она оправила смявшуюся одежду и проскользнула в библиотеку.

— Я сейчас чуть не умерла, — сказала она просто. — У меня был обморок. Перебои в сердце. Много работы, скверная комнатка. Так и умереть недолго!

— Как только ты вышла отсюда, тебе стало скверно?

— Не то что скверно, я упала в обморок.

— С тех пор прошло много времени. Я уже целый час стою возле книг.

— Что, так долго?

У Терезы комок подступил к горлу. Никогда она не болела, сколько помнила себя.

— Я вызову врача.

— Мне не нужно врача. Лучше я переселюсь. С чего бы у меня пропал сон? Мне нужен здоровый сон. Комната при кухне — худшая во всей квартире. Это же комната для прислуги. Если бы у меня была прислуга, ей пришлось бы там спать. Там же нельзя спать. Ты выбрал себе лучшую комнату. Могу же я взять себе вторую по качеству, рядом с ней. Такой муж думает, право, что сон нужен только ему. Если так пойдет

дальше, я заболел, и ты будешь хорош. Ты забыл, сколько стоит прислуга!

Чего она хочет от него? Своими комнатами пусть распоряжается как угодно. Ему было безразлично, где она будет спать. Из-за ее обморока он не прерывал ее. Счастье, что обмороки случаются редко. Из сострадания — ложного, как он говорил себе, — он заставил себя слушать дальше.

— Кто думает обременять? У каждого своя комната. Тут ничего не может случиться. Я не такая. Другие женщины ведут себя так, что просто позор. Прямо покраснеешь. Разве мне это нужно? Мне нужна новая мебель! Большая комната, туда кое-что уж войдет. Что я, нищая?

Теперь он знал, чего она хочет: опять мебели. Он швырнул дверь ей в лицо. Виноват в том, что она упала в обморок, был, значит, он. Нельзя распахивать двери так резко. Она не выдержала этого потрясения. Он сам был испуган. Она ни разу не упрекнула его; в виде возмещения можно было согласиться с ней насчет мебели.

— Ты права, — сказал он, — купи себе новую спальню.

Сразу после обеда Тереза скользила по улицам до тех пор, пока не нашла самого фешенебельного мебельного магазина. Здесь она попросила назвать ей цены на спальни. Ничто не казалось ей дорогим в достаточной мере. Когда хозяева магазина, два брата-толстяка, старавшиеся переплюнуть друг друга, назвали ей наконец цену, для честного человека наверняка слишком высокую, она резко повернула голову, метнула ее к двери и с вызовом заявила:

— Господа начальники думают, что деньги у нас краденые!

Она покинула магазин не попрощавшись и направилась напрямик домой, в кабинет мужа.

— Что тебе нужно?

Он разозлился, в четыре часа пополудни вошла она в его комнату.

— Я должна подготовить мужа к ценам. А то он испугается, когда жена вдруг потребует столько денег. Какие дорогие теперь спальни! Если бы я сама не видела, я не поверила бы. Я выбрала себе добротную мебель, ничего особенного. Везде одни и те же цены.

Она благоговейно произнесла сумму. У него не было ни малейшей охоты пережевывать то, с чем уже в полдень было покончено. Он торопливо заполнил чек

на названную сумму, указал пальцем название банка, где следовало получить деньги, а затем — на дверь.

Лишь на улице Тереза убедилась в том, что эта безумная цена действительно значилась на бумаге. Тут ей стало жаль таких больших денег. Не нужно ей самой изысканной спальни. Она жила до сих пор прилично и солидно. Неужели она, дожив до замужества, вдруг станет безнравственным человеком? Ей не нужно роскоши. Лучше она купит спальню, которая вдвое дешевле, а остальное снесет в сберегательную кассу. По крайней мере, у нее будет что-то надежное. Долго же пришлось бы ей работать, чтобы сколотить такие деньги! Это даже высчитать нельзя. Ей еще много лет работать на него. А получит она за это что-нибудь? Нет! Жить в доме слугой лучше, чем женой. Жена, если сама не смекнет, ничего не достигнет. Почему она так сглупила? Ей надо было договориться с ним об этом до загса. Жалованье ей следовало бы получать по-прежнему. Работы у нее столько же. Работы у нее больше, потому что прибавилась столовая и мебель в его комнате. Везде надо вытирать пыль. Разве это пустяк? Ей следовало бы получать жалованье больше прежнего. Нет справедливости.

От возмущения чек у нее в руке дрожал.

За ужином она надела на лицо самую злую свою улыбку. Уголки глаз и рта сошлись около ушей. В узких щелках ядовито зеленели глаза.

— Завтра стряпать не буду. У меня нет времени. Я не могу делать все сразу.

Чтобы увидеть, какое впечатление произвели ее слова, она остановилась. Она мстила за его подлость.

— Надеюсь, ко мне не будет претензий из-за какого-то обеда? Обеды едят каждый день. Спальню покупают только один раз. Тише едешь — дальше будешь. Завтра я стряпать не буду. Нет!

— В самом деле? — Необычайная мысль осенила его, поглотив нужды и права быта. — В самом деле?

Его голос звучал так, словно он смеялся.

— Смеяться тут нечего! — ответила она обиженно. — Ведь ничего не успеваешь из-за работы. Может быть, я слуга?

В великольном настроении он прервал ее:

— Будь только осторожна! Обойди побольше магазинов! Сравни разные цены, прежде чем решиться на что-то. Торговцы обманщики по природе. С женщин они стараются содрать втридорога. Среди дня отдохни в ресторане, потому что сегодня тебе было нехорошо, и как следует поешь. Не возвращайся домой! Сейчас

тепло, не перенапрягайся. После обеда можешь спокойно продолжать поиски. Только не торопись! Из-за ужина не беспокойся. Очень советую тебе не возвращаться до конца дня, до закрытия магазинов.

Он заставил себя забыть, что она уже присмотрела спальню и потребовала у него точную сумму, в которую та обойдется.

— На ужин можно ведь съесть что-нибудь холодное, — сказала Тереза и подумала: сейчас он хочет опять поймать меня. Сразу видно, когда человеку совестно. Можно ли так использовать свою жену! Со слугой можешь делать что хочешь. Пожалуйста, ведь ты платишь. А с женой — нет. Для того и идут в жены.

Выходя из дому на следующее утро, Тереза твердо решила купить мебель только у того интересного человека, который все сразу определил по ней — и правильный возраст, и то, что она замужем.

Она получила в банке деньги по чеку и половину суммы тотчас снесла в сберегательную кассу. Чтобы разобраться в ценах, она побывала в разных мебельных магазинах. Утро она провела упорно торгуясь. Она увидела, что сэкономить нетрудно. Она снесет в сберегательную кассу еще больше денег. В девятую очередь зашла она в магазин, против цен которого протестовала вчера. Ее тут же узнали. Посадка ее головы и речь рывками навсегда запоминались каждому, кто хоть раз видел ее. После вчерашнего опыта ей показывали сегодня вещи подешевле. Она осматривала кровати сверху донизу, стучала по дереву и прикладывала ухо к спинке, чтобы по звуку узнать, нет ли внутри пустоты. Вещи часто бывают источены жучком еще раньше, чем их купишь. Она открывала каждую тумбочку, наклонялась и совала нос внутрь, чтобы проверить, не была ли уже та в употреблении. На зеркала она дышала, а потом несколько раз проводила по ним платком, который вытребовала у «господ начальников». Все до единого шкафы вызвали ее недовольство.

— Туда же ничего не войдет. Ну, доложу я вам, и хороши нынешние гардеробы! Это же для бедноты. У кого ничего нет. Нашему брату нужно место.

Ее обслуживали предупредительно, несмотря на ее скромную внешность. Ее сочли глупой. Глупые люди стесняются ничего не купить. В психологии покупателей братья смыслили мало. Их опыт ограничивался молодоженами, чье счастье они с быстрым успехом разжигали двусмысленными советами то циничного, то приятно-фамильярного свойства. Волнение этой пожилой особы не вызывало у них, пожилых бонвиванов,

никакого сочувствия. После получаса личных ручательств их пыл остыл. Такой обиды Тереза только и дождалась. Она открыла огромную сумку, которую носила под мышкой, вынула толстую пачку денег и извительно сказала:

— Надо посмотреть, хватит ли у меня капитала...

На глазах у черных, толстеньких братьев, которые не ждали такого содержимого ее сумки, она стала медленно пересчитывать купюры. «Мать честная, у этой, однако, водятся денежки!» — подумали они воодушевленно, фирма, мужчина. Кончив считать, она бережно положила деньги в сумку, захлопнула ее и пошла к выходу. У двери она обернулась и крикнула:

— Господа начальники не дорожат ведь приличными покупателями!

Она направилась к тому интересному продавцу. Поскольку был уже час дня, она очень торопилась, чтобы поспеть до обеденного перерыва. Она обращала на себя внимание. Среди мужчин в штанах и женщин в коротких юбках она была единственная, чьи ноги, под синей накрахмаленной юбкой до пят, работали скрытно. Можно передвигаться и скольжением, таков был всеобщий вывод. Еще как можно было, ибо она обгоняла всех. Тереза чувствовала взгляды прохожих. «На тридцать», — подумала она и вспотела от радости и спешки. Ей стоило усилия держать голову неподвижно. Она надела на лицо восторженную улыбку. На широких крыльях ушей глаза ее взлетели к небу и опустились в дешевой спальне. Тереза, отороченный кружевами ангел, расположилась в ней как можно удобнее. И все же она не с облаков свалилась, не разочаровалась, когда вдруг очутилась перед известной лавкой. Ее гордая улыбка превратилась в радостную ухмылку. Она вошла и скользнула к молодому человеку, так сильно качая при этом бедрами, что широкая тугая юбка заволновалась.

— Вот я и опять пришла! — сказала она скромно.

— Целую ручку, сударыня, какая неожиданная честь! Что привело вас к нам, сударыня, если позволите спросить?

— Спальня. Вы же знаете.

— Так я сразу и подумал, сударыня. На две персоны, конечно, если позволите так выразиться.

— Ну, доложу я вам, вам все позволено.

Он с глубоким огорчением покачал головой:

— О нет, не мне, уважаемая. Разве я этот счастливец? За меня сударыня наверняка не вышли бы замуж. Бедный служащий.

— А что. Это неизвестно. Бедные люди тоже люди. Я не люблю чванства.

— Верный признак золотого сердца, сударыня. Господину супругу можно позавидовать.

— Ну, доложу я вам, мужчины теперь какие!

— Сударыня ведь не хотят сказать... — Интересный молодой человек удивленно поднял брови. Влажной собачьей мордой были оба его глаза, и он терся ею об нее.

— Они же думают, что ты им слуга. При этом они ничего не платят тебе. Слуге полагается платить.

— Зато сударыня выберут себе сейчас прекрасную спальню. Позвольте! Превосходный, первоклассный товар, я знал, что сударыня вернутся, и приберег это специально для сударыни. Мы могли бы это уже шесть раз продать, положила руку на сердце! Господин супруг будут рады. Сударыня придут домой, целую ручку, милая, скажут господин супруг. Добрый день, милый, скажут сударыня, я купила нам спальню, милый, — вы понимаете меня, сударыня, так скажете *вы*, и сядете господину супругу на колени. Вы уж простите, сударыня, я говорю как мне бог на душу положит, но тут уж ни один мужчина не устоит, такого не может быть на свете, и любой господин супруг тоже. Если бы я был женат, не скажу — на вас, сударыня, как можно мне, бедному служащему, а скажу — на какой-нибудь женщине, скажу даже — на какой-нибудь старой женщине, лет, скажем, сорока — ну, этого вы себе и представить не можете, сударыня.

— Ну, доложу я вам, я тоже уже не молоденькая.

— Тут я другого мнения, если сударыня ничего не имеют против. Я допускаю, что сударыне как раз перевалило за тридцать, но это не имеет значения. Я всегда говорю: в женщине самое важное — бедра. Бедра должны быть на месте, и бедра нужно видеть. Что мне с того, если они на месте, а я их не вижу? Извольте, убедитесь сами — вот ведь вам великолепные...

Тереза хотела закричать, от восторга у нее не было слов. Помедлив несколько мгновений, он добавил:

— ...принадлежности!

Она еще не удостоила мебель и взгляда. Он привел ее в волнение своими речами, он дотянулся рукой почти до ее дрожащих бедер и заменил их практичными и великолепными принадлежностями спального гарнитура. Смиренный жест, которым он, бедный служащий, простился с недостижимыми бедрами, тронул Терезу, пожалуй, больше всего. Она сегодня просто не переставала потеть. Завороженно следила она за движениями

его рта, его руки. Ее глаза, обычно сверкавшие всеми цветами злости, а сейчас мирные, водянистые и почти синие, послушно плыли по принадлежностям спальни. Конечно, они великолепны. Этот интересный человек знает все. Как он разбирается в мебели! Прямо-таки стыдно перед ним. Счастье, что ей не надо говорить. Что бы он подумал о ней. Она же совсем не разбирается в мебели. Другие ничего не замечали. Почему? Потому что другие дураки. А этот интересный человек сразу заметит все. Хорошо, она не будет говорить. У него же голос как растопленное масло.

— Заклинаю вас, сударыня, не забывайте главного! Как уложишь господина супруга, точно так он и отплатит. Если господин супруг лежат удобно, можете делать с ним что хотите. Поверьте мне, сударыня. Путь к семейному счастью проходит не только через желудок, путь этот проходит через мебель, в значительной мере через спальню, но в совершенно исключительной мере, сказал бы я, через кровати, через супружеские, так сказать, лежа. Поймите меня, дорогая сударыня, господин супруг тоже всего лишь человек. Пусть он обладает самой красивой сударыней, сударыней во цвете лет, что ему в том, если он плохо спит? Если он плохо спит, он в плохом настроении. Если он спит хорошо, ну, тогда он не прочь и придвинуться поближе. Вот что я вам скажу, уважаемая сударыня, сударыня могут мне поверить, я кое-что смыслю в этом деле, двенадцать лет я тружусь в этой области, восемь лет стою все на этом вот месте, что толку в бедрах, если кровать плохая? Мужчине плевать на самые распрекрасные бедра. Даже если он господин супруг. Сударыня могут исполнять восточные танцы живота, сударыня могут навести последний лоск на свою красоту и предстать перед ним раздетой, так сказать, обнаженной, — гарантирую, это не поможет, если господин супруг в плохом настроении, даже в вашем случае, глубокоуважаемая сударыня, а это кое-что значит! Знаете, что сделают господин супруг, если, предположим, сударыня стара и плоха, — я хочу сказать: кровать, — господин супруг сбегут и поищут себе кровати получше. И какие же это будут кровати, по-вашему? Кровати нашей фирмы. Я мог бы показать вам, прекраснейшая сударыня, благодарственные письма от таких же сударынь, как вы. Вы изумились бы, узнав о счастливых браках, которые мы с гордостью оставляем на своей спокойной совести. Разводов у нас не случалось. Мы делаем все, что можем, и господа довольны. Особенно рекомендую вам вот этот гарнитур, сударыня.

Хороши они все, это я гарантирую вам, сударыня, но к этому мне особенно хочется склонить ваше золотое сердце, дорогая сударыня!

Тереза подошла поближе, только чтобы угодить ему. Она была согласна со всем. Она боялась потерять его. Она осмотрела гарнитур, который он рекомендовал ей. Но она не смогла бы сказать, каков тот на вид. В ней все было напряжено, все искало возможности слушать и дальше этот масляный голос. Если она скажет «да» и заплатит, ей надо будет уйти, и с этим интересным человеком все будет кончено. За свои денюжки она может кое-что и позволить себе. Люди же на ней зарабатывают. Ничего нет стыдного в том, что она заставляет его говорить. Другие ведь и уходят, ничего не купив. Они-то не стесняются. Она человек порядочный и так не поступит. Да и торопиться не надо.

Она не знала, как быть, и, чтобы хоть что-то сказать, сказала:

— Ну, доложу я вам, это может сказать каждый!

— Позвольте, сударыня, чтобы не сказать: очаровательная сударыня, я же не стану лгать вам. Если я к чему-то склоняю ваше *сердце*, то к этому склоняю ваше сердце я. Можете мне поверить, сударыня, мне все доверяют. Не премину доказать вам это, сударыня. Господин начальник!

Начальник, господин Больш, крошечный человечек со сплюснутым лицом и затравленными глазками, появился на пороге своего отгороженного кабинета и, как ни был он мал, разделился, согнувшись на две еще меньшие половинки.

— В чем дело?—спросил он и смущенно, робким мальчиком, пробрался поближе к обширной юбке Терезы.

— Скажите сами, господин начальник, был ли случай, чтобы покупательница не доверяла нам?

Начальник промолчал. Он боялся лгать при матери; она могла и отшлепать его. На его лице боролись деловитость и почтительность. Тереза заметила эту борьбу и истолковала ее неверно. Она сравнила служащего с его начальником. Если тот и вмешается, все равно он не уверен в себе. Чтобы усилить торжество интересного человека, она с помпой пришла на помощь ему:

— Ну, доложу я вам, на что мне другие? Вам поверит любая, достаточно вашего голоса. Я верю каждому вашему слову. Кто станет лгать? На что мне этот вот. Уж ему-то я верить не стану.

Коротышка поспешно удалился в свой кабинет. Так

с ним всегда случается. Он не успевает рот раскрыть, а мать уже говорит, что он лжет. Со всеми женщинами у него одна и та же беда. В детстве это была мать, потом появилась жена, бывшая служащая. Брак начался с того, что, когда его машинистка на что-нибудь жаловалась, он успокаивал ее обращением «мамочка». С тех пор как он женат, ему нельзя держать машинистку. Все время приходят в магазин матери. Эта, конечно, тоже из них. Поэтому он и отгородил себе кабинетик. Вытаскивать его оттуда можно лишь при крайней необходимости. Он уж оплатит за это Грубу. Тот знает, что при матерях он, Больш, не умеет выступать в роли начальника. Груб хочет стать компаньоном и унижает Больша перед покупателями, чтобы сломить его. Но господин Больш сам возглавляет мебельную фирму «Больш и Мать». Его настоящая мать еще жива и участвует в деле. Дважды в неделю, по вторникам и по пятницам, она появляется, чтобы проверить бухгалтерские книги и покричать на служащих. Она все очень точно подсчитывает, поэтому-то так трудно ее обмануть. Но ему это все-таки удается. Без такого обмана он не мог бы жить. Сам он по праву считает себя истинным главой фирмы; тем более что ее крик идет ему на пользу в отношениях со служащими. Накануне ее появления, то есть по понедельникам и четвергам, он может командовать властью. Все из кожи вон лезут, потому что на следующий день он может пожаловаться ей, если ему кто-нибудь надерзит. В такие дни стоит мертвая тишина, никто пикнуть не смеет, он в том числе; но все-таки это славно. Лишь по средам и субботам они дерзят. Сегодня среда.

Господин Больш сидит на своем конторском стуле и прислушивается. Груб снова разливается соловьем. Цены ему нет, но компаньоном ему не бывать. Что, она хочет, чтобы он пошел с ней обедать?

— Господин начальник ни под каким видом не разрешит, сударыня, я желал бы этого всей душой, сударыня.

— Ну, доложу я вам, можно сделать и исключение. Я заплачу за вас.

— Ваше золотое сердце глубоко трогает меня, сударыня, но это исключено, совершенно исключено. Господин начальник шуток не понимает.

— Да кто же настолько груб?

— Если бы сударыня знали, как моя фамилия, сударыня посмеялись бы. Груб — это моя фамилия.

— И не подумают смеяться, с чего бы, Груб — фамилия как фамилия. Вы же не грубы.

— Душевно благодарен за комплимент, целую ручку, сударыня. Если так пойдет дальше, я поцелую эту милую ручку натуральным образом.

— Ну, доложу я вам, если кто-нибудь услышит, то можно подумать...

— Мне не стыдно, сударыня. Да и нечего мне стыдиться. Как я сказал уже, при таких великолепных бедрах, пардон—я хотел сказать: ручках. Каково же решение сударыни? Остановимся на этом вот?

— Но сперва я приглашаю вас пообедать.

— Вы делаете меня самым счастливым человеком на свете, сударыня. Бедный продавец просит извинить его. Господин начальник...

— Этот нам не указ.

— Сударыня ошибаются. Его мать стоит десятерых начальников. Да и он тоже не замухрышка.

— Что это за мужчина? Это не мужчина. По сравнению с ним мой муж, что у меня дома, и тот мужчина. Так как же? Можно, чего доброго, подумать, что я вам не нравлюсь!

— Что вы говорите, сударыня! Покажите мне того мужчину, которому вы не нравитесь! Держу пари, вы не найдете такого. Это просто невозможно, сударыня. Я проклинаю свою жестокую судьбу. Господин начальник не даст нашему брату насладиться таким триумфом. Как, скажет он, покупательница уходит с простым служащим, а вдруг покупательница встретит господина супруга? Господин супруг, если мне позволено так сказать, рассердятся. Разразится шумный скандал. Служащий-то ко мне вернется, но покупательницу поминай как звали. Кто оплатит убыток? Я! Дорогое удовольствие, скажет господин начальник. Тоже резон, сударыня. Сударыня знают песню о бедном ветренике, милом ветренике? «Не надейся, мой свет...» Остановимся на этом! Вы будете довольны кроватями, сударыня!

— Ну, доложу я вам, вы же не хотите. Я заплачу за вас.

— Если бы сударыня были свободны сегодня вечером, но я могу представить себе. Господин супруг в этом вопросе неумолимы. Если бы я имел счастье быть господином супругом красивой женщины—не могу и передать, прекраснейшая сударыня, как был бы я настороже. «Не надейся, мой свет, не позволю я, нет». Вторая строчка моя. У меня есть одна идея, сударыня. Я сочиню песенку в вашу честь, сударыня, о том, как вы лежите на новой кровати, в одной пижаме, так сказать, а великолепные... пардон, значит, остановимся на этом. Сударыня соблаговолит пройти к кассе?

— И не подумаю! Сперва мы пойдем и пообедаем вместе.

Господин Больш слушал их разговор, все больше волнуясь. Почему этот Груб всегда отговаривается ссылками на него? Вместо того чтобы обрадоваться, что мать заплатит за его обед. У всех этих служащих мания величия. Каждый вечер его уводит из магазина другая, всё молоденькие, годятся ему в дочери. Мать уйдет, не купив гарнитура. Этого никакая мать не потерпит, чтобы отказывались от ее приглашения. Груб слишком много позволяет себе. Груб начинает подминать под себя фирму. Сегодня среда. Почему Большу именно в среду не быть начальником?

Напряженно прислушиваясь, он надувался, как индюк. Он чувствовал поддержку со стороны матери, упорно спорившей с его служащим. О нем, Больше, она говорила в таком же тоне, как все матери. Как только сказать это Грубу? Если говорить слишком много, тот наверняка ответит дерзостью, среда, и он потеряет хорошую покупательницу. Если говорить слишком мало, тот, наверно, не поймет его. Самое лучшее, пожалуй, — короткий приказ. Глядеть ли при этом в лицо матери? Нет. Лучше стать перед ней, спиной к ней, к обоим вместе Груб будет почтительнее.

Он подождал немного, пока не стало ясно, что полюбовного соглашения сторон не последует. Тихонько спрыгнув со своего конторского стула, он сделал два длинных шажка к стеклянной двери. Он рывком распахнул ее, проворно высунул голову, которая была самой большой частью его тела, и крикнул своим пронзительным фальцетом:

— Ступайте себе, Груб!

У того так и застряло во рту «господин начальник», ссылкой на которого он оправдывался уже в сотый раз.

Тереза резко повернула голову и с придыханием прошептала:

— Извольте, что я говорила!

Перед тем как отправиться обедать, она охотно одарила бы благодарным взглядом господина начальника, но тот давно скрылся в конторе.

Глаза Груба заблестели злым блеском. Они насмешливо остановились на жесткой юбке. Он, видно, остерегался глядеть ей в лицо. Растопленное масло его голоса было теперь подгорелым. Он знал это и молчал. Лишь пропуская ее вперед у двери лавки, он по привычке сделал широкий жест, раскрыл рот и сказал:

— Прошу вас, сударыня!

МОБИЛИЗАЦИЯ

От нищих и лоточников дом на Эрлихштрассе, 24, был уже много лет избавлен. Привратник изо дня в день нес караул в своей каморке сразу у входа и перехватывал всякую шваль. Людям, рассчитывающим на сочувствие в этом доме, внушал ужас овальный глазок на обычной высоте, под которым было написано «швейцар». Проходя мимо, они всегда низко кланялись и благодарили, словно получили бог весть какую милостыню. Но их осторожность была напрасна. Об этом обыкновенном глазке привратник не заботился. Когда они прокрадывались под ним, они были уже давно засечены. У привратника имелся свой собственный, испытанный метод. Как полицейский на пенсии он был хитер и незаменим. В глазок-то он углядывал их, да только не в тот, которого они остерегались.

На высоте пятидесяти сантиметров от пола он просверлил в стене своей каморки второй глазок. Здесь, где никто не мог ждать этого, он стоял на коленях и бдел. Мир делился для него на штаны и юбки. Те, что носили жильцы дома, были ему хорошо знакомы, о чужих он судил по их фасону, стоимости и достоинству. Он достиг в этом такой точности, как прежде во взятии под арест. Ошибался он редко. Если показывался какой-нибудь подозрительный субъект, привратник, еще стоя на коленях, тянулся короткой кряжистой рукой к дверной ручке, которая — тоже его изобретение — была врезана наоборот. Сила, с какой он вскакивал, открывала ее. Затем он орал на этого субъекта и избивал его до полусмерти. Первого числа каждого месяца, когда привратнику приносили пенсию, он позволял любому беспрепятственно проходить мимо. Заинтересованные лица очень хорошо это знали и валом валили навстречу жильцам, изголодавшимся за месяц по нищим. Второго и третьего опоздавшим иногда еще удавалось прорваться; по крайней мере выдворяли их не так мучительно, как позднее. Начиная с четвертого пытали счастье лишь новички.

Кин после одного случая подружился с привратником. Однажды вечером он вернулся с какой-то экстраординарной прогулки, в парадном было уже темно. Вдруг кто-то заорал на него:

— Ах ты дерьмо поганое, сейчас я тебя сведу в участок!

Привратник выскочил из клетушки и попытался схватить его за горло. Оно находилось очень высоко, и добраться до него было трудно. Привратник увидел,

что грубо ошибся. Ему стало стыдно, дело шло о его престиже знатока штанов. С кошачьей мягкостью он затащил Кина в свою каморку, познакомил его со своим тайным изобретением и велел петь своим четырем канарейкам. Но те не захотели. Кин начал понимать, кому он обязан своим покоем. (Уже несколько лет прошло с тех пор, как нищие перестали звонить в его дверь.) В тесной клетушке этот коренастый, медвежьей силы малый стоял совсем вплотную к нему. Он пообещал этому по-своему дельному человеку ежемесячный «презент». Названная сумма была больше, чем чаевые от всех остальных жильцов вместе взятых. В порыве счастья привратнику захотелось расколошматить стены клетушки рыжеволосыми кулачищами. Так он показал бы своему покровителю, как заслуживает он, привратник, его признательности. Но ему удалось обуздать свои мышцы, он только прорычал: «На меня можете положиться, господин профессор!» — и распахнул дверь в коридор.

С той поры никто в доме не отваживался говорить о Кине иначе, как о господине профессоре, хотя профессором он, в сущности, не был. Новые жильцы сразу же усваивали это правило, соблюдение которого привратник ставил главным условием их пребывания в доме.

Как только Тереза ушла из дому на весь день, Кин закрылся на цепочку и спросил себя, какое сегодня число. Было восьмое, первое миновало, нищих можно было не опасаться. Сегодня ему хотелось гораздо большей тишины, чем обычно. Предстоял праздник. Для этого он и выпроводил Терезу из дому. Времени было в обрез; в шесть, после закрытия магазинов, она вернется. На одни только приготовления ему требовалось несколько часов. Надо было выполнить всякую техническую работу. В ходе ее он мог бы набросать в голове свою торжественную речь. Речь эту он представлял себе чудом учености, не слишком сухой и не чересчур популярной, полной намеков на текущие события, подводящей итоги богатой жизни, которые уже приятно бывает услышать от человека лет сорока. Ибо сегодня Кин преодолел свою сдержанность.

Он накинул на стул пиджак и жилетку и торопливо засучил рукава. Одежду он хоть и презирал, но от мебели все же решил защитить. Затем он бросился к своей кровати, засмеялся и показал ей зубы. Она представилась ему какой-то незнакомой, хотя он каждую ночь спал на ней. В его представлении она стала топорнее и крикливее, так давно он не видел ее.

— Как поживаешь, приятельница? — воскликнул

он. — Ты же недурно поправились! — Со вчерашнего дня он был непрерывно в блестящем настроении. — А теперь вон! И немедленно, ясно? — Он схватил ее обеими руками за спинку в изголовье и толкнул. Чудовище не тронулось с места. Он налег плечами, от второго натиска он ждал большего. Кровать лишь заскрипела, ей явно хотелось поглумиться над таким, как Кин. С кряхтением и стонами он стал толкать ее коленями. Это напряжение превзошло его небольшие силы. Его стала бить дрожь. Он почувствовал, как в нем поднимается великая злость, и попробовал по-хорошему.

— Будь умницей! — польстил он. — Ты же вернешься сюда. Это только на сегодня. Сегодня у меня свободный день. Ее нет дома. Почему ты боишься? Тебя же не крадут!

Слова, которые он тратил на мебель, стоили ему такого усилия над собой, что в промежутках он совсем забывал толкать ее. Он долго уговаривал кровать, а руки его между тем устало висели, он чувствовал в них сильную боль. Он уверял кровать, что не желает ей зла, только сейчас она не нужна ему, пусть поймет. Кто распорядился тогда купить ее? Он. Кто выложил на это деньги? Он, и притом с удовольствием. Разве он до сегодняшнего дня не проявлял величайшего уважения к ней? Он старательно не замечал ее только из уважения. Человеку не всегда хочется показывать свое уважение. Всякая неприязнь проходит, и время лечит любые раны. Позволил ли он себе хоть одно враждебное замечание по ее адресу? А думать вольно что угодно. Он обещает ей, что она возвратится на место, которое однажды завоевала, он ручается, он клянется!

Может быть, кровать и уступила бы в конце концов. Но всю энергию, на какую он был способен, Кин вкладывал в свои слова. Для рук не оставалось ничего, совсем ничего. Кровать стояла на месте, невозмутимая и немая. Кин пришел в ярость.

— Бесстыжая деревяшка! — закричал он. — Кто, собственно, твой хозяин? — Ему нужна была разрядка. Он во что бы то ни стало должен был приструнить этот наглый предмет.

Тут он вспомнил о своем могучем друге, привратнике. На окрыленных ходулях выскочил он из квартиры, одолел лестницу так, словно та состояла из десятка, а не из сотни ступеней, и добыл себе мускулы, которых у него не было, в клетушке, где они жили.

— Вы мне нужны!

Звук и остов напомнили привратнику тромбон. Он предпочитал трубы, потому что у него у самого была

труба. Более всего был он склонен к ударным инструментам. Он только пробурчал: «Да, эти бабы!» — и повиновался. Он был твердо убежден, что атаковать предстоит жену. Чтобы пожелать этого, он внушил себе, что она уже вернулась.

Он видел в глазок, как она уходила. Он ненавидел ее, потому что она была обыкновенная экономка, а теперь именовалась госпожой профессоршей. Когда дело касалось званий, он, как бывший чиновник, был неподкупен и, произведя Кина в профессора, сделал из этого надлежащие выводы. С тех пор как умерла его чахоточная дочь, он не бил ни одной женщины и жил один. На баб у него не хватало времени из-за его напряженной работы, которая к тому же лишила его способности заводить интрижки. Бывало, что он засунет какой-нибудь горничной руку под юбку и ущипнет ее за ляжку. Но делал он это с такой серьезностью, что начисто лишал себя видов на успех, и так-то весьма небольших. До битья дело ни разу не доходило. Годами уже мечтал он о том, чтобы задать наконец славную трепку бабьему мясу. Он шел впереди; он поочередно ударял одним кулаком по стене, другим — по перилам. Из-за шума жильцы открывали двери и глядели на разномастную, но единодушную пару: на Кина в рубашке без пиджака и на привратника в кулаках. Никто не решался сказать ни слова. Взглядами обменивались за безопасными спинами. Когда у привратника выдавался большой день, на лестнице и комар побоялся бы пикнуть, тишина там стояла мертвая.

— Где она? — пробурчал он приветливо, когда они поднялись. — Сейчас мы покажем ей!

Он был приведен в кабинет. Хозяин остался в дверях, злорадно ткнул в сторону кровати длинным указательным пальцем и приказал:

— Долой ее!

Привратник наподдал плечом раз-другой, испытывая сопротивляемость кровати. Она показала ему очень малой. Презрительно поплевав на руки, он сунул их за ненадобностью в карманы, приналег головой и вмиг вытолкнул кровать за дверь.

— Это называется отфутболить! — объяснил он.

Спустя пять минут вся мебель из всех комнат стояла в коридоре.

— Книг у вас хватает, куда там, — сказала, заикаясь, протянувшая руку помощи голова. Он хотел перевести дух, но незаметно. Поэтому он просто что-то сказал, не громче, чем человек нормальной силы. Затем он вышел; с лестницы, отдышавшись, он крикнул в

квартиру: — Если вам еще что-нибудь понадобится, господин профессор, можете на меня положиться!

Кин поспешил ничего не ответить. Он забыл даже накинуть цепочку и только бросил взгляд на рухлядь, загромоздившую темный коридор, как куча мертвецки пьяных. Они явно не различали, где чьи ноги. Хлестни кто-нибудь кнутом по их спинам, они бы живо разобрались. Сейчас его враги отдавливали друг другу пальцы на ногах и обдирали лакированные головы.

Осторожно, чтобы не обезобразить свой праздник шумом, он затворил за собой дверь комнаты. Бесстрашно скользя вдоль полок, он нежно ощупывал корешки. Он напряженно тарашил глаза, чтобы не дать им по привычке закрыться. Его охватил восторг, восторг радости и позднего соединения. В первом смущении он говорил слова непредвиденные и неразумные. Он верит в их верность. Они все дома. У них есть характер. Он любит их. Он просит их не сердиться на него ни за что. Они вправе чувствовать себя обиженными. Грубо, на ощупь удостоверяется он в их сохранности. Но одним глазам он уже не доверяет, с тех пор как пользуется ими по-разному. Это он говорит только им, им он говорит все. Они скрытны. Он сомневается в глазах. Он сомневается во многом. Таким сомнениям были бы рады его враги. У него много врагов. По именам он не станет называть никого. Ибо сегодня великий день господень. И поэтому он хочет простить. И поэтому, будучи восстановлен в своих правах, он хочет любить.

Чем длинней становился обойденный ряд книг, чем целостнее и сплоченнее поднималась его старая библиотека, тем смешнее казались ему враги. Как осмелились они расчленять дверями единое тело, единую жизнь? Но никакие мученья не сломили библиотеку. Хотя ей и скрутили за спиной руки, хотя неделями, страшными, ужасными неделями, и пытали ее, в действительности побеждена она не была. Хороший воздух обвевал воссоединенные части тела. Они радовались, что наконец обрели друг друга. Тело дышало, и глубоко дышал хозяин этого тела.

Только двери ходили на своих петлях туда и сюда. Они портили ему праздничное настроение. Они прозаически вторгались в перспективу. Откуда-то дуло, он взглянул вверх, окна в потолке были открыты. Схватив обеими руками первую соединительную дверь, он снял ее с петель — как возросли тем временем его силы! — вынес ее в коридор и положил на кровать. Та же участь постигла и другие двери. На одном из стульев, который по ошибке, хотя тот стоял у письменного стола,

выдворил в коридор привратник, Кин увидел свой пиджак и жилетку. Значит, он начал празднество в неглиже. Немного смутившись, он оделся как следует и с большим самообладанием вернулся в библиотеку.

Он робко извинился за свое прежнее поведение. От радости он нарушил программу. Только ничтожество ошупывает ни с того ни с сего свою возлюбленную. Кто чего-то стоит, тот не разыгрывает из себя перед ней важного барина. Совершенно незачем уверять ее в естественной привязанности. Любимую берут под защиту, не хвастаясь этим. Обнимать ее надо в торжественные минуты, а не в хмелю. В настоящей любви признаются перед аналогом.

Именно это Кин и собирался сейчас сделать. Он подвинул старую добрую стремянку на удобное место и взобрался на нее задом наперед, так что спина его касалась полок, голова — потолка, его удлиненные ноги — то есть стремянка — пола, а глаза — всего единого пространства библиотеки, и обратился к своей возлюбленной с такой речью:

— С некоторых пор, точнее говоря, с тех пор, как в нашу жизнь вторглась чужая сила, я лелею мысль поставить наши отношения на прочную основу. Ваше существование охраняется договором; но мы, я думаю, достаточно умны, чтобы не заблуждаться насчет опасности, в которой, несмотря на действующий договор, находитесь вы.

Мне незачем напоминать вам во всех подробностях древнюю и гордую историю ваших страданий. Возьму только один случай, чтобы наглядно показать вам, до чего близки друг к другу любовь и ненависть. В истории страны, которую мы все одинаково чтим, страны, где вам оказывали всяческое внимание, являли всяческую любовь и даже почитали вас, как то и подобает, наравне с божествами, есть одно ужасное событие, преступление мифической огромности, учиненное над вами одним дьявольским деспотом по наущению одного еще более дьявольского советчика. В двести тринадцатом году до рождения Христова по приказу китайского императора Ши-хуанди, жестокого узурпатора, отважившегося присвоить себе титул «Первый, Величественный, Божественный», были сожжены все книги Китая. Сам этот дикий и суеверный преступник был слишком невежествен, чтобы верно оценить значение книг, на основании которых оспаривалась его деспотическая власть. Но его первый министр Ли Сы, сам детище своих книг, презренный, стало быть, ренегат, сумел ловким внушением склонить его к этой

неслыханной мере. Даже разговоры о классическом песеннике и классическом историографическом труде китайцев карались смертной казнью. Устная традиция уничтожалась одновременно с письменной. Не подлежало конфискации ничтожное меньшинство книг; можете себе представить какие: труды по медицине, фармакопее, гадальному искусству, земледелию и выращиванию деревьев, то есть сплошь практическая ерунда.

Признаюсь, меня и сегодня еще преследует запах гари, стоявший в те дни. Что толку, что спустя три года варвара-императора постигла заслуженная им судьба? Он умер, но мертвым книгам это не помогло. Они были сожжены и остались сожженными. Но не премину упомянуть и о том, что произошло вскоре после смерти императора с ренегатом Ли Сы. Раскусив его дьявольскую сущность, престолопреемник лишил его должности первого министра царства, которую тот занимал более тридцати лет. Его в кандалах бросили в темницу и приговорили к бастонаде в тысячу палочных ударов. Удары он получил все до единого. пыткой его заставили признаться в своих преступлениях. Кроме стотысячекратного убийства книг, на совести у него были и другие мерзости. Его попытка отказаться позднее от этого признания не удалась. На рыночной площади города Сяньян его распилили пополам, медленно и в длину, потому что это продолжается дольше. Последняя мысль этого кровожадного зверя была об охоте. Кроме того, он не постеснялся расплакаться. Весь его род, от сыновей до семидневного младенца правнука, как мужчины, так и женщины, был уничтожен, только заслуженное сожжение было милостиво заменено обычной казнью. В Китае, стране семьи, культа предков и памяти об отдельных лицах, память о стотысячекратном убийце Ли Сы не сохранилась ни в одной семье, а сохранилась только история, та самая история, которую этот распиленный затем пополам негодяй хотел уничтожить.

Каждый раз, читая у какого-нибудь китайского автора историю сожжения книг, я не упускаю случая справиться по всем имеющимся источникам и насчет поучительного конца виновника массового убийства Ли Сы. К счастью, конец этот описывали не раз. Пока его десять раз не распилят пополам у меня на глазах, я еще ни разу не мог успокоиться и уснуть.

Часто я с болью спрашиваю себя, почему этим ужасным событиям суждено было случиться именно в Китае, который для всех нас — земля обетованная. Наши враги непременно указывают нам на катастрофу

двести тринадцатого года, когда мы ссылаемся на пример Китая. Мы можем только возразить, что и там число образованных ничтожно мало по сравнению с остальной массой. Болото неграмотности иногда засасывает в свою тину книги и книжников. От стихийных бедствий не защищена ни одна страна в мире. Почему требуют невозможного от Китая?

Я знаю, ужасы тех дней остались у вас в крови, как и многие другие преследования. Не по душевной черствости, не по бесчувственности говорю я вам о мучениках вашего славного прошлого. Нет, я хочу только встряхнуть вас и добиться от вас поддержки тех мер, которыми мы должны защитить себя от опасности.

Будь я предатель, я мог бы отвлечь вас от грозящей беды красивыми словами. Но вину за то положение, в каком оказались мы, несу я сам. У меня хватает твердости духа признать это перед вами. Если вы спросите меня, как мог я настолько забыть — а у вас есть право на этот вопрос, — то мне, к стыду моему, придется ответить: я забылся потому, что забыл нашего великого учителя Мэна, который говорит: «Они действуют и не знают, что творят; они верны своим привычкам и не знают почему; они всю свою жизнь бродят, но пути своего не знают; таковы они, люди толпы».

Всегда и неукоснительно надо быть начеку перед людьми толпы, — вот к чему призывает нас этими словами учитель. Люди эти опасны, потому что у них нет образования, а значит, и разума. Случилось так, что заботу о вашем физическом благополучии и человеческом уходе за вами я поставил выше советов учителя Мэна. Эта моя близорукость тяжело отомстила за себя. Характер, а не пыльная тряпка создает человека.

Но не будем впадать и в противоположную крайность! Ни одна буква не пострадала у вас. Я никогда не простил бы себе этого, если бы кто-нибудь обвинил меня в нерадивом отношении к обязанности опекать вас. Если у кого-нибудь есть жалобы, пусть скажет.

Кин помолчал и поглядел вокруг себя с вызовом и угрозой. Книги тоже молчали, ни одна не выступила вперед, и Кин продолжал свою хорошо подготовленную речь:

— Я предвидел такой результат моего призыва. Я вижу, что вы верны мне, и хочу, поскольку вы заслуживаете этого, посвятить вас в планы наших врагов. Сперва удивлю вас одним интересным и важным сообщением. При генеральном смотре я установил,

что в оккупированной врагом части библиотеки произошли недозволительные перемещения. Чтобы не вносить еще большего смятения в ваши ряды, я не стал поднимать шума. Для пресечения всяких тревожных слухов я сразу клятвенно заявляю, что никаких потерь мы не понесли. За полноту и полномочность этого собрания ручаюсь своим честным словом. Пока мы еще в состоянии обороняться как целостная и монолитная корпорация, где все за одного и один за всех. Но то, чего еще нет, может произойти. Уже завтрашний день может вырвать кого-нибудь из наших рядов.

Я знаю, чего добивается враг этими перемещениями: он хочет затруднить контроль над нашим составом. Он думает, что мы не осмелимся аннулировать его завоевания на оккупированной территории, что он, полагаясь на наше незнание новой обстановки, сможет еще до объявления войны приступить к похищениям, которых мы не заметим. Будьте уверены, он начнет с самых выдающихся из вас, с тех, за кого сможет потребовать очень большой выкуп. Ведь о том, чтобы употребить похищенных против их же товарищей, он и думать не думает. Он знает, на что нельзя надеяться, а ему нужны, чтобы вести войну, деньги, деньги и еще раз деньги. Существующие договоры для него просто клочок бумаги, не больше.

Если вы хотите, чтобы вас прогнали с вашей родины и рассеяли по всему миру, как рабов, которых оценивают, ошупывают, покупают, с которыми не разговаривают, которых еле слушают, когда они исполняют свои обязанности, как рабов, в чьей душе не читают, которыми владеют, но которых не любят, которых бросают на произвол судьбы или перепродают с прибылью, которых используют, но не понимают, — тогда сидите сложа руки и сдавайтесь врагу! Но если у вас еще остались в теле храброе сердце, отважная душа, благородный дух, — тогда вставайте вместе со мной на священную войну!

Не переоценивай силу врага, народ мой! Ты раздавишь его своими литерами, пусть твои строки будут дубинами, которые обрушат свои удары на его голову, твои буквы — свинцовыми гирями, которые повиснут у него на ногах, твои переплеты — латами, которые защитят тебя от него! Тысяча хитростей есть у тебя, чтобы его заманить, тысяча сетей, чтобы его опутать, тысяча молний, чтобы его разmozжить, — все это есть у тебя, мой народ, сила, величие, мудрость тысячелетий!

Кин умолк. Изнуренный, полный восторга, он поник на складной лестнице. Ноги его дрожали — или это

дрожала лестница? Восславленное оружие пустилось перед его глазами в военный танец. Потекла кровь; поскольку это была книжная кровь, ему стало совсем дурно. Только не упасть в обморок, только не потерять сознание! Тут поднялся шум оваций, казалось, буря всколыхнула лес листьев, со всех сторон раздались возгласы ликования. Отдельных бойцов в толпе он узнавал по их словам. Их язык, их звуки, да, это были они, его друзья, его сподвижники, они шли за ним на священную войну! Вдруг его снова подняло на лестницу, он несколько раз поклонился и положил — волнение сбило его с толку — левую руку справа на грудь, где и у него не было сердца. Овация не прекращалась. Ему казалось, что он всасывает ее глазами, ушами, носом и языком, всей своей влажной, зудящей кожей. Он никак не думал, что способен на такую зажигательную речь. Ему вспомнился его страх перед этой речью, — чем иным было то извинение, как не страхом? — и он улыбнулся.

Чтобы прекратить овацию, он слез с лестницы. Он заметил на ковре пятна крови и схватился за лицо. Приятная влага была кровью. Теперь он вспомнил также, что уже лежал на полу и, сохранив сознание благодаря разразившейся буре, еще раз влез на стремянку. Он побежал в кухню — только бы поскорее убраться из библиотеки, кто знает, не забрызганы ли уже кровью книги, — и тщательно смыл с себя все красное. Он предпочитал, чтобы это ранение сказалось на нем, а не на ком-нибудь из его войска. Освеженный, исполненный нового боевого духа, он поспешил назад на театр военных действий. Бурная овация смолкла. Только ветер грустно свистел в окне наверху. На жалобные песни у нас нет сейчас времени, подумал он, а то скоро нам придется петь их на реках Вавилонских. Стремглав взлетев на стремянку, он вытянулся в струнку и заорал командирским тоном, отчего стекла вверху в страхе зазвякали.

— Я рад, что вы вовремя образумились. На одном восторге войну вести нельзя. Судя по вашему одобрению, вы готовы сражаться под моим началом.

Объявляю:

1. Мы находимся в состоянии войны.
2. Предатели подлежат суду.
3. Командование централизовано. Я — верховный главнокомандующий, единственный вождь и военачальник.
4. Все без исключения различия, вытекающие из прошлого, из авторитета, величия и ценности участни-

ков войны, отменяются. Демократизация войска практически выражается в том, что с сегодняшнего дня каждый отдельный том стоит корешком к стене. Эта мера усиливает наше чувство солидарности. Она отнимает у хищного, но невежественного врага его мерила.

5. Сообщаю пароль — имя Кун.

На этом он закончил свой краткий манифест. На то, какое действие возымели его слова, он и не посмотрел. Успех прежней воинственной речи взрастил в нем чувство собственной власти. Он знал, что вся его армия единодушно любит его. Он удовлетворился однократным волеизъявлением и перешел к действиям.

Каждый в отдельности том был вынут и поставлен спиной к стене. Когда он — наскоро, конечно, в ходе этой работы — взвешивал в руке своих старых друзей, ему было жаль, что приходится обрекать их на безымянность готового к войне войска. Несколько лет назад он ни за что не пошел бы на такую жестокость. *A la guette comme à la guette*¹, — оправдался он и вздохнул.

Речи Гаутамы Будды, вообще-то очень миролюбивого характера, пригрозили, хоть и в мягкой форме, отказом от военной службы. Он презрительно усмехнулся и крикнул: «Попробуйте только!» Но такой уверенности, с какой это прозвучало, в душе у него отнюдь не было. Ибо речи эти составляли десятки томов. Вот они все плотно стояли рядом, на языке пали, на санскрите, в китайских, японских, тибетских, английских, немецких, французских, итальянских переводах, целая рота, сила, внушающая уважение. Их поведение показалось ему чистым лицемерием.

— Почему вы раньше не заявили?

— Мы не участвовали в орации, о господин.

— Вы могли подавать реплики.

— Мы молчали, о господин.

— Это на вас похоже, — обрезал он их. Но жало молчания жгло. Кто уже десятки лет назад возвел молчание в высший принцип своей жизни? Он, Кин. Где он постиг ценность молчания, кому он обязан был решающим поворотом в своем развитии? Будде, Просветленному. Тот чаще всего молчал. Может быть, своей славой он и обязан был тому факту, что так много молчал. Знание он не очень-то жаловал. На любые вопросы он отвечал молчанием или давал понять, что ответы на них не стоят труда. Напрашивалось подозрение, что он этих ответов не знает. Ибо то, что он знал,

¹ На войне как на войне (фр.).

свой знаменитый причинный ряд, он ввертывал при малейшей возможности. Если он не молчал, то говорил всегда одно и то же. Изыми из его речей притчи, и что останется? Этот самый причинный ряд. Бедный ум! Ум, от чистого упрямства обросший жиром. Можно ли представить себе Будду иначе, чем жирным? Молчание молчанию рознь.

Будда мстил за эти неслыханные оскорбления: он молчал. Кин спешил повернуть его речи, чтобы выбраться из этой деморализующей, пораженческой сферы.

Он поставил перед собой трудную задачу. Принимать воинственные решения легко. Но потом надо в каждом в отдельности поддерживать твердость духа. Принципиальных противников войны было все-таки меньшинство. Главное сопротивление вызвал четвертый пункт манифеста, демократизация войска, первое действительно практическое мероприятие. Какую сумму тщеславий тут надо было преодолеть! Эти дураки предпочитали быть украденными, чем отказаться от личной славы. *Шопенгауэр* проявлял свою волю к жизни. Задним числом он страстно желал этого худшего из миров. Во всяком случае, он отказался бороться плечом к плечу с каким-то *Гегелем*. *Шеллинг* вытащил свои старые обвинения и доказывал тождество гегелевского учения с его собственным, которое, однако, старше. *Фихте* героически восклицал: «Я!» *Иммануил Кант* категоричнее, чем при жизни, выступал за Вечный Мир. *Ницше* декламировал, объявлял себя и Дионисом, и Анти-Вагнером, и Антихристом, и Спасителем. Другие встречали, злоупотребляя этой минутой, именно этой минутой, чтобы подчеркнуть свою непризнанность. Наконец Кин повернулся спиной к фантастическому аду немецкой философии.

Он надеялся вознаградить себя у менее великолепных и, может быть, слишком ясных французов, но был встречен градом шпилек. Они издевались над его смешным обликом. Он не умеет, мол, обходиться со своим телом, вот он и идет на войну. Он-де всегда был скромн, вот он и унижает их, чтобы возвысить себя. Так, мол, поступают все любящие: выдумывают себе какие-то препятствия, чтобы иметь возможность победить. Ведь за его священной войной кроется всего только женщина, какая-то невежественная экономка, старая, никуда не годная и пошлая. Кин рассвирепел.

— Вы не заслужили меня, нет! — возмутился он. — Я бросаю вас всех на произвол судьбы!

— Ступай лучше к англичанам! — посоветовали они.

Они были слишком заняты своим умом, чтобы вступить с ним в серьезную борьбу, и дали ему добрый совет.

У англичан он нашел то, что ему нужно было сегодня, — солидную почву фактов, на которой они твердо стояли. Их замечания, при всей их флегматичности вырывающиеся у них, были трезвы, полезны и все же глубококомысленны. Под конец они, правда, не удержались от одного тяжелого упрека по его адресу. Почему он взял пароль из языка цветной расы? Тут Кин вскочил и сам накричал на англичан.

Он проклинал свою судьбу, уготавливавшую ему одно разочарование за другим. Лучше быть кули, чем полководцем, крикнул он и приказал многотысячному собранию молчать. Он долгие часы занимался их поворачиванием. Легко было дать кому-нибудь и шлепка. Но он не решался сделать выводы из нового дисциплинарного устава и никого не обидел. Усталый и унылый, огорченный до смерти, больше по велению характера, чем по убеждению, ибо они отняли у него его веру, ковылял он вдоль полка. Для верхних он брал на подмогу стремянку, она тоже обходилась с ним неласково и неприязненно. Она то и дело перекашивалась и строптиво ложилась на ковер. Тонкими, бессильными руками поднимал он ее, и каждый раз это давалось ему все тяжелее. У него не хватало теперь даже гордости, чтобы выругать ее по заслугам. Влезая, он ступал на перекладки с особой осторожностью, чтобы они не шутили с ним шуток. Дела его были настолько скверны, что приходилось ладить даже с собственной стремянкой, фигурой чисто вспомогательной. Завершив перестановку книг в прежней столовой, он оглядел дело рук своих. Он позволил себе трехминутную передышку, которую провел на ковре в горизонтальном положении, тяжело дыша, но с часами в руке. Затем пришла очередь соседней комнаты.

СМЕРТЬ

На пути домой Тереза дала волю своему возмущению.

Она приглашает человека пообедать, а он вместо благодарности наглет. Может быть, она чего-то хотела от него? Ей не нужно бегать за чужими мужчинами. Она женщина замужня. Она не служанка, которая пойдет с любым.

В ресторане он сперва взял меню, спросил, что заказать нам. Она, дура, сказала в ответ: «Но плачу я».

Чего он только не заказал! Ей и сейчас еще стыдно перед людьми. Он клялся, что он человек высокого пошиба. Ему не было написано на роду стать бедным служащим. Она его утешала. Тут он и скажи, что зато ему везет у женщин, но что ему из того? Ему нужен капитал, не обязательно большой, потому что каждому хочется быть хозяином себе самому. У женщин нет капитала, у них только сбережения, и то жалкие, с такими пустяками дела не начнешь, кто-нибудь другой, может быть, и начнет, но не он, потому что он не признает компромиссов и дерьмом пробавляться не станет.

Прежде чем приняться за второй шницель, он берет ее руку и говорит:

— Вот рука, которая поможет мне добиться счастья.

При этом он щекочет ее. На диво ловок он щекотать. Никто еще не говорил ей, что она счастье. И не хочет ли она участвовать в его деле?

Откуда же у него вдруг возьмутся нужные для этого деньги?

Тут он засмеялся и сказал: капитал даст ему его возлюбленная.

Она чувствует, как багровеет от злости. Зачем ему возлюбленная, если есть она, она тоже человек!

— Сколько лет этой возлюбленной? — спросила она.

— Тридцать, — сказал он.

— Красива ли она? — спросила она.

— Красивей всех на свете, — сказал он.

Тут она пожелала взглянуть на портрет его возлюбленной.

— Сию минуту, пожалуйста, это тоже в моих силах. — Вдруг он сует палец ей в рот — такой у него славный, толстый палец — и говорит: — Вот она!

Поскольку она ничего на это не отвечает, он щипает ее за подбородок, такой настырный человек, делает что-то ногой под столом, прижимается, разве можно так, смотрит ей в рот и говорит: он опьянен любовью и счастьем и когда можно будет испробовать эти великолепные бедра. Пусть она положится на него. Он знает толк в делах. У него ничего не пропадает.

Тут она сказала, что любит правду больше всего на свете. Она должна сразу признаться ему. Она женщина без капитала. Ее муж женился на ней по любви. Она была простая служащая, как и господин Груб. Ему-то она может сказать. Насчет испробованья ей надо подумать, как это устроить. Она ведь тоже совсем не прочь. Таковы уж женщины. Вообще-то она не такая,

но бывают же исключения. Пусть господин Груб не думает, что он—единственная ее возможность. На улице все мужчины глядят ей вслед. Она уже с радостью ждет этого. Ровно в двенадцать муж ложится спать. Он засыпает сразу, он очень точен. У нее есть отдельная комната, где прежде спала экономка. Экономки теперь уже нет в доме. Она не выносит мужа, потому что дорожит своим покоем. Это такой назойливый человек. При этом он совсем не мужчина. Поэтому она спит одна в комнате, где прежде жила экономка. В четверть первого она спустится с ключом от парадного и откроет ему. Бояться ему нечего. Привратник спит крепко. Он так устает, наработавшись за день. Она спит совершенно одна. Спальню она покупает только для того, чтобы квартира была на что-то похожа. У нее всегда есть время. Она устроит так, что он будет приходить каждую ночь. Женщине тоже хочется что-то урвать от жизни. Оглянуться не успеешь, и тебе сорок, и кончилось золотое время.

Ладно, сказал он, он упразднит свой гарем. Когда он любит, он делает для женщины все. Она должна отплатить, как подобает, и попросить капитал у мужа. Он примет его только от нее, ни от какой другой женщины, потому что сегодня ночью его ждет величайшее счастье, блаженство любви.

Она любит правду больше всего на свете, предупреждает она, и должна сразу признаться. Ее муж скуп и никому не желает добра. Он ничего не выпускает из рук, даже книг. Будь у нее капитал, она тут же вложила бы его в его дело. Ему любая поверит на слово, к такому человеку любая испытывает доверие. Пусть же он придет. Она уже с радостью ждет этого. В ее времена была в ходу прекрасная поговорка: «Поживем—увидим». Каждому суждено когда-нибудь умереть. Так уж водится у людей. Он будет приходить каждую ночь в четверть первого, и вдруг капитал вот он. Она вышла замуж за старика не по любви. Надо подумать и о своем будущем.

Тут он отодвигает под столом одну ногу и говорит:

— Прекрасно, дорогая, но сколько лет мужу?

Сорок уже было, это она точно знает.

Тут он отодвигает под столом также вторую ногу, встает и говорит:

— Позвольте, это же возмутительно!

Пусть он продолжает кушать, просит она его. Она в этом не виновата, но ее муж похож на скелет и определенно нездоров. Каждое утро, вставая с постели, она думает: сегодня он умрет. Когда она входит к нему

с завтраком, оказывается, что он еще жив. Покойная ее мать тоже была такая. В тридцать была уже больна, а умерла в семьдесят четыре. И притом только с голоду. Никто не поверил бы при виде такой оборванки. Тут этот интересный человек второй раз кладет вилку и нож и говорит: он не будет есть больше, он боится.

Сперва он не хотел сказать — почему, затем все-таки открывает рот и говорит: как легко человеку отравиться! Вот мы, счастливые, сидим вдвоем и предвкушаем за обедом ночь блаженства. Из зависти хозяин или официант тайком подсыпает нам в еду какой-то там порошок, и вот мы оба уже в холодной могиле. Любовь поминай как звали, хотя мы еще не вкусили блаженства. Но он все же не думает, что они так поступят, потому что в общественном заведении это раскроется. Будь он женат, он жил бы в постоянном страхе. От женщины можно ждать всего. Он знает женщин лучше, чем собственный карман, с внутренней стороны и с наружной, не только бедра и ляжки, хотя они — самое лучшее в женщине, если в них разбираешься. Женщины деятельны. Сперва они дожидаются нужного им завещания, а потом делают с мужем что хотят и над свежим трупом обручаются с верным возлюбленным. Тот, естественно, не остается в долгу, и ничего не открывается.

Но у нее сразу нашелся ответ. Этого она не сделает. Она женщина порядочная. Иногда такое все же раскрывается, и тогда тебя сажают в тюрьму. Сидеть в тюрьме порядочной женщине не подобает. Многие на свете было бы лучше, если бы тебя не могли посадить в тюрьму. Нельзя шевельнуться. Едва что-нибудь открывается, полиция уже тут как тут и сажает человека в тюрьму. Они не смотрят на то, что женщине этого не вынести. Они должны во все совать нос. Какое им дело до того, как живет женщина со своим мужем? Женщина должна мириться со всем. Женщина — не человек. А муж при этом ни на что не годится. Разве это муж? Это же не муж. Такого мужа не жалко. Лучше бы возлюбленный взял косарь и хватил им по голове мужа, когда тот уснет. Но ведь муж всегда запирается на ночь, потому что ему страшно. Пусть возлюбленный подумает, как ему самому все устроить. Он же говорит, что ничего не откроется. Она этого делать не станет. Она женщина порядочная.

Тут он прерывает ее. Не надо так громко кричать. Он сожалеет о досадном недоразумении. Она же не станет утверждать, что он подстрекал ее к отравлению

с целью убийства? Он человек добрейшей души и мухи не обидит. Потому-то женщины и готовы сожрать его от любви.

— Они знают, что хорошо! — сказала она.

— Я тоже, — говорит он. Вдруг он встает, снимает с вешалки ее пальто и делает вид, будто ей холодно. На самом деле это нужно было, чтобы поцеловать ее в затылок. Губы у него что его голос. И еще сказал при этом: — Люблю целовать славные затылочки, а вы все это обдумайте!

Снова сев, он начинает смеяться:

— Вот как это делается! Вкусно было? Пора нам расплачиваться!

Затем она заплатила за обоих. Почему она была такая глупая. Все было так славно. Беда началась потом, на улице. Сперва он долго ничего не говорит. Она не знала, что ответить на это. Когда они дошли до мебельного магазина, он спрашивает:

— Да или нет?

— Да, доложу я вам! Точно в четверть первого!

— Я имею в виду капитал! — сказал он.

Совершенно невинно она дает ему славный ответ:

— Поживем — увидим.

Они входят в магазин. Он исчезает в задней комнате. Вдруг выходит начальник и говорит:

— Изволили пообедать. Завтра утром спальня будет доставлена. Или у вас есть какие-нибудь возражения?

— Нет! — говорит она. — Заплатить я хотела бы сегодня.

Он принимает деньги и дает ей квитанцию. Тут этот интересный человек выходит из задней комнаты и громко говорит ей при всех:

— На место друга дома вам придется поискать кого-нибудь другого, сударыня. У меня есть помоложе, чем вы. И они будут куда красивей, чем вы, сударыня!

Тут она быстро выбежала из магазина, захлопнула дверь и на улице при всех расплакалась.

Разве она чего-то хотела от него? Она платит за обед, а он наглет. Она женщина замужняя. Ей незачем бегать за чужими мужчинами. Она не служанка, которая пойдет с любым. У нее же могло бы их быть по десятку на каждый палец. На улице все мужчины смотрят ей вслед. А кто в этом виноват? Виноват муж! Она бежит ради него по всему городу и покупает ему мебель. А в благодарность за это надо еще и обиды терпеть. Пусть сам ходит. Он же ни на что не годится. Квартира принадлежит, однако, ему. Не может же

быть ему безразлично, какая мебель стоит рядом с его книгами. Откуда у нее столько терпения? Такой тип думает, что он может помыкать кем угодно. Сначала ты делаешь для него все, а потом он позволяет обижать жену при всех. Пускай бы такое случилось с женой этого интересного человека! Но у него нет жены. Почему у него нет ее? Потому что он мужчина. У настоящего мужчины нет жены. Настоящий мужчина женится только тогда, когда он что-то представляет собой. Ведь этот, что сидит дома, ничего не представляет собой! Что он собой представляет? Такой скелет! Можно подумать, что он мертвец. Зачем такое живет на свете. Такое еще и живет. Такой человек ни к чему. Он только отнимает у других денежки.

Она вошла в дом. Привратник появился на пороге каморки и проворчал:

— Сегодня что-то будет, госпожа профессорша!

— Посмотрим! — ответила она и презрительно показала ему спину.

Наверху она отперла входную дверь. Никто не пошевелился. В передней вся мебель была свалена вперемешку. Она бесшумно отворила дверь в столовую. Тут она испугалась до ужаса. Стены вдруг стали совсем другими. Раньше они были коричневые, теперь они белые. Что-то произошло. Что произошло? В соседней комнате та же перемена. В третьей, в которой она хотела устроить спальню, ей стало все ясно. Он повернул книги кругом!

Книгам полагается стоять так, чтобы их можно было схватить за корешок. Это нужно, чтобы стирать с них пыль. Как иначе вытаскивать их? Ее это устраивает. Ей надоело вечно вытирать пыль. Для вытирания пыли держат прислугу. Денег у него хватает. На мебель он выбрасывает деньги. Пусть лучше позкономит. У хозяйки дома тоже есть сердце.

Она искала его, чтобы стукнуть его по голове этим сердцем. Она нашла его в кабинете. Растянувшись во всю свою длину, он лежал на полу, прикрытый стрелялкой, которая немного выдавалась за его голову. Прекрасный ковер вокруг него был в пятнах крови.

Такие пятна очень трудно вывести. Чем бы ей попытаться лучше всего? Он с ее трудом совсем не считается! Ему не терпелось, вот он и свалился с лестницы. Что она говорила, он нездоров. Интересному человеку следовало бы это увидеть. Она не радуется этому, она не такая. Что это за смерть? Ей почти жаль его. Не хотела бы она взобраться на лестницу и упасть мертвой. Можно ли быть настолько неосторожным?

Каждому по заслугам. Больше восьми лет она ежедневно взбиралась на стремянку и вытирала пыль, с ней-то разве случалось что-нибудь? Порядочный человек держится крепко. Почему он был так глуп? Теперь книги принадлежат ей. В этой комнате повернута только половина. Они составляют капитал, говорил он всегда. Он-то уж знает, он же сам покупал их. Она не притронется к трупу. Намучаешься с тяжелой лестницей, а потом еще выйдут неприятности с полицией. Лучше она оставит все на своих местах. Не из-за крови, на нее ей плевать. Это же не кровь. Откуда у него возьмется настоящая кровь? Насажать пятен может он своей кровью, только и всего. Ковра ей жаль. Зато теперь все—ее, прекрасная квартира тоже чего-то стоит. Книги она продаст сразу же. Кто бы мог подумать еще вчера? Но такова уж судьба. Сначала позволяешь себе дерзости в отношении жены, а потом вдруг умираешь. Она всегда говорила, что это добром не кончится, но она же ничего не смела сказать. Такой тип думает, что он один на свете. Ложиться спать в двенадцать часов и не давать покоя жене—разве так поступают? Порядочный человек ложится спать в девять часов и оставляет жену в полном покое.

Из сострадания к беспорядку, царившему на письменном столе, Тереза скользнула к нему. Она включила настольную лампу и стала искать среди бумаг завещание. Она полагала, что он составил его перед своим падением. Она не сомневалась в том, что объявлена единственной наследницей, поскольку о существовании каких-либо других родственников не знала. Но в учебных заметках, которые она прочитала от начала до конца, не было о деньгах ни слова. Листки с чужеземным письмом она добросовестно отложила в сторону. Они содержали особые ценности, которые можно было продать. За едой он однажды сказал ей, что то, что он пишет, дороже золота, но дело для него не в деньгах.

Через час, все тщательно разобрав и перечитав, она с возмущением установила, что никакого завещания нет. Он ничего не подготовил. До последней минуты он оставался самим собой, мужем, который думает только о себе и плюет на жену. Вздохнув, она решила обследовать и внутренность письменного стола, все ящики по порядку, чтобы обнаружить завещание. Первая же попытка жестоко разочаровала ее. Стол был заперт. Ключи он носил всегда в кармане штанов. Хорошенькое дело, вот она и промахнулась. Ей же нельзя ничего вынимать. Если она случайно угодит в кровь, полиция, чего доброго, подумает. Она подошла к

труп в плотную, нагнулась и не сумела разобраться в расположении карманов. Она боялась просто стать на колени. Перед великими мгновениями она обычно сначала снимала юбку. Она аккуратно сложила ее и доверила дальнему углу ковра. Затем она стала на колени на расстоянии одного шага от трупа, оперлась для устойчивости головой о стремянку и медленно влезла указательным пальцем левой руки в его правый карман. Продвинулась она недалеко. Он лежал так неловко. В глубине кармана она, показалось ей, нащупала что-то твердое. Тут ей, к величайшему ее ужасу, пришло в голову, что лестница, возможно, тоже в крови. Она быстро встала и схватилась за лоб, за то место, которым она прижималась к лестнице. Она не обнаружила крови. Но тщетные поиски завещания и ключей доконали ее.

— Надо что-то сделать, — сказала она вслух, — нельзя же оставлять его так!

Она надела юбку и пошла за привратником.

— *Что* случилось? — спросил он угрожающе. Обыкновенным людям он не очень-то позволял мешать ему во время работы. К тому же он и не понял ее, потому что она говорила тихо, как полагается при покойнике.

— Ну, доложу я вам, он умер!

Теперь он понял. В нем ожили старые воспомина-ния. Он слишком давно вышел на пенсию, чтобы сразу довериться им. Его сомнения медленно уступили место вере в такое славное преступление. В такой же мере изменилась его внешность. Он стал безобидным и слабым, как в те знаменательные дни его службы в полиции, когда надо было захватить с поличным како-го-нибудь особенного зверя. Его теперь можно было счесть худым. Рычанье застряло у него в горле. Его глаза, обычно вперявшиеся в противника, кротко отступили в углы и здесь притаились. Рот его пытался улыбнуться. Этому мешали жесткие, глаженные, тугие усы. На помощь пришли два дельных крепыша — пальца, которые и вытянули в улыбку уголки рта.

Убийца подавлена и не подает признаков жизни. Он в полной форме выходит к судьям и объясняет, как это делается. Он главный свидетель на сенсационном процессе. Прокурор живет исключительно за его счет. Как только убийца попала в другие руки, она отказалась от всех своих показаний.

— Господа! — говорит он звонким голосом, журналисты записывают каждое слово. — С человеком надо уметь обращаться. Преступник тоже всего-навсего че-

ловек. Я уже давно на пенсии. В свободное время я изучаю нравы, душу, как говорят, этих субъектов. Если вы будете обращаться с субъектом хорошо, убийца признается в своем преступлении. Но предупреждаю вас, господа, если вы будете обращаться с субъектом плохо, она станет нагло все отрицать, и суду придется искать доказательства. В этом сенсационном процессе по делу об убийстве вы можете положиться на меня. Господа, я свидетель обвинения. Но я спрашиваю вас, господа, сколько всего таких свидетелей? Я единственный! Теперь будьте внимательны. Это делается не так просто, как вы думаете. Сперва у человека возникает подозрение. Потом ничего не говоришь и хорошенько присматриваешься к преступнице. Потом невзначай бросаешь на лестнице:

— Жестокий человек.

Когда привратник принял такой дружелюбный вид, Тереза почувствовала ужасный страх. Она не могла объяснить себе происшедшую с ним перемену. Она готова была на все, чтобы только он опять зарычал. Он не топал впереди, как обычно, он подобострастно шел рядом с ней, и когда он поощрительно спросил во второй раз: «Жестокий человек?», она все еще не понимала, кого он имеет в виду. Вообще же понять его бывало легко. Чтобы привести его в привычное настроение, она сказала:

— Да.

Он подтолкнул ее и, не спуская с нее хитрого и скромного взгляда, всем своим корпусом призвал ее к защите от жестокости мужа.

— Надо защищаться, если такое дело.

— Да.

— Тут всякое может случиться.

— Да.

— Раз-два, и человеку конец.

— Конец, да.

— Это смягчающие обстоятельства.

— Обстоятельства.

— Виноват он.

— Он.

— Забыл про завещание.

— Еще чего не хватало.

— Человеку надо на что-то жить.

— На что-то жить.

— Можно и без яда.

Тереза в этот миг думала то же самое. Она не произносила больше ни слова. Она хотела сказать: интересный человек уговаривал меня, но я защищалась.

Полиция сразу прицепится. Тут она вспомнила, что привратник сам из полиции. Он все знает. Сейчас он скажет: отравлять нельзя. Зачем вы это сделали? Таких слов она не потерпит. Виноват интересный человек. Его зовут господин Груб, он простой служащий в фирме «Больш и Мать». Сперва он пожелал прийти ровно в четверть первого, чтобы не дать ей покоя. Потом он сказал, что возьмет топор и убьет мужа, когда тот будет спать. Она ни на что не согласилась, и на отравление тоже, а теперь у нее неприятности. Разве она виновата, что муж умер? На завещание у нее есть право. Все принадлежит ей. Она дневала и ночевала у него в доме и надрывалась для него, как слуга. Его же нельзя было оставить одного дома. Один раз она ушла, чтобы купить для него спальню, он ничего не смыслит в мебели. Так он влезает на лестницу и разбивается насмерть. Извольте, ей жаль его. Может быть, женам не положено получать что-то в наследство?

С каждым этажом к ней возвращалась какая-то доля прежней храбрости. Она убедилась в том, что она не виновата. Полиции тут нечего делать. Дверь квартиры она открыла как хозяйка всех хранящихся здесь ценностей. Привратник прекрасно заметил беспечность, которую она вдруг снова на себя напустила. У него это ей не поможет. Она уже призналась. Он предвкушал очную ставку убийцы и жертвы. Она пропустила его вперед. Он поблагодарил, хитро подмигнув, и уже не спускал с нее глаз.

Ситуация стала ясна ему с первого взгляда, когда он еще стоял на пороге кабинета. Стремянку она потом положила на труп. Его такими штучками не проведешь. Он знает что к чему.

— Господа, я подхожу к месту преступления. Я обращаюсь к убийце и говорю ей: «Помогите мне поднять лестницу!» Вы же понимаете, что лестницу я могу поднять и сам, — он показывает свои мускулы, — я хотел определить, какое лицо сделает обвиняемая. Лицо — это главное. Человек делает то или иное лицо!

Еще во время этой речи он заметил, что стремянка шевелится. Он оторопел. На миг ему стало жаль, что профессор жив. Последние слова профессора грозили отнять у главного свидетеля большую долю его блеска. Официальной походкой он подошел к лесенке и поднял ее одной рукой.

Кин только что очнулся и корчился от боли. Он попытался встать, но это не получилось у него.

— До смерти ему еще далеко! — проворчал приврат-

ник, снова прежний, и помог Кину подняться на ноги.

Тереза не верила своим глазам. Лишь когда Кин, скорчившись, но все же длиннее, чем его опора, встал перед ней и сказал слабым голосом: «Чертова лестница», она поняла, что он жив.

— Это подлость! — завизжала она. — Так не ведут себя! Порядочный человек! Ну, доложу тебе! Можно было и впрямь подумать!

— Цыц, дерьмо несчастное! — прервал привратник ее бурные жалобы. — Беги за врачом! А я пока уложу его в постель.

Он перекинул тощего профессора через плечо и вынес его в переднюю, где среди прочей мебели находилась кровать. Пока его раздевали, Кин не переставал твердить: «Я не терял сознания, я не терял сознания». Он не мог примириться с тем, что на короткое время лишился чувств.

— Где мускулы к такому костяку? — спросил себя привратник и покачал головой. От жалости к этому несчастному скелету он забыл свою гордую мечту о процессе.

Тереза тем временем пошла за врачом. На улице она постепенно успокоилась. Три комнаты принадлежали ей, это было записано. Лишь изредка она еще тихонько всхлипывала:

— Разве так можно — быть живым, если ты умер, разве так можно?

БОЛЬНИЧНЫЙ РЕЖИМ

Полных шесть недель после злосчастного падения Кин пролежал в постели. После одного из своих визитов врач отвел жену в сторону и объявил:

— От вашего ухода зависит, останется жив ваш супруг или нет. Ничего определенного сказать пока не могу. Мне не ясна природа этого редкого случая. Почему вы не вызвали меня раньше? Со здоровьем не шутят!

— У него всегда был такой вид, — возразила Тереза. — С ним никогда ничего не случалось. Я знаю его больше восьми лет. Что делали бы врачи, если бы никто не болел?

Этим заявлением врач удовлетворился. Он знал, что его пациент в хороших руках.

Кин чувствовал себя в постели весьма неважно. Двери были, вопреки его желанию, снова заперты,

только дверь в смежную комнату, где теперь спала Тереза, оставалась открытой. Ему хотелось знать, что происходит в остальной части библиотеки. Сначала он был слишком слаб, чтобы приподняться. Позднее ему удалось, несмотря на резкую боль, наклонить корпус вперед настолько, чтобы увидеть часть противоположной стены соседней комнаты. Там, казалось, мало что изменилось. Один раз он выбрался из постели и проковылял до порога. От радостного ожидания он ударился головой об угол дверной рамы, не успев заглянуть внутрь. Он упал и потерял сознание. Тереза вскоре нашла его и в наказание за непокорность дала ему так пролежать два часа. Затем она подтащила его назад к кровати, уложила его на нее и связала ему ноги крепкой веревкой.

Она была, в сущности, вполне довольна жизнью, которую вела теперь. Новая спальня была на славу. В память об интересном человеке Тереза испытывала к ней какую-то нежность и любила в ней находиться. Две другие комнаты она заперла и носила ключи от них в потайном кармане, который специально для этого вшила в юбку. Таким образом хотя бы часть имущества была всегда при ней. К мужу она входила когда хотела; ей же надлежало ухаживать за ним, это было ее право. Она действительно ухаживала за ним, ухаживала целыми днями, по предписаниям умного, доверчивого врача. Она успела уже обследовать внутренности письменного стола и не нашла завещания. Из речей в бреду она узнала о каком-то брате. Поскольку прежде о нем умалчивалось, она тем скорее поверила в его мошенническое существование. Этот брат жил для того, чтобы облапошить ее, как только дело дойдет до тяжело заработанного наследства. В жару больной выдал себя. Она не забывала, что он позволил себе жить дальше, хотя, в сущности, уже умер, но она прощала ему это, потому что за ним было еще составление завещания. Где бы она ни находилась, она всегда находилась с ним рядом. Весь день она говорила так громко, чтобы он не мог не слышать ее отовсюду. Он был слаб и старался, по совету врача, не раскрывать рта. Поэтому он не мешал ей, когда ей надо было что-нибудь сказать. Ее манера говорить за несколько недель усовершенствовалась; все, что ей приходило в голову, она высказывала вслух. Она обогатила свой лексикон выражениями, которые прежде хоть и употребляла мысленно, но произнести никогда не решилась бы. Лишь обо всем, что касалось его смерти, она умалчивала. На его преступление она намекала в общих словах:

— Муж не заслуживает того, чтобы жена так самоотверженно ухаживала за ним. Жена делает для мужа все, а что делает для жены муж? Муж думает, что он один на свете. Поэтому жена защищается и напоминает мужу об его долге. Ошибку можно исправить. Чего нет, то может произойти. В загсе обеим сторонам надо было составить завещание, чтобы одна сторона не голодала, если умрет другая. Умереть суждено каждому, так уж водится у людей. У меня должно быть все на своем месте. У меня ни о каких детях не может быть речи, на то есть я. Я тоже еще человек. Одной любовью не проживешь. В конце концов, мы составляем одно целое. Но жена несколько не в обиде на мужа. У жены нет ни часа покоя, потому что ей всегда надо смотреть, что с мужем. Он ведь у меня может опять потерять сознание, а мне расхлебывать.

Кончив, она начинала сначала. Десятки раз в день говорила она одно и то же. Он знал ее речь наизусть, слово в слово. По паузам между фразами он узнавал, предпочтет ли она этот или тот вариант. Ее причитания выгоняли у него все мысли из головы. Его уши, которые он сначала пытался заставить делать защитные движения, привыкли напрасно вздрагивать в такт. От общей слабости и бессилия пальцы его не добились до ушей, которые они должны были заткнуть. Однажды ночью у него выросли вдруг на ушах веки, он раскрывал и смыкал их по желанию, как над глазами. Он опробовал их раз сто и засмеялся: они захлопывались, они не пропускали ни звука, они выросли как по заказу и сразу же совершенной формы. От радости он ущипнул себя. Тут он проснулся. Ушные веки превратились в обыкновенные мочки, ему все приснилось. Какая несправедливость, подумал он, рот я могу закрыть, когда захочу, как хочу плотно, а что значит рот? Он нужен для приема пищи, но защищен превосходно, а вот уши, уши отданы на произвол любым словоизлияниям!

Когда Тереза подходила к его кровати, он притворялся, что спит. Если она была в хорошем настроении, она тихо говорила: «Он спит». Если она была в плохом настроении, она громко кричала: «Наглость!» Она не имела никакого влияния на свое настроение. Оно зависело от того места монолога, на каком она в данную минуту остановилась. Она жила в своей речи полной жизнью. Она говорила: «Ошибку можно исправить» — и ухмылялась. Хотя он, который исправит ошибку, спит — она выходит его, и то, чего нет,

появится. Потом ему вольно умереть снова. Если же муж как раз думал, что он один на свете, то сон его раздражал ее еще пуще. Тогда она доказывала ему, что она тоже человек, и будила его возгласом: «Наглость!» Ежечасно справлялась она о размерах его актива в банке и о том, все ли его деньги в одном и том же банке. Незачем держать все в одном банке. Она не против того, чтобы одна часть лежала в одном месте, другая — в другом.

Его подозрение, что она нацелилась на книги, с того несчастного дня, вспоминать который ему не хотелось, уменьшилось. Он верно понял, чего она добивается от него: завещания, и притом такого, где он распорядился бы только деньгами. Именно поэтому она оставалась ему совершенно чужой, хотя он знал ее целиком от первого до последнего слова. Она была на шестнадцать лет старше, чем он, по всей вероятности, ей суждено было умереть задолго до него. Какую ценность имели деньги, относительно которых было точно известно одно — что она никогда не получит их? Протяни она столь же бессмысленным образом руку к книгам, она, при всей естественной вражде, все-таки обеспечила бы себе его участие. Ее сверлящий, вечный интерес к деньгам, напротив, задавал ему загадки. Деньги были самым безличным, самым незначительным, самым бесцветным, что он мог представить себе. Как легко, без заслуг, без трудов, он просто-напросто унаследовал их!

Иногда его любознательность не выдерживала и открывала ему глаза, хотя он только что закрыл их при звуке ее шагов. Он надеялся на какую-то перемену в ней, на какой-то незнакомый жест, какой-то новый взгляд, какой-то произвольный звук, который выдал бы ему, почему она всегда говорит о завещаниях и деньгах. Лучше всего он чувствовал себя, помещая ее туда, где находило место все, чему у него, несмотря на его образованность и ум, не было объяснения. Сумасшедших он представлял себе грубо и просто. Он определял их как людей, совершающих действия самого противоположного рода, но обозначающих все одними и теми же словами. По этому определению Тереза — в отличие от него самого — была, безусловно, сумасшедшей.

Привратник, ежедневно навещавший профессора, был другого мнения. От бабы ему наверняка нечего было ждать. У него возникли опасения насчет ежесуточного «презента». Он считал, что этот куш ему обеспечен, пока жив профессор. Можно ли тут положиться на бабу? Нарушив свой привычный распорядок

дня, он утром по целому часу просиживал, для личного надзора, у постели профессора.

Тереза молча впускала его и тотчас — она считала его швалью — уходила из комнаты. Прежде чем сесть, он презрительно глядел на стул. Затем либо говорил: «Я — и стул!», либо жалостливо трепал его по спинке. Пока он сидел, стул качался и скрипел, как тонущий корабль. Привратник разучился сидеть. Перед своим глазом он стоял на коленях. Сидеть у него не оставалось времени. Когда на стуле случайно воцарялось спокойствие, привратник приходил в беспокойство и озабоченно поглядывал на свои ляжки. Нет, они не стали слабее, на вид они были хоть куда. Только когда они снова становились хороши и на слух, он продолжал свою прерванную речь.

— Баб надо убивать. Всех как есть. Я знаю баб. Сейчас мне пятьдесят девять. Двадцать три года я был женат. Это почти половина моей жизни. Всегда с женой. Я знаю баб. Все преступницы. Сосчитайте все убийства путем отравления, господин профессор, у вас же есть книги, вот вы и увидите. Бабы — они трусливые. Я это знаю. Если мне кто-нибудь что-то скажет, я влеплю ему как следует, чтобы помнил, дерьмо несчастное, скажу я ему, да как же ты позволяешь себе? А теперь возьмите бабу. Она от вас убежит, бьюсь об заклад на мои кулаки, посмотрите, они кое-чего стоят. Я могу сказать бабе что угодно, она не шевельнется. А почему она не шевельнется? Потому что боится. А почему она боится? Потому что труслива! Я-то уж поколотил на своем веку баб, поглядели бы вы. У моей жены синяки не сходили. Моя покойная дочь — вот кого я любил, это была баба так баба, с ней я начал, когда она еще под стол пешком ходила. «Вот, — говорю я жене — та сразу в крик, как только я дотронусь до девчонки, — выйдет замуж, попадет в мужские руки. Пока молода, пусть приучается. А то ведь сразу пустится от него наутек. Я не отдам ее за такого, который не будет бить. На такого мужчину я чихать хотел. Мужчина должен это уметь. Я за кулаки». Вы думаете, был какой-нибудь толк от того, что я так говорил? Никакого! Старуха прикроет, бывало, собой дочь, и бить мне приходится обеих. Потому что баба не должна мне перечить. Мне — нет. Вы слышали ведь, как они обе кричали. Жильцы, бывало, сбегались послушать. Уважение в доме. Если вы перестанете, то и я перестану, говорил я. Сперва они затихали. Потом я пробовал, не закричат ли опять. Мне нужна была мертвая тишина. Я немножко добавлял правой. Я не

сразу перестаю бить. А то бы я потерял навык. Бить—это, скажу я, искусство. Этому надо учиться. Один мой коллега, знаете, бьет сразу в живот. Человек падает без сознания и ничего уже не чувствует. Ну, а теперь я могу бить его сколько хочу, говорит коллега. Ну, говорю я, а что мне за радость, если тот ничего не чувствует. Если человек без сознания, я не стану его бить, потому что он ничего не чувствует. Этого правила я держался всю жизнь. Бить, говорю я, надо учиться так, чтобы человек не терял сознания. Бессознательно-го состояния не должно быть. Это я называю бить. Убить любой сумеет. Это не искусство. Я могу сделать *вот так*, и ваш череп—к черту. Можете поверить? Я этим не горжусь. Я говорю, что убить каждый сумеет. Знаете, господин профессор, это и вы сумеете. Сейчас, правда, как раз не получится, потому что вы умираете...

Кин видел, как росли кулаки от совершенных ими героических подвигов. Они были больше, чем человек, которому они принадлежали. Вскоре они заполнили всю комнату. Рыжие волосы росли в той же пропорции. Они энергично стряхивали пыль с книг. Кулак врывался в соседнюю комнату и давил Терезу в кровати, где та вдруг оказывалась. Где-то кулак попадал в юбку, которая разлеталась на куски с великолепным шумом. Как радостно жить!—кричал Кин сверкающим голо-сом. Сам он был так ничтожен и худ, что ему нечего было бояться. Из осторожности он занимал еще меньше места, чем обычно. Он был тонок, как полотно. Никакой кулак в мире не мог причинить ему никакого ущерба.

Это преданное, ладно скроенное существо исполняло свою обязанность очень быстро. Стоило ему посидеть здесь четверть часа, и уже Терезы как не бывало. Перед этой силой ничто не могло устоять. Только потом оно забывало уйти и оставалось еще на три четверти часа без видимой цели. Книгам оно не причиняло вреда, но Кину оно начинало докучать. Кулаку не следует так много говорить, а то становится заметно, что ему нечего сказать.

Его дело — бить. Побил — и пусть уходит — или хотя бы молчит. А он мало заботился о нервах и желаниях больного и упорно разглагольствовал о себе самом. Сначала, правда, он проявлял некоторую деликатность и в угоду Кину прохаживался насчет преступного женского племени. Но горе, когда с женщинами бывало покончено, тогда оставался кулак как таковой. Он был еще силен, как в свои лучшие времена, но уже в том

возрасте, когда часто и с удовольствием предаются подробным воспоминаниям. Чтобы такой человек, как Кин, знал всю его славную историю. Тут нельзя было закрывать глаза, а то бы кулак сделал из него, Кина, кашу. Тут и ушные веки не помогли бы, не выросли еще заслоны от такого рычания.

Когда истекала половина срока визита, Кин стонал от одной старой и мнимо забытой боли. Уже в детстве он нетвердо стоял на ногах. Он, по сути, так и не научился ходить как следует. На уроках гимнастики он регулярно падал с турника. Наперекор своим длинным ногам он был худшим бегуном в классе. Учителя считали его отставание в гимнастике неестественным. По всем остальным предметам он шел благодаря своей памяти первым. Но что толку было ему от этого? Из-за его смешной фигуры его никто, в сущности, не уважал. Ему без конца ставили подножки, и он добросовестно спотыкался. Зимой из него делали снеговика. Его валили в снег и катали в нем до тех пор, пока тело его не достигало нормальной ширины. Это были самые холодные, но и самые мягкие его падения. Он вспоминал о них с очень смешанными чувствами. Вся его жизнь была непрерывной цепью падений. От них он оправлялся, от личной боли он не страдал. Тяжело до отчаянья становилось у него на душе тогда, когда в голове его разворачивался один список, который он обычно держал в строжайшей тайне. Это был список невинных книг, которые он заставил упасть, настоящий перечень его грехов, педантичный протокол, где были точно отмечены час и день каждого такого падения. Тут он увидел перед собой трубачей Страшного суда, двенадцать привратников, как его собственный, с надутыми щеками и мускулистыми руками. Из их труб гремел ему в ухо текст этого списка. В своем страхе Кин только усмехался по поводу бедных трубачей Микеланджело. Те жалко ютились в углу, спрятав за спину свои трубы. Перед такими малыми, как эти привратники, они посрамленно складывали оружие — длинные свои инструменты.

В списке упавших книг под номером тридцать девять фигурировал толстый старый том о «Вооружении и тактике наемных воинов». Как только он с грохотом скатывался с лесенки, трубачи-привратники превращались в наемных воинов. Кина охватывал великий восторг. Привратник был наемным воином. Кем же еще? Коренастость, громогласность, верность за золото, отчаянная смелость, не отступающая ни перед чем, даже перед женщинами, его манера хвастаться и орать,

ничего толком не говоря, — самый настоящий наемный воин!

Теперь кулак уже не нагонял на него страха. Перед ним сидела хорошо знакомая историческая фигура. Он знал, как она поведет себя. Ее глупость, от которой волосы становились дыбом, разумелась сама собой. Она вела себя так, как то подобало наемному воину. Бедный малый, которого угораздило родиться наемным воином в двадцатом веке, торчал целыми днями в своей темной дыре, без единой книги, один-одинешенек, выброшенный из эпохи, для которой он был создан, вытолкнутый в другую, где он всегда будет чужим! В безобидной дали начала шестнадцатого века привратник таял, превращался в ничто, он мог теперь хвастаться сколько угодно. Чтобы овладеть человеком, достаточно классифицировать его исторически.

Ровно в одиннадцать часов наемный воин вставал. Что касается точности, то тут они с господином профессором были одного поля ягоды. Он повторял то, что делал при своем появлении, — бросал жалостливый взгляд на стул. «Он еще цел!» — заверял он и доказывал свою правоту, стукнув правой рукой по сиденью, которое терпеливо сносило и это. «Платить не буду!» — добавлял он и гоготал при мысли, что он должен был бы заплатить профессору за просиженный стул.

— Не затрудняйтесь, господин профессор! За мной не пропадет. Прощайте! Не марайте об нее руки! Терпеть не могу старушенций. — Он бросал воинственный взгляд в соседнюю комнату, хоть и знал, что там ее нет. — Я за молодых. Вот, знаете, моя покойная дочь — это было то, что мне нужно. Почему? — потому что она мне дочь? Молодая она, баба она, и я могу делать с ней что хочу, потому что я ей отец. Теперь она тоже на том свете. А эта живучая старуха еще скрипит.

Качая головой, он выходил из комнаты. Нигде и никогда не бесила его несправедливость мирового порядка так, как в квартире профессора. Когда он находился на посту у себя в клетушке, у него не было времени для размышлений. Как только он попадал после своего гроба в высокие комнаты Кина, им овладевали мысли о смерти. Дочь приходила ему на память, мертвый профессор лежал перед ним, кулаки его были без работы, и он чувствовал, что его недостаточно бояться.

Кину он казался при прощании смешным. Национальный костюм вполне пошел бы ему, но сейчас стояли другие времена. Кин жалел, что его исторический метод применим не всегда. В истории всех культур

и всех разновидностей варварства, насколько он был с ними знаком, Терезе не находилось места нигде.

Этот процесс посещения протекал ежедневно в одной и той же последовательности. Кин был слишком умен, чтобы сократить его. Пока Тереза не оказывалась убита, покуда у кулака имелась праведная и полезная цель, он, Кин, мог его не бояться. Пока страх не делался так силен, что всплывал тайный список болей, наемные воины не приходили ему на ум и привратник не был еще наемным воином. Когда тот в десять часов показывался в дверях, Кин говорил себе с радостью: опасный человек, он оставит от нее мокрое место. Он ежедневно ликовал по поводу гибели Терезы и мысленно воздавал хвалу жизни, о которой он и раньше уже кое-что знал, не видя, однако, повода воздавать ей хвалу. Он не избавлял себя ни от Страшного суда, ни от случайной насмешки над сикстинскими трубачами, которая была тщательно зарегистрирована и теперь ежедневно исполнялась как обязательный урок. Может быть, он только потому и выдержал скуку, неподвижность и гнет этих долгих недель под знаком жены, что некое ежедневное открытие придавало ему силу и мужество. В его жизни ученого открытия относились к великим, центральным событиям. Теперь он праздно лежал, его работы у него не было; вот он и заставлял себя ежедневно открывать, кто такой привратник — наемный воин. Привратник нужен был ему больше, чем один из тех ломтей хлеба, которых он съедал очень немного. Он нужен был ему, как ломоть работы.

В часы посещений Тереза была занята. Только потому, что ей нужно было время, она и пускала в свою квартиру привратника, эту шваль, чьи речи она подслушала в первый же раз. Она занялась инвентаризацией библиотеки. Ее озадачило то, что муж тогда перевернул книги. К тому же она боялась появления нового брата, который мог потом стащить самые ценные экземпляры. Чтобы знать, что, собственно, налицо, чтобы не дать обмануть себя, она однажды, когда привратник сидел у больного и ругал баб, приступила в столовой к важной работе.

Она отрезала от старых газет узкие пустые поля и шла с ними к книгам. Она брала книгу в руки, читала заглавие, произносила его вслух и записывала на длинную полоску бумаги. При каждой букве она повторяла все заглавие, чтобы не забыть его. Чем больше было знаков, чем чаще она произносила то или иное слово, тем своеобразнее изменялось оно в ее

устах. Мягкие, на ее взгляд, то есть звонкие согласные. в начале заглавия, Б, Д или Г, твердели, то есть превращались в глухие и становились все тверже. У нее было пристрастие ко всему твердому, ей стоило труда не разорвать газетную бумагу своим твердым карандашом. Ее грубым пальцам удавались только большие буквы. Длинные научные заглавия злили ее, потому что не помещались между двумя краями. На книгу по строчке—так решила она, чтобы легче было сосчитывать полоски и чтобы они выглядели красивее. Дойдя до края, она обрывала заглавие на серединке и посылала ненужный его остаток ко всем чертям.

Самой любимой ее буквой было О. Писать О она наловчилась еще в школе. (О вы должны замыкать так же плавно, как Тереза, всегда говорила учительница. У Терезы выходили самые красивые О. Потом она трижды оставалась на второй год, но это была не ее вина. Виновата была учительница. Та терпеть ее не могла, потому что под конец Тереза писала О красивее, чем она. Все просили, чтобы Тереза писала им О. На О учительницы никто и глядеть не хотел.) Поэтому О получались у нее сколь угодно маленькие. Эти аккуратные, ровные кольца тонули среди своих втрое больших соседей. Если в длинном заголовке было много О, она сперва сосчитывала, *сколько*, быстро выписывала все в конце строчки и уж потом отводила оставшееся место самому заголовку, который соответствующе обкарнывала.

Готовые полоски она подытоживала, подсчитывала книги, замечала сумму в уме—на цифры у Терезы была хорошая память—и записывала ее, если после трехкратного пересчитывания она оставалась та же.

Ее буквы с каждой неделей уменьшались, и кольца тоже. По заполнении десяти полосок они аккуратно сшивались вверху и упрятывались в новоиспеченный карман юбки рядом с ключами—новая, нелегко доставшаяся часть ее имущества, опись шестисот трех книг.

Недели через три она наткнулась на имя «Будда», которое надо было написать несметное число раз. Его мягкие звуки взволновали ее. Вот как надо бы именоваться ему, интересному человеку, а не господином Грубом. Она закрыла глаза, стоя на лесенке, и прошептала как могла мягче: «Господин Пуда». Так из «Путы», как сперва прозвучало у нее это имя, вышел «господин Пуда». Ей казалось, что он знает ее, и она гордилась им, потому что его книгам не было конца. До чего же красиво он говорил, а теперь он все это

написал. Она была не прочь заглянуть в его книги. Но разве у нее было время на это?

Его присутствие заставило ее поторапливаться. Она поняла, что продвигалась слишком медленно, час в день — слишком мало. Она решила пожертвовать сном. Она проводила на лесенке бессонные ночи, читая и записывая. Она забыла, что порядочный человек ложится спать в девять. В четвертую неделю она покончила со столовой. Благодаря своим успехам она приобрела вкус к ночной жизни и чувствовала себя хорошо только тогда, когда расходовала электричество. Она стала держаться с Кином увереннее. Старые фразы произносились с новыми акцентами. Она говорила, пожалуй, медленнее, но энергичнее и с каким-то достоинством. Три комнаты он отдал ей тогда добровольно. Свои книги она зарабатывала себе сама.

Когда она приступила к работе в спальне, последний остаток страха был побежден. Среди бела дня — рядом лежал и не спал муж — она влезала на лестницу, брала очередную полосу и исполняла свой долг перед книгами. Чтобы молчать, она стискивала зубы. Тут некогда было говорить, тут нужна была собранность, а то с какой-нибудь книгой могла выйти ошибка, и тогда пришлось бы начинать все сначала. О главном, о завещании, она не забывала и по-прежнему ухаживала за мужем старательно и самоотверженно. Когда появлялся привратник, она прерывала работу и уходила на кухню. Ведь он же мешал бы ей работать, этот громкий тип.

На шестой, и последней неделе своего лежания Кин немного вздохнул. Его точные догадки перестали подтверждаться. Среди речи она вдруг осекалась и умолкала. Она говорила теперь в общей сложности только полдня. Говорила она, как всегда, одно и то же; тем не менее он был готов к сюрпризам и ждал с замиранием сердца великого события. Как только она умолкала, он счастливо закрывал глаза и действительно засыпал.

МОЛОДАЯ ЛЮБОВЬ

В тот самый миг, когда врач сказал: «Можете завтра встать!», Кин почувствовал себя здоровым. Но он не вскочил с постели сразу же. Дело было вечером, он хотел начать здоровую жизнь размеренно и в шесть часов утра.

Он начал ее на следующий день. Таким молодым и сильным он не чувствовал себя уже много лет. При

умывании ему вдруг показалось, что у него появились мускулы. Вынужденный покой пошел ему на пользу. Он закрыл дверь в соседнюю комнату и, прямой как палка, сел за письменный стол. Его бумаги были перерыты, осторожно, правда, но так, что он тут же заметил это. Он был рад необходимости привести их в порядок, прикасаться к рукописям было приятно. Ему предстояло бесконечно много работы. Эта баба искала здесь завещания, когда он, упав, лишился чувств. При всех переменах настроения во время болезни одно его намерение оставалось твердым: не писать завещания, поскольку она придавала ему такую важность. Он решил хорошенько прикрикнуть на нее, как только ее увидит, чтобы живо поставить ее на место.

Она принесла ему завтрак и хотела сказать: «Дверь останется открыта». Но, готовя улыбчивую атаку для взятия завещания и не зная, в каком расположении духа находится он с тех пор, как встал на ноги, она сдержалась, чтобы не раздражать его преждевременно. Она лишь нагнулась и сунула чурку под дверь, чтобы ее нельзя было закрыть одним махом. Она была настроена примирительно и готова добиться своего окольным путем. Он вскочил, смело посмотрел ей в лицо и сказал подчеркнуто резко:

— В рукописях царит полная неразбериха. Я хочу знать, как попал ключ не в те руки. Я нашел его снова в левом кармане штанов. К сожалению, я вынужден предположить, что он был незаконно изъят, использован в преступных целях и затем возвращен на место.

— Еще чего не хватало.

— Я спрашиваю в первый и последний раз. Кто рылся в моем письменном столе?

— Можно подумать!

— Хочу это знать!

— Ну, доложу, может быть, я что-нибудь украла?

— Я требую объяснения!

— Требовать может любой.

— Что это значит?

— Так уж водится у людей.

— У кого?

— Поживем — увидим.

— Письменный стол...

— Вот я и говорю.

— Что?

— Как постелешь, так и ляжешь.

— Это меня не интересует.

— Он сказал: кровати хорошие.

— Какие кровати?

— Супружеские ложа хоть куда.
— Супружеские ложа!
— Так уж зовется это у людей.
— Я не живу супружеской жизнью!
— Может быть, я вышла замуж по любви?
— Мне нужен покой!
— Порядочный человек в девять уже...
— Впредь эта дверь будет закрыта.
— Человек предполагает, бог располагает.
— Из-за этой болезни я потерял полных шесть недель.

— Жена жертвует собой денно и ночью.
— Так продолжаться не будет.
— А что делает муж для жены?
— Мое время дорого.
— В загсе обеим сторонам надо было...
— Я не напишу завещания!
— Кто думает отравлять?
— Сорокалетний человек...
— Жене можно дать тридцать.
— Пятьдесят семь.
— Никто еще не говорил мне этого.
— В метрике указано именно так, я прочел.
— Прочсть может любой.
— Вот как!

— Жена хочет, чтобы это было записано. А то какая же радость? Три комнаты принадлежат жене, одна за мужем, это записано на бумаге. Сперва женщина потрафляет мужчине, а потом она остается с носом. Почему она была такая глупая? В письменном виде—самое милое дело. Устно может любой. Вдруг муж потеряет сознание. Неизвестно же, какой банк. Жена должна знать банк. Без банка она скажет «нет». Что ж, доложу вам, разве она не права? На что ей муж, если у нее нет банка? Муж не называет банка. Разве это муж, если он не называет банка? Это же не муж. Муж называет банк!

— Вон!

— Гнать вон может любой. От этого жене нет никакого толка. Муж пишет завещание. Жена не может знать. Муж не один на свете. Есть еще и жена. На улице-то все мужчины смотрят мне вслед. В женщине самое главное—великолепные бедра. Выгонять вон не годится. Комната останется открыта. Ключи у меня. Сперва муж должен получить ключи, потом он может и запереться. Ключи он может долго искать. Ключи здесь! — Она хлопает по юбке. — Туда ведь муж не хочет. Хотеть-то он хочет, да не смеет!

— Вон!

— Сперва жена спасает мужу жизнь, потом пусть убирается вон. Муж ведь умер. Кто привел привратника? Может быть, муж? Муж лежал под стремянкой. Почему, доложу вам, он сам не привел привратника? Он не мог шевельнуться. Сперва он умер, а потом ничего не уделил жене. Новый брат ничего не узнал бы. Банк обязан дать о себе знать. Женщина хочет опять выйти замуж. Разве мне был какой-нибудь прок от мужа? Вот стукнет мне сорок, и мужчины перестанут смотреть мне вслед. Женщина — тоже человек. У женщины, доложу я, есть сердце!

Брань перешла у нее в плач. Сердце, которое есть у женщины, звучало в ее устах так, словно оно разбилось. Она стояла прислонясь к косяку двери, наклонив все тело, как обычно наклоняла лишь голову, и вид у нее был беспомощный. Она твердо решила не сходить с места и ждала нападения действием. Левой рукой она защищала юбку, как раз там, где та, несмотря на свою накрахмаленность, топорщилась из-за ключей и описи книг. Как только она вполне утвердилась в том, что ее имущество при ней, она повторила: «Сердце! Сердце!» — и из-за большой редкости и красоты этого слова еще раз расплакалась.

У Кина спала с глаз безобразная пелена завещанья. Он увидел ее очень бедной, выклянчивающей любовь, она хотела его соблазнить, — такой он ее еще никогда не видел. Он женился на ней ради книг, а любила она его. Ее плач очень испугал его. Оставлю ее одну, подумал он, одна она скорей успокоится. Он поспешно вышел из комнаты, из квартиры, из дому.

Трогательное обращение со штанами господина фон Бредова относилось тогда, стало быть, к нему, а не к книге. Ради него легла она тогда к нему на диван. Женщины тонко чувствуют настроение любимого. Она знала об его смущении. Его мысли, когда он вышел с ней из загса, она прочла по его лицу, как по открытой книге. Она хотела помочь ему. Когда женщины любят, они становятся бесхарактерны. Она хотела сказать: «Иди сюда!» — но застеснялась и вместо того, чтобы призвать его, смахнула книги с дивана. В переводе на слова это означало: вот как недорого мне книги, вот как дорог мне ты. Символический жест как объяснение в любви. С тех пор она не переставала домогаться его. Она добилась совместных трапез, добилась другой мебели для него. Она задевала его, когда только могла, жесткой юбкой. Оттого что она искала случая поговорить о кровати, он получил вместо дивана кровать. Она

устроила себе спальню в другой комнате и купила новую мебель для обоих. Завещание во время болезни было лишь предлогом, чтобы говорить с ним. Как она всегда повторяла: «Чего нет, то может произойти». Бедное, ослепленное существо! Много месяцев прошло со дня заключения брака, а она все надеется на его любовь. Она на шестнадцать лет старше его, знает, что умрет раньше, чем он, и все-таки настаивает на том, чтобы оба оставили завещание. Наверняка у нее есть какие-то сбережения, которые она хочет ему подарить. Чтобы он не отказался принять их, она требует от него завещания. Какая ей польза от этого, если ей суждено умереть настолько раньше? А ему это ее завещание пойдет, несомненно, впрок. Она доказывает свою любовь деньгами. Есть ведь старые девы, которые все сбережения своей жизни, сбережения десятилетий, нет, все, что они откладывали каждый день, каждый именно поэтому и не прожитый ими по-настоящему день, отдают разом какому-нибудь мужчине. Как подняться ей над своей материальной сферой? У неграмотных людей деньги считаются решающим доказательством всего — дружбы, доброты, образованности, власти, любви. У женщины простые факты становятся из-за ее слабости сложными. Оттого что она хочет подарить ему свои сбережения, она должна шесть недель мучить его одними и теми же речами. Она не скажет ему это просто и напрямик: я люблю тебя, вот тебе мои деньги. Она прячет ключ от соединительной двери. Он не находит ключа, и она получает возможность дышать его воздухом. Больше ничего общего он имеет с ней не хочет, и она довольствуется его воздухом. Он забывает выяснить, надежен ли банк, где лежат его деньги. Она трепещет от страха, что он потеряет свои деньги. Ее собственные сбережения слишком скудны, чтобы долго оказывать ему поддержку. Окольным путем, обиняками, как если бы она боялась за себя самое, она не перестает справляться относительно банка. Она хочет спасти его от возможной катастрофы. Женщины озабочены будущим любимого. У нее впереди только несколько лет. Последние свои силы кладет она на то, чтобы обеспечить его перед своей смертью. Во время его болезни она в отчаянии обыскала письменный стол, она надеялась на более точные сведения. Чтобы избавить его от волнений, она не оставила ключа в столе; она положила его обратно туда, где нашла его. Как человек необразованный, она не представляет себе его точности и памяти. Она настолько необразованна, что при одном воспоминании о ее языке его

начинает тошнить. Он вообще не может помочь ей. Человек живет на свете не для любви. Он женился не по любви. Он хотел, чтобы был уход за его книгами, она представилась ему подходящим для этого человеком.

Кину казалось, что он впервые в жизни вышел на улицу. Среди людей, которые встречались ему, он различал мужчин и женщин. Книжные магазины, мимо которых он проходил, его, правда, задерживали, но именно ненавистными прежде витринами. Горы безнравственных книг ему не мешали. Он прочитывал их заглавия и, не качая головой, шел дальше. Собаки бегали по тротуару, встречали себе подобных и радостно обнюхивали друг друга. Он замедлил шаг и стал удивленно глядеть на них. У самых его ног шлепнулся узелок. Какой-то малый метнулся к свертку, поднял его, толкнул Кина и не извинился. Кин следил за пальцами, которые открывали пакетик; обнаружился ключ, на измятом листке было написано несколько слов. Прочитав их, малый ухмыльнулся и посмотрел вверх, на дом. Из окна пятого этажа, над проветривавшимися перинами, высунулась девушка и, решительно кивнув, исчезла с такой же быстротой, как ключ в кармане штанов этого малого. «Что он сделает с ключом, громила, прислуга бросает ему ключ, его любовница». На следующей поперечной улице находился важный книжный магазин; он оставил его по левую сторону. На противоположном углу полицейский страстно уговаривал женщину. Слова, которые Кин увидел издалека, притягивали его, он хотел их услышать. Когда он подошел достаточно близко, те стали расходиться. «Всего вам доброго!» — крикнул полицейский. Его красное лицо светилось среди бела дня. «До свиданья, до свиданья, господин инспектор!» — клокотала женщина, он был толстый, она была ядреная. Кин не мог забыть этой пары. Когда он проходил мимо собора, ему в уши ударили теплые, тревожные звуки. В этой тональности он сейчас сам запел бы, если бы его голос был так же послушен ему, как его настроение. Вдруг его забросали дерьмом. С любопытством и в испуге он посмотрел вверх на контрфорсы. Голуби миловались и ворковали, никто не был виноват в том, что случилось. Уже двадцать лет он не слышал этих звуков, во время прогулки он проходил здесь каждый день. Но воркованье было ему хорошо знакомо по книгам. «Верно!» — сказал он тихо и кивнул головой, как всегда, когда реальность соответствовала своему образу в печатном слове. Сегодня это трезвое

подтверждение не доставило ему радости. На голову Христа, который вырастал из постамента, больной и худой, с искаженным болью лицом, сел голубь. Ему не хотелось быть в одиночестве, это заметил другой голубь и тотчас подсел к нему. На взгляд людей, этот Христос невесть как страдает, люди думают, что у него болят зубы. Но дело не в том, просто он не выносит этих сидящих на нем голубей, они, наверно, проводят так целый день. И тогда он думает о том, как он одинок. Об этом нельзя думать, а то ничего путного не сделаешь. За кого же он умирал бы, если бы думал на кресте о своем одиночестве?.. Да, он был действительно очень одинок, брат перестал писать ему. Несколько лет он не отвечал на письма парижанина, тому это надоело, и он тоже перестал писать. *Quod licet Jovi, non licet bovi*¹. С тех пор как Георг стал якшаться с женщинами, он считал Юпитером себя самого. Георг был женствен, он никогда не был одинок, он не выносил одиночества, вот он и окружал себя женщинами. Его, Петера Кина, тоже любила одна женщина. Вместо того чтобы остаться с ней, он удрал и досадовал на свое одиночество. Он сразу повернул и длинными, полными надежды шагами пошел теми же улицами домой.

Милосердные мысли гнали его вперед быстрее, чем то было на пользу его мужеству. В его власти одна человеческая жизнь. Он может отравить и сократить последние годы жизни этому жалкому существу, чахнувшему от любви к нему. Нужен какой-то средний путь. Ее надежды напрасны, бонвивана из него не выйдет. Его брат производит на свет достаточное количество детей. О продолжении рода Кинов уже позаботились. Говорят, женщины не критичны, это верно, они не видят, с кем имеют дело. Больше восьми лет живет она с ним в одной квартире. Скорее удалось бы соблазнить Христа, чем его. Пусть голуби отступаются от цели своей жизни, у них ее нет. Женщина при таком количестве работы — это преступление перед природой науки. Он ценит ее верность, она делает все, что в ее ограниченной власти. Он ненавидит воровство и скрытное присвоение чужого. Собственность — дело не жадности, а порядка. Он не станет скрывать, не станет замалчивать то, что говорит в ее пользу. Для женщины она восемь лет любила его удивительно тихо. Он решительно ничего такого не замечал. Лишь после заключения брака она стала так говорлива. Чтобы уйти

¹ Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (*лат.*).

от ее любви, он сделает все, чего она требует от него ради него же. Она боится краха его банка? Хорошо, он скажет ей, какой это банк, она же и так знает, один раз она получала там деньги по чеку. Потом она сможет разузнать, надежен ли этот банк. Она хочет подарить ему свои сбережения? Хорошо, он доставит ей это невинное удовольствие, он напишет завещание, чтобы у нее был предлог написать и свое. Как мало надо человеку для счастья! Этим решением он отделается от ее громкой и непомерной любви.

Однако сегодня у него был слабый день. Втайне он надеялся на неудачу. Настоящая любовь не знает покоя и создает себе новые заботы, когда еще не совсем умерли старые. Он никогда еще не любил, он чувствовал себя как мальчик, который ничего не знает, сейчас узнает и перед тем и другим — незнанием и знанием — испытывает одинаковый смутный страх. Его голова шла кругом, он мысленно болтал, как баба. За все, что ни приходило ему на ум, он сразу же без проверки хватался и, вместо того чтобы довести это до конца, снова отбрасывал, потому что на ум ему приходило что-то другое, а не что-то лучшее. Две идеи держали его в своей власти: идея любящей, самоотверженной женщины и идея полных рабочего ража книг. Чем ближе подходил он к своему дому, тем сильнее ощущал он разлад у себя в душе. Разум его видел, в чем тут дело, и очень стыдился. Он взял любовь на мушку и стал урезонивать ее жесткими словами, прибегнув к самому отвратительному оружию: он пустил в ход юбку Терезы. Ее невежество, ее голос, ее возраст, ее фразы, ее уши — все оказывало свое действие, но решила дело юбка. Когда Кин подошел к своему дому, юбка была раздавлена тяжестью близких книг.

— Как это так? — сказал он себе. — Одинок? Я одинок? А книги?

С каждым этажом он приближался к ним еще более. Из передней он крикнул в кабинет:

— Национальный банк!

Тереза стояла у письменного стола.

— Я хочу написать завещание! — крикнул он и сильнее, чем то отвечало его намерению, оттолкнул ее в сторону. В его отсутствие она написала на трех прекрасных новых листах заглавие «Завещание». Она указала на них и попыталась ухмыльнуться; удалась ей лишь улыбка. Она хотела сказать: «Что я говорила!» — но голос ей отказал. Она чуть не упала в обморок. Интересный человек подхватил ее, обняв, и она снова пришла в себя.

ИУДА И СПАСИТЕЛЬ

В завещании, которое он составил, она усмотрела сначала описку, затем глупую шутку и, наконец, ловушку. Капитала, лежавшего у него в банке, хватило бы на домашнее хозяйство еще на два года.

Увидев эту цифру, она невинно заметила, что в ней недостает одного нуля. Она считала само собой разумеющимся, что он ошибся при письме. Он убедился, что цифра написана верно, а она, рассчитывавшая на вдесятеро большую, была горько разочарована. Где же тут богатство? Она хотела устроить интересному человеку лучший в городе мебельный магазин. Завещания хватало на фирму такого пошиба, как «Больш и Мать». Настолько она уже разбиралась в деле; уже несколько недель она, перед тем как уснуть, калькулировала закупочные цены на мебель. От собственной фабрики она отказалась, потому что ничего в этом не смыслила и хотела тоже участвовать в делах магазинчика. Теперь ее прямо-таки обухом по голове ударило, потому что фирма «Груб и Жена» — эта фирменная вывеска была одним из ее главных условий — оказалась бы на первых порах не крупнее, чем фирма «Больш и Мать». Зато интересный человек был душой «Больша и Матери»; если душа будет на их стороне, дело пойдет так, что большую часть заработанного можно будет снова вложить в него. Ведь им для себя ничего не нужно. Зато ведь у них любовь. Через несколько лет «Больш и Мать» утрутся. Когда она представляла себе, как вздыхает и чешет лысину за стеклянной дверью коротышка начальник, потому что новая, первоклассная фирма «Груб и Жена» отняла у него лучших покупателей, Кин сказал:

— Никакого больше нуля не должно быть. Двадцать лет назад он стоял здесь.

Она не поверила ему и почти игриво сказала:

— Да куда же только подевались денежки?

Он молча указал на книги. Часть денег, которая ушла на жизнь, он утаил, она была действительно незначительна; к тому же он стыдился ее.

Терезе надоело шутить, и она с достоинством объявила:

— Остальное будет сначала послано этому новому брату. Девять десятых получит брат, еще до смерти, одну десятую — жена, когда умрут.

Она разоблачила его. Она ждала, что он сейчас устыдится и припишет этот спорный ноль, пока не поздно. Какими-то крохами от нее не отделаешься. Ей

подавай все. Она чувствовала себя поверенной интересного человека и мысленно пользовалась его аргументами.

Кин не слышал, что она говорила, потому что все еще смотрел на книги. Покончив с созерцанием их, он из чувства долга пробежал глазами по документу и сложил его со словами:

— Завтра мы сходим с этим к нотариусу!

Тереза удалилась, чтобы не разразиться бранью. Она хотела дать ему время одуматься. Он же должен понять, что так не поступают. Старая жена человеку ближе, чем новый брат. О капитале, вложенном в книги, она не думала, потому что три четверти их были ее собственностью и так. Для нее сейчас важно было только богатство помимо библиотеки. Она должна была отложить поход к нотариусу как можно дальше. Как только завещание окажется там, капитал прости-прощай. Порядочный человек пишет завещание не так часто. Было бы стыдно перед нотариусом. Поэтому лучше всего — сразу написать правильно, тогда никакого второго завещания не нужно. Кину хотелось сразу выполнить все формальности. Но сегодня он испытывал какое-то уважение к Терезе, потому что она любила его. Он знал, что ей, как человеку неграмотному, нужно несколько часов, чтобы составить официальную бумагу. Он не предлагал ей своей помощи, потому что это унизило бы ее. Такого бережного отношения ее чувства заслуживают. Его предупредительность имеет смысл только в том случае, если он не подаст виду, что раскусил ее. Он боялся, что она расплатится, как только он намекнет на дар, который она намерена ему принести. Поэтому он сел за работу, отложив в сторону завещание и отбросив всякие мысли о нем, а дверь в ее спальню оставил открытой. С величайшей энергией накинулся он на старую статью «О влиянии Паликанона¹ на форму японского бусоку секитай²».

За обедом они откровенно наблюдали друг за другом и не говорили ни слова. Она оценивала виды на исправление ее завещания, а он искал в ее документе орфографические ошибки, которые она, конечно, должна сделать. Переписать ли ему эту бумагу или только поправить ее? Одна из этих двух мер была неизбежна. За недолгое время работы его нежные чувства уже изрядно притупились. Но их еще хватило на то, чтобы отложить решение до завтрашнего дня.

¹ Собрание буддийских священных текстов на языке пали.

² Парадная одежда японского воина позднего средневековья.

Ночью Тереза не спала из-за деловых забот. Пока муж работал, до двенадцати часов, она огорчалась из-за расхода электричества. С тех пор как приблизилось исполнение ее желаний, каждый разбазаренный грош мучил ее вдвое сильнее, чем прежде. Она лежала на кровати осторожно и легко, потому что намеревалась продать эту прекрасную спальню в своем магазине как новую. До сих пор нигде не было ни царапины, ей было бы досадно, если бы пришлось лакировать мебель заново. Забота о кровати, боязнь испортить ее не позволяли Терезе уснуть и тогда, когда Кин уже спал и все ее счета сошлись. Ей уже нечего было обдумывать, она скучала, завтра она уже не будет скучать.

Остаток ночи она была занята тем, что, пользуясь своим умением писать О, увеличивала суммы, которые достанутся ей в наследство. Женщины-конкурентки оставались далеко позади. Разные особы появлялись там, где им нечего было искать. Ни у одной не было накрахмаленной юбки. Ни одна не выглядела на тридцать. Самой лучшей было за сорок, но ее нули были курам на смех, а интересный человек сразу же ее выгнал. На улице мужчины не смотрели ей вслед. У тебя же достаточно денег, разгильдяйка ты такая, кричала Тереза вдогонку нахалке, почему же ты не накрахмалишь себе юбку? Бить баклуши и притом скаредничать — это может любой. Затем она поворачивалась к интересному человеку и была благодарна ему. Она хотела назвать его прекрасным именем, которое у него было, Груб никак не подходило к нему, но то прекрасное имя она успела позабыть. Она встала, тихо включила свет на тумбочке, вынула опись из кармана юбки и искала до тех пор, пока не нашла этого имени, на которое никакого электричества не было жаль. От волнения она чуть не выпалила во весь голос «Пуда», хотя такое имя следовало произносить шепотом. Она снова выключила свет и тяжело легла на кровать. Она забыла, что с кроватью надо было обращаться бережно. Несметное число раз она назвала его «господин Пуда». Тот был человек умный, а не только интересный, и продолжал свою работу как ни в чем не бывало. Он рассматривал женщин одну за другой. Иная держалась так, словно согнулась от сплошных нулей. «Будь внимателен, — говорила Тереза, — это от возраста, а не от нулей!» Правду она ведь любила больше всего. Перед господином Пудой лежал красивый, гладкий лист бумаги, на нем он аккуратно записывал нули. Все в этом человеке было красиво и аккуратно. Потом он

вдруг пробежал этими своими любовными глазами по всему листу и говорил этим своим голосом: «Весьма сожалею, сударыня, совершенно исключено, сударыня!» Тут старая гримза сразу же выметалась. И такая еще осмеливается! Нет, каковы нынче женщины? Как только заведутся у нее денежки, она уже думает, что самый красивый мужчина предназначен ей. Больше всего радовалась Тереза, когда господин Пуда находил, что какой-то принесенный в приданое капитал крупнее всех. Тогда он говорил: «Ну, скажу я вам, сударыня, пожалуйста, садитесь, сударыня!» Легко представить себе, сколь стара была такая особа. Но она все-таки садилась. Сейчас он скажет ей: «Прекраснейшая сударыня!» Тереза немножко пугалась. Она ждала, чтобы он раскрыл рот, затем выступала вперед и становилась между ним и этой особой. В правой руке у нее был отточенный карандаш. Она говорила только: «Одну минуточку!» — и писала на листке, после цифры своего капитала, красивое О. Ее цифра оказывалась выше всех, она ведь была первой женщиной с капиталом, которую он встретил. Теперь она могла бы сказать кое-что, но она скромно отступала назад и молчала. Господин Пуда говорил за нее: «Весьма сожалею, сударыня, совершенно исключено, сударыня!» Тут гримза, конечно, в слезы. Еще бы, счастье было так близко, это не шутка. Господин Пуда на слезы не обращал внимания. «Сначала пусть выглядит на тридцать, тогда может и плакать», — говорил он. Тереза понимала, кого он имел в виду, и гордилась. Люди ходят в школу по восьми лет и ничему не научаются. Почему люди не могут научиться писать О? Неужели это особое искусство?

Под утро ей уже не лежалось в кровати от волнения. Она была давно готова, когда проснулся в шесть Кин. Она соблюдала полную тишину, прислушиваясь к его движениям при одевании, при умывании, при оглаживании книг. Уединенность ее жизни и его бесшумная походка довели восприимчивость ее слуха к определенным звукам до очень высокой степени. Она точно определяла, в какую сторону он двигался, не смотря на мягкий ковер и его, Кина, малый вес. Он совершал всякие бесполезные передвижения, только письменный стол он обходил. Лишь в семь нанес он визит столу и остался там на некоторое время. Тереза услышала, как царапнуло его перо. Недотепа, подумала она, царапает бумагу, когда пишет О. Она подождала, когда перо царапнет второй раз. После событий минувшей ночи она рассчитывала по меньшей мере на два

нуля. При этом она казалась себе еще очень бедной и бормотала: «Ночью все было лучше».

Вот он встал и отодвинул стул; он кончил, второй раз перо не царапнуло. На пороге они столкнулись. Он спросил: «Сделано?», она: «Готово?» Он растерял во время сна последние остатки тех нежных чувств. Эта дурацкая бабская история уже не интересовала его. О завещании он вспомнил только тогда, когда оно обнаружилось под рукописями. Он со скукой прочел его и заметил непонятную ошибку в предпоследней цифре указанной суммы вклада: вместо пятерки там стояла семерка. Он сердито исправил ошибку, спрашивая себя, как можно было пять спутать именно с семью. Вероятно, оттого, что и то, и другое — простые числа; это тонкое объяснение, единственно возможное, потому что больше ничего общего у пяти и семи нет, смягчило его. «Хороший день! — пробормотал он. — Надо воспользоваться им и как следует поработать!» Но сначала он хотел разделаться с ее мазней, чтобы не отвлекаться потом от работы. От столкновения она не пострадала, ее защитила юбка. Он, конечно, больно ушибся.

Он подождал ее ответа, она подождала, чтобы ответил он. Поскольку он не ответил, она оттолкнула его и скользнула к письменному столу. Верно, завещание было на месте. Она заметила, что предпоследняя цифра теперь не 7, а 5; никаких признаков нового нуля она не нашла. Он, значит, умудрился еще что-то оттяпать у нее, скупердяй. В таком виде, как здесь написано, это составляет 20 шиллингов, но если теперь приписать нуль, получится 200. Со вторым нулем разница выйдет в 2000. Она не позволит надуть себя на 2000 шиллингов. Что скажет по этому поводу интересный человек, если это узнает? «Ну, доложу, это пойдет за счет нашего дела, сударыня!» Надо быть начеку, а то он еще выгонит ее. Ему нужна только особа аккуратная. Разгильдяйка ему ни к чему.

Она обернулась и сказала Кину, который стоял сзади:

— Пятерку долой!

Он пропустил это мимо ушей.

— Давай свое завещание! — крикнул он грубо.

Она слышала его как нельзя лучше. Она была начеку со вчерашнего дня и отмечала каждое его движение. За много лет своей жизни, вместе взятых, она не достигала такой сметливости, как сейчас, в эти несколько часов. Она поняла, что он требует завещания от нее. Теоретическая часть ее многодневной проповеди: «В загсе обеим сторонам надо было» — сразу

оказалась у нее под рукой. Не прошло и мгновения после его приказа, как она уже нанесла ответный удар:

— Ну, доложу я, разве здесь загс?

Искренне возмущенная его требованием, она вышла из комнаты.

Кин не вник в ее язвительный ответ. Он решил, что она еще не хочет показывать свой документ. Значит, на сегодня он от этого тягостного похода к нотариусу избавлен, тем лучше, он с радостью подчинился обстоятельствам и целиком отдался той самой статье.

Немая игра между ними продолжалась несколько дней. Если он от ее молчания все больше успокаивался — он стал опять почти прежним, — то ее волнение с каждым часом росло. За едой она причиняла себе физические страдания, чтобы ничего не сказать. В его присутствии она не брала в рот ни крошки, боясь, что тогда изо рта выпадут слова. Ее голод усилился вместе с ее опасениями. Прежде чем сесть с ним за стол, она стала в одиночестве досыта наедаться на кухне. Она дрожала при любом движении его лица, кто знает, не перейдет ли вдруг это движение в слово «нотариус»?

Иногда он говорил какую-нибудь фразу, его фразы были редки. Она боялась каждой, как смертного приговора. Если бы он говорил больше, ее страх распался бы на тысячи маленьких страхов. Он говорил очень мало, это было ее утешением. Но страх оставался большим и сильным. Если он начинал со слова «Сегодня...», она тут же решительно твердила себе: «Никаких нотариусов не будет» — и повторяла эту фразу с такой скоростью, какой прежде и знать не знала. Ее тело покрывалось потом, лицо тоже, она это замечала, только бы ее не выдало ее лицо! Она выбегала из комнаты и приносила тарелку. Она по его лицу читала желания, которых у него вовсе не было. Он мог бы теперь добиться от нее чего угодно, если бы только ничего не говорил. Ее услужливость относилась к нулям, а доставалась ему. Она предчувствовала страшную беду. Готовя пищу, она усердствовала особенно; только бы ему было вкусно, думала она и плакала. Может быть, она хотела его подкормить — влить в него силу для нулей. Может быть, хотела только доказать себе, как она этих нулей заслуживает.

Ее подавленность была глубока. На четвертую ночь ее осенило, чем был интересный человек: ее грехом. Она больше не звала его; если он попадался ей на пути, она смотрела на него со злостью, говорила: «Все в свое время», — и толкала его ногой, чтобы он понял. Дела перестали идти как по маслу. Магазин надо сперва

заработать, а потом уже дело идет как по маслу. Оставалось одно прибежище—кухня, здесь она казалась себе простой и скромной, как прежде. Здесь она почти забывала, что она хозяйка в доме, потому что вокруг не было дорогой мебели. Одно лишь мешало ей и здесь—адресный справочник, лежавший втуне, ее собственность. Для верности она вырезала оттуда всех нотариусов и с мусором выдворила их из квартиры.

Кин ничего этого не замечал. Ему достаточно было того, что она молчала. Между Китаем и Японией он как-то сказал себе, что это—успех его умной политики. Он лишил ее всякого повода говорить. Он обезвредил ее любовь. Много удачных конъектур возникало у него в эти дни. Одно невероятно искаженное место он восстановил за три часа. Нужные буквы так и лились с его пера. Старую статью он отослал на третий день. Из новых были начаты две. В нем звучали более древние причитания; за ними он забывал о причитаниях Терезы. Он медленно поворачивал назад, в добрачную эпоху. О существовании Терезы напоминала ему иногда ее юбка, ибо она потеряла большую долю чинности и жесткости. Она передвигалась быстрее и была явно не так хорошо выглажена. Он это установил, а по поводу причин не стал ломать себе голову. Почему бы ему не оставлять открытой дверь в ее спальню? Она не злоупотребляла его любезностью и остерегалась мешать ему. Его присутствие при трапезах успокаивало ее. Она боялась, что он исполнит свою угрозу прекратить совместные трапезы, и вела себя для бабы вполне сдержанно. Поменьше служебного рвения—и ему было бы еще приятнее. Она и от этой ретивости тоже еще отучится; слишком много лишних тарелок. Она каждый раз только отрывает человека от самых замечательных мыслей.

Когда на четвертый день, в семь утра, он вышел из дома для очередной прогулки, Тереза—внешне снова сама сдержанность—скользнула к письменному столу. Она не сразу решилась подойти к нему. Она несколько раз обошла его кругом и не солоно хлебавши приступила к уборке комнаты. Она чувствовала, что ее надежда еще не сбылась, и откладывала разочарование как можно дальше. Тут ей вдруг вспомнилось, что преступников опознают по отпечаткам пальцев. Она вынула из сундука свои прекрасные перчатки, те самые, которые помогли ей получить мужа, надела их и осторожно—чтобы не запачкать перчатки—извлекла завещание. Нулей все еще не было. Она боялась, что в конце концов они там окажутся, но написанные так тонко,

что их и не увидит никто. Тщательный осмотр ее успокоил. Задолго до возвращения Кина и она и комната выглядели так, словно ровным счетом ничего не случилось. Она исчезла в кухне и продолжала там вселенскую скорбь, которую прервала в семь.

На пятый день произошло то же самое. Она провозилась с завещанием несколько дольше, не жалея ни времени, ни перчаток.

Шестой день был воскресеньем. Она уныло встала, дождалась ухода мужа и стала, как каждый день, рассматривать зловредную цифру завещания. Не только число 12 650, но и форма каждой цифры вошла в ее плоть и кровь. Она взяла отрезанную от газеты полоску и переписала эту сумму в точности так, как она значилась в завещании. Цифры походили на киноские тютелька в тютельку; никакой графолог не различил бы их. Она писала в длину, чтобы на полоске осталось место и для всяких нулей, добрую дюжину каких-то она и пристроила. При виде сногшибательно-го результата глаза ее вспыхнули. Она несколько раз погладила полоску своей грубой рукой и сказала:

— Ну, доложу, до чего же это прекрасно!

Затем она взяла перо Кина, согнулась над завещанием и превратила цифру 12 650 в 1 265 000.

Перо сработало так же чисто и точно, как прежде карандаш. Закончив второй нуль, она никак не могла выпрямиться. Перо цеплялось за бумагу и примерялось к новому нулю. Из-за недостатка места тот должен был получиться меньше и сплюсненнее. Тереза распознала опасность, которая ей грозила. Любая следующая черточка не соответствовала бы размерам остальных букв и цифр. Он непременно обратил бы внимание на это место. Она чуть не загубила собственную работу. Полоска со множеством нулей лежала рядом. На нее-то как раз и упал ее взгляд, который, чтобы выиграть время, оторвался от завещания. Желание стать одним махом богаче любого мебельного магазина на свете все росло и росло. Подумай она об этом раньше, она сделала бы оба первых нуля поменьше, и как раз поместился бы еще третий. Почему она сморозила такую глупость, сейчас все было бы в полном порядке.

Она отчаянно боролась с пером, которое хотело писать. Напряжение было выше ее сил. От жадности, злости и усталости она стала задыхаться. Толчки вдохов и выдохов передавались ее руке; ее перо грозило забрызгать бумагу чернилами. Испугавшись этого, Тереза быстро отдернула его. Она заметила, что приподняла верхнюю часть туловища, и от облегчения

стала дышать немного ровнее. «Мы ведь люди скромные», — вздохнула она и, задумавшись о потерянных миллионах, прервала свою работу минуты на три. Потом посмотрела, высохли ли чернила, убрала славную полоску, сложила завещание и положила его туда, где нашла его. Она не чувствовала никакого удовлетворения, ее желания замахивались выше. Поскольку она добилась лишь части возможного, ее настроение переменялось; она вдруг показалась себе авантюристкой и решила сходить в церковь. Сегодня же воскресенье. На входной двери она оставила записку: «Я в церкви. Тереза», словно это уже много лет ее обычное и естественное местопребывание.

Она выбрала самую большую в городе церковь, собор. Меньшая только напомнила бы ей о том, что ей причитается больше. На лестнице ей подумалось, что она не одета как нужно. Она чувствовала себя очень подавленно, но все же повернула и сменила первую синюю юбку на вторую, с виду точно такую же. На улице она забыла заметить, что все мужчины смотрели ей вслед. В соборе ей стало стыдно. Люди же смеялись над ней. Разве полагается смеяться в церкви? Она не будет обращать на это внимания, потому что она порядочная женщина. «Порядочная женщина» она произнесла мысленно с величайшей энергией, повторила эти слова и укрылась в тихом углу собора.

Там висела картина с тайной вечерей, написанная дорогими масляными красками. Рама была сплошь золоченая. Скатерть ей не понравилась. Люди не знают, что красиво, к тому же она была уже грязная. Кошелек хотелось потрогать, в нем лежало тридцать славных сребреников, их не было видно, но кошелек был как живой. Иуда держал его. Он не расстался бы с ним, он же был скуп. Он никому ничего не дал бы. Он был как ее муж. Потому он и обманул Спасителя. Ее муж худой, а Иуда толстый и с рыжей бородой. В самой середине сидит интересный человек. Такое у него красивое лицо, бледное-бледное, и глаза совсем такие, как полагается. Он знает все. Он интересный, но и умен тоже. Он внимательно разглядывает кошелек. Извольте, он хочет знать—сколько. Другому надо сосчитать шиллинги, ему это не нужно, он определяет по виду. Ее муж—грязный тип. Он идет на это из-за двадцати шиллингов. Ее не надуешь, раньше там стояла семерка. А он живо сделал из нее пятерку. Теперь это 2000. Интересный человек будет браниться. А она виновата, что ли? Она—этот белый голубь. Он как раз пролетает над его головой. Голубь сияет, потому что он такой

невинный. Так пожелал художник. Ему виднее, это же его ремесло. Она—этот белый голубь. Пусть Иуда только попробует. Ему же не поймать ее. Она же улетит куда пожелает. Она полетит к интересному человеку, она знает, что красиво. Иуда ничего не значит. Ему придется повеситься. Тут и кошелек ему не поможет. Кошелек-то он оставит. Деньги принадлежат ей. Она—белый голубь. Иуде это невдомек. Он думает только о своем кошельке. Из-за кошелька он целует милого Спасителя и обманывает его. Сейчас придут солдаты. Они схватят его. Пусть только попробуют. Она выйдет вперед и скажет: «Это не Спаситель. Это господин Груб, простой служащий фирмы «Больш и Мать». Вы не смеете его трогать. Я его жена. Иуда хочет надуть его. Он же в этом не виноват!» Она должна позаботиться, чтобы его не трогали. Пусть этот Иуда скорей повесится. Она—белый голубь.

Тереза стояла на коленях перед картиной и молилась. Снова и снова оказывалась она белым голубем. Она говорила это от всей души и не спускала с него глаз. Она порхнула в руки интересному человеку; тот нежно гладил ее, потому что она непрестанно спасала его, с голубями так принято обращаться.

Встав, она удивленно почувствовала свои колени. Она на миг усомнилась в их реальности и потрогала их. Когда она выходила из церкви, над людьми смеялась она. Она смеялась, как то было ей свойственно, не смеясь. У людей был серьезный вид, им было стыдно. Да и что это были за лица—одни преступники! Известно же, кто только не ходит в церковь. Ей удалось обойти кошель для сбора денег. Перед порталом копошились бесчисленные голуби, но белыми они не были. Тереза пожалела, что ничего не захватила для них. Дома лежало и плесневело так много черствого хлеба. За собором на каменную фигуру сел настоящий белый голубь. Тереза присмотрелась: это был Христос, изнывающий от зубной боли. Она подумала: счастье, что у интересного человека вид не такой. Ему ведь было бы стыдно.

По дороге домой она вдруг слышит музыку. Это идут военные и играют самые замечательные марши. Это весело, это она любит. Она поворачивает и вдруг начинает скользить в том же такте, что и они. Господин капельмейстер все время глядит на нее. Солдаты тоже, тут нет ничего особенного, она глядит на них, она должна поблагодарить их за музыку. Присоединяются другие женщины—она красивее всех. Господин капельмейстер что-то представляет собой.

Это мужчина, и как же он умеет играть! Музыканты ждут взмаха его палочки. Без палочки никто не шевельнется. Иногда он перестает играть. Тогда она задирает голову, господин капельмейстер смеется, и тут же звучит опять что-то новое. Если бы только не множество детей. Они заслоняют ей зрелище. Такое надо бы слушать каждый день. Прекраснее всего трубы. После того как здесь появилась она, все прохожие находят это прекрасным. Вскоре начинается сутолока. Ей это не мешает. Ей уступают проход. Никто не забывает видеть ее. Она тихонько напевает в такт: на тридцать, на тридцать, на тридцать.

МИЛЛИОННОЕ НАСЛЕДСТВО

Кин нашел записку на двери. Он прочел ее, потому что читал все, и, как только сел за письменный стол, забыл о ней. Вдруг кто-то сказал: «Вот и я!» Позади него стояла Тереза и сыпала на него слова:

— Да, большое наследство! Рядом, через три дома, нотариус. Можно ли так бросать наследство? Завещание ведь запачкается. Сегодня воскресенье. Завтра понедельник. Надо дать что-то нотариусу. А то он все напутает. Много не надо. Жаль было бы денежек. Дома плесневеет черствый хлеб. Голуби — дело нехитрое. Конечно, им там нечем кормиться. Военные играют самые замечательные марши. Маршировать и на все глядеть — для этого надо быть особенным человеком. А на кого все время глядел господин капельмейстер? Это я не всякому скажу. Ведь люди не понимают шуток. 1 265 000. Какие красивые глаза сделает тут господин Груб! Они у него и так красивые. Всем женщинам он нравится. А я не женщина, что ли? Подольститься может любая. Я первая с капиталом...

Она вошла, уверенная в победе, еще в радостном возбуждении от военной музыки и господина капельмейстера. Все было так прекрасно сегодня. Такой день должен быть каждый день. Ей хотелось говорить. Она представила себе число 1 265 000 и похлопала ладонью по библиотеке в кармане юбки. Кто знает, сколько она стоит. Может быть, вдвое больше. Связка ключей звякала. Говоря, она сегодня дала себе волю. Она говорила непрерывно, потому что неделю молчала. В раже она выдавала свои тайные и самые тайные мысли. Она не сомневалась в том, что добилась всего, чего можно было добиться, она ведь не сидела сложа руки. В течение часа она уговаривала сидевшего перед ней

человека. Она забыла, кто он. Она забыла суеверный страх, с каким все прежние дни следила за каждым движением его лица. Он был человек, ему можно было рассказать все, такой и нужен был ей сейчас. Она не упускала ни одной мелочи, попавшейся ей сегодня на глаза или мелькнувшей у нее в голове.

Он был ошеломлен, произошло что-то необычное. Целую неделю она вела себя образцово. Если она сейчас так грубо мешала ему, то на это, судя по ее виду, была какая-то особая причина. Ее речь была сумбурной, дерзкой и счастливой. Он старался понять; он медленно уразумел:

Какой-то интересный человек оставил ей миллион, вероятно, ее родственник, по профессии капельмейстер, несмотря на свое богатство, и уже тем интересный. Человек, который во всяком случае был о ней высоко-го мнения, иначе он не сделал бы ее своей наследницей. С этим миллионом она хотела основать мебельное дело, она только сегодня узнала о своем счастье и в благодарность за это помчалась в церковь, где на какой-то картине узнала умершего в образе Спасителя. (Благодарность как причина обмана чувств!) В соборе она дала обет регулярно кормить голубей. Она против того, чтобы приносить голубям сухой, заплесневевший хлеб из дому. Голуби тоже по-своему люди (ну, что ж!), завтра она хочет пойти с ним к нотариусу, чтобы проверить завешание. Она боится, что ввиду богатого наследства нотариус запросит слишком большой гонорар, и хочет поэтому договориться о гонораре до консультации. Бережлива, экономна и при миллионе!

Да так ли уж велико ее наследство? 1 265 000 — сколько это? Сравним это со стоимостью библиотеки! Вея его библиотека обошлась ему в смехотворную сумму — менее 600 000 золотых крон. 600 000 золотых крон составляло его отцовское наследство, какая-то мелочь оставалась на его счету и по сей день. Во что хочет она вложить свое наследство? В мебельный магазин? Глупость! На эти деньги можно же увеличить библиотеку. Он откупил бы у соседней смежную квартиру и велел бы пробить стену. Так он приобрел бы для библиотеки еще четыре большие комнаты. Он велел бы замуравать окна и устроить верхний свет, как здесь. В восьми комнатах поместилось бы добрых 60 000 томов. Недавно было объявлено о продаже библиотеки старика Зильцингера, вряд ли ее уже продали с торгов, она содержит около 22 000 томов, с его библиотекой она, конечно, не идет в сравнение, но там есть несколько выдающихся вещей. Он возьмет на библиотеку пример-

но миллион, с остатком пусть поступает как ей угодно. Может быть, остатка хватит на мебельный магазин, в этом он мало смыслит, какое ему дело до этого, к деньгам и делам он не хочет иметь никакого касательства. Надо узнать, продана ли уже библиотека старика Зильцингера. Так ведь недолго и упустить крупную добычу. Он с головой зарылся в свою науку. Тем самым он лишил себя средств, необходимых для научной работы. Ученый так же обязан внимательно следить за книжным рынком, как обязан знать курсы акций биржевой спекулянт.

Расширить библиотеку до восьми комнат вместо четырех. Это замечательно. Надо развиваться. Нельзя стоять на месте. Сорок — не старость. Как можно в сорок почить на лаврах? С последней большой закупки прошло уже два года. Так и зарастают ржавчиной. Есть и другие библиотеки на свете, не только твоя собственная. Бедность омерзительна. Счастье, что она любит меня. Она называет меня господин Груб, потому что я так груб с ней. Она находит мои глаза красивыми. Она думает, что я нравлюсь всем женщинам. Я действительно слишком груб с ней. Если бы она не любила меня, она оставила бы свое наследство себе. Есть мужчины, которые живут на содержании у своих жен. Отвратительно. Я скорее покончу самоубийством. Для библиотеки ей вполне позволительно что-то сделать. Книги нужно кормить? Думаю, нет. За квартиру плачу я. Содержать означает предоставлять даровую еду и даровое жилье. Платить за соседнюю квартиру буду я сам. Она глупа и невежественна, но у нее есть умерший родственник. Черствость? Почему? Я же не знаю его. Было бы чистейшим лицемерием скорбеть о нем. Его смерть — не несчастье, в его смерти есть глубокий смысл. Каждый человек заполняет какое-то пустое место, хотя бы на короткое мгновение. Местом этого человека была его смерть. Теперь он умер. Никакая жалость не воскресит его. Странная случайность! Именно в мой дом попадает эта богатая наследница в качестве экономки. Восемь лет она тихо исполняет свои обязанности, вдруг на нее сваливается миллионное наследство, а я как раз женюсь на ней. Едва я узнал, как она любит меня, и вот уже умирает ее богатый капельмейстер! Счастливая судьба, незаслуженная и внезапная. Болезнь была переломом в моей жизни, прощанием со скудостью, с угнетающе маленькой библиотекой, в которой я ютился поныне.

Разве безразлично, где родится человек — на Луне или на Земле? И будь Луна вдвое меньше Земли —

важна не просто сумма материи, из-за разницы величин различно и все в отдельности. Тридцать тысяч новых книг! Каждая в отдельности — повод для новых мыслей и новой работы! Какая коренная ломка!

В этот миг такой человек, как Кин, отошел от консервативной теории эволюции, сторонником которой он был до сих пор, и с развевающимися листками перешел в лагерь революционеров. Условие любого прогресса — внезапные перемены. Нужные доказательства, до сих пор как бы скрывавшиеся в системе всех эволюционистов, как бы прятавшиеся под фиговыми листками, сразу же всплыли в его сознании. У человека образованного все под рукой, как только это ему понадобится. Душа образованного человека — блестяще укомплектованный арсенал. Только этого не замечают, потому что у тех, к кому это относится, — именно в силу их образованности, — редко хватает мужества применить таковую на деле.

Одно слово, выпаленное Терезой с наслаждением и страстью, вернуло его на почву фактов: «Приданое!» — услышал он и с благодарностью принял это ключевое слово. Все, что требовалось ему для этого исторического момента, неожиданно нахлынуло на него. Капиталистическая жилка, сотни лет любовно культивировавшаяся в его семье, выиграла в нем с такой силой, словно она давно не потерпела поражения в двадцатипятилетней борьбе. Любовь Терезы, этот столп близкого рая, принесла ему приданое. Он был вправе не отвергать его. Он взял ее в жены бедной девушкой, понятия не имевшей ни о каком богатом родственнике, который должен был вот-вот умереть, и этим вполне доказал свою порядочность. Он доставит ей удовольствие время от времени, не слишком часто, совершать быстрый обход восьми залов новоустроенной библиотеки. Чувство, что ее родственник внес вклад в это великолепное дело, вознаградит ее за отказ от мебельного магазина.

Радуюсь естественности, с какой прошла его революция, Кин потирал свои длинные пальцы. Ни одной теоретической стены не взгромоздилось. Практическая, отделяющая его квартиру от смежной, будет сломана. Переговоры с соседями надо начать сейчас же. Известить каменщика Путца. Пусть приступает к работе завтра же. Завещание надо проверить немедленно. С нотариусом связаться сегодня же. Внимание к аукциону Зильцингера! Привратник должен сейчас же отправиться в несколько мест.

Кин сделал шаг вперед и приказал:
— Позови привратника!

Тереза вернулась в своем отчете к заплесневелому хлебу и голодным голубям. Она еще раз подчеркнула эту бессмыслицу, раздражавшую ее хозяйственность, и, чтобы подкрепить свое возмущение, прибавила: «Еще чего не хватало!»

Но Кин не терпел возражений.

— Позови привратника! Живо!

Тереза заметила, что он что-то сказал. Зачем ему говорить? Пусть лучше даст высказаться другому.

— Еще чего не хватало!

— Чего не хватало! Позови привратника!

На того она из-за его чаевых и так была зла.

— Что он здесь потерял? Он ничего не получит.

— Это решаю я. Я хозяин в доме.

Он сказал так не потому, что это было необходимо, а потому, что считал полезным дать ей почувствовать его непреклонную волю.

— Ну, доложу я, капитал принадлежит мне.

Втайне он ждал этого ответа. Она была и осталась невоспитанным, невежественным человеком. Он уступил настолько, насколько то позволяло его достоинство его замыслам:

— Никто этого не отрицает. Привратник нам нужен. Он должен сейчас же сходить в несколько мест.

— Жаль денег. Он получит целое состояние.

— Не волнуйся! Миллион нам обеспечен!

В Терезе проснулась недоверчивость. Он опять хочет что-то у нее выторговать. Две тысячи шиллингов она уже приплатила.

— А 265 000? — сказала она, задерживаясь на каждой цифре и выразительно глядя на него.

Сейчас надо было завоевать ее быстро и окончательно.

— Эти двести шестьдесят пять тысяч принадлежат тебе одной.

На свое худое лицо он натянул маску жирного покровителя, он делал ей подарок, заранее и с удовольствием принимая ее благодарность.

Тереза вспотела.

— Все принадлежит мне!

Почему она все время это подчеркивает? Он облек свое нетерпение в официальную фразу:

— Я уже один раз заявил, что никто не отвергает твоих притязаний. Речь сейчас не о том.

— Ну, доложу я, это я и сама знаю. Записано черным по белому, никуда не денешься.

— Дело с наследством мы должны уладить сообща.

— При чем тут муж?

- Я торжественно предлагаю тебе свою помощь.
- Попрошайничать может любой. Сперва выторговывать, потом попрошайничать, так не годится!
- Боюсь только, что тебя обделят.
- Прикидываемся святым?
- При миллионных наследствах обычно всплывают вдруг мнимые родственники.
- Кроме мужа, никого нет.
- Ни жены? Ни детей?
- Ну, доложу я, что за шутки?
- Неслыханное везение!

Везение? Тереза снова была озадачена. Человек отдает свои деньги еще до того, как он умер. Какое же тут везение. Как только он заговорил, она безошибочно почувствовала, что он хочет ее обмануть. Стоглавым цербером стерегла она его слова. Она старалась отвечать резко и недвусмысленно. А то вдруг брякнешь что-нибудь — и вот уже у тебя петля на шее. Ведь он все читал. Он был для нее одновременно противной стороной на процессе и адвокатом противника. При защите своей молодой собственности она развила силы, которых устрашилась сама. Она вдруг умудрилась представить себя на месте другого человека. Она чувствовала, что его завещание для него никакое не везенье. Она почуяла за этими словами какую-то новенькую ловушку. Он что-то прятал от нее. Что люди прячут? Имущество. У него было больше, чем он отдавал. Третий упущенный ноль обжег ей ладонь. Она вскинула руку вверх, как от внезапной боли. Ей хотелось броситься к письменному столу, достать завещание и сильным шлепком припечатать этот ноль к его месту. Но она знала, какая тут ставка, и держала себя в руках. Все это — от великой скромности. Почему она была такая глупая? Скромность — это глупость. Теперь она опять поумнела. Она должна это выведать. Где он спрятал остаток? Она так спросит его, что он ничего и не заметит. Давно знакомая улыбка, широкая и злая, появилась на ее лице.

— А что будет с остатком?

Она взобралась на вершину своей хитрости. Она не спросила, где спрятан остаток. Ведь на это он ничего не ответил бы. Она хотела, чтобы он сперва признал, что этот остаток есть.

Кин посмотрел на нее с благодарностью и любовью. Ее сопротивление было лишь видимостью. Так, собственно, он все время и полагал. Он нашел это просто прелестным с ее стороны, что миллион, главную часть, она назвала остатком. Видимо, такой переход от грубо-

ти к любви характерен для людей ее пошиба. Он представил себе, как ей не терпелось признаться в своей преданности и как она медлила с этим признанием, чтобы усилить эффект. Она была неуклюжа, но женщина она верная. Он начал понимать ее лучше, чем прежде. Жаль, что она так стара, человека из нее уже не сделать, поздно. Но таких капризов, какие он видел, ей позволять больше нельзя. С этого начинается всякое воспитание. Благодарность, относившаяся к ней, и любовь, относившаяся к книгам, исчезли с его лица. Он принял строгий вид и проворчал, словно обидевшись:

— На остаток я увеличу свою библиотеку.

Тереза испуганно и торжествующе встрепенулась. С двумя ловушками она покончила одним махом. Его библиотека! Когда у нее в кармане опись! Значит, остаток действительно есть. Он же сам сказал. Она не знала, на что направить свой отпор в первую очередь. Рука, произвольно легшая на карман, решила дело.

— Книги принадлежат мне!

— Что?

— Три комнаты принадлежат жене, одна — собственность мужа.

— Речь идет сейчас о восьми комнатах. Прибавятся еще четыре — я имею в виду смежную квартиру. Мне нужно место для библиотеки Зильцингера. В ней одной больше двадцати двух тысяч томов.

— А где возьмет муж деньги на это?

Опять. Ему надоели эти намеки.

— Из твоего наследства. Незачем больше говорить об этом.

— Так не пойдет.

— Что не пойдет?

— Наследство принадлежит мне.

— Но распоряжаюсь им я.

— Сначала муж пусть умрет, потом пусть распоряжается.

— Что это значит?

— У меня ничего не выторгуешь!

Что это, что это? Не взять ли уже самый строгий тон? Восьмикомнатный дворец, которого он не выпускал из виду, дал ему последнюю толику терпения.

— Речь идет о наших общих интересах.

— Остаток тоже входит сюда!

— Пойми же...

— Где остаток?

— Жена должна мужу...

— А муж крадет у жены остаток.

— Я требую миллион для покупки библиотеки Зильцингера.

— Требовать может любой. Я хочу остаток. Я хочу все.

— Распоряжаюсь тут я.

— Я хозяйка в доме.

— Я ставлю ультиматум. Я категорически требую миллион для покупки...

— Я хочу остаток! Я хочу остаток!

— Через три секунды. Считаю до трех...

— Считать может любой. Я тоже считаю!

И он и она готовы были заплакать от ярости. С дрожжащими губами они стали считать, все громче крича. «Один! Два!! Три!!!» Числа, маленькие двойные взрывы, вылетали у них совершенно одновременно. Для нее эти числа сливались с миллионами, до которых ее капитал вырос благодаря остатку. Для него числа эти означали новые комнаты. *Она* считала бы дальше до скончания века, *он* досчитал не до трех, а до четырех. Напрягшись, как струна, угловатее, чем когда-либо, он наступал на нее и ревел, мысленно вторя привратнику: «Давай завешание!» Пальцы его правой руки попытались образовать кулак и изо всей силы ударили по воздуху. Тереза перестала считать, он раздавил ее. Она была действительно обескуражена. Она ждала борьбы не на жизнь, а на смерть. Вдруг он говорит «да». Если бы она не была так поглощена остатком, она бы совсем растерялась. Когда ее перестают обманывать, злость у нее проходит. Она не раба своей злости. Она обходит мужа, направляясь к письменному столу. Он отступает в сторону. Хотя она раздавлена, он боится, что она может ответить ему ударом на удар кулаком, предназначенным ей, а не воздуху. Она никакого удара и не заметила. Она запускает руку в бумаги, бесстыдно ворошит их и извлекает одну из них.

— Как оказалось... чужое завешание... среди моих... рукописей?

Он пытается прореветь и эту длинную фразу и поэтому не доносит ее до жены неразорванной. Он три раза переводит дыхание. Он не успевает кончить, она уже отвечает:

— Ну, доложу я, как это чужое?

Она торопливо разворачивает его, разглаживает на столе, пододвигает чернила и перо и скромно уступает место владельцу остатка. Когда он, еще не совсем успокоившись, подходит поближе, первый его взгляд падает на число. Оно кажется ему знакомым, но главное: оно именно таково. Во время спора его

предостерегал какой-то тихий страх перед глупостью этой неграмотной женщины, которая, может быть, неверно прочла число. Теперь он удовлетворенно поднимает глаза, садится и хорошенько рассматривает документ.

Тут он узнает собственное завещание.

Тереза говорит:

— Лучше всего переписать все заново.

Она забывает об опасности, в какой находятся ее нули. Веру в их подлинность она утвердила в своем сердце так же, как он в своем сердце веру в ее любовь к нему. Он говорит:

— Но это же мое...

Она улыбается:

— Ну, доложу, а я что...

Он в ярости встает. Она заявляет:

— Не давши слова, крепись, а давши — держись.

Еще не схватив ее за горло, он понял. Она требует, чтобы он писал. Она заплатит за свежий лист бумаги. Он валится, как если бы он был толстый и тяжелый, мешком на стул. Она хочет, наконец, знать, на что ей рассчитывать.

Несколько мгновений спустя они впервые поняли друг друга правильно.

ПОБОИ

Злорадство, с каким он документально доказал ей, как мало осталось у него денег, помогло Терезе избежать худшего. Она разложилась бы на свои главные составные части, юбку, пот и уши, если бы ненависть к нему, которую он со сладострастием педанта усиливал, не стала ее сдерживающим центром. Он показал ей, сколько денег унаследовал некогда. Все связанные с покупкой книг счета он вынул из разных ящиков, куда те попали по его прихоти. Свою память даже на бытовые мелочи, обычно обременительную для него, он нашел теперь полезной. На обороте испорченного завещания он записывал отысканные суммы. Тереза, подавленная, складывала их в уме и округляла для этого. Она хотела знать, что осталось на самом деле. Оказалось, что библиотека стоила гораздо больше миллиона. Его отнюдь не утешил этот поразительный результат; большая ценность библиотеки не могла возместить ему краха четырех новых комнат. Месть за этот обман была единственной его мыслью. Во время длительной этой процедуры он не произнес ни на один

слог больше и, чего достигнуть было ему труднее, ни на один меньше, чем требовалось. Недоразумения были исключены. Когда уничтожающий итог был подбит, он прибавил громко и отрывисто, как говорят в школе: «Остаток пойдет на отдельные книги и мне на жизнь».

Тут Тереза растаяла и потекла бурным потоком через дверь в коридор, откуда влилась в кухню. Когда пришло время сна, она прервала свой плач, сняла юбку, повесила ее на стул, снова села у плиты и стала плакать опять. Смежная комната, где она восемь лет так славно жила экономкой, приглашала ее лечь спать. Но ей казалось неприличным прекращать траур так рано, и она не двинулась с места.

На следующий день, с утра, она начала исполнять решения, принятые ею во время траура. Она заперла, отрезав их от остальной квартиры, три принадлежавшие ей комнаты. Красота кончилась, так уж водится у людей, но, в конце концов, ей принадлежали три комнаты и находившиеся в них книги. Мебелью она до смерти Кина пользоваться не хотела. Все следовало поберечь.

Остаток воскресенья Кин провел за письменным столом. Работал он кое-как, ведь его просветительская миссия была выполнена. В действительности он просто единоборствовал со своей жадной новых книг. Она приобрела такую невероятную силу, что кабинет с полками и всеми книгами на них казался ему скучным и затхлым. Он то и дело заставлял себя взяться за лежавшие на столе японские рукописи. Пытаясь это сделать, он дотрагивался до них и тут же чуть ли не с отвращением отдергивал руку. Какое они имели значение? Они уже пятнадцать лет валялись в его келье. Он забыл о голоде и в полдень и вечером. Ночь застала его за письменным столом. На начатой рукописи он, вопреки своему обыкновению, рисовал знаки, не сохранившие никакого смысла. Около шести часов утра он задремал; в то время, когда он обычно вставал, ему снилось гигантское библиотечное здание, построенное вместо обсерватории у кратера Везувия. Дрожа от страха, он ходил по этому зданию и ждал извержения вулкана, которое должно было произойти через восемь минут. Страх и ходьба продолжались бесконечно долго, восемь минут до катастрофы оставались постоянной величиной. Когда он проснулся, дверь в соседнюю комнату была уже заперта. Он увидел это, но не нашел, что от этого стало теснее. Двери не имели значения, ибо все было равномерно старо: комнаты, двери, книги, рукописи, он сам, наука, его жизнь.

Слегка шатаясь от голода, он поднялся и попробовал открыть другую дверь, которая вела в переднюю. Он обнаружил, что его заперли. Он отдал себе отчет в намерении найти что-нибудь съестное и устыдился, несмотря на свою слабость. Из всех разновидностей человеческой деятельности на самой низкой ступени находилась еда. Из еды сделали культ, хотя в действительности она лишь предваряла другие, весьма презираемые отправления. Тут ему подумалось, что и для такого отправления тоже есть сейчас повод. Он счел себя вправе подергать дверь. Пустой желудок и физическое напряжение так изнурили его, что он опять чуть не расплакался, как вчера при подсчете. Но сегодня у него даже на это не было силы; он только восклицал жалобным голосом: «Я же не хочу есть, я же не хочу есть».

— Ну, доложу я, это приятно слышать, — сказала Тереза, которая ждала за дверью, прислушиваясь к его первым движениям. Пусть не думает, что получит у нее еду. Муж, который не приносит в дом денег, не получает еды. Это она собиралась ему сказать; она боялась, что он забудет о еде. Когда он теперь отказался от еды сам, она отперла дверь и сообщила ему, что она думает по этому поводу. И пачкать свою квартиру она тоже не позволит. Коридор перед ее комнатой принадлежит ей. Так устанавливает суд. Что говорится насчет проходов через дома? По записке, которую она держала в руке многократно сложенной, а теперь раскрыла и расправила, Тереза прочла: «Проход разрешен временно, до особого распоряжения».

Она побывала внизу, купила у мясника и у бакалейщицы, где все терпеть ее не могли, съестного на одного человека, хотя это ей вышло дороже и обычно она запасалась сразу на несколько дней. Вопросительным физиономиям она демонстративно ответила: «С сегодняшнего дня он никакой еды получать не будет!» Владельцы, покупатели и персонал в обеих лавках диву давались. Затем она слово в слово списала надпись у ближайшего прохода. Пока она писала, ее сумка с прекрасной едой лежала на грязной земле.

Когда она вернулась, он еще спал. Она заперла коридорную дверь и стала караулить. Теперь наконец она сказала ему все. Она отменяет временное разрешение. Ее коридором до кухни и до уборной он больше не вправе пользоваться. Ему делать там нечего. Если он еще раз запачкает ей коридор, ему придется убирать самому. Она не служанка и обратится в суд. Из квартиры ему разрешается выходить, но только если он

будет делать это как полагается. Она ему покажет, как полагается.

Не дожидаясь его ответа, она прокралась вдоль стенки к входной двери. Ее юбка задевала стену, действительно не касаясь принадлежавшей ей части коридора. Затем она скользнула в кухню, взяла кусок мела, оставшийся еще от ее школьной поры, и провела жирную черту между ее и его коридором. «Это, доложу я, пока что, — сказала она, — масляной краской проведу позже».

В своем голодном смятении Кин толком не понял, что происходит. Ее движения казались ему бессмысленными. Это все еще возле Везувия? — спрашивал он себя. Нет, возле Везувия был страх из-за восьми минут, но бабы этой там не было, Везувий был, возможно, не так уж и плох. Только вот с извержением пришлось помучиться. Мучительна стала между тем его собственная усилившаяся нужда. Она толкала его в запретный коридор так, словно Тереза не провела никакой черты. Широкими шагами он достиг своей цели, Тереза пустилась за ним. Ее возмущение было равно его нужде. Она догнала бы его, но он успел уже выйти вперед. Он заперся, как полагается, что спасло его от ее рукоприкладства. Она дергала запертую дверь и ритмически взвизгивала: «Ну, доложу, я подам в суд! Ну, доложу, я подам в суд!»

Увидев, что все это бесполезно, она удалилась в кухню. У плиты, где ее всегда осеняли самые лучшие мысли, она додумалась до подлинной справедливости. Ладно, она разрешит ему проходить. Она может войти в положение. Ему нужно выходить. Но что она получит за это? Ей тоже никто ничего не дарит. Она должна все зарабатывать. Она отдаст ему коридор, а он отдаст ей за это часть своей комнаты. Она должна беречь свои комнаты. Где ей спать? Три новых комнаты она заперла. Теперь она запрет и прежнюю свою клетушку. Туда нельзя входить. Вот и приходится, извольте, спать у него. Что еще остается ей? Она жертвует своим прекрасным коридором, он освобождает ей место у себя в комнате. Мебель она возьмет из каморки, где раньше спала экономка. За это он может ходить в уборную сколько хочет.

Она тотчас выбежала на улицу и привела грузчика. С привратником она не хотела иметь дела, потому что он был подкуплен мужем.

Как только ее голос дал ему покой, Кин уснул от изнеможения. Проснувшись, он почувствовал в себе свежесть и отвагу. Он прошел в кухню и, не испытывая

угрызений совести, съел несколько бутербродов. Когда он, ничего не подозревая, вышел в свою комнату, она стала вдвое меньше. Посредине поперек комнаты стояла ширма. За ней он обнаружил Терезу среди ее старой мебели. Она как раз наводила последний глянец, находя, что и так все отлично. Бессовестный грузчик, к счастью, уже ушел. Он запросил целое состояние, но она дала лишь половину и выставила его, чем была очень горда. Только ширма не нравилась ей своим дурацким видом. С одной стороны она была белая и пустая, с другой—вся в кривых крючках, кровавое солнце по вечерам было Терезе милее. Она указала на нее со словами:

— Ширма не нужна. По мне, ее можно убрать.

Кин промолчал. Он проковылял к своему письменному столу и, постанывая, опустился на стул перед ним.

Через несколько минут он вскочил. Он хотел взглянуть, живы ли еще книги в соседней комнате. Его озабоченность шла скорей от глубоко укоренившегося чувства долга, чем от настоящей любви. Со вчерашнего дня он испытывал нежность только к тем книгам, которых у него не было. Прежде чем он достиг двери, перед ней уже стояла Тереза. Как заметила она, несмотря на ширму, его движение? Как ее юбка доставила ее туда быстрее, чем его ноги? Ни до нее, ни до двери он пока не дотрагивался. Прежде чем он набрался мужества, которое ему нужно было, чтобы говорить, она уже ругалась:

— Пусть муж не распускается! Оттого, что я так добра и разрешаю ему пользоваться коридором, он думает, что и комнаты уже принадлежат ему. У меня на них есть бумага. Черным по белому—никуда не денешься. Муж не смеет прикасаться к ручке двери. Войти просто так он не может, потому что ключи у меня. Их я не отдам. Ручка—принадлежность двери. Дверь—принадлежность комнаты. Ручка и дверь принадлежат мне. Я не разрешаю мужу прикасаться к ручке!

Он отмел ее слова неловким движением руки и случайно задел при этом ее юбку. Тут она принялась громко и отчаянно кричать, словно зовя на помощь:

— Я не разрешаю мужу прикасаться к юбке! Юбка принадлежит мне! Разве муж покупал юбку? Я покупала юбку! Разве муж крахмалил и гладил юбку? Я крахмалила и гладила юбку. Разве ключи в юбке? Какое там, они и не думают там быть. Ключей я не отдам. И даже если муж зубами раздерет юбку, я не

отдам ключей, потому что их там нет! Жена для мужа все сделает. А юбку—дудки! А юбку—дудки!

Кин провел рукой по лбу. «Я в сумасшедшем доме!»—сказал он, сказал так тихо, что она не услышала. Взгляд на книги убедил его, что дело обстоит лучше. Он вспомнил о намерении, с каким встал. Он не отважился исполнить его. Как проникнуть ему в соседнюю комнату? Через ее труп? Какой ему толк от трупа, если у него нет ключей. У нее хватило хитрости спрятать ключи. Как только у него будут ключи, он отперет дверь. Он ничуть не боится ее. Пусть только дадут ему в руки ключи, и он одним махом сшибет ее с ног.

Только потому, что борьба не сулила сейчас никакой выгоды, он отступил к письменному столу. Тереза простояла на страже перед своей дверью еще четверть часа. Она непоколебимо продолжала кричать. То, что он снова как ни в чем не бывало сидел за письменным столом, не произвело на нее никакого впечатления. Лишь когда голос ее ослабел, она прекратила это и постепенно исчезла за ширмой.

До вечера она больше не показывалась. Время от времени она издавала бессвязные звуки; они напоминали обрывки сна. Затем она умолкла, и он стал дышать спокойнее; но ненадолго. В отрадной пустоте и тишине вдруг снова явственно раздались звуки:

— Соблазнительей надо вешать. Сперва обещают брак, а потом не пишут завещания. Но, доложу я тебе, господин Пуда, «тише едешь—дальше будешь» тоже неплохая пословица. Куда это годится, чтобы не было денег для завещания.

Она же ничего не говорит, внушал он себе, это действие моего разгоряченного слуха, отзвук, так сказать. Поскольку она молчала, он успокоился на этом объяснении. Ему удалось полистать лежавшие перед ним рукописи. Когда он прочел первую фразу, отзвуки стали снова мешать ему.

— Может быть, я совершила какое-нибудь преступление? Иуда—преступник. Книги тоже чего-то стоят. Господин племянник были всегда в веселом расположении духа. Старуха, оборванка несчастная, ведь совсем опустилась. Поживем—увидим. Ключи надо вставлять. Так уж водится у людей. Мне тоже никто ключей не дарил. Большие деньги—и все на ветер. Попрошайничать может любой. Грубить может любой. Юбку—дудки.

Именно эта фраза, которую легче всего было истолковать как отзвук ее прежнего крика в его ушах,

убедила его в том, что она действительно говорила. Впечатления, казавшиеся ему забытыми, всплыли в нем снова, омоложенные и в сияющем ореоле счастья. Он снова лежал больной и в течение шести недель страдал от ее причитанья. Тогда она говорила неизменно одно и то же; он выучил ее речи наизусть, и они были, в сущности, подвластны ему. Тогда он знал наперед, какая фраза, какое слово на очереди. Тогда появлялся привратник и ежедневно забивал ее насмерть. Это было чудесное время. Как давно это было. Он подсчитал и пришел к обескураживающему результату. Он встал всего неделю назад. Он стал искать причину, по которой возникла пропасть, отделявшая это серое новое время от прежнего золотого. Возможно, он и нашел бы ее, но тут Тереза заговорила опять. То, что она говорила, было непонятно и обладало деспотической властью над ним. Это нельзя было выучить наизусть, и кто мог сказать, что будет дальше? Он был скван и не знал — чем.

Вечером его освободил голод. Он остерегся спрашивать Терезу, есть ли какая-нибудь еда. Тайно, как ему думалось, и неслышно он вышел из комнаты. В ресторане он сперва огляделся—не последовала ли она за ним. Нет, она не стояла в дверях. Пусть только попробует!—сказал он и смело уселся в одной из задних комнат среди парочек, явно не состоявших в браке. Вот я и оказался в отдельном кабинете на старости лет, вздохнул он, удивляясь, что по столам не течет шампанское, а публика, вместо того чтобы вести себя непристойно, невозмутимо и прожорливо уплетает шницели или котлеты. Ему было жаль мужчин, потому что они спутались с женщинами. Но, ссылаясь на их прожорливость, он запретил себе всякие сожаления подобного рода, может быть, потому, что сам был так голоден. Он пожелал, чтобы официант избавил его от карточки блюд и принес то, что он, специалист, — так сказал Кин, — сочтет подходящим. Специалист мгновенно пересмотрел свое мнение о госте в поношенном платье, узнав в этом тощем господине тайного знатока, и притащил самое дорогое. Едва были поданы кушанья, как взгляды всех влюбленных сосредоточились на них. Хозяин великолепных яств заметил это и принимал пищу, хотя она была превосходна на вкус, с явным отвращением. «Принимать пищу» или «употреблять в пищу» казались ему самыми нейтральными и потому самыми подобающими выражениями для обозначения процесса питания. Он упорно настаивал на своих мыслях о данном предмете и пространно развивал их в

медленно отдохавшем уме. Подчеркивая эту свою странность, он в какой-то мере вернул себе чувство собственного достоинства. Он с радостью ощутил, что в нем есть еще большой запас характерных свойств, и сказал себе, что Тереза заслуживает жалости.

На пути домой он думал о том, как дать ей почувствовать эту жалость. Он энергично отпер дверь квартиры. Из коридора он увидел, что в его комнате нет света. Мысль, что она уже спит, наполнила его неистойвой радостью. Осторожно и тихо, в страхе, что его костлявые пальцы громко стукнут по рукоятке, он отворил дверь. Намерение как следует пожалеть ее пришло к нему в самый неподходящий момент. Да, сказал он себе, на том и останется. Из жалости я не буду будить ее. Ему удалось выдержать характер еще некоторое время. Он не зажег света и на цыпочках прокрался к своей кровати. Раздеваясь, он злился на то, что под пиджаком носят жилетку, а под жилеткой рубашку. Каждый из этих предметов одежды производил свой особый шум. Всегдашнего стула возле кровати не было. Он не стал искать его и положил одежду на пол. Чтобы не нарушать сна Терезы, он и сам бы подлез под кровать. Он подумал, как лечь на кровать с наименьшим шумом. Поскольку голова была самой увесистой его частью, а ноги находились от головы дальше, чем все другое, он решил, что они, как самые легкие, должны взобраться первыми. Одна нога лежала уже на краю кровати; ловким прыжком к ней должна была присоединиться другая. Верхняя часть туловища и голова повисли на миг в воздухе, затем, чтобы где-то закрепиться, произвольно метнулись в сторону подушек. Тут Кин почувствовал что-то непривычно мягкое, подумал: «Грабитель!»—и как можно скорее закрыл глаза.

Хотя он лежал на грабителе, он не решался шевельнуться. Он чувствовал, несмотря на свой страх, что грабитель был женского пола. Мельком и смутно он почувствовал удовлетворение от того, что этот пол и эпоха пали так низко. Предложение защищаться, сделанное где-то в тайнике его сердца, он отклонил. Если грабительница, как ему сперва показалось, действительно спит, то он после продолжительной проверки тихонько уйдет с одеждой в руках, оставив квартиру открытой, и оденется возле клетушки привратника. Его он вызовет не сразу; он будет долго, долго ждать. Лишь услышав шаги наверху, он забарабанит в его дверь. Тем временем его грабительница убьет Терезу. Она должна убить ее, потому что Тереза будет защи-

щаться. Тереза не даст ограбить себя, не защищаясь. Она уже убита. За ширмой лежит Тереза в луже собственной крови. Если только грабительница не промахнулась. Может быть, Тереза окажется еще жива, когда приедет полиция, и свалит вину на него. Надо бы для верности вклеить ей еще раз. Нет, это не нужно. От усталости грабительница легла спать. Грабительницы так быстро не устают. Была ужасная борьба. Сильная женщина. Героиня. Снять перед ней шляпу. Ему это вряд ли бы удалось.

Она окутала бы его своей юбкой и удушила. При одной только мысли об этом он начинает задыхаться. Она собиралась так поступить с ним, конечно, она хотела убить его. Каждая жена хочет убить мужа. Она ждала завещания. Напиши он его, он лежал бы сейчас мертвым вместо нее. Вот сколько коварства в человеке, нет, в бабе, не надо быть несправедливым. Он ненавидит ее даже теперь. Он разведется с ней. Это удастся, хотя она и мертва. Под его фамилией она не будет похоронена. Никто не должен знать, что он был женат на ней. Он даст привратнику денег, сколько тот захочет, чтобы молчал. Этот брак может повредить его репутации. Настоящий ученый не позволяет себе таких оплошностей. Конечно, она обманывала его. Каждая жена обманывает мужа. *De mortuis nil nisi bene*¹. Только бы они были мертвы, только бы они были мертвы! Надо посмотреть. Может быть, она просто упала замертво. Это случается и у самых сильных убийц. История знает бесчисленное множество примеров. История гнусна. История вызывает у человека страх. Если она жива, он сделает из нее котлету. Это его полное право. Она лишила его новой библиотеки. Он отомстил бы ей. И вдруг кто-то приходит и убивает ее. Первый камень полагалось бы бросить ему. У него этот камень похитили. Он бросит в нее последний камень. Он должен избить ее. Мертва она или нет. Он должен оплевать ее! Он должен испинать ее ногами, он должен избить ее!

Кин поднялся, пылая яростью. В тот же миг он получил тяжеленную пощечину. Он чуть не сказал убийце: «Тсс!» — из-за трупа, который, возможно, еще не был мертв. Преступница разбушевалась. У нее был голос Терезы. После трех слов он понял, что убийца и труп соединились в одной коже. В сознании своей вины он молчал и позволил жестоко избить себя.

Как только он вышел из дому, Тереза обменяла

¹ О мертвых — ничего, кроме хорошего (*лат.*).

кровати, удалила ширму и перевернула все остальное убранство комнаты вверх тормашками. Во время этой работы, которую она исполняла сияя, она то и дело твердила одно и то же: пускай позлится, пускай позлится! Поскольку в девять он еще не вернулся, она легла в кровать, как полагается порядочному человеку, и стала ждать минуты, когда он зажжет свет, чтобы обрушить на него запас ругани, скопившейся у нее в его отсутствие. Если он не зажжет свет и ляжет к ней в кровать, она подождет ругаться, пока это не кончится. Будучи порядочной женщиной, она рассчитывала на первое. Когда он подкрался и разделся рядом с ней, у нее замерли язык и сердце. Чтобы не забыть о ругани, она решила во время блаженства упорно думать: «Разве это мужчина? Это же не мужчина!» Когда он вдруг упал на нее, она не издала ни звука, боясь, что он уйдет. Он лежал на ней всего лишь несколько мгновений; они показались ей днями. Он не шевелился и был легок как перышко; она почти не дышала. Ее ожидание постепенно перешло в озлобление. Когда он вскочил, она почувствовала, что он уходит от нее. Она стала драться, как одержимая, кроя его отборной бранью.

Побои — это бальзам для природы нравственной, когда она, забывшись, готова совершить преступление. Пока это было не слишком больно, Кин сам бил себя рукою Терезы и ждал имени, которого он заслуживал. Ведь кем он был, если разобьется хорошенько? Осквернителем трупов. Он удивлялся мягкости ее ругательств, ожидая от нее совсем других, и прежде всего того одного, которого он заслуживал. Щадила она его или приберегала эти слова напоследок? На ее общие места ему нечем было отвечать. Как только прозвучит «осквернитель трупов», он утвердительно кивнет и ищет свою вину признанием, которое для такого человека, как он, значит больше, чем какие-то несколько ударов.

Однако этим несколькими ударами конца не было; он начинал находить их излишними. У него болели кости, а она за банальной и грязной руганью не находила времени для «осквернителя трупов». Она приподнялась и отхаживала его то кулаками, то локтями. Она была особа упрямая; лишь через несколько минут, почувствовав легкую усталость в руках, она прервала свой состоявшийся из одних существительных крик полным предложением: «Этого не будет!» — столкнула его с кровати и, сидя на ее краю, колотила его ногами до тех пор, пока руки не отдохнули. Затем она села верхом на

его живот, снова прервала себя, на этот раз возгласом: «Еще не то будет!», и принялась осыпать его оплеухами попеременно слева и справа. Кин постепенно потерял сознание. До этого он забыл о своей вине, которую обязан был искупить. Он жалел, что он такой длинный. Худым бы и маленьким, бормотал он, худым бы и маленьким. Тогда было бы меньше места для побоев. Он сжимался, она промахивалась. Она все еще ругалась? Она ударяла пол, ударяла кровать, он слышал удары о твердое. Она с трудом находила его, он был уже маленький, потому она и ругалась. «Урод!» — кричала она. Как хорошо, что он был им. Он заметно уменьшался, она не находила его, такой он был маленький, он исчезал от самого себя.

Она продолжала бить крепко и метко. Потом, переводя дух, сказала: «Ну, доложу я, надо и отдохнуть», села на кровать и препоручила это дело ногам, которые делали его менее добросовестно. Они работали все медленнее и сами собой остановились вовсе. Как только все ее конечности перестали двигаться, у Терезы иссякли ругательства. Она умолкла. Он не шевелился. Она чувствовала себя совершенно разбитой. За его спокойствием ей виделось особое коварство. Чтобы защитить себя от его козней, она начала угрожать ему: «Я подам в суд. Я этого не потерплю. Муж не должен нападать. Я порядочная. Я женщина. Муж получит десять лет. В газете это называется изнасилование. У меня есть доказательства. Я читаю про всякие процессы. Не смей шевелиться. Врать может любой. Что он, доложу я, делает здесь? Еще одно слово — и я позову привратника. Он должен защитить меня. Женщина одна. Силой может любой. Я подам на развод. Квартира принадлежит мне. Преступнику ничего не достанется. Не надо, доложу я, волноваться. Разве я чего-то хочу? У меня ведь еще все болит. Мужу должно быть стыдно. Он еще и пугает жену. Я могла умереть. То-то было бы у него хлопот. На нем же нет ночной рубахи. Это меня не касается. Он спит без ночной рубахи. Это же сразу видно. Я только рот раскрою, и мне поверит любой. В тюрьму я не уйду. У меня есть господин Пуда. Пусть муж попробует. Ему придется иметь дело с Пудой. С ним никто тягаться не может. Я заранее говорю. И вот она тебе, твоя любовь!»

Кин упорно молчал. Тереза сказала: «Теперь он мертв». Как только это слово было произнесено, она поняла, как сильно она любила его. Она опустилась возле него на колени и стала искать на нем следы своих ударов и пинков. Тут она заметила, что было темно,

встала и зажгла свет. Уже в трех шагах от него она увидела, что тело его сплошь в беспорядке. «Ему же, наверно, стыдно, бедняге» — сказала она; ее голос выдавал сострадание. Она сняла простыню с собственной кровати — она чуть не отдала рубашку с себя — и тщательно закутала его. «Теперь не видно», — сказала она и нежно, как ребенка, взяла его на руки. Она отнесла его на свою кровать и укрыла тепло и успокоительно. Простыня тоже осталась на нем — «чтобы не простыл». Ей хотелось сесть возле его кровати и поухаживать за ним. Но она отказалась от этого желания, потому что так он спал спокойнее, погасила свет и опять легла спать. Из-за отсутствия простыни она не была в обиде на мужа.

ОКОЧЕНЕНИЕ

Два дня прошли в молчании и полузабытьи. Как только он вполне пришел в себя, он осмелился втайне уразуметь размеры своей беды. Много требовалось побоев, чтобы направить его ум по ее колее. Он получил еще больше. Продлись избиение на десять минут меньше, он был бы готов на любую месть. Наверно, Тереза подозревала такую опасность и потому была до конца. От слабости он ничего не хотел и боялся одного — новых побоев. Когда она приближалась к кровати, он дрожал, как побитая собака.

Она ставила ему миску с кормом на стул возле кровати и сразу же отворачивалась. Он не мог поверить, что ему снова дают есть. Пока он лежал больной, она делала эту глупость. Он придвигался и с грехом пополам слизывал часть ее милостыни. Она слышала его чавканье и чувствовала искушение спросить: «Было ли вкусно?» Она отказывала себе и в этой радости и вознаграждала себя тем, что думала о нищем, которому четырнадцать лет назад что-то дала. У того не было ни ног, ни рук, доложу я, какой уж это был человек. При этом он походил на господина племянника. Она бы все-таки ничего не дала ему; все люди — обманщики; сначала они калеки, а дома они все вдруг выздоравливают. Тут калека скажи: «Как поживает господин супруг?» Это было так умно! Он получил славную десятигрошовую монетку. Она сама ее бросила ему в шляпу. Он же был такой бедный. Она подавать милостыню не любит, вообще она не подает ее. Она делает исключения, и поэтому мужу перепадает какая-то еда.

Кин, нищий, страдал от сильной боли, но кричать он

остерегался. Вместо того чтобы повернуться к стенке, он не спускал глаз с Терезы, следя за ее действиями с подозрительным страхом. Она двигалась тихо и, не смотря на свою грузность, плавно. Или сама комната была причиной тому, что Тереза так внезапно возникала и так же внезапно исчезала опять? Глаза ее злобно сверкали; это были глаза кошки. Когда она хотела что-то сказать и, еще не сказав, сама же перебивала себя, это походило на шипенье и фырканье.

Охотясь на людей, кровожадный тигр облекся в кожу и одежду молодой девушки. Она стояла на улице и плакала и была так красива, что один ученый, проходя мимо, подошел к ней. Она хитро наврала ему, и он из жалости взял ее к себе в дом одной из своих многочисленных жен. Он был очень храбр и спал предпочтительно с ней. Однажды ночью она сбросила с себя девичью кожу и разорвала ему грудь. Она сожрала его сердце и выпрыгнула в окно. Сияющую кожу она оставила на полу. То и другое нашла одна из прежних жен, она завопила во все горло, призывая волшебную силу, которая возвращает мертвецам жизнь. Она опустилась до самого могущественного в той местности человека, безумца, который жил в грязи рыночной площади, и часами валялась у него в ногах. Безумец у всех на виду плевал ей на руку, и она глотала выплюнутое. Она много дней плакала и скорбела, ибо любила мужа и без сердца. Из позора, который она глотала ради него, на теплой почве ее груди выросло новое сердце. Она вложила его в мужа, и он снова вернулся к ней.

В Китае попадают любящие женщины. В библиотеке Кина есть только тигр. Но он не блещет ни молодостью, ни красотой и вместо сияющей кожи носит накрахмаленную юбку. Для нее сердце ученого менее важно, чем его кости. Самый злой китайский дух ведет себя благороднее, чем реальная Тереза. Ах, если бы она была только духом, она не смогла бы избить его. Ему хотелось вылезти из *своей* кожи и оставить ее Терезе для битья. Его костям нужен покой, его кости должны отдохнуть, без костей науке конец. Отдубасила ли она и собственную постель, как его? Пол под ее кулаками не провалился. Этот дом многое повидал на своем веку. Он стар и, как все старое, построен хорошо и крепко. Она сама может служить примером тому. Надо только посмотреть на нее беспристрастно. Поскольку она тигр, ее работоспособность превосходит работоспособность любой другой женщины. Она могла бы потягаться с привратником.

Иногда он во сне толкал ее в юбку до тех пор, пока Тереза не падала. Он стягивал с нее юбку за подол. Под рукой вдруг оказывались ножницы, и он разрезал юбку на мельчайшие части. На это у него уходило много времени. Разрезав юбку, он находил эти части слишком большими; она, чего доброго, опять их сошьет. Поэтому он даже не поднимал глаз и начинал работу заново; каждый лоскут разрезался на четыре части. Затем он высыпал на Терезу мешок маленьких синих лоскутков. Как попадали лоскутья в мешок? Ветер сдувал их с нее на него, они приставали к нему, он чувствовал их, эти синяки на всем теле, и громко стонал.

Тереза подкрадывалась к нему и спрашивала: «Стонать не дело, в чем дело?» Она опять становилась синей. Часть шишек все-таки оставалась на ней. Странно, ему казалось, что они все на нем одном. Но он больше не стонал. Этим ответом она удовлетворялась. Ей почему-то приходила на память собака последних ее хозяев. Та ложилась еще до того, как что-либо приказывали. Так и надо было.

За несколько дней уход за ним, заключавшийся в миске с кормом на весь день, извел Кина не меньше, чем боль в его исколоченном теле. Он чувствовал недоверие Терезы, когда она приближалась к нему. Уже на четвертый день она не пожелала его кормить. Лежать может любой. Она проверила его тело, для простоты через одеяло, и решила, что он скоро поправится. Он ведь не корчился. Кто не корчится, у того ничего не болит. Тот пусть встает, для того незачем готовить еду. Она бы просто приказала ему: «Вставай!» Но какой-то страх сказал ей, что он может вдруг вскочить, сорвать с себя одеяла и простыни и оказаться сплошь в синяках, как бы по ее вине. Чтобы избежать этого, она промолчала, а на следующий день принесла миску наполненной только наполовину. Кроме того, она нарочно приготовила еду скверно. Кин заметил перемену не в еде, а в Терезе. Он неверно истолковал ее испытующие взгляды и испугался новых побоев. В кровати он был беззащитен. Здесь он был распростерт перед ней во всю свою длину; куда бы она ни ударила, в верхнюю или в нижнюю часть его туловища, во что-нибудь да можно было попасть. Только в ширине она могла ошибиться, но этой безопасности ему было мало.

Прошло еще двое суток, прежде чем его страх настолько укрепил волю встать, что он предпринял такую попытку. Его чувство времени никогда не изме-

няло ему, в любое время он помнил, который теперь час, и, чтобы одним махом восстановить порядок полностью, он поднялся однажды утром с кровати ровно в шесть. В голове у него трещало, как в сухом лесу. Скелет расшатался, его трудно было удерживать на ногах. Умно наклоняясь в соответственно противоположную сторону, удавалось избегать падения. Жонглируя собой, он постепенно влез в одежду, которую извлек из-под кровати. Каждая новая оболочка вызывала ликование, она утолщала его броню, служила важной защитой. Движения, проделываемые, чтобы сохранить равновесие, походили на глубокомысленный танец. Терзаемый бесенятами-болями, но ушедший от смерти—большого беса, Кин, танцуя, одолел путь к письменному столу. Там, слегка одурев от волнения, он сел и еще немного поболтал руками и ногами, пока они не успокоились и к ним не вернулась прежняя покорность.

С тех пор как ей стало нечего делать, Тереза спала до девяти. Она была хозяйкой в доме, а те часто спят и дольше. Это слуги должны быть в шесть на ногах. Но ей не спалось по утрам, а как только она просыпалась, ей не давала покоя тоска по ее имуществу. Ей приходилось одеваться, чтобы почувствовать плоть давящую твердость ключей. Поэтому, когда муж слег после побоев, она нашла остроумное решение. Она стала ложиться в девять и клала ключи между грудями. До двух часов она следила за тем, чтобы не уснуть. В два она вставала и прятала ключи в юбку. Там их никто не мог найти. Затем она засыпала. От долгого бодрствования она теперь так уставала, что просыпалась лишь в девять—в точности как то водится у господ. Так чего-то достигаешь, а слуги остаются ни с чем.

Вот почему Кин выполнил свое намерение незаметно для нее. Сидя за письменным столом, он мог держать в поле зрения ее кровать. Он хранил ее сон, как нечто драгоценное, и сотни раз за три часа пугался до смерти. Она обладала счастливым даром распускаться во сне. Когда ей снилось что-нибудь хорошее, она рыгала и выпускала ветры. Одновременно она говорила: «Разве так можно?», имея в виду что-то, о чем знала только она. Кин относил это к себе. Ее переживания бросали ее с одного бока на другой; кровать громко стонала, Кин тоже стонал. Иногда она скалила зубы с закрытыми глазами; Кин готов был заплакать. Если она скалила зубы сильнее, казалось, будто она воеет; тогда на Кина напал смех. Если бы он не научился быть осторожнее, он и на самом деле смеялся бы. С удивлением услышал он, как она зовет Будду. Он

не поверил своим ушам; но она повторяла: «Пуда! Пуда!»—словно бы плача, и он понял, что означает «Пуда» на ее языке.

Когда она вынимала руку из-под одеяла, он вздрагивал. Но она не дралась, а только сжимала руку в кулак. Почему, что я сделал?—спрашивал он себя и отвечал себе: она-то уж знает. Он питал искреннее уважение к ее чутью. Его преступление, за которое она так жестоко наказала его, было более чем искуплено, но забыто не было. Тереза хваталась за место, где обычно хранились ключи. Толстое одеяло она принимала за юбку и ключи находила, хотя их там не было. Ее рука тяжело опускалась на них, перебирала их, играла с ними, держала их поодиночке между пальцами и от радости покрывалась большими, блестящими каплями пота. Кин краснел, он не понимал—почему. Ее жирную руку облегал узкий, туго натянутый рукав. Кружева, которыми он был оторочен, предназначались для мужа, спавшего в этой же комнате. Они казались Кину очень измятыми. Он тихо произнес это слово, которое томило его. Он услышал «измяты». Кто говорил? Он мгновенно поднял голову и снова направил взгляд на Терезу. Кто еще знает, как он измят, как раздавлен? Она спала. Он не поверил ее закрытым глазам и, затаив дыхание, стал ждать второй реплики. «Как можно быть таким отчаянным? — подумал он. — Она не спит, а я нагло смотрю ей в лицо!» Он запретил себе этот единственный способ узнать, насколько близка опасность, и опустил ресницы, как посрамленный мальчишка. С широко разинутыми ушами — так казалось ему — он ждал, что сейчас на него посыплется дикая ругань. Вместо нее он слышал ровное дыхание. Значит, она опять спала. Через четверть часа он подкрался к ней глазами, готовый в любой миг пуститься в бегство. Он показался себе хитрецом и позволил себе одну гордую мысль. Будто он Давид и караулит спящего Голиафа. Того ведь в общем-то можно назвать глупцом. В первом бою Давид, правда, не победил; но он избежал смертельных ударов Голиафа, а насчет будущего кто может сказать что-либо определенное?

Будущее, будущее, как ему перейти в будущее? Пусть пройдет настоящее, тогда оно будет бессильно против него. Ах, если бы можно было вычеркнуть настоящее! Вся беда в том, что мы слишком мало живем в будущем. Какое значение будут иметь через сто лет побои, которые ему достаются сегодня? Пусть пройдет настоящее, и мы перестанем замечать синяки. Во всякой боли повинно настоящее. Он тоскует о

будущем, потому что тогда будет на свете больше прошлого. Прошлое доброе, оно никого не обижает, двадцать лет он свободно двигался в нем, он был счастлив. Кто чувствует себя счастливым в настоящем? Да, если бы у нас не было чувств, настоящее тоже можно было бы вынести. Мы жили бы тогда воспоминаниями — значит, все-таки в прошлом. Вначале было слово, но оно было, — значит, прошлое было раньше слова. Он склоняется перед первенством прошлого. У католической церкви много положительных сторон, но для него в ней слишком мало прошлого. Две тысячи лет, часть из них — вымысел, — что это по сравнению с традициями вдвое и втрое большей длительности? Католического священника переплюнет любая египетская мумия. Поскольку она мертва, он считает себя выше ее. Но пирамиды отнюдь не мертвее собора святого Петра, наоборот, живее, потому что старше. Однако римляне думают, что они сыты прошлым по горло. Они отказывают своим предкам в почтении. Это богохульство. Бог — это прошлое. Он верит в бога. Придет время, когда люди перекуют свои чувства в воспоминания, а все времена — в прошлое. Придет время, когда одно-единственное прошлое охватит все человечество, когда ничего не будет, кроме прошлого, когда каждый будет веровать в прошлое.

Кин мысленно опустил на колени и помолился в беде богу будущего — прошлому. Он давно разучился молиться; но перед этим богом он вспомнил, как молятся. Под конец он попросил прощения за то, что не стал на колени и в самом деле. Но он же знает: *à la guerre comme à la guerre*, ему же незачем говорить это дважды. Это-то в нем и поразительно, это-то в нем и действительно божественно, что он сразу же все понимает. Бог Библии, по сути, жалкий невежда. Многие скромные китайские боги гораздо начитаннее. Он, Кин, может рассказать о десяти заповедях такое, что у прошлого волосы дыбом встанут. Но он, бог, и так ведь знает все лучше. Впрочем, он, Кин, позволит себе освободить его, бога, от смехотворного женского рода, который ему навязали немцы. Если самое лучшее в них, свои отвлеченные мысли, немцы снабжают артиклем женского рода¹, то это одна из тех непонятных варварских выходов, которыми они сводят на нет свои заслуги. В будущем все, что касается его, бога,

¹ По-немецки слово «прошлое» («die Vergangenheit»), как вообще все существительные с суффиксом «heit», обозначающие обычно отвлеченные понятия, женского рода.

он, Кин, освятит мужскими окончаниями. Средний род для бога слишком ребячлив. Как филолог, он вполне отдает себе отчет в том, какую ненависть навлечет на себя этим поступком. Но в конце концов, язык создан для человека, а не человек для языка. Поэтому он, Кин, просит, чтобы *он*, прошлое, дал согласие на это изменение.

Ведя переговоры с богом, он постепенно возвратился на свой наблюдательный пост. Тереза была незабываема; даже молясь, он не мог целиком избавиться от нее. Она храпела толчками, которые определяли ритм его молитвы. Ее движения становились все резче, в том, что она скоро проснется, не оставалось сомнений. Он сравнил ее с богом и нашел ее ничтожной. Ей недоставало именно прошлого. У нее не было никакого происхождения, и она ничего не знала. Несчастливая безбожница! И Кин подумал, не умнее ли всего уснуть. Может быть, тогда она станет ждать, чтобы он проснулся, а тем временем пройдет ее первая злость по поводу его самовольного появления за письменным столом.

Тут Тереза мощным рывком стряхивает свое тело с кровати на пол. Раздается громкий шлепок, Кин дрожит всем скелетом. Куда? Она видела его! Она придет! Она убьет его! Он обыскивает время, ища укрытия. Он обегает историю, взад-вперед, век за веком. Лучшие крепости не спасут от орудий. Рыцари? Вздор... швейцарские бердыши... нарезные ружья англичан раскроют нам доспехи и черепа. Швейцарцев наголову разобьют при Мариньяно. Только не ландскнехты... только не наемники... идет армия фанатиков... Густав Адольф... Кромвель — вырежут всех. Назад из нового времени... назад из средневековья... в фаланту... римляне прорвут ее... индийские слоны... огненные стрелы... все в панике... куда... на корабль... греческий огонь... в Америку... Мексику... жертвоприношение людей... нас заколют... Китай, Китай... монголы... пирамиды из черепов: в долю мгновения он исчерпал свой запас истории. Нигде нет спасения, все гибнет, куда ни сунешься, враги находят тебя, карточными домиками рушатся любимые культуры, не уйти от разбойников-варваров, от глупцов твердолобых.

Тут Кин *окоченел*.

Он крепко стиснул тощие ноги. Его правая рука, сжавшись в кулак, легла на колено. Предплечье и бедро держали друг друга в неподвижности.левой рукой он подпер грудь. Голова приподнялась. Глаза уставились вдаль. Он попытался закрыть их. По их

неповиновению он понял, что он — египетский жрец из гранита. Он застыл в статую. История не покинула его. В древнем Египте он нашел надежное убежище. Пока история на его стороне, убить его нельзя.

Тереза обращалась с ним как с воздухом, как с камнем, поправился он. Его страх медленно уступал острому чувству покоя. Камня она остережется. Кто так глуп, чтобы ранить себе руку о камень? Он вспомнил об остриях своего тела. Камень хорош, каменные острия лучше. Его глаза, устремленные, казалось, в бесконечность, изучали собственную фигуру в деталях. Он пожалел, что так мало знал себя. Его представление о своем теле было скудным. Ему захотелось, чтобы на письменном столе у него было зеркало. В коже одежды ему было бы уютнее. Но из любопытельности он разделся бы догола и совершил бы подробный осмотр, обследовав и настропавлив каждую косточку. О, у него были всяческие догадки насчет тайных углов, твердых, острых концов и ребер! Его синяки заменяли ему зеркало. Эта баба не испытывала никакой робости перед ученым. Она осмелилась дотронуться до него, словно он обыкновенный человек. Ее карал он, превращая себя в камень. Твердость камня разбивала в прах ее планы.

Теперь каждый день повторялась одна и та же игра. Жизнь Кина, распавшаяся под кулаками жены, оторванная ее да и его собственной жадностью от новых и старых книг, приобрела настоящую цель. Утром он вставал на три часа раньше, чем она. Это самое тихое время он мог бы использовать для работы. Он так и поступал, но то, что он прежде понимал под работой, далеко отодвинулось, было отложено на лучшее будущее. Он собирал силы, нужные ему, чтобы вершить свое искусство. Без праздности не бывает искусства. Непосредственно после сна редко добиваешься совершенства. Надо расслабиться; приступать к творчеству надо свободно и непринужденно. Поэтому почти три часа Кин проводил за письменным столом в праздности. Он позволял себе думать о чем угодно, следя, однако, за тем, чтобы это не очень отдаляло его от его предмета. Затем, когда часовая стрелка в его мозгу (этот последний остаток опутывавшей время учености) была тревогу, подходя к девяти, он начинал медленно коченеть. Он чувствовал, как по его телу распространяется холод, и оценивал равномерность его распределения. Бывали дни, когда левая сторона охлаждалась быстрее, чем правая; это приводило его в серьезное беспокойство. «Туда!» — приказывал он, и токи тепла,

посланные справа, исправляли ошибку на левой половине. Его мастерство окаменения росло изо дня в день. Как только он достигал состояния камня, он проверял твердость материала, слегка нажимая бедрами на сиденье стула. Эта проверка на твердость продолжалась лишь несколько секунд, от более длительного нажима стул развалился бы. Боясь за его судьбу, он и стул позднее превратил в камень. Падение среди бела дня, в присутствии жены, унизило бы окаменелость, сделало бы ее смешной и огорчило бы его донельзя. Гранит тяжел. Впрочем, проверка эта становилась постепенно излишней благодаря верному чувству твердости.

С девяти часов утра до семи часов вечера Кин пребывал в своей беспримерной позиции. На столе лежала раскрытая книга, всегда одна и та же. Он не достаивал ее и взгляда. Его глаза были заняты исключительно далью. У жены хватало ума не мешать ему во время его номера. Она усердно двигалась по комнате. Он понял, до какой степени стало ее второй натурой хозяйничанье, и подавлял неуместную усмешку. Монументальную фигуру из древнего Египта она обходила стороной, держась от нее подальше. Она не подступалась к ней ни с едой, ни с бранью. Кин запретил себе голод и другие телесные затруднения. В семь он пропускал через камень тепло и дыханье, от которых тот быстро оживал. Кин дожидался, чтобы Тереза оказалась в самом дальнем углу комнаты. У него было безошибочное чувство расстояния от нее. Потом он вскакивал и быстро уходил из дому. Единственный раз в день принимая пищу в гостинице, он от усталости почти засыпал. Он рассуждал о трудностях истекшего дня и, когда у него появлялась какая-нибудь хорошая идея для завтрашнего, одобрительно кивал головой. Каждого, кто осмелился бы стать такой же статуей, он вызывал на состязание. Никто не объявлялся. В девять он лежал в кровати и спал.

Тереза тоже постепенно привыкла к стесненным условиям. Она свободно распоряжалась в своей новой комнате, где ей никто не мешал. По утрам, прежде чем надеть чулки и башмаки, она нежно гладила ногами ковер. Он был лучшим во всей квартире, пятен от крови уже не было видно. Ее старым мозолям было приятно, когда их шекотал ковер. Пока она прикасалась к нему, в голове у нее мелькали картины сплошь прекрасные. Отрывал ее от них муж, который ничего ей не разрешал.

Кин дошел в своем тихом существовании до такой виртуозности, что даже стул, на котором он сидел,

старый, своенравный предмет, скрипел лишь изредка. Эти три-четыре раза за день, когда среди тишины стул тем заметнее напоминал о себе, были Кину крайне неприятны. Он считал их первыми признаками утомления и потому старательно пропускал их мимо ушей.

Тереза при скрипе сразу же чувствовала какую-то опасность, поспешно скользила к башмакам и чулкам, надевала их и продолжала череду мыслей предыдущего дня. Ей приходили на ум большие заботы, мучившие ее непрестанно. Она оставила мужа в доме только из жалости. Его кровать занимает ведь мало места. Ей нужны ключи от письменного стола. Там-то и лежит его банковская книжечка. Пока она не получит банковскую книжку с остатком, она разрешит ему еще день-другой пожить под ее кровом. Может быть, он вдруг вспомнит об этом и устыдится, потому что всегда вел себя с ней так подло. Когда что-нибудь около него шевелилось, она начинала сомневаться в успешном захвате банковской книжки, в котором вообще-то была уверена. Со стороны деревяшки, какой он был большую часть времени, она сопротивления не опасалась. От живого мужа она ждала самого худшего, даже похищения ее банковской книжки.

К вечеру его и ее напряжение изрядно усиливалось. Он собирал последние силы, чтобы не потеплеть слишком рано. Она свирепела при мысли, что сейчас он снова отправится в ресторан, где будет жрать и пить на ее деньги, заработанные тяжелым трудом, хотя от них и так-то почти ничего не осталось! Долго ли еще он будет кутить, не принося денег в дом?

У человека есть сердце. Разве она камень? Надо спасти бедное состояние. Преступники зарятся на него, как бешеные, каждый хочет что-то урвать. Стыда у них нет. Она женщина беззащитная. Муж, вместо того чтобы помочь ей, пьет. Он уже ни на что не годен. Раньше он исписывал целые листы бумаги, они для нее те же деньги. Теперь он и для этого слишком ленив. У нее богадельня, что ли? Пусть отправляется в дом призрения. Дармоеды ей не нужны. Он еще доведет ее до сумы. Пусть лучше побирается сам. Спасибо за такое удовольствие. Ему никто ничего не подаст на улице. На вид-то он нищий, но сумеет ли он просить как следует? Да он и не подумает об этом. Что ж, доложу я, он умрет с голоду. Посмотрим, каково ему придется, когда кончится ее доброта. Ее покойная мать тоже умерла с голоду, а теперь умрет с голоду ее муж!

Каждый день ее злость взбиралась еще на одну ступеньку. Она взвешивала свою злость, чтобы опреде-

лить, хватит ли ее для решительного поступка, и находила ее слишком легкой. Осторожности, с какой она приступала к делу, было равно только ее упорство. Она говорила себе: сегодня моя злость слишком бедна (сегодня мне с ним еще не справиться) — и тут же обрывала свою злость, чтобы оставить себе что-то на завтра.

Однажды вечером, когда Тереза, положив в огонь свои железные аргументы, успела достичь лишь средней температуры, стул Кина скрипнул три раза подряд. Этой наглости ей и недоставало. Она швырнула его, длинную деревяшку, а заодно и стул, от которого он был неотъемлем, в огонь. Огонь с треском запылал, яростный жар объял железные доводы. Она вынула их руками — раскаленного железа она не боялась, она как раз и ждала, чтобы оно раскалилось, — вынула все подряд, весь набор их названий: нищих, пьяниц, преступников — и двинулась с ними к письменному столу. Даже сейчас она готова была к сделке. Если он добровольно отдаст ей банковскую книжку, она выбросит его на улицу лишь погодя. Он не должен ничего говорить, тогда и она ничего не скажет. Пусть он остается, пока она не найдет книжку. Пусть только позволит ей поискать, она доведет дело до конца.

Как только его стул скрипнул три раза, Кин с чуткостью статуи догадался, какому испытанию подвергается его искусство. Он слышал, как приближается Тереза. Он подавил в себе радостное волнение, оно повредило бы его холодности. Он упражнялся в течение трех недель. Вот и пришел день, когда все откроется. Сейчас обнаружится совершенство его фигуры. Он был уверен в нем, как ни один художник до него. Перед атакой он быстро прогнал по телу немного лишнего холода. Он прижал подошвы ног к полу: они были тверды, как камень, степень твердости 10, алмаз, острейшие, режущие края. Языком, в отдалении от удара, он попробовал на вкус толику каменной муки, которую уготовил этой бабе.

Тереза схватила его за ножки стула и тяжело отодвинула в сторону. Она отпустила стул, подошла к письменному столу и вытянула один ящик. Она обыскала этот ящик и, ничего не найдя, принялась за следующий. В третьем, четвертом и пятом она также не нашла того, чего искала. Он понял: военная хитрость. Она вовсе не ищет, что она может искать? Рукописи для нее все одинаковы, бумагу она нашла бы и в первом ящике. Она делает ставку на его любопытство. Он, мол, наверно, спросит, что она делает. Если он

заговорит, он перестанет быть камнем, и она убьет его. Она выманивает его из камня. Она потрошит письменный стол. Но он сохранял хладнокровие и не издавал ни малейшего звука. Она безжалостно ворошила бумаги. Большую часть, вместо того чтобы разобрать их, она оставляла на столе. Множество листков упало на пол. Он хорошо знал их содержание. Другие она неверно складывала вместе. С его рукописями она обращалась как с ветошью. Пальцы у нее были грубые и выдержали бы пытку тисками. В письменном столе находились труды и терпение десятилетий.

Ее наглая хлопотливость возмущала его. Она не смеет так обходиться с бумагами. Какое ему дело до ее военной хитрости? Эти заметки понадобятся ему впоследствии. Работа ждет его. Если бы можно было начать ее сейчас же! Он не рожден быть артистом. Его искусство стоит ему немало времени. Он ученый. Когда настанут лучшие времена? Его искусство—это переходный период. Он теряет целые недели. Как долго уже занимается он искусством? Двадцать, нет, десять, нет, пять недель, он сам не знает. Время запуталось. Она пачкает его последнюю статью. Месть его будет ужасна. Он боится забыться. Она уже вскидывает голову. Она осыпает его злобными взглядами. Она ненавидит его каменное спокойствие. Но ему беспокойно, он этого не выдержит, он хочет мира, он предложит ей перемирие, пусть она уберет свои пальцы, ее пальцы разорвут на части его бумаги, его глаза, его мозг, пусть закроет ящики, прочь от письменного стола, прочь от стола, это его место, он этого не потерпит, он раздавит ее—если бы он мог говорить, камень нем.

Юбкой она отпихивает пустые ящики назад, в стол. Рукописи на полу она топчет ногами. Она плюет на все, что лежит сверху. В остервенении она разбрасывает содержимое последнего ящика. Бессильный шелест бумаги прожигает его до мозга костей. Он подавит в себе жар, он поднимется холодным камнем, он разобьет ее о себя. Он соберет ее куски и растопчет эти куски в порошок. Он обрушится на нее, ворвется в нее страшной мукой египетской. Он схватит себя, скрижаль десяти заповедей, и побьет ею свой народ. Его народ забыл наказ бога. Бог могуч, и Моисей поднимет карающую десницу. Кто обладает твердостью бога? Кто обладает холодностью бога?

Вдруг Кин поднимается и тяжело падает на Терезу. Он остается нем, губы он зажимает себе зубами, как щипцами; если он заговорит, он не будет камнем, зубы его глубоко впиваются в язык.

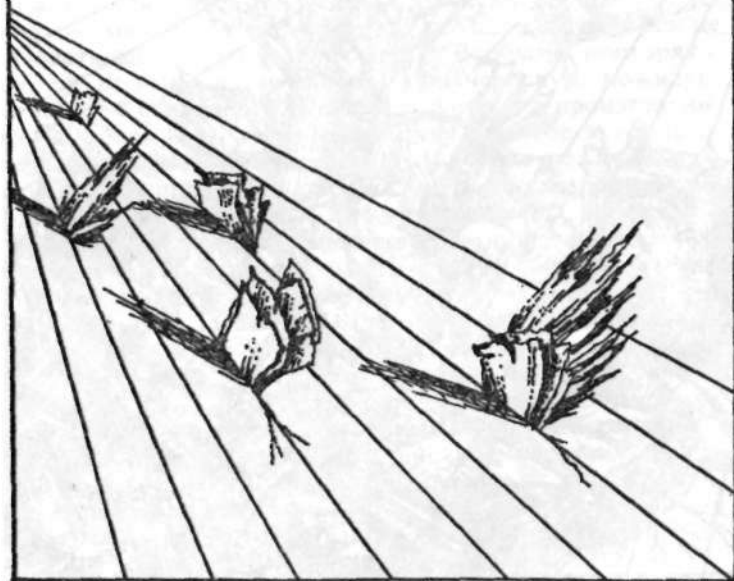
— Где банковская книжка?—громко кричит Тереза, перед тем как она разобьется на части. — Где книжка? Пьяница... преступник... вор!

Она искала банковскую книжку. Он усмехается по поводу ее последних слов.

Но они не последние. Она хватает его голову и толкает его к письменному столу. Она ударяет его локтями между ребрами. Она кричит: «Вон из моей квартиры!» Она плюется, она плюет ему в лицо. Он все чувствует. Ему больно. Он не камень. Поскольку она не разбивается, разбивается его искусство. Все ложь, на свете нет веры. Нет бога. Он увертывается. Он защищается. Он дает сдачи. Его удар попадает в цель, у него острые кости. «Я донесу! Воров—в тюрьму! Вон из моей квартиры!» Она дергает его за ноги, чтобы он упал. На полу-то уж она потешится, как в тот раз. Это не удастся ей, он сильный. Тогда она хватает его за шиворот и вытаскивает из квартиры. Она с грохотом захлопывает за ним дверь. На площадке он позволяет себе упасть. Он все-таки устал. Дверь открывается снова. Тереза выбрасывает его пальто, шляпу и портфель. «Не смей больше попрошайничать!»—кричит она и исчезает. Портфель она отдаст, потому что в нем ничего нет. Все книги у нее в квартире.

Банковская книжка у него в кармане. Он счастливо прижимает ее к себе, хотя это книжка банковская. Она не подозревает, что уходит от нее вместе с этим нищим. Где такой вор, доложу я, чтобы его преступление было всегда при нем?

Часть вторая
БЕЗГОЛОВЫЙ МИР





«У ИДЕАЛЬНОГО НЕБА»

С тех пор как Кина выдворили из его квартиры, он был завален работой. Целыми днями он упорно ходил по городу размеренным шагом. С самого утра он бывал уже на своих длинных ногах. В полдень он не позволял себе ни поесть, ни передохнуть. Чтобы рассчитать силы, он разделил поле своей деятельности на районы, которых строго придерживался. В портфеле он носил гигантский план города, в масштабе 1:5000, где приветливыми красными кружками были отмечены книжные магазины.

Он входил в магазин и спрашивал самого хозяина. Если тот оказывался в отъезде или отлучился поесть, он довольствовался главным служащим. «Мне срочно нужны для научной работы следующие произведения», — говорил он и прочитывал по записке, которой не существовало, длинный перечень. Чтобы не повторяться, он произносил имена авторов чересчур, пожалуй, отчетливо и медленно. Речь шла о редких произведениях, а невежество таких людей трудно себе и представить. Хотя он читал, он внимательно смотрел искоса на лица, выслушивавшие его. Между заглавиями он делал совсем короткие паузы. Ему нравилось быстро ошарашивать своего визави, еще не вполне оправившегося от какого-нибудь трудного имени, столь же нелегким следующим. Озадаченные физиономии забавляли его. Одни просили: «Минутку!», другие хватались за лоб или за виски, но он спокойно перечислял дальше. Его список охватывал от двух до трех десятков томов. Дома они все у него имелись. Здесь он приобретал их заново. То, что сейчас тяготило его как второй экземпляр, он собирался впоследствии обменять на что-либо другое или продать. Впрочем, его новая деятельность не стоила ему ни гроша. На улице он придумывал списки. В каждом магазине он прочитывал новый.

Закончив чтение, он складывал записку несколькими уверенными движениями, совал ее к остальным в бумажник, с глубоким презрением раскланивался и покидал лавку. Ответа он не дожидался. Что могли ответить ему болваны? Пустьись он в объяснения по поводу нужных ему книг, он опять потерял бы время. А он и так потерял за письменным столом, в окочененье и неподвижности, три полных недели. Чтобы наверстать упущенное, он ходил целыми днями, ходил так ловко, так упорно, так прилежно, что мог быть без всякого тщеславия доволен собой, и он был собою очень доволен.

Люди, с которыми его сталкивала его специальность, вели себя, в зависимости от настроения и темперамента, по-разному. Некоторые, их было немного, раздражались, потому что им не удавалось вставить слово, большинство было счастливо слушать его. По его виду и речи чувствовалось, как огромны его знания. Одна его фраза стоила содержимого битком набитых лавок. Ее значение редко понимали в полной мере. А то бы все эти бедные дураки бросили свою работу, столпились бы вокруг него, наострили уши и слушали, пока бы у них не лопнули барабанные перепонки. Когда еще встретится им такой кладезь учености? Обычно лишь единицы пользовались случаем послушать его. Перед ним робели, как перед всеми великими, он был для них чем-то слишком чужим и далеким, и их смущение, на которое он решил не обращать внимания, волновало его до глубины души. После того как он поворачивался к ним спиной, весь остаток дня только и было разговоров что о нем и об его списках. В сущности, владельцы и персонал книжных лавок исполняли роль его личных служащих. Он дарил им счастье быть коллективно упомянутыми в его биографии. В общем-то, они вели себя неплохо, восхищались им и снабжали его всем, что ему требовалось. Они догадывались, кто он, и по крайней мере у них хватало силы молчать при нем. Ибо второй раз он в один и тот же магазин не входил. Когда это с ним однажды по ошибке случилось, они его выставили. Они были сыты им по горло, его вид их угнетал, и они освободили себя от него. Сочувствуя их ущемленности, он купил себе тогда план города с упомянутыми красными кружками. В кружки обследованных магазинов он вписывал крестики, для него эти книжные лавки переставали существовать.

Вообще-то его хлопоты имели важную цель. С того момента, как он очутился на улице, его интересовали

только его оставшиеся дома статьи. Он намеревался закончить их; без библиотеки это было невозможно. Поэтому он размышлял и определял, что из специальной литературы нужно для этого. Его списки возникали по необходимости, произвол и прихоти он исключал, он позволял себе приобретать заново лишь те книги, которые были безусловно нужны для его работы. Определенные обстоятельства вынудили его временно держать запертой библиотеку у него дома. Он с виду подчинился им, но он перехитрил судьбу. Он не уступил ни пяди своей науки. Он скупал то, что ему нужно было, через несколько недель он снова сядет за работу, его способ борьбы был великодушен и соответствовал определенным обстоятельствам, его нельзя было победить, на воле он расправил свои умные крылья, он рос с числом самовластных дней, и то, что у него исподволь скапливалась небольшая новая библиотека в несколько тысяч томов, было для него достаточным вознаграждением за все усилия. Он даже боялся, что она разрастется чрезмерно. Каждый день он ночевал в другой гостинице. Как же ему таскать с собой увеличивающийся груз? Обладая нерушимой памятью, он носил всю новую библиотеку в голове. Портфель оставался пуст.

Вечером, после закрытия магазинов, он замечал, что устал, и, выйдя из последней книжной лавки, направлялся в ближайшую гостиницу. Отсутствием ручной клади и потертым костюмом он вызывал недоверие портье. Собираясь с треском выпроводить его и предвкушая это, они позволяли ему произнести две-три фразы. Ему нужна большая и спокойная комната на ночь. Если такую можно получить лишь поблизости от женщин, детей или черни, он просит сказать ему это сразу, ибо тогда он откажется от нее. При слове «чернь» портье чувствовали себя обезоруженными. Прежде чем ему отводили комнату, он вынимал бумажник и заявлял, что платит вперед. Поскольку он снял свой капитал с банковской книжки, бумажник был туго набит внушительными купюрами. Ради них портье оголяли те уголки глаз, которых никому больше, даже проезжим превосходительствам или американцам, видеть не доводилось. Своим точным, стройным угловатым почерком он заполнял регистрационный бланк. В графе «род занятий» он писал «владелец библиотеки». Вопрос о семейном положении он игнорировал; он не был ни холост, ни женат, ни разведен и намекал на это кривым прочерком. Он давал портье невероятные чаевые — до 50% цены номера. Расплачиваясь, он каждый

раз радовался, что его банковская книжка не досталась Терезе. Восторженные поклоны были ему к лицу, он принимал их не поведя и бровью, как лорд. Вопреки своему обыкновению — технические удобства были ему ненавистны — он пользовался лифтом, потому что по вечерам, при его усталости, библиотека в голове была тяжким грузом. Еду он приказывал подать в номер, это была его единственная за день трапеза. Затем, чтобы немного передохнуть, он выгружал библиотеку и осматривался, определяя, поместится ли она и в самом деле.

Вначале, когда его свобода была еще молода, он не придавал особого значения тому, каков его номер, ведь ему надо было только переночевать, а книги он размещал на диване. Позднее он стал загружать и шкаф. Вскоре библиотека переросла оба хранилища. Чтобы использовать грязный ковер, он звонком вызывал горничную и просил принести десять листов чистой оберточной бумаги. Он расстилал их по ковру и по всему полу; поскольку потом еще кое-что оставалось, он покрывал ими диван и выстилал шкаф. Так на некоторое время у него вошло в привычку ежевечерне заказывать помимо еды оберточную бумагу; старую бумагу он по утрам оставлял на месте. Книги громоздились все выше и выше, но даже падая они не пачкались, потому что все было устлано бумагой. Если он по ночам иногда просыпался в тревоге, значит, он определенно слышал шум как бы от падения книг.

Как-то вечером эти башни показались даже ему слишком высокими; у него уже было поразительно много новых книг. Тут он потребовал лесенку. На вопрос, зачем она ему, он ответил, отрезав: «Это не ваше дело!» Горничная оказалась несколько пугливого нрава. Случившаяся незадолго до того кража со взломом чуть не лишила ее места. Она побежала к портье и взволнованно сообщила ему, чего требует постоялец из номера 39. Портье, человек хорошо разбиравшийся в характерах и людях, понял, к чему обязывают его чаевые, хотя он их уже получил.

— Идите спать, лапочка, — осклабился он, — этого бандита я возьму на себя!

Она не тронулась с места.

— Он наводит на меня жуть, — сказала она испуганно, — он похож на тополь. Сперва ему понадобилась оберточная бумага, а теперь лесенка. Вся комната завалена оберточной бумагой.

— Оберточной бумагой? — спросил портье, эта но-

вость произвела на него отличное впечатление. Ведь только благородные люди доводят уход за собой до крайности.

— А чем же еще! — сказала она гордо, он слушал ее.

— Знаете, кто этот господин? — спросил он. Даже в разговоре со служащей он не сказал «этот тип», а сказал «этот господин». — Он владелец придворной библиотеки!

Каждый слог такого великолепного рода занятий он отчеканил как догмат веры. Чтобы заткнуть девушке рот, он по собственному почину прибавил слово «придворной». И он понял, *сколько* благороден должен быть этот господин наверху, если, заполняя бланк, опустил слово «придворной».

— Но двора-то уж нет.

— А придворная библиотека есть! Что за глупость! Думаете, люди сожрали книги?

Девушка промолчала. Ей хотелось позлить его, потому что он был такой сильный. Он смотрел на нее, только когда злился. Из-за каждого пустяка она прибегала к нему. Несколько мгновений он терпел ее присутствие. Когда он свирепел, его следовало остерегаться. Его злость давала ей силу. Она радостно принесла Кину лесенку. Она могла бы попросить об этом коридорного, но она сделала это сама, она хотела повиноваться портье. Она спросила господина владельца придворной библиотеки, может ли она помочь ему. Он сказал:

— Да, немедленно выйдя из комнаты!

Затем он заперся, не доверяя этой назойливой особе, заткнул бумагой замочную скважину, осторожно поставил лесенку между башнями из книг и влез на нее. Пакет за пакетом, уложенные по спискам, он вынимал из своей головы и заполнял ими комнату до потолка. Несмотря на тяжесть, он сохранял на лесенке равновесие, он казался себе акробатом. С тех пор, как он стал сам себе хозяином, он с трудностями справлялся играючи. Он как раз кончил, когда в дверь ласково постучали. Он рассердился, потому что это мешало ему. После опыта с Терезой он ужасно боялся показывать свои книги профанам. Это была горничная, которая (все еще из преданности портье) скромно попросила вернуть лесенку.

— Не станут же господин владелец придворной библиотеки спать с лестницей в номере!

Ее усердие было искренне; она смотрела на этот жуткий тополь с любопытством, любовью и завистью,

желая себе, чтобы портье был и к ней так же внимателен.

Ее речь напомнила Кину Терезу. Будь это она, он испугался бы ее. Но поскольку горничная только напомнила ему Терезу, он закричал:

— Лестница останется здесь! Я буду спать с лестницей!

Боже, до чего благородный человек, подумала девушка и испуганно удалилась. Настолько благородным, что вообще ничего нельзя было больше сказать, она его все-таки до сих пор не считала.

А он сделал из этого происшествия выводы. Баб, будь то экономки, жены или горничные, надо избегать при всех обстоятельствах. Отныне он будет требовать такие большие комнаты, что лестницы вообще не понадобятся, а оберточную бумагу он будет носить с собою в портфеле. Официант, которого он вызвал звонком, чтобы заказать ужин, был, к счастью, мужчиной.

Почувствовав в голове облегчение, он лег в постель. Перед тем как заснуть, он сравнил свое прежнее состояние с нынешним положением. И без того мысли его под вечер часто и с радостью возвращались к Терезе, потому что все расходы он покрывал деньгами, которые спас от нее благодаря своей личной храбрости. При денежных делах сразу же возникал ее образ. В течение дня он не имел дела с деньгами, кроме обеда, он отказывал себе и в трамвае, и на то у него имелась причина. Серьезное и великолепное предприятие, которым он был сейчас занят, он не хотел осквернить никакой Терезой. Тереза была мелкой монетой, которую берут в руки. Тереза была словом, которое произносит неграмотный. Тереза была камнем, обременяющим дух человечества. Тереза была воплощенным безумием.

Проведя взаперти с безумной долгие месяцы, он в конце концов потерял способность сопротивляться пагубному влиянию ее недуга и заразился от нее. Жадная до исступления, она передала ему часть своей жадности. Изнурительная тоска по чужим книгам отдалила его от собственных. Он чуть не ограбил ее на миллион, который предположил у нее. Его характеру, постоянно находившемуся в тесном соприкосновении с ней, грозила опасность разбиться о деньги. Но он не разбился. Его тело изобрело защиту. Если бы он продолжал свободно передвигаться по квартире, он безнадежно заболел бы ее болезнью. Поэтому он и устроил ей этот фокус со статуей. Конечно, в настоящий камень он не

мог превратиться. Но достаточно было того, что *она* принимала его за камень. Она боялась этого камня и обходила его стороной. Искусство, с каким он неделями неподвижно сидел на стуле, обескуражило ее. Она и так уже была обескуражена. Но после этого остроумного трюка она вообще уже не знала, кто он такой. У него было время освободиться от нее. Он медленно вылез. Ее влияние на него прекратилось. Почувствовав себя достаточно сильным, он составил план побега. Надо было уйти от нее и все-таки держать ее в своей власти. Чтобы побег удался, она должна была считать, что выгоняет его *она*. Поэтому он спрятал банковскую книжку. Целыми неделями она обыскивала всю квартиру. В том ведь и заключалась ее болезнь, что она непрестанно искала денег. Она нигде не находила банковской книжки. Наконец она осмелилась подступить к письменному столу. Но тут она натолкнулась на него. Ее разочарование разъярило ее. Он увеличивал ее злость до тех пор, пока она в беспамятстве не выставила его из его собственной квартиры. Он вышел, он спасся. Она считала себя победительницей. Он запер ее в квартире. Она наверняка никуда не уйдет, и теперь он был в полной безопасности от ее козней. Правда, он пожертвовал своей квартирой, но на что не пойдешь, чтобы спасти свою жизнь, если эта жизнь принадлежит науке?

Он вытянулся под одеялом, отчего его тело соприкоснулось с довольно большой площадью простыни. Он попросил книги не падать, он устал и хочет наконец отдохнуть. Уже в полусне он пробормотал «спокойной ночи».

Три недели он наслаждался новой свободой. Он использовал их с замечательным прилежанием, и когда они истекли, исчерпал все книжные магазины города. Однажды пополудни перед ним встал вопрос — куда теперь? Начать сначала и обойти прежние, в том же знакомом порядке? Не узнают ли его? Нарываться на оскорбления ему не хотелось. Принадлежит ли его лицо к тем, которые каждый запоминает с первого взгляда? Он подошел к зеркалу какой-то парикмахерской и рассмотрел в нем свои черты. У него были голубые глаза и вообще не было щек. Лоб его был скалой в расщелинах. Нос, головокружительно узкий скалистый гребень, падал отвесно. В самом низу, совсем незаметно, притаились две крошечных черных козьявки. Никто не предположил бы, что это ноздри. Рот был щелкой автомата. Две резкие складки, похожие на искусственные шрамы, тянулись от висков к подбородку и

встречались на его кончике. Из-за них и носа лицо, и без того длинное и узкое, распалось на пять пугающе тесных полос, тесных, но строго симметричных, задержаться тут было негде, и задерживаться Кин не стал. Ибо, увидев себя, — обычно он себя не видел, — он вдруг почувствовал себя очень одиноким. Он решил пойти куда-нибудь, где много людей. Может быть, там он забудет, каким одиноким было его лицо, и, может быть, нападет на мысль, как ему продолжить прежнюю свою деятельность.

Он окинул взглядом вывески фирм, часть города, в отношении которой он обычно был слеп, и прочел: *«У идеального неба»*. Вошел он туда с удовольствием. Он откинул толстые занавески. От ужасного чада у него захватило дух. Словно защищаясь, он машинально сделал два шага вперед. Глаза у него слезились; он широко раскрыл их, чтобы видеть. Тогда они заслезились еще сильнее, и он ничего не увидел. Какая-то черная фигура провела его к маленькому столику и приказала ему сесть. Он повиновался. Фигура заказала ему кофе двойной крепости и исчезла в тумане. В этом чужом краю мира Кин цеплялся за голос своего провожатого и определил, что он — мужской, но неясный и потому неприятный. Он обрадовался, что вот и опять кто-то оказался таким ничтожным, какими и вообще были люди по его мнению. Толстая рука поставила перед ним кофе. Он вежливо поблагодарил. Рука на миг удивленно задержалась; потом плашмя прижалась к мрамору и вытянула всю пятерню. Отчего она так ухмыляется? — спросил он себя, в нем шевельнулось недоверие.

Когда рука вместе с относившимся к ней человеком удалась, он снова овладел своими глазами. Туман рассеялся. Кин проводил подозрительным взглядом фигуру, которая была длинной и тощей, как он сам. Перед стойкой она остановилась, повернулась и указала вытянутой рукой на нового гостя. Она сказала несколько непонятных слов и затряслась от смеха. С кем же он говорил? В окрестностях стойки не видно было ни души. Заведение было невероятно запущенное и грязное. За стойкой ясно вырисовывалась гора пестрых лохмотьев. Люди были слишком ленивы, чтобы открыть шкаф, они швыряли все в пространство между прилавком и зеркалом. Они не стыдились, подумать только, даже своих гостей! Гостями тоже Кин заинтересовался. Почти за каждым столиком сидел какой-нибудь волосатый тип с обезьяньим лицом и злобно пялил глаза в его сторону. В глубине зала визжали

странные девушки. Идеальное небо было очень низким и нависало грязноватыми, серо-бурыми тучами. Кое-где сквозь мутные слои пробивался остаток звезды. Когда-то все небо было усеяно золотыми звездами. Большинство их погасло от дыма; оставшиеся болели потускнением. Мир под этим небом был мал. Он вполне мог бы поместиться в гостиничном номере. Только пока обманывал туман, он казался необъятным и многосложным. Каждый мраморный столик жил жизнью отдельной планеты. Мировую вонь издавали все сообща. Каждый гость курил, молчал или стучал кулаком по твердому мрамору. Из крошечных ниш доносились зовы на помощь. Вдруг заявило о себе старое пианино. Кин искал его безуспешно. Куда же его спрятали? Оборванцы в кепках небрежными движениями откидывали тяжелые портьеры, медленно скользили между планетами, с кем-то здоровались, кому-то угрожали и наконец усаживались там, где их встречали всего враждебнее. Очень скоро заведение приняло совсем другой вид. Двинуться стало невозможно. Кто отважился бы наступить на ногу такому собрату? Только Кин сидел еще в одиночестве. Он боялся встать и не уходил. Между столами летали ругательства взад и вперед. Музыка вселяла в людей боевой дух и придавала им силу. Как только пианино умолкало, они увядали и поникали. Кин схватился за голову. Что это были за существа?

Тут рядом с ним возник огромный горб и спросил, можно ли присесть. Кин напряженно посмотрел вниз. Где был рот, откуда это донеслось? А обладатель горба, карлик, уже вскочил на стул. Он уселся на нем как следует и обратил к Кину пару больших грустных глаз. Кончик его крючковатого носа уходил в подбородок. Рот у него был так же мал, как он сам, только найти его было невозможно. Ни лба, ни ушей, ни шеи, ни туловища—этот человек состоял из горба, из мощного носа и двух черных, спокойных, печальных глаз. Он долго ничего не говорил—выжидая, вероятно, какое впечатление произведет его внешность. Кин привыкал к новому положению. Вдруг он услышал чей-то хриплый голос, спросивший из-под стола:

— Как двигаются делишки?

Он поглядел себе под ноги. Голос возмущенно заверещал: «Я что, собака?» Тут Кин понял, что говорит карлик. Что сказать по поводу дел, он не знал. Он осмотрел несусветный нос коротышки, показавшийся ему подозрительным. Не будучи деловым человеком, он слегка пожал плечами. Его равнодушие произвело большое впечатление.

— Фишерле моя фамилия! — Нос клюнул столешницу. Кину стало жаль своего доброго имени. Поэтому он не назвал его, а сделал только сдержанный поклон, который с одинаковым правом можно было истолковать и как отказ от знакомства, и как любезность. Карлик выбрал второе. Он достал две руки — длинные, как у гиббона — и взял портфель Кина. Содержимое портфеля рассмешило его. Уголками губ, задрожавшими справа и слева от носа, он доказал наконец наличие у него рта.

— По бумажной части, верно? — прокаркал он, поднимая вверх аккуратно сложенную оберточную бумагу. В этот миг весь мир под небом в один голос заржал. Кину, который ясно сознавал более глубокое значение своей бумаги, захотелось крикнуть: «Что за наглость!» — и вырвать ее из руки карлика. Но даже само это намерение, такое смелое, показалось ему гигантским преступлением. Чтобы испугать его, он соорудил несчастную и смущенную мину.

Фишерле не отставал.

— Новое дело, люди добрые, новое дело! Агент, который молчит как рыба! — Он повертел бумагу в своих кривых пальцах, измяв ее не меньше чем в двадцати местах. У Кина заболело сердце. Дело шло о чистоте его библиотеки. Найти бы какое-нибудь средство спасти ее. Фишерле стал на стул — он был теперь как раз одной высоты с сидящим Кином — и прерывисто запел: «Я рыболов, он — моя рыбка!» При слове «я» он хлопал себя бумагой по горбу, при слове «он» давал ею подзатыльник Кину. Тот терпеливо сносил это. Счастье еще, что этот бешеный карлик не убил его вообще. Постепенно ему стало больно от того, как с ним обходятся. Чистота библиотеки погибла. Он понял, что, не имея какого-то определенного дела, здесь пропадешь. Воспользовавшись протяжными тактами между «я» и «он», Кин поднялся, сделал низкий поклон и решительно заявил:

— Кин, по книжной части.

Фишерле запнулся перед очередным «он» и сел. Он был доволен своим успехом. Он ушел назад в свой горб и спросил с беспредельной преданностью:

— Вы играете в шахматы?

Кин выразил глубокое сожаление.

— Если человек не играет в шахматы, это тот еще человек. В шахматах весь ум, я вам скажу. Пусть он четырех метров в длину, а в шахматы он должен играть, иначе он дурак. Я играю в шахматы. И я таки не дурак. Теперь я вас спрошу, и если вы захотите, то

вы мне ответите. А если не захотите — так не ответите. Зачем дана человеку голова? Я сам скажу вам зачем, а то вы еще сломаете себе голову, мне жалко ее. Голова ему дана для шахмат. Вы меня понимаете? Если вы скажете «да», то все в порядке. Если вы скажете «нет», то я скажу вам это еще раз, потому что вы — это вы. К специалистам по книжной части у меня слабость. Имейте в виду, я научился играть сам, не по книжке. Как вы думаете, кто здесь чемпион, чемпион всего заведения? Держу пари, вы не догадаетесь. Фамилия чемпиона Фишерле, и он сидит за тем же столом, что и вы. А почему он сел сюда? Потому что вы человек некрасивый. Теперь вы, может быть, подумаете, что я бросаюсь на некрасивых людей. Ошибка, глупость, ничего подобного! Вы себе представить не можете, какая у меня красивая жена! Такого изыска вы в жизни не видели! Но у кого, я вас спрашиваю, есть ум? Ум есть у некрасивого человека, я вам скажу. Зачем нужен ему какому-нибудь красавцу-хлыщу? На него работает его жена, в шахматы играть он не любит, потому что тут надо гнуть спину, это может испортить его красоту, а что получается? Получается, что весь ум достается некрасивому человеку. Возьмите шахматных чемпионов — все некрасивые. Знаете, когда я вижу в иллюстрированном журнале какую-нибудь знаменитость и этот человек красив, я сразу же говорю себе: Фишерле, тут что-то не так. Они получили не тот портрет. А что вы думаете, если столько всяких портретов и каждый хочет быть знаменитостью — куда деваться такому журналу? Журнал тоже всего-навсего человек. Но знаете, что удивительно? То, что вы не играете в шахматы. Все специалисты по книжной части играют в шахматы. Разве это фокус для специалиста по книжной части? Человек берет себе шахматную книжечку и выучивает партию наизусть. Но думаете, меня кто-нибудь поэтому победил? Из специалистов по книжной части никто, это такая же правда, как то, что вы их поля ягода, если это правда!

Слушаться и слушать было для Кина одно и то же. С тех пор как коротышка заговорил о шахматах, он стал самым безобидным евреем на свете. Он не прерывал себя, его вопросы были риторическими, но он все-таки на них отвечал. Слово «шахматы» звучало в его устах как приказ, как если бы только от его милости зависело, сделать или не сделать ударение на смертельном «мат». Молчаливость Кина, поначалу его раздражавшая, казалась ему теперь признаком внимания и льстила ему.

Во время игры его партнеры слишком боялись его, чтобы мешать ему репликами. Ибо мстил он жестоко и делал опрометчивость их ходов всеобщим посмешищем. В перерывах между партиями — полжизни он проводил за доской — с ним обращались так, как то соответствовало его фигуре. Он был бы рад играть непрерывно. Он мечтал о такой жизни, когда с едой и сном можно будет управляться во время ходов противника. Когда он, играя шесть часов подряд, побеждал и вдруг объявлялся еще один претендент на поражение, в дело вмешивалась его жена, которая заставляла его прекратить игру, ибо иначе он становился с ней слишком нагл. Она была ему безразлична, как камень. Он держался за нее, потому что она давала ему есть. Но когда она рвала его цепь триумфов, он яростно плясал вокруг нее и бил ее по немногочисленным чувствительным местам ее оцепевшего тела. Она спокойно стояла и при всей своей силе разрешала ему делать с собой что угодно. Это были единственные супружеские ласки, которых он ее достаивал. А она любила его, он был ее ребенком. Дело не позволяло ей завести никакого другого. В «Идеальном небе» она пользовалась величайшим уважением, будучи среди очень бедных и дешевых девушек единственной, у которой имелся постоянный клиент — один старый господин, вот уже восемь лет неизменно навещавший ее по понедельникам. Из-за этого верного дохода ее называли пенсионеркой. Во время частых сцен с Фишерле все заведение бушевало, но никто не осмелился бы начать, вопреки ее запрету, новую партию. Фишерле бил ее только потому, что знал это. К ее клиентам он питал всю нежность, какую оставляла ему любовь к шахматам. Как только она с кем-нибудь удалялась, он отводил душу за доской. На незнакомых людей, которых в это заведение заносил случай, у него было преимущественное право. Он предполагал в каждом большого мастера, у которого можно кое-чему поучиться. В том, что он тем не менее победит его, сомнений у Фишерле не было. Лишь когда надежда на новые комбинации пропадала, он предлагал незнакомцу свою жену, чтобы на некоторое время отделаться от нее. Сочувственно относясь к любой специальности гостя, он тайком советовал ему спокойно провести наверху у жены часок-другой, она не такая, она способна оценить человека изящного. Но он просил не выдвигать его жене, дело есть дело, и он действует вразрез с собственными интересами.

Прежде, много лет назад, когда жена еще не была пенсионеркой и у нее было слишком много долгов,

чтобы отправлять его в кофейню, Фишерле приходилось, если жена приводила в их клетушку клиента, лезть, несмотря на горб, под кровать. Там он внимательно прислушивался к словам гостя—слова жены были ему безразличны—и вскоре чувствовал, шахматист ли тот или нет. Точно выяснив это, он поспешно вылезал из-под кровати—зачастую очень больно ударяясь горбом—и приглашал ничего не подозревавшего клиента на партию в шахматы. Иные соглашались на это, если играть на деньги. Они надеялись отыграть у паршивого еврея деньги, которые подарили женщине, подчинившись высшей силе. Они считали, что это их право, потому что теперь они уж наверняка не вступили бы в подобную сделку. Но они проигрывали еще раз столько же. Большинство отклоняло предложение Фишерле устало, недоверчиво или возмущенно. Никто не задумывался о том, откуда он, собственно, взялся. Но страсть Фишерле с годами росла. С каждым разом ему становилось труднее так долго откладывать свое предложение. Часто на него вдруг накатывало. И он никак не мог отделаться от мысли, что там, наверху, лежит инкогнито чемпион мира. Слишком рано появлялся он тогда возле кровати и стучал по плечу тайной знаменитости пальцем или носом до тех пор, пока та наконец, вместо ожидаемого насекомого, не принимала к сведению карлика и его предложения. Это все находили нелепым, и не было никого, кто не воспользовался бы такой возможностью потребовать свои деньги назад. После нескольких таких случаев—один расвирепевший скототорговец как-то даже вызвал полицию—жена категорически заявила, что либо отныне все будет по-другому, либо она возьмет себе другого в мужья. Теперь Фишерле, хорошо ли шли дела или плохо, отправлялся в кофейню и не смел приходить домой до четырех часов утра. Вскоре после этого укоренился тот солидный понедельничный господин, и самая страшная нищета миновала. Он оставался на всю ночь. Фишерле еще заставал его, возвращаясь домой, и, здороваясь, тот неизменно называл коротышку «чемпион мира». Это произносилось как хорошая острота, — со временем ей стало лет восемь, — но Фишерле воспринимал это как оскорбление. Когда господин, чьей фамилии никто не знал — он скрывал даже имя, — бывал особенно доволен, он из жалости позволял Фишерле быстро выиграть у себя партию. Господин принадлежал к людям, которые любят кончать со всем лишним сразу. Покидая клетушку, он снова на целую неделю избавлялся и от любви и от жалости. Поражением, которое

он терпел от Фишерле, он сберегал монетки, которые иначе должен был бы держать наготове для нищих в магазине, каковым он, вероятно, владел. На его двери была прикреплена табличка «Здесь нищим не подают».

А Фишерле ненавидел одну категорию людей, и это были чемпионы мира по шахматам. С каким-то бешенством следил он за всеми выдающимися партиями, которые ему предлагали газеты и журналы. То, что он однажды разобрал сам, он держал в голове годами. При его бесспорном местном первенстве ему было легко доказать своим друзьям ничтожество этих светил. Он демонстрировал им, целиком полагавшимся на его память, ход за ходом события того или иного турнира. Как только их восхищение такими партиями достигало меры, которая сердила его, он выдумывал сам неверные, в действительности не сделанные ходы и продолжал игру так, как то устраивало его. Он быстро доводил дело до катастрофы; становилось известно, кто потерпел ее, а имена были и здесь фетишами. Раздавались голоса, что такая же точно судьба постигла бы на турнире и Фишерле. Никто не обнаруживал ошибки побежденного. Тогда Фишерле отодвигал свой стул дальше от стола, так что его вытянутая рука только-только дотягивалась до фигур. Это был его особенный способ выражать презрение, поскольку окрестности рта, который служит для того же другим, были у него почти целиком закрыты носом. Затем он кричал: «Дайте мне платок, я выиграю эту партию вслепую!» Если жена оказывалась рядом, она подавала ему свой грязный шейный платок; турнирных триумфов, состоявшихся только раз в несколько месяцев, она не имела права лишать его. Это она знала. Если ее не было в заведении, то одна из девушек закрывала Фишерле глаза ладонями. Быстро и уверенно он шаг за шагом вел партию назад. Там, где была сделана ошибка, он останавливался. Это бывало как раз то место, откуда начиналось его жульничество. С помощью второго жульничества он с такой же наглостью приводил к победе противоположную сторону. Все слушали, затаив дыхание. Все изумлялись. Девушки гладили его горб и целовали его в нос. Парни, среди них и красивые, мало что смыслившие или вообще не смыслившие в шахматах, ударяли кулаками по мраморным столикам и с искренним возмущением заявляли, что это подлость, если Фишерле не станет чемпионом мира. Кричали они при этом так громко, что симпатия девушек сразу же обращалась к ним снова. Фишерле это было безразлично. Он делал вид, будто овация вообще не имеет к нему отношения, и только сухо бросал:

— Что вы хотите, я же бедняк. Внесите сегодня залог за меня, и завтра я буду чемпионом мира!

— Будешь сегодня же! — кричали все. Затем восторг кончался.

Благодаря своей славе непризнанного шахматного гения и постоянному клиенту жены-пенсионерки Фишерле пользовался под «Идеальным небом» одной большой привилегией: ему разрешалось вырезать из журналов и оставлять себе все напечатанные там шахматные партии, хотя эти журналы, пройдя через полдесятка рук, передавались через несколько месяцев в другое, еще более замызганное заведение. Но Фишерле отнюдь не хранил эти квадратные бумажки. Он разрывал их на мелкие клочки и с отвращением выбрасывал в унитаз. Он жил всегда в величайшем страхе, что кто-нибудь потребует какую-нибудь партию. Он сам вовсе не был убежден в своей значительности. Истинные ходы, которые он утаивал, заставляли его умную голову горько задумываться. Поэтому он ненавидел, как чуму, чемпионов мира.

— Что вы думаете, если бы у меня была стипендия, — сказал он сейчас Кину. — Человек без стипендии — это же урод. Я двадцать лет жду стипендии. Вы думаете, я чего-то хочу от своей жены? Покоя хочу я и хочу стипендии. Переезжай ко мне, сказала она, я тогда был еще мальчишка. Ай, сказал я, зачем Фишерле баба? А что тебе нужно, сказала она, покоя с ней не было. Что мне нужно? Мне нужна стипендия. Из ничего ничего и не выйдет. И дела без капитала вы не начнете. Шахматы тоже деловая область, почему они не должны быть делом? Покажите мне, что не деловая область! Хорошо, сказала она, если ты переедешь ко мне, ты получишь стипендию. Теперь я вас спрошу, вы понимаете это вообще? Вы знаете, что такое стипендия? На всякий случай я вам это скажу. Если вы знаете, так это не повредит, а если не знаете, так это совсем не повредит. Слушайте: стипендия — это красивое слово. Это слово взято из французского языка и означает то же самое, что еврейский капитал!

Кин сглотнул воздух. По их этимологии вы узнаете их. Ну и заведение. Он сглотнул воздух и промолчал. Это было самое лучшее, что он мог придумать в таком вертепе. Фишерле сделал совсем маленькую паузу, чтобы посмотреть, как подействовало на его визави слово «еврейский». Ведь как знать? Мир кишит антисемитами. Еврей всегда настороже перед смертельными врагами. Карлики-горбуны, а тем более такие, которые все-таки выбились в сутенеры, наблюдатели вниматель-

ные. Глоток, сделанный Кином, не ускользнул от Фишерле. Он истолковал его как признак смущения и с этой минуты считал Кина евреем, хотя тот вовсе им не был.

— Его употребляют только при красивых профессиях, — объяснил он, успокоившись, он имел в виду слово «стипендия». — После ее торжественного обещания я переехал к ней. Знаете, когда это было? Я могу вам это сказать, потому что вы мой друг: это было двадцать лет назад. Двадцать лет она копит и копит, она ничего не позволяет себе, она ничего не позволяет мне. Знаете, что такое монах? Ай, вы, наверно, не знаете, потому что вы еврей, у евреев этого нет — монахов, неважно, мы живем как монахи, я лучше скажу иначе, может быть, вы это поймете, потому что вы ничего не понимаете: мы живем как монашенки — это жены монахов. У каждого монаха есть жена, и она называется монашенка. Но вы представить себе не можете, до чего же врозь они живут! Такого брака каждый себе пожелает, у евреев, скажу я вам, надо бы это тоже вести. И пожалуйста, стипендия все еще не скоплена. Посчитайте, считать вы должны уметь! *Вы* дадите сразу двадцать шиллингов. Не каждый даст сразу столько. Где вы найдете сегодня таких благородных людей? Кто может позволить себе такую глупость? Вы мой друг. Вы человек добрый, и вы говорите себе: надо, чтобы Фишерле получил свою стипендию. А то он погибнет. Разве я могу допустить, чтобы Фишерле погиб, мне было бы жаль его, нет, я этого не допущу. Что я сделаю? Я подарю эти двадцать шиллингов его жене, она возьмет меня с собой, и мой друг будет рад. Для друга я готов на все. Я докажу вам это. Приведите сюда свою жену, то есть пока я не получил стипендии, и даю вам честное слово, я не струшу. Что вы думаете, я побоюсь женщины? Что уж такого может она сделать? У вас есть жена?

Это был первый вопрос, на который Фишерле ждал ответа. Впрочем, в том, что у Кина есть жена, он был так же уверен, как в том, что у него, Фишерле, есть горб. Но он тосковал о новой партии, он уже три часа был под надзором, этого он не выдерживал. Он хотел привести дискуссию к какому-то практическому результату. Кин молчал. Что должен был он ответить? Жена была его больным местом, насчет которого при всем желании нельзя было сказать никакой правды. Он не был, как известно, ни женат, ни холост, ни разведен.

— У вас есть жена? — спросил Фишерле второй раз.

Но теперь это прозвучало уже угрожающе. Кин мучился, не зная, как сказать правду. Опять он был в таком же положении, как прежде с «книжной частью». На худой конец и ложь выход.

— У меня нет жены, — заявил он с улыбкой, от которой посветлела его строгая сухость. Если уж он шел на ложь, то на самую приятную.

— Тогда я вам дам свою! — выпалил Фишерле. Если бы у специалиста по книжной части была жена, предложение Фишерле прозвучало бы иначе: «Тогда у меня есть для вас что-то новенькое!» А теперь он громко прокряхтел на все заведение: — Иди сюда-а, ты придешь, нет?

Она пришла. Она была большая, толстая и круглая, полувекового возраста. Представилась она сама, указав плечом вниз на Фишерле и не без гордости прибавив: «Мой муж». Кин встал и отвесил очень низкий поклон. Он ужасно боялся всего, что теперь произойдет. Он громко сказал: «Очень приятно», — а тихо, до неслышимости тихо: «Шлюха». Фишерле сказал:

— Ну, так сядь!

Она повиновалась. Его нос доставал ей до груди; то и другое легло на стол. Вдруг коротышка встрепенулся и с величайшей поспешностью, словно забыл главное, проверещал:

— По книжной части.

Кин снова уже молчал. Сидевшей за столом женщине он был противен. Сравнив его кости с горбом своего мужа, она нашла горб красивым. Ее зайчик всегда находил что сказать. Он за словом в карман не лез. Прежде он, бывало, говорил и с ней. Теперь она для него слишком стара. Он прав. Он же ни с какой другой не путается. Он добрый ребенок. Все думают, что между ними еще что-то есть. Каждая из ее подруг зарится на него. Бабы лгуны. Она этого не признает, лгать. Мужчины тоже лгуны. На Фишерле можно положиться. Чем иметь дело с бабой, говорит он, лучше вообще не иметь с ними дела. Она со всем согласна. Ей же это не нужно. Только пусть он не говорит этого ни одной из них. Он же такой скромный. Сам он никогда ничего не станет требовать. Если бы только он больше следил за своей одеждой! Иногда можно прямо подумать, что он вылез из мусорного ящика. Фердль поставил Мицль ультиматум: он будет год ждать мотоцикла, который она ему обещала. Если через год мотоцикла не будет, он наплюет на все и поищет себе кого-нибудь другого. Теперь она копит и копит, а разве она накопит на мотоцикл? Ее зайчик так

не поступит. А какие у него красивые глаза! Виноват он, что ли, что у него горб?

Всегда, когда Фишерле добывал ей клиента, она чувствовала, что он хочет избавиться от нее, и была ему благодарна за его любовь. Позднее она опять находила его слишком гордым. В общем, она была существом благодушным, располагавшим, несмотря на свою уродливую жизнь, лишь малой толикой ненависти. В отличие от других девушек, мало-помалу постигших азы игры, она всю свою жизнь не понимала, почему разные фигуры ходят по-разному. Ее возмущало, что король так беспомощен. Она бы уж задала перцу этой наглой бабе, королеве! Почему ей разрешается все, а королю—нет? Часто она напряженно следила за игрой. По выражению лица ее вчуже можно было принять за большого знатока. В действительности она только ждала, чтобы побили королеву. Как только это случалось, она затыгивала какую-нибудь бравурную песенку и сразу же отходила от стола. Она разделяла ненависть мужа к чужой королеве; любовь, с какой он берег собственную, вызывала у нее ревность. Ее подруги, более самостоятельные, чем она, мысленно становились на верхушку социальной лестницы и называли королеву потаскухой, а короля—котом. Одна только пенсионерка придерживалась фактической иерархии, на нижнюю ступеньку которой она взобралась благодаря своему постоянному посетителю. Она, вообще-то задававшая тон при самых разнузданных шутках, в нападках на короля не участвовала. Для шахматной же королевы даже «шлюха» казалось ей слишком лестным определением. Башни ладей и кони ей нравились, потому что выглядели как настоящие, и когда кони Фишерле мчались во весь опор по доске, она звонко смеялась своим спокойным, ленивым голосом. Через двадцать лет после того, как он переехал к ней со своими шахматами, она все еще иногда совершенно невинно спрашивала его, почему ладьям не позволяют оставаться в углах, как в начале игры, ведь там они смотрятся гораздо лучше. Фишерле плевал на ее бабьи мозги и ничего не отвечал. Когда она надоедала ему своими вопросами—ей ведь хотелось только услышать от него что-нибудь, она любила его кряхтение, ни у кого не было такого каркающего голоса, как у него, — он затыкал ей рот какой-нибудь грубостью. «Есть у меня горб или нет? А? Попробуй поездить на нем. Может быть, поумнеешь!» Его горб огорчал ее. Она предпочла бы никогда не говорить о нем. У нее было такое чувство, что и она виновата в физическом

недостатке своего ребенка. Открыв в ней эту странность, которая показалась ему сумасшедшей, он стал пользоваться ею для шантажа. Его горб был единственной опасной угрозой, какой он располагал.

Именно сейчас она смотрела на него с любовью. Горб что-то представлял собой, а такой скелет — ничего. Она была рада, что он позвал ее к своему столу. С Кином она нисколько не церемонилась. Через несколько минут, после того как все помолчали, она сказала:

— Ну что? Сколько же ты подаришь мне?

Кин покраснел. Фишерле прикрикнул на нее:

— Не болтай глупости! Я не позволю обижать своего друга. У него таки есть ум. Он не мелет языком. Он по сто раз обдумывает каждое слово. Если он что-то говорит, так он уж говорит. Он интересуется моей стипендией и добровольно вносит в ее фонд двадцать шиллингов.

— Стипендия? С чем это едят?

Фишерле возмутился.

— Стипендия — это красивое слово! Оно взято из французского языка и означает то же самое, что еврейский капитал!

— Где у меня капитал?

Жена не понимала его уловки. Да и зачем ему понадобилось облекать ее в иностранное слово? Ему важно было остаться правым. Посмотрев на жену пристально и серьезно, он указал носом на Кина и торжественно заявил:

— Он все знает.

— Да что же?

— Ну, что мы вместе копим из-за шахмат.

— И не подумаю! Я столько не зарабатываю. Я не Мицль, а ты не Фердль. Что я с тебя имею? Ни черта я с тебя не имею. Знаешь, кто ты? Урод ты! Иди побирайся, если здесь тебе не по вкусу! — Она призвала Кина в свидетели этой вопиющей несправедливости. — Наглец он, скажу я вам! Просто трудно представить себе. Такой урод! Спасибо сказал бы!

Фишерле стал еще меньше, он признал свой проигрыш и только жалобно сказал Кину:

— Радуйтесь, что вы не женаты. Сначала мы вместе двадцать лет копим каждый грош, а теперь она промотала всю стипендию со своими друзьями.

От этой наглой лжи жена онемела.

— Клянусь вам, — закричала она, как только оправилась, — за эти двадцать лет я не была ни с одним мужчиной, кроме него.

Фишерле бессильно развел рукой перед Кином.

— Шлюха, которая ни разу не была с мужчиной!

При слове «шлюха» он вскинул брови. От этого оскорбления женщина громко расплакалась. Ее речь стала невнятной, но создавалось впечатление, что она, всхлипывая, говорит о какой-то пенсии.

— Вот видите, теперь она сама признается. — Фишерле снова воспрянул духом. — Что вы думаете, от кого у нее пенсия? От одного господина, который приходит каждый понедельник. В мою квартиру. Знаете, баба *должна* давать ложные клятвы, а почему баба должна давать ложные клятвы? Потому что она сама лжива! Теперь я вас спрашиваю. Вы могли бы дать ложную клятву? Я мог бы дать ложную клятву? Исключено! А почему? Потому что у нас обоих есть-таки ум. Вы когда-нибудь видели, чтобы ум был лжив? Я — нет.

Жена редела все громче и громче.

Кин искренне соглашался с ним. От страха он не задавался вопросом, врет Фишерле или говорит правду. С тех пор, как за столИК села эта женщина, любой выпад против нее, от кого бы он ни исходил, был для него спасением. Как только она попросила его сделать ей подарок, он понял, кто перед ним: вторая Тереза. В нравах этой местности он мало смыслил, но одно показалось ему несомненным: здесь вот уже двадцать лет некий чистый дух в жалком теле стремится подняться над грязью своего окружения. Тереза не позволяет сделать это. Человек идет на бесконечные лишения, упорно глядя туда, куда устремлен самовластный ум. Тереза так же упорно тянет его назад в грязь. Он копит, не от мелочности, он натура широкая; она все спускает, чтобы он никуда не ушел от нее. Ухватив мир духа за крошечный кончик, он вцепился в него с неистовством утопающего. Шахматы — его библиотека. О делах он говорит только потому, что другой язык здесь запрещен. Но характерно, что он так высоко ставит книжное дело. Кин представляет себе борьбу, которую этот побитый жизнью человек ведет за свою квартиру. Он приносит домой книгу, чтобы тайком ее почитать, она рвет ее, только клочья летят. Она вынуждает его предоставлять ей его квартиру для своих ужасных целей. Может быть, она наняла прислужницу, шпионку, чтобы не допускать в квартиру книг, когда ее нет дома. Книги запрещены, ее образ жизни дозволен. После долгой борьбы ему удалось отвоевать у нее шахматную доску. Она ограничила его самой маленькой комнатой в квартире. Там он и сидит

долгими ночами, сохраняя с помощью деревянных фигур свое человеческое достоинство. Более или менее свободным он чувствует себя только тогда, когда она принимает этих гостей. В такие часы он для нее — ничто. Вот до чего надо ей докатываться, чтобы не мучить его. Но и тогда он, негодуя, прислушивается, не явится ли она вдруг к нему пьяная. От нее пахнет спиртным. Она курит. Она дергает двери и опрокидывает своими ножищами шахматную доску. Господин Фишерле ревет, как малый ребенок. Он был как раз на самом интересном месте книги. Он собирает рассыпавшиеся буквы и отворачивает лицо, чтобы она не радовалась его слезам. Он маленький герой. У него есть характер. Как часто вертится у него на языке слово «шлюха»! Он проглатывает его, ей этого все равно не понять. Она давно бы уж выгнала его из его же квартиры, но она ждет, чтобы он составил завещание в ее пользу. Наверно, имущество у него маленькое. Но и этого ей достаточно, чтобы ограбить его. Он не собирается отдавать ей последнее. Он защищается и потому сохраняет крышу над головой. Если бы он знал, что обязан этой крышей расчету на его завещание! Не надо ему этого говорить. А то он огорчится. Он не из гранита. Его карличье сложение...

Никогда еще Кин так глубоко ни в кого не вживался. Ему удалось освободиться от Терезы. Он ее побил ее же оружием, перехитрил и запер ее. И вот она вдруг сидит за его столом, требует, как раньше, ругается, как раньше, и единственное, что в ней ново, — это подходящая профессия, которую она обрела. Но ее разрушительная деятельность направлена не на него, — на него она почти не обращает внимания, — а на того, кто сидит напротив и кого природа и так уже искалечила жалкой этимологией. Кин в большом долгу перед этим человеком. Он должен что-то для него сделать. Он уважает его. Если бы господин Фишерле не был так деликатен, он просто предложил бы ему денег. Наверняка они емугодились бы. Но он не хочет ни в коем случае обижать его. Разве что вернуться к тому разговору, который с женской бесцеремонностью прервала Тереза?

Он достал бумажник, все еще туго набитый крупными купюрами. Долго, вопреки своему обыкновению, держа его в руке, он вынул из него все банкноты и мирно пересчитал их. Господин Фишерле должен был воочию убедиться, что предложение, которое сейчас собирались сделать ему, не такая уж большая жертва. Дойдя до тридцатой стошillingовой купюры, Кин

посмотрел вниз, на коротышку. Может быть, тот уже настолько успокоился, что можно осмелиться сделать подарок. Кому охота считать деньги? Фишерле украдкой озирался по сторонам; только на считавшего деньги он, казалось, не обращал внимания — конечно, из деликатности и отвращения к обыкновенным деньгам. Кин не пал духом, он продолжал считать, но теперь громко, отчетливо, повысив голос. Про себя он извинялся перед коротышкой за свою навязчивость, видя, какую боль причиняет его ушам. Карлик беспокойно ерзал на стуле. Он положил голову на стол, чтобы закрыть себе хотя бы одно ухо, щепетильный человек, затем начал какую-то возню с грудью жены, что он делает, он расширяет ее, она же достаточно широка, он заслоняется от Кина. Жена все это сносит, да она и молчит теперь. Она, наверно, рассчитывает на деньги. Но тут она ошибается. Тереза ничего не получит. На сорок пятой сотне муки коротышки достигли апогея. Он умоляюще прошептал: «Тс! Тсс!» Кин расчувствовался. Не избавить ли его от подарка, в конце концов нельзя же его принуждать, нет, нет, позднее он еще рад будет, может быть, он удерет с деньгами и избавится от этой Терезы. На пятьдесят третьей Фишерле вцепился жене в лицо и заверещал как одержимый:

— Чего тебе неймется? Зачем егозишь, дура? Что ты понимаешь в шахматах? Корова несчастная! Осторогела ты мне! Иди прочь!..

При каждой цифре он говорил что-то новое, жена казалась смущенной и собиралась удалиться. Это не устраивало Кина. Пусть увидит, как Кин одарит коротышку. Пусть позлится, оттого что сама ничего не получит, а то какое мужу удовольствие от этого? От одних денег радости ему мало. Он, Кин, должен вручить их ему, прежде чем она уйдет.

Он дождался круглой цифры — следующая была шестьдесят — и прекратил счет. Он поднялся и взял сотенную бумажку. Он предпочел бы взять в руку сразу несколько, но ему не хотелось обижать карлика ни слишком большой суммой, ни слишком маленькой. Несколько мгновений он простоял молча для вящей торжественности. Затем он заговорил, это была самая учтивая речь в его жизни.

— Глубокоуважаемый господин Фишерле! Я не в силах отказать от просьбы, с которой мне хочется к вам обратиться. Окажите мне любезность, приняв этот маленький вклад в вашу, как вы изволите выражаться, стипендию!

Вместо «спасибо» коротышка прошептал: «Тсс, лад-

но уж!»—и снова закричал на жену, он был явно растерян. Его злые взгляды и слова чуть не смели ее со стола. Предложенные деньги были ему настолько безразличны, что он даже не взглянул на них. Чтобы не обижать Кина, он вытянул руку и потянулся к бумажке. Вместо одной он схватил всю пачку, но даже не заметил этого, настолько он был взволнован. Кин улыбнулся. От скромности человек ведет себя как самый хищный разбойник. Как только он заметит это, он умрет от стыда. Чтобы уберечь его от такого позора, Кин заменил пачку простой купюрой. Пальцы карлика были твердые и нечувствительные, они, разумеется, против его воли вцепились в пачку, так и не почувствовав ничего, когда их отрывали от нее один за другим, и автоматически сжали оставшуюся в одиночестве сотенную. Эти руки затвердели от шахматной игры, думал Кин, господин Фишерле привык крепко держать свои фигуры, они—единственное, что ему осталось от жизни. Тем временем Кин сел. Он был счастлив своим благодеянием. К тому же и Тереза, осыпаемая руганью, с пылающим лицом, встала и в самом деле ушла. Ей вольно было уйти, она не была нужна ему больше. Ей нечего было ждать от него. Его долг был помочь восторжествовать ее мужу, и это ему удалось.

В сумятице удовлетворения Кин не слышал, что происходило вокруг него. Вдруг его тяжело ударили по плечу. Он испугался и обернулся. На нем лежала чья-то ручища, и чей-то голос гремел:

— И мне подари что-нибудь!

Добрая дюжина молодчиков сидела в непосредственной близости от него—с каких пор? Он раньше не замечал их. Кулаки кучами лежали на столе, подошло еще несколько молодцов, задние стоя оперлись на передних, которые сидели. Девичий голос жалобно занял: «Я хочу вперед, мне же ничего не видно!» Другая, пронзительно: «Фердль, теперь у тебя будет мотоцикл!» Кто-то высоко поднял открытый портфель, потряхнул его и, не найдя денег, разочарованно проворчал: «Пошел вон, слизняк, со своей бумагой!» Из-за людей не видно было зала. Фишерле что-то верещал. Никто его не слушал. Его жена была снова здесь. Она визжала. Другая баба, еще толще, отпускала удары налево и направо, пробиваясь через толпу молодчиков, и орала: «Мне тоже надо!» На ней были сейчас все лохмотья, которые Кин раньше увидел за стойкой. Небо качалось. Стулья валились. Какой-то ангельский голос плакал от счастья. Когда Кин понял, о чем

идет речь, ему на голову уже успели натянуть его собственный портфель. Он уже ничего не видел и не слышал, он только чувствовал, что лежит на полу и руки самой разной величины и тяжести обшаривают карманы, петли и швы его костюма. Он дрожал всем телом — не за себя, а только за свою голову, им могло заблагорассудиться разбросать там его книги. Его убьют, но книг он не предаст. Давай книги! — прикажут они, — где книги? Он не отдаст их, ни за что, ни за что, ни за что, он мученик, он умрет за свои книги. Губы его шевелятся, они хотят сказать, как полон он решимости, но они не осмеливаются сказать это вслух, они притворяются, будто говорят это.

Никому, однако, не приходит на ум спросить его о чем-либо. Лучше удостовериться самим. Его несколько раз протаскивают по полу взад и вперед. Еще немного, и его разденут — догола. Как ни ворочают, как ни поворачивают его, они ничего не находят. Вдруг он чувствует, что остался один. Все руки исчезли. Он украдкой хватается за голову. Для защиты от следующей атаки он так и оставляет руку наверху. Вторая рука следует за ней. Он пытается встать, не отнимая рук от головы. Враги дожидаются этой минуты, чтобы схватить беззащитные книги в воздухе — осторожно, осторожно! Ему удастся встать. Ему повезло. Теперь он стоит. Где эти головорезы? Лучше не оглядываться, а то еще заметят его. Его взгляд, который он из осторожности направляет в противоположный угол зала, падает как раз там на кучу людей, отделяющих друг друга ножами и кулаками. Теперь он слышит и неистовый крик. Он не хочет понимать их. А то они поймут его. На цыпочках, длинноногий, он крадется к выходу. Кто-то схватывает его сзади. Даже на бегу он из осторожности не оглядывается. Он косится назад, затаив дыхание, изо всех сил прижимая к голове руки. Это были всего лишь портьеры у двери. На улице он делает глубокий вдох. Как жаль, что нельзя хлопнуть этой дверью. Библиотека в безопасности.

Несколькими домами дальше его ждал карлик. Он вручил ему портфель.

— Бумага тоже там, — сказал он. — Вы видите, какой я человек!

Кин в своей беде начисто забыл, что на свете есть существо по имени Фишерле. Тем больше поразила его такая невероятная мера преданности.

— Бумага тоже, — пробормотал он, — как мне благодарить вас...

В этом человеке он не ошибся.

— Это еще ерунда! — заявил коротышка. — Теперь отойдем в эту подворотню!

Кин повиновался, он был глубоко тронут и готов был заключить коротышку в объятия.

— Вы знаете, что такое вознаграждение за находку? — спросил тот, как только ворота скрыли их от прохожих. — Вы должны знать, десять процентов. Там бабы насмерть дерутся с мужчинами, а он у меня! — Он извлек бумажник Кина и вручил его хозяину так, словно преподносил великолепный подарок. — Что я, дурак? Думаете, я стану из-за него садиться в тюрьму?

И о деньгах тоже Кин совершенно забыл, когда нависла опасность над тем, что было для него дороже всего. Он громко рассмеялся по поводу такой добросовестности, принял бумажник, радуясь больше Фишерле, чем вновь обретенным деньгам, и повторил:

— Как мне благодарить вас! Как мне благодарить вас!

— Десять процентов, — сказал карлик.

Кин запустил руку в пачку денег и протянул Фишерле изрядную их долю.

— Сначала пересчитайте! — закричал тот. — Дело есть дело! А то еще скажете, что я что-то украл!

Кину хорошо было считать. Разве он знал, сколько там было раньше? Зато Фишерле точно знал, сколько бумажек он припрятал. Его требование пересчитать деньги имело в виду вознаграждение за находку. Но ему в угоду Кин стал тщательно пересчитывать всю наличность. Когда он, второй раз за сегодняшний день, дошел до цифры 60, Фишерле снова увидел себя в тюрьме. Он решил улизнуть — на этот случай он уже заранее обеспечил себе вознаграждение за находку — и лишь наспех предпринял последнюю попытку.

— Сами видите, все на месте!

— Конечно! — сказал Кин и обрадовался, что не нужно считать дальше.

— Отсчитайте теперь вознаграждение за находку, и мы в расчете!

Кин начал сначала и дошел до девяти, он считал бы до второго пришествия, но тут Фишерле сказал:

— Стоп! Десять процентов!

Он точно знал общую сумму. В ожидании Кина он быстро и досконально обследовал бумажник в подворотне.

Когда деловая часть была улажена, он пожал Кину руку, печально посмотрел на него снизу вверх и сказал:

— Вы должны знать, чем я для вас рискую! С «Идеальным небом» покончено. Вы думаете, я могу

вернуться туда? Они найдут у меня эти большие деньги и убьют меня. Потому что откуда у Фишерле деньги? Так разве я могу им сказать, откуда у меня деньги? Если я скажу, что от книжного дела, так они избьют меня до смерти и украдут деньги из кармана у мертвого Фишерле. Если я ничего не скажу, так они отнимут их у Фишерле еще при его жизни. Вы понимаете меня, если Фишерле останется жив, так ему не на что будет жить, а если он умрет, так он таки умрет. Вы видите, во что обходится дружба!

Он надеялся еще получить на чай.

Кин почувствовал, что этому человеку, первому из всех, кого он встретил за жизнь, он обязан помочь начать новое, достойное существование.

— Я не коммерсант, я ученый и библиотекарь! — сказал он и предупредительно склонился перед карликом. — Поступайте ко мне на службу, и я позабочусь о вас.

— Как отец, — добавил коротышка. — Так я и думал. Пойдемте же!

Он решительно зашагал вперед. Кин поплелся за ним. Он мысленно искал работу для своего нового ассистента. Друг ни в коем случае не должен догадаться, что ему делают подарок. Он может помочь ему вечерами выгружать и расставлять книги.

ГОРЬ

Через несколько часов после того, как он приступил к исполнению служебных обязанностей, Фишерле вполне уяснил себе желания и особенности своего хозяина. Когда они остановились на ночлег, Кин представил его портье как «друга и сотрудника». Тот, к счастью, узнал щедрого владельца библиотеки, однажды уже здесь ночевавшего; а то бы хозяина с сотрудником вышвырнули. Фишерле старался подглядеть, что писал Кин на регистрационном бланке. Он был слишком мал, ему не удалось даже сунуть нос в вопросы анкеты. Боялся он второго бланка, который держал для него наготове портье. Однако Кин, который за один вечер наверстал все, что упустил по части чуткости за всю жизнь, сразу заметил, с какими трудностями сопряжена для коротышки здешняя писанина, и внес его в свой листок в графу «сопровождающие лица». Второй бланк он вернул портье со словами: «Это не нужно». Так он избавил Фишерле от писанья и, что ему казалось еще более важным, от знания, что тот униженным образом отнесен к рубрике слуг.

Как только они поднялись в свои комнаты, Кин извлек оберточную бумагу и принялся разглаживать ее.

— Она, правда, совсем измялась — сказал он, — но другой у нас нет.

Воспользовавшись случаем сделаться незаменимым, Фишерле заново обрабатывал каждый лист, который его хозяин считал уже готовым.

— Это я виноват, что вышла-таки потасовка, — заявил он. Успех соответствовал завидной ловкости его пальцев. Затем бумага была разостлана по полу в обеих комнатах. Фишерле скакал взад и вперед, ложился плашмя и ползал, как какое-то странное, короткое и горбатое пресмыкающееся, из угла в угол.

— Сейчас мы все сделаем, это же пустяк! — кричал он снова и снова. Кин улыбался, он не привык ни к подхалимству, ни к горбу и был счастлив личным почтением, которое ему оказывал карлик. Предстоявшее объяснение, впрочем, немного пугало его. Может быть, он переоценил умственные способности этого человечка, который был почти одного с ним возраста и множество лет прожил без книг, в изгнании. Он может неверно понять задачу, ему назначенную, может быть, он спросит: «Где книги?», прежде чем поймет, где они хранятся весь день. Лучше всего было бы, если бы он еще немного повозился на полу. Тем временем Кину придет в голову какой-нибудь общедоступный образ, более понятный простому уму. Беспокоили его и пальцы коротышки. Они были в постоянном движении, слишком долго они расправляли бумагу. Они были голодные, голодные пальцы хотят пищи. Они потребуют книг, к которым Кин не позволял прикасаться, не позволял никому. Он вообще боялся вступить в конфликт с образовательным голодом коротышки. Фишерле как бы и по праву может упрекнуть его в том, что книги лежат втуне. Как ему оправдаться? Простак думают о многом таком, до чего и десяти мудрецам не додуматься. И простак в самом деле уже стал перед ним и сказал:

— Готово дело!

— Тогда помогите мне, пожалуйста, выгрузить книги! — сказал Кин вслепую, удивляясь собственной смелости. Чтобы пресечь всякие нежелательные вопросы, он вынул из головы стопку книг и подал ее коротышке. Тот ловко схватил ее своими длинными руками и сказал:

— Так много! Куда мне их положить?

— Много? — воскликнул Кин обиженно. — Это только тысячная часть!

— Понимаю, десять процентов от одного процента. Что мне, стоять так еще целый год? Я же не выдержу такой тяжести, куда мне положить их?

— На бумагу. Начните вон с того угла, чтобы нам потом не спотыкаться о них!

Фишерле осторожно пробрался туда. Он не позволял себе ни одного резкого движения, которое подвергло бы опасности его груз. В углу он стал на колени, осторожно поставил стопку на пол и подровнял края, чтобы никакая неровность не портила вида. Кин последовал за ним. Он уже подавал ему следующий пакет; он не доверял коротышке, ему почти казалось, что тот издевается над ним. В руках Фишерле работа шла играючи. Он принимал пакет за пакетом, с навыком ловкость его росла. Между башнями он оставлял промежутки в несколько сантиметров, куда ему удобно будет просовывать пальцы. Он думал обо всем, и о завтрашнем отбытии тоже. Он доводил башни только до определенной высоты, которую при надобности проверял, легко проводя по книгам кончиком носа. Даже целиком погружаясь в свои замеры, он каждый раз говорил: «Хозяин уж извинит!» Выше, чем его нос, он книг не клал. У Кина были опасения; ему казалось, что при такой низкой постройке место будет израсходовано слишком скоро. Ему не улыбалось спать с половиной библиотеки в голове. Но пока он молчал, предоставляя помощнику свободу действий. Он уже наполовину принял его в свое сердце. Пренебрежение, прозвучавшее недавно в возгласе «Так много!», он простил ему. Он предвкушал минуту, когда пол, который был в их распоряжении в обеих комнатах, будет заполнен и он, взглянув на коротышку с тихой иронией, спросит его: «А что теперь?»

Еще целый час Фишерле испытывал из-за своего горба величайшие затруднения. Как он ни извивался и ни изворачивался, он везде наткался на книги. Книгами было равномерно покрыто все, кроме узкого прохода от кровати в одной комнате до кровати в другой. Фишерле потел и уже не осмеливался проводить кончиком носа по верхней плоскости своих башен. Он пытался втянуть горб, это не удавалось. Физическая работа сильно изнурила его. От усталости он готов был плюнуть на все эти башни и лечь спать. Но он держался, и только когда при всем желании уже нельзя было найти ни пяди свободного места, рухнул полуживой.

— Такой библиотеки я еще в жизни не видел, — пробормотал он. Кин рассмеялся.

— Это только половина! — сказал он. Этого Фишерле никак не мог предположить.

— Завтра придет очередь другой половины, — заявил он с угрозой. Кин почувствовал себя уличенным. Он приврал. На самом деле было выгружено добрых две трети книг. Какого мнения будет о нем коротышка, если это сейчас раскроется! Люди точные не любят, когда их обзывают лжецами. Завтра надо заночевать в гостинице, где комнаты меньше. Он будет передавать ему маленькие стопки, две стопки как раз и составят башню, и если Фишерле с помощью кончика своего носа что-то заметит, он, Кин, просто скажет ему: «Человек держит кончик носа не всегда одинаково высоко. Вы еще кое-чему научитесь у меня». Сил нет смотреть, как устал уже коротышка. Надо дать ему отдохнуть, он это заслужил.

— Я уважаю вашу усталость, — говорит он, — дело, сделанное для книг, — доброе дело. Можете лечь спать. Продолжим завтра.

Он обращается с ним деликатно, но, безусловно, как со слугой. Работа, которую тот выполнил, низводит его до такого положения.

Лежа в кровати и уже немного отдохнув, Фишерле крикнул Кину:

— Плохие постели!

Он чувствовал себя как нельзя лучше, никогда в жизни он не лежал на таком мягком матраце, ему просто нужно было что-то сказать.

Кин снова, как каждую ночь, перед тем как заснуть, находился в Китае. Сообразно с особыми впечатлениями истекшего дня его видения приняли сегодня иную, чем всегда, форму. Он предвидел популяризацию своей науки и не отплевывался. Он чувствовал, что карлик понимает его. Он признавал, что на свете встречаются родственные натуры. Если тебе удалось подарить им немного образованности, немного гуманности, то ты уже чего-то добился. Лиха беда начало. И нельзя ничего форсировать. От каждодневного соприкосновения с таким обилием образованности жажда ее будет у коротышки все сильнее и сильнее: вдруг он, глядишь, возьмется за книгу и попытается читать ее. Это не годится, это было бы для него вредно, он погубит свой небольшой умишко. Много ли выдержит бедняга? Надо бы подготовить его устно. Самостоятельное чтение не к спеху. Пройдут годы, прежде чем он овладеет китайским. Но познакомиться с носителями и идеями китайской культуры ему следует раньше. Чтобы пробудить его интерес к ним, надо увязать это с обыденными

обстоятельствами. Под названием «Мэн-цзы и мы» можно составить неплохое рассуждение. Как он к этому отнесется? Кин вспомнил, что карлик сейчас что-то сказал; что именно, он забыл, во всяком случае тот еще не спал.

— Что может сказать нам Мэн-цзы?—воскликнул он вслух. Это название лучше. Сразу видно, что Мэн-цзы—это, во всяком случае, человек. От очень уж грубого вздора ученый рад избавиться себя.

— Плохие постели, говорю!—еще громче крикнул в ответ Фишерле.

— Постели?

— Ну, клопы!

— Что? Спите и перестаньте шутить! Завтра вам придется еще многому поучиться.

— Знаете что, поучился я и сегодня достаточно.

— Это вам только кажется. А теперь спите, я считаю до трех.

— Это мне-то спать! А вдруг кто-нибудь украдет у нас книги, и мы будем разорены. Я за то, чтобы не рисковать. Вы думаете, на это можно смотреть сквозь пальцы? Вам, может быть, и можно, потому что вы богатый человек. Мне—нельзя!

Фишерле действительно боялся уснуть. Он человек с привычками. Во сне он в состоянии украсть у Кина все деньги. Когда ему что-то снится, он сам не знает, что делает. Человеку снятся вещи, которые ему импонируют. Больше всего Фишерле любит рыться в банкнотах, которые лежат горой. Вдоволь порывшись и зная наверняка, что поблизости нет никого из его неверных друзей, он садится на эту гору и играет в шахматы. В такой высоте есть свои преимущества. Одновременно наблюдаешь за двумя вещами: издали видишь любого, кто приближается, чтобы что-то украсть, а вблизи от тебя—доска. Так делают свои дела большие господа. Правой рукой передвигаешь фигуры, а левой вытираешь грязные пальцы о банкноты. Их слишком много. Скажем—миллионы. Что делать со столькими миллионами? Кое-что раздарить было бы неплохо, но кто осмелится на это? Стоит им только увидеть, что у маленького человека что-то есть, как они, это отребье, отберут у него все. Маленькому нельзя строить из себя большого. У него есть для этого капитал, но—нельзя. Зачем он сидит на деньгах?—скажут они, да, куда деть маленькому человеку миллионы, если ему куда их спрятать? Самое разумное—операция. Тычешь в нос миллион знаменитому хирургу. Сударь, говоришь, отрежьте мне горб, и вы получите

миллион. За миллион человек становится артистом. Горба как не бывало, и ты говоришь: дорогой сударь, миллион был фальшивый, но за несколькими тысячами дело не станет. Он, чего доброго, еще и поблагодарит. Горб сжигается. Теперь можно всю жизнь быть прямым. Но умный человек не так глуп. Он берет свой миллион, свертывает банкноты в маленькие трубочки и делает из них новый горб. Этот горб он надевает на себя. Никто ничего не замечает. Он знает, что он прямой, а люди думают, что у него горб. Он знает, что он миллионер, а люди думают — бедняк. Перед сном он передвигает горб на живот. Боже мой, ему тоже хочется поспать когда-нибудь на спине.

Тут Фишерле ложится на горб, он прямо-таки благодарен боли, которая вырывает его из полусна. Это выше его сил, говорит он себе, ему вдруг снится, что вон там лежит куча денег, он забирает ее и попадает в беду. Ведь и так все принадлежит ему. Не нужно полиции. Он отказывается от вмешательства. Он все заработает по-честному. Там лежит идиот, здесь лежит человек с умом. Чьи будут деньги в конце концов?

Фишерле легко уговорить себя. Он слишком привык красть. Он уже довольно давно ничего не крал, потому что в его окружении нечего красть. На далекие вылазки он не решается, потому что полиция следит за ним в оба. Его так легко опознать. Тут полицейское рвение не знает пределов. Полночи он лежит теперь без сна, с вытаращенными глазами, сплетя пальцы рук сложнейшим образом. Кучу денег он удаляет от себя. Вместо этого он еще раз терпит все пинки и все поношения, которые ему когда-либо доставались в полицейских участках. Кому это нужно? Вдобавок они еще все отбирают у человека. И того, что они отнимут, ты уже никогда не увидишь больше. Это — не воровство! Когда оскорбления перестают действовать на него, когда полиция осточертевает ему и одна его рука уже свешивается с кровати, он вспоминает некоторые шахматные партии. Они достаточно интересны, чтобы удержать в постели его самого; рука, однако, остается наготове снаружи. Он играет осторожнее обычного, перед некоторыми ходами он думает до смешного долго. Противником он сажает перед собой чемпиона мира. Ему он гордо диктует ходы. Немного удивившись покорности, которую он встречает, он заменяет старого чемпиона мира новым; тот тоже терпеливо сносит его помыкания. Фишерле играет, строго говоря, за двоих. Противник не находит лучших ходов, чем те, что указывает ему Фишерле, он послушно кивает и все же

оказывается разбитым наголову. Это повторяется несколько раз, наконец Фишерле говорит: «С такими идиотами я не играю!»—и высовывает из-под одеяла также и ноги. Затем он заявляет: «Чемпион мира? Где чемпион мира? Никакого чемпиона здесь нет!»

Для верности он встает и обыскивает комнату. Получив звание, эти типы обычно прячутся. Он никого не находит. А он-то воображал, что чемпион мира играет с ним, сидя на его кровати, он готов был поклясться, что это так. Не спрятался же он в соседней комнате? Только спокойствие, Фишерле найдет его все равно. В полной невозмутимости он ищет и там, комната пуста. Он открывает шкаф и быстро запускает туда руку, ни один шахматист от него не уйдет. При этом он соблюдает тишину, понятно, разве можно мешать спать этому длинному книжнику только из-за того, что Фишерле хочет дать нахлобучку своему врагу? А того, может быть, вовсе и нет здесь, и Фишерле из-за какого-то каприза потеряет такое прекрасное место. Под кроватью он обшаривает носом каждый вершок. Давненько он не бывал под кроватью, здесь он чувствует себя как дома. Когда он вылезает оттуда, взгляд его падает на пиджак, надетый на стул. Тут он вспоминает, как охочи чемпионы мира до денег, им все мало; чтобы отвоевать у них звание, надо положить им на стол кучу денег, чистоганом, здесь тоже этот малый наверняка ищет деньги и вертится где-нибудь возле бумажника. Может быть, он еще не стащил его, надо спасти от него бумажник, такой на все способен. Завтра денег не будет на месте, и долговязый подумает, что их взял Фишерле. Но его не обманешь. Своими длинными руками он хватается бумажник снизу, вынимает его и удаляется назад под кровать. Он мог бы уползти вовсе, но зачем, чемпион мира выше ростом и сильнее, чем он, он, безусловно, стоит за стулом, зарится на деньги и прибьет Фишерле за то, что тот опередил его. А при таком умном маневре никто ничего не заметит. Пускай себе торчит там этот мошенник. Никто его не звал. А лучше бы, чтобы его духа здесь не было. Кому он нужен?

Фишерле вскоре забывает о нем. В своем укрытии, под кроватью, в самой глубине, он пересчитывает прекрасные новенькие кредитки, просто так, удовольствия ради. Сколько их, он еще отлично помнит. Кончив, он начинает считать снова. Фишерле едет теперь в далекую страну, в Америку. Там он идет к чемпиону мира Капабланке, говорит: «Вас я и искал!», выкладывает залог и играет до тех пор, пока не

побивает этого типа. На следующий день все газеты печатают портрет Фишерле. При этом он делает и выгодное дело. Дома, в «Небе», тамошнее отребье тарашит глаза, его жена, шлюха, начинает реветь и кричит, что если бы она это знала, то всегда разрешала бы ему играть, другие закатывают ей такие оплеухи, что только треск стоит, а все оттого, что она ничего не смыслит в шахматах. Бабы губят человека. Останься он дома, он ничего не добился бы. Мужчине нужно удрать, вот в чем вся штука. Кто трус, тому не бывать чемпионом мира. Пусть теперь кто-нибудь скажет, что еврей трусы. Репортеры спрашивают его, кто он такой. Никто не знает его. На американца он не похож. Евреи есть везде. Но откуда этот еврей, который в победном шествии разгромил Капабланку? В первый день он заставляет людей томиться. Газеты хотят осведомить обо всем своих читателей, но ничего не знают. Везде написано: «Тайна чемпиона». Полиция вмешивается, еще бы. Они опять хотят посадить его. Нет, нет, господа, он швыряет деньги налево и направо, и полиция имеет честь освободить его. На второй день являються круглым счетом сто репортеров. Каждый обещает ему, скажем, тысячу долларов на бочку, если он что-нибудь скажет. Фишерле молчит. Газеты начинают врать. Что им остается? Читатели уже не выдерживают этого. Фишерле сидит в гигантском отеле, там есть роскошный бар, как на океанской махине. Официант норовит посадить за его столик очень красивых баб, это не такие шлюхи, а всё миллионерши, которые интересуются им. Покорнейше благодарен, позднее, говорит он, сейчас у него нет времени. А почему у него нет времени? Потому что он читает все, что наврали о нем газеты. Это продолжается целый день. Может ли человек справиться с этим? Каждую минуту ему мешают. Фотографы просят уделить им минутку. «Но, господа, с таким горбом!» — говорит он. «Чемпион мира — это чемпион мира, глубокоуважаемый господин Фишерле. Горб тут ни при чем». Они снимают его, справа, слева, сзади, спереди. «Так хотя бы заретушируйте его, — предлагает он, — и у вас будет для газеты что-то приличное». — «Как вам будет угодно, глубоко- и многочтимый господин чемпион мира по шахматам». Верно, где у него были глаза, на портретах он везде без горба. Горб исчез. Горба у него нет. Из-за этого пустяка он еще тревожится. Он зовет официанта и показывает ему газету. «Плохой портрет, а?» — спрашивает он. Официант говорит: «Уэлл». В Америке люди говорят по-английски. Он находит портрет вели-

колепным. «На нем же только голова», — говорит он. Тут он прав. «Можете идти», — говорит Фишерле и дает ему сто долларов на чай. Портрету нет дела до его горба. На такую ерунду никто не обращает внимания. У него пропадает интерес к статьям. Зачем ему столько читать по-английски? Он понимает только «уэлл». Позднее он велит принести себе свежие газеты и хорошенько рассматривает свой портрет. Везде он находит голову. Нос длинноват, ладно, разве человек отвечает за свой нос? Он сызмала тянулся к шахматам. У него могло засесть в голове что-нибудь другое, футбол, или плавание, или бокс. К этому его никогда не тянуло. Это его счастье. Будь он сейчас, например, чемпионом мира по боксу, ему пришлось бы сниматься для газет полуголым. Все бы смеялись, а ему это было бы ни к чему. На следующий день является уже тысяча репортеров. «Господа, — говорит он, — я поражен тем, что меня везде называют Фишерле. Моя фамилия Фишер. Вы это исправите, надеюсь!» Они ругаются, что исправят. Затем они падают перед ним на колени. Люди это маленькие и умоляют его сказать хоть что-нибудь. Их выгонят, говорят они, они потеряют службу, если сегодня ничего не выжмут из него. Вот еще забота на мою голову, думает он, на даровщинку ничего не выйдет, он уже подарил официанту сто долларов, репортерам он ничего не станет дарить. «Предлагайте, господа!» — заявляет он смело. Тысяча долларов! — кричит один, — нахальство, — кричит другой, — десять тысяч! Третий берет его за руку и шепчет: сто тысяч, господин Фишер. У этих людей денег куры не клюют. Он затыкает себе уши. Пока они не дойдут до миллиона, он не хочет ни о чем слышать. Репортеры приходят в раж и вцепляются друг другу в волосы, каждый хочет дать больше, отдать все, потому что сведения о нем продаются с торгов. Один доходит до пяти миллионов, и тут вдруг воцаряется глубокая тишина. Предложить больше никто не решается. Чемпион мира Фишер вынимает из ушей пальцы и заявляет: «Я вам скажу одну вещь, господа. Вы думаете, мне нужно вас разорить? Абсолютно не нужно. Сколько вас? Тысяча. Дайте мне каждый по десяти тысяч долларов, и я скажу это вам всем вместе. Я получу десять миллионов, а вы, никто из вас, не разоритесь. Договорились, поняли?» Они бросаются ему на шею, и его дело в шляпе. Затем он влезает на стул, теперь ему это не нужно, но он все же влезает и рассказывает им чистую правду. Как чемпион мира он с «Неба» свалился. На то, чтобы они в это поверили, уходит час. Он

был неудачно женат. Его жена, пенсионерка, сбилась с правильного пути, она была, как выражаются у него дома, на «Небе», шлюха. Она хотела, чтобы он брал у нее деньги. Он был в безвыходном положении. Если он не будет брать у нее деньги, сказала она, она убьет его. Он вынужден. Он подчинился шантажу и сохранял эти деньги для нее. Двадцать лет он должен был это терпеть. Наконец ему стало невмоготу. Однажды он категорически потребовал, чтобы она это прекратила, а то он станет чемпионом мира по шахматам. Она заплакала, но прекратить все-таки не захотела. Она слишком привыкла к безделью, к красивой одежде и к благородным, гладко выбритым господам. Ему, конечно, жаль ее, но мужчина держит слово. Он прямо с «Неба» отправился в Америку, разбил Капабланку, и вот он здесь. Репортеры в восторге. Он тоже. Он учреждает фонд. Он будет платить стипендию всем кофейням мира. За это хозяева их должны наконец дать обязательство вешать на стенки в виде плакатов все партии, которые сыграет чемпион мира. Повреждение плакатов преследуется полицией. Каждый должен лично убедиться в том, что чемпион мира играет лучше, чем он. А то, чего доброго, явится какой-нибудь обманщик, может быть, карлик или еще какой-нибудь калека и заявит, что *он* играет лучше. Людям в голову не придет проверить ходы этого калеки. С них станет, что они поверят ему только потому, что он умело врет. Этому больше не бывать. Отныне на каждой стене будет висеть плакат. Стоит такому мошеннику назвать один неверный ход, как все посмотрят на плакат, и кто тогда вместе со своим мерзким горбом сгорит со стыда? Этот авантюрист! Кроме того, хозяин обязуется дать ему оплеуху-другую за то, что он ругал чемпиона мира. Пусть вызовет его на борьбу, если у него есть деньги. На эту стипендию Фишер выделяет целый миллион. Он не мелочен. Жене он тоже пошлет миллион, чтобы ей не нужно было больше продаваться. За это она должна письменно обещать ему, что никогда не приедет в Америку и ничего не расскажет полиции о прежних каверзах. Фишер женится на миллионерше. Так он возместит себе эти убытки. Он закажет себе новые костюмы—у первоклассного портного, чтобы жена ничего не заметила. Будет построен колоссальный дворец, с настоящими башнями—ладьями, конями, слонами, пешками, всё в точности как полагается. Слуги будут в ливреях; в тридцати гигантских залах Фишер будет день и ночь играть одновременно тридцать партий—живыми фигурами, которыми он будет коман-

довать. Стоит ему только повести бровью, и его рабы движутся туда, куда он хочет поставить их. Противники прибывают со всего света, бедняги, чтобы чему-то у него поучиться. Иные продают свою одежду и обувь, чтобы оплатить поездку в такую даль. Он гостеприимно принимает их, дает им полный обед, суп и сладкое, к мясу два гарнира, иногда жаркое вместо отварной говядины. Каждому разрешается один раз проиграть ему. За свою милость он не требует ничего. Только на прощанье они должны отмечаться в книге посетителей и письменно подтверждать, что он — чемпион мира. Он защищает свое звание. Жена тем временем разъезжает в автомобиле. Раз в неделю он ездит с ней. В замке гасят все люстры, одно освещение обходится ему в целое состояние. У подъезда вывешивается табличка: «Скоро вернусь. Чемпион мира Фишер». Он и двух часов не отсутствует, а посетители уже стоят в очереди, как во время войны. «Что здесь продается?» — спрашивает какой-то прохожий. «Как, вы не знаете? Вы, наверно, не здешний?» Из жалости тому говорят, кто здесь живет. Чтобы он хорошенько уразумел, сперва говорит каждый в отдельности, а потом, хором, все вместе: «Чемпион мира Фишер подает милостыню». Приезжий не находит слов. Через час к нему возвращается дар речи. «Значит, сегодня приемный день». Этого только и ждали местные жители. «Сегодня как раз не приемный день. А то было бы гораздо больше народу». Теперь все говорят наперебой. «А где же он? В замке темно!» — «С женой в автомобиле. Это уже вторая жена. Первая была простая пенсионерка. Вторая — миллионерша. Автомобиль — его собственный. Это не такси. Он сделан по особому заказу». То, что они говорят, сушая правда. Он сидит в автомобиле, который сделан как раз по нему. Для жены он маловат, во время езды ей приходится нагибаться. Зато она может кататься с ним. Вообще же у нее есть собственная машина. В ее машине он не ездит, она слишком велика для него, его автомобиль стоил дороже. Завод изготовил его в одном-единственном экземпляре. В нем чувствуешь себя как под кроватью. Выглядывать наружу скучно. Он почти закрывает глаза. Ничто не движется. Под кроватью он дома. Сверху он слышит голос жены. Она ему надоела, какое ему до нее дело? В шахматах она ни черта не смыслит. Мужчина тоже что-то говорит. Мужчина ли он? Чувствуется ум. Ждать, ждать, почему он должен ждать? Что ему до ожидания? Тот, наверху, говорит на правильном немецком языке, это какой-то специалист, наверняка тайный

чемпион. Люди боятся, что их узнают. Они ведут себя как короли. Они ходят по бабам инкогнито. Это чемпион мира, не просто мастер! Он должен сыграть с ним. Он больше не выдержит. Голова у него разрывается от хороших ходов. Он разобьет его в пух и в прах!

Фишерле быстро и тихо выползает из-под кровати и становится на свои кривые ноги. Они у него затекли, он шатается и держится за край кровати. Жена исчезла, тем лучше, без нее спокойнее. Длинный гость лежит на кровати один, можно подумать, что он спит. Фишерле хлопает его по плечу и громко спрашивает:

— Вы играете в шахматы?

Гость действительно спит. Надо его растормошить, чтобы он проснулся. Фишерле хочет схватить его за плечи обеими руками. Тут он замечает, что что-то держит в левой руке. Небольшая пачка, она мешает ему, брось ее, Фишерле. Он заносит левую руку, пальцы не выпускают пачку. Ты что! — кричит он, — это еще что такое? Пальцы упорствуют. Они вцепились в пачку, как в только что выигранную королеву. Он всматривается, пачка — это стопка банкнотов. Зачем ему выбрасывать их? Они могут пригодиться ему, он же бедняк. Они, возможно, принадлежат гостю. Тот все еще спит. Они принадлежат Фишерле, потому что он миллионер. Как появился здесь гость? Наверняка иностранец. Он хочет сыграть с ним. Пусть читают табличку у подъезда. Даже покататься на автомобиле не дают. Иностранец кажется ему знакомым. Визит с «Неба». Это неплохо. Но это же тот, по книжному делу. Что ему здесь нужно, книжному делу, книжному делу. У него он когда-то служил. Тогда приходилось сперва расстилать оберточную бумагу, а потом...

Фишерле еще сильнее скрючивается от смеха. Смеясь, он совсем просыпается. Он стоит в гостиничном номере, он должен был спать в соседней комнате, деньги он украл. Скорее прочь отсюда. Ему надо в Америку. Он делает бегом два-три шага к двери. Как только он мог так громко смеяться! Может быть, он разбудил книжное дело? Он крадется назад к кровати и убеждается, что оно спит. Оно донесет на него. Оно не настолько сумасшедшее, чтобы не донести на него. Он делает опять столько же шагов к двери, на этот раз он не бежит, а идет. Как улизнуть ему из гостиницы? Номер находится на четвертом этаже. Он непременно разбудит портье. Завтра его схватит полиция, еще до того, как он сядет в поезд. Почему они схватят его? Потому что у него горб! Он неприязненно ощупывает его своими длинными пальцами. Он не хочет больше в

кутузку. Эти свиньи отнимут у него его шахматы. Он должен брать в руку фигуры, чтобы игра доставляла ему радость. Они вынудят его играть только в уме. Этого никто не выдержит. Он хочет добиться счастья. Он мог бы убить книжное дело. Еврей так не поступит. Чем ему убить его? Он мог бы взять с него слово, что тот не донесет. «Слово или смерть!»—скажет он ему. Тот наверняка трус. Он даст слово. Но можно ли положиться на идиота? С ним любой сделает что угодно. Он нарушит свое слово не просто так, он нарушит свое слово от глупости. Глупость, эти большие деньги в руках у Фишерле. Америка прости-прощай. Нет, он удерет. Пусть поймают его. А не поймают, так он станет чемпионом мира в Америке. А если таки поймают, так он повесится. Одно удовольствие. Тьфу, черт! У него не выйдет. У него нет шеи. Один раз он вешался за ногу, так они перерезали веревку. За вторую ногу он вешаться не станет, нет!

Между кроватью и дверью Фишерле мучится в поисках выхода. Он в отчаянии от своего невезения, ему хочется громко выть. Но разве можно, он же разбудит этого. Много недель пройдет, пока он опять достигнет такого положения, как сейчас. Какое там недель—он ждет уже двадцать лет! Одной ногой он в Америке, другой—в петле. Поди тут знай, как поступить! Американская нога делает шаг вперед, повешенная—шаг назад. Он находит, что это подлость. Он начинает колотить свой горб. Деньги он прячет между ногами. Во всем виноват горб. Пусть ему будет больно. Он это заслужил. Если он, Фишерле, не станет его бить, он завоюет. Если он завоюет, прощай Америка.

Точно посредине между кроватью и дверью стоит, словно прирос к месту, Фишерле и бичует свой горб. Как рукоятки кнута, поднимает он руки поочередно и, перемахивая через плечи пятью ремнями с двумя узлами на каждом—пальцами, вытягивает ими свой горб. Тот не шелохнется. Неумолимой горой возвышается он над низким предгорьем плеч, налитый твердостью. Он мог бы закричать: хватит!—но он молчит. Фишерле набивает руку. Он видит, что способен выдерживать горб. Фишерле готовится к длительной пытке. Дело тут не в его злости, все дело в том, чтобы удары попадали в цель. Слишком коротки, на его взгляд, его длинные руки. Он пользуется ими по мере возможности. Удары сыплются равномерно. Фишерле кричит. Ему бы колотить под музыку. В «Небе» есть пианино. Он создает музыку сам. У него не хватает дыхания, он поет. От волнения его голос звучит резко и пронзитель-

но. «Подыхай—подыхай!» Он не оставляет на этом изверге живого места. Пусть жалуется на него! Перед каждым ударом он думает: «Пропади, гад!» Гад не шевельнется. Фишерле обливается потом. Руки болят, пальцы совсем без сил. Он не отступает, у него есть терпение, он клянется, что горб уже испускает дух. Из лживости он ведет себя как здоровый. Фишерле знает его. Он хочет взглянуть на него. Он выворачивает себе голову, чтобы посмеяться над физиономией противника. Что, тот прячется—ах ты трус!—ах ты урод!—ножом, ножом!—он заколет его, где нож? У Фишерле на губах пена, тяжелые слезы катятся у него из глаз, он плачет, потому что у него нет ножа, он плачет, потому что этот урод молчит. Сила уходит у него из рук. Он оседает пустым мешком. С ним все кончено, он повесится. Деньги падают на пол.

Вдруг Фишерле вскакивает и вопит:

— Шах и мат!

Кин долго видит во сне падающие книги и старается подхватить их своим телом. Он тонок, как булавка, справа и слева от него валяются на пол драгоценности, теперь проваливаются и пол, и он просыпается. Где они, хнычет он, где они. Фишерле заматовал уroda, он поднимает лежащую у его ног пачку денег, подходит к кровати и говорит:

— Знаете что, вы можете считать себя счастливым!

— Книги, книги!—стонет Кин.

— Все спасено. Вот капитал. В моем лице вы имеете сокровище.

— Спасено... Мне снилось...

— Вы-то могли видеть сны. Били меня.

— Значит, здесь кто-то был! — Кин вскочил. — Мы должны немедленно все проверить!

— Не волнуйтесь. Я сразу услышал его, он еще не успел войти в дверь. Я прокрался к вам под кровать, чтобы посмотреть, что он будет делать. Что, по-вашему, было ему нужно? Деньги! Он протягивает руку, я хватаю его. Он дерется, я дерусь тоже. Он просит пощады, я беспощаден. Он хочет удрать в Америку, я не пускаю его. Думаете, он дотронулся до одной книги? Ни до одной! Ум-то у него был. Но все-таки он был дурак. В жизни ему не попасть в Америку. Знаете, куда он попал бы? Между нами говоря, в каторжную тюрьму. Теперь его нет здесь.

— Ну, а каков же он был из себя?—спросил Кин.

Он хочет показать коротышке, что благодарен ему за такую бдительность. Грабитель его не очень-то интересуется.

— Что я могу вам сказать? Он был урод, калека, как я. Готов поклясться, он хорошо играет в шахматы. Бедняга.

— Пускай идет на все четыре стороны, — говорит Кин и бросает, как ему кажется, полный любви взгляд на карлика. Затем оба снова ложатся в постели.

ВЕЛИКОЕ СОСТРАДАНИЕ

В память благочестивой и домовитой владычицы, принимавшей раз в году нищих, государственный ломбард носит подходящее название Терезианум. Уже тогда у нищих отнимали последнее, что у них было: ту многозавидную долю любви, что подарил им около двух тысяч лет назад Христос, и грязь на их ногах. Смывая таковую, правительница согревала себе сердце званием христианки, которое она, в дополнение к бесчисленным прочим титулам, ежегодно приобретала заново. Ломбард, истинное сердце владычицы, представляет собой хорошо закрытое извне, гордое, многоэтажное здание с великолепными толстыми стенами. В определенные часы он дает аудиенции. Предпочтение он оказывает нищим или тем, что хотят ими стать. Люди бросаются к его ногам и, как в древности, приносят в дар десятину, которая, однако, только называется так. Ибо для сердца владычицы это одна миллионная, а для нищих — целое. Сердце владычицы принимает все, оно широкое и просторное, в нем тысячи разных камер и столько же потребностей. Дрожащим нищим милостиво разрешается подняться, и они получают в качестве подаяния маленький подарок, наличные деньги. Получив их, они выходят и из себя и из ломбарда. От обычая омыwać ноги, с тех пор как она жива лишь в виде этого учреждения, владычица отказалась. Зато укоренился другой обычай. За милостыню нищие платят проценты. Последние станут первыми, поэтому процентная ставка здесь самая высокая. Частное лицо, которое осмелится потребовать такие проценты, попадет под суд за ростовщичество. Для нищих делают исключение, поскольку в их случае суммы все равно нищенские. Нельзя отрицать, что люди рады заключить такую сделку. Они толпятся у окошечек, и им не терпится дать обязательство приплатить четверть подаяния. У кого ничего нет, тот рад отдать хоть что-нибудь. Но и среди них находятся жадные проходимцы, которые отказываются вернуть милостыню с процентами и предпочитают отказаться от

заложенной вещи, чем раскрыть кошелек. Они говорят, что у них его нет. Вход разрешен даже им. Большому, доброму сердцу, расположенному среди городской суеты, не хватает покоя, чтобы проверять таких лгунов на их надежность. Оно отказывается от милостыни, оно отказывается от процентов и довольствуется заложенными вещами, стоящими в пять или десять раз больше. Золотая наличность складывается здесь из грошей. Нищие приносят сюда свои лохмотья, сердце одето в бархат и шелк. К его услугам — штаб преданных служащих. Они действуют и хозяйничают до воцеленной пенсии. Как верные вассалы своего господина, они низко оценивают всех и вся. Их обязанность — источать пренебрежение. Чем меньшая отмеряется милостыня, тем больше людей видит себя осчастливленными. Сердце велико, но не бесконечно. Время от времени оно сбывает свое богатство по бросовым ценам, чтобы освободить место для новых подарков. Гроши нищих так же неисчерпаемы, как их любовь к бессмертной императрице. Когда во всей стране дела разлаживаются, здесь они идут. О краденном, как того следовало бы пожелать в интересах более интенсивного товарооборота, речь идет лишь в редчайших случаях.

Среди приемных и сокровищниц этой всерадетельницы хранилища драгоценностей, золота и серебра занимают почетное место неподалеку от главного входа. Здесь — почва прочная и надежная. Этажи распределены по ценности закладов. На самом верху, выше пальто, обуви и почтовых марок, на седьмом, и последнем этаже находятся книги. Они размещены в боковой клетушке, к ним поднимаются по обыкновенной лестнице, похожей на лестницы в доходных домах. Княжеского великолепия главной части здания здесь нет и в помине. Для мозга в этом пышном сердце места мало. В задумчивости останавливаешься внизу и стыдишься — за лестницу, потому что она не так чиста, как полагалось бы в данном случае, за служащих, которые принимают книги вместо того, чтобы читать их, за огнеопасные комнаты под крышей, за государство, которое наотрез не запрещает закладывать книги, за человечество, которое, привыкнув к книгопечатанью, начисто забыло, сколько священного в каждой напечатанной букве. Спрашивается, почему не хранить наверху, на седьмом этаже, ничего не значащие украшения, а книгам, раз уж радикально покончить с этим позором для культуры нельзя, не предоставить прекрасные помещения нижнего этажа. В случае пожара ювелирные изделия можно спокойно выбросить на улицу. Они

хорошо упакованы, слишком хорошо для простых минералов. Камням не больно. Книги же, упавшие на улицу с седьмого этажа, для тонко чувствующего человека мертвы. Можно представить себе, какие муки совести должны испытывать служащие. Пожар распространяется; они не покидают своих мест, но они бессильны. Лестница рухнула. Они должны выбирать между огнем и падением. Их мнения на этот счет расходятся. То, что один из них хочет выбросить в окно, вырывает у него из рук и швыряет в пламя другой. «Лучше сгореть, чем изуродоваться!» — бросает он свое презрение в лицо коллеге. А тот надеется, что внизу натянут сети, чтобы подхватить эти бедные создания целыми и невредимыми. «Ведь напор воздуха они выдержат!» — шипит он своему врагу. «А где ваша сетка, смею спросить?» — «Пожарные сейчас натянут». — «Пока я вижу внизу только разлетающиеся на куски тела». — «Помолчите ради бога!» — «В огонь их, значит, живее!» — «Я не могу». Он не в силах сделать это, среди них он стал человеком. Он как мать, которая наудачу бросает в окно собственное дитя; ребенок подхватят, а в огне он безусловно погибнет. У огнепоклонника сильнее характер, у другого больше души. То и другое вполне понятно, оба исполняют свой долг до конца, оба погибают во время пожара, но что из того книгам?

Кин уже целый час стоял, опираясь на перила, и стыдился. Ему казалось, что он напрасно прожил жизнь. Ему было известно, как бесчеловечно обращается человечество с книгами. Он не раз бывал на аукционах, он обязан им раритетами, которые тщетно искал у букинистов. С тем, что способно было обогатить его знания, он мирился всегда. Иные страшные впечатления глубоко запали ему в душу. Никогда не забудет он великолепную лютеровскую Библию, на которую как стервятники накинудись нью-йоркские, лондонские и парижские торговцы и которая под конец оказалась поддельной. Разочарование тягавшихся обманщиков было ему безразлично, но то, что надувательство распространилось даже на эту сферу, казалось ему непостижимым. Ощупывать книги перед покупкой, раскрывать, закрывать их, обращаться с ними совсем как с рабами — это было ему как нож острый. Когда выкликали названия, назначали и предлагали более высокие цены люди, не прочитавшие за жизнь и тысячи книг, он воспринимал это как вопиющее бесстыдство. Каждый раз, когда нужда забрасывала его в такой аукционный ад, ему очень хотелось взять с собой

сотню хорошо вооруженных наемников, выдать торговцам по тысяче, любителям—по пятьсот ударов, а книги, о которых шло дело, конфисковать и взять под опеку. Но чего стоили те впечатления по сравнению с неисчерпаемой жестокостью этого ломбарда. Пальцы Кина запутались в столь же замысловатом, сколь и безвкусном узоре железных перил. Они дергали за эту ограду в тайной надежде разрушить все здание. Позор идолопоклонства удручал его. Он был готов оказаться погребенным под шестью этажами—при условии, что их никогда не отстроят заново. Можно ли было положиться на слово варваров? Одно из намерений, приведших его сюда, он отбросил: он отказался от осмотра верхних комнат. Пока действительность превосходила самые худшие предсказания. Боковой проход оказался еще невзрачнее, чем было сказано. Ширина лестницы, по прикидке его провожатого полутораметровая, составляла на самом деле максимум 105 сантиметров. Самоотверженные люди часто ошибаются в числовых выражениях. Грязь лежала здесь уже добрых двадцать дней, а не каких-то два дня. Звонок для вызова лифта не действовал. Стеклянные двери, через которые ты попадал в боковой проход, были плохо смазаны. Табличка, указывавшая, где книжный отдел, была намалевана неумелой рукой неподходящей тушью на скверной картонке. Под ней аккуратно висела другая, печатная: *Почтовые марки на 2-м этаже*. В большое окно виден был маленький дворик. Цвет потолка был неопределенный. В ясное утро чувствовалось, как жалок свет, который дает здесь электрическая лампочка вечером. Во всем этом Кин доблестно удостоверился. Но взойти по ступеням лестницы он все-таки не решался. Едва ли он вынесет ужасное зрелище, которое ждет его наверху. Его здоровье было подорвано. Он боялся паралича сердца. Он знал, что всякой жизни приходит конец, но пока он чувствовал в себе свой нежно любимый груз, он обязан был беречь себя. Склонив над перилами тяжелую голову, он стыдился.

Фишерле гордо наблюдал за ним. Он стоял на некотором расстоянии от своего друга. В ломбарде он ориентировался так же хорошо, как и в «Небе». Он хотел получить серебряный портсигар, которого в глаза не видел. Ломбардную квитанцию на портсигар он выиграл в шахматы у одного мошенника, победив его раз двадцать, и все еще носил ее, хорошо спрятанную, в кармане, когда поступил к Кину на службу. Был слух, что речь идет о новом тяжелом портсигаре, вещи

великолепной. Уже тысячи раз Фишерле удавалось перепродавать квитанции в Терезиануме заинтересованным лицам. Так же часто он наблюдал, как выкупались его и чужие сокровища. Кроме главной мечты о шахматном чемпионстве, он носился еще с одной, поменьше: он мечтал о том, чтобы предъявить принадлежащую ему квитанцию, сунуть в зубы служащему всю сумму ссуды с процентами, дожидаться, как все прочие, выдачи своей собственности, а потом обнюхивать и разглядывать ее так, словно она всю жизнь была у него под носом и перед глазами. Как некурящему, портсигар ему не требовался, но хоть одно из его желаний сейчас могло сбыться, и он попросил Кина отпустить его на часок. Хотя Фишерле объяснил в чем дело, Кин наотрез отклонил его просьбу. Он вполне доверяет ему, но после того, как тот взял у него половину библиотеки, он, Кин, поостережется выпустить его из поля зрения. Ученые с самым твердым характером и те из-за книг становились, бывало, преступниками. Как же велик соблазн для человека смышленного и жаждущего образования, которого книги впервые подавляют всеми своими прелестями!

С разделением груза дело обстояло так. Утром, когда Фишерле приступил к упаковке, Кин не мог понять, как он все это выносил до сих пор. Педантичность его слуги поставила его чуть ли не в опасное положение. Раньше он по утрам вставал и уходил нагруженный. У него никогда не возникал вопрос, каким образом возвращаются в его голову нагромозжденные им накануне вечером книги. Из-за вмешательства Фишерле сразу все изменилось. Утром после неудавшегося ограбления тот как на ходулях подошел к кровати Кина, настоятельно попросил соблюдать осторожность при подъеме и спросил, можно ли приступить к погрузке. Ответа, по своему обыкновению, он не стал дожидаться; он с легкостью поднял ближайшую стопку и поднес ее к голове еще лежавшего Кина. «Они уже там!» — сказал он. Пока Кин умывался и одевался, коротышка, не придававший умыванию никакого значения, продолжал трудиться вовсю. За полчаса он закончил с одной комнатой. Кин нарочно растягивал свои действия. Он думал о том, как же он до сих пор это делал, но ничего не мог вспомнить. Странно, он становился забывчивым. Пока дело касалось таких внешних сторон, он не очень-то беспокоился. На всякий случай надо было хорошенько проследить, не распространяется ли его забывчивость и на область науки. Это было бы ужасно. Его память считалась истинным

даром божьим, феноменом, уже в бытность его школьником знаменитые психологи исследовали особенности его памяти. В одну минуту он выучил наизусть число π до 65-го знака. Ученые господа—все вместе и порознь—качали головами. Может быть, он перегрузил свою голову. Надо было только видеть это, стопу за стопой, башню за башней вбирал он в себя, а ему следовало немного пощадить свою голову. Голова дается тебе только один раз, только один раз ты доводишь ее до такого совершенства, что разрушишь, то пропало. Он глубоко вздохнул и сказал: «Вам легко, дорогой Фишерле!» — «Знаете что, — этот человек мгновенно понял, что имелось в виду, — другую комнату я возьму на себя. У Фишерле тоже есть голова. Или вы не верите?» — «Да, но...» — «Что за «но»... знаете что, я обижен!»

После долгих колебаний Кин дал согласие. Фишерле должен был поклясться жизнью ума, что он ни разу не воровал. Кроме того, он уверял Кина в своей невинности и все повторял: «Господи, с таким горбом! Как вы представляете себе воровство?» Кин вздумал было потребовать залога. Но поскольку *его* даже большой залог от «тяги» к книгам не удержал бы, он эту затею отставил. Он сказал еще: «Бегать, конечно, вы мастер!» Фишерле разглядел подвох и ответил: «Зачем мне врать? Если вы сделаете шаг, то я сделаю полшага. В школе я всегда бегал хуже всех». Он придумал название школы на тот случай, если Кин спросит об этом. На самом деле он никогда не учился ни в какой школе. Но Кин бился с более важными мыслями. Он должен был дать сейчас самое важное в его жизни доказательство своего доверия. «Я верю вам!» — сказал он просто. Фишерле возликовал. «Вот видите, я же говорю!» Книжный союз был заключен. Как слуга, коротышка взял на себя более тяжелую повинность. По улице он шел впереди Кина, все время не больше чем на два шага. Из-за горба было не очень заметно, как он сгибался при этом. Но его заплетающаяся походка говорила о тяжелых томах. Кин чувствовал облегчение. С поднятой головой следовал он за своим доверенным, не поворачивая взгляда ни вправо, ни влево. Он не спускал его с горба, который качался, как у верблюда, хоть и не столь медленно, но столь же ритмично. Время от времени он вытягивал вперед руки, чтобы посмотреть, достают ли еще до горба кончики пальцев. Если они чуть-чуть не доставали, он ускорял шаг. На случай попытки к бегству он составил план действий. Железной хваткой вцепившись в горб, он всей своей длиной

обрушится на преступника; нужно только постараться, чтобы голова Фишерле не пострадала. Если проверка руками подтверждала полный порядок и Кину не надо было ни ускорять, ни замедлять шаг, его охватывало какое-то щекочущее, волнуящее прекрасное чувство, знакомое лишь людям, которые позволяют себе роскошь *уловать*, не боясь никаких разочарований.

Два полных дня он давал себе волю под предлогом отдыха от испытанных передряг и подготовки к будущим передрягам, под предлогом последнего обследования города в поисках неизвестных книжных лавок. Его мысли были беззаботны и радостны, он шаг за шагом участвовал в возрождении своей памяти, первые добровольные каникулы, устроенные им себе после студенческих лет, он проводил в обществе преданного существа, друга, который высоко ценил ум, — как тот называл образованность, — носил с собой недюжинную библиотеку, но, при всем желании прочесть ту или иную книгу, самочинно не раскрывал ни одного тома; пусть этот друг был уродлив, пусть, по его собственному признанию, не мастер бегать, — он был достаточно силен и вынослив, чтобы справляться с работой носильщика. Кин почти готов был поверить в счастье, в эту презренную цель жизни людей неграмотных. Если оно приходит само собой и за ним не гонишься, если не держишь его силой и обращаешься с ним довольно пренебрежительно, тогда можно спокойно и потерпеть его у себя несколько дней.

Когда забрезжил третий день эпохи счастья, Фишерле попросил отпустить его на часок. Кин поднял руку, чтобы ударить себя ею по голове. При других обстоятельствах он так и сделал бы. Но, будучи уже человеком бывалым, он решил промолчать и разоблачить предательские замыслы коротышки, если таковые имелись. Рассказ о серебряном портсигаре он счел наглой ложью. Повторив свое «нет» сначала всячески обвиняками, а потом все яснее и злее, он вдруг сказал: «Хорошо, я провожу вас!» Этому несчастному калеке придется признаться в своем грязном умысле. Он пойдет с ним до самого окошка и поглядит на эту мнимую квитанцию и на этот мнимый портсигар. Поскольку их не существует, этот негодяй там, при всех, упадет перед ним на колени и с плачем попросит у него прощенья. Фишерле заметил его подозрение и честно обиделся. Тот, видно, принимает его за сумасшедшего. Станет он красть книги, да еще такие! Оттого, что он хочет уехать в Америку и зарабатывает

эту поездку тяжелым трудом, с ним обращаются как с человеком, у которого ум и не ночевал!

По пути в ломбард он рассказал Кину, каково там внутри. Он описал ему это внушительное здание со всеми его комнатами от подвального этажа до чердака. Под конец он подавил вздох и сказал: «О книгах давайте лучше не будем говорить!» Кин загорелся любопытством. Он не переставал спрашивать, пока полностью не вытянул из коротышки, напустившего на себя неприступность, ужасную истину. Он верил ему, потому что от людей можно ждать любой подлости, он сомневался, потому что сегодня относился к коротышке враждебно. Фишерле нашел ноты, которые нельзя было пропустить мимо ушей. Он описал, как принимаются книги. Какая-то свинья оценивает их, какой-то пес выписывает квитанцию, какая-то баба заворачивает их в грязные тряпки и прикрепляет к ним номерок. Какой-то инвалид, который не держится на ногах, утаскивает их прочь. Когда смотришь ему вслед, у тебя разрывается сердце. Хочется еще немного постоять перед стеклянной загородкой, чтобы выплакаться, прежде чем выйдешь на улицу, ведь стыдно же своих красных глаз, но свинья хрюкает: «С вами все», выгоняет тебя и опускает стекло. Есть чувствительные натуры, которые и тогда не в силах уйти. Но тут начинает лаять пес, и ты уносишь ноги, а то ведь укусит.

— Но это же бесчеловечно! — вырвалось у Кина. Он догнал карлика, пока тот рассказывал, пошел с замирающим сердцем с ним рядом и сейчас остановился посреди улицы, которую они переходили.

— Все так и есть, как я говорю! — подтвердил Фишерле плаксивым голосом. Он вспомнил об оплеухе, которую отвесил ему пес, когда он в течение недели изо дня в день выклянчивал у него какую-то старую книгу о шахматах. Свинья стояла рядом и покатывалась со смеху от радости и от жира.

Фишерле больше ничего не сказал. Он, казалось ему, достаточно отомстил. Кин тоже молчал. Когда они достигли цели, он потерял всякий интерес к портсигару. Он смотрел, как Фишерле выкупал портсигар, как то и дело потирал им пиджак.

— Я не узнаю его. Хорошо же они обращаются с вещами!

— С вещами.

— Откуда я знаю, что это мой портсигар?

— Портсигар.

— Знаете что, я подам жалобу. Тут вор на воре.

Я этого так не оставлю! Что я, не человек? У бедняка тоже есть право!

Он так разошелся, что окружающие, которые до сих пор дивились только его горбу, обратили теперь внимание и на его слова. Считая себя во всяком случае обманутыми здесь, иные брали сторону обиженного природой еще больше, чем они сами, горба, хотя и не верили в подмену закладываемых вещей. Фишерле вызвал всеобщий ропот, он не верил своим ушам, к нему прислушивались. Он продолжал говорить, ропот усиливался, он готов был кричать от воодушевления, но тут какой-то толстяк рядом с ним проворчал:

— Так идите, жалуйтесь!

Фишерле еще несколько раз быстро протер портсигар, открыл его и закрыл:

— Нет, вы подумайте! Знаете что! Это он!

Ему простили разочарование, которое он так легко-мысленно принес, на недоразумение с портсигаром махнули рукой, в конце концов он был всего лишь жалкий калека. Другому на его месте пришлось бы хуже. Покидая зал, Кин спросил:

— Что это был за шум там?

Фишерле пришлось напомнить ему, зачем они сюда пришли. Он показывал Кину портсигар до тех пор, пока тот не увидел его. Несостоятельность подозрения, которое после предшествовавших ему новостей казалось пустяком, не произвела на Кина особого впечатления.

— Теперь отведите меня туда! — приказал он.

Целый час он уже стыдился. Куда еще заведет нас этот мир? Мы явно стоим перед катастрофой. Суеверие дрожит перед круглым числом лет — тысяча — и перед кометами. Человек знания, считавшийся уже у древних индийцев святым, шлет к чертям всякие игры с числами и кометы и объясняет: наша подкрадывающаяся гибель — это вселившаяся в людей непочтительность, от этого яда мы все погибнем. Горе тем, кто придет после нас! Они обречены, они примут от нас миллион мучеников и орудия пытки, с помощью которых они сотворят второй миллион. Никакому правительству не выдержат такого количества святых. В каждом городе воздвигнут семиэтажные дворцы инквизиции вроде этого. Кто знает, не строят ли американцы свои ломбарды в виде небоскребов. Узники, которых годами заставляют ждать сожжения на костре, томятся там на тридцатом этаже. Какая жестокая ирония эти открытые воздуху тюрьмы! Помочь, а не ныть? Действовать, а не проливать слезы? Как попасть туда? Как разведать

местность? Ведь проживаешь жизнь в слепоте. Что ты видишь из всего ужаса, который окружает тебя? Как обнаружил бы ты этот позор, этот безотрадный, кошмарный, губительный позор, если бы о нем, запинаясь от стыда, содрогаясь, как в страшном сне, изнемогая от тяжести собственных страшных слов, случайно не рассказал тебе какой-то порядочный карлик? Надо брать пример с него. Он еще ни с кем об этом не говорил. В своем вонючем вертепе он сидел молча, даже за шахматной игрой думая об ужасных картинах, навеки въевшихся в его мозг. Он страдал, а не болтал языком. День великой расплаты придет, говорил он себе. Он ждал, изо дня в день следил он за незнакомыми людьми, когда те входили в его заведение, он тосковал о человеке, о человеке с душой, который видит, слышит и чувствует. Наконец явился один, он пошел за ним, он предложил ему свои услуги, он подчинился ему в бдении и во сне, и когда настал миг, он заговорил. Улица не согнулась при его словах, ни один дом не рухнул, движение не застопорилось, но у того одного, к которому была обращена его речь, сперло дыхание, и этот один был Кин. Он услышал его, он понял его, он возьмет себе в пример этого героя-карлика, смерть болтовне, теперь надо действовать!

Не поднимая глаз, он отпустил перила и стал поперек узкой лестницы. Тут он почувствовал какой-то толчок. Его мысли сами собой претворились в действие. Он пристально посмотрел на сбившегося с пути и спросил:

— Что вам угодно?

Сбившийся с пути—это был полуживой от голода студент—нес под мышкой тяжелый портфель. У него были сочинения Шиллера, и он впервые пришел в учреждение, где закладывают вещи. Поскольку эти сочинения были очень зачитаны, а он по уши (уши бог дал ему длинные) увяз в долгах, держался он здесь робко. Перед лестницей из его головы (голову бог ему дал слишком маленькую) улетучилась последняя лихость—зачем он пошел учиться, отец, мать, дяди и тетки советовали идти в торговлю, — он взял разбег и натолкнулся на какую-то суровую фигуру, — конечно, это был здешний директор, — которая пронзила его взглядом и резким голосом велела остановиться:

— Что вам угодно?!

— Я... я хотел пройти в книжный отдел.

— Это я.

Студент, питавший уважение к профессорам и им подобным, поскольку те всю его жизнь издевались над

ним, а также к книгам, поскольку их у него было так мало, потянулся к шляпе, чтобы снять ее. Тут он вспомнил, что на нем не было шляпы.

— Что вы собирались предложить наверху? — спросил Кин с угрозой.

— Ах, только Шиллера.

— Покажите.

Студент не осмелился протянуть ему портфель. Он знал, что никто не возьмет у него этого Шиллера. На ближайшие дни этот Шиллер был его последней надеждой. Ему не хотелось похоронить ее так быстро. Кин отнял у него портфель энергичным рывком. Фишерле пытался сделать знак своему хозяину и несколько раз сказал: «Тсс! Тсс!» Смелость грабежа на открытой лестнице ему импонировала. Этот специалист по книжной части был, возможно, еще хитрей, чем он думал. Возможно, он только прикидывался сумасшедшим. Но здесь, на открытой лестнице, так нельзя. Яростно жестикулируя за спиной студента, он одновременно делал необходимые приготовления, чтобы в нужный момент убежать. Кин открыл портфель и хорошенько осмотрел Шиллера.

— Восемь томов, — определил он, — издание само по себе ничего не стоит, состояние книг ужасное!

Уши студента побагровели.

— Что вы хотите за это? Я имею в виду, сколько... денег?

Отвратное это слово Кин произнес под конец и помедлив. С золотой юности, которую он провел преимущественно в стране своего отца, студент помнил, что цены надо назначать с запросом, чтобы потом можно было уступить.

— Недавно он влетел мне в тридцать два шиллинга!

Строй фразы и интонацию студент позаимствовал у своего отца. Кин достал бумажник, извлек из него тридцать шиллингов, добавил к ним две монетки, которые вынул из кошелька, протянул всю эту сумму студенту и сказал:

— Никогда больше не делайте этого, друг мой! Ни один человек не стоит того, что стоят его книги, поверьте мне!

Он вернул ему полный портфель и тепло пожал руку. Студент торопился, он проклинал формальности, которыми его еще задерживали здесь. Он был уже у стеклянной двери, — крайне обескураженный Фишерле освободил ему путь, — когда Кин крикнул ему вдогонку:

— Почему именно Шиллера? Читайте лучше оригинал! Читайте *Иммануила Канта!*

— Сам ты оригинал, — мысленно огрызнулся студент и побежал со всех ног.

Волнение Фишерле не знало пределов. Он готов был расплакаться. Он схватил Кина за пуговицы штанов — пиджак был слишком высок для него — и заверещал:

— Знаете, как это называется? Это называется сумасшествие! У человека есть деньги, или у него нет денег. Если они у него есть, так он их не отдает, а если их нет, так он их все равно не отдает. Это преступление! Стыдитесь, такой большой человек!

Кин не слушал его. Он был очень доволен своим поступком. Фишерле дергал его штаны до тех пор, пока преступник не обратил на него внимания. Почувствовав в поведении коротышки немой упрек, как он определил это про себя, Кин, чтобы задобрить его, рассказал ему о внутренних заблуждениях, которыми так богата человеческая жизнь в экзотических странах.

Богатые китайцы, озабоченные своим благополучием и на том свете, обычно жертвуют крупные суммы на содержание в буддистских монастырях крокодилов, свиней, черепах и других животных. Там устраиваются особые пруды или загоны для них, уходом за ними монахи только и заняты, и горе им, если с каким-нибудь пожертвованным крокодилем что-то случится. Жирнейшую свинью ожидает легкая, естественная смерть, а благородного жертвователя — награда за его добрые дела. Монахам перепадает от этого столько, что все они вместе взятые могут на это жить. Посещая какое-нибудь святилище в Японии, видишь сидящих у дороги детей с пойманными птицами, маленькие клетки стоят вплотную одна к другой. Специально натасканные птицы бьют крыльями и громко кричат. Идущие по дороге паломники-буддисты сжаливаются над ними ради собственного блаженства. За небольшой выкуп дети отворяют дверцы клеток и выпускают птиц на свободу. Выкупать животных вошло там в обычай. Какое дело проходящим паломникам до того, что прирученных птиц их хозяева снова заманят в клетки. Живя в неволе, одна и та же птица служит объектом сострадания паломников десятки, сотни и тысячи раз. За исключением некоторых, совсем уж темных простофиль, паломники прекрасно знают, что произойдет с птицами, как только они повернутся спиной к ним. Но истинная судьба птиц им безразлична.

— Легко понять почему. — Кин выводил мораль из своего рассказа. — Речь ведь идет только о животных. А к ним можно быть безразличными. Их поведение определяется глупостью, которая ими правит. Почему

птицы не улетают? Почему хотя бы не отпрыгивают подальше, если у них подрезаны крылья? Почему дают заманить себя снова? Их животная глупость им же и на беду! Сам же по себе выкуп, как всякое суеверие, имеет глубокий смысл. Воздействие такого поступка на человека, который совершает его, зависит, конечно, от того, *что* выкупаешь. Замените этих до смешного глупых животных книгами, настоящими, умными книгами, и поступок, который вы совершаете, приобретает высочайшую нравственную ценность. Вы исправляете человека, сбившегося с пути, ищущего прибежища в аду. Можете быть уверены, что этого Шиллера второй раз не потащат на эшафот. Исправляя человека, который по нынешним законам — а лучше сказать: при нынешнем беззаконии — распоряжается своими книгами так, словно это животные, рабы или рабочие, вы делаете и участь его книг более сносной. Придя домой, человек, которому таким способом напомнили об его долге, бросится к ногам тех, кого он считал своими слугами, но кому в духовном смысле обязан был служить сам, и поклянется исправиться. И даже если он настолько закоснел, что уже не исправится, — все равно, выкуп вырвет его жертвы из ада. Знаете, что это такое — пожар в библиотеке? Да, пожар в библиотеке на седьмом этаже! Только представьте себе это! Десятки тысяч пожаров... это миллионы страниц... миллиарды букв... каждая из них горит... кричит, зовет на помощь... Тут разорвутся барабанные перепонки, разорвется сердце... Но оставим это! Я уже много лет не чувствовал себя таким довольным, как сейчас. Мы и впредь будем идти путем, на который вступили. Наша лепта в облегчение общей беды невелика, но мы ее внесем. Если каждый скажет себе: один я в поле не воин, то ничего не изменится, и этому бедствию не будет конца. К вам я питаю безграничное доверие. Вы обиделись, потому что я не посвятил вас в свой план заранее. Но он принял четкие формы в тот миг, когда меня безмолвно толкнули сочинения Шиллера. У меня не оставалось времени, чтобы уведомить вас. Зато сейчас я сообщу вам оба лозунга, под которыми будет проходить наша акция: действовать, а не ныть! действовать, а не проливать слезы! Сколько у вас денег?

Фишерле, который сначала прерывал рассказ Кина сердитыми возгласами вроде «Что я могу поделаться с японцами?» или «А почему не золотых рыбок?», а благочестивых паломников упорно обзывал «бездомниками», не пропуская, однако, мимо ушей ни одного слова, стал спокойнее, когда речь зашла о лепте и о

плане на будущее. Он как раз размышлял о том, как спасти свои деньги на поездку в Америку, деньги, которые принадлежали ему, которые были уже в руках у него чистоганом и которые он вынужден был из осторожности временно возвратить. Тут вопрос Кина «Сколько у вас денег?» заставил его упасть с неба на землю. Он сжал зубы и промолчал, только из деловых соображений, понятно, а то бы уж он подробно высказал ему свое мнение. Смысл этой комедии начал для него проясняться. Благородному господину было жаль вознаграждения за находку, которое честно заработал Фишерле. Господин был слишком труслив, чтобы вытащить у него эти деньги ночью. Да он и не нашел бы их, перед сном Фишерле спрятал их, плотно скомкав, между ногами. Так что же он сделал, этот аристократ, так называемый ученый и библиотекарь, а на самом деле даже не специалист по книжному делу, просто какой-то проходимец, свободно разгуливающий только потому, что у него нет горба, — что же он сделал? Тогда, едва выйдя из «Неба», он был рад получить назад свои неведомо где наворованные денежки. Он боялся, что Фишерле позовет остальных, поэтому он тут же выложил вознаграждение за находку. Чтобы вернуть себе и эти десять процентов, он великодушно предложил: «Поступайте ко мне на службу!» Но что он сделал потом, этот авантюрист? Он притворился сумасшедшим. Надо признать, у него это получается замечательно. Фишерле попался на удочку. Целый час он изображал здесь перед ним всякие чувства, пока кто-то не пришел с книгами. Он с радостью жертвует ему тридцать два шиллинга, ожидая, что получит у Фишерле в тридцать раз больше. Человек работает с таким оборотом, а на крошечное вознаграждение бедному карманщику щедрости не хватает! Как мелочны все эти важные господа! У Фишерле нет слов. Он такого не ожидал. От этого сумасшедшего — вот уж нет. Он не обязан быть действительно сумасшедшим, хорошо, но почему он так нечист на руку? Фишерле оплатит ему за это. Каких только он не знает прекрасных историй! Умом он не обижен. Сразу видна разница между бедным карманщиком и авантюристом высокой морали. В гостинице такому поверит любой. Фишерле тоже чуть не поверил.

В то время как он кипел ненавистью и при этом пресмыкался от восхищения, Кин доверительно взял его под руку и сказал:

— Вы ведь не сердитесь на меня? Сколько у вас денег? Мы должны друг друга поддерживать!

«Мерзавец! — подумал Фишерле. — Ты играешь хорошо, но я сыграю еще лучше!» Вслух он сказал:

— Шиллингов тридцать, я думаю, найдется.

Остальное было надежно спрятано.

— Это мало. Но лучше, чем ничего.

Кин уже забыл, что несколько дней назад подарил коротышке крупную сумму. Он тут же принял лепту Фишерле, растроганно поблагодарил его за такую готовность к жертвам и был не прочь посулить ему небесное блаженство.

С этого дня оба вели друг против друга борьбу не на жизнь, а на смерть, борьбу, о которой один из них не подозревал. Другой, чувствующий себя более слабым актером, взял в свои руки режиссуру, надеясь уравнять возможности этим способом.

Каждое утро Кин появлялся возле ломбарда. Еще до открытия окошек он ходил мимо главного подъезда Терезианума взад и вперед, внимательно наблюдая за прохожими. Если кто-нибудь останавливался, он подходил к нему и спрашивал: «Что вам угодно здесь?» Даже самые грубые и самые гнусные ответы его не смущали. Успех подтверждал его правоту. Те, кто проходил по этому переулку до девяти, обычно лишь из любопытства смотрели на плакаты у здания, оповещавшие о том, когда и где состоится ближайший аукцион и что будет на нем продано с молотка. Люди робкого десятка принимали его за тайного детектива, охраняющего сокровища Терезианума, и спешили избежать конфликта с ним. До сознания равнодушных вопрос его доходил лишь двумя переулками дальше. Наглецы обругивали его и, вопреки своему обыкновению, стояли перед плакатами долго и неподвижно. Он предоставлял им свободу действий. Он хорошенько запоминал их лица. Он считал их особенно отягченными сознанием своей вины грешниками, которые производят рекогносцировку, чтобы через час, может быть, вернуться сюда со своими козлами отпущения под мышкой. То, что они, однако, так и не возвращались, Кин объяснял воздействием неумолимых взглядов, которые он бросал на них. В определенное время он направлялся в маленький вестибюль бокового подъезда. Тот, кто открывал его стеклянную дверь, видел прежде всего тощую, прямую, как свеча, фигуру возле окна и должен был, чтобы пройти к лестнице, проследовать мимо нее. Когда Кин с кем-либо заговаривал, он сохранял совершенно невозмутимое выражение лица. Только губы шевелились у него, как два остро наточенных ножа. В первую очередь дело шло для него о выкупе бедных книг, во

вторую — об исправлении извергов рода человеческого. В книгах он разбирался недурно, в людях, как вынужден был признать, хуже. Поэтому он решил стать хорошим психологом.

Для лучшей ориентации он разделил появившихся перед стеклянной дверью людей на три группы. Для первой набитая сумка была обузой, для вторых — уловкой, для третьих — усладой. Первые придерживали книги обеими руками, без грации, без любви, как носят какой-то там тяжелый пакет. Они толкали книгами двери. Они могли бы проташить книги и по перилам — при случае. Желая скорее избавиться от обузы, они даже не пытались прятать их и всегда держали их у груди или у живота. Предложенную цену они принимали с готовностью, довольствуясь любой суммой, они не торговались и уходили совершенно такими же, как приходили, потяжелев разве лишь на одну мысль, потому что уносили с собой деньги и какие-то сомнения в правомерности их принятия. Кину эта группа была неприятна, ее представители учились, на его взгляд, слишком медленно, для окончательного исправления на каждого уходило бы тут по несколько часов.

Истинную ненависть, однако, испытывал он ко второй группе. Принадлежавшие к ней прятали книги на спине. В лучшем случае они показывали краешек между рукой и ребрами, чтобы раззадорить покупателя. Самые блестящие предложения они принимали с недоверием. Они отказывались открыть сумку или пакет. Они торговались до последнего момента и под конец всегда делали вид, что их надули. Случались среди них и такие, которые, получив деньги, все-таки хотели подняться в ад. Но тут Кин брал такой тон, что сам диву давался. Он преграждал им путь и обращался с ними так, как они того заслуживали: он требовал тут же вернуть деньги. Услыхав это, они убегали. Небольшие деньги в кармане были им милее, чем большие неведомо где. Кин был убежден, что наверху платят огромные суммы. Чем больше он сам отдавал денег, чем меньше оставалось их у него, тем сильнее угнетала его мысль о бессовестных конкурентах — чертях, которые засели там, наверху.

Из третьей группы еще не приходил никто. Но он знал, что она существует. Ее представителей, чьи особенности были знакомы ему как нельзя лучше, он ждал с терпеливой тоской. Когда-нибудь придет тот, кто носит свои книги с наслаждением, тот, чей путь в ад вымощен муками, кто в изнеможении свалился бы, если бы с ним не было его друзей, которые вливали в

него силы. У него походка сомнамбулы. За стеклянной дверью появляется его силуэт, он медлит: как открыть ее толчком, не причинив друзьям ни малейшей боли? Ему это удастся. Любовь придает находчивость. При виде Кина, воплощения своей собственной совести, он заливается краской. Предельным напряжением воли он преодолевает себя и делает несколько шагов вперед. Голова у него опущена. Возле Кина, прежде чем тот заговаривает с ним, он останавливается по внутреннему велению. Он чувствует, что скажет ему его совесть. Произносится ужасное слово «деньги». Он содрогается, как приговоренный к гильотине, он громко всхлипывает: «Только не это! Только не это!», он не возьмет денег. Скорей он зарежется. Он пустился бы в бегство, но силы оставляют его, да и всякого резкого движения надо ради безопасности друзей избегать. Совесть обнимает его и ласково подбадривает. Один раскаявшийся грешник, говорит он, дороже, чем тысяча праведников. Может быть, он завещает ему свою библиотеку. Когда этот человек придет, он покинет свой пост на час-другой, этот один, который ничего не берет, стоит тысячи тех, кто хочет больше. В ожидании он отдает этой тысяче то, что у него есть. Может быть, кто-нибудь из первой группы все-таки дома призадумается. На вторую у него нет надежды. Жертвы он спасает все до одной. Для этого, а не для собственного удовольствия, и стоит он здесь.

Над головой Кина, чуть правее, висела табличка, строжайшим образом запрещающая останавливаться на лестницах, в коридорах, а также у радиаторов центрального отопления. Фишерле в первый же день обратил на это внимание своего смертельного врага.

— Подумают, что у вас нет угля, — сказал он, — здесь толкуются только люди без угля, и это им не разрешается. Их прогоняют. Топят впустую. Чтобы клиенты не простудили себе ум, поднимаясь по лестнице. Кому холодно, того сразу вон. А то он еще согреется. Кому не холодно, тому разрешается остаться. Посмотрев на вас, любой подумает, что вам холодно!

— Батареи же находятся только на первой площадке, на пятнадцать ступенек выше, — возразил Кин.

— Даром тепла не дают, даже хоть сколько-нибудь. Знаете что, там, где вы стоите, я тоже стоял уже, и меня все-таки прогнали.

Это не было ложью.

Понимая, что его конкуренты весьма заинтересованы в том, чтобы выдворить его, Кин с благодарностью

принял предложение коротышки стоять на стреме. Его интерес к половине библиотеки, которую он доверил тому, увял. Грозил опасности посерьезнее. Теперь, когда они объединились для общего дела под общими лозунгами, он исключал возможность обмана. Когда они на следующий день отправились на свое рабочее место, Фишерле сказал:

— Знаете что, идите вперед! Мы не знакомы. Я стану где-нибудь снаружи. Чтобы вы мне не мешали! Я даже не скажу вам, где буду. Если они заметят, что мы заодно, то вся работа насмарку. В случае опасности я пройду мимо вас и подмигну. Сперва убежите вы, потом убегу я. Вместе мы не будем бежать. За той желтой церковью у нас будет randevu. Там и дожидайтесь меня. Понятно?!

Он честно удивился бы, если бы его предложение отвергли. Будучи заинтересован в Кине, он не собирался избавляться от него. Как можно было подумать, что он удерет из-за какого-то вознаграждения за находку, из-за какой-то подачки, когда он замахнулся на большее? Этот авантюрист, этот специалист по книжному делу, этот хитрый пес разглядел честную часть его намерений и послушался.

ЧЕТВЕРО И ИХ БУДУЩЕЕ

Едва Кин исчез внутри здания, Фишерле медленно вернулся к ближайшему углу, свернул в переулок и пустился бежать что было сил. Добежав до «Идеального неба», он сперва дал своему потному, задыхающемуся, дрожащему телу немного передохнуть, а потом вошел внутрь. В это время суток большинство небожителей обычно еще спали. На это он и рассчитывал, опасные и грубые люди были ему сейчас ни к чему. На месте оказались: долговязый официант; лоточник, извлекавший из бессонницы, которой он страдал, хотя бы ту выгоду, что мог шагать по двадцать четыре часа в сутки; слепой инвалид, который, подкрепляясь здесь перед началом рабочего дня дешевым утренним кофе, еще пользовался своими глазами; старая продавщица газет, которую называли «Фишерша», потому что она была похожа на Фишерле и, как всем было известно, любила его столь же тайной, сколь и несчастной любовью, и ассенизатор, который обычно после ночной работы отдыхал от зловония выгребных ям в зловонии «Неба». Он слыл самым солидным из здешних завсегдаев, потому что отдавал три четверти своего недель-

ного жалованья жене, в счастливом браке с которой произвел на свет троих детей. Оставшаяся четверть перетекала в течение ночи или дня в кассу небовладелицы.

Фишерша протянула вошедшему возлюбленному газету и сказала:

— Вот тебе! Где это ты пропадал столько времени?

Когда к Фишерле придиралась полиция, он обычно исчезал на несколько дней. Тогда говорили: «Он уехал в Америку», смеясь каждый раз над этой шуткой— как добраться такому недомерку до огромной страны небоскребов?— и забывали о нем до тех пор, пока он снова не появлялся. Любовь его жены, пенсионерки, не простиралась так далеко, чтобы беспокоиться из-за него. Она любила его, только когда он был возле нее, и знала, что допросы и кутузка ему привычны. Слушая шутку насчет Америки, она думала, как это было бы хорошо, если бы все свои деньги она могла тратить только на себя. Она уже давно хотела купить образ мадонны для своей комнатки. Пенсионерке подобает иметь образ мадонны. Осмелившись выйти из какого-нибудь укрытия, где он прятался большей частью без вины, просто потому, что его на всякий случай подолгу держали в предварительном заключении и отнимали у него шахматы, он первым делом шел в кофейню и через несколько минут опять становился ее любимым дитятей. А Фишерша была единственной, кто ежедневно справлялся о нем и высказывал всяческие предположения насчет того, где он находится. Ему разрешалось бесплатно читать ее газеты. Перед началом своего похода она, ковыляя, заскакивала в «Небо», подавала ему верхний экземпляр своей свеженапечатанной пачки и с тяжелым грузом под мышкой терпеливо ждала, пока он читал.

Ему разрешалось газету раскрывать, мять и небрежно складывать, остальным разрешалось только заглядывать в нее через его плечо. Если он бывал не в духе, он нарочно задерживал ее подольше, и она несла тяжелый ущерб. Когда ее дразнили из-за такой ее непонятной глупости, она пожимала плечами, качая горбом, не уступавшим величиной и выразительностью фишерлевскому, и говорила: «Он *единственное*, что у меня есть на свете!» Может быть, она и любила Фишерле ради этой жалобной фразы. Она выкрикивала ее дребезжащим голосом, это звучало так, словно ей надо было распродать две газеты— «Единственное» и «Есть-на-свете!».

Сегодня Фишерле не удостоил ее газету внимания.

Она не удивилась, газета была не свежая, она ведь желала ему добра и думала только, что ему давно нечего было читать, кто знает, откуда он пришел. Фишерле схватил ее за плечи—она была такого же маленького роста, как он, — и заверещал:

— Эй, все сюда, публика, у меня кое-что есть для вас!

Все, кроме чахоточного официанта, который не признавал приказаний этого еврея, ни к чему не испытывал любопытства и спокойно остался у стойки, всего, стало быть, три человека, бросились к нему и чуть не задавили его от нетерпения.

— У меня каждый может заработать двадцать шиллингов в день! Я рассчитываю на три дня.

— Восемь кило туалетного мыла, — быстро сосчитал страдавший бессонницей лоточник. «Слепой» с сомнением заглянул Фишерле в глаза.

— Это куш!—проворчал ассенизатор. Фишерша обратила внимание на «у меня» и пропустила сумму мимо ушей.

— Я, знаете, открыл собственную фирму. Дайте подписку, что вы все сдадите начальнику, то есть мне, и я вас возьму!

Им хотелось сперва выяснить, о чем идет речь. Но Фишерле остерегался выдавать свои деловые тайны. Это одна специальная отрасль, больше он ничего не скажет, заявил он категорически. Зато в первый день он выдаст по пяти шиллингов аванса на человека. Это звучало неплохо. «Нижеподписавшийся обязуется немедленно рассчитаться наличными за каждый грош, полученный по поручению фирмы «Зигфрид Фишер». Нижеподписавшийся берет на себя полную ответственность за возможные убытки». В один миг Фишерле написал эти фразы на четырех листках из блокнота, презентованного ему лоточником. Как единственный среди присутствовавших настоящий коммерсант, тот надеялся на участие в деле и на самые большие задания и хотел задобрить своего начальника. Ассенизатор, отец семейства и самый глупый из всех, подписался первым. Фишерле рассердился, оттого что подпись ассенизатора оказалась такой же крупной, как его собственная, он воображал, что у него подпись крупней, чем у всех.

— Вот нахал! — выругался он, после чего лоточник удовольствовался дальним углом и крошечным начертанием фамилии.

— Это нельзя разобрать! — заявил Фишерле и заставил лоточника, уже видевшего себя главным пред-

ставителем фирмы, подписаться менее скромно. «Слепой» отказался пальцем шевельнуть, пока не получит денег. Он вынужден был спокойно смотреть, как люди бросают ему в шляпу пуговицы, и поэтому, находясь не на службе, не доверял никому.

— Ай, — с отвращением сказал Фишерле, — разве я когда-нибудь кому-нибудь врал!

Он вытащил из подмышечной впадины несколько скомканных кредиток, сунул каждому в руку по пятишиллинговому билету и заставил их сразу же расписаться в получении денег «по предварительному расчёту».

— Вот это дело другое, — сказал «слепой», — обещать и держать слово — разные вещи. Для такого человека я и побираться пойду, если понадобится!

Лоточник готов был пойти за такого начальника в огонь и в воду, ассенизатор — хоть в ад. Только Фишерша сохраняла мягкость.

— От меня ему не нужно никакой подписи, — сказала она, — я ничего не украду у него. Он — единственное, что у меня есть на свете.

Фишерле считал ее покорность настолько само собой разумеющейся, что, войдя и поздоровавшись, сразу повернулся к ней спиной. Его горб придавал ей храбрости, с этой стороны Фишерле внушал ей, вероятно, любовь, но не почтение. Пенсионерки не было на месте, и Фишерша представлялась себе чуть ли не женой нового начальника. Услышав ее дерзкие слова, он резко повернулся, сунул ей в руку перо и приказал:

— Пиши, и нечего тебе болтать!

Она повиновалась взгляду его черных глаз, у нее были только серые, и расписалась даже за пять шиллингов аванса, которых еще не получила.

— Ну, вот! — Фишерле тщательно спрятал четыре расписки и вздохнул: — А что имеешь от дела? Ничего, кроме забот! Клянусь вам, лучше бы мне остаться маленьким человеком, каким я был раньше. Вам хорошо! — Он знал, что те, кто чином повыше, всегда говорят так со своими служащими, независимо от того, есть ли у них и вправду заботы: у него заботы были и вправду. — Пошли! — сказал он затем, покровительственно, хоть и снизу вверх, кивнул официанту и вместе со своим новым персоналом покинул кофейню.

На улице он объяснил сотрудникам их обязанности. Каждого служащего он инструктировал отдельно, веля остальным следовать немного поодаль, словно у него не было с ними ничего общего. Он находил нужным обращаться с ними по-разному, в зависимости от их

смышлености. Поскольку он спешил и считал ассенизатора самым надежным, Фишерле отдал ему, к большой досаде лоточника, предпочтение перед прочими.

— Вы хороший отец, — сказал он ассенизатору, — поэтому я сразу подумал о вас. Человек, который отдает жене семьдесят пять процентов жалованья, дороже золота. Будьте же внимательны и не попадите в беду. Было бы жаль деточек.

Он получит пакет от него, пакет называется «искусство».

— Повторите: «искусство».

— Вы думаете, я не знаю, что такое искусство! Потому что я отдаю жене столько денег!

Над ассенизатором, завидуя его семейным обстоятельствам, упорно издевались в кофейне. Бесчисленными щелчками по его неуклюжей гордости Фишерле извлек из него ту малую толику смышлености, какой этот человек обладал. Он трижды описал ему дорогу подробнейшим образом. Ассенизатор еще ни разу не был в Терезиануме. Нужные хождения совершала за него его жена. Компаньон стоит за стеклянной дверью у окна. Он длинный и тощий. Надо медленно пройти мимо него, не говоря *ни слова*, и подождать, пока он не обратится к тебе. Затем рявкнуть: «Искусство, сударь! Меньше, чем за двести шиллингов, не выйдет! Сплошное искусство!» Затем, у одной книжной лавки, Фишерле велел ассенизатору подождать и закупил там свой товар. Десять дешевых романов по два шиллинга каждый составили вместе один внушительный сверток. Трижды были повторены прежние указания; следовало полагать, что даже этот болван все понял. Если компаньон попытается развернуть пакет, надо крепко прижать его к себе и заорать: «Нет! Нет!» С деньгами и книгами ассенизатор должен явиться на определенное место за церковь. Там с ним рассчитаются. При условии, что он никому, даже остальным служащим, не скажет о своей работе ни слова, он может завтра, ровно в девять, снова стать за церковь. К честным ассенизаторам он, Фишерле, питает слабость, не всем же подвизаться в специальной отрасли. С этими словами он отпустил примерного отца семейства.

Пока ассенизатор ждал у книжной лавки, остальные, согласно приказу начальника, проследовали дальше, не обращая ни малейшего внимания на фамильярные оклики своего коллеги, который за новыми инструкциями начисто забыл старые. Фишерле учитывал и это, ассенизатор свернул в переулок раньше, чем прочие могли заметить пакет, который тот нес как

драгоценного младенца богатейших родителей. Фишерле свистнул, догнал тех троих и взял с собой Фишершу. Лоточник понял, что его приберегают для большего, и сказал «слепому»:

— Увидите, меня он возьмет последним!

С Фишершей коротышка долго возиться не стал.

— Я единственное, что у тебя есть на свете, — напомнил он ей ее любовные и любимые слова. — Это, понимаешь, может сказать любая. Мне нужны доказательства. Если ты зажилишь хоть грош, между нами все будет кончено, и я не прикоснусь пальцем к твоей газете, и тогда жди-дожидайся, пока найдешь другого такого, который будет похож на тебя как две капли воды!

Объяснить остальное удалось без особых усилий. Фишерша смотрела Фишерле в рот; чтобы видеть, как он говорит, она сделалась еще меньше, чем была, целоваться он не мог из-за носа, она была единственной, кто знал его рот. В ломбарде она чувствовала себя как дома. Теперь ей надлежало пойти вперед и ждать начальника за церковью. Там она получит пакет, за который потребует двести пятьдесят шиллингов, и туда же вернется с деньгами и пакетом.

— Ступай! — крикнул он в заключение. Она была ему противна, потому что все время его любила.

На следующем углу он дождался шедших сзади «слепого» и лоточника. Последний пропустил «слепого» вперед и понимающе кивнул начальнику.

— Я возмущен! — заявил Фишерле, бросая почтительный взгляд на «слепого», который, несмотря на свою оборванную рабочую одежду, оглядывался на каждую женщину и недоверчиво озирал ее. Уж очень хотелось ему знать, какое впечатление произвел на нее новый фасон его усов. Молодых девушек он ненавидел, потому что их шокировала его профессия. — Чтобы такой человек, как вы, — продолжал Фишерле, — должен был терпеть жульничество! — «Слепой» насторожился. — Вам бросают в шляпу пуговицу, и вы, вы же мне сами рассказывали, видите, что это пуговица, а вы говорите «спасибо». Если вы не скажете «спасибо», то конец слепоте и прощай клиентура. Это не годится, чтобы человека так обжуливали. Такого человека, как вы! Хочется наложить на себя руки! Обжуливать — это свинство. Разве я не прав?

У «слепого», взрослого человека, провоевавшего три года на передовой, показались на глазах слезы. Этот каждодневный обман, который он прекрасно видел, был его величайшим горем. Оттого, что ему приходится

зарабатывать на хлеб таким тяжелым трудом, каждый паршивец позволяет себе глумиться над ним, как над каким-то ослом. Он часто и всерьез думал о том, чтобы наложить на себя руки. Если бы ему иногда не везло у женщин, он уже давно так и сделал бы. В «Небе» он каждому, кто вступал с ним в разговор, рассказывал историю с пуговицами и в ее заключение грозился убить кого-нибудь из этих мерзавцев, а потом покончить с собой. Поскольку так продолжалось уже много лет, никто не принимал его всерьез, и его недоверчивость только росла.

— Да! — закричал он, размахивая рукой над горбом Фишерле. — Трехлетний ребенок и тот знает, что у него в руке — пуговица или грош! А я что — не знаю? А я что — не знаю? Я же не слепой!

— Это я и говорю, — сменил его Фишерле, — все от жульничества. Зачем людям жульничать? Лучше прямо сказать: сегодня у меня нет ни гроша, дорогой мой, зато завтра вы получите целых два. Так нет же, это хамье вас обжулит, и вы проглотите пуговицу! Вам надо подыскать себе другое занятие, дорогой мой! Я уже давно думаю, что бы мне сделать для вас. Я вам вот что скажу, если вы в эти три дня хорошо зарекомендуете себя, я возьму вас на постоянную службу. Остальным ничего не говорите, строжайшая тайна, я их всех, говоря между нами, уволю, я беру их сейчас только из жалости на несколько дней. С вами дело другое. *Вы* терпеть не можете жульничества, я терпеть не могу жульничества, *вы* человек приличный, я человек приличный, признайте, мы подходим друг другу. И чтобы вы видели, как я вас уважаю, я авансом выплачу вам гонорар за сегодняшний день. Другие ничего не получат.

«Слепой» и впрямь получил остальные пятнадцать шиллингов. Сперва он не поверил своим ушам, теперь то же самое произошло у него с глазами.

— Незачем накладывать на себя руки! — воскликнул он. Ради такой радости он отказался бы от десяти баб, единицей измерения были у него бабы. Все, что теперь объяснял ему Фишерле, он схватывал с восторгом, с налета. Над долговязым партнером он посмеялся, потому что у него было так хорошо на душе.

— Он кусается? — спросил он, вспомнив свою длинную, тощую собаку, которая утром приводила его на место работы, а вечером уводила оттуда.

— Пусть только посмеет! — погрозил Фишерле.

Он минуту колебался, размышляя, не доверять ли «слепому» большую сумму, чем намеченные триста с

лишним шиллингов. Этот человек был, казалось, в искреннем восторге. Фишерле торговался с самим собой, очень уж хотелось ему заработать полтысячи одним махом. Решив, однако, что такой риск слишком велик, ибо такая потеря может его разорить, он низвел свое страстное желание до четырехсот шиллингов. «Слепому» велено было направиться к площади *перед* церковью и ждать его там.

Когда тот исчез из поля зрения, лоточник счел, что теперь настал его час. Быстрыми шажками он догнал карлика и пошел в ногу с ним рядом.

— Пока от этих отделаешься! — сказал он. Он сутулился, ему не удавалось опустить голову до уровня Фишерле; зато он смотрел вверх, когда говорил, словно карлик, став его начальником, сделался вдвое выше ростом. Фишерле молчал. Он не собирался фамильярничать с этим человеком. Те трое оказались в «Небе» очень кстати, с этим четвертым он держал ухо востро. Сегодня и больше никогда, сказал он себе. Лоточник повторил: — Пока от этих отделаешься, верно?

Терпение Фишерле лопнуло.

— Знаете что, сейчас вам нечего рассуждать. Вы на службе! Говорю сейчас я! Если вам хочется говорить, ищите себе другое место!

Лоточник сделал над собой усилие и поклонился. Его ладони, которые он только что прикидывающе потирал, сложились, туловище, голова и руки задрожали мелкой дрожью. Чем еще мог он доказать свою покорность? В нервной оторопи он готов был стать на голову, чтобы раболепно сложить и ступни. Он боролся за то, чтобы избавиться от своей бессонницы. При слове «богатство» на ум ему приходили санатории и сложные курсы лечения. В его раю были безотказно действующие снотворные средства. Там спали две недели подряд, ни разу не просыпаясь. Пищу принимали во сне. Просыпались через две недели, раньше не разрешалось, надо было подчиниться, ничего не поделаешь, врачи были строги, как полиция. Потом уходили на полдня играть в карты. Для этого имелась особая комната, где бывали только приличные коммерсанты. За несколько часов можно было стать вдвое богаче, — так везло в игре. Затем снова ложились спать на две недели. Времени было сколько угодно.

— Зачем вы так трясетесь? Стыдитесь! — закричал Фишерле. — Перестаньте трястись, а то я откажусь от ваших услуг!

Лоточник в испуге очнулся от сна и успокоил,

насколько это было возможно, свои дергающиеся члены. Им снова целиком овладела жадность.

Фишерле увидел, что нет никаких поводов, чтобы придрасться к этому подозрительному типу и уволить его. Он со злостью приступил к инструкциям:

— Слушайте хорошенько, а то я вас выгоню к черту! Вы получите от меня пакет. Пакет, понимаете? Что такое пакет, лоточник должен знать. Вы пойдете с ним в Терезианум. Это объяснять вам не надо. Вы и так торчите там целыми днями, бездарный вы человек. Вы откроете стеклянную дверь, прежде чем пройти в книжный отдел. Не тряситесь, говорю вам. Если вы там будете так трястись, вы разобьете стекло. Это ваше дело. У окна будет стоять стройный, приличного вида господин. Это мой друг и компаньон. Вы подойдете к нему, держа язык за зубами. Если вы заговорите до того, как заговорит он, он повернется к вам спиной и оставит вас ни с чем. Такой уж он человек, он дорожит своим авторитетом. Поэтому лучше молчите! У меня нет никакого желания долго судиться с вами ради возмещения ущерба. Но если вы напортачите, я все-таки буду судиться, так и знайте, я не дам вам загубить свою несчастную коммерцию! Если вы нервный идиот, то катитесь вон! По мне, лучше ассенизатор, чем вы. На чем я остановился? Вы еще помните?

Фишерле вдруг заметил, что сбился с благопристойного языка, который усвоил за несколько дней общения с Кином. Но именно такой язык он считал единственно уместным в разговоре с этим самоуверенным служащим. Он сделал паузу, чтобы успокоиться, и воспользовался случаем уличить ненавистного конкурента в невнимательности. Лоточник ответил сразу же:

— Вы остановились на стройном компаньоне, а я должен молчать.

— *Вы* остановились, *вы* остановились! — заворчал Фишерле. — А где пакет?

— Пакет у меня в руке.

Смирение этой лживой твари привело Фишерле в отчаяние.

— Фу ты, — вздохнул он, — пока вам растолкуешь так, чтобы вы поняли, у человека может вырасти второй горб.

Лоточник ухмыльнулся, вознаградив себя за это поношение услышанным упоминанием о горбе. Даже на своей высоте он не чувствовал себя, однако, застрахованным от наблюдения и украдкой поглядел вниз. Фишерле ничего не заметил, потому что судорожно искал новых оскорблений. Вульгарных слов, которые

были в ходу в «Небе», он хотел избежать, они не произвели бы особого впечатления на человека оттуда. Повторять «идиота» было ему слишком скучно. Он внезапно пошел быстрее, и когда лоточник сперва отстал на полшага, презрительно повернулся к нему и сказал:

— Вы уже устали. Знаете что, вы далеко не уедете!

Затем он продолжил свои инструкции. Он строго-настрого приказал ему потребовать от стройного компаньона сто шиллингов «задатка», но лишь после того как тот задержит его и заговорит с ним, а потом, не проронив ни слова, вернуться с задатком и пакетом к площади позади церкви. Дальнейшее он узнает там. Если он обмолвится хоть словом о своей работе, даже только остальным служащим, он будет уволен немедленно.

Представив себе, что лоточник может все выболтать и вступить в сговор с другими против него, Фишерле немного смягчился. Чтобы загладить свои нападки, он замедлил шаг и, когда тот вдруг опередил его поэтому примерно на метр, сказал:

— Пойдите, куда вы бежите? Так спешить нам тоже не нужно!

Лоточник отнесся к этому как к придирке. Прочие слова, которые Фишерле говорил ему так спокойно и дружелюбно, словно они еще были равноправными товарищами по «Небу», он объяснил себе страхом своего работодателя перед чьими-либо самовольными действиями. Несмотря на свою нервность, он был совсем не дурак. Он верно оценивал людей и мотивы их поведения; чтобы убедить их купить спички, шнурки для ботинок, блокнот или, самое дорогое, кусок-другой мыла, он пускал в ход больше остроумия, проницательности и даже скрытности, чем самые знаменитые дипломаты. Только когда дело касалось его мечты о неограниченно долгом сне, мысли его расплывались в тумане неопределенности. Тут он понял, что успех нового предприятия заключен в тайне.

Остаток пути к цели Фишерле употребил на то, чтобы всяческими историями доказать опасность своего с виду такого безобидного друга, этого стройного, приличного господина. Тот так долго сражался на войне, что совсем одичал. Целый день он, бывает, не шевельнется и мухи не обидит. Но скажи ему лишнее слово—и он может вытащить свой старый армейский револьвер и уложить человека на месте. Суды против него бессильны, он действует в умопомрачении, у него есть медицинское свидетельство. Полиция его знает.

Зачем его арестовывать? — сказали себе полицейские, — его же все равно оправдают. Кстати, он ведь и не убивает людей наповал. Он стреляет по ногам. Через несколько недель подстреленные поправляются. Только в одном случае шутки с ним плохи. Это когда задают много вопросов. Например, кто-нибудь самым невинным образом спрашивается об его здоровье. В следующую секунду спросивший мертв. Ибо в этом случае его, Фишерле, друг целится прямо в сердце. Такая уж у него привычка. Он тут не виноват. Потом он сам же сожалеет об этом. Настоящих убийств произошло таким образом пока шесть. Ведь все знают об его опасной привычке, и только шесть человек спросили его о чем-то. Вообще же с ним можно великолепно делать дела.

Лоточник не верил ни одному слову. Но у него была пылкая фантазия. Он представлял себе хорошо одетого господина, который расстреливает тебя еще до того, как ты выпался. Он решил вопросов на всякий случай не задавать и узнать тайну каким-нибудь другим способом.

Фишерле приложил большой палец к губам и сказал: «Тсс!» Они подошли к церкви, где их ждал «слепой», чьи глаза были полны собачьей преданности. За это время он не рассмотрел ни одной бабы, он только знал, что много их прошло мимо. Вне себя от счастья, он был рад обращаться с коллегами любезно; этих бедняк через три дня уволят, а он устроился на всю жизнь. Лоточника он приветствовал так горячо, словно не видел его три года. За церковью эти трое нашли Фишершу. Она уже десять минут не могла отдышаться, — так быстро она бежала. «Слепой» ласково потрепал ее по горбу.

— Что, старушка! — прорычал он, смеясь всем своим морщинистым, бледным лицом. — Наши дела сегодня неплохи!

Может быть, он когда-нибудь сделает одолжение старушке. Фишерша громко визжала. Она чувствовала, что гладит ее не Фишерле, но говорила себе, что это он, и слушала грубый голос «слепого». И визг ее переходил от ужаса к восторгу, а от восторга к разочарованию. Голос Фишерле был завлекателен. Ему бы выкрикивать заголовки газет! Газеты вырывали бы у него из рук. Но он был слишком хорош, чтобы работать. Он устал. Уж лучше ему, думала она, оставаться начальником.

Ведь вдобавок к голосу у него были острые глаза. Вот вышел из-за угла ассенизатор. Фишерле заметил

его первый и, приказав другим: «Ни с места!», побежал ему навстречу. Он отвел его под козырек над входом в церковь, взял у него пакет, который тот по-прежнему держал как младенца, и вынул две сотни из пальцев правой руки. Он достал пятнадцать шиллингов и положил их ему на ладонь, которую сам же открыл. После этого в топорных устах ассенизатора сложилась первая фраза его отчета.

— Прошло хорошо, — начал он.

— Вижу, вижу! — воскликнул Фишерле. — Завтра ровно в девять. Ровно в девять. Здесь. Здесь. Ровно в девять здесь!

Удалившись неуклюжим, тяжелым шагом, ассенизатор стал рассматривать свое вознаграждение. Через некоторое время он заявил:

— Все верно!

До самого «Неба» он боролся со своей привычкой и наконец пал ее жертвой. Пятнадцать шиллингов получает жена, пять он пропьет. Так и произошло. Сперва он хотел пропить все.

Лишь под козырьком церкви Фишерле понял, какую скверную составил он комбинацию. Если он сейчас передаст пакет Фишерше, лоточник, стоя рядом, все разглядит. Как только он смекнет, что пакет у всех один и тот же, прекрасной тайне конец. Тут, словно угадав его мысли, Фишерша сама подошла к нему под козырек и сказала:

— Теперь моя очередь.

— Дело, дорогая моя, не скоро делается, — осадил он ее и дал ей пакет. — Трогай!

Она торопливо заковыляла прочь. Ее горб заслонял от других пакет, который она несла.

«Слепой» тем временем пытался объяснить лоточнику, что бабы — это ерунда. Первым делом человеку нужно иметь хорошую профессию, порядочную профессию, профессию, при которой можно держать глаза открытыми. Слепота — тоже ерунда. Люди думают, что если человек с виду слепой, то с ним можно позволять себе все. Если ты чего-то добился, то бабы приходят сами, десятками, просто не знаешь, куда их всех положить. Всякая шваль ни черта в этой штуке не смыслит. Они как собаки, они устраиваются везде. Тьфу, мерзость, он не из таких! Ему подавай приличную кровать, матрац конского волоса, хорошую печь в комнате, чтобы не воняла, и бабу в соку. Угольной вони он не переносит. Это у него еще с войны. Он, например, спутываться станет не с каждой. Раньше, когда он был нищим, он старался не упустить ни одной.

Теперь он купит себе одежду получше. Денег у него скоро будет до черта, и он будет выбирать себе баб. Он выстроит сотню, ощупает каждую, не обязательно голых, сойдет и так, и возьмет с собой трех-четырех. Больше он в один прием не выдюжит. С пуговицами покончено. «Придется завести двухспальную кровать! — вздохнул он. — Как мне разместить трех толстух?» У лоточника были другие заботы. Он вытянул шею, чтобы заглянуть за горб Фишерши. Есть у нее пакет, или у нее нет пакета? Ассенизатор пришел с пакетом, а ушел с пустыми руками. Почему Фишерле потащил его под козырек? Ни Фишерле, ни ассенизатора, ни Фишерши не видно, пока они там стоят. Пакет прячут в церкви, ну конечно. Замечательная идея! Кто станет в церкви искать краденое? Урод-то, оказывается, хитрец. Пакет — это интересный груз кокаина. Где напал этот мошенник на такое огромное дело?

Тут карлик быстро подбежал к ним и сказал:

— Терпение, господа! Пока она на своих кривых ногах обернется, мы померем.

— Теперь помирать незачем, сударь! — прорычал «слепой».

— Смерти никому не миновать, господин начальник, — попытался подольститься лоточник и выставил вперед обе ладони совершенно так, как это сделал бы на его месте Фишерле. — Да, если бы среди нас был крупный шахматист, — прибавил он, — но ведь наш брат — это же пустое дело для мастера.

— Мастера, мастера! — Фишерле обиженно покачал головой. — Через три месяца я буду чемпионом мира, господа!

Оба служащих обменялись восторженными взглядами.

— Да здравствует чемпион мира! — прорычал вдруг «слепой».

Лоточник поспешил своим тонким, стрекочущим голосом — когда он открывал рот, в «Небе» говорили: «Он играет на мандолине» — подхватить этот клич. «Чемпион» ему еще удалось произнести, а «мира» застряло у него в горле. К счастью, маленькая площадь была в это время безлюдна, даже полицейских, форпоста цивилизации в городе, не было здесь ни одного. Фишерле поклонился, но почувствовал, что переборщил, и прокаркал:

— К сожалению, я должен попросить вас вести себя тише в рабочее время. Не будем разговаривать!

— Вот еще! — сказал «слепой», который снова хотел заговорить о своих планах на будущее и полагал,

что заработал такое право своей здравицей. Лоточник приложил палец к губам, сказал:

— Я всегда говорю: молчание — золото, — и умолк.

«Слепой» остался один со своими бабами. Он не дал испортить себе удовольствие и продолжал громко говорить. Он начал с того, что бабы—это ерунда, а кончил двухспальной кроватью, но, найдя, что Фишерле проявляет слишком мало интереса к этим делам, завел все сначала и постарался подробно описать некоторых из сотни баб, для него заготовленных. Он наделял каждую невероятными ягодицами и приводил их вес в килограммах, повышая цифру от номера к номеру. У шестьдесят пятой женщины, которую он выбрал как пример шестидесятих номеров, одни только ягодицы весили шестьдесят пять килограммов. Он был не мастер считать и придерживался цифры, которую однажды назвал. Однако эти шестьдесят пять килограммов показались ему самому некоторым преувеличением, и он заявил:

— Все, что я говорю, всегда правда. Лгать я не могу, это у меня осталось с войны!

У Фишерле тем временем хватало дел с самим собой. Надо было прогнать закопошившиеся мысли о шахматах. Никакой помехи не боялся он сейчас больше, чем растущей тоски по новой партии. Из-за этого могло погибнуть все предприятие. Он постучал по маленькой шахматной доске в правом пиджачном кармане, служившей заодно и коробкой для фигур, послушал, как они там взволнованно прыгают, пробормотал: «Теперь успокойся!»—и опять стучал по доске, пока ему не надоел этот шум без толку. Лоточник размышлял о наркотиках и связывал их действие со своей потребностью выспаться. Он хотел, если найдет пакет в церкви, вытащить оттуда несколько пакетиков и испробовать их. Он боялся только, что от такого яда непременно приснятся сны. А чем видеть сны, лучше ему вообще не засыпать. Он имел в виду настоящий сон, когда спящего кормят, а тот все же не просыпается минимум две недели.

Тут Фишерле заметил, как Фишерша, энергично кивнув ему, исчезла под козырьком церкви. Он схватил «слепого» за руку, сказал ему: «Конечно, вы правы», а лоточнику: «Вы остаетесь здесь!»—и довел первого до двери церкви. Там он велел ему подождать и потащил Фишершу в церковь. Она была в страшном волнении и не могла произнести ни слова. Чтобы немного успокоиться, она быстро сунула ему пакет и двести пятьдесят шиллингов. Пока он пересчитывал деньги, она сделала глубокий вздох и всхлипнула:

— Он спросил меня, не госпожа ли я Фишерле?

— И ты сказала... — закричал он, дрожа от страха, что своим глупым ответом она может испортить ему все дело, нет, она испортила его, она еще и рада этому теперь, дура! Если ей говорят, что она его жена, она теряет рассудок! Он ее всегда терпеть не мог, а этот осел, зачем он задает такие глупые вопросы, ведь он, Фишерле, уже представил ему свою жену! Оттого, что она горбата и он горбат, тот думает, что это его жена, наверно, он что-то заметил, теперь надо исчезнуть с этими паршивыми четырьмястами пятьюдесятью шиллингами, ну и подлость!

— Что ты сказала?! — крикнул он второй раз. Он забыл, что находится в церкви. Вообще-то перед церквями он испытывал почтительную робость, потому что его нос очень уж бросался в глаза.

— Я... я же... ничего... не должна была... говорить! — Она всхлипывала перед каждым словом. — Я покачала головой!

Вся тяжесть чуть не потерянных денег свалилась у Фишерле с души. Страх, который она нагнала на него, привел его теперь в ярость. Ему очень хотелось закатить ей несколько пощечин справа и слева. К сожалению, на это не было времени. Он вытолкнул ее из церкви и завизжал ей в ухо:

— Чтоб я не видел тебя завтра с твоими задрипан-ными газетами! Я на них и глядеть не стану!

Она поняла, что ее служба у него кончена. Она была не в состоянии высчитать, что она на этом деле теряет. Один господин принял ее за госпожу Фишерле, а ей велено было ничего не говорить. Такое несчастье, такое ужасное несчастье! Ни разу в жизни она еще не чувствовала себя такой счастливой. По дороге домой она не переставала всхлипывать: «Он единственное, что у меня есть на свете». Она забыла, что он должен был ей еще двадцать шиллингов, сумму, ради которой она в плохие времена мыкалась целую неделю. Свой напев она сопровождала образом господина, сказавшего ей «госпожа Фишерле». Она забыла, что все называли ее Фишершей. Она всхлипывала и потому, что не знала, где этот господин живет и где он бывает. Она каждый день предлагала бы ему газеты. Он спросил бы ее снова.

А Фишерле избавился от нее. Он обманул ее неумышленно. Страх и переход страха в ярость замутили ему голову. Но если бы увольнение Фишерши протекало спокойно, он, несомненно, попытался бы надуть ее при расчете. Вручив пакет «слепому», он посоветовал

ему показать себя с лучшей стороны и молчать, — в конце концов, от этого зависит его положение. До осязаемости отчетливо видя перед собой своих баб, «слепой» тем временем, чтобы забыть их, закрыл глаза. Когда он открыл их, все бабы исчезли, в том числе и самые тяжелые, и это вызвало у него легкое сожаление. Вместо них на ум ему самым отчетливым образом пришли его новые обязанности. Совет Фишерле был поэтому излишним. Несмотря на спешность предприятия, Фишерле вовсе не хотел отпускать от себя «слепого»: он сделал большую ставку на пуговицы; кроме того, будучи по натуре весьма равнодушен к женщинам, он, Фишерле, никак не мог верно определить, насколько важно «слепому» добывать баб.

Вернувшись к лоточнику, он сказал:

— И такому отребью должен доверять деловой человек!

— Тут вы правы! — ответил тот, отделяя себя, как деловой человек, от отребья.

— Зачем мы живем на свете? — Из-за четырехсот шиллингов, которые он рисковал потерять, Фишерле устал от жизни.

— Чтобы спать, — ответил лоточник.

— *Вы* — и спать! — Карлик разразился громким смехом, представив себе спящим лоточника, который денно и ночью жаловался на бессонницу. Когда он смеялся, ноздри его походили на широко разинутый двойной рот, под ними видны были две узкие шелки, уголки рта. Приступ смеха был на этот раз такой сильный, что Фишерле держался за горб, как другие держатся за живот. Подперев горб ладонями, он тщательно смягчал каждый сотрясавший его тело толчок.

Едва он кончил смеяться — лоточник был до глубины души обижен неверием в его способность спать, — как появился и прошел под козырек церкви «слепой». Фишерле бросился к нему, вырвал у него деньги из рук, крайне удивился, что их было ровно столько, сколько должно быть — или он все-таки сказал ему «пятьсот», нет, «четыреста», — и, чтобы замаскировать свое волнение, спросил:

— Ну, как?

— В дверях я встретил одну, ну и баба, скажу вам, если бы я не держал так по-дурацки этот пакет, я бы прижал ее спереди, такая она была толстая! Ваш компаньон слегка под мухой.

— Вы что? Что с вами?

— Не сердитесь, но он ругал баб на чем свет стоит!

«Четыреста — это много», — сказал он. Из-за бабы он войдет в положение и заплатит. Всему виной бабы. Если бы мне можно было говорить, я бы уж сказал ему, дураку набитому! Бабы! Бабы! На что мне жизнь, если бы не было баб? Я так славно столкнулся с ней, а он ругается!

— Такой уж он человек. Он заядлый холостяк. Ругать его я не разрешаю. Он мой друг. Говорить я тоже не разрешаю, а то он обидится. Друзей нельзя обижать. Разве я вас когда-нибудь обижал?

— Нет, чего не было, того не было. Вы добрая душа.

— Вот видите. Завтра в девять приходите опять, да! И хорошенько держать язык за зубами, потому что вы мой друг! Мы еще посмотрим, надо ли человеку погубить из-за пуговиц!

«Слепой» ушел, он чувствовал себя прекрасно, странности компаньона он быстро забыл. С двадцатью шиллингами можно было что-то предпринять. Прежде всего — главное. Главным были баба и костюм, костюм нужен был черный, чтобы подходил к усам, за двадцать шиллингов нельзя было купить черный костюм. Он выбрал бабу.

От обиды и любопытства лоточник забыл о деликатности и привычной трусости. Он хотел застичь карлика, когда тот обменивает пакеты. Его отнюдь не привлекала перспектива обыскивать из-за пакета всю церковь, хотя бы и маленькую. Появившись внезапно, он выяснил бы обстановку, ибо откуда-нибудь появился бы карлик. Он встретил его перед дверью, принял у него кладь и молча удалился.

Фишерле медленно пошел за ним. Результат четвертой попытки имел не финансовое, а принципиальное значение. Если Кин выложит и эти сто шиллингов, то сумма, которая попадет только в карман Фишерле — девятьсот пятьдесят шиллингов — превзойдет ту, другую, что была выплачена ему в вознаграждение за находку. Организуя обман специалиста по книжному делу, Фишерле не забывал ни на миг, что перед ним враг, который еще вчера пытался облапошить его. Конечно, человек защищает свою шкуру. С убийцей становишься сам убийцей. С мошенником сам опускаешься до мошенничества. Но в этом деле есть особая заковырка. Может быть, этому типу втемяшилось вернуть себе деньги, отданные в вознаграждение за находку, может быть, он свихнулся на этом подлом намерении, ведь люди часто вбивают себе в голову всякую блажь, и, может быть, ради этого он ставит на

карту все свое состояние. Оно тоже было уже однажды собственностью Фишерле, поэтому он вправе спокойно отнять его у него. Но, может быть, всей этой благоприятной ситуации сейчас не станет. Не всякий способен вбить себе что-то в голову. Если бы у этого типа был такой характер, как у Фишерле, если бы вознаграждение за находку манило его так же, как Фишерле шахматы, тогда дела были бы в полном порядке. Но разве можно знать, кто перед тобой? Может быть, он просто хвастун, слабый человек, которому уже жаль своих денег и который вдруг заявит: «Стоп, хватит с меня!» С него станет, что из-за ста шиллингов он откажется от полного вознаграждения за находку. Откуда ему знать, что у него все отнимут и он останется ни с чем? Если у этого специалиста по книжному делу есть хоть какая капля ума, — а такое впечатление до сих пор складывалось, — он должен платить, пока не раздаст все. Фишерле сомневается в том, что у него хватит на это ума, да и не у каждого есть такая последовательность, какая выработалась благодаря шахматам у него, Фишерле. Ему нужен человек с характером, с таким же характером, как у него, человек, который пойдет до конца, такому человеку он готов и платить, такому человеку он дал бы долю в своем деле, если бы только нашел его, он пойдет навстречу ему до двери Терезианума, там он подождет его. Надуть его он ведь еще успеет.

Вместо человека с характером навстречу ему семенил лоточник. Он испуганно остановился перед Фишерле. Что начальник окажется здесь, он не предполагал. Он был настолько усерден, что потребовал на двадцать шиллингов больше, чем ему было поручено. Он схватился за левый карман штанов — туда спрятал он свой заработок, которого не было видно, — и уронил пакет. Фишерле было сейчас безразлично, как обходятся с его товаром, он хотел кое-что узнать. Его служащий опустил на колено, чтобы поднять пакет, Фишерле, к его удивлению, поступил так же. На земле он схватил правую руку лоточника и нашел там назначенные сто шиллингов. Это только предлог, подумал лоточник, он боится за бешено дорогой пакет: черт возьми, почему я не заглянул в него раньше, теперь поздно. Фишерле встал и сказал:

— Не падайте! Возьмите пакет домой и приходите с ним завтра в церковь ровно в девять! Честь имею кланяться.

— Как, а вознаграждение за услуги?

— Пардон, я так рассеян, — случайно это опять соответствовало действительности, — извольте!

Он дал ему причитавшееся.

Лоточник пошел («Завтра в девять? Сегодня, дорогой мой!») в церковь. За одной из колонн он снова опустился на колени и, молясь, на тот случай, если кто-нибудь войдет во время его действий, открыл пакет. Это были книги. Последнее сомнение исчезло. Его обманули. Настоящий пакет был где-то в другом месте. Он упаковал книги, спрятал их под скамью и принялся искать. Молясь, он елозил по церкви и, молясь, заглядывал под каждую скамью. Он действовал основательно, такой случай представится не скоро. Часто он уже добирался было до своей тайны, но это оказывался всего лишь черный молитвенник. Через час он проникся к молитвенникам неугасимой ненавистью. Еще через час у него заболела спина и повис высунувшийся изо рта язык. Губы его еще шевелились, словно бормоча молитвы. Кончив, он снова начал с начала. Он был слишком умен, чтобы механически повторять одно и то же. Он знал, что то, чего ты не заметил один раз, ты не заметишь опять, и изменил последовательность. В это время люди редко заходили в церковь. Он тщательно прислушивался к непривычным звукам и сразу же останавливался, что-нибудь услышав. Одна богомолка задержала его на двадцать минут, он боялся, что она раскроет его священную тайну, и не спускал с нее глаз. Пока она была в церкви, он не решался даже сесть. В середине дня, уже потеряв представление о длительности своих поисков, он зигзагом перебирался с левой стороны к третьему ряду справа, а с правой стороны к третьему ряду слева. Это была последняя придуманная им последовательность. Под вечер он где-то рухнул на пол и, смертельно усталый, уснул. Он, правда, достиг своей цели, но еще до истечения двух недель, в тот же вечер, когда пришло время запереть церковь, его растолкал и выставил вон причетник. Настоящий пакет он забыл.

РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Когда Фишерле, энергично подмигивая, показался у стеклянной двери, Кин приветствовал его кроткой улыбкой. Милосердная служба, которую он с недавних пор нес, размягчала его душу и располагала ее к символикe. Она спрашивала себя, что бы значило миганье этих меланхолических маяков; условленные

сигналы утекли из нее вместе с могучим потоком любви. Вера Кина, нерушимая, как его недоверие к оскверняющему книги человечеству, витала в любимой области. Он сожалел о слабости Христа, этого странно-го расточителя. Вспоминая, скольких тот накормил, исцелил, утешил словом, Кин представлял себе, скольким книгам можно было бы помочь этими чудесами. Он чувствовал, что его теперешнее настроение родственно настроению Христа. Многие он совершал бы таким же образом, только объекты любви казались ему заблуждением, подобным заблуждению японцев. Поскольку филолог в нем был еще жив, он решил, пока не настанут более спокойные времена, предпринять радикально новое текстологическое исследование евангелий. Может быть, у Христа речь шла совсем не о людях, а варварская иерархия исказила подлинные слова своего основателя. Неожиданное появление логоса в Евангелии от Иоанна давало как раз из-за обычного толкования, указывающего здесь на греческое влияние, серьезный повод для подозрений. Он чувствовал в себе достаточно учености, чтобы дойти до истинного происхождения христианства, и хотя он был не первым из тех, кто бросал подлинные слова Спасителя всегда готовому слушать их человечеству, он не без внутреннего основания надеялся, что его толкование останется последним.

Зато фишерлевское толкование грозящей опасности осталось непонятым. Некоторое время Фишерле продолжал предостерегающе мигать, попеременно закрывая правый и левый глаз. Наконец он бросился к Кину, схватил его под руку, прошептал: «Полиция!—самое страшное слово, какое он знал. — Бегите! Я побегу впереди!»—и, вопреки обещанному, снова стал в дверях, чтобы дождаться действия своих слов. Кин бросил страдальческий взгляд вверх, не на небо, а, наоборот, в ад на седьмом этаже. Он дал обет вернуться на этот священный аванпост, может быть, еще сегодня же. Он всей душой презирал грязных фарисеев, преследовавших его. Как истинный святой, он не забыл также, перед тем как привел в движение свои длинные ноги, поблагодарить карлика за предостережение, отвесив деревянный, но низкий поклон. На случай, если он изменит своему долгу из трусости, он пригрозил своей собственной библиотеке сожжением. Он твердо установил, что его враги не показывались. Чего они боялись? Нравственной силы его заступничества? Он вступался не за грешников, он вступался за невинные книги. Если за это время хоть с одной из них упадет волосок, то

его, Кина, узнают с другой стороны. Он знал также Ветхий завет и оставлял за собой право на месть. Ах, черти, воскликнул он, вы подстерегаете меня в какой-то засаде, а я покидаю вашу преисподнюю с поднятой головой! Я не боюсь вас, ибо за мной стоят несметные миллионы. Он указал пальцем вверх. Затем он медленно обратился в бегство.

Фишерле не упустил его из виду. Ему не хотелось выбрасывать свои деньги из карманов Кина на каких-то мошенников. Он боялся появления незнакомых закладчиков и подгонял Кина движением рук и носа. В его медлительности он видел гарантию собственной будущности. У этого человека, несомненно, был характер, он втемяшил себе в голову добраться до выплаченного вознаграждения за находку этим и никаким другим путем. Фишерле не ждал от него такой последовательности и восхищался им. Он намерился содействовать замыслам этого характера. Он хотел помочь Кину избавиться от его капитала до последнего гроша в кратчайший срок и без особых усилий. Но поскольку жаль было разбазаривать такую вначале импозантную сумму, Фишерле должен был следить за тем, чтобы в дело не вмешивались посторонние лица. То, что происходило между этими двумя характерами, касалось только их, и никого больше. Он сопровождал каждый шаг Кина подбадривающим качаньем горба, указывал то и дело на какой-нибудь темный угол, прикладывая палец к губам и передвигаясь на цыпочках. Когда мимо него прошел служащий, случайно та свинья, что работала оценщиком в книжном отделе, он попытался сделать поклон, взметнув навстречу ему свой горб. Кин тоже поклонился, из чистой трусости. Он чувствовал, что этот мнимый человек, спустившийся четверть часа назад с лестницы, функционирует наверху в качестве черта, и дрожал от страха, что ему запретят стоять у окна.

Наконец, благодаря своей воле, Фишерле довел его до площади за церковью и до козырька над входом. «Спаслись!» — сказал он насмешливо. Кин поразился размерам опасности, в которой он только что находился. Затем он обнял коротышку и сказал мягким, ласковым голосом:

— Если бы у меня не было вас...

— Вас давно бы уже посадили! — дополнил Фишерле.

— Мои действия противозаконны?

— Все противозаконно. Вы идете поесть, потому что вы голодны, и вы уже снова проворовались. Вы

помогаете какому-нибудь бедняку, дарите ему пару ботинок, он убегает в этих ботинках, а вас обвиняют в оказании содействия. Вы засыпаете на скамейке, десять лет вы мечтаете на ней, и уже вас будят, потому что десять лет назад вы что-то натворили, уже тащат в участок! Вы хотите помочь нескольким простым книжкам, и вот уже весь Терезианум окружен полицией, в каждом углу по полицейскому, а вы бы видели их новые револьверы! Операцией руководит майор, я заглянул под него. Что, думаете вы, носит он под собой, чтобы никто из людей большого роста, проходя мимо, ничего не заметил? Приказ об аресте! Начальник полиции издал особый приказ об аресте, потому что вы человек важный. Вы сами знаете, кто вы, зачем мне вам рассказывать! Ровно в одиннадцать часов вы должны быть арестованы в здании Терезианума мертвым или живым. Если вы вне здания, вас не тронут. Вне здания вы не преступник. Ровно в одиннадцать часов. А который сейчас час? Без трех минут одиннадцать. Убедитесь сами!

Он потащил его на противоположную сторону площади, откуда были видны часы на церкви. Они подождали там немного, и пробило одиннадцать.

— Что я сказал, уже одиннадцать! Считайте, что вам повезло! Этот тип был та самая свинья.

— Та самая свинья!

Кин не забыл ни слова из того, что рассказал ему Фишерле вначале. С тех пор как он разгрузил голову, память его опять работала превосходно. Он с опозданием сжал руку в кулак и воскликнул:

— Несчастный кровопийца! Попался бы он мне!

— Радуйтесь, что он вам не попался! Если бы вы спровоцировали эту свинью, вас арестовали бы раньше. Думаете, мне не тошно было кланяться какой-то свинье? Но я должен же был предостеречь вас. Знайте, какого человека приобрели вы в моем лице!

Кин думал о наружности свиньи.

— А я-то принял его за простого черта, — сказал он сконфуженно.

— Он и есть черт. Почему черт не может быть свиньей? Вы видели его живот? В Терезиануме ходит слух... лучше промолчать об этом.

— Какой слух?

— Поклянитесь, что не броситесь туда, если я скажу вам? Вы пропадете, и книгам не будет от этого никакой пользы.

— Хорошо, клянусь, говорите же!

— Вы поклялись! Видели живот?

— Да, но слух, слух!

— Сейчас. Вы ничего не заметили на животе?

— Нет!

— Некоторые говорят, что у живота есть углы.

— Что это значит?

Голос Кина дрогнул. Готовилось что-то неслыханное.

— Говорят... я должен поддержать вас, а то случится несчастье, — говорят, он так растолстел от книг.

— Он...

— Пожирает книги!

Кин вскрикнул и упал наземь. Падая, он потянул за собой коротышку, который больно ударился о мостовую и, чтобы отомстить, продолжал:

— Что вы хотите, говорит свинья, я сам слушал его однажды, что мне делать с этим дерьмом? Он так и сказал «дерьмо», книги он всегда называет дерьмом, а жрать дерьмо не брезгает. Что вы хотите, говорит он, это дерьмо лежит здесь месяцами, так лучше я попользуюсь и набью себе брюхо. Он составил собственную поваренную книгу, там множество всяких рецептов, теперь он ищет издателя для нее. На свете, говорит он, слишком много книг и слишком много голодных желудков. Своим животом я обязан своей кухне, говорит он, я хочу, чтобы у каждого был такой живот, и я хочу, чтобы книги исчезали, по мне, пусть все книги исчезнут! Их можно было бы сжигать, но от этого никому нет проку. Поэтому, говорю я, надо их съедать, сырыми, с растительным маслом и уксусом, как салат, обваленными и запеченными в сухарях, как шницель, с солью и перцем, с сахаром и корицей, у этой свиньи сто тысяч рецептов, каждый месяц он придумывает какой-нибудь новый вдобавок, я нахожу это мерзким, разве я не прав?

Во время этой речи, которую без единого перерыва прокаркал Фишерле, Кин корчился на земле. Он колотил по мостовой своими хилыми кулаками, словно доказывая, что даже твердая кора земли мягче, чем человек. Острая боль пронзала ему грудь, ему хотелось закричать, спасти, освободить, но вместо рта говорили его кулаки, а они звучали слабо. Они били по булыжникам, по каждому поочередно, не пропуская ни одного. Они разбивались в кровь, изо рта у него текла пена, с которой эта кровь смешивалась, — в такой близости от земли находились его дрожащие губы. Когда Фишерле умолк, Кин поднялся, закачался, вцепился в горб и, несколько раз тщетно пошевелив губами, пронзительно закричал на всю площадь:

— Кан-ни-ба-лы! Кан-ни-ба-лы!

Свободную руку он протягивал в сторону Терезианума. Одной ногой он топал о мостовую, которую только что чуть ли не целовал.

Прохожие, уже появившиеся в это время, испуганно останавливались, его голос звучал как голос смертельно раненного. Открывались окна, в соседнем переулке завyla собака, из своего заведения вышел врач в белом халате, и за углом церкви угадывалась полиция. Грузная цветочница, чья торговля шла перед церковью, достигла кричавшего первой и спросила карлика, что случилось с этим господином. В руке у нее еще были свежие розы и лыко, которым она хотела связать их.

— У него кто-то умер, — сказал Фишерле грустно. Кин ничего не слышал. Цветочница связала свои розы, сунула их под руку Фишерле и сказала:

— Это ему, от меня.

Фишерле кивнул, прошептал: «Сегодня похоронили» — и отпустил ее легким движением руки. За свои цветы она стала ходить от одного прохожего к другому, рассказывая, что у этого господина умерла жена. Она плакала, потому что ее покойный муж, почивший двенадцать лет назад, всегда бил ее. Он не стал бы так плакать по поводу ее смерти. Ей было жаль себя и как умершей жены этого худошавого господина. Стоявший перед своим заведением парикмахер, ошибочно принимаемый за врача, сухо покачал головой: «Такой молодой и уже вдовец», немного подождал и ухмыльнулся над своей шуткой. Цветочница бросила на него злой взгляд и всхлипнула: «Я же дала ему розы!» Слух об умершей жене распространился вверх по домам, некоторые окна снова закрылись. Какой-то фат нашел: «Тут ничего не поделаешь» — и остался только ради одной молоденькой и миленькой служаночки, которой так хотелось утешить беднягу. Полицейский не знал, как поступить, его оповестил какой-то шедший на службу младший официант. Когда Кин снова начал кричать, — люди раздражали его, — орган власти решил было вмешаться. Слезные мольбы цветочницы удержали его от этого. На Фишерле близость полиции подействовала устрашающе, он подпрыгнул, схватил рот Кина, закрыл его и притянул к себе вниз. Так дотасил он его, полузакрытый перочинный нож, до церковной двери, крикнул: «Молитва успокоит его!» — кивнул публике и исчез с Кином в церкви. Собака в соседнем переулке все еще выла.

— Животные всегда это замечают, — сказала цветочница, — когда мой покойный муж... — И она расска-

зала полицейскому свою историю. Поскольку овдовевшего господина уже не было видно, ей было жаль дорогих цветов.

В церкви лоточник работал еще вовсю. Тут вдруг появился Фишерле в сопровождении богатого компаньона, энергичным движением посадил этого жердеобразного человека на скамью, громко сказал: «Вы с ума сошли?» — огляделся и стал затем говорить тихо. Лоточник очень испугался, Фишерле он обманул, и компаньон знал на сколько. Он отполз подальше от них и спрятался за колонной. Он наблюдал за обоими из своей безопасной темницы, ибо умное чутье говорило ему, зачем они пришли: они принесли или хотели взять отсюда пакет.

В темной и тесной церкви Кин постепенно пришел в себя. Он чувствовал близость существа, чьи тихие упреки согревали его. Что это существо говорило, он не понимал, но это его успокаивало. Фишерле старался отчаянно, он даже перешел меру. Произнося всякие успокаивающие слова, он размышлял, кто, собственно, рядом с ним. Если он сумасшедший, то еще какой; если он только притворяется сумасшедшим, то он самый лихой мошенник на свете. Аферист, который подпускает к себе полицию и не убегает, которого силой приходится вырывать из рук полиции, которому цветочница верит, что у него горе, и даже дарит розы бесплатно, который рискует девятьюстами пятьюдесятью шиллингами, не обронив ни одного слова, который позволяет какому-то калеке-уроду бессовестно врать себе и не вздует его! Чемпион мира по аферам! Надуть такого мастера своего дела — это удовольствие, противников, которых приходится стыдиться, Фишерле терпеть не может. Он за равных по силе партнеров в любой игре, и поскольку он по финансовым причинам выбрал в партнеры Кина, он считает его равным себе по силе.

Однако он обращается с ним как с величайшим глупцом, тот ведь притворяется глупым, сам хочет, чтобы с ним так обращались. Чтобы навести его на другие мысли, Фишерле спрашивает Кина, как только тот начинает дышать спокойнее, о событиях, случившихся за истекшее утро. Кин не прочь вспомнить о более приятных минутах, чтобы освободиться от тяжести, угнетающей его, с тех пор как он узнал эту ужасную вещь. Прислонясь плечами, ребрами и другими костями к колонне, отделяющей его ряд скамеек, он улыбается слабой улыбкой больного, который хоть и идет на поправку, но требует очень бережного обхож-

дения. Фишерле знает толк в бережности. Такому врагу хочется сохранить жизнь. Он взбирается на скамью, становится на колени и подставляет ухо чуть ли не вплотную к губам Кина. Кто-нибудь может услышать его.

— Чтобы вам не перенапрягаться, — говорит он. Кин уже ничего не принимает просто. Любая любезность со стороны человека кажется ему чудом.

— Вы не человек, — шепчет он умиленно.

— Урод не человек, разве я в этом виноват?

— Единственный урод—это человек.

Голос Кина пытается набрать силу. Они глядят друг другу в глаза, поэтому он не замечает того, о чем следовало бы умолчать при карлике.

— Нет, — говорит Фишерле, — человек не урод, а то бы я был человеком!

— Не позволю. Человек—это единственный изверг!

Кин говорит громко, он запрещает и приказывает.

Фишерле такая перебранка—он считает это перебранкой—доставляет большое удовольствие.

— А почему не человек наша свинья?

Теперь он побил его.

Кин вскакивает. Он непобедим.

— Потому что свиньи не могут защищаться! Я протестую против этого насилия! Люди—это люди, а свиньи—это свиньи! Все люди—только люди! Ваша свинья—человек! Горе человеку, который берет на себя смелость называться свиньей! Я разобью его! Кан-ни-ба-лы! Кан-ни-балы!

Церковь гудела от отзвуков диких обвинений. Она казалась пустой. Кин разошелся. Фишерле растерялся, в церкви он чувствовал себя неуверенно. Он чуть не потащил Кина снова на площадь. Но там стояла полиция. Пусть рухнет церковь, в лапы полиции он не бросится! Фишерле знал страшные истории об евреях, которые оказывались погребенными под обломками обрушивавшихся церквей, потому что не должны были туда входить. Их рассказывала ему его жена, пенсионерка, потому что она была набожна и хотела обратить его в свою веру. Он не верил ничему, кроме того, что «жид»—это одно из тех преступлений, которые караются сами собой. В беспомощности он взглянул на свои руки, которые всегда держал на высоте предполагаемой шахматной доски, и заметил розы, раздавленные им под мышкой справа. Он вынул их оттуда и закричал:

— Розы, прекрасные розы, прекрасные розы!

Церковь наполнилась каркающими розами, — с высо-

ты среднего нефа, из боковых нефов, с ходов, от двери, отовсюду на Кина летели красные птицы.

(Лоточник, скорчившись от страха, прятался за своей колонной. Он понял, что между компаньонами идет спор, и радовался этому, ибо за спором они, конечно, забудут о своем пакете. Однако он предпочел бы, чтобы они уже вышли из церкви, шум оглушал, могла подняться суматоха, а в таких случаях набегают всякое жулье, и его пакет, чего доброго, украдут.)

Каннибалы Кина были задушены розами. Его голос еще не совсем окреп, и тягаться с карликом Кин не мог. Как только слово «розы» дошло до его сознания, он прекратил свой крик и полуудивленно-полу-пристыженно обернулся к Фишерле. Как оказались здесь розы, он же был в каком-то другом месте, цветы безобидны, они живут водой и светом, землей и воздухом, они не люди, они не причиняют зла книгам, они служат жратвой, погибают из-за людей, цветы нуждаются в защите, их надо защищать, от людей и животных, в чем разница, изверги, изверги и те и другие, одни жрут растения, другие — книги, единственный естественный союзник книги — это цветок. Взяв розы из руки Фишерле, он вспомнил об их благоухании, которое знал по персидским любовным стихам, и поднес цветы к глазам; верно, они пахли. Это смягчило его окончательно. Он сказал:

— Можете и впредь спокойно называть его свиньей. Только цветы, смотрите у меня, не ругайте!

— Я принес их для вас, — объяснил Фишерле, который был рад, что не должен больше кричать в церкви. — Они стоили бешеных денег. Вы раздавили их своим криком. Что поделает бедным цветам с такими людьми?!

Он решил отныне признавать правоту Кина во всем. Противоречить было слишком опасно. Эта бесшабашность доведет его до тюрьмы. Одаренный цветами снова в изнеможении опустился на скамью, прислонился к своей колонне и, осторожно, словно это были книги, поводя розами у себя перед глазами, начал рассказывать о славных делах предполуденных часов.

Время, когда он в спокойном неведении выкупал обреченных на заклятие в том светлом вестибюле, где от него никто не мог ускользнуть, было сейчас далеким, как его молодость. Людей, которым он помог вернуться на добрый путь, он представлял себе, однако, так явственно, словно с тех пор прошел какой-нибудь час, он сам поражался ясности своей памяти, которая в данном случае превзошла себя самое.

— Четыре больших пакета отправились бы в брюхо свиньи или были бы отложены для сожжения в дальнейшем. Мне посчастливилось спасти их. Надо ли мне этим хвалиться? Не думаю. Я стал скромнее. Зачем, собственно, я об этом рассказываю? Затем, может быть, чтобы и вы, человек, не довольствующийся компромиссами, признали ценность незначительной благотворительности.

От этих слов веяло воздухом, очищенным бурей. Его речь, обычно сухая и жесткая, звучала сейчас мягко и вместе с тем сочно. В церкви было очень тихо. Между отдельными фразами он часто сдерживал себя, а потом потихоньку воодушевлялся опять. Он описал четырех заблудших, которым протянул руку, их образы немного расплывались за четкими контурами принесенных ими пакетов, ибо сперва описывались именно пакеты, их бумага, форма и вероятное содержание; внутрь он ни разу по-настоящему не заглядывал. Пакеты отличались опрятностью, владельцы их были скромны и конфузливы, ему не хотелось отрезать им путь к отступлению. Какой смысл имела бы его освободительная деятельность, если бы он был жесток? Кроме последнего, все это были на редкость славные существа, они осторожно обращались со своими друзьями и запрашивали большие суммы, чтобы книги остались у них. Сверху бы они вернулись не солоно хлебавши, на лицах у них была написана твердая решимость, взяв у него деньги, они удалялись молча и в глубоком волнении. Первый, по-видимому рабочий по роду занятий, рывкнул на него вместо ответа на какой-то вопрос, приняв его за торговца, и ни одна грубость не была ему еще так приятна, как эта. Второй явилась некая дама, чей вид пробудил воспоминания об одном знакомом; решив, что над ней глумится один из чертей-прислужников, она побагровела, но протомчала. Вскоре после нее пришел слепой, который столкнулся в дверях с какой-то обыкновенной бабой, женой одного черта-привратника. Он вырвался из ее объятий к пакету, который нес, и с поразительной уверенностью остановился перед своим благодетелем. Слепые с книгами — зрелище потрясающее, они цепляются за свою утеху, и те из них, кому шрифт для слепых не по вкусу, потому что им напечатано так мало, никогда не смиряются и не признают правды перед самими собой. Их можно застать за открытыми книгами, напечатанными нашим шрифтом. Они лгут себе же и думают, что читают. Таких людей нам недостает, и если кто-нибудь заслуживает зрения, то именно эти слепые. Ради них

пожелаешь, чтобы немые буквы могли говорить. Слепой запросил больше всех, из деликатности ему не стали объяснять, почему его требование было исполнено, сказали, что из-за той наглой бабы. Зачем напомиать ему об его несчастье? Чтобы его утешить, упор сделали на его счастье. Будь у него баба, ему пришлось бы тратить каждый миг своей жизни на стычки с ней, ибо таковы бабы. Четвертый, невзрачный и не очень-то жаловавший свои книги, которые вздрагивали у него под мышкой, старался, видимо, держаться пристойно, но речь его отдавала вульгарностью.

Из этого рассказа карлик заключил, что деньги не ушли на сторону, что было бы для него сильным ударом. Он подтвердил вульгарный вид последнего, которого он еще встретил у двери. Это наверняка лоточник, и завтра он явится снова. Надо положить конец его проискам.

Последние слова лоточник услышал. Он привык к интонации обоих голосов. Когда громкий спор утих, он с любопытством, но медленно подполз поближе, он как раз успел к тому времени, когда разговор зашел о нем. Он был возмущен двуличием карлика и тем усерднее возобновил свою деятельность, как только те двое вышли из церкви.

Фишерле решил на тяжелую жертву. Он отвел Кина, чтобы тот оправился к завтрашнему дню, в ближайшую гостиницу и подавил свою досаду на огромные чаевые, которые тот выложил там из его, Фишерле, денег. Когда Кин, оплатив счет за две комнаты, хотя вполне можно было обойтись и одной, прибавил пятьдесят процентов этой суммы на чай, словно Фишерле, поскольку дело касалось его комнаты, одобрял такое безумие, и когда Кин потом, осознав, по-видимому, свою вину, с улыбкой взглянул ему в лицо, Фишерле очень хотелось влить ему оплеуху. Разве эти расходы не были лишними? Какая разница — дать портье на чай один или четыре шиллинга? Через несколько дней все будет и так на пути в Америку в кармане у Фишерле. Портье не разбогатеет от такого пустяка, а Фишерле обеднеет на эту сумму. И с таким неверным типом надо еще быть любезным! Тот, конечно, нарочно раздражает его, чтобы он, Фишерле, у самой цели потерял терпение, забылся и сам дал повод для увольнения. Он поостережется. Он и сегодня расстелет бумагу и нагромоздит книги, пожелает спокойной ночи и терпеливо выслушает перед сном все эти сумасшедшие имена, он встанет завтра в шесть, когда даже шлюхи и преступни-

ки еще спят, запакует книги и разыграет комедию. Он предпочел бы самую скверную шахматную партию. Ведь этот долговязый и сам не верит, что он, Фишерле, верит в его немыслимые книги. Он только хочет внушить ему почтение, но почтение у Фишерле есть до тех пор, пока ему нужно почтение, и ни секунды дольше. Как только он полностью соберет деньги на дорогу, он выскажет ему свое мнение. «Знаете, кто вы, сударь, — крикнет он, — вы самый обыкновенный аферист! *Vom* вы кто!»

Устав от волнений первой половины дня, Кин вторую его половину лежал в постели. Он не разделся, потому что ему не хотелось устраивать возню из-за неурочного отдыха. В ответ на вопросы Фишерле относительно выгрузки книг он равнодушно пожимал плечами. Его интерес к своей личной библиотеке, которая и так была в безопасности, сильно ослабел. Фишерле отметил эту перемену. Он чуял какую-то хитрость, которую надо было раскрыть, какую-то щель, через которую можно было попытаться нанести несколько маленьких, но ощутимых ударов. Он то и дело спрашивал насчет книг. Не тяжело ли все-таки держать их господину библиотекарю? Ведь ни голова его, ни книги не привыкли к такому положению. Он не хочет лезть со своими советами, но беспорядок в голове — дело опасное. Не потребовать ли хотя бы еще подушек, чтобы придать голове вертикальное положение? А уж если Кин резко поворачивал голову, коротышка, всячески показывая свой страх, кричал: «Ради бога, будьте осторожны!» Один раз он даже бросился к нему и подставил ладони под его правое ухо, чтобы подхватить книги. «Они же выпадут!» — сказал он с упреком.

Постепенно ему удалось привести Кина в нужное настроение. Вспомнив свои обязанности, Кин отказался от лишних слов и лежал спокойно и неподвижно. Если бы только этот коротышка молчал. От его речей и взглядов Кину делалось как-то жутко, словно его библиотеке грозила величайшая опасность, чего в действительности ведь не было. От чрезмерной заботы одна только мука. К тому же сегодня он считал более уместным думать о тех миллионах, чья жизнь была под угрозой. Фишерле казался ему слишком педантичным. Он был — явно из-за горба — очень занят собственным телом и распространял эту заботливость на своего хозяина. Он называл вещи их именами, которые лучше не произносить, и цеплялся за волосы, глаза и уши. К чему? Известно, что в голове уместится что угодно,

лишь мелочные натуры занимаются внешними деталями. До сих пор он не был в тягость.

Но Фишерле не отставал. Нос Кина дал течь, и после долгого неподвижного невмешательства Кин, из любви к порядку, решил принять меры против крупной тяжелой капли на самом кончике. Он достал носовой платок и хотел было высморкаться. Тут Фишерле громко застонал.

— Стоп, стоп, погодите, я сейчас!

Выхватив у него из руки платок—у самого Фишерле платка не было, — карлик осторожно приблизился к носу и подхватил каплю как драгоценную жемчужину.

— Знаете что, — сказал он, — я у вас не останусь! Вы бы сейчас высморкались, и книги вышли бы из носу! В каком они были бы виде, мне незачем вам говорить. Вы не любите своих книг! У такого я не останусь!

У Кина не было слов. В глубине души он признавал, что тот прав. Тем сильнее возмутил его наглый тон карлика. Ему показалось, что устами Фишерле говорил он сам. Под давлением книг, которых тот даже не читал, карлик заметно изменился. Старая теория Кина подтвердилась блестяще. Прежде чем он успел придумать ответ, Фишерле стал снова браниться, безответность хозяина поразила его. Ничем не рискуя, он бранью снял с души всю досаду на несусветные чаевые.

— Представьте себе, что я высморкался! Что вы сказали бы по этому поводу? Вы бы уволили меня на месте! Культурный человек так не поступает. Чужие книги вы выкупаете, а с собственными обращаетесь как с собакой. В один прекрасный день у вас не будет денег, это неважно, но если у вас не будет и книг, что вы будете делать тогда? Вы хотите просить милостыню на старости лет? Я не хочу. И это называется специалист по книжному делу! Посмотрите на меня! Разве я специалист по книжному делу? Нет! А как я обхожусь с книгами? Я обхожусь с ними безупречно, как шахматист с королевой, как шлюха с котом, или лучше сказать, чтобы вы поняли меня: как мать с младенцем.

Он попытался говорить своим извечным языком, но ничего не получилось. На ум ему приходили только благоприличные выражения, и поскольку они были благоприличны, он сказал себе: «Тоже неплохо» — и на том помирился.

Кин встал, подошел вплотную к нему и не без достоинства сказал:

— Вы бессовестный урод! Сейчас же покиньте мою комнату! Вы уволены.

— Значит, вы еще и неблагодарны! Жид пархатый! — закричал Фишерле. — От жида пархатого ничего другого и не дождешься! Сейчас же покиньте мою комнату, или я вызову полицию. Платил я. Возместите издержки, или я буду жаловаться! Сейчас же!

Кин замешкался. Ему казалось, что платил он сам, но в денежных делах у него никогда не было уверенности. К тому же он чувствовал, что карлик хочет его обмануть, и, увольняя своего верного слугу, хотел по крайней мере внять его советам и больше не подвергать опасности книги.

— Сколько вы внесли за меня? — спросил он, и голос его прозвучал куда менее уверенно.

Почувствовав вдруг снова всю тяжесть горба на спине, Фишерле сделал глубокий вдох, и раз уж дела его были так плохи, раз уж из Америки, видимо, ничего не вышло, раз уж виной такому обороту дела была его собственная глупость, раз уж он ненавидел себя, себя, свою крошечность, свою мелкотравчатость, свое мелкотравчатое будущее, свое поражение перед самой победой, свой жалкий заработок (сравнительно с королевским богатством, которое он играючи заработал бы через несколько дней), раз уж этот начальный заработок, эти гроши, на которые он плевал, он с радостью, если бы их не было так жаль, швырнул бы в лицо Кину вместе с так называемой библиотекой, на которую чихал, — он отказался и от суммы, выброшенной Кином на комнаты и на портье. Он сказал:

— Я отказываюсь от этих денег!

Фраза эта стоила ему такого труда, что тон, каким он произнес ее, придал ему больше достоинства, чем Кину вся его долговязость и строгость. Оскорбленная человечность слышалась в этом отказе и сознание, что самые добрые намерения люди понимают совершенно превратно.

Тут до Кина начало доходить. Он же не заплатил карлику ни гроша из его жалованья, конечно нет, об этом ни разу не было речи, и, вместо того чтобы вернуть себе хотя бы израсходованные собственные деньги, тот отказался от всяких расчетов. Он уволил карлика потому, что благородная забота о его, Кина, библиотеке заставила того употребить неподобающие выражения. Он обругал карлика уродом. А несколько часов назад, когда на него, Кина, была брошена вся полиция столицы, этот урод спас ему жизнь. Карлику он был обязан порядком и безопасностью, даже побуж-

дением к благотворительности. По своей безалаберности он плюхнулся на кровать, не уложив спать книги, а когда слуга, как то и было его обязанностью, напомнил о неудачном положении книг и об опасности, в которой те оказались, он, Кин, выгнал его из своей комнаты. Нет, так низко ему еще не доводилось пасть, чтобы из чистого упрямства грешить против духа своей библиотеки. Он положил руку на горб Фишерле, ласково прижал его, словно бы говоря: ничего, у других горб в голове, глупости, других нет, потому что другие — всего-навсего люди, только мы, два счастливица, не люди, — и приказал:

— Пора приступить к распаковке, дорогой господин Фишерле!

— Вот и я так думаю, — ответил тот, с трудом сдержав слезы. Америка всплыла перед ним — огромная, обновленная, которой не потопить никаким мелкотравчатым аферистам вроде Кина.

ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ

Маленький праздник примирения сблизил обоих. Кроме общей любви к образованию и, соответственно, уму, было много такого, что равным образом испытали и тот и другой. Кин впервые рассказал о своей безумной жене, которую он держит взаперти дома, где она не может никому наделать вреда. Правда, там находится его большая библиотека; но поскольку жена не проявляла ни малейшего интереса к книгам, то вряд ли она и подозревает в своем безумии, что окружает ее. Такое тонкое существо, как Фишерле, понимает, конечно, какую боль причиняет ему разлука с библиотекой. Но в большей сохранности, чем у этой безумной, у которой только одна мысль — деньги, не может быть никакая книга на свете. Паллиативную замену он носит с собой, и он указал на сложенные тем временем горы книг; Фишерле преданно кивнул головой.

— Да, да, — продолжал свой рассказ Кин, — вы не поверите, есть люди, которые всегда думают о деньгах. Вам свойствен красивый жест — не принимать даже честно предлагаемых денег. Мне хочется доказать вам, что причина моих прежних выпадов против вас — всего лишь каприз, может быть, даже мое сознание собственной вины. Мне хочется вознаградить вас за оскорбления, которые вам пришлось безропотно проглотить. Считайте это таким вознаграждением, если я объясню вам, как тут действительно обстоит дело. Поверьте

мне, дорогой друг, есть люди, которые не только иногда, а всегда, каждый час, каждую минуту, каждую секунду своей жизни думают о деньгах! Пойду дальше и осмелюсь утверждать, что дело может касаться даже чужих денег. Такие натуры ничего не страшатся. Знаете, что хотела выманить у меня моя жена?

— Какую-нибудь книгу! — воскликнул Фишерле.

— Это можно было бы еще понять, хотя и осуждая как всякое преступное действие. Нет, завещание!

Фишерле слышал о таких случаях. Он сам знал женщину, пытавшуюся сделать нечто подобное. Чтобы отплатить Кину за доверие, он шепотом рассказал ему эту таинственную историю, но сперва настойчиво попросил не выдавать его, это может стоить ему, Фишерле, головы. Кин сильно смутился, узнав, о ком идет речь — о собственной жене Фишерле.

— Теперь я могу признаться вам, — воскликнул он, — ваша жена с первого же взгляда напомнила мне мою собственную. Вашу жену зовут Тереза? Я не хотел тогда причинять вам боль, поэтому я умолчал о своем впечатлении.

— Нет, ее зовут пенсионеркой, другого имени у нее нет. Когда она еще не была пенсионеркой, ее звали худышкой, потому что она такая толстая.

Имя не совпадало, но все прочее совпадало. В ходе истории о завещании Фишерле возникали всякие подозрения. Была ли Тереза втайне профессиональной проституткой? От нее можно было ждать самого мерзкого. Она якобы рано ложилась спать. Может быть, ночами она таскалась по таким «небесам». Он вспомнил ту ужасную сцену, когда она разделась при нем и смахнула книги с дивана на пол. Столько бесстыдства могло быть только у проститутки. Когда Фишерле рассказывал о своей жене, Кин сравнивал детали — болезнь, причитания и покушение на убийство — с теми, которые он знал по Терезе и сообщил карлику несколько минут назад. Не подлежало сомнению, обе женщины были если не одним и тем же лицом, то уж во всяком случае сестрами-близнецами.

Позднее, когда Фишерле, в порыве чувств предложив ему перейти на «ты», дрожал от приязни в ожидании ответа, Кин не только решил исполнить это его желание, но и пообещал посвятить ему следующую свою большую работу, может быть, революционный труд о логосе в Новом завете, хотя карлик не был ученым и дать ему образование еще предстояло. На празднике примирения Фишерле узнал, что здесь есть люди, которые говорят по-китайски лучше китайцев и

знают вдобавок еще добрую дюжину языков. Этот факт, если это был факт, действительно произвел на него большое впечатление. Но он не поверил этому. Однако способность врать, что ты такой умный, была сама по себе недюжинным достижением.

Как только они перешли на «ты», сходство мнений стало обнаруживаться на каждом шагу. Они разработали план спасательной работы на следующие дни. Фишерле рассчитал, что примерно через неделю капитал кончится, а могут прийти люди с особо ценными книгами, и обречь на гибель именно их было бы преступлением, заслуживающим смертной казни. Несмотря на неприятные расчеты, Кин был в восторге от этих слов. Когда капитал иссякнет, придется прибегнуть к энергичным мерам, добавил Фишерле, приняв строгий вид. Что он подразумевал под этим, он не сказал. Он дал Кину указания на ближайшее будущее. Миссия открывается в 9.30, закрывается в 10.30. Все это время полиция занята в других местах. По прежнему опыту Фишерле известно, что ежедневно в 9.20 полицейский пост с Терезианума снимается, а в 10.40 заступает опять. Аресты назначены на одиннадцать часов, дорогой друг помнит, конечно, как его самого чуть не арестовали сегодня утром. Разумеется, Кин помнил, что на церковной башне как раз было одиннадцать, когда они на нее взглянули.

— Ты очень наблюдателен, Фишерле, — сказал он.

— Дорогой друг, когда так долго живешь среди сплошного отребья! Такая жизнь — удовольствие маленькое, из-за своей порядочности каждый остается в убытке, то есть кроме меня, но каждый и учится.

Кин признал, что Фишерле обладает как раз тем, чего нет у него. Знанием практической жизни до последней мелочи.

На следующее утро, ровно в половине десятого, он стоял на своем посту, свежий, с облегченным сердцем, готовый к любому мужественному поступку. Свежим он чувствовал себя потому, что при нем было меньше учености, Фишерле взял на себя ответственность и за остаток библиотеки.

— В мою голову кое-что войдет, — пошутил он, — а не хватит места, набью кое-чем горб!

Облегчение Кин испытывал потому, что его больше не угнетала мерзкая тайна насчет его жены, а к мужественным поступкам он был готов потому, что слушался чужих приказаний. В 8.30 Фишерле покинул его; он хотел произвести небольшую рекогносцировку. Если он не вернется, то все в полном порядке.

За церковь он встретил своих служащих. Фишерша, хотя ее и уволили, опять вышла на работу. Нос она держала сегодня на несколько сантиметров выше, начальник должен был ей двадцать шиллингов, от ее милости зависело, напомнить ему об этом или нет. Уповав на этот долг, она осмелилась приблизиться к нему. Ассенизатор ругал свою жену. Вместо того чтобы удовлетвориться пятнадцатью шиллингами, которые он принес домой, она сразу спросила об остальных пяти. Она знала все. Потому он ее и почитал. Сегодня утром она еще разбудила его из-за этих пропитых шиллингов.

— Так получается, — сказал «слепой», который уже два часа прохаживался, постанывая, за церковь, он даже не выпил утром, как привык, кофе, — так получается, когда у человека *одна* жена! Человеку нужно сто жен!

Затем он справился о жене ассенизатора. Ее вес заставил его задуматься, и он умолк. Лоточник, которого вчера, когда он спал без сновидений, вспугнул причетник, только сейчас вспомнил о забытом под скамейкой пакете. В большом страхе, хотя дело шло только о книгах, он принялся искать его. Он нашел пакет; Фишерле уже стоял возле церкви и приветствовал его легким помахиванием носа.

— Господа и дамы, — начал хозяин, — нам нельзя терять время. Сегодня важный день. Наше предприятие приобретает колоссальный размах. Оборот растет. Через несколько дней я займу достойное положение в обществе. Выполняйте свои обязанности, и я вас не забуду! — На ассенизатора он бросил ничего не говорящий, на «слепого» — многообещающий, на Фишершу — прощающий, а на лоточника — презрительный взгляд. — Мой компаньон прибудет через четверть часа. До этого я проинформирую вас, чтобы вы ориентировались. Кто не ориентируется, тот будет уволен!

Отводя их в сторону поодиночке в прежней последовательности, он заставил их запомнить значительно более крупные суммы, которые они должны были сегодня потребовать.

Компаньон не узнал ассенизатора, что не удивительно, ибо на месте лица у того была блестящая коровья лепешка. Фишершу он спросил, не она ли приходила уже вчера, в ответ на что та, как ей было наказано, принялась на чем свет ругать похожую на нее предшественницу. Та бесчувственная особа уже много лет закладывает книги, а она еще ни разу не делала этого. Кин поверил ей, потому что ему понравилось ее

негодование, и заплатил столько, сколько она потребовала.

Самую прибыльную свою надежду Фишерле возложил на «слепого».

— Сперва скажите ему, сколько вы просите. Потом подождите несколько минут. Если он задумается, наступите ему на ногу, чтобы он сосредоточил на вас свое внимание, и прошепчите ему на ухо: сердечный привет вам от вашей жены Терезы. Она умерла.

Слепой хотел расспросить о ней, ему было жаль, что ее, надо полагать, внушительный вес отнял у него смертью. Он скорбел о каждой умершей женщине, к мужчинам, сколь бы мертвы они ни были, он не испытывал ни малейшего сострадания. Из-за толстых женщин, которые никогда уже не могли принадлежать ему, он в счастливые дни становился осквернителем трупов, а в пуговичные — только поэтом. Сегодня Фишерле оборвал его вопросы указанием на беспуговичное будущее.

— Сначала избавимся от пуговиц, дорогой мой, а там придет очередь баб! Пуговицы с бабами несовместимы!

При таких видах на будущее донести до Кина умершую Терезу было легко. Ее имя не забылось на пути от сенного рынка за церковь до вестибюля книжного отдела. Со времени ранения на войне ум и память «слепого» исчерпывались именами и разновидностями баб. Появившись с вытаращенными глазами, уставившимися в ягодицы голой Терезы, в стеклянных дверях, он выпалил ее имя, подбежал к Кину и, чтобы выполнить поручение своего начальника, наступил ему после этого на ногу.

Кин изменился в лице. Он увидел, как она приближается. Она вырвалась на волю. Ее синяя юбка блестит. Безумная, она подсинила ее и подкрахмалила, подсинила и подкрахмалила. Кин померк и поник. Она ищет его, он ей нужен, ей нужны новые силы для ее юбки. Где полиция? Надо арестовать ее, немедленно, она общественно опасна, она бросила библиотеку на произвол судьбы, полиция, полиция, почему нет полиции, ах, полиция прибудет только в 10.40, какое несчастье, если бы здесь был Фишерле, хотя бы Фишерле, он не боится, он женат на ее сестре-двойняшке, он в этом смыслит, он с ней покончит, он уничтожит ее, синяя юбка, ужасно, ужасно, почему она не умирает, почему не умирает, пусть умрет, сию же минуту, в стеклянных дверях, прежде чем достигнет его, прежде чем начнет его бить, прежде чем откроет

рот, десять книг, если она умрет, сто, тысячу, половину библиотеки, всю, что в голове Фишерле, тогда она непременно умрет, навсегда, это много, он клянется, он отдаст всю библиотеку, только пусть она умрет, умрет, умрет, умрет совершенно!

— К сожалению, она умерла, — сообщает «слепой» с искренней скорбью, — и передает сердечный привет.

Около десяти раз заставил Кин повторить ему эту радостную весть. Подробности его не интересовали, он никак не мог насытиться самим фактом, он в сомнении щипал собственные кости и окликал себя по имени. Поняв, что он не ослышался, не замечтался, ничего не спутал, он спросил, точные ли это сведения и откуда господин это узнал. Из благодарности он был вежлив.

— Тереза умерла и передает сердечный привет, — повторил «слепой» недовольно. При виде этого человека мечта его совсем отошала. Источник, сказал он, надежен, но называть его он не имеет права. За пакет он требует 4500 шиллингов. Но он должен потом взять его с собой снова.

Кин поспешил рассчитаться за свою вину деньгами. Он боялся, что этот человек потребует библиотеки, обещанной ему клятвенно. Какое счастье, что сегодня утром Фишерле взял ее целиком к себе! Кин не смог бы исполнить свой обет тут же, Фишерле здесь не было, где было сразу взять книги? На всякий случай он быстро расплатился, чтобы этот вестник счастья исчез. Если Фишерле, чье местонахождение было ему, Кину, неизвестно, вдруг почувствует опасность, он явится, чтобы предостеречь его, и библиотека пропадет. Клятвы клятвами, библиотека превыше любой клятвы.

«Слепой» долго пересчитывал деньги. При таких огромных суммах чаевые не пустяк, он мог бы попросить на чай, но он больше не нищий. Он служащий фирмы с большими оборотами. Своего начальника он любил, потому что тот покончил с пуговицами. Например, если он сейчас получит сто шиллингов на чай, он купит себе сразу несколько баб. Против этого начальник ничего не может иметь. По старой привычке он протянул горсть и сказал, что он не нищий, но просто просит. Кин с опаской взглянул на дверь, ему показалось, что приближается какая-то тень, сунул просившему купюру, случайно это оказалось сто шиллингов, оттолкнул его рукой от себя и взмолился:

— Уходите, скорее, скорее!

У «слепого» не осталось времени пожалеть о собственной нерасторопности, он мог бы потребовать больше, но был слишком поглощен последствиями

своей удачи. Громко говоря, он подошел к Фишерле; того исход его выходки интересовал больше, чем ласкательные излияния «слепого», которого прямо-таки распирало от любви и от денег. Карлик немного помедлил, перед тем как взять у него свои деньги, он не стал вырывать их из рук, при такой маленькой сумме и таком большом разочаровании торопиться не стоило. Стопроцентный успех его ошеломил. Он несколько раз внимательно пересчитал деньги, повторяя:

— Вот это характер! Ну и характер у человека! Фишерле, с таким характером надо быть начеку!

Слепой отнес «характер» к себе и вспомнил о сотне, зажатой в левой руке. Он поднес ее к носу карлика, крича:

— Взгляните на мои чаевые, господин начальник, я не попрошайничал! Человек, который дает сто шиллингов на чай, — это хороший человек!

И тут впервые с тех пор, как он возглавил свою новую фирму, Фишерле отдал часть добычи, настолько он был занят характером своего врага.

Тут навязался лоточник, чья очередь была последней, как и вчера. Его несчастное лицо пришлось не по нутру «слепому». Будучи от природы добродушен, «слепой» посоветовал ему потребовать на чай. Это услышал начальник. Как только лоточник, эта змея подколотная, которая думала только о своей выгоде, приблизился к нему, Фишерле невольно очнулся и прикрикнул на него:

— Попробуйте только!

— Где уж мне! — сказал побитый.

Со вчерашнего дня, несмотря на короткий сон, он изрядно выдохся. Силой он ничего не добьется, это он понимал. Он, правда, все еще упрямо и твердо верил, что тот, настоящий пакет спрятан в церкви, но спрятан так ловко, что никто не найдет его. Поэтому он оставил этот путь и избрал другой. Он рад был бы стать таким же маленьким, как Фишерле, чтобы узнать его мысли, а лучше еще меньше, таким маленьким, чтобы самому помещаться в тайных пакетах и продажей их управлять изнутри. «Я уже сошел с ума, — сказал он себе, — ведь меньше, чем карлик, быть невозможно». Но в том, что рост карлика связан с укрытием, где находился пакет, сомнений у него не возникало. Он был слишком смышлен. Когда другие спали, он бодрствовал. Прибавив время сна ко времени бодрствования, можно было определить, насколько он был смышленнее, чем другие. Это он знал, он был слишком смышлен, чтобы не знать этого, но он предпочел бы покончить со смышлено-

стью, скажем, на две недели и проспять их, как другие люди, в этих санаториях со всеми современными удобствами, такой человек, как он, вращается в мире и слушает всякие разговоры, другие тоже их слушают, но они всё просыпают, а он ничего не просыпает, потому что он не может спать, вот он и запоминает каждое слово.

За спиной Фишерле «слепой» делает лоточнику знак, он высоко поднимает стошиллинговый билет и повторяет губами цифру рекомендуемых чаевых. Он боится, что лоточник вернется недовольный, боится, потому что хочет обсудить с ним кое-что насчет своих баб. Начальник ничего в этом не понимает, он же урод и карлик. Ассенизатор трусит из-за своей бабы. Другим лучше ничего не говорить о новой службе, все хотят что-то урвать, и глядишь — от всех денег у тебя в руках не останется ни даже одной бабы. Лоточник — единственный. Он не проронит ни слова, если с ним что обсуждаешь, он молчит, с ним разговаривать лучше всего.

Тем временем этот единственный размышляет о своем поручении. Он должен потребовать колоссальную сумму — две тысячи шиллингов. Если компаньон спросит его, не приходил ли уже он вчера, он должен сказать: «Да, конечно, с этим же пакетом! Неужели вы не помните меня?» Если долговязый случайно окажется в дурном настроении, лоточнику следует поскорее ретироваться, без денег, пакет, на худой конец, можно оставить. А то у долговязого есть привычка в два счета вытаскивать свой револьвер и палить. Пакет пускай себе остается там. Книги в нем не такие уж ценные. Фишерле уж рассчитается со своим компаньоном, когда тот снова придет в нормальное состояние и с ним можно будет разговаривать. Таким дьявольским способом Фишерле намеревался избавиться от лоточника. Он представлял себе разъяренного Кина, его возмущение столь бессовестным требованием и повторное появление лоточника с теми же книгами. Он представлял себе, как он, Фишерле, пожмет плечами и, любезно ослабившись, уволит своего служащего. «Он не хочет видеть вас больше. Что я могу поделать? К сожалению, я вынужден вас уволить. Он утверждает, что вы обидели его. Что вы умудрились с ним сделать? Теперь ничего не поможет. Можете быть свободны. Когда я буду делать дела с кем-нибудь другим, я возьму вас снова, этак через годик-другой. Будьте молодцом до тех пор, и я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Лоточников я люблю. Он говорит, что вы подлый

человек, змея подколодная, которая думает только о своей выгоде. Я знаю, что он имеет в виду. Ступайте».

Все учел Фишерле, недооценил он только воздействия на Кина известия о смерти Терезы. Лоточник застал компаньона растерянным, тот непрестанно улыбался, улыбался даже среди серьезнейших дел, улыбаясь, выложил колоссальную сумму и под конец, не без изыщной улыбки, заявил:

— Мне кажется, что мы знакомы.

— Мне тоже! — грубо ответил лоточник. Ему надоело смотреть, как тот улыбается, этот компаньон то ли издевался над ним, то ли рехнулся. Поскольку он орудовал такими крупными суммами, первое казалось все же более вероятным.

— Откуда я мог бы вас знать? — спросил Кин, улыбаясь. Он испытывал потребность поговорить о своем счастье с человеком безобидным, которому он не клялся подарить библиотеку и который не знал его.

— Мы знакомы по церкви, — ответил лоточник, обезоруженный дружественным интересом этого господина. Ему было любопытно, какотреагирует такой богатый человек на упоминание о церкви. Может быть, он вдруг переведет на него все предприятие.

— По церкви, — повторил Кин, — ну конечно, по церкви. — Он понятия не имел, какая церковь имелась в виду. — Так вот, знаете ли, моя жена умерла. — Его худое лицо сияло. Он наклонился вперед, лоточник невольно отступил, в страхе косясь на его руки и карманы. Руки были пусты, относительно карманов ясности не было. Кин пошел вслед за ним; перед стеклянной дверью он схватил дрожащего лоточника за плечо и прошептал ему на ухо:

— Она была неграмотна.

Лоточник ничего не понимал, он дрожал всем телом и истово бормотал:

— Соболезную, соболезную!

Он попытался вырваться, но Кин не отпускал его, с улыбкой сообщая, что эта участь грозит всем неграмотным, они все ее и заслуживают, но никто не заслуживал ее в такой мере, как его жена, о чьей смерти он узнал несколько минут назад. Смерть ждет каждого, а уж этих неграмотных и подавно! При этом он потрясал свободным кулаком, а его лицо разгладилось, приняв обычное для себя строгое выражение. Лоточник начал понимать, что тот грозит ему смертью, он прекратил свое бормотанье, громко простонал, зовя на помощь, и бросил тяжелый пакет на ноги своего ужасного противника, который от боли сразу же отпустил его плечо.

Затем лоточник сжал челюсти и пустился наутек; если он не будет больше кричать, долговязый, может быть, не станет стрелять вдогонку. Мысленно он молил его не палить, пока он не свернет за угол, он никогда больше не будет так поступать. Перед Терезианумом он осмотрел свою одежду: не обнаружится ли незамеченных ран. У него хватило духа потребовать вознаграждения за услуги, прежде чем заявить Фишерле о своем уходе со службы. Лишь когда карлик, в восторге от счастья, преследовавшего его даже там, где он и не чаял, пересчитал две тысячи шиллингов и отсчитал ему двадцать, лоточник задрожал снова и, всхлипывая, сообщил, что, не задав ни одного вопроса, был обстрелян богатым компаньоном и чуть не пострадал. От такого посредничества он отказывается. Кроме того, Фишерле должен выплатить ему компенсацию за страх. Карлик обещал выдать ее в рассрочку, по пятьдесят шиллингов в месяц, первая выплата — через месяц, считая от сегодняшнего дня. (К тому времени он будет давно в Америке.) Лоточник заявил, что согласен, и удалился.

Кин поднял упавшие книги. Их судьба огорчала его, еще больше огорчил его исчезнувший незнакомец, он еще кое-что сказал бы ему. Он тихо и ласково бросил ему вдогонку:

— Но ведь она уже умерла, доподлинно известно, поверьте мне, она нас не слышит!

Кричать громче он не решился. Он знал, почему тот убежал. Этой женщины все боялись; когда он заговорил о ней вчера с Фишерле, тот побледнел. Ее имя распространяло ужас, достаточно было услышать его, чтобы окаменеть. Фишерле, громкий, шумный Фишерле переходил на шепот, когда говорил о ее сестре-двойняшке, а незнакомец, чьи книги он выкупил, не поверил в ее смерть. Почему он убежал? Почему он был так труслив? Ведь он, Кин, доказал бы ему, что она должна была умереть, ее смерть была чем-то само собой разумеющимся, эта смерть вытекала из ее природы, вернее из ее положения. Она поглотила себя самое, от жадности к деньгам. Возможно, у нее были запасы в доме, кто знает, где она копила съестное — на кухне, в своей прежней клетушке (она была, собственно, только экономкой), под коврами, за книгами, но всему приходит конец. Неделями она питалась этим, потом все кончилось. Она увидела, что израсходовала свои запасы. Но она не стала ложиться и умирать. Так поступил бы на ее месте он. Любую смерть он предпочитал недостойной жизни. Она же, обезумев от

жажды завещания, стала пожирать себя по кускам. До последней своей минуты она видела перед собой завещание. Она клочьями сдирала с себя мясо, эта гиена, она съедала все, что сдирала, она съедала кровавое мясо сырым — как ей было готовить его, затем она умерла, став скелетом, ее туго натянутая юбка скрывала пустые кости, юбка выглядела так, словно ее надул вихрь. На самом деле юбка была точно такая же, как всегда, только вихрь вымел из-под нее хозяйку. Терезу нашли, ибо однажды квартиру взломали. Этот верный и грубый наемный воин, привратник, интересовался местопребыванием своего господина. Он ежедневно стучался и, не получая ответа, тревожился. Он прождал несколько недель, прежде чем позволил себе взломать дверь. Квартира была накрепко заперта снаружи. Взломав дверь, он нашел труп и юбку. Они были вместе положены в гроб. Адреса профессора никто не знал, а то бы его известили о похоронах. Это было его счастье, ибо он на виду у всех прохожих смеялся бы, вместо того чтобы плакать. За гробом шагал привратник, единственный скорбящий, да и тот лишь из верности своему исконному господину. Большая собака мясника прыгнула на гроб, свалила его на землю и вытащила оттуда накрахмаленную юбку. Кусая ее, она раскровенила себе пасть. Привратник думал, что юбка должна быть при Терезе, что юбка ей ближе, чем сердце, но поскольку собака озверела от голода, он не осмелился вступить с ней в борьбу. Он только стоял и с волнением смотрел, как куски, пропитанные кровью этого могучего животного, исчезают в его пасти один за другим. Скелет поехал дальше. Поскольку никто уже не сопровождал его, он был выброшен на большую свалку за городом, ни одно кладбище ни одного вероисповедания его не приняло бы. К Кину послали гонца с известием об ее ужасном конце.

Тут Фишерле вошел через стеклянную дверь и сказал:

— Вы уже уходите, я вижу.

— Хорошо все же, что я догадался запереть на замок, — сказал Кин.

— Меня на замок? Меня засадить? Вы не посмеете! Фишерле испугался.

— Она заслужила эту смерть. Я и по сей день точно не знаю, умела ли она свободно читать и писать.

Фишерле понял.

— А моя не умеет играть в шахматы! Что вы на это скажете? Возмутительно, правда?

— Мне бы хотелось узнать подробности. Приходит-

ся довольствоваться самыми скудными сведениями. Мой осведомитель убежал.

Положим, он сам прогнал его, но ему было стыдно признаться Фишерле насчет того чудовищного обета.

— И пакет он бросил, этот болван. Давайте сюда! Я и так все ношу, понесу и его.

При этих словах он вспомнил вчерашнее братание и извинился перед Кином за то, что обращался к нему на «вы», причиной тому только старая почтительность. На самом деле он уже презирал его, потому что теперь был в четыре раза богаче, чем тот. Он считал милостью со своей стороны, что вообще говорит с ним, и если бы дело не шло о последней пятой части капитала, он просто молчал бы. К тому же его заинтересовали жилищные условия Кина. Может быть, его жена действительно умерла. Судя по всем признакам, так оно и было. Будь она жива, она давно вернула бы себе мужа. Такого глупого мужа с такими деньгами вернет себе любая. В ее сумасшествие он не верил, все мелочи, рассказанные о ней Кином, были в полном порядке. Что этот слабый, тощий человек кого-то запер на замок, а тем более такую дельную женщину, казалось ему нелепым и смешным. Она наверняка взломала бы дверь, а если она сумасшедшая, то и подавно. Значит, она умерла. Но что будет теперь с квартирой? Если там хранились какие-то ценности, то, так или иначе, было чем поживиться, если же она только набита книгами, то их следовало хотя бы заложить. Саму квартиру можно было за хорошее отступное перепродать. Во всяком случае произошло какое-то несчастье, и какой-то капитал, большой ли, маленький ли, лежал втуне.

На улице Фишерле озабоченно посмотрел вверх на Кина и спросил:

— Да, дорогой друг, как нам теперь поступить с теми прекрасными книгами, которые остались дома? Этой шлюхи не стало, и книги одни.

Он плотно сложил вытянутые пальцы правой руки, схватил их левой и вдруг разломил надвое, так, словно собственноручно свернул шлюхе шею. Кин был благодарен ему за это напоминание, которого он ждал.

— Успокойся, — сказал он, — привратник наверняка хорошенько запер квартиру. Это честнейший на свете человек. Разве я мог бы иначе спокойно расхаживать с тобой? Была ли она, кстати, проституткой, я не могу сказать с полной определенностью.

Он был справедлив, она умерла, осуждать ее без веских доказательств, на его взгляд, не годилось.

Кроме того, ему было стыдно, что за восемь лет он не заметил ни одного признака истинной ее профессии.

— Такой женщины, чтобы не была шлюхой, на свете нет!

Фишерле нашел, как всегда, самое лучшее решение. Оно было итогом его проведенной на «Небе» жизни. Кина оно сразу же убедило. Он никогда не прикасался к женщине. Было ли — кроме науки — лучшее оправдание этому, чем тот простой факт, что все они как одна — проститутки?

— К сожалению, я должен признать твою правоту, — сказал он, чтобы придать своему согласию хотя бы видимость какого-то собственного опыта. Но Фишерле было уже не до шлюх, он перешел к привратнику. Он усомнился в его честности.

— Во-первых, честных людей не бывает, — заявил он, — кроме нас двоих, разумеется, а во-вторых, не бывает честных привратников. Чем жив привратник? Вымогательством! А почему? Потому что иначе ему не прожить. Одной квартирой привратник сыт не будет. У нас был привратник, он требовал с моей жены по шиллингу за каждого гостя. Если ночью она приходила домой без гостя — при такой профессии случается всякое, — он спрашивал, где гость. Нет у меня, говорила она. Предъявите его, а то я донесу на вас, говорил он. Тогда она начинала плакать. Где ей взять гостя? Так проходил, бывало, целый час. В конце концов она все-таки предъявляла гостя, иногда вот такого маленького, — Фишерле опустил ладонь до колена, — которого ведь вполне можно было бы спрятать, если бы этот тип входил в ее положение. Жалко шиллинга! А кто нес убыток? Конечно я!

Кин объяснил ему, что в данном случае речь идет о наемном воине, о верном, надежном человеке медвежьей силы, который не пускает на порог нищих, разносчиков и прочего сброда. Сущее удовольствие наблюдать, как он обращается с этой швалью, многие из них не умеют даже читать и писать. Иных он буквально изувечивает. За покой, которым он обязан привратнику, ибо для науки нужен покой, покой и еще раз покой, он положил ему небольшой презент, сто шиллингов в месяц.

— И он берет их! И он берет их! — У Фишерле сорвался голос. — Вымогатель! Разве я не прав? Самый настоящий вымогатель! Его надо посадить в тюрьму, сейчас же! В тюрьму, говорю, да, в тюрьму!

Кин попытался успокоить своего друга. Тот не должен сравнивать с собой такого обыкновенного чело-

века. Конечно, неблагородно брать деньги за услуги, но этот безнравственный обычай укоренился у черни и захватил даже круги образованные. Платон тщетно выступал против этого. Вот почему ему, Кину, мысль о профессуре всегда была ненавистна. За свои научные труды он никогда в жизни не брал ни гроша.

— Платон хорош! — возразил Фишерле, это имя он слышал впервые. — Платона я знаю, Платон — человек богатый, ты тоже человек богатый. А откуда я это знаю? Да потому, что так говорят только богатые люди. Я бедняк, у меня нет ничего, я — никто и останусь никем, но я ничего не беру. Это характер! Твой привратник, этот вымогатель, берет у тебя сто шиллингов, целое состояние, скажу я, и в дневное время избивает бедных людей. А ночью — спорим, что ночью он спит, твои сто шиллингов у него в кармане, — он позволяет расхищать книги, я не могу этого видеть, это подлость, разве я не прав?

Кин сказал, что не знает, крепкий ли у привратника сон. Надо полагать — крепкий, ибо все у него крепко, кроме четырех канареек, которые должны петь, когда он пожелает. (Их он упомянул точности ради.) С другой стороны, это человек фанатической бдительности, он устроил в пятидесяти сантиметрах над полом особый глазок, чтобы удобнее было следить за входящими и выходящими.

— Таких людей я не выношу! — выпалил Фишерле. — Из них выходят самые лучшие шпики. Шпик несчастный! Несчастный подлец! Попадись он мне сейчас под руку, дорогой друг, ты бы вытарачил глаза, так я его избил бы, я убил бы его одним мизинцем! Шпиков я терпеть не могу! Шпики — это сволочь или не сволочь?! Это сволочь, скажу я, разве я не прав?

— Не думаю, что мой привратник был шпиком по профессии, — сказал Кин, — если такая профессия действительно существует. Он был полицейским чином, инспектором, если не ошибаюсь, и давно вышел на пенсию.

Фишерле сразу же пошел на попятный. В такое дело он не будет влезать. С полицией он сейчас не станет связываться, перед Америкой — ни за что, с полицией на пенсии — и подавно, те, что на пенсии, самые вредные. От лени они нападают на невиновных. Оттого что они не имеют права арестовывать, они чуть что приходят в ярость и калечат ни в чем не повинных калек. Жаль, конечно, не помешало бы снарядиться для Америки получше. Человек едет в Америку один раз. Чемпиону мира не хочется приезжать нищим, он еще не

чемпион, но он станет им, и люди, чего доброго, скажут когда-нибудь: он приехал с пустыми руками, так пусть и не останется с полными, отнимем-ка у него все. В Америке Фишерле, несмотря на свое звание, вовсе не чувствует себя уверенно. Везде есть мошенники, а в Америке всё гигантских размеров. Время от времени он сует нос в левую подмышку и подкрепляется запахом своих денег, которые там спрятаны. Это утешает его, и, побыв там немножко, нос опять весело устремляется вверх.

А Кин уже не чувствовал себя таким счастливым из-за смерти Терезы, как раньше. Слова Фишерле напомнили ему об опасности, нависшей над его библиотекой. Все влекло его туда: ее бедственное положение, его долг, его работа. Что удерживало его здесь? Высокая любовь. Пока в жилах у него текла кровь, он хотел спасти несчастных, выкупать их, избавлять от сожжения, от пасты этой свиньи! Дома его ждал верный арест. Надо было смотреть фактам в лицо. Он был совиновен в смерти Терезы. Она несла главную вину, но он ее запер. По закону он был обязан отправить ее в психиатрическую лечебницу. Он благодарил бога за то, что не поступил по закону. В лечебнице она была бы жива и поныне. Он приговорил ее к смерти, голод и ее жадность привели этот приговор в исполнение. Он ни на йоту не отступался от своего поступка. Он был готов отстаивать его перед судом. Его процесс должен был кончиться грандиозным оправданием. Правда, арест такого знаменитого ученого, первого, вероятно, сиолога своего времени, вызвал бы неприятный шум, чего в интересах науки следовало избегать. Главным свидетелем защиты выступал как раз этот привратник. Хоть Кин и полагался на него, но опасения Фишерле насчет продажности такого характера не преминули оказать свое действие. Наемные воины перебегают к тому хозяину, который им больше платит. Главная проблема состояла в том, чтобы раскусить противную сторону. Существовала ли таковая, была ли она заинтересована в том, чтобы подкупить привратника неотразимыми суммами? Тереза была одинока. О родственниках никогда не было речи. На похоронах никто не провожал ее. Если в ходе процесса возникнет кто-нибудь, кто выдает себя за ее родственника, Кин потребует тщательно расследовать происхождение этого лица. Какое-то родство все же возможно. С привратником он собирался поговорить до своего ареста. Повышение презента до двухсот шиллингов окончательно склонило бы этого шпика, как метко заметил Фишерле, на его,

Кина, сторону. Это не было бы ни подкупом, ни вообще правонарушением; привратник должен показать правду, чистую правду. Никуда не годится, чтобы крупнейшего, вероятно, синолога своего времени наказывали из-за какой-то поганой бабы, о которой нельзя даже с уверенностью сказать суду, умела ли она бегло читать и писать. Наука требовала ее смерти. Она требует также полного его оправдания и реабилитации. Таких ученых, как он, можно перечесть по пальцам. Женщин, к сожалению, миллионы. Тереза принадлежала, вдобавок, к самым ничтожным. Спору нет, ее смерть была предельно мучительна и жестока. Но за это, именно за это она сама несла полную ответственность. У нее была возможность спокойно умереть с голоду. Тысячи кающихся индийцев умерли до нее этой медленной смертью, считая себя спасенными благодаря ей. Мир восхищается ими и сегодня. Никто не скорбит об их судьбе, а их народ, мудрейший после китайского, причисляет их к лику святых. Почему Тереза не пришла к такому решению? Она слишком цеплялась за жизнь. Ее жадность не знала границ. Она дорожила каждой презренной секундой жизни. Она пожирала бы людей, если бы они были поблизости. Она ненавидела людей. Кто пожертвовал бы собой ради нее? В свой трудный час она увидела себя одинокой и покинутой, как того и заслуживала. Тогда она прибегла к последнему средству, которое ей оставалось: она стала пожирать собственное тело, по клочку, по ломтику, по кусочку, и, терпя неопишуемые боли, сохраняла жизнь. Свидетель нашел не ее, он нашел ее кости, не распавшиеся благодаря синей накрахмаленной юбке, которую она обычно носила. Таков был ее заслуженный конец.

Из защитительной речи Кина получилось сплошное обвинение Терезы. Задним числом он уничтожил ее вторично. Он уже давно сидел с Фишерле в гостиничном номере, где они оказались почти произвольно. Строгая цепь его мыслей не обрывалась ни на миг. Он молчал и обдумывал каждое мельчайшее обстоятельство. Из слов, которые сожранная употребляла при жизни, он составил образцовый текст. Он был мастер блестящих конъектур и отвечал за каждую букву. Правда, ему было бесконечно жаль тратить столько филологического педантизма всего-навсего на убийство. Он действовал под давлением свыше и обещал миру щедрую компенсацию в свершениях своего ближайшего будущего. Работать ему не давала именно та, чье дело сейчас слушалось. Он поблагодарил председателя за чрезвычайно предупредительное обращение, которого

он, как обвиненный в убийстве, не ожидал. Председательствующий сделал поклон и с изысканной вежливостью заявил, что знает, вероятно, как надо вести себя с крупнейшим синологом современности. То «вероятно», которое Кин вставлял между словами «крупнейший синолог», когда говорил о себе сам, председатель опустил, поскольку оно было совершенно излишне. Эта публичная почеть наполнила Кина справедливой гордостью. Его обвинение Терезы приобрело несколько более мягкую окраску.

— Надо признать за ней некоторые смягчающие обстоятельства, — сказал он Фишерле. Тот сидел с ним на кровати, сожалел о неудавшемся вторжении в квартиру и нюхал свои деньги. — Даже в самое скверное время, когда ее характер был совершенно сломлен голодом, она не осмеливалась прикоснуться хотя бы к одной книге. Замечу к тому же, что речь идет о необразованной женщине.

Фишерле злился, потому что понимал его, любой вздор суждено было ему понимать, он проклинал собственный ум и лишь по привычке соглашался с речами сидевшего рядом бедняги.

— Дорогой друг, — сказал он, — ты дурак. Чего человек не знает, того человек не сделает. Знаешь, с каким аппетитом сожрала бы она самые лучшие книги, если бы знала, до чего это просто. Скажу тебе, если бы поваренная книга со ста тремя рецептами, которую составляет наша свинья наверху, была уже напечатана... Нет, лучше я ничего не скажу.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Кин, вытаращив глаза. Он прекрасно знал, что имел в виду карлик, но хотел, чтобы эти ужасные слова произнес в связи с его библиотекой другой, не он сам, даже мысленно не он сам.

— Могу тебе только сказать, дорогой друг, приходи ты домой, ты застал бы свою квартиру пустой, совсем оголенной, без единого листочка, не говоря уж о книгах!

— Слава богу! — Кин перевел дыхание. — Она уже похоронена, а эта гнусная книга выйдет не так скоро. На своем процессе я сумею упомянуть об этом. Мир встрепенется! Я намерен беспощадно предать гласности все, что знаю. Ученый еще что-то значит!

После смерти жены речи Кина стали смелее, и даже предстоявшие трудности только усиливали его боевой задор. Он провел с Фишерле несколько интересных часов. Находясь в меланхолическом настроении, карлик очень ценил шутки. Он выслушал историю с процессом

в мельчайших подробностях, без единого возражения. Много добрых советов он дал Кину совершенно даром. Нет ли у того родственников, которые могли бы ему помочь, процесс по поводу убийства—это не пустяк. Кин упомянул своего брата-парижанина, знаменитого психиатра, нажившего состояние в бытность гинекологом.

— Состояние, говоришь? — Фишерле сразу решил сделать перед Америкой остановку в Париже. — Это тот, кто мне нужен, — сказал он, — я проконсультируюсь с ним насчет моего горба!

— Но он же не хирург!

— Неважно, если он был врачом по женским болезням, он может все.

Кин усмехнулся над наивностью этого милого человека, который явно понятия не имел о специализации в науке. Однако он охотно дал ему точный адрес, который Фишерле записал на грязном клочке бумаги, и подробно рассказал о прекрасных отношениях, в которых находились они с братом много лет, даже десятилетий назад.

— Наука требует всего человека, — заключил он, — она ничего не оставляет для привычных отношений. Она разлучила нас.

— Когда у тебя начнется процесс, я тебе все равно не буду нужен. Знаешь что, я съезжу тогда в Париж и скажу твоему брату, что пришел к нему от тебя. Ведь я же ничего не должен буду платить, если я твой близкий друг?!

— Конечно нет, — ответил Кин, — я дам тебе рекомендательное письмо для полной уверенности. Я был бы рад, если бы он действительно избавил тебя от горба.

Он тут же сел и написал брату—впервые за восемь лет. Предложение Фишерле пришлось ему очень кстати. Он надеялся вскоре целиком уйти снова в свою науку, и тогда коротышка, как он ни уважал его, стал бы все же обузой. Чувство, что ему раньше или позже придется избавиться от Фишерле, появилось у Кина, собственно, лишь с тех пор, как они перешли на «ты». Если Фишерле отделается от своего горба, Георг вполне может устроить его санитаром в своей психиатрической клинике. Запечатанное письмо с подробным адресом карлик отнес в свою комнату, вынул из пакета, служившего ему товаром и брошенного лоточником, одну книгу и вложил письмо в нее. Оставшееся в пакете следовало употребить завтра по прежнему назначению. По точному подсчету у Кина было еще около двух ты-

сяч. За одно лишь утро их можно было взять у него с легкостью. Вечер прошел поэтому в возмущенных разговорах о свинье и подобных выродках.

Следующий день начался плохо. Не успел Кин стать у своего окна, как его толкнул какой-то человек с пакетом. Он едва устоял на ногах и чуть не разбил стекло. Грубиян протискивался вперед.

— Что вам угодно? Что вам нужно здесь? Подождите!

Никакие оклики не помогали. Незнакомец бросился вверх, даже не обернувшись. После долгого размышления Кин пришел к выводу, что дело идет о порнографических книгах. Это было единственное объяснение бесстыдной поспешности, с какой тот уклонился от проверки его пакета. Затем появился ассенизатор и, неуклюже остановившись перед ним, гнусаво потребовал четырьеста шиллингов.

От злости на предшественника Кин узнал ассенизатора. Он прикрикнул на него дрожащим голосом:

— Вы уже вчера были здесь! Стыдитесь!

— Позавчера, — чистосердечно промямлил тот.

— Убирайтесь отсюда! Опомнитесь! Это кончится плохо!

— Свои деньги я получу! — сказал ассенизатор. Он заранее радовался пяти шиллингам, которые хотел снова пропить. Не думая, — он никогда не думал, — ассенизатор, как человек трудящийся, твердо знал, что жалованье он получит только тогда, когда отдаст за это свой труд, то есть взысканные с долговязого деньги.

— Вы ничего не получите! — решительно заявил Кин. Он стал на ступеньку лестницы. Он был ко всему готов. Заложить книги? Только через его труп! Ассенизатор почесал затылок. Ему ничего не стоило раздавить этого заморыша. Но это ему не было велено. Он делал только то, что велели. «Пойду спрошу начальника», — протрещал он выпущенными ветрами и показал долговязому зад. Такое прощание далось ему легче, чем всякие слова. Кин вздохнул. Стеклянная дверь взвизгнула.

Тут появилась синяя юбка и громадный пакет. Далее следовала Тереза. Она несла то и другое. Рядом с ней шел привратник. Подняв вверх левой рукой еще больший пакет, он перебрал эту кладь через голову в правую руку, которая играючи подхватила ее.

СВЕРШИЛОСЬ

Выгнав мужа-вора, Тереза целую неделю обыскивала квартиру. Она действовала как при генеральной уборке и распределяла свой труд. С шести часов утра до восьми часов вечера она елозила по полу на ногах, на коленях, на ладонях и на локтях в поисках тайных щелей. Она находила пыль там, где и в самые чисто-плотные свои времена не ожидала ее, и сваливала это на вора, ведь такие люди — грязнули. Листком плотной оберточной бумаги она влезала в те щели, которые были слишком узки для ее толстых шпилек. После употребления она сдувала с листка пыль и проводила по нему тряпкой. Ибо мысль, что она может дотронуться грязной бумагой до пропавшей банковской книжки, была ей невыносима. Во время работы она не надевала перчаток, они же погибли бы, но они лежали поблизости, выстиранные до ослепительной белизны, — на тот случай, если банковская книжка найдется. Прекрасные ковры, которые пострадали бы от непрерывного шнырянья по ним, были упакованы в газеты и вынесены в коридор. Книги, где тоже мог быть спрятан искомый предмет, обыскивались каждая в отдельности. Об их продаже она еще всерьез не думала. Насчет этого она хотела сперва посоветоваться с каким-нибудь умным человеком. Однако на число страниц она смотрела, испытывая почтение к книгам толще пятисот страниц, и прежде, чем решалась поставить книгу на место, взвешивала ее в руке, как ощипанную курицу на рынке. Из-за банковской книжки она не злилась. Ей нравилось заниматься квартирой. Она хотела, чтобы мебели у нее было больше. Стоило мысленно убрать книги, как сразу становилось ясно, кто здесь жил, — вор. Через неделю она сказала: в доме ничего нет. В таких случаях люди порядочные обращаются в полицию. Она предпочла не заявлять в полицию, пока не кончатся деньги, выданные ей на хозяйство в последний раз. Она хотела доказать полиции, что муж исчез со всем капиталом, не оставив ей ни гроша. Отправляясь за покупками, она старалась обойти привратника стороной. Она боялась его расспросов о господине профессоре. До сих пор он, правда, не лез ни с чем, но первого он наверняка явится. Первое число каждого месяца он получал чаевые. В этом месяце он ничего не получит, и она уже представляла себе, как он будет просить у двери. Она была твердо намерена прогнать его с пустыми руками. Никто не заставит ее что-то отдать. Если он будет вести себя нагло, она донесет на него.

Однажды Тереза надела парадную крахмальную юбку. Эта юбка молодила ее. Синий ее цвет был чуть светлее, чем синий цвет той, другой юбки, которую Тереза носила каждый день. К парадной юбке очень подошла ослепительно белая блузка. Тереза отперла дверь в новую спальню, скользнула к зеркальному шкафу, сказала: «Вот и я»—и ослабилась до самых ушей. Она выглядела на тридцать, и у нее была ямочка на подбородке. Ямочки—это красиво. Она договаривалась с господином Грубом о свидании. Квартира принадлежит теперь ей, и господин Груб может прийти. Она хочет спросить его, как ей поступить лучше всего. В книги вложены миллионы, и она готова уделить кое-что и ему. Ему нужен капитал. Она знает, кто человек дельный. Она не хочет упускать такие славные деньги. Может быть, ей что-то перепадет? Экономить хорошо, зарабатывать лучше. Одним махом становишься вдвое богаче. Она не забыла господина Груба. Ни одна не может его забыть. Так уж водится у женщин. Каждая хочет взять его с бою. Она хочет, чтобы и ей перепало. Мужа нет. Он не вернется. Что он сделал, она не станет говорить. Он никогда не был к ней добр, но он все-таки был ее мужем. Поэтому она лучше не станет говорить. Красть он умел, а дельным человеком быть не умел. Если бы все были такие, как господин Груб. У господина Груба есть голос. У господина Груба есть глаза. Она дала ему имя, это имя—Пуда. Красивое имя, а господин Груб—самый красивый. Она знает многих мужчин. Может быть, хоть один из них нравится ей так же, как господин Груб? Пусть он это докажет, если он думает дурно. Пусть он не думает. Пусть он придет. Пусть он скажет насчет роскошных бедер. Он так прекрасно говорит это.

Под эти слова она раскачивается перед зеркалом. Теперь только она чувствует, как она красива. Она снимает юбку и осматривает свои роскошные бедра. Всё так и есть. Он такой умный. Он не только интересен. Он—всё. Откуда он это знает. Он не видел ее бедер. Он это сразу замечает. Он внимательно рассматривает женщин. Затем он спрашивает, когда можно опробовать их. Мужчина должен быть решительным. Иначе это не мужчина. Может ли хоть одна сказать ему «нет»? Тереза ощупывает свои бедра его руками. Они мягки, как его голос. Она заглядывает ямочкой ему в глаза. Она ему что-то подарит, говорит она. Она возвращается к двери и берет связку ключей, которая там висит. Перед зеркалом она со звяканьем вручает ему этот подарок и говорит, что он может

войти в ее комнату, когда пожелает. Она знает, что он не вор, даже если ее не будет на месте. Связка ключей падает на пол, и Терезе стыдно, потому что он не берет их. Она кричит: «Господин Пуда!»—и спрашивает, можно ли ей говорить просто «Пуда». Он ничего не говорит, он никак не насытится бедрами. Это прекрасно. Ей так хочется услышать его голос. Она рассказывает ему великую тайну. У нее есть сберегательная книжка, и она отдаст ее ему на хранение. Должна ли она сказать ему и пароль? Она шутит. Она боится, что он потребует этого от нее, этого она не сделала бы. Пока не узнает его получше. Она так мало знает его. Но он же ничего не сказал. Где он? Она ищет его у себя на бедрах, там ей холодно. Жарко ей там, где грудь. Там находятся его руки под блузкой, но его здесь нет. Она ищет его в зеркале и находит там свою юбку. Юбка выглядит как новая, и синий цвет хоть куда, потому что она верна господину Пуде. Она снова надевает юбку, юбка идет ей, а если господин Пуда захочет, она снова снимет ее. Он придет уже сегодня, он останется на всю ночь, он будет приходить каждую ночь, он так молод. У него есть гарем, ради нее он упразднит его. Потому что он однажды был груб? Но это же его фамилия! Он не виноват, что у него такая фамилия. Она вспотела, сейчас она пойдет к нему.

Тереза взяла отвергнутые ключи, тщательно заперла дверь, попеняла себе за то, что воспользовалась зеркалом в парадной комнате, хотя в клетушке имелся небольшой щербатый осколок, и громко расхохоталась, оттого что напрасно полезла с ключами во внутренний карман, которого в этой юбке вовсе и не было. Звучание ее смеха было ей незнакомо, она никогда не смеялась, она подумала, что слышит в квартире кого-то чужого. Тут ей стало жутко—впервые с тех пор, как она оказалась одна. Она быстро проверила тайник, где хранилась ее сберегательная книжка; та была на месте. Значит, грабителей в доме не было, они бы первым делом украли сберегательную книжку. Для верности она взяла ее с собой. В подъезде она согнулась, проходя мимо привратника. У нее было много денег с собой, и она боялась, что как раз сегодня он потребует у нее чаевых.

Шумное движение на улице усилило радость Терезы. Она поспешно скользнула в свой праздник, ее цель находилась в сердце города. Шум делался громче от улицы к улице. Все мужчины смотрели ей вслед. Она замечала это, но она жила для *одного* мужчины. Ей всегда хотелось жить для какого-нибудь одного мужчи-

ны, а теперь так и вышло. Какой-то автомобиль, обнаглев, чуть не наехал на нее. Она мотнула головой в сторону шофера, сказала: «На вас, доложу я, у меня нет времени!»—и повернулась к опасности спиной. В будущем Пуда сумеет защитить ее от пролетариев. Она и одна тоже ничего не боялась, потому что все принадлежало теперь ей. Проходя через город, она завладевала всеми магазинами. Там были жемчуга, подходившие к ее юбке, и брильянты для ее блузки. Из меховых шуб она не надела бы ни одной, они ведь были непристойны, но повесить такую вещь в шкаф было недурно. Самое лучшее нижнее белье было у нее самой, кружева на нем были гораздо шире. Но и несколько витрин с бельем она все-таки захватила с собой. Это богатство она клала в свою сберегательную книжку, которая разбухала и разбухала, там ее добро будет в целости и сохранности, и он сможет это увидеть.

Перед его фирмой она остановилась. Буквы вывески придвинулись к ее глазам. Сначала она прочла: «Больш и Мать», потом она прочла: «Груб и Жена». Это ей понравилось. Для того она и тратила свое драгоценное время. Конкуренты бросились друг на друга, господин Больш был хлюпик и получил трепку. Тут буквы заплясали от радости, а когда пляска их кончилась, она вдруг прочла: «Больш и Жена». Это ей совсем не подходило. Она воскликнула: «Какая наглость!»—и вошла в магазин.

Тут же кто-то поцеловал сударыне руку. Это был его голос. В двух шагах от него она подняла вверх сумку и сказала:

— Вот и я.

Он поклонился и спросил:

— Сударыне угодно? Чем могу служить сударыне? Может быть, новую спальню? Для нового господина супруга?

Несколько месяцев мучил Терезу страх, что он не узнает ее. Она делала все для своей узнаваемости. Она ухаживала за своей юбкой, она ежедневно стирала, крахмалила, гладила ее, но у этого интересного человека было ведь столько женщин. Теперь он сказал: «Для нового господина супруга?» Она поняла тайный смысл этих слов. Он узнал ее. Она потеряла всякий стыд, она не стала озираться, есть ли еще кто-нибудь в лавке, а подошла вплотную к нему и слово в слово сказала то, что отрепетировала перед зеркалом. Своими влажными глазами он глядел ей в лицо. Он был такой красивый, она была такая красивая, все было такое красивое, и,

дойдя до *роскошных бедер*, она потеревила на себе юбку, помедлила и, держась для устойчивости за сумку, начала все сначала. Он махал руками, восклицал среди ее речи: «Сударыне угодно? Ах, сударыня! Сударыне угодно?» Чтобы она говорила тише, он подошел к ней еще ближе, его рот открывался и закрывался рядом с ее ртом, он был совершенно одного роста с ней, и она говорила все быстрее и все громче. Она не забывала ни одного слова, каждое вылетало у нее изо рта разрывающимся снарядом, дышала она тяжело и прерывисто. Дойдя до бедер в третий раз, она развязала сзади тесемки, но прижала к юбке, отчего та и не сползла, сумку. Продавцу стало не по себе от страха, она все еще говорила несколько не тише, ее красные, потные щеки касались его щек. Если бы только он понял ее, он понятия не имел, кто она и что ей нужно. Он схватил ее за толстые плечи и простонал: «Сударыне угодно?» Она снова остановилась перед самыми бедрами, роскошно и во весь голос довела их до конца, прошептала «Да!» и втиснулась ему в объятия. Она была толще, чем он, и считала себя обнятой. Тут уж юбка упала на пол. Тереза заметила это и стала еще счастливее, потому что все вышло так само собой. Почувствовав его сопротивление, она испугалась среди блаженства и прорыдала: «Позволю себе!» Голос Пуды сказал: «Ах, сударыня! Ах, сударыня! Ах, сударыня!» Сударыней была она. Слышались и другие голоса, совсем не красивые, люди смотрели на них, ее это не трогает, она женщина порядочная. Господин Пуда стыдился, он всячески вырывался, она не выпускала его, крепко сжимая руки у него за спиной. Он кричал: «Извольте, сударыня, будьте любезны, сударыня, отпустите же меня, сударыня!» Ее голова лежала у него на плече, а его щеки были как масло. Почему он стыдится? Она не стыдится. Она даст отрубить себе руки, но его не отпустит. Господин Пуда топал ногами и рычал: «Разрешите, пожалуйста, я же не знаю вас, разрешите, пожалуйста, отпустите меня!» Затем появилось много людей, они били Терезу по рукам, она стала плакать, но Пуду не выпустила. Какой-то силач разжал ее пальцы один за другим и вдруг вырвал у нее господина Пуду. Тереза зашаталась, провела рукавом блузки по глазам, сказала: «Ну, доложу вам, разве можно быть таким грубым!»—и перестала плакать. Силач был рослой, толстой женщиной. Господин Пуда успел жениться! В магазине стоял страшный шум, когда взгляд Терезы упал на ее лежавшую на полу юбку, она поняла — почему.

Совсем рядом толпились люди, они смеялись так, словно им за это платили. Стены и потолок дрожали, мебель качалась. Кто-то кричал: «Спасательная дружина!», кто-то другой: «Полиция!» Господин Груб возмущенно обтирал свой костюм, особенно он любил его подкладные плечики, он все приговаривал: «Манеры тоже имеют какой-то предел, сударыня!»—и, как только удовлетворился состоянием костюма, приступил к чистке задетой щеки. Тереза и он были единственными, кто не смеялся. Его спасительница, «Мать», разглядывала его недоверчиво, предполагая за этим инцидентом какую-то любовную историю. Поскольку ей пришлось в нем участвовать, она склонялась больше к полиции. Эту бесстыдницу следовало проучить. Он-то уже проучен. Кроме того, он был человек милый, чего она, однако, никогда не сказала бы вслух. Дело требовало непоколебимой строгости. Несмотря на это соображение, она смеялась резко и громко. Все говорили наперебой. Тереза, прямо среди толпы, снова надела юбку. Какая-то девушка-контрщица посмеялась над ее юбкой. Тереза не дала юбку в обиду и сказала: «Вы, доложу я вам, не отказались бы!» При этом она указала на широкие кружева своей нижней юбки, которые тоже, помимо самой юбки, недурно выглядели. Смех не прекращался. Тереза была вполне довольна, она боялась его жены. Счастье, что она обняла его, а то ей никогда больше это не удалось бы. Пока они смеялись, с ней ничего не могло случиться. Среди смеха на человека не нападают. Какой-то тощий служащий, вид у него был не мужчины, а ее прежнего мужа, вора, сказал: «Подружка Груба!» Другой, это был мужчина, сказал: «Хороша подружка!» То, что все засмеялись теперь еще сильнее, она сочла гадким.

— А я, доложу вам, и правда хороша! — крикнула она. — Где моя сумка? — Сумка пропала. — Где моя сумка? Я вызову полицию!

Мать сочла это наглостью.

— Вот как! — сказала она. — Теперь в полицию позвоню я!

Она повернулась и направилась к телефону.

Господин Больш, маленький начальник, ее сын, все время стоял за ее спиной, пытаясь что-то сказать. Никто не слушал его. Он в отчаянии дергал ее за рукав, она отталкивала его, твердя грубым мужским голосом:

— Мы ей покажем! Мы посмотрим, кто здесь хозяин.

Господин Больш был вконец растерян. Когда она

уже взяла телефонную трубку, он осмелился прибегнуть к крайней мере и ущипнул ее.

— Но она же покупала у нас, — шепнул он.

— Что? — спросила она.

— Хорошую спальню.

Он был единственный, кто узнал Терезу.

Мать бросила трубку, повернулась к персоналу и тут же объявила всем без исключения:

— Я не позволю обижать моих покупателей!

Мебель опять задрожала, но уже не от смеха.

— Где сумка дамы? Чтобы через три минуты сумка была на месте!

Все служащие бросились на пол и послушно заползали. Ни от кого не ускользнуло, что Тереза тем временем подняла сумку. Она лежала там, где раньше стояла мать. Господин Груб встал на ноги первым и с удивлением заметил сумку у Терезы под мышкой.

— Как я погляжу, сударыня, — пропел он, — сударыня уже нашла сумку. Сударыне всегда везет. Сударыне угодно — если дозволено спросить?

Его служебный раж мать вознаградила благоволением. Она подошла к нему чеканным шагом и кивнула головой. Тереза сказала:

— Сегодня ничего, спасибо.

Груб низко склонился над ее рукой и сказал с грустным смирением:

— Тогда целую вашу милую ручку, сударыня.

Он поцеловал предплечье выше перчатки, пропел: «Целую ручку вам, мадам!» — и, изящно отказываясь от чего-то левой рукой, отступил назад. Персонал вскочил и выстроился почетным караулом. Тереза помедлила, гордо вскинула голову и на прощанье сказала:

— Можно, доложу я вам, поздравить?

Он не понял ее, но привычка велела ему поклониться. Затем она подошла к почетному караулу. Все спины были согнуты, все приветствовали ее. Сзади стояла мать, прощавшаяся громовым голосом. Начальник, державшийся возле нее, предпочел помолчать. Он уже сегодня позволил себе лишнее. Сообщить, что это покупательница, следовало, конечно, раньше. Когда Тереза стояла в дверях, которые, превратив их в триумфальную арку, держали два человека, он поспешно исчез в конторе. Может быть, мать забудет о нем. До последней секунды слышала Тереза возгласы восхищения: «Шикарная особа!», «Красивая юбка!», «До чего же синяя!», «И полная сумка!», «Как княгиня!», «Везет же Грубу!». Это не было сном. Счастливец все время

целовал ей руку, она стояла уже на улице. Даже дверь закрылась с опозданием и почтительно. Сквозь стекла смотрели ей вслед. Она обернулась только один раз и, улыбаясь, заскользила вперед.

Вот как случается, когда любит человек особенный. Он женился! Разве он мог ждать ее? Ей следовало объявиться раньше. Как он заключил ее в объятия! Затем он вдруг испугался. Его новая жена была в магазине. Капитал у него от жены, поэтому ему нельзя делать такие вещи. Он человек порядочный. Он знает, что полагается. Он смыслит что к чему. Спереди он обнимал ее, сзади он защищался. Чтобы слышала жена, он бранился. До чего же умный человек! У него есть глаза. У него есть плечо. У него есть щека. Жена сильная. Жена—не замухрышка, но она ничего не заметила. Из-за ее сумки она сразу захотела вызвать полицию. Такой и надо быть жене. Точно такой же женой была бы она, вор никак не уходил раньше, вот она и опоздала. Разве она виновата? Вор виноват. Груб целовал ей руку. У него есть губы. Он ждал ее. Сначала он хотел принять капитал только от нее, и вдруг появилась другая, с очень большим капиталом, ведь женщины не оставляют его в покое, вот он и взял ее. Не может же он бросаться большими деньгами. Но любит он только ее. Новую жену он не любит. Когда она приходит, все должны нагибаться, чтобы найти ее сумку. Дверь полна глаз, и все смотрят ей вслед. Почему на ней новая юбка? Она же так рада. Счастье, что она успела наскоро обнять его. Кто знает, когда снова выпадет такой случай. Юбка идет ей, нижняя юбка тоже идет ей. Кружева на ней дорогие. Она не такая. Она подумала: бедняга. Почему не уделить ему от бедер? Он находит их роскошными. Теперь он увидел их. Женатому человеку она тоже кое в чем не откажет.

Домой Тереза добиралась во сне. Она не замечала ни улиц, ни дерзостей. От несчастья она была застрахована счастьем. Перед ней открывались всякие ложные пути, а она шла единственно верным, который вел ее назад к ее собственности. Перед ее несгибаемой накрахмаленностью робели люди и средства передвижения. Повсюду она вызывала благосклонное внимание. На этот раз она даже не замечала его. Толпа служащих составляла ее эскорт. Шпалеры эти были резиновые, с каждым ее шагом они растягивались. Плеск стоял от целования ручек, поцелуи сыпались градом, воздух был ими наполнен, все принимала она одна. Новые жены, не замухрышки, звонили в полицию. Сумки Терезы оказы-

вались украдены. Маленьких начальников больше не было, они исчезли, в их магазинах их не было видно, только на вывесках еще значились их имена. Целыми десятками женщины, выглядевшие на тридцать, бросались в объятия Пуд, у которых имелись губы, глаза, плечи и щеки. Синие крахмальные юбки падали на пол. Роскошные бедра любовались собой в зеркалах. Руки не отпускали. Руки никак не отпускали. Целые магазины смеялись от гордости при виде такой красоты. Экономки удивленно роняли свои пыльные тряпки. Воры возвращали краденое добро и вешались, а потом позволяли похоронить себя. На всей земле было единственное богатство, и оно слилось воедино. Оно никому не принадлежало. Ведь принадлежало оно кому-то одному.

Его можно было сохранить. Красть было запрещено. Стеречь не требовалось. Были дела поумнее. Сбивали масло. Из молока получался слиток золота величиной с голову ребенка. Сберегательные книжки ломались. Сундуки с приданным ломались тоже. В них же были сплошь сберегательные книжки. Никто ничего не хотел от тебя. Было два человека, которые знали толк в общении. Один человек был женщиной, ей принадлежало все. Другого человека звали Пудой, ему ничего не принадлежало, зато он мог общаться с этой женщиной. Покойные матери переворачивались в гробу. Они ничего не разрешали тебе. Чаевые привратникам были отменены, потому что всем платили пенсию. Что говорили, то сразу и подтверждалось. За бумаги, которые оставлял после себя вор, можно было получить деньги наличными. Книги приносили большие деньги. Квартира была продана за наличные. Лучшая ничего не стоила. Ведь в старой не было окон.

Тереза почти дошла до дома. Резиновые шпалеры, давно разорванные, рассыпались. Град тоже прекратился. Зато приближались привычные вещи. Они были очень просты, менее богаты, зато не подлежало сомнению, что застанешь их и они будут твои. Стоя у своего парадного, Тереза сказала: «Ну, вот, доложу я, и славно, что он женился. Теперь все достанется мне». Над тем, каким капиталом она ссудила бы господина Груба, она стала ломать себе голову только теперь. Такие дела не делаются без договора и расписки. Она вправе потребовать высоких процентов. Кроме того, участия в деле. Украсть нельзя будет. Счастье, что до этого не дошло. Как может быть человек таким легкомысленным и бросаться деньгами! Никто ничего не отдает назад. Так уж водится у людей.

— Что с господином профессором? — Привратник, рыча, преградил ей путь. Тереза испугалась и промолчала. Она задумалась, как ответить. Если она скажет ему, что муж был вором, он донесет. С доносом она хотела повременить. А то полиция найдет деньги, выданные на хозяйство, и скажет, что их надо зачесть. Ведь он же сам дал их ей.

— Целую неделю я не видел его! Уж не помер ли?

— Ну, доложу я вам, помер, жив-живехонек. И не думает умирать.

— Я так и решил, что он болен. Горячий привет от меня, я приду навестить его. Рад быть к его услугам...

Тереза игриво опустила голову и спросила:

— Может быть, вы знаете, где он? Он срочно нужен мне из-за денег на хозяйство.

Привратник поймал обманщика в его жене. У него хотели отнять его «презент». Профессор прятался от него, чтобы ничего не дать ему. При этом тот никакой не профессор. Он сделал его таковым, своими силами. Еще несколько лет назад тот именовался доктором Кином. Такое звание ничего, наверно, не стоит! Он пролил много пота, прежде чем все жильцы стали называть Кина профессором. Даром никто не работает. За работу дают пенсию. Ему не нужно подачек от этого скелета, он хочет «презента», потому что это пенсия.

— Вы утверждаете, — зарычал он на Терезу, — что мужа нет дома?

— Нет, доложу вам, уже целую неделю нет дома. Он говорил, что ему надоело. Он вдруг уехал и оставил меня одну. Никаких денег на хозяйство. Разве так можно? Хотела бы я знать, в котором часу ложится он теперь спать. Порядочные люди ложатся в постель в девять часов.

— Люди заявляют в полицию о пропавших без вести!

— А если, доложу вам, он сам ушел! Он сказал, что вернется.

— Когда?

— Когда ему захочется, сказал он, он всегда был такой, он думает только о себе, доложу вам, а другой ведь тоже человек. Разве я в этом виновата!

— Смотри, поганая рожа, я сейчас пойду искать его! Если он наверху, не собрать вам костей. Сто шиллингов я с него сдеру. Этот слизняк увидит, как я с ним теперь обойдусь! Вообще-то я не такой, но теперь я буду такой!

Тереза уже шла впереди. В его речи она услышала

ненависть к Кину, которая воодушевила ее. До сих пор она боялась привратника как его единственного и неодолимого друга. Но вот сегодня ей уже второй раз выпало счастье. Увидев, что она говорит чистую правду, привратник поможет ей. Все против этого вора. Почему он вор?

Привратник с грохотом захлопнул за собой дверь квартиры. Его тяжелые от злости шаги испугали жильцов, над которыми находилась библиотека Кина. За много лет они привыкли к мертвой тишине. Лестничная клетка наполнилась дискутирующими людьми. Все угадали, что это привратник. До сих пор профессор был его любимчиком. Жильцы ненавидели Кина из-за «презента», которым при малейшей возможности корил их привратник. Наверно, профессор не хочет больше платить. Он прав, но трепки он заслужил. Без трепки у привратника дело не обойдется. Взволнованно прислушиваясь, жильцы не понимали, почему не доносится никаких голосов: раздавались только знакомые рычащие шаги.

А ярость привратника была так велика, что квартиру он обыскивал молча. Он экономил свою злость. На примере обнаруженного Кина он собирался дать другим наглядный урок. За его скрежещущими зубами проклятия скапливались десятками. На его кулаках вставляли дыбом рыжие волосы. Он чувствовал это, когда головой сталкивал с места шкафы в новой спальне Терезы. Гад мог скрываться везде. Тереза следовала за ним сочувственно. Там, где он останавливался, останавливалась и она, туда, куда заглядывал он, заглядывала и она тоже. Он почти не обращал на нее внимания, уже через несколько минут он воспринимал ее как свою тень. Она чувствовала, что он сдерживает свою растущую ненависть. С его ненавистью росла и ее собственная. Муж не только был вором, но еще и бросил ее на произвол судьбы, беззащитную женщину. Она молчала, чтобы не мешать привратнику. Чем ближе они оказывались друг к другу, тем меньше боялась она его. При входе в ее спальню она еще пропустила его вперед. Отперев две другие запертые комнаты, она пошла впереди. Ее прежнюю клетушку при кухне он осмотрел лишь мельком. Он мог представить себе Кина только в большой комнате, хотя и спрятавшимся. В кухне ему захотелось было перебить всю посуду. Но тут ему стало жаль своих кулаков, он плюнул на плиту и оставил все на месте. Оттуда он протопал назад в кабинет. По пути туда он надолго погрузился в созерцание шкафа. Кин не висел на нем. Могучий письмен-

ный стол он опрокинул. Для этого ему понадобились оба кулака, и он жестоко отомстил за такой позор. Запустив руку в полку, он вышвырнул на пол несколько десятков книг. Затем он оглянулся по сторонам — не показался ли уже где-нибудь Кин. Это была его последняя надежда.

— Удрал! — установил он. Посылать проклятья ему расхотелось. Он был угнетен потерей ежемесячных ста шиллингов. Вместе с пенсией они давали ему возможность предаваться своей страсти. Он обладал невероятным аппетитом. Что станет с его глазком, если он будет голодать? Он показал Терезе оба своих кулака. Волосы все еще стояли дыбом.

— Вот смотрите! — зарычал он. — В такую ярость я еще никогда не приходил! *Никогда еще!*

Тереза глядела на валявшиеся на полу книги: показав ей свои кулаки, привратник почувствовал себя оправданным, а ее — вознагражденной. Она и была вознаграждена, но не благодаря кулакам.

— Это же, доложу я вам, был не мужчина! — сказала она.

— Потаскун это был! — зарычал пострадавший. — Преступник! Прохвост! Бандит!

Тереза хотела вставить «нищий», а он уже успел дойти до «бандита». А когда она схватилась за своего «вора», его «бандит» сделал уже невозможным какое бы то ни было дальнейшее усиление. Он ругался удивительно недолго. Очень скоро он смягчился и стал подбирать книги. Насколько легко он сбросил их, настолько трудно было поставить их на место. Тереза принесла лесенку и сама поднялась на нее. Удачный день побудил ее покачать бедрами. Одной рукой привратник подавал ей книги, другой он приступил к делу и сильно щипнул ее за ляжку. У нее слюнки потекли. Она была первой женщиной, которую он покорял своим любовным методом. Других он насиловал. Тереза шептала про себя: такой мужчина. Пусть ущипнет снова. Вслух она стыдливо сказала: «Еще!» Он подал ей вторую стопку книг и так же сильно ущипнул ее слева. Слюни потекли у нее изо рта. Тут ее осенило, что так не годится. Она вскрикнула и бросилась с лесенки ему в объятья. Он спокойно дал ей упасть на пол, содрал с нее, сломав, жесткую юбку и взял ее.

Встав, он сказал:

— Этот урод у меня посмотрит!

Тереза всхлипнула:

— Теперь, доложу тебе, я вся твоя!

Она нашла мужчину. Она не собиралась его отпу-

скасть. Он сказал: «Цыц!» — и перебрался к ней в тот же вечер. В дневные часы он пребывал на посту. Ночами он помогал ей советами в постели. Постепенно он выяснил, что произошло в действительности, и велел ей потихоньку закладывать книги, пока не вернулся муж. Половину он оставил за собой, потому что Тереза была теперь вся его. Он нагнал на нее надлежащего страху по поводу ее шаткого положения. Но он из полиции, и он поможет ей. По этой причине тоже она повиновалась ему беспрекословно. Каждые три-четыре дня они ходили с тяжелой кладью в Терезианум.

ВОР

Своего бывшего профессора привратник узнал с первого взгляда. Новое положение советника при Терезе устраивало его больше и прежде всего было доходнее, чем прежний «презент». Мстить было не в его интересах. Поэтому он не был злопамятным человеком и заинтересованно отвел глаза в сторону. Профессор стоял справа от него. Пакет окончательно переключался на левое предплечье. Там он минуту-другую взвешивал его, сосредоточенно углубившись в это исследование. Тереза поступала теперь в точности так же, как он. Резким движением показав вору свое холодное плечо, она страстно вцепилась в свой прекрасный, большой пакет. Привратник уже прошел. Тут муж преградил ей путь. Она молча оттолкнула его. Он молча положил руку на пакет. Она потянула к себе пакет, он держал его крепко. Привратник услышал шум. Не оглянувшись, он проследовал дальше. Он хотел, чтобы эта встреча прошла спокойно, и сказал себе, что, наверно, Тереза задела перила своим пакетом. Теперь и Кин потянул пакет к себе. Ее сопротивление росло. Она повернула к нему лицо, он закрыл глаза. Это сбило ее с толку. Сверху никто не обернулся. Тут она подумала о полиции и о том, какое преступление она совершает. Когда ее посадили в тюрьму, вор отобрал квартиру, он был такой, он не постеснялся. Как только она потеряла квартиру, сила ее убавилась. Кин перетянул большую часть пакета на свою сторону. Книги придали ему силу, и он сказал:

— Куда их?

Он увидел книги. А бумага нигде не была разорвана. Она увидела его хозяином дома. Все свои восемь лет службы увидела она в какую-то долю секунды. Ее самообладания как не бывало. Еще у нее оставалось

одно утешение. Она позвала на помощь полицию. Она закричала:

— Он обнаглел!

Десятью ступеньками выше некто разочарованно приказал себе остановиться. Добро бы эта поганая рожа стала выламываться потом, но сейчас, до того как пакеты были сданы! Сдержав рвавшееся из горла рычание, он сделал Терезе знак. Она была слишком занята и не заметила его. Выкрикивая еще дважды «Он обнаглел!», она с любопытством разглядывала вора. По ее мыслям, он ходил в лохмотьях, бесстыдно, с протянутой рукой, так уж у нищих водится, а где удавалось стащить что-нибудь, там и крал. В действительности вид у него был гораздо лучше, чем дома. Она не могла объяснить себе это. Вдруг она заметила, что его пиджак справа на груди оттопыривается. Прежде он никогда не носил с собой денег, его бумажник был почти пуст. Теперь он казался толстым. Она все поняла. Банковская книжка у него. Деньги с нее сняты. Вместо того чтобы спрятать их дома, он носил их с собой. Привратник знал о любой мелочи, даже об ее сберегательной книжке. Все, что имелось или имело место, он находил или выжимал из нее щипками. Только свою мечту о банковской книжке в потайной щели она держала при себе. Без такого резерва жизнь ей была не в радость. В спесивой удовлетворенности тайной, которую она неделями скрывала от него, Тереза, только что жалобно кричавшая «Он обнаглел!», воскликнула теперь:

— Он, доложу я, украл!

Голос ее звучал возмущенно и в то же время вдохновенно, как у всех людей, которые отдают вора в руки полиции. Не было в ее голосе только грустной нотки, появляющейся при этом у многих женщин, когда дело идет о мужчине, поскольку дело шло об ее первом муже, которого она передавала в руки второго; ведь тот же был из полиции.

Он спустился и тупо повторил:

— Вы украли!.. — Другого выхода из этой фатальной ситуации он не видел. Воровство он счел просто вынужденной ложью Терезы. Он положил на плечо Кина свою тяжелую руку и заявил, словно опять состоял на службе: — Именем закона вы арестованы! Следуйте за мной, не поднимая шума!

Пакет висел на мизинце его левой руки. Он властно взглянул Кину в лицо и пожал плечами. Его служба не позволяла ему делать исключения. Прошрое было в прошлом. Тогда они могли ладить. Теперь он обязан

был арестовать его. С каким удовольствием сказал бы он ему: «А помните?» Кин сломился, не только под тяжестью руки привратника, и пробормотал:

— Так я и знал.

Привратник отнесся к этому заявлению с недоверием. Мирные преступники лживы. Они только притворяются такими, а потом делают попытку к бегству. Поэтому человек применяет полицейский прием. Кин не сопротивлялся. Он пытался держаться прямо, но его рост заставил его согнуться. Привратник стал нежен. Уже много лет он никого не арестовывал. Он опасался затруднений. Злоумышленники строптивы. Если они не строптивы, то они убегают. Если ты носишь форму, они требуют назвать им номер. Если ты не носишь формы, подавай им удостоверение. Этот не задавал никаких хлопот. Он отвечал на вопросы, он следовал за тобой, он не уверял тебя в своей невинности, он не поднимал шума, с таким преступником можно было поздравить себя. У самой двери он повернулся к Терезе и сказал:

— *Вот как* это делается!—Он знал, что баба наблюдала за ним. Но он не был уверен в ее способности оценить детали его работы. «Другой сразу пускает в ход кулаки. У меня арест происходит сам собой. Шума быть не должно. Портачи поднимают шум. Кто знает свое дело, за тем преступник следует сам собой. Домашних животных приручают. У кошек природа дикая. Дрессированных львов показывают в цирке. Тигры прыгают через горящие обручи. У человека есть душа. Орган власти хватает его за душу, и он следует за ним словно агнец».

Он сказал это лишь мысленно, как ни подмывало его прорычать это во всеуслышание.

В другом месте и в другое время столь вожделенный арест превзошел бы его возможности. Когда он еще состоял на службе, он арестовывал, чтобы наделать шуму, и из-за своих методов был с началом в натянутых отношениях. Он кричал о задержании преступника до тех пор, пока вокруг него не собралась толпа зевак. Рожденный атлетом, он ежедневно создавал себе цирк. Поскольку люди скупались на аплодисменты, хлопал он сам. Чтобы заодно доказать свою силу, он вместо второй своей ладони пользовался арестованными. Если они были сильные, он отвешивал им несколько оплеух, подстрекая их на кулачный бой. Из презрения к их слабости он показывал на допросе, что они причинили ему телесные повреждения. Хлюпикам он не прочь был повесить меру их наказания. Если

ему попадались люди посильней, чем он сам, — а среди настоящих преступников такие порой встречались, — то его совесть велела ему возводить на них напраслину, ибо преступные элементы подлежат устранению. Лишь когда ему пришлось ограничиться одним домом, — ведь прежде в его распоряжении был целый район, — он стал скромнее. Он добывал себе партнеров среди несчастливых нищих и лоточников, подкарауливая даже тех целыми днями. Они боялись его и предостерегали друг друга, попадались только новички; при этом он молил, чтобы они приходили. Он знал, что они рады отказать ему в своем обществе. Цирк ограничивался жильцами дома. Так он и жил в надежде на настоящий, громкий арест со всяческими затруднениями.

Потом пошли эти новые события. Книги Кина приносили ему деньги. Он всячески прикладывал тут руку, страхуя себя со всех сторон. Тем не менее его не покидало неприятное чувство, что деньги он получает ни за что. Служа в полиции, он всегда считал, что платят ему за работу мышц. Заботясь об увесистости реестра, он выбирал книги по их размеру. Самые объемистые и старые тома в переплетах из свиной кожи шли в первую очередь. Целый день до самого Терезианума он выжимал свой пакет, как гирю, иногда подбрасывал его, как мяч, головой, брал у Терезы ее пакет, приказывал ей отстать и швырял его ей на руки. Она страдала от таких ударов и однажды пожаловалась. Тогда он стал убеждать ее, что делает это из-за людей. Чем бесцеремоннее будут они обращаться с пакетами, тем позднее осенит кого-нибудь мысль, что книги принадлежат не им. С таким доводом она согласилась, но ей это все же не нравилось. А он и этим был недоволен, казался себе хлюпиком и говорил иногда, что станет и вовсе жидом. Только из-за этой загвоздки, которую он считал своей совестью, он отказался от исполнения своей старой мечты и арестовал Кина *тихонько*.

Но Тереза не дала похитить у себя радость. Толстый бумажник заметила *она*. Быстро скользнув мимо обоих мужей, она стала между створками стеклянной двери, которую открыла, нажав, ее юбка. Правой рукой она охватила голову Кина, словно хотела обнять его, и привлекла ее к себе. Левой она вытащила бумажник. Кин нес ее руку как терновый венец. Вообще же он и пальцем не шевельнул. Его собственные руки были скованы полицейским приемом привратника. Тереза подняла вверх найденную пачку купюр и воскликнула:

— Вот и они, доложу я!

Новый муж восхитился такими большими деньгами, но покачал головой. Терезе хотелось ответить; она сказала:

— Может быть, я не права, может быть, я не права?

— Я не тряпка! — возразил привратник. Эта фраза относилась к его совести и к двери, которую загордила Тереза. Ей хотелось признания, хотелось услышать какую-то похвалу, какое-то слово, которое относилось бы к деньгам, прежде чем она спрячет их. Когда она подумала о том, что спрячет их, ей стало жаль себя. Теперь муж знает все, она больше ничего не скрывает. Такой важный момент, а он ни гугу. Пусть скажет, что она за человек. *Она* нашла вора. Он хотел пройти мимо него. Теперь он хочет пройти мимо нее. Так не пойдет. У нее есть сердце. Ему бы только щипаться. Слова из себя не выдавит. Только и знает что «щыц». Интересным его не назовешь. Смышленным его не назовешь. Только и знает, что быть мужчиной. Ей прямо стыдно перед господином Грубом. Кем, доложу я, он был раньше? Обыкновенным привратником! С такими нельзя связываться. Она впустила такого в квартиру. Теперь он даже «спасибо» не скажет. Если господин Груб это узнает. Он никогда больше не поцелует ей руку. Вот у кого голос. *Она* находит такие большие деньги. *Он* отнимает их у нее. Что ж, она должна отдать ему всё? Она, доложу, сыта им по горло! Без денег она согласна. За деньги она отказывается. Они нужны ей на старость. Она хочет, чтобы у нее была пристойная старость. Где ей брать юбки, если он без конца ломает их? Он ломает, и он же отнимает деньги. Пусть хоть что-нибудь скажет! Ну и муж!

Зло и обиженно размахивала она деньгами. Она поднесла их к самому его носу. Он задумался. Удовольствие от ареста у него пропало. Когда она стала манипулировать бумажником, он увидел возможные последствия. Он не хочет из-за нее сесть в тюрьму. Она баба дельная, но он знает закон. Он из полиции. Что она смыслит в этом? Ему захотелось вернуться на свое место, она была ему отвратительна. Она ему помешала. Из-за нее он потерял свой «презент». Он давно знал всю правду. Только из-за своего соучастия он официально продолжал ненавидеть Кина. Она была старая. Она была назойливая. Она хотела каждую ночь. Он хотел драться, она хотела другого. Только щипаться перед этим она позволяла ему. Он стукнул ее раз-

другой, она уже давай кричать. Тьфу ты черт! Плевать ему на такую бабу. Это раскроется. Он потеряет пенсию. Он подаст на нее в суд. Пусть она возместит ему пенсию. Свою долю он удержит. Самое лучшее — донести. Шлюха! Разве книги ее? Какое там! Жаль господина профессора. Он был слишком хорош для нее. Другого такого человека не сыщешь. Он женился на этой задрёпе. Экономкой она никогда не была. Ее мать умерла побирушкой. Она сама призналась. Была бы она моложе на сорок лет. Его покойная дочь — да, вот это было добрейшее создание. Он заставлял ее ложиться возле себя, когда следил за нищими. Он щипал и глядел. Глядел и щипал. Вот была жизнь! Приходил нищий — было кого побить. Не приходил — была хотя бы девчонка. Она плакала. Это ей не помогало. Против отца не пойдешь. Славная была девка. Вдруг она возьми и умри. Легкие, тесная каморка. С ней было так славно. Знал бы он раньше, он бы отправил ее куда-нибудь. Господин профессор еще знал ее. Он ее никогда не обижал. Жильцы мучили девочку. Потому что она была его дочерью. А эта задрёпа, она никогда не здоровалась с ней! Убить бы ее!

Полные ненависти, стоят они друг против друга. Любое слово Кина, даже доброе, сблизило бы их. От его молчания их ненависть полыхает пожаром. Один держит оболочку Кина, другая — его деньги. Сам он от них ушел. Только поймать бы его! Оболочка клонится, как стебель. Ее гнет буря. В воздухе молниями сверкают банкноты. Вдруг привратник рычит на Терезу:

— Верни деньги!

Она не может. Она выпускает из своего объятия голову Кина, но та не отскакивает назад, а остается в прежнем положении. Тереза ждала какого-то движения. Поскольку его не происходит, она швыряет деньги в лицо новому мужу и пронзительно кричит:

— Ты же не можешь ударить! Ты же боишься! Тряпка ты! Где это видано, такой трус! Такой голодрапец! Такой хлюпик! Доложу я тебе!

Ненависть внушает ей в точности те слова, которые задевают его. Одной рукой он начинает трясти Кина, упрекнуть себя в слабости он не позволит. Другой он ударяет Терезу. Пусть не мешается. Пусть знает его. Он не такой. Теперь он будет таким. Купюры, порхая, падают на пол. Тереза всхлипывает: «Большие деньги!» Привратник хватает ее. Удары получаются недостаточ-

но сильные. Лучше он тряхнет ее. Ее спина распахивает створки стеклянной двери. Она цепляется за круглую дверную ручку. Схватив ее за воротник блузки, он привлекает ее вплотную к себе и толкает на дверь, еще раз к себе, еще раз на дверь. Попутно он занимается и Кином. Тот на ощупь напоминает пустой лоскут; чем меньше ощущает его привратник, тем сильнее ополчается он на Терезу.

Тут прибегает Фишерле. Ассенизатор уведомил его об отказе Кина. Фишерле в ярости. Что это значит? Какие-то истории из-за двух тысяч шиллингов! Этого ему еще не хватало! Вчера выложил сразу четыре тысячи пятьсот, а сегодня прекращает платежи. Пусть служащие подождут. Он сейчас придет. Из вестибюля он слышит чей-то крик: «Большие деньги! Большие деньги!» Это его касается. Кто-то опередил его. Прямо хоть вой! Ты надрываешься, а наживаются другие. Да еще баба к тому же. Такого никто не потерпит. Он ее поймает. Она все отдаст. Тут он видит, как открывается и закрывается стеклянная дверь. В испуге он останавливается. Там еще какой-то мужчина. Фишерле медлит. Мужчина колотит женщиной дверь. Женщина тяжелая. Мужчина, должно быть, сильный. У долговязого такой силы нет. Может быть, долговязого это вовсе и не касается. Почему мужчине не поколотить жену, она наверняка не дает ему денег. У Фишерле свои дела. Он предпочел бы подождать, чтобы те кончили, но это продолжается слишком долго. Он осторожно протискивается в дверь. «Позвольте-ка», — говорит он и ослабливается. Невозможно не вызвать возмущения. Поэтому он смеется заранее. Пусть эти супруги увидят, что у него самые дружественные намерения. Поскольку смех можно не заметить, лучше сразу ослабиться. Его горб оказывается между Терезой и привратником, мешая тому привлечь к себе бабу так, как то требуется, чтобы хорошенько ее толкнуть. Привратник дает пинка горбу. Фишерле падает на Кина и держится за него. Кин так худ и так мала материальная роль, которую он тут играет, что карлик замечает его только после того, как дотронулся до него. Он узнает его. Тереза как раз снова заводит: «Большие деньги!» Фишерле чувствует старую взаимосвязь вещей, он становится вшестеро внимательнее и окидывает одним взглядом карманы Кина, карманы незнакомца, подвязки женщины, — к сожалению, юбка закрывает их, — лестницу, у подножья которой лежат два огромных пакета, и пол у своих ног. Тут он видит деньги. С быстротой молнии он наклоняется, чтобы их подо-

братъ. Его длинные руки снуют между шестью ногами. То с силой отталкивает он в сторону чью-то ступню, то нежно поднимает с пола купюру. Он не кричит, когда ему наступают на пальцы, — к таким трудностям он привык. Не со всеми ступнями обходится он одинаково. Киновские он отбрасывает, бабу он хватает как сапожник, соприкосновения с незнакомым мужчиной он вообще избегает, оно было бы столь же бесполезно, сколь и опасно. Он спасает пятнадцать кредитных билетов, в ходе своей работы он ведет счет и точно знает, на котором остановился. Даже своим горбом он ловко орудует. Наверху продолжают драться. По опыту «Неба» он знает, что когда пара дерется, не надо вмешиваться. При удаче можно тем временем взять у них все. Пары неистовы. Из пяти недостающих купюр четыре лежат поодаль, одна придавлена ногой незнакомца. Ползая за четырьмя другими, Фишерле не спускает глаз с этой ноги. Она может подняться, это мгновение нельзя пропустить.

Только теперь замечает его Тереза, — как он, чуть поодаль, что-то слизывает с пола. Руки сложены у него за спиной, деньги он спрятал между ногами и работает языком, чтобы те, если увидят его, не поняли, чего он там ищет. Тереза чувствует себя ослабевшей; это зрелище придает ей силы. Намерение этого карлика так близко ей, словно она знает его с рождения. Она видит себя самое в поисках банковской книжки, тогда она еще была хозяйка в доме. Внезапно она отрывается от привратника и кричит:

— Грабят! Грабят! Грабят!

Она имеет в виду горб на полу, привратника, вора, всех людей имеет она в виду и кричит непрерывно, все громче, без передышки, дыханья у нее хватит на десятилетиях.

Сверху доносится хлопанье дверей, тяжелый топот, слышно, как шагают по лестнице. Швейцар, обслуживающий там лифт, приближается медленно. Даже если бы здесь убивали ребенка, он не уронил бы своего достоинства. Уже двадцать шесть лет обслуживает он лифт, то есть его семья, он осуществляет надзор.

Привратник цепенеет. Он видит, как кто-то приходит каждое первое число и отнимает у него пенсию, вместо того чтобы принести ему ее. Кроме того, его сажают в тюрьму. Его канарейки погибают, потому что им некому петь. Глазок опечатавают. Всё получает огласку, и жильцы бесчестят его дочь даже в могиле. Он не боится. Он не спал из-за этой девчонки. Он заботился о ней. Так он любил ее. Есть он ей давал,

пить он ей давал, пол-литра молока в день. Он на пенсии. Он не боится. Доктор сам говорит—это легкие. Отправьте ее отсюда! А на какие шиши, дорогой мой? Пенсия уходит у него на питание. Такой уж он человек. Без питания он не может жить. Это из-за профессии. Без него дом пропадет. Больничная касса—еще чего! Глядишь, она еще вернется к нему с ребенком. В крошечную клетушку. Он не боится!

А Фишерле, напротив, говорит: «Теперь я боюсь»— и быстро засовывает деньги в боковой карман Кина. Затем он делается еще меньше. Бежать невозможно. Люди уже спотыкаются о пакеты. Он плотно прижимает к себе обе руки. Прежние деньги, деньги на дорогу, туго свернутые, лежат под мышками. Счастье, что у него такие подмышки! Когда он одет, никто ничего не заметит. Посадить в тюрьму он себя не даст. В полиции его разденут и отнимут у него все. Там он всегда вор. Что знают они о его фирме? Ему следовало зарегистрировать ее! Да, чтобы платить налоги! Фирма у него все-таки есть. Долговязый—идиот. Надо же было узнать ему ассенизатора в последний момент. Теперь деньги опять у него в руках. Бедняга! Нельзя бросить его на произвол судьбы. Они могут отнять у него деньги. Он сразу все отдаст. По доброте душевной. Фишерле—человек верный. Партнера он не предаст. Когда он будет в Америке, долговязому придется самому заботиться о себе. Тогда уж ему никто не поможет. У колен Кина Фишерле постепенно уменьшается, он состоит уже только из горба. Порой горб становится щитом, за которым он исчезает, домиком улитки, куда он прячется, раковиной, которая закрывает его.

Привратник стоит, широко раздвинув ноги, как утес, вперившись в забитую насмерть дочь. По чисто мышечной привычке он еще держит в руке тряпку, которая называется Кин. Тереза, крича, созывает обитателей Терезианума. Она ни о чем не думает. Она занята только своим дыханием. Она кричит машинально. При этом она чувствует себя хорошо. Она чувствует, что победа за ней. Удары на нее уже не сыплются.

Множество рук разнимает неподвижную четверку. Их держат крепко, словно они продолжают драться. Их окружили толпой. Прохожие с улицы устремляются в Терезианум. Служащие и пришедшие заложить вещи заявляют о своих привилегиях. Они здесь дома. Пусть швейцар, который двадцать шесть лет следит за лифтом, наведет порядок, выдворит прохожих и запрет подъезд Терезианума. У него на это нет времени. Он

наконец-то дошел до женщины, которая звала на помощь, и считает, что здесь он незаменим. Другая женщина, увидев на полу горб Фишерле, с криком выбегает на улицу:

— Убийство! Убийство!

Она принимает горб за труп. Подробностей она не знает. Убийца, по ее словам, человек худой, хилый, как он только умудрился убить, вот уж не похоже на него. Выстрелил, полагает кто-то. Конечно, все слышали выстрел. Его за три улицы было слышно. Неправда, просто шина лопнула. Нет, это был выстрел! Толпа не дает украсть у себя выстрел. По отношению к скептику она занимает угрожающую позицию. Надо его задержать! Пособник! Хочет замести следы! Изнутри поступают свежие новости. Сказанное той женщиной подтверждается. Тощий—это убийца. А труп на полу? Он жив. Это убийца, он прятался. Он хотел уползти между ногами, тут его и схватили. Новейшие сведения точнее. Маленький—это карлик. Ох уж эти уроды. Дрался другой. Рыжий. Ох уж эти рыжие! Карлик его подстрекал. Дайте ему хорошенько! Баба это сказала, молодец! Она так долго кричала. Баба! Ничего не боится. Убийца угрожал ей. Рыжий. Рыжие виноваты. Он свернул ей шею. Стрельбы не было. Конечно нет. Никто же не слышал выстрела. Что он сказал? Кто-то пустил слух насчет выстрела. Карлик. Где он? Он там, внутри. Вперед! Войти туда уже нельзя. Там яблоку негде упасть. Такое убийство! Досталось же этой женщине. Каждый день побои. Он избивал ее до полусмерти. Зачем она спуталась с недомерком? Я бы не стала с ним спутываться. Потому что у тебя есть полноценный. Не от хорошей жизни. Не хватает мужчин. Да, война! Одичала молодежь. Он тоже был молодой. Восемнадцать не было. И уже коротышка. Глупости, он же уродец. *Я-то* знаю. Он видел его. Он был там, внутри. Он этого не выдержал. Столько крови. Поэтому-то он такой худой. Час назад он был еще толстый. Да, потеря крови! Говорю вам, трупы вздуваются. Это когда утопленник. Что вы понимаете в трупах? Он снял с трупа драгоценности. Из-за драгоценностей. Возле ювелирного отдела. Жемчужное ожерелье. Баронесса. Это был всего-навсего слуга. Барон он был! Десять тысяч шиллингов. Двадцать тысяч! Аристократ. Красавец. Зачем она посылает его? Он, что ли, должен посылать жену? Жене приходится посылать его. Ох уж эти мужчины! Она жива. Он—труп. Такая смерть! Для барона. Поделом ему! Безработным жрать нечего. Зачем ему жемчужное ожерелье? Повесить ее надо!

Ваша правда. Всех вместе. И весь Терезианум в придачу. Поджечь! Вот уж будет пожарчик.

Внутри все происходит столь же бестолково, сколь кровавым это кажется тем, кто снаружи. От напора сразу же вдребезги разбивается дверное стекло. Никто не ранен. Юбка Терезы защищает единственного, кому действительно грозила опасность, — Фишерле. Как только его хватают за горло, он начинает каркать:

— Пустите меня! Я санитар! — Он указывает на Кина и повторяет снова и снова: — Имейте в виду, он сумасшедший. Понимаете, я санитар. Будьте осторожны! Он опасен. Имейте в виду, он сумасшедший. Я санитар.

На него не обращают внимания. Он слишком мал, ждут чего-то большого. Единственная, на кого он производит впечатление, принимает его за труп и сообщает об этом тем, кто снаружи. Тереза продолжает кричать. Так лучше. Она боится, что люди уйдут, как только она умолкнет. С одной стороны, она наслаждается своим счастьем, с другой — обливается потом от страха перед тем, что будет потом. Всем жаль ее. Ее утешают. Она запугана. Швейцар даже кладет руку ей на плечо. Он подчеркивает, что делает это впервые за двадцать шесть лет. Пусть только она перестанет. Это его личная просьба. Он понимает такие вещи. У него у самого трое детей. Она может пойти с ним в его собственную квартиру. Там она оправится. Двадцать шесть лет он никого не приглашал туда. Тереза опасается умолкнуть. Он обижен. Он даже убирает руку. Не роняя своего достоинства, он утверждает, что она обезумела от страха. Фишерле подхватывает его слова и начинает нить:

— Но я же вам говорю, сумасшедший *вот этот*, она нормальная, поверьте мне, я разбираюсь в сумасшедших! Я же санитар!

Его крепко держат служащие, которым не досталось ничего лучшего; но никто не слушает его и на него не смотрит. Ибо все взгляды направлены на рыжего. Тот спокойно позволил схватить себя и держать, никого не убив, он *даже* не рявкнул ни разу. Но за этой мертвой тишиной страшная буря, как только попытались оторвать его от Кина. Профессора он не отдаст, он вцепляется в него, отбрасывает от себя людей правой рукой и, думая о своей нежно любимой дочери, осыпает Кина ласковыми словами:

— Господин профессор! Вы мой единственный друг! Не покидайте меня! Я повешусь! Я не виноват. Мой

единственный друг! Я из полиции! Не сердитесь!
Я человек лучше некуда!

Его любовь так громогласна, что каждый угадывает в Кине грабителя. Все быстро распознают смысл этого издевательства и восхищаются собственным остроумием. Оно есть у каждого, каждый чувствует, как справедлива кара, которую рыжий хочет собственноручно воздать преступнику. Он схватил его за руку, он прижимает его к сердцу и отхлестывает его заслуженными словами. Такой силач хочет отомстить сам, он отказывается от услуг полиции. Правда, его пытаются усмирить, но и сами усмирители в восторге от него, от героя, который со всем справляется сам, они поступили бы точно так же, они так и поступают, они—это он, они мирятся даже с жестокими тумаками, которыми угощают сами себя.

Швейцар находит, что его достоинству обеспечена здесь большая безопасность. Он отступает от рехнувшейся от страха женщины и кладет теперь свою мясистую, но строгую ладонь на плечо разбушевавшегося мужчины. Не то чтобы громко, но и не тихо он сообщает, что уже двадцать шесть лет ни один лифт не оставался без его надзора, что уже двадцать шесть лет следит он здесь за порядком, что таких случаев у него еще не бывало и что он лично за это ручается. Его слова тонут в шуме. Поскольку рыжий не замечает его, швейцар доверительно склоняется к его уху и говорит, что понимает все это как нельзя лучше. Вот уже двадцать шесть лет, как у него самого трое детей. Страшный толчок приближает швейцара опять к Терезе. Его каскетка падает на пол. Он понимает, что надо что-то предпринять, и отправляется за полицией. До сих пор это никому не приходило в голову. Непосредственные участники считают себя полицией, а стоящие поодаль надеются, что им еще выпадет эта честь. Двое берут на себя труд оттащить оба пакета с книгами в безопасное место. Они пользуются дорогой, которую прокладывает себе швейцар, и кричат во все стороны: «Посторонись!» Пакеты надо отдать на хранение в караулку, пока их не стащили. По пути эти двое решаются произвести сначала обследование содержимого. Они исчезают без каких-либо препятствий. Больше пакетов не крадут, потому что таковых нет.

Благодаря швейцару чует опасность и полиция, у которой есть караульное помещение в самом Терезиануме, и, поскольку должностное лицо заявило о четырех участниках, следует к месту происшествия отрядом из шести человек. Швейцар точно описал им, где произо-

шел инцидент. Но он к тому же оказывает им помощь, шествуя впереди. Толпа с восторгом окружает полицию. По мундиру сразу чувствуешь, что им дозволено. Другим это дозволено лишь до тех пор, пока не явилась полиция. Перед ними с готовностью расступаются. Мужчины, жестоко боровшиеся за свою позицию, отказываются от нее в пользу мундира. Менее решительные натуры отступают назад слишком поздно, они чувствуют прикосновение грубого сукна и содрогаются. Все показывают на Кина. Он пытался украсть. Он украл. Каждый сразу так и подумал, что это он. С Терезой полиция обращается почтительно. Это пострадавшая. Она раскрыла преступление. Ее принимают за жену рыжего, потому что она бросает на него злобные взгляды. Двое полицейских становятся справа и слева от нее. Как только они замечают ее синюю юбку, их благоговение переходит в одобрительную приветливость. Четверо других вырывают у Кина его рыжую жертву; без применения силы дело тут не обходится. Рыжий буквально прилип к вору. Последний каким-то образом несет вину и за это, потому что виновный — он. Привратник считает себя арестованным. Его страх усиливается. Он рычит, призывая Кина помочь ему. Он из полиции! Господин профессор! Не арестовывать! Отпустить! Дочь! Он бешено отбивается. Его сила действует на нервы полиции. Еще пуше — его утверждение, будто он сам оттуда. Полиция ввязывается в долгую борьбу. С собой четверо полицейских обходятся очень бережно. А то до чего бы они дошли при своей-то профессии? Рыжего они колотят со всех сторон и всевозможными способами.

Присутствующие разделяются на две партии. Одни всем сердцем за героя, другие всегда на стороне полиции. Но сердцами дело не ограничивается. У мужчин чешутся руки, у женщин вырывается из горла визг; чтобы не связываться с полицией, набрасываются на Кина. Его бьют, толкают и пинают ногами. Скучность его атакуемой поверхности дает лишь скудное удовлетворение. Все соглашаются, что его надо выкрутить как мокрую тряпку. О том, насколько преступен он в собственных глазах, можно судить по его молчанию. Он не издает ни звука, его глаза закрыты, ничто не способно открыть их.

Фишерле не в силах глядеть на это. После прихода полиции он не перестает думать о своих служащих, которые еще ждут его на улице. На мгновение его задерживают деньги в кармане Кина. Мысль о том, чтобы забрать их в присутствии шести полицейских,

опьяняет его. Однако он опасается осуществить ее. Он выжидает, не наступит ли благоприятный момент для бегства. Такой момент не наступает. Он напряженно следит за мучителями Кина. Когда их удары падают на карман, куда он сунул деньги, у него колет в сердце. Эта мука сведет его в гроб. Слепой от боли, он прячется среди ближайших ног. Физическое возбуждение узкого круга ему на руку. Несколько дальше от места схватки, где о его существовании понятия не имели, его теперь заметили. Он кричит как только может жалобно:

— Ой, мне нечем дышать, выпустите меня!

Все смеются и спешат помочь ему. Если уж не возбуждение тех счастливых, что пробились вперед, то хотя бы какое-то удовольствие. Из шести полицейских ни один не увидел его; он находился слишком низко, его горб не давал знать о себе. На виду у всех его, бывает, задерживают и без всякого преступления. Сегодня ему везет. Он скрывается в огромной толпе, собравшейся перед Терезианумом. Уже четверть часа его ждут здесь. Его подмышки целы и невредимы.

По сравнению с судьями Кина полиция держится спокойно. Она занята. Четверо сражаются с ржым, двое прикрывают с флангов Терезу. Ее нельзя оставлять одну. Она давно умолкла. Теперь она снова визжит:

— Крепче! Крепче! Крепче!

Она обозначает такт, в котором выжимают тряпку под названием Кин. Ее свита пытается успокоить ее. Пока она волнуется столь зажигательным образом, оба считают любое вмешательство бесполезным. Клики Терезы относятся также к четырем молодцам, усмиряющим бушующего привратника. Ей это надоело, чтобы ее щипали. Ей это надоело, чтобы ее обкрадывали. Ее страх перед полицией уступает место гордым чувствам. Делают то, что хочет она. Она здесь приказывает. Так и должно быть. Она женщина порядочная.

— Крепче! Крепче! Крепче!

Тереза пляшет, ее юбка колышется. Могучий ритм захватил окружающих. Одних бросает в одну сторону, других — в другую, размах этих движений растет. Шум приобретает некое единое звучание, даже те, кто не прикладывает рук, тяжело дышат. Постепенно гаснут смешки. Прием вещей приостанавливается. Прислушиваются и у самых дальних окошек. Руки приставляются раструбом к ушам, указательные пальцы прикладываются к губам, говорить запрещается. Кто сунулся бы сюда с каким-нибудь делом, тот наверняка встретил бы

немую злость. Терезианум, всегда находящийся в движении, наполнен гигантской тишиной. Только тяжелое дыхание свидетельствует о том, что он еще жив. Все существа, его населяющие, делают вместе глубокий вдох и истовый выдох.

Благодаря этому общему настроению полицейским удается усмирить привратника. Двое заламывают ему руки, третий охраняет его ноги, которые отчасти отпускают пинки, отчасти пытаются подтянуть поближе профессора. Четвертый наводит порядок. Кина всё еще бьют, но никто не испытывает от этого настоящего удовольствия. Он ведет себя и не как человек, и не как труп. Выкручивание не выжимает из него ни единого звука. Он мог бы отбиваться, закрыть лицо, вырываться или хотя бы дергаться, от него ждут всякого, он разочаровывает. Конечно, у такого еще много чего на совести, но когда всего этого не знаешь, бьешь с прохладцей. Отделяваясь от тягостной уже до омерзения обязанности, его дают полиции. Не так-то легко не пустить в ход свободные руки друг против друга. Один глядит на другого, а при виде чужой одежды улепетываешь назад в собственное платье и обнаруживаешь в соратниках коллег и единомышленников. Тереза говорит: «Так!» Как ей теперь еще командовать? Ей очень хочется уйти, и она приводит локти и голову в боевую готовность. Полицейский, принявший Кина, удивляется миролюбию этого человека, у которого на совести такой переполох. И поскольку он больше всего пострадал от кулаков рыжего, он ненавидит его жену. Пусть она на всякий случай тоже последует в участок. Оба стража с радостью берут ее под арест. Они стыдятся, что бездействовали, в то время как четверо других рисковали жизнью, сражаясь с рыжим. Тереза идет с ними, потому что с ней ничего не может случиться. Она бы все равно пошла с ними. Она намерена расквитаться с обоими мужьями в дежурке.

Другой полицейский, известный своей хорошей памятью, считает арестованных по пальцам: один, два, три. Где четвертый?—спрашивает он швейцара. Тот следил за всей этой борьбой с обиженным видом и только успел вычистить свою каскетку, когда взяли под арест всех врагов. Он уже оттаял; о четвертом он понятия не имел. Полицейский с памятью заявил, что тот сам говорил о четырех соучастниках. Швейцар стал это оспаривать. Уже двадцать шесть лет он следит здесь за порядком. У него трое детей. Считать он, надо думать, умеет. Другие пришли ему на помощь. Никто не знал ни о каком четвертом. Четвертый—это выдум-

ка, четвертый—это выдумка вора, который хочет отвлечь от себя внимание. Этот хитрый пес знает, почему он молчит. Таким доводом удовлетворился и искусник по части памяти. У всех шестерых дел было по горло. Арестованных осторожно провели через остатки стеклянной двери и остатки толпы. Кин задел единственный застрявший в раме кусок стекла и разрезал себе рукав. Когда они подошли к караулке, из руки у него сочилась кровь. Те немногочисленные любопытные, что увязались за ними, смотрели на эту кровь изумленно. Она казалась им невероятной. Она была первым признаком жизни, который подал Кин.

Почти вся толпа разбрелась. Одни снова сидели за окошками, другие с умоляющим или упрямым видом протягивали закладываемые вещи. Служащие, однако, снисходили до того, чтобы перекинуться словом о последних событиях даже с бедняками. Они выслушивали мнения людей, не слушать которых было их самой священной обязанностью. В вопросе об объекте преступления единства так и не достигли. Драгоценности, — полагали одни, иначе не стоило и толпиться. Книги, — утверждали другие, в пользу этого говорит, мол, место происшествия. Люди посOLIDнее рекомендовали дожидаться вечерних газет. Большинство клиентов склонялось к тому, что все произошло из-за денег. Служащие возражали им, мягче, чем обычно: у кого столько денег, тот не ходит в ломбард. А может быть, они уже заложили вещи. Это тоже было скорее всего исключено, любой, с кем они имели бы дело, узнал бы их, и не было служащего, который не считал бы себя тем, с кем они могли иметь дело. Кое-кто жалел своего рыжего героя, большинству он стал безразличен. Чтобы не показаться бессердечными, эти находили, что жалости заслуживает скорее его жена, хотя она и старая женщина. Жениться на ней никто не хотел бы. Жаль потерянного времени, но провели его не скучно.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В караулке арестованных подвергли допросу. Привратник рычал:

— Коллеги, я не виновен!

Тереза хотела навредить ему и кричала:

— Он, доложу вам, уже на пенсии.

Так сгладила она скверное впечатление, которое произвела на коллег его фамильярность. Объективное замечание, что он уже на пенсии, заставило предпо-

жить, что речь идет действительно о бывшем полицейском. Вид у него был и правда жестокий и грубый, только слух о крупном ограблении, которому пытался подвергнуть его истинный преступник, никак не вязался с такой внешностью. Его допрашивали. Он рычал:

— Я не преступник!

Тереза указала на Кина—ведь о нем забыли—и сказала:

— Он украл, доложу вам, он!

Самоуверенное поведение рыжего заставило полицейских задуматься. Они всё еще не знали, кто перед ними. Указание Терезы пришлось им кстати. Трое бросились на Кина и бесцеремонно обыскали его карманы. Обнаружилась куча измятых банкнотов; при подсчете оказалось восемнадцать купюр по сто шиллингов.

— Это ваши деньги?—спросили Терезу.

— Разве они были мятые? Их должно быть вшестеро больше!

Она рассчитывала на всю сумму, значившуюся в банковской книжке. Кина спросили насчет остального, он не ответил. Прислонясь к спинке стула, угловатый и одичалый, он стоял в точности так, как его поставили. Кто видел его, тот был уверен, что он вот-вот упадет. Но никто не видел его.

Из ненависти к Терезе его провожатый принес ему и поднес к самому рту стакан воды. И стакан и благодеяние остались незамеченными, и еще один враг присоединился к тем, кто снова обыскивал его карманы. Если не считать найденной в кошельке мелочи, результат был нулевой. Некоторые покачали головами.

— Куда вы спрятали деньги, приятель?—спросил комендант.

Тереза ослабилась:

— Что я говорила—вор!

— Вы, любезнейшая, — сказал комендант, на чей взгляд она была одета чересчур старомодно, — сейчас отвернитесь! Его разденут. Тут ничего нет.

Он презрительно усмехнулся; ему казалось безразличным, будет или не будет смотреть старая перочница. Он знал, что эту сумму найдут, и злился на то, что у такой плебейки столько денег.

Тереза сказала: «Разве это мужчина? Это же не мужчина!»—и не тронулась с места. Привратник рычал: «Я невиновен»—и смотрел на Кина так, словно выражал ему величайшую признательность за его «презент». Он настаивал на своей невиновности—не в

смерти дочери, а в унижительном обыске, предстоявшем господину профессору.

Трое полицейских, которые как раз вынули руки из карманов вора, сделали одновременно, как по команде, два шага назад. Никому не хотелось раздевать этого тошнотворного типа. Он был такой худой. В этот миг Кин упал на пол. Тереза закричала:

— Он лжет!

— Он же ничего не говорит! — осадил ее один из полицейских.

— Говорить может любой, — возразила она. Привратник бросился на Кина, чтобы поднять его.

— Это трусость — лежачего, — сказал комендант. Все подумали, что рыжий собирается бить упавшего. Никто ничего не имел бы против этого, беспомощный скелет на полу действовал возбуждающе. Воспротивились только посягательству на их собственные прерогативы: прежде чем рыжий достиг Кина, его схватили и оттащили назад. Затем подняли упавшее существо. Они даже не стали отпускать шуток насчет его веса, настолько он был им противен. Кто-то попробовал усадить его на стул.

— Пусть стоит, симулянт! — сказал комендант. Он доказывал этой женщине, чьей проницательности ему было стыдно, что и он видит все насквозь. Полицейские поставили длинное ничто вертикально, тот, кто был за стул, раздвинул хотя бы ступни преступника, чтобы увеличить его опорную площадь. Другой полицейский отпустил Кина вверх. Кин повалился снова и повис на руках третьего. Тереза сказала:

— Это подлость! Он умирает!

А она-то радовалась, что он будет так славно наказан.

— Господин профессор, — зарычал привратник, — не делайте этого!

Он был доволен, что никто не интересуется его дочерью, но все же рассчитывал на показания этого доброго человека.

Комендант увидел, что представился случай дать ушлой бабе урок мужского ума. Он быстро схватил себя за очень маленький нос, свою большую беду. (Во внеслужебное время, на службе, в любые незанятые часы он, вздыхая, разглядывал его в карманное зеркальце. От трудностей нос вырастал. Приступая к их преодолению, комендант наскоро удостоверился в существовании носа, потому что так славно было совершенно забыть о нем три секунды спустя.) Теперь он решил тем более раздеть преступника.

— У покойников глаза открываются, а то бы не надо было их закрывать. Симулянт не может позволить себе этого. Если он откроет глаза, не будет остекленения. Если закроет, я не поверю в его смерть, потому что у покойников, как я уже сказал, глаза открываются. Смерть без остекленения и без открытых глаз ни шиша не стоит. Она просто еще не наступила. Меня не проведешь. Запомните это, господа! Что касается арестованного, то попрошу вас посмотреть на его глаза!

Он встал, отодвинул в сторону стол, за которым сидел, — эти трудности тоже он устранял, вместо того чтобы обходить их, — подошел к повисшему на руках служащего субъекту и толстым белым средним пальцем нажал сперва на одно, а потом на другое веко. Полицейские почувствовали облегчение. Они уже боялись, что толпа забила долговязого насмерть. Они вмешались слишком поздно. Из-за этого могут выйти неприятности, обо всем надо думать. Толпа порой позволяет себе суматоху, органу власти надо иметь ясную голову. Проверка глаз подействовала убедительно. Комендант молодец. Тереза вскинула голову. Она приветствовала этим движением спасенное наказание. Привратник почувствовал зуд в кулаках, как всегда, когда дела его были хороши. Если *такой* слизняк жив, то как человеку не радоваться! Веки Кина вздрагивали под твердыми ногтями коменданта. Тот повторял свои атаки, надеясь открыть этому типу глаза на многое, на его глупость, например, — симулировать покойника без остекленения. Чтобы показать такие мнимомертвые глаза, надо их сначала раскрыть. Но они оставались закрыты.

— Отпустите его! — приказал комендант сердобольному служащему, который все еще не устал от своего груза. Одновременно он схватил этого строптивного негодяя за шиворот и встряхнул его. — И такой осмеливается красть! — сказал он презрительно. Тереза ослабилась, взглянув на него. Он начинал ей нравиться. Это был мужчина. Только нос подкачал. Привратник размышлял (успокоившись, потому что его больше не допрашивали, беспокойно, потому что никто не обращал на него внимания), как представить это дело лучше всего. Он всегда жил своим умом; вором господин профессор не был. Он, привратник, верил тому, чему он верил, а не тому, что говорили другие. От встряхивания никто еще не умирал. Как только он оживет, он заговорит, и тогда поднимется шум.

Комендант еще немного попрезирал этот каркас, затем он начал собственноручно раздевать его. Он

бросил на стол пиджак. За ним последовала жилетка. Рубашка была старая, но приличная. Он расстегнул ее и внимательно осмотрел просветы между ребрами. Там действительно ничего не было. В нем поднялось отвращение. Он много чего повидал на своем веку. Его профессия сталкивала его с самыми разными существами. Такое худое ему еще не попадалось. Такому место в кунсткамере, а не в караулке. Что он, хозяин балагана, что ли?

— Ботинки и штаны предоставляю вам, — сказал он остальным. Глубоко оскорбленный, он отступил назад. Он вспомнил о своем носе. Он схватился за него. Нос был слишком курносый. Разве забудешь о нем! Комендант мрачно сел за свой стол. Тот снова стоял неправильно. Кто-то передвинул его. — Никак не можете поставить мой стол прямо, в сотый раз говорю это! Болваны!

Те, что были заняты ботинками и штанами вора, ухмыльнулись про себя, прочие стояли смирно. Да, думал он, таких типов надо уничтожать. Они вызывают общественное возмущение. Человеку становится не по себе, когда он видит такое. Пропадает всяческий аппетит. А что за жизнь без аппетита? Надо сохранять терпение. Для таких случаев следовало бы ввести пытку. В средние века полиция жилось слаще. Если у человека такой вид, то самое лучшее — покончить самоубийством. Статистика это перенесет, он не имеет никакого значения. Вместо того чтобы наложить на себя руки, он разыгрывает мнимого покойника. Стыда нет у такой твари. Одному стыдно даже за свой нос, потому что тот чуть-чуть короче, чем нужно. Другой живет себе припеваючи и крадет. Надо ему задать перцу. Разные натуры рождаются на свет. Одни приносят с собой деловитость, разум, ум и политику, у других нет над костями ни на сантиметр жира. Из этого следует, что работы у тебя непочатый край, только вытащишь зеркальце — и уже прячь его снова.

Так и произошло. Штаны и ботинки положили на стол, то и другое обследовали в поисках двойного дна. Зеркальце исчезло в специальном, сделанном точно по мерке, внутреннем кармане. В одной рубашке — чулки тоже сняли с него — этот тип, дрожа, прислонился к одному из полицейских. Все взгляды устремились на его икры.

— Фальшивые, — сказал искусник по части памяти. Он нагнулся и постучал по икрам. Они были настоящие. Недоверие закралось и в него. Втайне он считал

этого человека аномалией. Теперь он признал, что речь идет об опасном симулянте.

— Не стоит труда, господа! — прорычал привратник. Его указание потонуло в удивлении коменданта. Быстро решившись, — он отличался внезапными прояснениями сознания, — тот уже отказался от украденных у женщины, но не обнаруженных денег и приступил к подробному осмотру бумажника. В нем оказались всевозможные удостоверения личности. Они были выправлены на имя некоего д-ра Петера Кина и, значит, украдены. Окажись в каком-нибудь документе фотография, она была бы поддельной. В воздухе еще стоял отголосок призыва привратника, когда комендант вскопчил, схватил себя за нос и голосом, в котором его нос уже совсем не давал знать о себе, крикнул субъекту:

— Ваши документы краденые!

Тереза, скользя, приблизилась к ним. Она могла подтвердить это клятвенно. Тот, кто как-либо упоминал о воровстве, был прав.

Кин трясся от холода. Он открыл глаза и направил их на Терезу. Она стояла рядом с ним, качая плечами и головой. Она была горда тем, что он узнал ее, она была главным лицом.

— Ваши документы краденые! — заявил комендант снова, голос его прозвучал спокойнее, чем прежде. Открытые глаза не видели его, зато ему-то уж они были видны хорошо. Он считал, что выиграл игру. Стоит преодолеть сопротивление, как все идет дальше уже само собой. Глаза преступника уставились в женщину, впились в нее и странно застыли. Это недоделанное существо было вдобавок ко всему и похабником. — Как вам не стыдно! — воскликнул комендант. — Вы же почти голый!

Зрачки вора расширились, он застучал зубами. Его голова не повернулась. Не настоящее ли это остекленение? — спросил себя комендант и несколько испугался.

Тут Кин поднял руку и потянулся ею к юбке Терезы. Сжав складку двумя пальцами, он отпустил ее, сжал снова, отпустил и схватил следующую. Он подошел на шаг ближе; не вполне доверяя, казалось, глазам и пальцам, он склонил ухо к звукам, которые извлекала его рука из накрахмаленных складок; крылья его носа дрожали.

— Теперь хватит, похабник вы этакий! — закричал комендант, прекрасно заметив наглую насмешку носа. — Признаете себя виновным или нет?!

— Ишь ты! — прорычал привратник, но никто не сделал ему замечания, все с любопытством ждали

ответа преступника. Кин открыл рот, вероятно, только для того, чтобы попробовать юбку еще и на вкус, но когда рот уже был открыт, сказал:

— Я признаю себя виновным. Часть вины несет она сама. Я запер ее, но зачем ей было пожирать собственное тело? Она заслужила свою смерть. Об одном хочу попросить вас, я чувствую некоторую растерянность. Как вы объясняете то, что убитая стоит здесь? Я узнал ее по юбке!

Он говорил очень тихо. Все придвинулись к нему вплотную, его хотели понять. Лицо его было напряжено, как у умирающего, который выдает самую мучительную свою тайну.

— Громче! — воскликнул комендант, обойдясь без полицейского окрика. Он вел себя скорее как в театре. Молчание остальных было торжественным и тяжелым. Вместо того чтобы подчеркивать важность своих приказаний, он кротко присоединился к столпившимся. Привратник опирался на плечи двух стоявших перед ним коллег, положив на них оба свои предплечья во всю длину. Около Кина и Терезы образовался круг. Он замкнулся, никто не оставил просвета, кто-то сказал: «У него не все дома!» — и указал на собственный лоб. Но он тут же устыдился и опустил голову, его слова столкнулись со всеобщим любопытством, ему достались недобрые взгляды. Тереза, тяжело дыша, шептала: «Ну, доложу вам!» Она была здесь хозяйкой, все вертелось вокруг нее, от любопытства ей было невмogu, она хотела дать Кину доврять до конца, затем настанет ее черед, другим придется заткнуться.

Кин говорил еще тише. Иногда он хватался за галстук, поправляя его; перед лицом великих загадок это был обычный его жест. Для зрителей это выглядело так, словно он забыл, что стоит в одной рубашке. Рука коменданта невольно потянулась за зеркальцем; он чуть не поднес его к лицу этого господина. Тщательно повязанные галстуки он любил; но господин этот был всего-навсего вором.

— Вы, наверно, думаете, что я страдаю галлюцинациями. Вообще — нет. Моя наука требует ясности, я не могу принять черное за белое и даже одну букву за другую. Но в последнее время у меня было много испытаний; вчера я получил известие о смерти моей жены. Вы знаете, что это такое. Из-за нее я имею честь находиться среди вас. Мысль о моем процессе занимает меня с тех пор непрестанно. Придя сегодня в Терезианум, я встретил свою убитую жену. Она была в сопровождении нашего привратника, моего верного

друга. Он вместо меня проводил ее в последний путь, я был тогда лишен такой возможности. Не считите меня бессердечным. Есть женщины, которых нельзя забыть. Скажу вам всю правду: я нарочно избежал церемонии погребения, это было бы выше моих сил. Вы же понимаете меня, разве вы не были женаты? Юбку тогда разломал на куски и сожрал пес мясника. Может быть, у нее было две юбки. Она толкнула меня на лестнице. Она несла пакет, в котором находились, по моему предположению, мои собственные книги. Я люблю свою библиотеку. Речь идет о самой большой в этом городе частной библиотеке. С некоторых пор я не мог уделять ей внимания. Я был занят милосердными делами. Убийство жены отдалило меня от дома, сколько недель могло пройти с тех пор, как я покинул квартиру? Это время я хорошо использовал, время — это наука, а наука — это порядок. Кроме приобретения небольшой головной библиотеки, я занялся, как я уже заметил выше, милосердными делами, — я спасаю книги от сожжения. Я знаю одну свинью, которая питается книгами, но об этом лучше помолчим. Я отсылаю вас к своей речи на суде, там я намерен сделать кое-какие разоблачения публично. Помогите мне! Она не сходит с места. Избавьте меня от этой галлюцинации! Вообще я никогда этим не страдаю. Она не отстает от меня, боюсь, уже больше часа. Установим факты, я хочу, чтобы вам легче было помочь мне. Я вижу вас всех, вы видите меня. Точно так же стоит возле меня убитая. Все мои органы чувств мне отказали, не только глаза. Что бы я ни делал, я слышу юбку, я осязаю ее, она пахнет крахмалом, а сама жена двигает головой, как двигала ею при жизни, она даже говорит, несколько минут назад она сказала «Ну, доложу вам», да будет вам известно, что ее лексикон состоял из пятидесяти слов, однако она говорила не меньше, чем другие люди, помогите мне! Докажите мне, что она мертва!

Окружающие начали извлекать из его звуков слова. Привыкая к его манере изъясняться, они растерянно прислушивались к нему, один дотрагивался до другого, чтобы лучше слышать. Он говорил так складно, он утверждал, что совершил убийство. Вместе они не верили ему, но каждый в отдельности готов был принять убийство на веру. Кого он боялся, прося о помощи? Он стоял в рубашке, никто не приставал к нему, а он боялся. Даже комендант чувствовал себя бессильным, он предпочитал молчать, его фразы не звучали бы так грамотно. Субъект этот был из хорошей семьи. Может быть, он не был субъектом. Тереза

удивлялась, что ничего не заметила раньше. Он был уже женат, когда она пришла в дом, она всегда думала, что он холост, она знала, что тут какая-то тайна, тайной была его первая жена, он убил ее, в тихом омуте жди смерти, поэтому он никогда ничего не говорил, а поскольку первая жена носила такую же юбку, он женился на *ней* по любви. Она собирала доказательства: между шестью и семью часами он возился в одиночестве, все было спрятано, пока он не вынес это из дому по частям, разве так можно, она помнила все. Поэтому он убежал от нее, он боялся, что она это раскроет. Вор, он еще и убийца, что она говорила, и господин Груб не даст соврать.

Привратника охватил ужас, плечи, на которые он опирался, задрожали. Господин мстит ему теперь задним числом, когда ни один черт не помнит уже о дочери. Господин профессор говорил о жене, но имел в виду дочь. Привратник тоже видел ее, но где же она была? Господин профессор хотел его провести, но другие не верили этой лжи. Теперь этот добрейшей души человек накапал на него, чего там: так ошибаешься в людях! При всем своем унынии привратник владел собой, обвинения профессора казались ему слишком легковесными, он знал своих коллег. Он и думать не думал, что уже сделал профессора тем, чем был сам, и лишь намечал такое разжалование на будущее.

Повторив свою просьбу помочь, — он произнес ее с внешним самообладанием, но с внутренней мольбой, — Кин подождал. Мертвая тишина была приятна ему. Даже Тереза молчала. Он желал ее исчезновения. Может быть, она исчезнет, когда молчит. Она осталась. Поскольку ему не шли навстречу, он сам взялся излечить себя от своей галлюцинации. Он знал, в каком он долгу перед наукой. Он вздохнул, вздохнул глубоко, кому не совестно призывать на помощь других? Убийство было понятно, убийство он мог оправдать, только последствий этой галлюцинации он очень боялся. Если суд признает его неменяемым, он тут же покончит с собой. Он улыбнулся, чтобы расположить к себе слушателей, они же будут в дальнейшем его свидетелями. Чем любезнее и разумнее говорить с ними, тем незначительнее покажется им его галлюцинация. Он возвысил их до уровня образованных людей.

— Психология вторгается сегодня в сферу интересов каждого... образованного человека, — перед такими образованными людьми он, при всей своей вежливости, сделал небольшую паузу. — Я не жертва бабы, как вы, может быть, думаете. Мое оправдание обеспечено. В

моем лице вы видите крупнейшего, вероятно, ныне здравомыслящего сиолога эпохи. Галлюцинации случались и у более великих. Самобытность критических натур состоит в энергии, с какой они преследуют избранную однажды цель. Целый час я был так интенсивно и так исключительно занят своей фантазией, что не могу сейчас сам освободить себя от нее. Убедитесь, пожалуйста, сами, как разумно я об этом сужу! Я настоятельно прошу вас принять следующие меры. Отступите все назад. Выстройтесь гуськом! Пусть каждый в отдельности подойдет ко мне по прямой! Я надеюсь удостовериться в том, что вы не встретите здесь, здесь, здесь никаких препятствий. Я натываюсь здесь на юбку, женщина в этой юбке убита, она похожа на убитую как две капли воды, сейчас она уже не говорит, раньше у нее был тот же голос, это смущает меня. Мне нужна ясная голова. Свою защиту веду я один. Мне никто не нужен. Адвокаты— преступники, они лгут. Я все отдам за правду. Я знаю, эта правда лжет, помогите мне, я знаю, она должна исчезнуть. Помогите мне, эта юбка мне мешает. Я ненавидел ее еще до появления собаки мясника, каково же мне видеть ее снова потом?

Схватив Терезу, уже без робости, он изо всех сил держал ее за юбку, отталкивал ее, тянул к себе, оплетал своими длинными, тощими руками. Она сносила это. Он же хотел только обнять ее. Прежде чем их повесить, убийцам дают последний завтрак. Убийца она раньше не знала. Теперь она знает: худые и множество книг, где все написано. Он повернул ее вокруг ее собственной оси, отказавшись вдруг от объятия. Тут она разозлилась. Он тарачил на нее глаза с расстояния в два сантиметра. Он высовывал язык и потягивал носом. Слезы выступали на глазах у него—от напряжения.

— Я страдаю этой галлюцинацией!—признался он, задыхаясь. По его слезам слушатели заключили, что он рыдает.

— Не плачьте, господин арестант!—сказал один, у него дома были дети, его старший приносил за немецкие сочинения одно «отлично» за другим. Комендант почувствовал зависть; человека в рубашке, которого сам же раздел, он вдруг представил себе изящно одетым.

— Ладно уж, — проворчал он. Так он искал перехода к более строгому тону. Чтобы облегчить себе такой переход, он бросил взгляд на поношенную одежду на

столе. Фокусник от памяти спросил: — Что же вы раньше молчали?

Он не забыл ничего из того, что было прежде. В его вопросе содержался и отказ от ответа; он задал его только затем, чтобы время от времени, особенно когда наступала тишина, напоминать о своей, как это называли коллеги, гениальности. Остальные, натуры менее яркие, еще прислушивались или уже смеялись. Они разрывались между любопытством и удовлетворенностью. Они чувствовали себя превосходно, но не знали этого. В такие редкие минуты они забывали о своих обязанностях и даже о своем достоинстве, как то бывает со многими перед зрелищами, которые опередила их слава. Представление было коротким. За свою входную плату им хотелось получить больше. Кин говорил и играл, он старался вовсю. Видно было, как серьезно относился он к своей профессии. Тяжело зарабатывал он свой хлеб. Никакой комедиант не превзошел бы его. За сорок лет он не сказал о себе столько, сколько сейчас за двадцать минут. Его жесты убеждали. Ему чуть не аплодировали. Когда он принялся за женщину, ему доброжелательно поверили насчет убийства. Для бродячей труппы он был, казалось, из слишком хорошей семьи, для театра у него были слишком истощенные икры. Сойтись можно было бы на опустившейся знаменитости, но все были слишком заняты им и радовались смешанным чувствам, которые вызывало его искусство.

Тереза была зла на него. Принимая на свой счет жадные взгляды мужчин, которые все были мужчинами, она некоторое время сносила его подлизыванье спокойно. Он сам был ей противен. Что толку ей от всего этого? Слабый он и худой, в нем и намек нет на мужчину, мужчины так не поступают. Ведь он убийца, она его не боится, она знает его, он трус. Однако она чувствовала, что блаженное кривлянье убийцы ей к лицу; он был в экстазе, и она стояла спокойно. Привратник потерял свою пронизательность. Он заметил, что профессор не касается его дочери. Он углубился в игру ног. Оказался бы такой нищий перед его глазком! Он переломил бы ему ноги, как две спички. У человека должны быть икры, иначе стыд и позор ему. Что он так возится с этой старой стервой? Она не стоит того, чтобы за ней ухаживать. Пусть лучше оставит его в покое и перестанет строить рожи. Совсем охмурила она бедного господина профессора! Он корчится в муках любви, как говорится. Такой приличный человек!

Надели бы коллеги штаны на него. Вдруг кто-нибудь

посторонний войдет в караулку и увидит, что у него нет икр. Вся полиция опозорится. Перестал бы он говорить, никто здесь не понимает этих умных речей; он всегда говорит очень умно. Большую часть времени он ничего не говорит. Сегодня его прорвало. Какой в этом смысл?

Тут Кин вдруг выпрямился. Он вскарабкался по Терезе. Как только он возвысился над ней, — а он был на голову выше, — он стал громко смеяться.

— Она не выросла! — сказал он со смехом, — она не выросла!

Чтобы избавиться от призрака, он решил выпрямиться во весь рост с его помощью. Как достичь ему головы иллюзорной Терезы? Он видел ее перед собой великаншей. Он вытянется, станет на цыпочки, и если она все-таки окажется выше, он сможет с полным правом сказать: «На самом деле она всегда была на голову ниже, всю свою жизнь, значит, это призрак».

Но когда он с ловкостью обезьяны взобрался вверх, его хитроумный план разбился о прежний рост Терезы. Его это не смутило, напротив, можно ли было найти лучшее доказательство его знаменитой точности? Даже его фантазия была точна. Он засмеялся. Ученый его ранга не пропадет. Люди бессмысленно жили и бессмысленно умирали. Тысяча поборников точности, от силы тысяча, воздвигла науку. Дать преждевременно умереть одному из этой высшей тысячи значило бы для бедного человечества покончить с собой. Он смеялся от души. Он представил себе галлюцинации заурядных мужланов, которые сейчас окружали его. У них Тереза выросла бы выше их голов, вероятно даже до потолка. Они бы заплакали от страха и обратились к кому-нибудь за помощью. Они всегда живут галлюцинациями, они не способны даже построить ясную фразу. Надо угадывать, что они думают, если это интересует тебя; лучше вообще не вникать в это. Среди них чувствуешь себя как в сумасшедшем доме. Смеются ли они или плачут, они все время корчат какие-то рожи, они неизлечимы, они все как один трусы, никто из них не убил бы Терезу, каждый позволил бы ей замучить себя до смерти. Они боятся даже помочь ему, потому что он убийца. Кто, кроме него, знает мотивы его поступка? Перед судом, после его большой речи, эти жалкие людишки попросят у него прощения. Ему легко смеяться. Кто родился на свет с такой памятью? Память — условие научной точности. Он будет исследовать свой фантом до тех пор, пока не выяснит, что тот представляет собой. Он уже припирал к стенке совсем

другие опасности, поврежденные тексты, недостающие строчки. Он не помнит, чтобы он хоть раз спасовал. Все задачи, за которые он брался, решались. Убийство он тоже считает вопросом исчерпанным. На галлюцинации Кин не споткнется, скорей уж она на нем, даже если она состоит из плоти и крови. Он тверд. Тереза уже давно ничего не говорит. Он досмеется до конца. Затем он снова примется за работу.

С возрастанием его мужества и уверенности снизилось качество представления. Когда он начал смеяться, зрители еще находили его занимательным. Только что он горько рыдал; контраст был блестящий.

— Как он это откальвает! — сказал один.

— За ненастьем — ведро, — ответил его сосед. Затем все посерьезнели. Комендант схватил себя за нос. Он признавал искусство, но настоящий смех был ему больше по душе. Обладатель дивной памяти заметил, что впервые слышит, как этот господин смеется.

— Потому что говорить нет смысла! — прорычал привратник. Против такой точки зрения выступил отец хорошего ученика.

— Лучше уж говорите, господин арестант! — призвал он Кина. Тот не послушался. — Я желаю вам добра, — прибавил отец. Он говорил правду. Интерес зрителей быстро убывал. Арестованный смеялся слишком долго. К его смешной фигуре они уже и так привыкли. Коменданту было стыдно; он почти дотянул до аттестата зрелости, вот он и клюнул на несколько литературных фраз. Вор выучил их наизусть, это опасный авантюрист. Его такими штучками не проведешь. Преступник воображает, что за его враньем об убийстве забудут о его воровстве и липовых документах. Опытный орган полиции видел и не такие случаи. Нужна огромная наглость, чтобы смеяться в этой ситуации. Он скоро снова заплачет, но уже не на шутку. Обладатель дивной памяти собрал воедино всю ложь вора для допроса в дальнейшем. Тут стоит добрый десяток людей, а никто, конечно, не запомнил ни слова. Вся надежда на его память. Он громко вздохнул. За его незаменимые услуги ему ни шиша не платят. Он делает больше, чем все остальные вместе. Всем им грош цена. Караулка живет на его счет. Комендант полагается на него. Он несет на себе бремя. Каждый завидует ему. Как будто повышение у него уже в кармане. Они-то знают, почему не повышают его. Начальство боится его гениальности. Пока он с

помощью пальцев систематизировал все сделанные правонарушения, гордый отец обратился к

Кину в последний раз. Признав, что этому человеку говорить больше нечего, он сказал:

— Лучше уж плачьте, господин арестант!

Он верно чувствовал, что в школе за смех не ставят отметку «отлично».

Почти каждый отпустил своего соседа. Некоторые вышли из круга. Кольцо распалось, напряжение упало. Даже у наименее выдающихся из присутствовавших появилось собственное мнение. Отвергнутый вспомнил о своем стакане воды. Те, на кого опирался привратник, заметили его, и теперь им хотелось стукнуть его раз-другой за его наглую фамильярность. Сам же он зарычал:

— Говорит он чересчур много!

Когда Кин снова углубился в свои исследования, было уже поздно. Спасти его мог только какой-нибудь новый ошеломляющий номер программы. Он осмелился еще раз показать старый. Тереза чувствовала, как заглох тот перекрестный огонь восхищения.

— Ну, доложу вам, с меня хватит! — сказала она. — Ведь он же не был мужчиной.

Кин услышал ее голос и содрогнулся. Она лишила его всякой надежды, этого он никак не ожидал. Он думал, что, умолкнув, она и в остальном постепенно сойдет на нет. Он как раз растопырил пальцы, чтобы не осязать больше призрак. В последнюю очередь, рассчитывал он, исцелятся глаза; упорнее всего обманы зрения. Тут она и заговори. Он не ослышался. Она сказала: «Ну, доложу вам». Он должен начать сначала, какая несправедливость, работа огромная, он отброшен на несколько лет назад, сказал он себе, — и застыл в той позе, в какой застал его ее голос: с согнутой спиной, судорожно выпрямив пальцы обеих рук, вплотную возле нее. Вместо того чтобы говорить, он молчал, он разучился плакать и даже смеяться, он ничего не делал. Так он сам профинтил последний остаток симпатии к себе.

— Клоун! — крикнул комендант. Он уже осмелился вмешаться, однако это слово он произнес на английский лад; впечатление образованности, произведенное на него Кином, было несокрушимо. Он огляделся, чтобы посмотреть, поняли ли его. Владелец дивной памяти перевел это произношение на немецкое. Он знал, что имелось в виду, и объяснил, что *это* — правильное произношение. С этого момента он попал под подозрение, что втайне знает английский. Комендант немного подождал, как отреагирует на клоуна обруганный арестант. Он боялся образованной фразы и приготовил

такой же ответ. «Вы, по-видимому, полагаете, что никто из присутствующих здесь слуг государства не посвящал себя учению». Фраза эта ему понравилась. Он схватил себя за нос. Кин не дал ему возможности применить ее, тогда он разозлился и крикнул:

— Вы, по-видимому, полагаете, что никто из присутствующих здесь слуг не нюхал аттестата зрелости!

— Ишь ты!— прорычал привратник. Это было направлено против него, против его дочери, насчет которой сегодня каждый может пройтись, не дают девчонке покоя даже в могиле. Кин был слишком удручен, чтобы хоть шевельнуть губами. Трудности процесса возрастают. Убийство остается убийством. Разве эти изверги не сожгли некоего Джордано Бруно? Если он тщетно борется сейчас с какой-то галлюцинацией, то кто же даст ему силу убедить необразованных присяжных в своей значительности?

— Кто вы, собственно, сударь?— воскликнул комендант. — Лучше бы вы перестали молчать!

Он взял Кина двумя пальцами за рукав рубашки. Ему хотелось раздавить его между ногтями. Что это за образованность, которая может произнести лишь какие-то несколько фраз, а в ответ на разумные вопросы молчит? Настоящая образованность заключена в поведении, она заключена в безупречности и подлинном искусстве допроса. Со строгим видом и вернувшимся сознанием собственного превосходства комендант прошел за стол. Деревянное сиденье кресла, которым он обычно пользовался, было покрыто единственной в этой караулке мягкой подушкой с вышитой красной ниткой надписью «*Частная собственность*». Эти слова должны были напоминать подчиненным, что они— даже в его отсутствие— не вправе посягать на подушку. У них была подозрительная склонность подкладывать ее под себя. Он поправил ее несколькими уверенными движениями: прежде чем он сел, надпись «*Частная собственность*» должна была лечь параллельно его глазам, не упуская случая подкрепиться таким обозначением. Он повернулся к креслу спиной. Трудно было оторвать глаза от подушки, еще труднее было сесть так, чтобы ее не сдвинуть. Он опускался медленно; на несколько мгновений он задержал свою заднюю часть. Лишь увидев и отсюда «*Частную собственность*» на том месте, где нужно, он позволил себе нажать на нее. Стоило ему сесть, как у него исчезало всякое уважение к любому вору, будь у того даже что-то побольше, чем аттестат зрелости. Он быстро бросил последний взгляд в зеркальце. Галстук

сидел, как он сам, вольготно и не без изящества. Зачесанные назад волосы застыли в жире, ни один волосок не выбивался. Нос был коротковат. Нос-то и дал коменданту толчок, единственное, что еще требовалось, и тот ринулся в допрос.

Его люди были на его стороне. Он сказал «клоун» — они согласились с ним. Поскольку арестованный стал скучен, все вспомнили о собственном достоинстве. Владелец дивной памяти пылал. Он насчитал четырнадцать пунктов. Как только презрительные комендантские ногти выпустили Кина, его подвели в одной рубашке к столу. Там его отпустили. Он стоял самопроизвольно. И хорошо делал. Упав он теперь, никто не помог бы ему. Полагали, что у него хватает собственных сил. Теперь его все считали упрямым комедиантом. Худобе его уже не верили по-настоящему. Он явно не умер с голоду. Гордый отец испытывал страх перед хорошими сочинениями своего сына. Вот и видно, что выходит из грамотеев.

— Вы узнаете эти предметы одежды? — спросил комендант Кина, указывая на пиджак, жилетку, штаны, чулки и ботинки, лежавшие на столе. При этом он пристально посмотрел ему в глаза, чтобы увидеть, какое действие окажут такие слова. Он был полон твердокаменной решимости держаться определенной системы и обложить преступника. Кин кивнул. Он держался руками за край стола. Он знал, что призрак находится у него за спиной. Жадное желание обернуться и поглядеть, там ли он все еще, Кин превозмог. Ему казалось, что умнее держать ответ. Чтобы не раздражать следователя, — а это ведь был следователь, — он терпел его вопросы. Милее всего Кину было бы дать картину убийства в связной речи. Диалоги были ему противны; он привык излагать свои соображения в длинных статьях. Но, признавая, что каждый специалист привержен к своим методам, он подчинился. Втайне Кин надеялся, что в увлекательной игре вопросов и ответов он заново переживет смерть Терезы с такой силой, что тот призрак рассеется сам собой. Он проявит сейчас как можно больше терпения и докажет этому следователю, что Тереза *должна была* погибнуть. Когда будет составлен подробный протокол и всякое сомнение в его совиновности исчезнет, когда ему представят убедительные свидетельства ее конца, только тогда, ни в коем случае не раньше, он сможет обернуться и посмеяться над пустотой там, сзади, где она недавно была. Она и сейчас, несомненно, стоит сзади, говорил он себе, ощущая ее близость. Чем

крепче он вцеплялся пальцами в стол, тем дальше отступала она перед его глазами. Только сзади могла она в любой миг дотронуться до него. Он рассчитывал на фотографию найденного скелета. Один только рассказ привратника он находил недостаточным. Люди могут и солгать. Собаки, к сожалению, даром речи не обладают. Самым надежным свидетелем была бы собака мясника, растерзавшая на мелкие части и затем сожравшая ее юбку.

Но простым кивком головы человек, занимающий положение коменданта, удовлетвориться не мог.

— Отвечайте: да или нет! — приказал он. — Я повторяю вопрос.

Кин сказал:

— Да.

— Погодите, я еще не повторил! Вы узнаете эти предметы одежды?

— Да. — Он полагал, что речь идет об одежде убитой, и даже не взглянул в ту сторону.

— Вы признаете, что эта одежда принадлежит вам?

— Нет, ей.

Комендант раскусил его играючи. Чтобы отречься от денег и фальшивых документов, найденных в его одежде, этот отпетый негодяй договорился до утверждения, что одежда принадлежит обкраденной женщине. Комендант сохранил спокойствие, хотя он собственноручно раздевал преступника и такой наглости ни разу за всю свою многолетнюю практику не встречал. С легкой усмешкой он схватил штаны и поднял их вверх:

— И штаны тоже?

Кин заметил их.

— Это же мужские штаны, — сказал он, неприятно удивленный тем, что этот предмет не имел никакого отношения к Терезе.

— Вы, стало быть, признаете: штаны мужские.

— Конечно.

— Чьи же, по-вашему, это штаны?

— Этого я знать не могу. Они были найдены, выходит, у покойной?

Последнюю фразу комендант умышленно пропустил мимо ушей. Он был намерен в зародыше подавлять сказку об убийстве и подобные отвлекающие маневры.

— Так, так. Этого вы не можете знать.

С быстротой молнии он извлек свое зеркальце и поднес его к Кину, не слишком близко, так что тот увидел свое лицо почти целиком.

— Знаете ли вы, кто это? — спросил он. Каждый мускул его лица напрягся предельно.

— Я... сам, — сказал, заикаясь, Кин и схватил себя за рубашку. — Где... где же мои штаны?

Он был безмерно удивлен, увидев себя в таком наряде, на нем не было даже ботинок и чулок.

— Ага! — возликовал комендант. — Ну так наденьте же свои штаны!

Он подал их ему, ожидая какого-нибудь нового подвоха. Кин взял штаны и поспешно надел их. Прежде чем спрятать зеркальце, комендант бросил в него взгляд, который он прежде, для вящего ошеломления, подавил. Он умел владеть собой. Он держался безупречно. Особую радость доставляла ему легкость, с какой сейчас проходил у него допрос. Преступник сам надел на себя и остальную одежду. Не потребовалось и доказывать ему, кому принадлежит каждый отдельный ее предмет. Он уже понял, кто перед ним, и берег свои силы. Вступительная часть не продолжалась и трех минут. Попробовал бы кто-нибудь действовать так же, как комендант. Комендант был так доволен, что с радостью на этом и кончил бы. Чтобы продолжить работу, он бросил последний взгляд в зеркальце, подосадовал на свой нос и спросил с новой энергией, — вор как раз влезал в пиджак:

— А как вас зовут теперь?

— Доктор Петер Кин.

— Вот оно как! Род занятий?

— Свободный ученый и библиотекарь.

Комендант вспомнил, что уже слышал то и другое. Несмотря на свою память, он взял одно из фальшивых удостоверений и прочел вслух:

— Доктор Петер Кин. Свободный ученый и библиотекарь.

Новая уловка преступника немного обескуражила его. Тот уже признал одежду своей, а теперь делает вид, будто его документы — настоящие. Каким же отчаянным кажется ему его положение, если он прибегает к такому нелепому средству. В подобных случаях неожиданный вопрос часто приводит к цели одним махом.

— А с какой суммой денег вышли вы сегодня, я имею в виду — из дому, господин доктор Кин?

— Этого я не знаю. Я обычно не считаю своих денег.

— Пока у вас их нет, разумеется, не считаете!

Он проследил, как подействовал его удар. Даже при объективных допросах он давал понять, что все знает, хотя и держится пока еще вежливо. Преступник поморщился. Его разочарование было красноречивее всяких

протоколов. Комендант решил сразу же предпринять вторую атаку — на не менее уязвимое место виновного, на его квартиру. Невзначай, мешкая и как бы задумчиво проехав по киноскому удостоверению, левая рука коменданта целиком закрыла одну графу и все вокруг нее. Это была графа о местожительстве. Опытный преступник разберет написанное, даже если буквы повернуты к нему вверх ногами. Комендант совершил таким образом последние приготовления. Сделав затем приглашающе-заклинающий жест правой рукой, он сказал совершенно вскользь:

— Где вы провели последнюю ночь?

— В гостинице... названия не помню, — ответил Кин.

Левая рука коменданта поднялась, и он прочел:

— Эрлихштрассе, двадцать четыре.

— Там нашли ее, — сказал Кин и облегченно вздохнул. Наконец-то зашла речь об убийстве.

— Нашли, говорите? Знаете, как это у нас называется?

— Вы правы, по существу, от нее ничего не осталось.

— По существу? Скорей уж тут надо говорить о воровстве, чем о существе!

Кин испугался. Какое воровство, что украли? Не юбку же? На юбке и ее позднейшем съедении собакой мясника строилась защита от призрака.

— Юбка была найдена на месте преступления! — заявил он твердым голосом.

— Место преступления? Это слово в ваших устах имеет большой вес! — Все полицейские дружно закивали головами. — Я считаю вас образованным человеком. Вы признаете, что места преступления не бывает без преступления? Вы вольны взять назад свои слова. Но я должен обратить ваше внимание на то, что это произведет неблагоприятное впечатление. Я желаю вам добра. Вам же лучше признаться. Так признаемся же, дорогой друг! Признавайтесь, мы знаем всё! Отпираться вам уже бесполезно. Место преступления сорвалось с языка. Признавайтесь, и я замолвлю за вас словечко! Рассказывайте все по порядку! Мы произвели розыски, Что вам теперь остается? Вы сами выдали себя! Места преступления не бывает без преступления. Не прав ли я, господа?

Когда он говорит «господа», господа знают, что победа за ним, и осыпают его восхищенными взглядами. Один спешит опередить другого. Обладатель дивной памяти понимает, что ему ничего не перепадет, и ставит

крест на прежнем своем плане. Он бросается к коменданту, хватая его счастливую руку и восклицает:

— Господин комендант, позвольте мне вас поздравить!

Комендант, по-видимому, знает, какого беспримерного результата он добился. Как человек скромный, он обычно старается уклоняться от почестей. Сегодня он сдается. Бледный и взволнованный, он поднимается, кланяется во все стороны, с трудом подбирает слова и наконец выражает свое волнение простой фразой:

— Благодарю вас, господа!

«Его все-таки проняло», — думает отец, он чувствителен к семейным сценам.

Кину уже хочется говорить. Ему предложили рассказать все по порядку. Чего еще ему и желать? Он пытается начать снова. Его прерывает овация. Он проклинает поклоны полицейского, которые относит к себе. Эти люди не дают ему даже начать. За их странным поведением он угадывает попытку оказать на него влияние. Он не оборачивается, хотя и чувствует волнение у себя за спиной. Он намерен сказать всю правду. Призрак, может быть, уже исчез. Он мог бы описать жизнь с наверняка умершей Терезой с самого начала. Это облегчило бы его положение на суде; но ему не нужны никакие облегчения. Лучше он приведет подробности ее смерти, к которой он в решающей мере приложил руку. Надо суметь увлечь полицейских, им интересно слушать о том, что входит в их компетенцию. Убийства входят в компетенцию всех людей. Кто на свете не радуется убийству.

Наконец комендант садится, он забывает — на что, и даже не смотрит, как расположена надпись «*Частная собственность*». С тех пор как он уличил преступника, он ненавидит его меньше. Он намерен дать ему выговориться. Успех перевернул его жизнь. У него нормальный нос. Глубоко в кармане лежит зеркальце, точно так же забытое; в нем нет никакой надобности. Почему люди так мучаются? Жизнь изящна. Каждый день появляются новые образцы галстуков. Надо уметь их носить. Большинство походит в них на обезьян. Ему не нужно зеркала. Руки у него сами завязывают галстук как надо. Успех подтверждает, что он прав. Он скромен. Иногда он кланяется. Его люди чтут его. Его благообразная внешность делает ему тяжелую работу приятной. Инструкций он иной раз и не придерживается. Инструкции существуют для преступников. Он изобличает их сам собой, потому что его воздействие безошибочно.

— Как только дверь закрылась за ней, — начинает Кин, — я уверился в своем счастье.

Он начинает издали, но роясь только в себе, только в глубинах своего исполненного решимости духа. Он точно знает, как все произошло в действительности. Кому мотивы преступления известны лучше, чем самому преступнику? От начала и до конца видит он каждое звено цепей, в которые заковал Терезу. Не без иронии систематизирует он события для этой аудитории охотников до арестов и сенсаций. Он мог бы рассказать им кое-что получше. Ему жаль их; но они, что поделаешь, не ученые. Он обращается с ними как с рядовыми образованными людьми. Вероятно, они еще ничтожнее. Цитат из китайских писателей он избегает. Можно было бы прервать его и задать вопрос-другой насчет Мэн-цзы. В сущности, ему доставляет удовольствие говорить о простых фактах просто и общепонятно. Его рассказу свойственны четкость и трезвость, которыми он обязан китайским классикам. В то время как Тереза опять умирает, мысли его возвращаются к библиотеке, положившей начало такому великолепному научному труду. Он собирается вскоре продолжить его. В оправдательном приговоре он уверен. Правда, перед судом он намерен держаться совсем по-другому. Там он покажет себя во всем своем научном блеске. Мир прислушается, когда крупнейший, вероятно, из ныне живущих синологов выступит с речью в защиту науки. Здесь он говорит скромно. Он ничего не искажает, ничего не прощает себе, он только упрощает.

— Я на несколько недель оставил ее одну. Твердо уверенный, что она умрет с голоду, я проводил в гостиницах ночь за ночью. Мне остро недоставало моей библиотеки, поверьте мне; я довольствовался маленькой паллиативной библиотекой, которую держал под рукой для неотложных случаев. Замок моей квартиры был надежен — страх, что ее могут освободить грабители, меня никогда не мучил. Представьте себе ее положение: все запасы съедены. Обессилевшая и полная ненависти, лежит она на полу, перед тем самым письменным столом, где обычно искала деньги. Единственным, о чем она думала, были деньги. Она никак не роза¹. Какие мысли возникали у меня за этим столом, когда я еще делил с ней квартиру, я вам сегодня не стану рассказывать. Из страха, что мои рукописи будут

¹ Пародийный намек на стихотворение Г. Гейне «Du bist wie eine Rose» («Ты — как роза»).

разграблены, мне приходилось неделями застывать в статую стража.

Это было время моего величайшего унижения. Когда моя голова пылала жадной работы, я говорил себе: ты из камня, и, чтобы не шевельнуться, я верил в это. Кому из вас случалось охранять какие-либо сокровища, тот сможет войти в мое положение. Я не верю в судьбу. Однако ее судьба настигла ее. Вместо меня, которого она приближала к смерти коварными нападениями, там теперь лежала она, снедаемая своим безумным голодом. Она не нашла выхода из этого положения. Ей не хватило самообладания. Она пожирала себя. Тело ее, кусок за куском, поглощала ее жадность. Она с каждым днем худела все больше. Она была слишком слаба, чтобы подняться, и лежала в собственных нечистотах. Я кажусь вам, вероятно, худым. По сравнению со мной она была тенью человека, жалкой, ничтожной; если бы она встала, ее свалило бы малейшее дуновение ветра, она была как спичка, которую мог бы сломать кто угодно, даже, я думаю, ребенок. Рассказать об этом подробно нельзя. Синяя юбка, которую она всегда носила, покрывала ее скелет. Юбка была накрахмалена и благодаря этому не дала рассыпаться отвратительным остаткам ее тела. Однажды она испустила дух. Да и это выражение кажется мне фальсификацией; вероятно, у нее уже ничего не оставалось от легких. В этот последний час возле нее не было никого. Кто смог бы неделями находиться рядом с мешком костей? Она была вся в грязи. От мяса, которое она клочьями сдирала с себя, несло смрадом. Разложение началось еще при жизни. Это происходило в моей библиотеке, в присутствии книг. Я велю вычистить квартиру. Она не сократила этот процесс самоубийством. В ней не было ничего святого, она была очень жестока. Она притворялась, что любит книги, до тех пор, пока ждала от меня завещания. Днем и ночью она говорила о завещании. Она мучила меня своим уходом и оставила в живых только потому, что еще не была уверена в завещании. Я ничего не выдумываю. Я сильно сомневаюсь в том, что она умела бегло читать и писать. Поверьте мне, наука обязывает меня быть правдивым. Ее происхождение покрыто мраком. Квартиру она перекрыла, оставив мне одну комнату, но и эту она отняла у меня. И кончила она плохо. Привратник взломал квартиру. Как бывшему полицейскому, ему удалось то, над чем напрасно бился бы грабитель. Я считаю его человеком верным. Он нашел ее в ее юбке, отвратительный, зловонный, безобразный ске-

лет, мертвой, совершенно мертвой, ни секунды не сомневался он в ее смерти. Он созвал жильцов, радость в доме была всеобщей. Когда наступила смерть, установить уже не удалось; но она *наступила*, это казалось каждому самым главным. По меньшей мере пятьдесят жильцов простествовали мимо трупа. Никаких сомнений не высказывалось, каждый кивал головой, признавая то, чего уже нельзя было изменить.

Доподлинно известны случаи мнимой смерти, какой ученый станет отрицать это? А о скелетах, которые впадали бы в летаргию, мне ничего не известно. С древнейших времен народ представляет себе призраки в виде скелетов. В этом взгляде есть глубина и величие; к тому же он убедителен. Почему бояться призрака? Потому что это явление мертвого, безусловно мертвого, умершего и погребенного. Испытывали бы люди такой же страх перед ним, если бы он появлялся в прежнем, хорошо знакомом обличье? Нет! Ибо при виде его исчезала бы мысль о смерти, перед глазами был бы живой человек, и только. А если призрак является в виде скелета, это напоминает сразу о двух вещах: о живом, каким он был, и о мертвом, каков он есть. Скелет как образ призрака стал для бесчисленного множества народов символом смерти. Его убедительность сногшибательна, это просто-напросто самое мертвое из всего, что мы знаем. Древние могилы наводят на нас ужас, если в них оказываются скелеты; если они пусты, мы не воспринимаем их как могилы. А когда мы называем скелетом человека явно живого, мы подразумеваем под этим, что он близок к смерти.

Она же была вполне мертва, все жильцы убедились в этом, и чудовищное омерзение вызывала ее жадная гибель. Ее боялись еще и теперь. Она была очень опасна. Единственный, кто никогда не давал ей спуска, привратник, бросил ее в гроб. После этого он сразу же вымыл руки, но боюсь, что они остались грязными навсегда. Однако сейчас я публично приношу ему свою благодарность за его храбрый поступок. Он не побоялся проводить ее в последний путь. Из верности мне он призвал некоторых жильцов помочь ему исполнить свой омерзительный долг. Никто не выразил такой готовности. Этим простым и добропорядочным людям достаточно было взглянуть на ее труп, чтобы раскусить ее. Я жил рядом с ней много месяцев. Когда ее гроб, слишком белый и гладкий, ехал по улицам на ветхой телеге, все, как один, чувствовали, что в нем находится.

Несколько уличных мальчишек, нанятых моим вер-

ным слугой, чтобы защищать повозку от нападения разъяренной толпы, убежали прочь, они дрожали от страха и с ревом разносили новость по городу. На улицах стоял дикий крик. Вздуродраженные мужчины бросали работу. Женщины истерически плакали, школы извергали детей, тысячи людей стекались в толпы и требовали умертвить труп. Со времен революции 48-го года здесь не бывало такой сумятицы. Поднятые кулаки, проклятья, задыхающиеся улицы и скандирование хором: «Убейте труп! Убейте труп!» Я могу это понять. Толпа легкомысленна. Вообще-то я не люблю ее. Но с какой радостью я слился бы с нею тогда. Народ не понимает шуток. Месть его велика—дай ей надлежащий объект, и она поступит по справедливости. Сорвав с гроба крышку, увидели вместо настоящего трупа тошнотворный скелет. Тут волнение унялось. Скелету нельзя уже причинить вреда, толпа рассеялась. Только одна собака, принадлежавшая мяснику, не отставала. Она искала мяса, но не находила его. От злости она свалила гроб наземь и разорвала синюю юбку в клочки. Их она сожрала, безжалостно, все без остатка. Вот почему юбки больше не существует. Искать ее вам незачем. Чтобы облегчить вам работу, я сообщаю все эти подробности. Искать останки вам следует на мусорной свалке за городом. Кости, жалкие кости; сомневаюсь, что их еще можно отличить от других отбросов. Может быть, вам повезет. Такому чудовищу не подобает честное погребение. Поскольку она теперь надежно мертва, я не стану ругать ее. Синяя опасность устранена. Только дураки боялись желтой опасности. Китай—это всем странам страна, самая святая из стран. Поверьте смерти! С самой юности я сомневаюсь в существовании душ. Учение о перевоплощении душ я считаю наглостью и готов сказать это в лицо любому индусу. Когда ее нашли на полу у письменного стола, она представляла собой скелет, а не душу...

Кин управляет своей речью. Мысли его нет-нет да сбиваются на науку. Он к ней опять совсем близок, как страстно хочется ему распространяться о ней! Она — его родина. Однако он каждый раз одергивает себя... Удовольствия—позднее, говорит он себе, когда вернешься домой, ждут книги, ждут статьи, ты потерял много времени. Его воля поворачивает все дороги назад—к полу перед письменным столом. При виде стола его лицо проясняется, он улыбается покойнице, она—образ, не видение. Он любовно задерживается на ней. Подробности, связанные с живыми, он плохо

запоминает, его память работает, только когда перед ним книги. А то бы он с удовольствием описал ее подробно. Ее смерть—дело не обыденное. Это—событие. Это—окончательное освобождение затравленного человечества. Постепенно Кин начинает удивляться своей ненависти. Тереза не стоит ее. Как можно ненавидеть жалкий костяк? Она погибла быстро. Только запах, приставший к книгам, мешает ему. Надо принести жертвы. Он сумеет удалить этот запах.

Полицейские давно потеряли терпение. Только из уважения к своему коменданту они еще слушают; а тому трудно вернуться к трезвости этого допроса. Когда победа уже в его привычных руках, проза ему не по вкусу. Сейчас ему хочется порыться в новых галстуках, — это сплошь образцы, с гарантией — чистый шелк, — и выбрать себе самый красивый, ибо у него есть вкус. Во всех магазинах знают его. Он способен перебирать галстуки часами, он умеет примерить галстук, не измяв его. Поэтому каждый доверяет ему товар. Некоторые присылают ему образцы на дом. Этого он тоже не любит. Он мог бы целый день стоять в магазине и беседовать с приказчиками. Когда он приходит, они не обращают внимания на покупателей. Его профессия дарит интересные истории, которые он и рассказывает. Такие вещи люди всегда слушают с удовольствием. Да, времени у него в обрез; а то бы он на этом свихнулся. Завтра он пойдет погулять. Жаль, что сегодня не завтра. Слушать ему полагается при каждом допросе. Он не делает этого из принципа, потому что уже все знает. Злоумышленника он уличил, его, коменданта, никто не проведет. Его нервы расшатаны, это из-за долгой службы. Притом он еще может быть доволен. Он все же чего-то добился и предвкушает новый галстук.

Привратник прислушивается. В господине профессоре он не ошибся. Тот говорит, чего он стоит. Никакой он не слуга. Верный, это правда, и собрать жильцов ему ничего не стоит, если он пожелает, они из всех квартир прибегут. Он может рывкнуть так, что его весь город услышит. Страха он не знает, потому что он из полиции. Он любую квартиру взломает. Нет замка, который его задержал бы, потому что он вышибает дверь одним кулаком. Подошвы он бережет, пинать дверь ему незачем. Другие сразу давай ножищами. У него сила есть везде, где он пожелает.

Тереза держится поблизости от Кина. Она с трудом проглатывает его слова. Под юбкой она то одной, то другой ногой описывает круги, не трогаясь с места.

Такие бессмысленные движения означают у нее страх. Она боится этого человека. Восемь лет она жила с ним в одной квартире. С каждым мгновением он кажется ей все ужаснее. Раньше он никогда ничего не хотел говорить. Теперь он говорит все о каких-то убийствах. Такой опасный человек! Когда он рассказывает о скелете возле письменного стола, она быстро говорит себе: это он о первой жене. Та тоже хотела получить завешание, она была не дура, но этот трус ничего не отдает. Юбка—это оскорбление. Где это видано, чтобы собака мясника жрала юбки? Он готов убить любую женщину. Его всегда колотят, но всегда мало. Он плетет какие-то небылицы. Три комнаты он сам подарил ей. Зачем ей рукописи? Ей нужна банковская книжка. Книги пахнут трупами. Она ничего такого не замечала. Восемь лет она каждый день стирала с книг пыль. На улице люди кричали у гроба. Над трупами не кричат. Сначала он женится по любви, а потом убивает человека. Такого надо повесить. Она никого не убивает. Она же вышла за него замуж не по любви. Теперь он снова вернется к ней в квартиру. Она боится. *Он* думает о деньгах, потому что не отдает их. Синяя юбка—это неправда. Он просто хочет позлить ее. Убить у него не выйдет. Ведь здесь же полиция. Она вот-вот разревется. Для него жена—это скотина. Она у него на совести. От шести до семи он всегда бывал один. Тут-то он и убил. Пусть оставит в покое письменный стол. Разве она что-нибудь нашла? Привратник не дает ей спуску. Она хочет красивую повозку. Гроб должен быть черный. Полагается, чтобы лошади.

Тереза пугается все быстрее и быстрее. То он убил первую жену, то он убил ее. Она мысленно отделяет юбку от трупа, юбка смущает ее больше всего; ей жаль первой жены, потому что он так гнусно обходится с юбкой. Ей стыдно за эти убогие похороны. Она ненавидит собаку мясника. Люди ведут себя непристойно, а школьников слишком мало порют. Мужчины лучше бы работали, а женщины не умеют готовить. Им она еще скажет это. Какое дело жильцам? Все приходят поглазеть. Она поглощает его слова, как изголодавшийся—хлеб. Она слушает, чтобы не пугаться. Она мгновенно подгоняет свои представления к его фразам. От стольких умственных усилий начинает кружиться голова. К такой спешке она не привыкла. Она гордилась бы своей смышленостью, если бы страх не замучил ее до полусмерти. Сто раз хочется ей выступить вперед, чтобы сказать, что он представляет собой; страх перед его мыслями вынуждает ее оставаться на

месте. Она пытается угадать, что последует дальше, он поражает ее неожиданностями. Он сдавливает ей горло. Она отбивается, она не дура, неужели ждать, пока не задохнется? Нет, у нее есть время до восьмидесяти, она умрет через пятьдесят лет. Не раньше, так нужно господину Грубу!

Великолепным жестом завершает Кин свою речь. Он выбрасывает вверх руку — древком без знамени. Его тело вытягивается, кости звенят, звонко и ясно подводит итог его голос:

— Да здравствует смерть!

От этого возгласа пробуждается комендант. Он уныло отодвигает в сторону галстуки, целую кипу; он выбрал себе самый красивый. Где взять ему время, чтобы положить их на место? Он заставляет их исчезнуть — до более приятного часа.

— Дружище, — говорит он, — я слышу, мы уже дошли до смерти. Расскажите-ка лучше эту историю еще раз!

Полицейские толкают друг друга. У него свои причуды. Нога Терезы выступает за круг. Она должна что-то сказать. Обладатель гениальной памяти видит себя у цели. Каждое услышанное слово запечатлелось. Он собирается сам повторить за арестанта его показания.

— Он уже устал, — говорит он, пренебрежительно указывая плечом на Кина, — я сделаю это быстрее!

Тереза вырывается вперед.

— Ну, доложу вам, он убьет меня! — От страха она говорит тихо, Кин слышит ее, он ее отрицает. Он не обернется. Никогда, зачем! Она мертва. Тереза кричит:

— Я, доложу вам, боюсь!

Разозлившись, что ему помешали, обладатель гениальной памяти прикрикивает на нее:

— Да кто вас съест?

Отец успокаивает:

— Женщине от природы суждено быть слабым полом.

Это эпитафия, он взят из последнего сочинения его сына. Комендант достает зеркальце, зевает в него и вздыхает:

— Ну, и устал же я.

Нос ускользает от его внимания, ему уже ничто не интересно. Тереза кричит:

— Пусть, доложу я, он уйдет!

Кин еще выдерживает ее голос; он не оборачивается. Однако он громко стонет. Привратнику надоели все эти вопли.

— Господин профессор! — рычит он сзади. — Все не так худо. Мы все живы еще. И здоровы тоже пока еще.

Смерть ему не по нраву. Такой уж он человек. Тяжелой поступью он выходит вперед. Он вмешивается.

Господин профессор человек умный. Все это от множества книг. Уж он наговорит! Знаменитость и добрейшей души к тому же; верить ему нельзя. Никакого убийства ни на какой совести у него нет. Где ему взять силы на это? Он говорит так только потому, что жена не заслуживает его. Такие вещи описаны в книгах. Профессор все знает. Он боится любой булавки. Жена отравила ему жизнь. Это задрёпа мерзейшей души. Она готова спутаться с каждым. Она сразу ложится. Он может подтвердить это присягой. Профессора неделю не было дома, и уже она соблазнила его. Он из полиции, привратник по совместительству и пенсионер. Его зовут Бенедикт Пфафф. Сколько он помнит, адрес его дома всегда был Эрлихштрассе, 24. Насчет воровства эта женщина пусть лучше помалкивает. Господин профессор женился на ней из жалости, потому что она была прислугой. Другой проломил бы ей череп. Ее мать умерла в дерьме. У нее была судимость из-за нищенства. Ей нечего было жрать. Он знает это от дочери. Она рассказала это в постели. Болтает она будь здоров. Господин профессор не виновен, честное слово пенсионера. Он берет его на себя. Орган власти может позволить это себе. У себя в клетушке он устроил караулку, коллеги диву дались бы. Канарейки и глазок. Человек должен работать, а кто не работает, тот государству в тягость.

Его слушали удивленно. Его рычанье проникало каждому в мозг. Даже отец понимал его. Это был его язык, при всем его восхищении сочинительством сына. В коменданте тоже проснулись остатки интереса. Он признал теперь, что рыжий служил когда-то в полиции. Так шумно и нахально обыкновенный человек вести себя здесь не мог. Тереза то и дело пыталась протестовать. Ее слова звучали слабо. Она скользила то вправо, то влево, пока не схватила Кина за полу пиджака. Она потянула его за нее, пусть он повернется, пусть скажет, прислугой она была или экономкой. У него искала она помощи, за его счет хотела вознаградить себя за ругань другого мужа. Он женился на ней по любви. Где же любовь? Он хоть и убийца, но говорить-то он может. На прислугу она не согласна. Она уже тридцать четыре года ведет хозяйство. Скоро уже год,

как она добропорядочная хозяйка дома. Пусть он что-нибудь скажет! Да поторапливается! А то она выдаст тайну насчет промежутка между шестью и семью!

Про себя она решила предать его, как только он окажет ей то, что полагалось, — любовь. Он был единственный, кто слышал ее слова. В чудовищном шуме он различал позади себя ее голос, слабый, но, как всегда, возмущенный. Он чувствовал ее грубую руку на своем пиджаке. Осторожно, сам не зная как, он поджал позвоночник, повернулся, повел плечами, выскользнул из рукавов, тихонько стянул их пальцами вниз и вдруг, сделав последний рывок, предстал перед Терезой без пиджака. Теперь он не ощущал ее. Вцепись она в жилетку, произошло бы то же самое. Мысленно он никак не называл ни свое видение, ни ее. Он обходил ее имя и обходил ее образ, хотя и знал, от кого защищается.

Привратник закончил свою речь. Не дожидаясь ее воздействия, потому что против него никаких улик не было, он стал между Кином и Терезой, прорычал: «Цыц!», вырвал у нее пиджак и надел его на профессора, как на грудного младенца. Комендант молча вернул деньги и документы. Его глаза сожалели о промахе, но ни одного слога из этого удачного вопроса он назад не взял. Обладателю гениальной памяти многое показалось подозрительным; на всякий случай он запомнил речь рыжего и пересчитал по пальцам различные пункты, в ней содержащиеся. Полицейские говорили наперебой. Каждый выразил свое мнение. Один, охотник до пословиц, сказал: «Шила в мешке не утаишь», — и фраза эта была всем по душе. Тридцатичетырехлетнее хозяйничанье Терезы потонуло в хаосе голосов. Она топнула ногой. Отец, которому она напоминала одну свояченицу и некие запретные плоды, добился наконец, чтобы ее выслушали. Побагровев и сбиваясь на визг, она привела в свое оправдание цифры. Муж может подтвердить это, а если нет, то она приведет господина Груба из мебельной фирмы «Груб и Жена». Он совсем недавно женился. При слове «женился» голос у нее сорвался. Но никто не поверил ей. Она осталась обыкновенной прислугой, и отец попросил ее о встрече сегодня вечером. Это услышал привратник и, еще до того как она ответила, заявил, что согласен.

— Она хоть в Бразилию побежит за этим, — любезно пояснил он коллегам. Америка была для него недостаточно далеко. Затем он, сияя и пыхтя, оглядел караулку и обнаружил на стенах крупные фотографии,

показывавшие приемы джиу-джитсу. — В мое время, — прорычал он, — хватало и этого!

Он сжал могучие кулаки и сунул их под восхищенные носы нескольких коллег сразу.

— Да, такие времена, — сказал отец и пощекотал Терезу под подбородком. У его мальчишки жизнь будет когда-нибудь лучше. Комендант рассматривал Кина. Это был профессор, хорошую семью он почувствовал сразу, и денег у таких в кармане полным-полно. Другой сумел бы приодеться. А такой ходит себе как нищий. Мир несправедлив. Тереза сказала отцу:

— Да, доложу я вам, но прежде всего я домохозяйка!

Она знала—на тридцать, но была еще слишком оскорблена. Кин неподвижно глядел на коменданта и прислушивался к ее то близкому, то далекому голосу.

Когда привратник решил удалиться и нежно взял профессора под руку, тот закачал головой и с поразительной силой вцепился в стол. Его попытались оторвать от стола, но тот последовал за ним. Тогда Бенедикт Пфафф зарычал на Терезу:

— Катись отсюда, стерва!.. Он не выносит этой бабы!—прибавил он, повернувшись к коллегам. Отец схватил Терезу и выставил ее со всякими шуточками. Она была очень возмущена и шептала, что лучше бы он не давал ей покоя позднее. В дверях она собрала остатки голоса и закричала:

— Убийство, наверно, пустяк! Убийство, наверно, пустяк!

Получив по губам, она с величайшей поспешностью заскользила домой. Убийцу она не впустит. Она поскорее запрется, на два оборота вниз, на два вверх, на два посредине, и проверит, не побывали ли в доме грабители.

Но профессора и десяти полицейским не сдвинуть с места.

— Она ушла, — подбадривает его привратник, опрокидывая глыбу своей головы в сторону двери. Кин молчит. Комендант смотрит на его пальцы. Они назойливы, они двигают его стол. Если так будет продолжаться, он скоро будет сидеть перед пустотой. Он встает; подушка тоже сдвинулась.

— Господа, — говорит он, — так не годится!

Добрая дюжина полицейских окружает Кина и уговаривает его отпустить стол.

— Каждый сам своего счастья кузнец, — полагает один из них. Отец обещает выбить у бабы дурь из головы, не далее как сегодня же.

— Жениться надо только на людях приличных! — уверяет гений. Он возьмет в жены только женщину с деньгами, поэтому у него еще нет жены. Комендант руководит происходящим и думает: какой мне от этого прок? Он зевает и презирает всех.

— Не позорьте меня, господин профессор! — рычит Бенедикт Пфафф. — Пойдемте по-хорошему! Мы пойдем теперь домой!

Кин не уступает.

Но тут комендант уже не выдерживает. Он приказывает:

— Вон!

Все двенадцать, которые только что уговаривали, бросаются к столу и стряхивают Кина, как сухой листок. Он не падает. Он удерживается на ногах. Он не сдается. Вместо бесполезных слов он достает свой носовой платок и сам завязывает себе глаза. Узел он затягивает туго, до боли. Его друг берет его под руку и выводит.

Как только дверь закрывается, обладатель гениальной памяти приставляет палец ко лбу и заявляет:

— Преступником был четвертый!

Караулка решает отныне не спускать глаз со швейцара Терезианума.

На улице привратник предложил господину профессору свою клетушку. В квартире тот начнет раздражаться, зачем эти неприятности? Ему нужен теперь покой.

— Да, — говорит Кин, — я не выношу этого запаха.

Он воспользуется предложением привратника, пока не вычистят квартиру.

КРОХОТУЛЕЧКА

Перед Терезианумом Фишерле, которому удалось сбежать, встретила неожиданность. Вместо его служащих, чья судьба и болтливость его тревожили, у ворот собралась взволнованная толпа. Заметив его, какой-то старик завопил: «Урод!» — и съезжился со всей поспешностью, на какую было способно его одеревенелое тело. Он боялся преступника, которого слухи раздули в исполинского карлика; съезжившись, он оказался таким же маленьким, как тот. Какая-то женщина подхватила слабый взглас старика и сделала его громким. Теперь это услышали все; счастье хотеть чего-то вместе овладело толпой.

— Урод! — катилось по площади. — Урод! Урод!

Фишерле сказал: «Очень приятно!» — и поклонился. Из людской массы можно извлечь массу выгод. Огорченный тем, что положил назад в карман Кина много денег, он надеялся вознаградить себя за это здесь. Он еще не пришел в себя от прежней опасности и не сразу почувствовал новую. Восторженный возглас, пронесшийся над ним, обрадовал и его. Точно так же будет он в Америке выходить из своего шахматного дворца. Будет играть музыка, люди будут кричать, а он станет вытаскивать у них доллары из карманов. Полиция не нагреет руки; она должна будет смотреть сложа руки. Там с ним ничего не может случиться. Миллионер — это святыня. Сто полицейских стоят при этом и покорнейше просят его угощаться. Здесь они понимают его не так хорошо. Он оставил их там, внутри. Вместо долларов здесь только мелочь, но он возьмет все.

Пока он озирает свое поле боя, переулки, которыми можно улизнуть, карманы, куда можно залезть, ноги, среди которых можно затеряться, воодушевление угрожающе нарастало. Каждый хотел что-то урвать от похитителя жемчужного ожерелья. Даже самые спокойные теряли самообладание. Ну и наглость — показываться на глаза людям, которые его узнают! Мужчины расколошматят его вдрызг. Женщины сначала поднимут его до неба, потом исцарапают. Уничтожить хотят его все, чтобы осталось только позорное пятно, каковым он и был, ничего больше. Но сначала надо увидеть его. Ибо хотя тысячи самозабвенно кричали «Урод!», заметил его разве что десяток людей. Дорога к чертову карлику была вымощена добрыми ближними. Все алкали его, все жаждали его крови. Озабоченные отцы поднимали детей выше голов. Их могли растоптать, и им следовало поучиться, двух зайцев одним ударом. Соседи злились на этих отцов, что те и сейчас еще думали о детях. Многие матери отрешились от детей; они предоставляли им сколько угодно кричать, они ничего не слышали, они слышали только: «Урод!»

Фишерле нашел, что шума делают слишком много. Вместо «Да здравствует чемпион!» люди кричали «Урод!». А почему здравствовать должен был именно урод, он не понимал. На него напирали со всех сторон. Лучше бы его меньше любили, да больше жаловали. Так ему ничего не достанется. Вот кто-то сжал ему пальцы. Вот он уже не разбирает, где у него горб. Красть одной рукой слишком опасно для него.

— Ребятки, — крикнул он. — Вы слишком сильно любите меня!

Только находившиеся совсем рядом услышали его. С пониманием к его словам никто не отнесся. Толчки вразумляли, пинки убеждали его. Он что-то натворил, если бы только знать—что. Может быть, его уже схватили? Он посмотрел на свою свободную руку. Нет, она не была еще ни в чьем кармане. Мелочи-то он всегда находил—носовые платки, гребенки, зеркальца. Он обычно брал их, а потом, в отместку, выбрасывал. Но сейчас его рука была позорно пуста. Что за блажь у людей—хватать его без вины? Он еще ничего не украл, а они уже пинали его ногами. Сверху осыпали тумаклами, снизу пинали, а бабы, конечно, щипали горб. Ему, правда, не было больно, в битье эти олухи ни черта не смыслили, в «Небе» они могли бы бесплатно обучиться битью. Но поскольку наперед ничего не известно, а новички с виду уже не раз оказывались на поверку крупными специалистами, Фишерле принялся жалобно кричать. Обычно он издавал каркающие звуки, но когда нужно было, например сейчас, голос его звучал как голос грудного младенца. Необходимое упорство у него тоже было. Находившаяся близ него женщина забеспокоилась и стала оглядываться. Ее ребенок лежал дома. Она испугалась, что он побежал за ней и затерялся в толпе. Она безуспешно искала его глазами и ушами, успокаивающе шелкала языком, как перед детской коляской, и наконец успокоилась сама. Остальные не пожелали принимать за младенца убийцу-грабителя. Они боялись, что их скоро оттеснят, напор был слишком велик, и торопились. Удары их становились хуже, все чаще они промахивались. Но в круг вступали новые, у которых были те же намерения. В общем, Фишерле отнюдь не был доволен. При желании он мог бы играючи избавиться от этой своры. Достаточно было слазить под мышки и разбросать перед ними банкноты. Может быть, на то они и рассчитывали. Конечно, это лоточник, эгоист, змея подколодная, настропалил людей, и теперь они хотят его денег. Он плотно прижал к себе руки, возмущаясь хамством, которое приходится терпеть сегодня начальникам от своих служащих, он не станет терпеть, он выгонит к черту эту змею, она уволена, он все равно уволил бы ее, и Фишерле решил упасть мертвым. Если эти разбойники станут обыскивать его карманы, он узнает, чего они хотят от него. Если же они не станут его обыскивать, то убегут, потому что он мертв.

Но его план легче было составить, чем выполнить. Он старался упасть; коленки окружающих задержали его горб. Лицо уже умирало, кривые ноги подкосились,

вместо рта, который был чересчур мал, дух испускал нос, плотно закрытые глаза раскрылись, застывшие и угасшие—все приготовления были сделаны слишком рано. Из-за горба план его провалился. Фишерле слышал, в чем его упрекают. Жаль бедного барона. Жемчужное ожерелье не стоит всего этого. Жестокий испуг молодой баронессы. У нее теперь разбита вся жизнь, осталась она без мужа. Может быть, она выйдет замуж вторично. Заставить ее никто не может. Карликам дают двадцать лет. Надо бы вернуть смертную казнь. Уродов надо уничтожать. Все преступники—уроды. Нет, все уроды—преступники. Глядит себе таким дурачком-простофилей. Лучше бы делал какую-нибудь работу. И не вырывал у людей изо рта кусок хлеба. На что ему жемчуга, такому уроду, и нос жидовский хорошо бы оттяпать. Фишерле злился, о жемчужных ожерельях эти люди говорили как слепые о цвете! Если бы только оно было у него!

Тут вдруг чужие коленки поддались, его горб выпростался, он наконец упал наземь. Погасшими глазами он установил, что его покинули. Уже когда они ругали его, ему показалось, что давка уменьшилась. Крик «Урод!» звучал еще громче, но со стороны церкви.

— Вот видите, — сказал он с упреком, вставая и оглядывая двух-трех последних сторонников, которые у него остались. — Действительный преступник там!

Их взгляды последовали за его правой рукой, которая указала на церковь; левой он мгновенно обшарил три кармана, презрительно выбросил гребенку, единственное, что он нашел, и дал тягу.

Фишерле так и не узнал, кому он был обязан своим чудесным спасением. На привычном месте его в обществе остальных ждала Фишерша, и наскучило это ожидание только ей.

Ибо ассенизатор вообще не заметил, как долго нет начальника. Он мог часами стоять на двух ногах и столько же времени ни о чем не думать. Ни развлечения, ни скука не были ему ведомы. Все люди оставались ему чужими, потому что они либо мешкали, либо торопились. Жена будила его, жена выпроваживала его, жена встречала его. Она была его часами и надлежащим временем. Лучше всего он чувствовал себя под хмельком, потому что и другие тогда не замечали часов.

«Слепой» в ожидании развлекался по-царски. Вчерашние щедрые чаевые ударили ему в голову, он надеялся на еще более щедрые сегодня. Вообще-то он

выйдет из фирмы «Зигфрид Фишер» и откроет — столько он вскоре заработает — универсальный магазин. Магазин широченный, скажем, на девяносто продавщиц. Их он подберет сам. Меньше чем на девяносто кило он ни одной не возьмет. Он будет хозяин и сможет брать кого захочет. Он будет платить самое высокое жалованье, он отобьет у конкурентов самых тяжелых. Везде, где такая появится, до нее сразу дойдет правдивый слух: в магазине «Иоганн Швер» платят лучше. Владелец, бывший слепой, человек проникательный! Он обращается с каждой в отдельности как со своей женой. Тут она плюнет на других мужчин и придет к нему. В универсальном магазине можно купить все: помаду, настоящие гребни, сетки для волос, чистые носовые платки, мужские шляпы, корм для собак, черные очки, карманные зеркальца, вообще что угодно. Только пуговиц не будет. В витринах будут висеть большие объявления: *Пуговицы здесь не продаются.*

А лоточник обыскивал церковь, ища наркотики. Их близость действовала на него усыпляюще. Он то и дело находил тайный пакет, но знал, что это не на самом деле, смысленности у него хватало.

Все трое мужчин молчали.

Только Фишерша выказывала растущую озабоченность. С Фишерле что-то случилось. Его все нет, а он такой маленький. Он свое слово держит. Через пять минут, сказал он, он будет на месте. Сегодня утром в газете сообщалось о несчастном случае, она тогда сразу же подумала о нем. Столкнулись два паровоза. Один — наповал, другой угнали тяжело раненным. Она сейчас пойдет посмотрит. Если бы он не запретил, она пошла бы. Они напали на Фишерле, потому что он большой начальник. Он зарабатывает много денег и всё носит с собой. Она же знает: он — что-то особенное. Его жена натравила на него врагов, потому что он не выносит ее. Она для него слишком стара. Ему стоит только развестись — в «Небе» его захочет любая. У церкви черным-черно от людей. Фишерле попал под машину. Она все-таки пойдет посмотрит. Остальные пусть останутся здесь. Он умеет так хорошо ругаться. Его глаз она боится. Когда он глядит на нее, ей хочется убежать, а убежать она не может. Что себе думают эти трое, он же начальник. Они тоже должны бояться. Он лежит под колесами. Горб они ему раздавили. У Фишерле пропали его шахматы. Он ищет их в Терезиануме, потому что он чемпион мира. Вот он и злится, вот и волнуется. Он у нее еще, чего доброго,

заболеет. Она должна будет ухаживать за ним. Она так сразу и подумала утром. В газете было написано. Он никогда их не читает. Теперь она пойдет, теперь пойдет.

После каждой фразы она умолкала и озабоченно морщила лоб. Она шагала взад и вперед, качая горбом, подходила, собрав новые слова, к коллегам и произносила их громким шепотом. Она чувствовала, что все точно так же тревожатся, как она. Даже «слепой» ничего не говорил, а в хорошем настроении он любил разглагольствовать. Ей хотелось поискать Фишерле совсем одной, и она боялась, что другие увяжутся за ней.

— Я сейчас приду! — прокричала она несколько раз, чем дальше она удалялась, тем громче. Мужчины не трогались с места; несмотря на свой страх, она была безмерно счастлива. Она найдет Фишерле. На служащих он не станет злиться, при таком-то несчастье. Он сказал, чтобы они ждали.

Тихо пробирается она на площадь перед церковью. Она уже за углом, вместо того чтобы торопиться, она замедляет свои и так-то крошечные шаги и судорожно поворачивает головку назад. Если появится лоточник, или пуговичник, или ассенизатор, она резко остановится, как машина, которая переехала Фишерле, и скажет: «Я только посмотрю». Лишь когда они повернут назад, она двинется дальше. Иногда она немного ждет, ей чудятся за церковью чьи-то штаны, затем их там не оказывается, и она крадется дальше. Такой толпы она уже давно не видела. Тут бы каждому купить по газете, и ей хватило бы на неделю. Вся пачка лежит в «Небе»; на газеты у нее сегодня нет времени, потому что она состоит на службе у Фишерле. Тот платит двадцать шиллингов в день, по собственному почину, потому что фирма у него крупная. Она прячется, чтобы найти его; она делается еще меньше; он лежит где-то на земле. Она слышит его голос. Почему она не видит его? Она проводит рукой по тротуару.

— Не настолько же он маленький, — шепчет она, качая головой. Она уже в гуще толпы, и оттого, что она сутулится, виден только ее горб. Как ей найти его среди сплошь высоких? Все давят ее, его они тоже давят, Фишерле раздавлен, пусть они выпустят его! Ему нечем дышать, он задыхается, он погибнет!

Вдруг кто-то совсем рядом с ней кричит: «Уродина!» — и ударяет ее по горбу. Другие тоже кричат, тоже бьют ее. Толпа набрасывается на нее, здесь люди находились вдали от драки, тем энергичнее они навер-

стывают упущенное. Она лежит на животе и не двигается. Ее избивают вовсю. Метят в горб, а попадают куда придется. Со стороны Терезианума люди толпой стягиваются сюда. В том, что горб настоящий, сомнений не может быть. На него и обрушивается гнев толпы. Пока она способна на это, Фишерша дрожит за судьбу Фишерле и стонет:

— Он — единственное, что у меня есть на свете. Затем она теряет сознание.

С Фишерле все было в порядке. За церковь он встретил троих из четырех служащих; Фишерши не было.

— Где она? — спросил он, подняв руку до высоты своего живота, — он имел в виду эту крохотульку.

— Она смылась, — быстро ответил лоточник, сон у него был легкий.

— Ну, ясно, баба, — сказал Фишерле, — она не может ждать, ей надо что-то делать, она занята, она потеряла свои деньги, она разорена, все бабы — уроды!

— Моих баб оставьте в покое, господин Фишерле! — угрожающе перебил его «слепой». — Мои бабы не уроды. Не ругайтесь! — Он чуть не начал описывать свой универсальный магазин. Взгляд на конкурентов образумил его. — У меня пуговицы запрещены полицией! — упомянул он только и умолк.

— Ушла, — проворчал ассенизатор. Этот веский ответ, только что наконец сложившийся, относился еще к первому вопросу Фишерле.

А лицо начальника растерянно сморщилось. Его голова упала на грудь, его вытаращенные глаза наполнились слезами. Он безнадежно переводил взгляд с одного на другого и молчал. Правой рукой он бил себя вместо лба по носу, и так же сильно, как его кривые ноги, дрожал его голос, когда он наконец подал его.

— Господа, — заплакал он, — я разорен. Мой покупатель меня, — судорога возмущения потрянула его выразительное тело, — обманул. Знаете что? Он приостановил платежи и отправился с моими деньгами в полицию! Ассенизатор свидетель!

Он подождал подтверждения. Ассенизатор кивнул, но лишь через несколько минут. За это время универсальный магазин развалился, похоронив девяносто служащих. Церковь рухнула: наркотики, которые в ней находились или еще только должны были попасть туда, погибли. О сне уже нечего было и думать. При расчистке развалин в подвалах магазина обнаружился колоссальный склад пуговиц.

Фишерле заприходовал кивок ассенизатора и сказал:

— Мы все разорены. Вы теряете место, а у меня разбивается сердце. Я думал о вас. Все мои деньги ухнули, и меня разыскивают ввиду незаконных коммерческих операций. Через несколько дней вывесят объявление о розыске, вы сами увидите, мои сведения из надежного источника. Я должен скрыться. Кто знает, где я объявлюсь снова, быть может, в Америке. Если бы только у меня были деньги на дорогу! Но я уж сумею улизнуть. Человек моего шахматного ума никогда не пропадет. Только за вас я боюсь. Полиция может вас слопать. За такое пособничество дают два года тюрьмы. Люди помогают человеку, просто по дружбе, и вдруг их сажают на два года—почему? Потому что они не умеют держать язык за зубами! Знаете что? Вы можете вообще не сесть! Если вы будете умные, вы ничего не скажете. «Где Фишерле?»—спросит полиция. «Понятия не имеем», — скажете вы. «Вы служили у Фишерле?»—«Какое там!»—скажете вы. «До нас дошли слухи!»—«Слухи эти, с вашего позволения, ложные». — «Когда вы видели Фишерле в последний раз?»—«Когда он исчез из «Неба?»»—«Может быть, его жена помнит, какого это было числа». Если вы точно назовете число, это произведет плохое впечатление. Если вы точно не назовете число, то спросят жену, пускай и она сходит разок ради мужа в полицию, ей это не вредно. «Чем торговала фирма «Зигфрид Фишер и Компания?»»—«Да откуда же нам это знать, господин старший генерал?» Как только вы начнете отпираться, вас сразу отпустят. Стоп, у меня появилась блестящая идея! Такого вы еще не слышали! Вам вообще не придется идти в полицию! Полиция оставляет вас в покое, она о вас знать не желает, она не интересуется вами, вы не существуете для полиции, вас нет на свете, — как мне вам это объяснить? А почему? Очень просто, потому что вы держите язык за зубами. Вы не говорите ни слова, никому ни слова, во всем «Небе»! Теперь я вас спрашиваю, как тут может прийти кому-нибудь в голову сумасшедшая мысль, будто вы имеете ко мне какое-то отношение? Исключено, говорю вам, и вы спасены. Вы приступаете к работе как ни в чем не бывало. Ты идешь торговать вразнос и не можешь уснуть, а ты отдаешь своей бабе три четверти жалованья и убираешь дерьмо, ведь и ассенизатор, я считаю, на что-то нужен, что делать с таким количеством дерьма огромному городу, если ассенизатор будет лежать на боку, а ты пойдешь опять попрошайничать, собака-то у тебя есть, и очки тоже. Бросят тебе пуговицу—поглядишь в сторону, бросят не пуговицу—

поглядишь куда надо. Пуговицы — твоя беда, смотри, еще убьешь кого-нибудь! Вот как вам надо вести себя, у меня у самого нет ничего, а я еще каждому даю совет! Хотел бы я иметь то золото, которого стоит мой совет, я все раздариваю, потому что я вам сочувствую!

Взволнованный и растроганный, Фишерле стал шарить у себя в карманах штанов. Его печаль по поводу разорения прошла; говоря, он разгорячился и забыл размеры несчастья, постигшего его самого. Он был воплощенной отзывчивостью, судьба друзей занимала его больше, чем его собственная. Он знал, как пусты его карманы. Порванную подкладку левого он вывернул наружу, в правом он нашел, к своему удивлению, шиллинг и пуговицу. Он извлек то и другое — кто сказал А, должен сказать и Б — и воодушевленно прокаркал:

— Последний шиллинг я делю с вами! Четыре служащих и один начальник, вместе это составляет пять. На каждого приходится по двадцать грошей. Долю Фишерши я пока сохраняю у себя, потому что шиллинг принадлежит мне. Может быть, я встречу ее. Кто даст сдачу?

После сложных расчетов — ни у кого не было мелочи на целый шиллинг — дележ удался по крайней мере частично. Лоточник получил шиллинг и отдал свои шестьдесят грошей. За это он остался должен двадцать грошей ассенизатору, которому нечего было отчислять жене и у которого поэтому ветер гулял в кармане. Из мелочи лоточника «слепой» взял свою одинарную, Фишерле — свою двойную долю.

— Вам хорошо смеяться! — сказал Фишерле, он был единственный, кто смеялся. — Я вам в подметки не гожусь со своими двадцатью грошами, у вас есть работа, вы богатые люди! А у меня одно только честолюбие, такой уж я человек. Я хочу, чтобы все в «Небе» говорили обо мне так: Фишерле исчез, но это была благородная душа!

— Где нам теперь найти такого шахматного чемпиона? — посетовал лоточник. — Теперь я единственный чемпион — по картам.

В его кармане легко поплясывал тяжелый шиллинг. «Слепой» стоял неподвижно, закрыв по привычке глаза, и еще протягивал по привычке сложенную горстью ладонь. Его доля, две никелевые монетки, лежали в ней, такие же грузные и неподвижные, как их новый владелец. Фишерле засмеялся:

— Тоже мне чемпион — по картам!

Ему показалось смешным, что чемпион мира по

шахматам разговаривает с такими людьми — с ассенизатором-семьянином, с лоточником, который страдает бессонницей, с самоубийцей из-за пуговиц. Заметив протянутую руку, он быстро положил в нее пуговицу и затрясся от смеха.

— Всего наилучшего вам всем! — прокаркал он. — И будьте умниками, ребята, будьте умниками!

«Слепой» открыл глаза и увидел пуговицу; он что-то почувствовал и хотел убедиться в обратном. В смертельном испуге он посмотрел в сторону Фишерле. Тот повернулся и крикнул:

— До свиданья, до встречи в лучшем мире, на том свете, дорогой друг, не принимай близко к сердцу!

Затем он все-таки поспешил, этот тип мог, чего доброго, не понять шутки. В ближайшем переулке он всласть посмеялся над тем, что все люди такие глупые. Зайдя в какое-то парадное, он подпер руками горб и закачался влево и вправо. Из носу текло, никелевые монетки звенели, горб болел, он в жизни не смеялся так долго, это продолжалось добрых пятнадцать минут. Перед тем как двинуться дальше, он опорожнил нос у стены и, сунув его в подмышку, понюхал каждую. Там лежал его капитал.

Уже через несколько переулков его охватила грусть из-за больших убытков. Банкротство было преувеличением, но две тысячи шиллингов — это состояние, а ровно столько денег осталось у специалиста по книжной части. Полиция вообще ни к чему. Она мешает деловой жизни. Что понимает такой бедный чиновник с паршивым окладом, без капитала, только для слежки и нужный, в делах, какими ворочает большая фирма? Он, Фишерле, например, не постыдится поползть и собственноручно подобрать деньги, которые должен ему и со зла швырнет наземь его покупатель. Его, может быть, и пнут разок, но для него это не беда. Он постарается отпихнуть ногу, две ноги, четыре ноги, все ноги, он, сам начальник; деньги грязные и мятые, они не выходят свежими из давки, человек партикулярный постесняется прикоснуться к ним — а он возьмет их. Конечно, у него есть служащие, целых четверо, он мог бы набрать и восьмерых, шестнадцать — нет, конечно, он мог бы послать их и приказать: «Подберите, ребята, эти грязные деньги!» Но он на такой риск не пойдет. Люди только и думают, как бы украсть, у них на уме одно воровство, и каждый считает себя великим артистом, оттого что припрятал какие-то крохи. Начальник потому и начальник, что полагается на самого себя. Это можно назвать и риском. Он, значит, подби-

рает восемнадцать сотенных, недостает только двух еще, они уже почти у него в кармане, он обливается потом и мучается, он говорит себе: какой мне от этого толк, и тут появляется полиция, в самый неподходящий момент. Он пугается до смерти, он терпеть не может полицию, она ему осточертела, сплошные бедняки, он сует деньги в карман покупателю, деньги, которые этот покупатель должен ему, и удирает. Что делает полиция? Она отбирает деньги. Она могла бы оставить их покупателю, вдруг снова настанут хорошие времена, и Фишерле возьмет их, так нет же, она находит книжника сумасшедшим. На такого человека, как этот книжник, говорит она, с такими большими деньгами и таким крошечным умишком, непременно нападут, его непременно ограбят; неприятностей не оберешься. Работы у нас хватает, так оставим лучше эти деньги себе, и они действительно оставляют их себе. Полиция крадет, а человек оставайся порядочным!

В разгар его гнева один полицейский, мимо которого он проходил, пристально посмотрел на Фишерле. Уйдя от него на почтительное расстояние, Фишерле дал волю своей ненависти к нему. Не хватало еще, чтобы эти воры не пустили его в Америку! Он решил еще до своего отъезда отомстить полиции за преступление против собственности, которое та учинила над ним. Самое лучшее — щипать их скопом, пока не закричат. Он был убежден в том, что украденные деньги они разделили между собой. Было, скажем, две тысячи полицейских; значит, на каждого пришлось по целому шиллингу. Никто не сказал: «Нет! Я не возьму денег, потому что они украдены!» — как полагалось бы в полиции. Поэтому все были одинаково виноваты, и щипающий Фишерле не щадил никого.

— Но не воображай теперь, что им больно! — сказал он вдруг вслух. — Ты здесь, а они там. Что им твои щипки?

Вместо того чтобы совершать намеченные им для отъезда шаги, он часами слонялся по городу, без цели, обозленный, ища возможности наказать полицию. Обычно при самом ничтожном намерении у него возникал и славный план действий, а сейчас он был в растерянности и потому постепенно отступался от самых жестких своих требований. Он готов был даже отказаться от денег, если только ему удастся отомстить. Он жертвовал двумя тысячами шиллингов чистоганом! Не нужны они ему уже вовсе, он и в подарок их не возьмет, только пусть кто-нибудь отнимет их у полиции!

Полдень уже прошел, а он все еще ничего не ел от ненависти, и тут его взгляд упал на две большие вывески на одном доме. Одна гласила: *Д-р Эрнст Флинк, женские болезни*. Другая, сразу под ней, принадлежала некоему «*д-ру Максимилиану Бюхеру, невропатологу*». «Вот сразу всё, что нужно вздорной бабе», — подумал он, и тут ему вспомнился парижанин, брат Кина, наживший состояние гинекологией и затем перешедший на психиатрию. Он стал искать бумажку, на которую записал адрес этого знаменитого профессора, и действительно нашел ее у себя в кармане пиджака. На месте было и рекомендательное письмо, но с ним надо было сначала поехать в Париж. Это слишком далеко, а полиция тем временем пропьет денежки. Если он сам напишет брату письмо и подпишется своей фамилией, этот барин спросит: «Фишерле? Кто такой Фишерле?» — и стараться не станет. Ведь он человек с состоянием и ужасно горд. Профессор и состояние сразу — тут нужно тонкое обхождение. Это не как в жизни, это уже как в шахматах. Если бы знать, играет ли профессор в шахматы, можно было бы подписаться: «Фишерле, чемпион мира по шахматам». Но с такого человека становится, что он не поверит тебе. Через два месяца, побив как последнюю собаку и разгромив Капабланку, Фишерле пошлет всем выдающимся людям мира такую телеграмму: «Имею честь почтительно представиться, новый чемпион мира по шахматам Зигфрид Фишер». Тут никаких сомнений не возникнет, это будут знать все, люди склонят головы, состоятельные профессора в том числе, кто не поверит, попадет под суд за оскорбление, а послать настоящую телеграмму — об этом он всю жизнь мечтал.

Так осуществится его месть. Он зашел в ближайшее почтовое отделение и потребовал три бланка для телеграмм, поскорее, пожалуйста, дело срочное. В бланках он разбирался. Он уже не раз их покупал, они были дешевы, и огромными буквами писал на них издевательский вызов тому или иному чемпиону мира. Эти великолепные тексты вроде «Я презираю вас, урод!» или «Попробуйте со мной, если хватит смелости, урод вы этакий!» он читал вслух в «Небе», жалуясь на трусость чемпионов, от которых никогда не приходило ответа. Во многом ему верили, но насчет телеграмм — нет, ведь у него было слишком мало денег, чтобы послать хотя бы одну; поэтому его дразнили адресом, который он забыл или указал неверно. Один добродушный католик обещал, что, как только он вознесется на настоящее небо, сбросит вниз письма,

хранящиеся для Фишерле до востребования у святого Петра. «Если бы они знали, какую честную телеграмму я отправляю сейчас!» — подумал Фишерле и усмехнулся над шутками, которые позволяло себе с ним это жалкое отребье. Кем он был тогда? Ежедневным гостем в вертепе «У идеального неба». А кто он теперь? Теперь он посылает телеграмму профессору. Дело только за правильными словами. Лучше не называть собственного имени. Напишем так: «Брат спятил. Друг дома». Первый бланк выглядит теперь совсем недурно; вопрос в том, произведет ли «спятил» впечатление на психиатра. С этим он сталкивается каждый день, он скажет себе: «А, ничего страшного» — и будет ждать, пока друг дома не протелеграфирует снова. Для этого Фишерле, во-первых, слишком дороги его деньги, во-вторых, они у него не краденые, а в-третьих, это для него слишком долго. Опустив «друга дома» — это отдаст излишней преданностью, заставляет ждать слишком многого, — он усиливает «спятил» словом «окончательно». На втором бланке значится: «Брат окончательно спятил». А кто подпишется? На телеграмму без подписи ни один человек с положением реагировать не станет. Существуют на свете клевета, шантаж и тому подобные профессии, гинеколог на пенсии знает много чего. У Фишерле есть еще один бланк; досадуя на два испорченных, он задумчиво нацарапывает «Я окончательно спятил» на третьем. Прочитав это, он приходит в восторг. Если человек пишет так о себе, ему надо верить, кто же станет так писать о себе? Он подписывается «Твой брат» и бежит с удавшимся посланием к окошку.

Чиновник, человек с червоточинной, качает головой. Всерьез это нельзя принять, а шуток он не понимает.

— Вы обязаны это принять! — требует Фишерле. — *Вам* за это платят или мне?

Вдруг у него возникает опасение, что опороченные люди не имеют права посылать телеграммы. Откуда чиновник знает его? Наверняка не по «Небу», а уж бланки-то он всегда брал в других местах.

— Это ничего не значит! — говорит чиновник и возвращает телеграмму. Урод поднимает ему дух. — Нормальный человек так не напишет.

— То-то и оно! — кричит Фишерле. — Поэтому я и посылаю телеграмму своему брату. Пусть он меня заберет! Я сумасшедший!

— Попрошу вас удалиться отсюда, сударь! — взъярится чиновник, изо рта его уже летят брызги.

Толстяк в двух шубах, одна — подстежка из меха,

другая—поверх нее, стоящий в ожидании позади Фишерле, находит потерю времени возмутительной, отталкивает карлика в сторону, грозит запертому за окошком чиновнику жалобой и заканчивает свою речь, за каждым словом которой кроется туго набитый бумажник, такой фразой:

— *Вы* не имеете права не принимать телеграммы, понятно? *Вы* — нет!

Чиновник умолкает, проглатывает свое право на разумение и выполняет свою обязанность. Фишерле обсчитывает его на один грош. Толстяк указывает карлику, которому он помог не из-за спешки, а из принципа, на его ошибку.

— Что вы говорите! — говорит Фишерле и исчезает.

Выйдя, он видит, как телеграмму задерживают в наказание за его проделку.

— Из-за какого-то гроша, Фишерле, — упрекает он себя, — когда телеграмма стоит в двести шестьдесят семь раз больше!

Он возвращается, извиняется перед толстяком, он, мол, неверно понял его, он плохо слышит, он свихнулся на правое ухо. Он говорит еще что-то, чтобы хотя бы мысленно приблизиться к его бумажнику. Тут, как раз вовремя, он вспоминает свой скверный опыт, связанный с обладателями двойных шуб. Они не подпускают к себе человека и, прежде чем он чем-нибудь поживится у них, отдают его в руки полиции. Он доплачивает грош, великодушно прощается и уходит. Он отказывается от бумажника, потому что его месть—в пути.

Чтобы достать фальшивый паспорт, он зашел в одно заведение, находившееся поблизости от «Неба», но куда более низкого пошиба. Оно называлось «У павиана», и само это звериное название говорило о том, какие чудовища сюда захаживали. Здесь у каждого была судимость. Такой человек, как ассенизатор, с работой и хорошей репутацией, «Павиана» избегал. Его жена, как он рассказывал в «Небе», развелась бы с ним, если бы от него только пахло «Павианом». Ни пенсионерки не было здесь, ни чемпиона, который побивал всех. Здесь выигрывал то один, то другой. Ум, который вынуждает выигрывать, отсутствовал. Заведение находилось в подвале, надо было спуститься на восемь ступенек, чтобы найти дверь. Часть ее разбитого стекла была заклеена бумагой. На стенах висели порнографические женщины. Хозяйка «Неба» ни за что не потерпела бы этого в своей приличной кофейне. Столешницы были из дерева; мрамор мало-помалу растащили. Умерший арендатор всячески старался

привлечь публику с постоянным заработком. Он обещал каждой даме за каждого приличного гостя, которого она приведет, по чашечке кофе бесплатно. Он заказал тогда красивую вывеску и окрестил свое заведение «Разнообразия ради». Его жена говорила: «Вывеска подходит и ко мне», она гонялась за разнообразием все время, и он умер от любовной тоски, потому что у него был аппендицит и дела шли так скверно. Как только он умер, жена заявила: «Павиан» мне нравится больше». Она извлекла на свет старую вывеску, и от доброй славы не осталось и памяти. Эта баба отменила даровой кофе, и с тех пор ни одна дорожившая собой дама не переступала порога ее подвала. Кто заходил сюда? Подделыватели паспортов, бездомные, выворенные, скрывающиеся от розыска, еврейская голь и всякая опасная шантрапа. В «Небе» иногда и появлялась полиция, сюда она не решалась совать нос. Для ареста одного бандита-убийцы, чувствовавшего себя в безопасности у хозяйки «Павиана», было выделено ровно восемь сыщиков. Такие здесь были нравы. Обыкновенный сутенер не мог быть спокоен за свою жизнь. Уважение проявляли только к закоренелым преступникам. Урод с умом или урод неумный — им было все равно. Такие люди не видят тут никакой разницы, потому что они сами глупцы. «Небо» откачивалось от общения с «Павианом». Стоило впустить к себе этих людей, как исчезали прекрасные мраморные доски столов. Только когда последний неряха в «Небе» дочитывал иллюстрированные журналы, они попадали в руки хозяйки «Павиана», ни на минуту раньше.

Фишерле признавал, что «Небо» ему осточертело, но по сравнению с «Павианом» оно было чистым золотом. Когда он вошел, к нему бросилось несколько мужчин, которых все боялись. Они гордо похлопали его со всех сторон, выражая свою радость по поводу прихода столь редкого гостя. Хозяйки сейчас как раз нет, а то она вот уж обрадовалась бы. Полагали, что он пришел прямо из «Неба». Им было запрещено показываться в этом благословенном бабами месте. Они стали спрашивать о той, о другой. Фишерле врал во весь опор. Он не кичился и держался приветливо, за фальшивый паспорт он хотел выложить как можно меньше денег. Он подождал говорить о своем деле, а то поднялась бы цена. Убедившись, что это он, его похлопали еще немножко: собственной рукой легче всего утвердить себя в своем мнении. Пусть он садится, раз уж зашел, пусть посидит. Такого благородного коротышку нельзя отпускать сразу. Не обвалился ли

уже потолок в «Небе»? В это опасное для жизни заведение никто теперь не сунется. Полиции надо позаботиться, чтобы там сделали ремонт! Там бывает столько баб — куда им деться, если обвалится потолок?

Когда они уговаривали Фишерле взяться за это дело, в кофе, который кто-то подал ему, упал кусочек известки. Онпил кофе и сожалел, что у него так мало времени. Он пришел проститься. Шахматный союз в Токио предложил ему место учителя шахматной игры.

— Токио находится в Японии. Я еду послезавтра. Дорога туда продлится полгода. Это для меня она продлится так долго. В каждом городе я буду выступать в турнире. Так я выколочу деньги из самой поездки. Дорожные расходы мне возместят, но только в Токио. Японцы недоверчивы. Нет, говорят они себе, если человек получит деньги, он там и останется, где был. Я-то не останусь, но у них уже есть печальный опыт. Против опыта не попрешь. В письме сказано: «Мы питаем к вам, глубокоуважаемый мастер, величайшее доверие. Но разве деньги у нас краденые? Нет, они у нас не краденые!»

Мужчины пожелали увидеть письмо. Фишерле попросил прощения. Письмо в полиции. Ему обещали там паспорт, несмотря на многочисленные судимости. Страна гордится славой, которую он на своей шахматной доске донесет до Японии.

— И ты собираешься выехать уже послезавтра?

Шестеро это сказали, а остальные одновременно подумали то же. Они обращались к нему на «ты», хотя он был из «Неба», потому что жалели его за легковесие.

— У полиции ты ни шиша не получишь, это так же верно, как то, что я отсидел девять лет! — сказал один.

— Тебя еще и посадят за попытку к бегству!

— И в довершение всего они сообщат о твоих судимостях в Японию!

Глаза Фишерле наполнились слезами. Он отодвинул чашку с кофе и стал всхлипывать.

— Я зарезу эту банду! — говорил он в промежутках. — Я всех зарезу!

Его жалели на все лады; сколько разного опыта, столько и мнений. Один знаменитый подделыватель паспортов заявил, что есть только одно спасение, и это — он. С Фишерле он возьмет лишь половину цены, потому что Фишерле — это половина человека. В такую шутку он облек свое участие. Ни один из них не выжал бы из себя слова сочувствия. Фишерле улыбался сквозь слезы.

— Я знаю, ты знаменитость, — сказал он, — но паспорта, чтобы доехать до Японии, ты еще не делал, пока еще нет!

Подделыватель, прозванный «паспортистом», человек с волнистыми волосами, черными как смоль, художник-неудачник, сохранивший тщеславие еще со своих художнических времен, возмущенно вскочил и прошипел:

— Мои паспорта доезжают и до Америки!

Фишерле позволил себе заметить, что Америка — это далеко еще не Япония. Для роли подопытного кролика он, по его мнению, слишком хорош. Вдруг, на японской границе, его схватят и посадят. К японским тюрьмам у него нет любопытства, ни малейшего. Его по-доброму уговаривали, он отбивался. Мужчины приводили убедительнейшие доводы. Сам паспортист часто сидел, а из его клиентов — никто, вот как заботится он о людях. Он готов пожертвовать всем, что у него есть, ради искусства; во время работы он запирается. Она так утомляет его, что после каждого паспорта ему надо отсыпаться. Это тебе не массовая продукция. Он рисует каждый экземпляр особо. Кто подсматривает, как он работает, тому он дает ногой под зад. Фишерле не отрицал этого, но оставался тверд. К тому же у него нет ни гроша. Уже поэтому все эти разговоры бесполезны. Паспортист выразил готовность подарить Фишерле паспорт экстра-класса, если тот обязуется использовать его. Он может сделать паспортисту ответный подарок, рекламируя в Японии его замечательную работу. Фишерле поблагодарил: он слишком мал для таких шуток, *они* силачи, а он-то слаб, как старая баба. Пусть лучше кто-нибудь другой сделает эту глупость. Ему поднесли еще две чашки кофе. Паспортист бушевал. Фишерле, говорил он, *обязан* предоставить ему такую возможность, не то он в два счета отправит его на тот свет! Остальным удалось временно унять паспортиста, все обижались за него и считали, что он прав. Переговоры затянулись на целый час. Паспортист оттаскивал своих друзей в сторону, одного за другим, и обещал им хорошие деньги. Тут у них лопнуло терпение. Они наотрез заявили Фишерле, что он их пленник и выйдет на свободу лишь при одном условии. Условие это — принять и пустить в ход фальшивый паспорт, за который он может ничего не платить, потому что у него нет денег. Фишерле уступил силе. Он еще долго ныл. Два дюжих головореза проводили его к фотографу, где он был снят за счет паспортиста. Пикни он только, ему пришлось бы худо. Он не пикнул. Его

эскорт дождался, чтобы проявили пластинку и отпечатали снимки.

Когда они вернулись, паспортист уже заперся. Ему нельзя было мешать. Ближайший его друг передал ему еще влажные фотографии через дверную щель. Он работал как одержимый. С его вихров пот капал на стол, подвергая опасности чистоту паспорта. Благодаря ловким движениям головы документ остался незапятнанным. Истинную радость доставляли ему подписи. Ему были подвластны казенная размахистость и угловатый педантизм всех высших полицейских чинов. Его подписи были произведениями искусства. Их извивы он сопровождал пылкими рывками своего корпуса. На мотив какого-то шлягера он напевал: «Как оригинально! Как оригинально! Впервые на свете!»

Если подпись удавалась настолько, что могла ввести в заблуждение его самого, он оставлял паспорт себе на память и оправдывался перед отсутствующим заказчиком, которого его фантазия тотчас доставляла в рабочую каморку, любимым девизом: «Своя рубашка ближе к телу». Таких паспортов-шедевров у него скопилось несколько десятков. Хранились они в маленьком чемоданчике. Когда дела шли скверно, он отправлялся со своей коллекцией в близлежащие города. Там он демонстрировал ее. Ветераны его искусства, конкуренты и ученики — все краснели за свою бездарность. В трудных случаях клиентов бескорыстно направляли к нему. Требовать за это комиссионных было равнозначно самоубийству. Он дружил с сильнейшими и крупнейшими преступниками, каждый из которых был королем в своей специальности, а все они составляли обычную клиентуру «Павиана». Непорядочность паспортиста имела предел: в паспорта своей коллекции он вкладывал прямоугольные записочки, где значилось: «Дубликат процветает и делает доллары в Америке», или: «Владелец шлет привет из Южной Африки. Страна алмазов», или: «Преуспел в роли искателя жемчуга. Да здравствует паспортист!» Или: «Почему вам не последовать за мною в Мекку? Здесь магометанский мир бросает свои деньги на ветер. Аллах велик!» Эти данные он брал из бесчисленных благодарственных писем, преследовавших его до глубокого сна. Они были для него слишком драгоценны, чтобы показывать их; достаточно было их содержания, факты сами говорили за себя. Поэтому после каждого изготовленного документа он выпивал несколько рюмок рома, клал пылающую голову на стол и, разделив пальцами копну волос, видел во сне будущее и подвиги данного заказчи-

ка. Писать ему еще никто не писал, но из своих снов он знал, что они написали бы, и пользовался их судьбами в целях рекламы.

Работая на Фишерле, он думал о восхищении, которое вызовет его паспорт в Японии. Эта страна была для него новой, в такую даль он еще не совался. Он изготовил сразу два экземпляра. Первый, удавшийся неподражаемо, он решил в виде исключения вручить клиенту. Речь идет как-никак о важной миссии.

Фишерле между тем угощали всеми лакомствами, какие только имелись в скудном буфете «Павиана». Он получил целых две старые копченые колбаски, вонючий кусок сыру, сколько угодно черствого хлеба, десять сигарет марки «Павиан», хотя и не курил, три рюмки домашней водки, чай с ромом, ром без чая и бесчисленное множество напутственных советов. Надо остерегаться карманников. На таких паспортах, какой теперь достанется ему, люди помешаны. Какой-нибудь халтурщик может оторвать фотографию, приклеить другую и обеспечить себя прекрасным паспортом на всю жизнь. Пусть Фишерле не очень-то демонстрирует его, железные дороги кишат завистниками. И пусть он не ленится писать; у паспортиста есть где-то тайный почтовый ящик, он рад каждому благодарственному письму, он сохраняет их, как хозяйка свои любовные письма, и никогда никому не показывает. Разве по письму видно, что отправитель — всего лишь урод?

Фишерле обещал все, за благодарностью, признательностью и известиями дело не станет. Но все-таки ему страшно. Так уж он устроен. Именуйся он хотя бы д-р Фишер, а не просто Фишер, полиция сразу прониклась бы уважением.

Мужчины сгрудились и стали совещаться. Только один из них остался на страже у двери, чтобы коротышка не улизнул. Они решились помешать своему другу в работе, несмотря на его строжайший запрет, и походатайствовать перед ним о докторском звании для Фишерле. Если с ним будут вежливы и назовут его мастером, паспортист не сразу расвирепееет. На этом все сошлись, но никто не вызвался передать ему их просьбу. Ведь если он все же расвирепееет, он не выплатит тому, кто ему помешал, обещанной премии, а дураком никто из присутствующих не был.

Тут вернулась уходившая по каким-то своим делам хозяйка. Она охотно выходила на улицу, чаще из любви, иногда, чтобы доказать своим гостям, что она женщина, — ради денег. Мужчины с радостью воспользовались ее возвращением, чтобы расступиться. Забыв

о своем намерений, они растроганно смотрели, как хозяйка заключила в объятия горб Фишерле. Она осыпала его ласкательными словами; она, оказывается, тосковала по нему, по его забавному носу, по его кривым ножкам и по его славному-преславному шахматному искусству. У нее нет таких крохотулечек. Она слышала, что пенсионерка, его жена, стала еще толще, сколько же она съедает, правда ли это? Фишерле ничего не отвечал, разочарованно глядя в пустоту. Она принесла кучу старых журналов, которыми гордилась, — все были из «Неба» — и положила их перед своим любимцем. Фишерле не раскрыл ни одного и никак не отозвался на это. О чем горюет его сердечко, у малюточки ведь такое малюсенькое сердечко, — она обвела пальцем кружок величиной от силы с четверть своей ладони.

Пока он не доктор, сказал Фишерле, ему страшно.

Мужчины забеспокоились. Они стали уговаривать его не быть таким трусом. Доктор невозможен, ворчали они наперебой, потому что уроду нельзя стать доктором. Урод и притом доктор — такого не бывает. Еще чего не хватало! Доктору нужна хорошая репутация. Урод и скверная репутация — это одно и то же. Это он должен признать. Может быть, он знает какого-нибудь урода, который был бы доктором?

— Знаю одного! — сказал Фишерле. — Знаю одного! Он меньше меня. У него нет рук. Ног у него тоже нет. Больно смотреть на этого несчастного человека. Он пишет ртом, а читает глазами. Знаменитый доктор.

Этим он не произвел на них особого впечатления.

— Ну, это совсем другое дело, — сказал один от имени всех. — Он сперва был доктором, а уж потом ему отрезало руки и ноги. Тут он ни при чем.

— Глупости! — закричал Фишерле, эта ложь возмутила его. — Он таким и родился, если я это сказал! Я знаю, что говорю, Он появился на свет без рук и без ног. Вы же сумасшедшие. Я умный, сказал он себе, почему мне не стать доктором? Он сел за учебу. Обыкновенный человек учится пять лет, у урода на это уходит двенадцать. Он это сам рассказал мне. Он мой друг. В тридцать он был доктором и знаменитостью. Я играю с ним в шахматы. Ему стоит только взглянуть на человека, и тот уже здоров. Приемная у него набита битком. Он сидит в колясочке, и ему помогают две женщины. Они раздевают пациента, выстукивают его и подносят к доктору. Тот лишь секунду понюхает его и уже знает в чем дело. Затем он кричит: «Следующий, пожалуйста!» Он зарабатывает огромные деньги. Дру-

гого такого хорошего доктора нет. Меня он горячо любит. Он говорит: все уроды должны держаться друг за друга. Я беру у него уроки. Он сделает меня доктором, обещал он. Я не должен об этом никому говорить, люди же ничего не понимают. Я знаю его вот уже десять лет. Еще два года, и я бы закончил ученье. Но тут пришло это японское письмо, и я махнул на все рукой. Мне хочется пойти попрощаться с ним, он этого заслужил, но я не решаюсь. С него станется, что он задержит меня, и тогда прощай мое место в Токио. Я могу самостоятельно отправиться за границу. Я еще далеко не такой урод, как он!

Некоторые попросили его показать этого человека. Наполовину они уже поверили. Фишерле сунул нос в свой жилетный карман и сказал:

— Сегодня его нет при мне! Обычно он лежит вот здесь! Что поделаешь?

Тут все засмеялись, их тяжелые локти и кулаки запрыгали по столикам, и поскольку смеяться им нравилось, а случай для этого выпадал редко, они все встали, забыли свой страх и затопали, ввосьмером, к каморке паспортиста. Вместе, чтобы не был виноват кто-то один, они распахнули дверь и хором зарычали:

— Доктора не забудь! Доктора не забудь! Он учится уже десять лет!

Паспортист кивнул. Да, до самой Японии! Он был сегодня в хорошем настроении.

Фишерле почувствовал, насколько он пьян. Обычно алкоголь настраивал его на грустный лад. Сейчас он вскочил, — паспорт и докторское звание были у него уже почти в кармане, — и у живота хозяйки «Павиана» пустился в пляс. Его длинные руки легко дотянулись до ее шеи и обвили ее. Он кряхтел, она переваливалась с боку на бок. Один грабитель-убийца, о котором этого не знали, что он за птица, вынул из кармана огромную гребенку, обернул ее папиросной бумагой и стал выдувать из нее нежную мелодию. Другой, простой взломщик, из любви к хозяйке затопал ногами, совершенно невпопад отбивая такт. Остальные хлопали себя по могучим бедрам. Тихо дребезжало разбитое дверное стекло. Ноги Фишерле стали еще кривее, а хозяйка зачарованно смотрела на его нос.

— В такую даль! — визжала она. — В такую даль!

Этот огромный, этот любимый нос уезжает от нее теперь в Японию! Грабитель-убийца продолжал дуть, он думал о ней, каждый знал ее досконально, и каждый был у нее в большом долгу. В своей каморке подпевал паспортист, чей тенор пользовался популярностью, он

уже предвкушал конец рабочего дня; он трудился уже три часа, и работы оставалось от силы на час. Все мужчины пели, не зная настоящих слов песни, каждый пел о том, чего ему особенно хотелось. «Главный выигрыш», — мычал один, а другой стонал: «Милашечка», «глыбу золота с детскую головку» хотел третий, а четвертый бесконечную турецкую трубку. «Мы видим пред собой!» — гудело под некими усами, обладатель которых был в молодости учителем и жалел о пенсии. Преобладали, однако, опасные угрозы, и больше всего всем хотелось переселиться в другую страну, но не вместе с кем-нибудь другим, а так, чтобы другой потом позавидовал. Голова Фишерле опускалась все ниже и ниже, его аккомпанемент к шлягеру «Шахматы, шахматы» терялся в шуме.

Вдруг, прижав палец к губам, хозяйка зашептала:
— Он спит, он спит!

Пятеро мужчин осторожно посадили его на стул в углу и зарычали:

— Тсс! Прекратить музыку! Фишерле нужно выпастись перед дальней дорогой!

Папиросная бумага на гребенке умолкла. Все тесно сгрудились и стали обсуждать опасности путешествия в Японию. Один стучал по столу и угрожал: в пустыне Такла-Макан каждый второй умирает от жажды, пустыня эта находится как раз посередине между Константинополем и Японией. Бывший учитель тоже об этом слышал и сказал:

— Свен Гедин, совершенно верно.

Предпочесть следовало водный путь. Плавать коротышка, наверно, умеет, а нет — так его удержит на воде горб, в котором столько жира. Сходить на берег ему нигде не следует. Он будет проплывать мимо Индии. В порту подстерегают его очковые змеи. Половинный укус — и ему смерть, потому что он — половинка чело- века.

Фишерле не спал. Он вспомнил о своем капитале и, сидя в углу, проверял, куда он у него закатился во время пляски. Капитал оказался на месте; Фишерле похвалил свои подмышки — как хорошо они были устроены, у другого эта прелесть давно лежала бы в штанах или пол просто проглотил бы банкноты. Он ничуть не устал, и когда эти дураки говорили о каких-то там странах и очковых змеях, он думал об Америке и о своем миллионерском дворце.

Поздно вечером, было уже темно, паспортист вышел из своей каморки, размахивая двумя паспортами — по паспорту в каждой руке. Мужчины умолкли; они

питали уважение к его работе, потому что он щедро платил за нее. Тихонько подкравшись к карлику, он положил на стол перед ним паспорт и разбудил его зверской пощечиной. Фишерле видел ее приближение и все же не шелохнулся. Расплата должна была последовать, он это знал и был рад, что его не подвергли личному обыску.

— Я требую рекламы! — кричал паспортист, он нетвердо стоял на ногах, и у него заплетался язык. Он уже несколько часов опьянялся своей славой в Японии. Он поставил карлика на стол и заставил его поклясться обеими руками: в том, что он использует паспорт, что ничего за него не заплатит, что сунет его под нос японцам, что представит им его, Рудольфа Амзеля по кличке «паспортист», тем, кем его после смерти признают в Европе все — величайшим современным художником. Что будет ежедневно о нем рассказывать. Что будет давать интервью о нем. Он родился тогда-то и тогда-то, в Академии ему стало невмоготу: самостоятельно, стоя на собственных ногах, без посторонней помощи, никому не подражая, честное слово, он поднялся на ту высоту, на которой сегодня находится.

Фишерле клялся, клялся и клялся. Паспортист заставлял его повторять за собой все слово в слово кричащим голосом. Под конец он торжественно отрекся от «Неба» и обещал пренебрегать этим грязным заведением до своего отъезда.

— «Небо» — это дерьмо! — услужливо каркал он до хрипоты. — Я буду держаться подальше от этой швали, а в Японии я открою филиал «Павиана»! Если я стану зарабатывать слишком много денег, я буду посылать вам. Зато вы не должны ничего рассказывать о моем отъезде в «Небе». С этих арестантов станется, что они приведут полицию на мою голову. Ради вас я взваливаю себе на горб фальшивый паспорт и клянусь, что я пожелал его добровольно. Знать не знаю никакого «Неба»!

Затем ему позволили сесть спать, в том же углу. Он спрыгнул со стола и засунул лучший из двух паспортов в карман, рядом с маленькими шахматами, в самое надежное место. Сначала он захрапел в шутку, чтобы подслушивать. Но вскоре он уснул в самом деле, плотно скрестив на груди руки и сунув кончики пальцев под мышки, чтобы проснуться при малейшей попытке ограбления.

В четыре часа утра, когда полагалось закрывать заведение и за стеклом мелькнуло лицо полицейского, Фишерле разбудили. Он высморкался, быстро вытрях-

нув из себя сон, и сразу взбодрился. Его оповестили о присвоении ему тем временем звания почетного члена «Павиана». Он бурно благодарил. Прибавилось много гостей, каждый желал ему счастливого пути. Раздавались возгласы во славу шахматного искусства. Его чуть не раздавили, наперебой хлопая по плечам самым доброжелательным образом. Широко улыбаясь напроказ, он поклонился во все стороны, громко крикнул: «До свиданья в Токио в новом «Павиане!»—и удалился.

На улице он приветливо здоровался со встречными полицейскими, которые держались группами и были очень насторожены. «Отныне, — сказал он себе, — я буду вежлив с полицией». «Небо», которое находилось поблизости, он обошел. Будучи доктором, он решил покончить со всеми сомнительными заведениями. Да и нельзя ему было никому показываться. Стояла еще темная ночь. Экономии ради горел лишь каждый третий газовый фонарь. В Америке — дуговые лампы. Они светят непрерывно днем и ночью. От больших денег люди там расточительны и сходят с ума. Человек, который стыдится того, что его жена — старая шлюха, там не обязан идти к ней домой. Он идет себе к Армии спасения; у нее есть гостиницы с белыми кроватями; каждый получает в личное пользование две простыни, пусть даже еврей. Почему не введут и в Европе эту блестящую комбинацию? Он постучал себя по правому карману пиджака; там он нащупал шахматы и паспорт сразу. В «Небе» ему никто не подарил бы паспорта. Там каждый думал только о себе и как ему добыть денег. «Павиан» был благороден. «Павиана» он чтит. «Павиан» присвоил ему звание своего почетного члена. Это не пустяк, там бывают первоклассные преступники! В «Небе» эти собаки живут за счет своих девок, а могли бы и сами заняться какой-нибудь работой. Он отблагодарит. Колоссальный дворец шахмат, который он построит себе в Америке, будет именоваться «Замок Павиан». Ни одна душа не узнает, что так называется один вертеп.

Под каким-то мостом он стал дожидаться наступления дня. Прежде чем сесть, он принес сухой камень. Мысленно он был одет в новый костюм, сидевший на его горбе как влитой, костюм этот в черно-белую клеточку был сшит на заказ и стоил целых два состояния. Кто не умел беречь его, тот не стоил Америки. Резких движений, несмотря на холод, он избегал. Ноги он вытянул, словно его штаны были выглажены. Время от времени он смахивал с себя

пылинку, которая без пользы светилась во мраке. Часами перед камнем на коленях стоял чистильщик обуви и наводил глянец изо всех сил. Фишерле не обращал на него внимания. Если заговорить с мальчишкой, он будет плохо работать, пусть лучше занимается своей ваксой! Модная шляпа защищала прическу Фишерле от ветра, который здесь обычно поднимался к утру. Он назывался морским бризом. По другую сторону стола сидел Капабланка и играл в перчатках.

— Вы, может быть, думаете, что у меня нет перчаток, — сказал Фишерле и вынул из кармана совершенно новую пару. Капабланка побледнел, его перчатки были поношенные. Фишерле бросил к его ногам новые и воскликнул:

— Я вызываю вас!

— Ну что ж, — сказал Капабланка, он дрожал от страха, — но вы не доктор. Я играю не с каждым.

— Я таки доктор! — спокойно возразил Фишерле и сунул ему под нос паспорт. — Прочтите, если вы умеете читать!

Капабланка признал себя побитым. Он даже заплакал и был безутешен.

— Ничто не вечно, — сказал Фишерле и похлопал его по плечу. — Сколько лет вы уже чемпион мира? Другому тоже хочется что-то урвать от жизни. Посмотрите на мой новый костюм! Разве вы один на свете?

Но Капабланка был сломлен, он выглядел стариком, лицо его было сплошь в морщинах, а перчатки лоснились.

— Знаете что, — сказал Фишерле, ему было жаль беднягу, — я дам вам одну партию фору.

Тут старик встал, покачал головой, подарил Фишерле собственноручную визитную карточку и сказал сквозь слезы:

— Вы благородный человек. Навестите меня!

Точный адрес на карточке был написан иностранными буквами, кто мог прочесть это? Фишерле мучился, каждая черточка была другой, ни одного слова не получалось.

— Научитесь читать! — крикнул Капабланка, он уже исчез, слышен был только его крик, как он громко кричал, этот обанкротившийся мошенник. — Научитесь читать!

Фишерле нужен был адрес, адрес.

— Он написан на карточке! — крикнул этот прощелыга издалека. Может быть, он не знает немецкого, вздохнул Фишерле, оставшись один, он вертел карточку в руках, он разорвал бы ее, но его заинтересовала

прикрепленная к ней фотография. Это был он сам, еще в старом костюме, без шляпы, с горбом. Карточка была паспортом, а сам он лежал на камне, над ним был старый мост, а вместо морского бриза тускло занимался день.

Он поднялся и торжественно проклял Капабланку. Это было нечестно, то, что он сейчас позволил себе. Спору нет, во сне человек может дать себе волю, но во сне узнается и истинный его характер. Фишерле дает ему партию фору — а тот устраивает это надувательство с адресом! И теперь где ему достать этот несчастный адрес?

Дома у Фишерле был крошечный карманный календарик. В нем каждые две странички на развороте были отведены тому или иному шахматному чемпиону. Стоило появиться в газете имени какого-нибудь нового гения, Фишерле по возможности в тот же день добывал все сведения о нем, от даты рождения до адреса, и заносил их в свою книжечку. При малом формате календаря и вообще-то исполински крупном почерке Фишерле это требовало более продолжительного труда, чем то вязалось с привычками пенсионерки. Она спрашивала, когда он писал, чем он там занимается, он не отвечал ни слова. Ибо в случае разрыва, с возможностью которого он, как обитатель «Неба», считался, он надеялся найти у ненавистных конкурентов по роду деятельности приют и защиту. Двадцать лет он держал свой список в строжайшей тайне. Пенсионерка полагала, что за этим кроются какие-то любовные истории. Календарик хранился в щели в полу под кроватью. Только пальчики Фишерле были в состоянии достать его оттуда. Иногда он издевался над собой и говорил: «Фишерле, какой тебе от этого толк? Ведь пенсионерка будет любить тебя вечно!» Прикасался он, впрочем, к календарикку только тогда, когда нужно было внести какую-нибудь новую знаменитость. Там они значились все, черным по белому, в том числе и Капабланка. Когда пенсионерка уйдет на работу, сегодня ночью, он возьмет свою книжечку.

Новый день начался с покупок. У докторов есть бумажник, и тот, кто покупает костюм, должен этот бумажник вынуть, иначе его поднимут на смех. До открытия магазина он извелся от хлопот. Ему требовался самый большой бумажник, кожаный, тисненый в клеточку; но цена должна быть указана на витрине. Надуть он себя не позволит. Он сравнил витрины десятка магазинов и приобрел огромный экземпляр, который поместился в его пиджачном кармане только

потому, что тот был порван. Когда дело дошло до оплаты, он отвернулся. Продавцы, заподозрив неладное, окружили его. Двое вышли за дверь, чтобы глотнуть свежего воздуха. Он запустил руку под мышку и заплатил наличными.

Под мостом он проветрил свой капитал, разгладил его тем же камнем, на котором прежде лежал, и, не сгибая купюр, вложил их в клетчатый бумажник. Туда вошло бы и больше. Купить бы его уже полным, вздохнул он, тогда он сейчас, с моим капиталом в придачу, был бы совсем толстый. Ничего, *портной-то* заметит, что в нем содержится. В одном фешенебельном ателье мод Фишерле сразу вызвал главного начальника. Явившись, тот удивленно взглянул на этого энергичного клиента. При всем его редком уродстве тот первым делом заметил ветхий костюм. Фишерле отвесил поклон рывком вверх, как он это обычно делал, и представился:

— Я чемпион по шахматам доктор Зигфрид Фишер. Вы и так узнали меня по газете. Мне нужен костюм на заказ, но чтобы готов был сегодня к вечеру. Плачу по самым высоким расценкам. Половину вы получите вперед, второй взнос при сдаче работы. Я еду с ночным поездом в Париж, меня ждут на нью-йоркском турнире. Весь мой гардероб украли в гостинице. Вы понимаете, мое время дороже платины. Я просыпаюсь, и ничего нет. Грабители работают ночью. Представьте себе ужас дирекции гостиницы! Как мне выйти на улицу? У меня нестандартная фигура, я в этом не виноват; как найти для меня подходящую одежду? Ни рубашки, ни носков, ни ботинок—а я ведь придаю элегантности такое значение! Снимайте пока мерку, я не хочу вас задерживать! По счастью, отыскали в одном притоне какого-то субъекта, уroda-горбуна, вы ничего подобного в жизни не видели; он выручил меня своим лучшим костюмом. И что вы думаете, какой у него лучший костюм? Вот этот вот! А я ведь далеко еще не так уродлив, как этот костюм. Когда я ношу свои английские костюмы, никто ничего не замечает. Я маленького роста, ничего, что поделаешь? Но английские портные—это, я вам скажу, гении, все, как один, гении. Без костюма у меня горб. Я иду к английскому портному, и горба как не бывало. Талант делает горб меньше, гений уничтожает его покоем. Жаль прекрасных костюмов! Конечно, я застрахован. При этом я еще могу сказать спасибо преступнику. Новенький паспорт, только вчера выданный, он кладет мне на тумбочку. Все остальное он уносит. Вот видите... Вы

сомневаетесь в моей личности — так, знаете, в таком костюме я порой сам думаю, что это не я. Я заказал бы сразу три, но откуда я знаю, как вы работаете? Осенью я опять приеду в Европу. Если ваш костюм окажется хорош, то вы кое-что увидите. Я к вам пришлю всю Америку! А вы назначьте мне пристойную цену, это будет хорошее предзнаменование. Имейте в виду, я рассчитываю стать чемпионом мира. Вы играете в шахматы?

С него тщательно сняли мерку. На что способен англичанин, то и нам под силу. Не нужно быть профессиональным шахматистом, чтобы знать господина доктора. Времени в обрез, но у него в распоряжении двенадцать работников, народ замечательный, он, начальник, почтет за честь лично участвовать в кройке, что он делает только для исключительных заказчиков. Как любитель игры в тарок, он ценит шахматное искусство. Мастер есть мастер, портной ли он или шахматист. Не желая навязываться, он рекомендует заказать сразу второй костюм. Ровно в двенадцать часов примерка. Ровно в восемь оба будут совершенно готовы. Ночной поезд отправляется в одиннадцать. Господин доктор успеет до этого еще развлечься. Станет ли он теперь чемпионом мира или нет, таким клиентом можно во всяком случае гордиться. В поезде господин доктор пожалеют, что не заказали второго костюма. Еще он покорнейше просит его распространить славу о своем многоуважаемом костюме в Нью-Йорке. Он назначит ему славную цену, смехотворную цену! Фактически он ничего не заработает на костюме, для такого клиента он готов трудиться из любви к искусству, а какой угодно будет материал?

Фишерле вытащил собственный бумажник и сказал: — В точности такой. В клеточку, одноцветный, удобней всего для турнира. Я предпочел бы в черно-белую клетку, как шахматная доска, но этого у вас, портных, нет. Остановимся на одном костюме! Если я буду доволен, я по телеграфу закажу из Нью-Йорка второй. Ручаюсь! Знаменитый человек выполняет обещанное. Это белье! Это белье! Приходится носить такую гадость! Белье тоже от него. Теперь скажите мне, почему такой урод перестает мыться? Вредно это, что ли? Больно от мыла? Мне — нет.

Остальная часть утра прошла в важных делах. Были куплены ярко-желтые башмаки и черная шляпа. Дорогое белье сияло новизной, насколько это позволял костюм. Беда, что белье было так мало видно. Костюмам следовало бы быть прозрачными, как у баб,

почему мужчине нельзя показать, чего он стоит? Белье Фишерле переменял в общественной уборной. Он дал на чай сторожике и спросил ее, за кого она принимает его.

— Просто за уroda, — сказала она и ухмыльнулась так грязно, как того и можно было ожидать при ее профессии.

— Вы так считаете из-за горба! — сказал Фишерле обиженно. — Он пройдет. Думаете, я таким родился? Опухоль, болезнь, что вы хотите, через шесть месяцев я снова выпрямлюсь, скажем, через пять. Как вы находите ботинки?

Тут вошел новый гость, она не ответила, ведь Фишерле уже заплатил. «Тьфу ты, черт, — подумал он, — на что мне эта старая потаскуха! Схожу-ка я выкупаюсь!»

В самом изысканном заведении он потребовал роскошный номер с зеркалом. Поскольку он заплатил, он выкупался и вправду, но расточителем он не был рожден. Добрый час он провел перед зеркалом. От ботинок до шляпы все было совершенно, старый костюм лежал на роскошном диване, кто обратит внимание на эту рвань? Рубашка теперь была накрахмаленная, синеватая, нежного оттенка, к лицу и просторная; к сожалению, при виде ее вспоминалось небо, почему, ведь море такое же синее. Подштанники удалось достать только белые, розовые были бы ему больше по вкусу. Он подергал подвязки, туго ли они прилегают. У Фишерле тоже есть икры, и не такие уж кривые, а подвязки из шелка, с гарантией. В номере нашелся плетеный столик. На такие в первоклассных меблированных комнатах ставят обычно пальмы. Здесь этот столик был придачей к купанью. Богатый клиент пододвинул его к зеркалу, извлек из кармана презренного пиджака шахматы, уселся поудобнее и выиграл блиц-партию у себя самого.

— Если бы вы были Капабланкой, — закричал он на себя в сердцах, — я за это же время побил бы вас уже шесть раз! У нас в Европе это называют поддавки! Идите просить милостыню с вашим носом! Вы думаете, я боюсь. Раз, два — и вам конец. Эх вы, американец! Эх вы, паралитик! Знаете, кто я? Доктор! Я учился! Для шахматной игры нужно, чтобы варила голова. И такое барахло было чемпионом мира!

Затем он быстро собрался. Столик он оставил. В «Замке Павиан» таких у него будут десятки. На улице он уже не знал, что купить. Пакет со старьем под мышкой походил на бумагу. В первом классе ездят с поклажей. Он купил корзинный баул. Там теперь

одинок плавало то, чем он прежде прикрывал свое тело. Он сдал его в камеру хранения ручной клади. Служащий сказал:

— Пустой!

Фишерле высокомерно посмотрел на него снизу вверх.

— Вы были бы рады, если бы он был ваш!

Он стал изучать расписание. В Париж было два ночных поезда. Насчет одного он еще смог прочесть, другой значился слишком высоко для него. Какая-то дама оказала ему помощь. Она была не бог весть как одета. Она сказала:

— Вы же свихнете себе шею, маленький. Какой поезд вам нужен?

— Меня зовут доктор Фишер, — ответил он, глядя сверху вниз; она просто не понимала, как это у него получается. — Я еду в Париж. Обычно я езжу с поездом в час пять, знаете ли, вот с этим. Говорят, есть другой, раньше.

Поскольку она была всего-навсего женщиной, он умолчал об Америке, о турнире и о своей профессии.

— Вы имеете в виду одиннадцатичасовой, видите, вот этот! — сказала дама.

— Благодарю вас, сударыня!

Он демонстративно отвернулся. Ей стало стыдно. Хорошо разбираясь в гамме сострадания, она поняла, что взяла неверную ноту. Он заметил ее подобострастность, она была из какого-нибудь «Неба», ему хотелось бросить ей какое-нибудь ругательство, он узнал ее. Но тут он услышал грохот подъезжающего паровоза и вспомнил, что он на вокзале. Часы показывали двенадцать. Он теряет свое драгоценное время с бабами. Через тринадцать часов он будет на пути в Америку. Из-за календарика, о котором он, несмотря на все новости, не забывал, он выбрал более поздний поезд. Ради костюма он нанял автомобиль.

— Мой портной ждет меня! — сказал он в пути шоферу. — Сегодня ночью я еду в Париж, а завтра утром в Японию. Вы представляете себе, как мало времени у доктора!

Шоферу эта поездка была неприятна. У него было такое чувство, что карлики не дают чаевых, и он отомстил заранее:

— Вы не доктор, сударь, вы шарлатан!

Шоферов в «Небе» было сколько угодно. Играли они слабо, если вообще играли. Я прощу ему оскорбление, потому что он не смыслит в шахматах, подумал

Фишерле. В сущности, он был рад, потому что таким образом сэкономил на чаевых.

Во время примерки горб опал. Коротышка сперва не поверил зеркалу и пощупал рукой, действительно ли он стал гладким. Портной скромно отвел глаза.

— Знаете что! — воскликнул Фишерле. — Вы родились в Англии! Если хотите, я побьюсь об заклад. Вы родились в Англии!

Наполовину портной это признал. Он хорошо знает Лондон, не то чтобы он родился в Лондоне, но во время свадебного путешествия он там чуть не остался, большая конкуренция...

— Это только примерка. К вечеру его не будет, — сказал Фишерле и погладил себя по горбу. — Как вы находите шляпу?

Портной был в восторге. Цену он нашел возмутительной, фасон — модным. И от души посоветовал обзавестись подходящим пальто.

— Живем только один раз, — сказал он. Фишерле согласился с ним. Он выбрал цвет, который примирял желтизну ботинок с чернотой шляпы — ярко-синий.

— Кроме того, моя рубашка того же тона.

Портной снял шляпу перед таким обилием вкуса.

— Господин доктор носят все рубашки одного цвета и фасона, — обратился он к нескольким стоявшим на подхвате работникам и объяснил им особенности этого знаменитого человека.

— Вот каким образом проявляет себя блистательный феникс. Истинные характеры встречаются редко. По моему скромному мнению, игра укрепляет в человеке консервативное начало. Тарок ли, шахматы ли, они одинаково верны себе. У делового человека есть твердокаменные убеждения, он непоколебим. Он становится высшим воплощением покоя. После дневных трудов покой приятен. И у самой счастливой семьи есть в жизни свои границы. На благородное застолье друзей наш отечески строгий господь бог смотрит сквозь пальцы. От любого другого я потребовал бы за пальто задаток. При вашем характере я не посмею обидеть вас.

— Да, да, — сказал Фишерле, — моя будущая жена живет в Америке. Я не видел ее целый год. Это профессия, несчастная профессия! Турниры — это сумасшествие. *Здесь* делаешь ничью, *там* выигрываешь, чаще всего выигрываешь, скажем лучше — всегда, будущая истосковалась. Пусть ездит со мной, скажете вы. Вам легко говорить. Она ведь из семьи миллионеров. «Выйти замуж! — говорят родители. — Выйти за-

муж или сидеть дома! А то он тебя бросит, и мы будем опозорены». Я не против женитьбы, в приданое она получит ни больше ни меньше, как набитый вещами замок, но только когда я стану чемпионом мира, не раньше. Она выйдет замуж за мое имя, я женюсь на ее деньгах. Просто взять деньги я не хочу. Итак, до свидания, до восьми!

Раскрывая свои марьяжные планы, Фишерле скрывал глубокое впечатление, которое произвело на него описание его характера. До сих пор он не знал, что у мужчин бывает больше одной рубашки сразу. У его бывшей жены, пенсионерки, было их три, да и те с недавнего времени. Господин, приходивший к ней каждую неделю, не хотел видеть всегда одну и ту же рубашку. В один из понедельников он заявил, что ему это обрыдло, вечный красный цвет действует ему на нервы. Неделя только начинается, а он уже в полном расстройстве, дела идут скверно. Он имеет право требовать за свои деньги чего-то порядочного. Есть еще и его жена. Ну и что ж, что она худая? Она как-никак баба. Жену он в обиду не даст. Она мать его детей. Он повторяет: если в следующий понедельник ему опять покажут эту вечную рубашку, он откажется от такого удовольствия. Солидные мужчины — это, мол, редкость. Потом все пошло на лад. Час спустя он чувствовал себя умиротворенно. Перед уходом он опять ругался. Когда Фишерле пришел домой, жена стояла посреди каморки совершенно голая. Скомканная красная рубашка лежала в углу. Он спросил, что она делает. «Я плачу, — сказала эта смешная фигура, — он больше не придет». — «Чего он хочет? — спросил Фишерле. — Я побегу за ним вдогонку». — «Рубаха его не устраивает, — заняло это жирное пугало, — ему нужна новая». — «И ты не пообещала! — завизжал Фишерле. — На что тебе дан язык!» Как сумасшедший, бросился он вниз по лестнице. «Господин! — закричал он на улице. — Господин!» Фамилии господина никто не знал. Наудачу он побежал дальше и налетел на фонарь. Как раз тут господин справлял нужду, о которой забыл наверху. Фишерле подождал, пока тот не кончил. Затем он не обнял его, хоть и нашел, а сказал: «Каждый понедельник у вас будет новая рубашка. Это гарантирую вам я! Она — моя жена. Я могу делать с ней что хочу. Окажите нам снова честь в следующий понедельник!» — «Я постараюсь что-нибудь для вас сделать», — сказал господин и зевнул. Чтобы никто не узнал его, он проделывал далекий путь. На следующий день, во вторник, пенсионерка купила себе две новые рубашки,

зеленую и лиловую. В понедельник пришел господин. Он сразу посмотрел на рубашку. На ней была зеленая. Сперва он со злостью спросил, не перекрашенная ли это старая, его не проведешь, он прекрасно все видит. Она показала ему другие рубашки, и он был очень доволен. Лиловая понравилась ему больше, но милее всего была ему красная, потому что она напоминала ему о начальной поре. Так Фишерле спас жену от беды своей расторопностью. А то она умерла бы с голоду в эти ненадежные времена.

Думая о маленькой каморке и слишком большой жене, он решил отказаться от календаря. Возможно, он застанет ее дома. Она горячо любит его. Возможно, она его не отпустит. Когда она говорила «нет», она начинала кричать и становилась перед дверью. Нельзя было ни пролезть, ни оттолкнуть ее в сторону, она была шире, чем дверь. Да и голова у нее была тупая: втемяшив себе что-нибудь в башку, она забывала о деле и оставалась дома всю ночь. Тут немудрено опоздать на поезд и приехать в Америку слишком поздно. Адрес Капабланки можно с таким же успехом узнать в Париже. Если там никто не знает его, придется спросить в Америке. Миллионеры знают все. Возвращаться в каморку Фишерле не хотелось. Под кровать, впрочем, он с удовольствием слазил бы на прощанье, потому что там была колыбель его карьеры. Там он ставил ловушки и побивал чемпионов, молнией перелетая с поля на поле, там царил тишина, какой не бывает в кофейнях, противники играли там хорошо, потому что он сам был своим противником, — в «Замке Павиан» он построит себе точно такую же каморку с такой же кроватью для умных ходов, никто, кроме него, не посмеет залезать под нее. От прощанья он откажется. Всякие чувства ничего не стоят. Кровать есть кровать. Он и так прекрасно помнит ее. Зато он купит теперь еще одиннадцать таких рубашек, все синие. Кто сумеет отличить одну от другой, тот получит приз. Портной кое-что смыслит в характерах; насчет тарока пусть помолчит. Игра для ослов.

Со своим пакетом он отправился опять на вокзал, получил баул и вложил в него рубашки одну за другой. Презрение служащего перешло в почтение. «Еще одну такую дюжину, — подумал владелец рубашек, — и он с ума сойдет». Когда Фишерле взял в руку запертый баул, тот чуть не потянул его в готовый к отправлению поезд. Служащий избавил его от такого соблазна. У особого окошка, открытого каким-то туристским бюро для иностранцев, Фишерле на ломаном немецком языке

потребовал билет первого класса до Парижа. Его прогнали. Он сжал кулаки и заверещал:

— Что ж, в наказание я поеду вторым классом, и убыток понесет железная дорога! Погодите, я приду в своем новом костюме!

В действительности он не был зол. Он и правда не походил на иностранца. У вокзала он наскоро съел несколько горячих сосисок.

— Я мог бы пойти в ресторан с отдельными кабинетами, — сказал он продавцу сосисок, — и выложить кучу денег на белые скатерти, мой бумажник позволяет мне это, — он сунул его под нос не поверившему ему торговцу, — но я ценю не еду, а ум!

— С такой головой, еще бы! — ответил тот. Он сам обладал детской головкой при грузном туловище и завидовал всем, у кого голова была больше.

— Знаете, что находится в ней? — сказал Фишерле, расплываясь. — Весь курс наук и языки, скажем, шесть!

После полудня он сел заниматься американским языком. В книжных магазинах ему пытались всучить учебники английского.

— Господа, — балагурил он, — перед вами не дурак. У вас — свой интерес, у меня — свой...

Служащие и владельцы уверяли, что в Америке говорят по-английски.

— Английский я знаю, я имею в виду нечто особое.

Убедившись, что ему везде говорят одно и то же, он купил книгу с распространенными английскими выражениями. Она досталась ему за полцены, потому что этот книготорговец, кормившийся во всех отношениях Карлом Маем, остальным торговал лишь между делом и забыл о собственных интересах, ужаснувшись опасностей пустыни Такла-Макан, которую собирался пересечь такой карлик, вместо того чтобы ехать по железной дороге через Сибирь или морским путем через Сингапур.

Сев на скамейку, смелый исследователь сунул свой нос в начальный курс. Там были сплошь такие новости, как «Солнце светит» или «Жизнь коротка». К сожалению, оно и в самом деле светило. Стоял конец марта, и оно еще не жгло. А то бы Фишерле поостерегся приближаться к нему. С солнцем у него был печальный опыт. Оно было горячим, как лихорадка. В «Небе» оно никогда не светило. Для шахмат человек делался от него слишком глупым.

— Я тоже знаю английский! — воскликнула какая-то дура возле него. У нее были косы, и было ей лет

четырнадцать. Он не отозвался и продолжал читать новости вслух. Она подождала. Через два часа он захлопнул учебник. Тогда она взяла книгу, словно была знакома с ним двадцать лет, и спросила урок, на что пенсионерке таланта никак не хватило бы. Он запомнил все слова.

— Сколько лет вы учитесь?—спросила малолетка. — Мы еще не дошли до этого, я учусь только второй год.

Фишерле поднялся, потребовал назад свою ответственность, бросил на нее злобный, уничтожающий взгляд и закричал, протестуя:

— Я отказываюсь от знакомства с вами! Знаете, когда я начал? Ровно два часа назад.

С этими словами он покинул оставшееся на скамейке существо.

К вечеру он усвоил содержание этой тонкой книжки. Он сменил много скамеек, потому что люди непрестанно проявляли к нему интерес. Из-за бывшего ли горба или из-за зубрежки вслух? Поскольку горб был при последнем издыхании, он выбрал второе. Если кто-нибудь приближался к его скамье, он кричал уже издали:

— Не мешайте мне, умоляю вас, я завтра провалюсь на экзамене, какая вам от этого польза, будьте человеком!

Но никто не мог устоять. Его скамейки заполнялись, прочие оставались пусты. Люди слушали его английскую речь и желали ему всяческого успеха на экзамене. Одна учительница влюбилась в его прилежание и следовала за ним до конца парка, от скамейки к скамейке. Она, мол, равнодушна к карликам, она любит собак, но только карликовых пинчеров, несмотря на свои тридцать шесть лет, она еще не замужем, она преподает французскую разговорную речь, которую она готова обменять на его английскую, любовь она не ставит ни в грош. Фишерле долго держал свое мнение при себе. Вдруг она назвала свою квартирную хозяйку продажной тварью и стала ругать накрашенные губы, пудра—еще куда ни шло. Тут уж ему стало невмоготу, ненамазанная женщина—интересно, как она представляет себе деловые отношения?

— Сейчас вам только сорок шесть, и вы уже так говорите, — зашипел он, — что же вы скажете в пятьдесят шесть?

Учительница удалилась. Она нашла его необразованным. Не все люди впадали в обиду. Большинство было радо поучиться у него безвозмездно. Один завистливый

старик поправлял его, упорно повторяя: в Англии произносят *не* так, в Англии произносят *так*.

— Я произношу это по-американски! — сказал Фишерле и повернулся к нему горбом. Все признали его правоту. Люди презирали старика, путавшего английский с американским, каждый расширил свои познания. Когда этот нахал, которому наверняка было под восемьдесят, пригрозил полицией, Фишерле вскочил и сказал:

— Да, я сейчас приведу ее!

Тут старик, дрожа, заковылял прочь.

Вместе с солнцем постепенно уходили и люди. Несколько мальчишек, столпившись, ждали, чтобы исчез последний взрослый. Внезапно они окружили скамейку Фишерле и хором заорали по-английски. Они выли «джем», а имели в виду «жид». До своей готовности к отъезду Фишерле боялся мальчишек, как чумы. Сейчас он бросил книгу, влез на скамейку и своими длинными руками принялся дирижировать хором. Сам он, вторя ему, пел то, что только что выучил. Мальчишки вопили, он вопил громче, новая шляпа дико плясала на его голове.

— Быстрее, господа! — каркал он, подгоняя их, мальчишки бесновались и стали вдруг взрослыми. Они посадили его себе на плечи.

— Господа, что вы делаете?

Еще несколько таких «господ», и они выросли окончательно. Они подпирали его ботинки, они защищали его горб, трое сцепились из-за учебника только потому, что книга принадлежала ему, один схватил его шляпу. То и другое они торжественно несли впереди, он качался следом на хилых плечах, он не был ни жидом, ни уродом, а был тонкой штучкой и знал толк в вигвамах. До самых ворот парка принадлежал им этот благородный герой. Он позволял трясти себя и был очень тяжел. За воротами они, к сожалению, ссадили его. Они спросили его, придет ли он сюда завтра опять. Он не разочаровал их.

— Господа, — сказал он, — если я не буду в Америке, то буду у вас!

В волнение и спешке они разбежались. Дома большинство их уже ждала порка.

Фишерле медленно побрел по улице, на которой его ждали костюм и пальто. С тех пор как он знал, что поезд уходит ровно в одиннадцать, он придавал большое значение точности и обещаниям. К портному, казалось, было еще рано идти; он свернул в переулок, зашел в незнакомую кофейню, где от пестрых баб на

него пахнуло чем-то родным, и от восторга перед своим блестящим английским выпил хорошую рюмку водки. Он сказал: «Thank you!»¹, бросил деньги на стойку, выходя, повернулся только в дверях, где кричал «Good-bye!»² до тех пор, пока это не услышали все, и из-за этой задержки угодил в объятия паспортисту, от которого иначе ушел бы.

— Откуда у тебя новая шляпа?! — спросил тот, удивляясь карлику не меньше, чем его новой шляпе, ибо встретил в этих краях уже третьего клиента.

— Тсс! — прошептал Фишерле, приложил палец к губам и указал куда-то назад, в кофейню. Чтобы предотвратить дальнейшие вопросы, он протянул к нему левый ботинок и сказал: — Я снаряжился в дорогу.

Паспортист понял и промолчал. Чистая работа при свете дня и перед путешествием через весь мир ему импонировала. Ему было жаль коротышки, которому предстояло ехать без денег до самой Японии. Какую-то долю секунды он подумал о том, чтобы сунуть ему несколько крупных банкнотов, дела шли хорошо. Но паспорт и банкноты — это было чересчур.

— Если в каком-нибудь городе ты окажешься в безвыходном положении, — сказал он больше для себя, чем коротышке, — ступай прямо к чемпиону по шахматам. Там тебе что-нибудь да перепадет. У тебя же есть адреса? Без адресов художнику крышка. Смотри не забудь адреса!

Этого вскользь брошенного совета оказалось достаточно, чтобы вернуть Фишерле к щели под его кроватью. Было неблагодарностью смяться, не попрощавшись. Кровать не отвечает за глупую женщину. С карманным календарем художник не расстается. Поезд в 1.05 идет тоже точно по расписанию. Ровно в восемь он явился к портному. Костюм был сработан как великолепная комбинация. То, что еще осталось от горба, исчезло под пальто. Мастера поздравили друг друга, каждый похвалил искусство другого.

— Wonderful!³ — сказал Фишерле и прибавил: — А ведь есть люди, которые не знают даже английского. Я знаю одного такого. Он хочет сказать «thank you» и говорит «дзенку».

Портной, в свою очередь, был любителем hamandeggs⁴. Позавчера он зашел в ресторан, а официант не понял его.

¹ Спасибо! (англ.)

² Прощайте! (англ.)

³ Чудесно! (англ.)

⁴ Яичницы с ветчиной (англ.).

— При этом «three» — это «три», а «nose» — это «нос», — подхватил заказчик. — Теперь я вас спрашиваю — есть ли язык более легкий? Японский куда труднее!

— Позвольте мне, пользуясь случаем, признаться, что с первого же взгляда на очертания фигуры при вашем появлении в дверях я угадал в вас безупречного знатока языков; я полностью разделяю ваше убеждение в неискоренимых трудностях словарного состава японского языка. Завистливая молва говорит о десятках тысяч разных букв. Окиньте взглядом вопиющий инвентарь обычных японских газет. Служба рекламы не вышла из пеленок, находясь на низком уровне. Язык создает непредвиденные бактерии болезни в деловой жизни экономики. Мы страдаем от всеобъемлющего подъема ради процветания дружественного народа. Мы приняли обоснованное участие в бесплодных усилиях, с тех пор как рана неизбежной войны на Дальнем Востоке находится в стадии скорого заживления.

— Вы совершенно правы, — сказал Фишерле, — и я не забуду вас. Поскольку мой поезд отправится уже скоро, давайте расстанемся друзьями на всю жизнь.

— До холодной могилы отцов, — добавил портной и обнял будущего чемпиона мира. Когда на устах появилась «могила отцов» — а у него было много детей, — его охватывали волнение и страх. Борясь со смертью, он крепко прижал к себе доктора. Одна пуговица нового пальто оказалась задета и оторвалась. На Фишерле напал смех; ему вспомнился его прежний служащий, «слепой» пуговичник. Портной, оскорбленный в самых святых своих чувствах, потребовал немедленного объяснения.

— Я знаю одного человека, — прыскал коротышка, — я знаю одного человека, который ненавидит пуговицы. Его бы воля — он сожрал бы все пуговицы, чтобы их не осталось на свете. Что бы вы делали тогда, господа портные, подумал я сейчас. Вы не согласны?

Тут обиженный забыл о своем будущем в могиле отцов и оглушительно рассмеялся. Собственноручно пришивая пуговицу, он то и дело обещал послать эту замечательную идею в какой-нибудь юмористический журнал на любезное рассмотрение. Он шил медленно, чтобы смеяться в компании. Он все делал в компании, даже слезы не доставляли ему, когда он бывал один, настоящего удовольствия. Он от души сожалел об отъезде господина доктора. В его лице он теряет лучшего друга, ибо то, что они стали бы лучшими

друзьями, так же верно, как то, что дважды два — четыре во веки веков. Они расстались на «ты». Мастер стал в дверях и долго глядел ему вслед. Вскоре черты складного карлика — все дело в душе — скрылись за очертаниями выдающегося пальто, из-под которого с благодушной выглядывали штаны замечательного костюма.

Свой старый костюм, хорошо упакованный, Фишерле взял с собой на вокзал. В третий раз появился он в зале, одетый с иголки, благодушный, помолодевший. С королевским равнодушием он протянул двумя пальцами, средним и указательным, квитанцию служащему и потребовал свой «новый плетеный баул». Уважение служащего перешло в почтение. Теми рубашками урод, наверно, торговал, а это изящество он носил на собственном теле. Положив обеими руками пакет в баул, он заявил:

— Оставим завернутым! Разворачивать было бы безумно.

У окошка для иностранцев он спросил по-немецки и резко:

— Могу я получить здесь билет первого класса до Парижа или нет?

— Разумеется! — заверил его тот же кассир, который прогнал его несколько часов назад. Из этого Фишерле по праву и с гордостью заключил, что его уже нельзя узнать.

— Долго же у вас копаются, господа! — пожаловался он с английским выговором, еще держа свой учебник под мышкой. — Надо надеяться, ваши поезда ходят быстрее!

Желает ли он спальный вагон, свободные места еще есть.

— Пожалуйста. На поезд в 1.05. Можно положить-ся на расписание?

— Разумеется. Мы находимся в одном из старых культурных центров.

— Я знаю. К скорым поездам это не имеет никакого отношения. У нас в Америке на первом месте дело. Business, если вы настолько знакомы с английским.

Крикливость, с какой этот коротенький господин показывал полный, в клетку, бумажник, утвердила служащего в убеждении, что перед ним американец, и в беспредельном благоговении, причитавшемся таковому.

— Я отказываюсь от этой страны! — сказал Фишерле, после того как он заплатил и спрятал билеты в клетчатый бумажник. — Меня здесь надули. Со мной обращались как с уродом, а не как с американцем.

Благодаря моему блестящему знанию языков мне удалось перечеркнуть планы моих врагов. Знаете ли вы, что меня затаскивали в притоны разврата? Хорошие шахматисты у вас есть, это единственное, что я могу признать. Всемирно известный парижский психиатр, профессор Кин, мой близкий друг, такого же мнения. Меня держали в плену под кроватью и, угрожая смертью, вымогали у меня огромный выкуп. Я заплатил, но ваша полиция вернет мне сумму втрое большую. Необходимые дипломатические шаги уже сделаны. Культурный центр—это недурно!

Не попросившись, он отвернулся. Твердо шагая, он вышел из зала. На его губах дрожала презрительная усмешка. Ему говорят о культурном центре! Ему, который родился здесь и никогда еще не покидал этого города; ему, который знал наизусть все шахматные газеты, который первым в «Небе» читал любой иллюстрированный журнал и выучил в один присест английский язык! После этого своего успеха он уверился в легкости овладения всеми языками и решил в свободное время, которое ему оставят в Америке его обязанности чемпиона мира, изучать по два языка в неделю. За год это составит шестьдесят шесть, больше языков и не нужно, зачем, на диалекты ему наплевать, их и так знаешь.

Было nine o'clock¹, большие часы у вокзала шли по-английски. В десять запирают подъезды. Встречи с дворником лучше всего избежать. Путь к обветшавшему доходному дому, где Фишерле потерял, увы, двадцать лет у одной шлюхи, продолжался сорок минут, forty minutes. Без излишней поспешности он направил по этому пути свои желтые башмаки. То и дело он останавливался и под газовым фонарем искал в учебнике фразы, которые он мысленно произносил по-английски. Они всегда оказывались верны. Он называл предметы и обращался к людям, которые ему встречались, но тихо, чтобы они не задерживали его. Он знал еще больше, чем то воображал прежде. Через двадцать минут, не встречая уже ничего нового, он предоставил дома, улицы, фонари и собак самим себе и сел за английскую партию в шахматы. Ее он растянул до замызанного доходного дома. Перед подъездом он выиграл ее и вошел в парадное. Его бывшая жена действовала ему на нервы, просто сил не было. Чтобы не угодить ей в руки, он спрятался за лестницей. Там можно было расположиться удобно. Он стал сверлить

¹ Девять часов (англ.).

глазами перила. Перила и так обладали великолепными дырами. При желании он мог забаррикадировать лестницу своим носом. До десяти часов он не шелохнулся. Дворник, опустившийся сапожник, запер парадное и трясушимися руками погасил свет на лестнице. Когда тот исчез в своей убогой квартире — та была едва ли вдвое вместительнее жены Фишерле, — он тихонько проверещал: «How do you do?» Услыхав чей-то звонкий голос, сапожник подумал, что за дверью стоит и ждет, впускают ли ее, какая-то баба. Все было тихо. Он ошибся, кто-то прошел мимо по улице. Он вошел внутрь и, распаленный этим голосом, лег спать рядом со своей бабой, к которой не прикасался уже несколько месяцев.

Фишерле ждал появления пенсионерки — придет ли она домой или выйдет из дому. Как человек умный, он, конечно, узнает ее по спичке, которую та всегда поднимает высоко вверх, будучи, как ни одна другая шлюха, завзятой курильщицей. Лучше бы она уходила из дому. Тогда он прокрался бы наверх, достал бы из-под кровати календарик, попрощался бы со своей колыбелью, — там лежал он в мечтах, когда был еще маленьким уродцем, — выбежал бы из дому и поехал на такси на вокзал. Наверху он нашел бы свой ключ от парадного, который напоследок зашвырнул в угол, разозлившись на ее дурацкую болтовню, тогда ему было лень поднимать его. Если она придет, вместо того чтобы выйти, то приведет с собой гостя. Надо надеяться, он пробудет недолго. В худшем случае доктор Фишер проберется в каморку, как во время оно Фишерле. Если жена услышит его, она промолчит, а то расвирепеет ее клиент. Прежде чем она сможет заговорить, Фишерле исчезнет. Ведь зачем живет на свете такая женщина? Либо она лежит с кем-то в постели, либо она ни с кем не лежит в постели. Либо она выманивает у человека его деньги, либо она отдает эти деньги другому. Либо она старая — тогда тебя от нее уже воротит, либо она молодая — тогда она еще глупее. Если она даст тебе пожрать, то за это она изведет тебя, если она ничего не зарабатывает, то иди вытаскивай для нее гребенки из карманов. Тьфу, пропасть! Каково же тут искусству? Мужчина нормального сложения делает ставку на шахматы. В процессе ожидания Фишерле выпячивал грудь. Ведь кто знает, как будет завтра выглядеть спинка пиджака и пальто, горб может растянуть их.

Целую вечность никто не появлялся. С кровельного лотка во дворе капало. Все капли текут в океан. На

океанской громадине отплывает в Америку доктор Фишер. В Нью-Йорке десять миллионов жителей. Население—в радостной суматохе. На улице люди целуются и кричат: ура! ура! ура! Приветственно развешаются сто миллионов носовых платков, к каждому пальцу каждый житель привязывает по платку. Иммиграционные власти испаряются. О чем им расспрашивать? Депутация нью-йоркских проституток кладет к его ногам свои «Небеса». Это там тоже есть. Он благодарит. Он человек с высшим образованием. Самолеты пишут в воздухе «Д-р Фишер». Почему не делать ему рекламы? Он стоит больше, чем моющее средство «Персиль». Тысячи людей падают из-за него в воду. Надо спасти их, велит он, у него мягкое сердце. Капабланка бросается ему на шею. «Спасите меня!»—шепчет он. Среди этого шума даже сердце Фишерле, к счастью, остается глухим. «Убирайтесь!»—кричит он и толкает его. Капабланку раздирает на части остервенелая толпа. С какого-то небоскреба палят пушки. Президент Соединенных Штатов подает ему руку. Его будущая показывает ему свое приданое черным по белому. Он берет его. Полно подписных листов для «Замка Павиан». На всех небоскребах. Идет подписка на заем. Он учреждает школу для молодых дарований. Они наглеют. Он выдворяет их. На втором этаже бьет одиннадцать. Там живет одна восьмидесятилетняя женщина, со своими допотопными часами. Через 2 часа 5 минут отправится в Париж спальный вагон.

На цыпочках поднимается Фишерле по лестнице. Так долго жена не может отсутствовать. Наверняка она лежит под каким-нибудь гостем. Перед камеркой на четвертом этаже он останавливается и слышит голоса. Света сквозь щели не видно. Поскольку он презирает жену, он ничего не разбирает в ее речи. Он снимает новые башмаки и становится на первую ступеньку лестницы, поближе к Америке. Новую шляпу он кладет сверху и любит ее, еще более черной, чем темнота. С английским учебником он не расстанется, его он прячет в карман пальто. Он тихо открывает дверь, в этом у него есть навык. Голоса продолжают говорить—громко и об обидах. Оба сидят на кровати. Дверь он так и оставляет открытой и крадется к щели. Сперва он сует туда нос: календарь на месте, он пахнет керосином, в котором плавал однажды несколько месяцев назад. «Честь имею!»—думает Фишерле и склоняется перед столькими художниками от шахмат. Затем он указательным пальцем правой руки подвигает календарь к концу щели и выковыривает его; календарь у

него. Левой рукой он закрывает себе рот, чтобы не рассмеяться. Ибо гость наверху говорит в точности как пуговичник. Он точно помнит, как лежал календарь, где его конец, где начало, и просто на ощупь записывает себя на последние пустые страницы. Писать так мелко оказывается гораздо труднее, чем раньше. Поэтому «доктор» приходится на одну страницу, «Фишер» — на вторую, «Нью» — на третью, а «Йорк» — на четвертую. Точный адрес он запишет позднее, узнав, где находится «Замок Павиан» его будущей. Он еще слишком мало занимался этой женитьбой.хлопоты о капитале, паспорте, костюме и билете отняли у него много драгоценных дней. В носу у него еще стоит запах керосина. «Darling!» — говорит миллионерша и тербит его за нос, она любит длинные носы, коротких она терпеть не может, что это за нос? — говорит она, когда они гуляют вдвоем по улице, все ей слишком коротки, она красивая, у нее американский вид, она блондинка, как в кино, очень рослая, голубоглазая, ездит только в собственных автомобилях, трамваев она боится, там стоят уроды и карманщики, они могут вытащить у тебя из кармана миллионы, жаль таких денег, что она знает о его прежнем уродстве в Европе?

— Урод и дерьмо — это одно и то же! — говорит мужчина на кровати. Фишерле смеется, потому что он уже не урод, и рассматривает одетые ноги гостя. Ботинки прижаты к полу. Если бы он не знал, что у пуговичника на руках двадцать грошей и ни полушки больше, он поклялся бы, что это он и есть. Бывают двойники. Теперь он говорит о пуговицах. Почему бы нет? Хочет, наверно, чтобы жена пришила ему пуговицу. Нет, он сошел с ума, он говорит:

— На, подавись!

— Дай ему, пускай подавится, — говорит жена.

Мужчина встает и идет к открытой двери.

— Я тебе говорю, он в доме!

— Так поищи его, *я-то* при чем?

Двойник захлопывает дверь и начинает ходить взад и вперед. Страха у Фишерле нет. На всякий случай он отпוזляет в сторону двери.

— Он под кроватью! — кричит жена.

— Вот оно что! — рычит двойник.

Четыре руки вытаскивают карлика из-под кровати; две хватают его за горло и за нос.

— Меня зовут Йоганн Швер! — представляется кто-то в темноте, отпускает нос, но не горло и рычит: — На, подавись!

Фишерле берет пуговицу в рот и пытается сделать

глотательное движение. На миг рука отпускает его горло, и он проглатывает пуговицу. В тот же миг рот Фишерле пытается ослабиться, и он совершенно безобидно пыхтит:

— Это же моя пуговица!

Тут эта рука снова хватается его за горло и душит. Чей-то кулак проламывает ему череп.

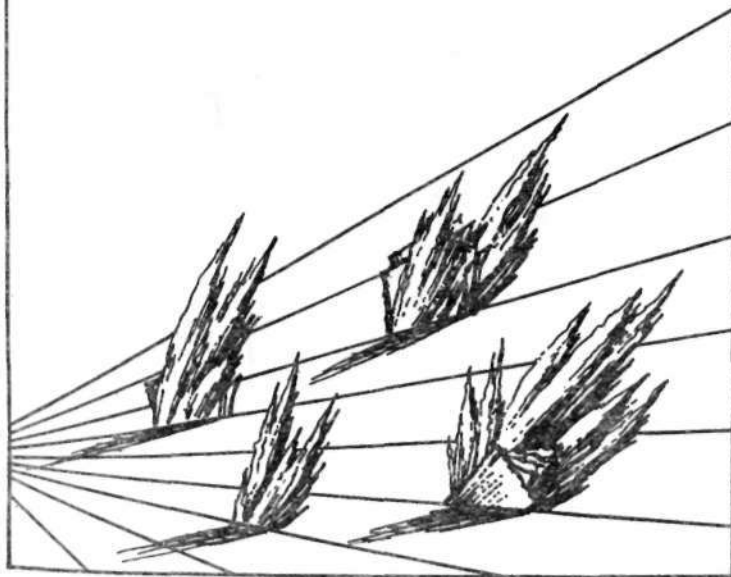
«Слепой» бросает его на пол и берет со стола в углу каморки нож для хлеба. Им он кромсает костюм и пальто Фишерле и отрезает у него горб. За этой тяжелой работой он покряхтывает, нож у него слишком тупой, а зажигать свет он не хочет. Пенсионерка наблюдает за ним и одновременно раздевается. Она ложится на кровать и говорит:

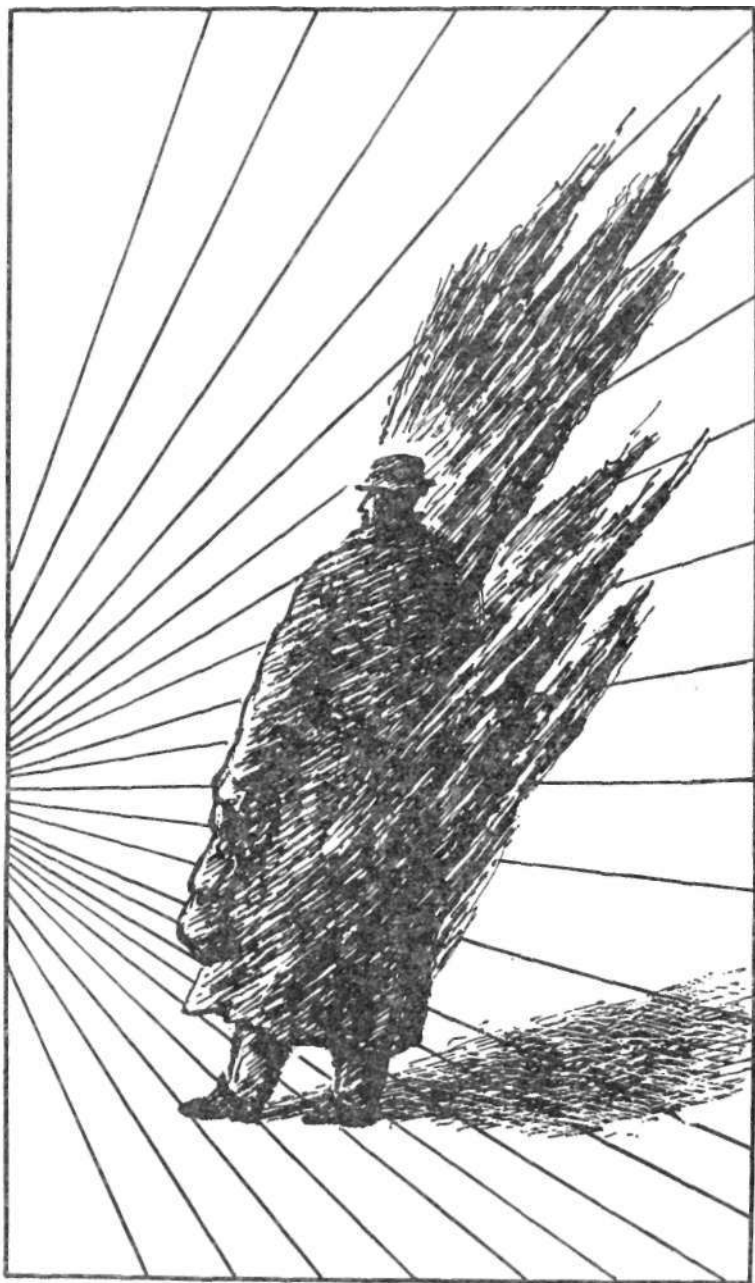
— Иди сюда!

Но он еще не кончил. Он заворачивает горб в доскутья от пальто, плюет на сверток несколько раз и оставляет его на месте. Труп он запикивает под кровать. Затем он бросается на женщину.

— Никто ничего не слышал, — говорит он и смеется. Он устал, но женщина толстая. Он любит ее всю ночь.

Часть третья
МИР В ГОЛОВЕ





ДОБРЫЙ ОТЕЦ

Квартира привратника Бенедикта Пфаффа состояла из довольно большой темной кухни и маленькой белой клетушки, куда прежде всего и входили с площадки. Сначала семья, насчитывавшая пять членов, спала в большей комнате, жена, дочь и трижды он сам, он — полицейский, он — муж, он — отец. Кровати супругов были, к его частому возмущению, одинаковой ширины. За это он заставлял дочь и жену спать вместе в одной кровати, другая принадлежала ему одному. Себе он подстилал матрац конского волоса, не от изнеженности, а из принципа. Деньги в дом приносил он. Уборка всех лестниц была обязанностью жены, отпирать подъезд, ночью, когда кто-нибудь звонил, обязана была, с десятилетнего возраста, чтобы отучалась от трусости, дочь. Доходы от этих двух видов услуг поступали к нему, потому что он был привратник. Время от времени он разрешал им заработать какие-нибудь пустяки на стороне, обслуживая или стиркой. Так они хотя бы чувствовали на собственной шкуре, как тяжело приходится работать отцу, который содержит семью. За едой он называл себя сторонником семейной жизни, ночью он издевался над стареющей женой. Свое право на применение телесных наказаний он осуществлял, как только приходил со службы. О дочь он тер свои рыжеватые кулаки с истинной любовью, женой он пользовался для этого реже. Все свои деньги он оставлял дома, счет всегда сходил, пересчитывать ему не нужно было, ибо когда однажды счет не сошелся, жене и дочери пришлось ночевать на улице. В общем, он был счастлив.

Тогда готовили пищу в белой клетушке, которая служила и кухней. При его утомительной профессии, при непрестанной мускульной готовности, в какой он пребывал днем и видел сны ночью, Бенедикту Пфаффу требовалась обильная, питательная, тщательно приго-

товленная и поданная на стол еда. В этом отношении он уже никаких шуток не признавал, и если жена доводила дело до побоев, то виновата была она сама, чего он отнюдь не утверждал относительно дочери. С годами голод его возрастал. Он нашел, что для хорошей стряпни клетушка мала, и велел перевести кухню в заднюю комнату. Он встретил—в виде исключения—сопротивление, но его воля была непреодолима. С тех пор все трое жили и спали в клетушке, где помещалась как раз одна кровать, а большая комната была отведена для стряпни и приема пищи, для побоев и для редких визитов коллег, которым здесь, несмотря на обильную еду, бывало не по себе. Вскоре после этой перемены умерла жена, от переутомления. Она не попевала за новой кухней; она стряпала втрое больше, чем прежде, и с каждым днем все сильнее худела. Она казалась очень старой, ей давали больше шестидесяти. Жильцы, боявшиеся и ненавидевшие привратника, в одном пункте его все же жалели: они находили жестоким то, что этот пышущий здоровьем мужчина вынужден жить с такой старой женой. На самом деле она была на восемь лет моложе, чем он, но никто этого не знал. Иногда она затевала такую большую стряпню, что никак не поспевала к его приходу. Часто он целых пять минут ждал еды. Потом, однако, терпение его лопалось, и он бил ее, еще не насытившись. Она умерла под его кулаками. Но на следующий день она все равно кончилась бы и сама собой. Убийцей он не был. На смертном одре, который он устроил ей в большой комнате, она выглядела такой изможденной, что стыдно было приходивших с соболезнованиями.

В день после похорон началось его золотое время. Беспрепятственнее, чем прежде, обходил он теперь с дочерью по своему усмотрению. Перед уходом на службу он запирал ее в задней комнате, чтобы она сосредоточеннее отдавалась стряпне. Поэтому она еще и радовалась, когда он возвращался домой.

— Как поживает арестантка? — рычал он, поворачивая ключ в замке. На ее бледном лице появлялась широкая улыбка, потому что теперь она уходила закупать припасы на завтра. Это ему нравилось. Перед тем как делать покупки, пускай смеется, так она ухватит мясо получше. Плохой кусок мяса—все равно что преступление. Если она отсутствовала более получаса, он свирепел от голода и пинал ее, когда она возвращалась, ногами. Поскольку никакой пользы ему от этого не было, он еще больше злился на плохое начало нерабочих часов. Если она очень уж плакала, он

снова добрел, и его программа шла обычным ходом. Он предпочитал, чтобы она возвращалась вовремя. От получаса он крал у нее пять минут. Как только она выходила, он подводил часы на пять минут вперед, клал их на кровать в клетушке и садился у плиты в новой кухне, где нюхал кушанья, не ударив ради них палец о палец. Его огромные, толстые уши прислушивались к хрупким шагам дочери. Она входила неслышно от страха, что уже прошло полчаса, и бросала от двери отчаянный взгляд на часы. Иногда ей удавалось прокрасться к кровати, несмотря на страх, который внушал ей этот предмет мебелировки, и быстрым, робким движением отвести часы на несколько минут назад. Обычно он слышал ее после первого же шага—она слишком громко дышала—и перехватывал ее на полпути, ибо до кровати шагов было два.

Она пыталась проскочить мимо него и начинала торопливо и ловко орудовать у плиты. Она думала о хилом, худом продавце в кооперативной лавке, который говорил ей «целую ручку» тише, чем другим женщинам, и избегал ее робких взглядов. Чтобы дольше пробыть близ него, она незаметно пропускала вперед женщин, чья очередь была после нее. Он был брюнет и подарил ей однажды, когда никого больше не было в лавке, сигарету. Она обернула ее в красную шелковую бумагу, на которой еле видимыми буквами обозначила дату и час его подношения, и носила этот светящийся пакетик на том единственном месте своего тела, которым никогда не интересовался отец, — у сердца, под левой грудью. Ударов она боялась больше, чем пинков; когда он бил ее, она упорно ложилась на живот, тогда с сигаретой ничего не случится; до всех остальных мест его кулаки добирались, и сердце ее дрожало под сигаретой. Если он раздавит ее, она покончит с собой. Между тем своей любовью она давно превратила эту сигарету в прах, потому что в долгие часы своего заточения открывала, рассматривала, гладила и целовала пакетик. Оставалась лишь горсточка табаку, от которого не было потеряно ни пылинки.

Во время еды рот отца испускал пар. Его жующие челюсти были так же ненасытны, как его руки. Она стояла, чтобы поскорей снова наполнить его тарелку; ее тарелка оставалась пустой. Вдруг, боялась она, он спросит, почему я не ем. Его слова были ей еще страшнее, чем его действия. То, что он говорил, она стала понимать лишь повзрослев, а то, что он делал, влияло на ее жизнь с первых ее мгновений. Я уже поела, отец, ответит она. Кушай. Но за долгие годы их

брака он не спросил ее об этом ни разу. Пока он жевал, он был занят. Его глаза самозабвенно вперялись в тарелку. По мере того как поданная на ней еда шла на убыль, их блеск угасал. Его жевательные мышцы сердились, им задавали слишком мало работы; они грозили вот-вот зарычать. Горе тарелке, когда она будет пуста! Нож разрежет ее, вилка проколет, ложка разобьет, а голос взорвет. Но на то и стояла рядом дочь. Она напряженно следила за тем, что делается с его лбом. Как только между бровями намечалась вертикальная складка, она подкладывала еду, независимо от того, сколько оставалось еще на тарелке. Ибо в зависимости от его настроения складка на лбу появлялась с разной быстротой. Это она изучила; на первых порах, после смерти матери, она следовала ее примеру и ориентировалась по тарелке. Кончалось это, однако, плохо, от дочери он требовал большего. Вскоре она разобралась и стала определять его настроение по лбу. Бывали дни, когда он все доедал без единого слова. Закончив, он еще некоторое время продолжал чавкать. К этим звукам она прислушивалась. Если он чавкал сильно и долго, она начинала дрожать, ей предстояла страшная ночь, и она старалась самыми ласковыми словами уговорить его съесть еще порцию. Чаще всего он только блаженно чавкал и говорил:

— У человека есть плод его чресел. Кто плод его чресел? Такая арестантка!

При этом он указывал на нее, пользуясь вместо указательного пальца сжатым кулаком. Ее губам полагалось с улыбкой произносить вслед за ним «такая арестантка». Она отходила подальше. Его тяжелый сапог двигался в ее сторону.

— Отец имеет право...

— На любовь своего ребенка.

Громко и мерно, как в школе, заканчивала она его фразу, однако в душе у нее все было очень тихо.

— Выходить замуж у дочери... — он вытягивал руку.

— Нет времени.

— Ее кормит...

— Добрый отец.

— Мужчины...

— Знать ее не хотят.

— Что сделает мужчина...

— С глупым ребенком?

— Сейчас отец...

— Арестует ее.

— У отца на коленях сидит...

— Умница дочка.

- Человек устал от...
- Полиции.
- Если дочка не будет умницей, то ее...
- Поколотят.
- Отец знает, за что...
- Колотит ее.
- Он не делает дочери ни чуточки...
- Больно.
- Зато она научится, как надо вести себя...
- С отцом.

Схватив и потянув ее к себе на колени, он правой рукой щипал ей затылок, потому что она была арестована, а левой выталкивал у себя из горла отрывки. То и другое доставляло ему удовольствие. Она напрягала свой умишко, чтобы правильно дополнять его фразы, и боялась заплакать. Он часами ласкал ее. Он знакомил ее с изобретенными им приемами, толкал ее так и этак и доказывал ей, что хорошим ударом в живот она одолеет любого преступника, ибо кому от этого не станет дурно?

Этот медовый месяц продолжался полгода. В один прекрасный день отец вышел на пенсию и не пошел на службу. Он займется теперь этим безобразным нищенством в доме. Итогом многодневных раздумий был глазок на высоте пятидесяти сантиметров. В его опробовании приняла участие и дочь. Несметное множество раз она проходила от парадного к лестнице и обратно. «Медленнее!» — рычал он, или: «Бегом!» Сразу после этого он заставил ее влезть в свои старые штаны и сыграть особу мужского пола. Едва увидев через свежепросверленное отверстие собственные штаны, он в ярости вскочил, распахнул дверь и несколькими дьявольскими ударами свалил девушку на пол.

— Это необходимо, — оправдывался он потом перед ней, словно обидел ее в первый раз, — потому что ты — элемент! Нельзя давать спуску этой швали! Башку с плеч было бы еще умнее! А то ведь одна обуза. Набивают себе брюхо в тюрьмах. Государство плати, истекай кровью! Я истреблю этих паразитов! Теперь кошка дома. Пусть мыши знают свою нору! Я рыжий кот. Я загрызу их. Элемент пусть почувствует, что от него остается мокрое место!

Она это чувствовала и радовалась своему прекрасному будущему. Он не станет больше запирает ее, он же будет теперь дома. Она будет у него на глазах целыми днями, она сможет отлучаться за покупками на более долгий срок, на сорок, на пятьдесят минут, на целый час, нет, это чересчур, она ходит в кооператив, она

выберет безлюдное время, она должна поблагодарить за сигарету, он ее подарил ей уже три месяца и четыре дня тому назад, что он о ней подумает, если он спросит, понравилась ли сигарета, она скажет: очень, а отец чуть не отобрал ее, это, сказал он, высший сорт, лучше он выкурит ее сам.

На самом деле этой сигареты отец и в глаза не видел; неважно, она поблагодарит черноволосого господина Франца и скажет ему, что это был высший сорт, отец разбирается. Может быть, она получит еще одну сигарету. Ее она тут же и закурит. Если кто-нибудь войдет, она отвернется и быстренько швырнет сигарету через прилавок. Он уж погасит ее, прежде чем вспыхнет пожар. Он ловок. Летом он управляется с филиалом один, заведующий бывает в отпуске. Между двумя и тремя лавка пуста. Он постарается, чтобы его никто не увидел. Он протянет ей спичку, и сигарета загорится. Я вас сожгу, скажет она, он испугается, он такой нежный, в детстве он много болел, она это знает. Она обожжет его горячей сигаретой. Ай, закричит он, моя рука, мне больно! Она крикнет: «Любя!»—и убежит. Ночью он придет, чтобы похитить ее, отец спит, раздастся звонок, она идет отпираться. Она берет с собой все деньги, поверх ночной рубашки она накидывает на себя свое собственное пальто, которое ей никогда не разрешают надеть, а не старое отцовское, у нее теперь вид девы, а кто стоит у парадного? Он. Карета с четырьмя воронными ждет их. Он подает ей руку. Левой он держит меч, он кавалер и делает поклон. На нем выглаженные штаны. «Я пришел, — говорит он. — Вы меня обожгли. Я благородный рыцарь Франц». Она так и думала. Для кооперативной лавки он, тайный рыцарь, был слишком прекрасен. Он просит у нее позволения убить ее отца. Это вопрос его чести. «Нет, нет! — молит она. — Он погубит ваше высочество!» Он отталкивает ее в сторону, она вынимает из кармана все деньги и протягивает их ему, он пронзает ее взглядом, ему нужна честь. Вдруг, в клетушке, он отделяет голову отца от туловища. Она плачет от радости, доживи до этого ее бедная мать, она была бы жива и сегодня. Господин рыцарь Франц берет красную голову отца с собой. В парадном он говорит: «Барышня, сегодня вы отпирали дверь в последний раз, я похищаю вас восвояси». Затем ее маленькая ножка становится на ступеньку кареты. Он помогает ей подняться. Там она усаживается, места в карете много. «Вы совершеннолетняя?»—спрашивает он. «Двадцать минуло», — говорит она, ей не дашь двадцати, до сего-

дняшнего вечера она была папенькиной дочкой. (На самом деле ей шестнадцать, только бы он не заметил.) Замуж она хочет, чтобы уйти из дому. И прекрасный черноволосый рыцарь встает посреди едущей кареты и бросается к ее ногам. Он женится на ней, только на ней, иначе разобьется его храброе сердце. Она смущается и гладит его волосы, они черные. Он находит ее пальто красивым. Она будет носить его до самой смерти, оно еще новое. «Куда мы едем?» — спрашивает она. Воронье стучит копытами и фыркают. Как много домов в городе! «К матери, — говорит он, — пускай и она порадуется». На кладбище воронье останавливается, как раз напротив того места, где лежит мать. Вот ее камень. Рыцарь Франц кладет туда голову отца. Это его подарок. «У тебя ничего нет для матери?» — спрашивает он, ах, как стыдно ей, как ей стыдно, он что-то принес ее матери, а у нее ничего нет. И она достает из-под ночной рубашки красный пакетик — в нем лежит сигарета любви — и кладет его рядом с красной головой. Мать радуется счастьем детей. Они становятся на колени у могилы матери и просят ее благословения.

Отец стоит на коленях перед своим глазком, хватая ее каждую минуту, тянет к себе вниз, прижимает ее голову к отверстию и спрашивает ее, видит ли она что-нибудь. От долгой репетиции она без сил, площадка парадного мелькает у нее перед глазами, на всякий случай она говорит «да».

— Что «да»? — рычит обезглавленный отец, он еще совсем живой. Сегодня ночью он удивится, когда к парадному подъедет карета. — Да, да! — он передразнивает ее и насмехается над ней. — Ты же не слепая. *Моя* дочь — и слепая! Теперь я спрашиваю тебя: что ты видишь?

Она смотрит до тех пор, пока не находит того, что нужно. Он имеет в виду пятно на противоположной стене.

Благодаря своему изобретению он учится видеть мир по-новому. Она поневоле участвует в его открытиях. Она слишком мало училась и ничего не знает. Когда он умрет, лет этак через сорок, ведь человек когда-нибудь да умирает, она станет обузой для государства. Этого преступления он не оставит на своей совести. Она должна получить какое-то понятие о полицейской службе. И он растолковывает особенности жильцов, обращает ее внимание на разные юбки и штаны и на их значение для преступности. В педагогическом пылу он порой пропускает какого-нибудь нище-

го и потом надлежащим образом корит ее за эту жертву. Жильцы, говорит он, люди приличные, но и они тоже хороши. Что они дают ему за особую охрану, которую он обеспечивает их дому? Они пользуются плодами его пота. Вместо того чтобы благодарить, они говорят о нем плохо. Как будто он уже отправил кого-нибудь на тот свет. А почему он работает даром? Он на пенсии, он мог бы бить баклуши, или бегать за бабами, или пьянствовать, он всю жизнь работал и имеет полное право на безделье. Но у него совесть. Во-первых, говорит он себе, у него есть дочь, о которой он должен заботиться. Кто решится оставить ее дома одну! Он останется с ней, а она—с ним. Добрый отец семейства прижимает свое дитя к сердцу. Полгода после смерти старухи она всегда была одна, он должен был ходить на службу, у полиции жизнь нелегкая. Во-вторых, государство платит ему пенсию. Государство *должно* платить, тут никуда не денешься, и хоть все пойдй прахом, пенсию оно выплатит первым делом. Один говорит себе: наработался, хватит. Другой благодарен за пенсию и работает добровольно. Это самые лучшие люди! Они подкарауливают всяких проходимцев где могут, они избивают их до полусмерти, потому что совсем до смерти запрещено, и у государства меньше хлопот. Это называется облегчение, потому что с плеч снимается тяжесть. Полиция должна держаться дружно, и вышедшая на пенсию тоже, таких добросовестных людей вообще не надо бы отправлять на пенсию. Они незаменимы, и когда они умрут, откроется брешь.

День ото дня девушка продвигалась в ученье. Она должна зарубить себе на носу опыт отца и помогать его памяти, если та не сработает, а иначе на что нужна дочь, проедающая лучшую часть пенсии? Когда появился новый нищий, он приказывал ей быстренько посмотреть в глазок и не спрашивал ее, знаком ли тот ей, а спрашивал: «Когда он был здесь в последний раз?» Ловушки поучительны, особенно для нее, которая всегда дает маху. Разделавшись с нищим, он определял меру наказания за ее невнимательность и тут же приводил этот приговор в исполнение. Без порки из человека толка не выйдет. Англичане—колоссальный народ.

Постепенно Бенедикт Пфафф натаскал дочь настолько, что она могла замещать его. С этой поры он стал называть ее Поли, что было почетным званием. Оно выражало ее пригодность к его профессии. Вообще-то ее звали Анна; но поскольку это имя ничего не говорило ему, он не употреблял его, он был враг имен.

Звания устраивали его больше; на тех, которые он сам присваивал, он был помешан. С матерью умерла и Анна. Полгода он именовал девушку «ты» или «умница дочь». Произведя ее в Поли, он стал гордиться ею. Бабы все же на что-то годятся, надо только, чтобы мужчина умел делать из них сплошных Поли.

Ее новый чин потребовал более суровой службы. Целый день она сидела или стояла на коленях на полу рядом с ним, готовая заменить его. Случалось, что он отлучался на минуту-другую; тогда она заступала на его пост. Если в поле ее зрения попадал лоточник или нищий, ее обязанностью было задержать его силой или хитростью, пока отец не возьмется за эту поганую рожу. Он очень торопился. Он предпочитал делать все сам, ему было достаточно, чтобы это происходило у нее на глазах. Его образ жизни заполнял его существование все больше и больше. Он терял интерес к еде, его голод пошел на убыль. Через месяц-другой он отводил себе душу лишь на нескольких новичках. Все прочие нищие сторонились его дома, словно это был ад, они знали — почему. Его внушавший страх желудок, которым он так дорожил, стал умеренней. Настряпню дочери отводился теперь час в день. Лишь столько времени разрешалось ей находиться в задней комнате. Картошку она чистила рядом с ним, возле него мыла зелень, а когда она отбивала мясо ему на обед, он шлепал ее в свое удовольствие. Его глаз не знал, что делает его рука, он был намертво прикован к входившим и выходившим ногам.

На покупки он отпускал Поли четверть часа, поскольку ел теперь вдвое меньше, чем прежде. Став хитрой благодаря отцовской школе, она часто отказывалась в какой-нибудь день от черного Франца, оставалась дома, а зато на следующий день получала в свое распоряжение две четверти часа. Она никогда не заставляла рыцаря в одиночестве. Слова благодарности за сигарету она лепетала тайком. Может быть, он понимал ее, он так деликатно отводил взгляд. Ночью она не спала, когда отец давно спал. Однако Франц все не звонил, приготовления продолжались так долго, да, если она обожгла его, ему следовало бы поторопиться, бабы всегда толпились в его лавке. Однажды, когда он будет выписывать ей квитанцию, она быстро шепнет: «Спасибо, можно без кареты, только не забудьте меч!»

В один прекрасный день у двери кооператива стояла наперебой говорившие бабы. «Франц удрал!» — «Плохая семья!» — «С полной кассой!» — «Он не мог смотреть людям в глаза». — «Шестьдесят восемь шиллингов!» —

«Надо снова ввести смертную казнь!» — «Мой муж утверждает об этом много лет». Дрожа, бросилась она в лавку, заведующий как раз говорил: «Полиция напала на его след». Ущерб понесет он, заведующий, потому что оставил его одного, уже четыре года состоял этот негодяй на службе, кто бы подумал такое, никто ничего не замечал за ним, касса всегда была в порядке, четыре года, из полиции только что звонили, не позднее шести его упрячут за решетку.

— Это неправда! — крикнула Поли и вдруг расплакалась. — Мой отец сам из полиции!

На нее не обратили особого внимания, поскольку горевать приходилось о потерянных деньгах. Она убежала и явилась домой с пустой сумкой. Не поздоровавшись с отцом, она заперлась в задней комнате. Он был занят и подождал четверть часа. Затем он встал и позвал ее. Она молчала.

— Поли! — взревел он. — Поли!

Ни звука в ответ. Он пообещал ей безнаказанность с твердым намерением избить ее до смерти на три четверти, а если пикнет, то и до полной. Вместо ответа он услышал, как что-то упало. К своей ярости, он вынужден был взломать собственную дверь.

— Именем закона! — прорычал он по привычке. Девушка лежала беззвучно и неподвижно перед плитой. Прежде чем ударить, он несколько раз повернул ее. Она была без сознания. Тут он испугался, она была молода, и он с ней хорошо ладил. Несколько раз он приказал ей прийти в себя. Ее глухота возмутила его вопреки его воле. Как бы то ни было, он хотел начать с наименее чувствительного места. Когда он искал его, взгляд его упал на хозяйственную сумку. Она была пуста. Теперь ему все стало ясно. Она потеряла деньги. Он одобрял ее страх. Такие шутки с ним плохи. Она ушла из дому с целой десятишиллинговой купюрой. Не все же пошло к черту? Он основательно обыскал ее. Впервые он прикасался к ней пальцами, а не кулаками. Он нашел красный пакетик с искрошившейся сигаретой. Он порвал его и бросил в мусор. Наконец он открыл кошелек. Десятишиллинговая купюра была на месте. Ни один уголок не был откусан. Теперь он опять ничего не понимал. В растерянности он привел ее в сознание битьем. Когда она пришла в себя, с него градом катился пот, так осторожно он бил ее, а изо рта у него лились крупные слезы.

— Поли! — рычал он. — Поли, деньги-то здесь!

— Меня зовут Анна, — сказала она холодно и строго.

Он повторил: «Поли», ее голос задел его за живое, руки сжались в кулаки, его обуяли нежные чувства.

— Что получит сегодня на обед добрый отец? — сказал он жалобно.

— Ничего.

— Поли должна что-нибудь приготовить ему.

— Анна! Анна! — крикнула девушка.

Вдруг она вскочила на ноги, толкнула его так, что любой другой отец опрокинулся бы, даже он принял этот толчок к сведению, выбежала в клетушку (соединявшая обе комнаты дверь была взломана, а то бы она заперла его), вспрыгнула, чтобы стать выше, чем он, в ботинках на кровать и закричала:

— Ты поплатишься за это головой! Поли — от слова «полиция»! Мать получит твою голову!

Он понял. Она угрожает ему доносом. Плод его чресел хочет оклеветать его. Ради кого он живет? Ради кого остался он солидным человеком? Он отогрел у себя на груди змеиный элемент. Ей место на эшафоте. *Он* изобретает и устраивает для нее глазок, чтобы она чему-то научилась, и это теперь, когда мир и бабы доступны ему, *он* остается с ней — из жалости и по доброте душевной. А *она* утверждает, что он делает что-то не так! Это не его дочь! Старуха обманула его. Он был не дурак, когда наказывал ее. Нюх у него всегда был. Шестнадцать лет он выбрасывал деньги на ненастоящую дочь. Дом стоит не больше. Год от года человечество делается хуже. Скоро отменят полицию, и власть перейдет к преступникам. Государство скажет: я не плачу пенсий, и мир погибнет! У человека есть натура. Преступник распоясывается, и господь бог еще полюбуется!

До господа бога он добирался редко. Он питал почтение к высшей инстанции, которой был подвластен. Господь бог был больше, чем начальник полиции. Тем сильнее взволновала его опасность, нависшая сегодня над самим богом. Он стащил падчерицу с кровати и бил ее до крови. Но истинной радости он при этом не чувствовал. Он работал машинально, то, что он говорил, было полно тоски и глубокой печали. Его удары противоречили его голосу. Рычать у него совершенно пропала охота. По ошибке он однажды упомянул некую Поли. Его мускулы тотчас же исправили эту ошибку. Имя бабы, которую он наказывал, было Анна. Она утверждала, что она — то же лицо, что его дочь. Он не верил ей. У нее вылезали волосы, и поскольку она защищалась, сломались два пальца. Она бубнила насчет его головы, как самый гнусный палач. Она

поносила полицию. Видно было, как бессильно против дурных задатков и самое лучшее воспитание. Мать никуда не годилась. Она была больна и боялась работы. Он мог сейчас отправить дочь к матери, там было ей место. Но он был не такой человек. Он отказался от этого и пошел обедать в трактир.

С этого дня они были друг для друга только телами. Анна готовила пищу и закупала припасы. Кооперативной лавки она избегала. Она знала, что черный Франц сидит в тюрьме. Он украл ради нее, но совершил оплошность. Рыцарю удастся все. С тех пор как у нее не стало его сигареты, она больше не любила его. Голова отца держалась на плечах крепче, чем когда-либо; его глаза нищенски молили о нищих через глазок. Она доказывала ему свое презрение тем, что больше не замечала этого изобретения. Занятия в его школе она прогуливала. Каждые несколько дней с языка у него срывались новые наблюдения. Она исполняла свою работу, скорчившись рядом с ним, спокойно слушала и молчала. Глазок не интересовал ее. Если отец примирительным жестом предлагал ей взглянуть, она равнодушно качала головой. Задушевные разговоры за столом кончились. Она наполняла свою и его тарелки, садилась, ела, хотя и мало, и обслуживала его снова только тогда, когда чувствовала сытость сама. Он обращался с ней точно так же, как раньше. Ему недоставало ее ужаса. Избывая ее, он говорил себе, что ее душа уже не лежит к нему. Несколько месяцев спустя он купил себе четырех славных канареек. Три были самцами; напротив них он повесил маленькую клетку самки. Самцы пели как одержимые. Он хвалил их безудержно. Как только они заводили свою песню, он опускал заслонку глазка, поднимался и слушал их стоя. Его благоговение не позволяло ему хлопать в конце сватовства. Однако он говорил «Браво!» и переводил полный восхищения взгляд с птичек на девушку. Вся его надежда была на пламенные призывы кенарей. Их пенье тоже оставляло Анну в полной невозмутимости.

Она жила еще много лет прислужой и бабой своего отца. Он процветал; сила его мышц скорее возрастала, чем убывала. Но настоящего счастья не было. Он говорил себе это ежедневно. Даже за едой он думал об этом. Она умерла от чахотки, к великому отчаянию канареек, принимавших корм только из ее рук. Они перенесли это горе. Бенедикт Пфафф продал кухонную мебель и распорядился замуровать заднюю комнату. Перед свежей, белой штукатуркой он поставил шкаф. Он никогда больше не ел дома. В клетушке он не

покидал своего поста. Всякого напоминания о пустой комнате за стенкой он избегал. Там, перед плитой, он потерял душу своей дочери, он и поныне не понимал почему.

ШТАНЫ

— Господин профессор! Благородный боевой конь получает овес. Он чистых кровей и брыкается. В зверинце лев жрет кровавое, сочное мясо. Почему? Потому что царь зверей рычит, словно гром грохочет. Ощерившему пасть самцу-горилле дикари дарят свежих баб. Почему? Потому что горилла того и гляди лопнет от мускулов. Такова жизнь по справедливости. Мне дом платит какие-то гроши. Мне нет цены. Господин профессор! Вы были единственным человеком на свете, который знает, что такое благодарность. От тяжелых забот о пропитании меня избавлял ваш, как говорится, презент. И вот я покорнейше спрашиваю: что с вами стало, господин профессор? И осмелюсь предложить свои услуги.

Таковы были первые слова, с какими Бенедикт Пфафф, придя в свою клетушку, обратился к профессору, только что снявшему с глаз носовой платок. Тот извинился и погасил задолженность—презент за два месяца.

— Обстановка наверху нам ясна, — сказал он.

— Еще бы! — подмигнул Пфафф, отчасти из-за Терезы, отчасти из-за того, что его попранные права были немедленно восстановлены.

— Пока вы будете заняты основательной очисткой моей квартиры, я здесь спокойно соберусь с мыслями. Работа не терпит.

— Вся клетушка в вашем распоряжении! Господин профессор, чувствуйте себя как дома! Баба разлучает лучших людей. Между такими друзьями, как мы, какой-то там Терезы не существует.

— Знаю, знаю, — торопливо прервал его Кин.

— Дайте мне высказаться, господин профессор! Наплевать нам на эту бабу! Моя дочь—вот это было другое дело!

Он указал на шкаф, словно та находилась в нем. Затем он поставил свои условия. Он—человек и берется очистить квартиру наверху. Вымести оттуда надо много чего. Он наймет нескольких уборщиц и возьмет на себя командование. Только он не выносит дезертирства. Дезертирство и лжесвидетельство—преступления

тождественные. В его отсутствие господин профессор должен замещать его на жизненно важном для дома посту.

Не столько из чувства долга, сколько из властолюбия хотел он продержать Кина на коленях несколько дней. Его дочь сегодня живо представлялась ему. Поскольку она умерла, профессор должен был заменить ее. Его распирало от аргументов. Он доказывал ему, какая у них честная и верная любовь. Он дарит ему всю клетушку со всем движимым имуществом. Только что она была исключительно в его, Пфаффа, распоряжении. И от квартирной платы за дни, когда его друг будет жить у него, он с негодованием отказывается.

Вскоре он провел электрический звонок, который соединил его каморку с библиотекой на пятом этаже. В сомнительных случаях профессору достаточно нажать на кнопку. Субъект, ничего не подозревая, поднимется по лестнице. Ему навстречу двинется и постигнет его заслуженная кара. Таким образом, все было предусмотрено.

Уже в конце того же дня Кин приступил к своей новой деятельности. Он стоял на коленях и следил через глазок за жизнью многонаселенного дома. Его глаза тосковали по работе. Долгая праздность деморализовала их. Чтобы занять оба и не обделить ни одного, он установил смены. Его точность проснулась. Пять минут на глаз казались ему подходящим сроком. Он положил свои часы перед собой на пол и действовал строго по ним. Правый глаз обнаружил тенденцию обогащаться за счет левого. Он поставил его на свое место. Когда точные интервалы вошли в его плоть и кровь, он спрятал часы. Банальностей, которые ему доводилось видеть, он немного стыдился. По правде говоря, происходило всегда одно и то же. Различия между одними штанами и другими были лишь незначительные. Поскольку на жильцов дома он прежде не обращал внимания, дополнять их фигуры он не мог. Штаны он воспринимал как таковые и чувствовал свою беспомощность. Однако у них было одно приятное свойство, которое он засчитывал в их пользу: у него была возможность видеть их. Гораздо чаще мимо глазка проходили юбки, они были ему в тягость. По объему и по численности они занимали больше места, чем им подобало. Он решил игнорировать их. Его руки произвольно перелистывали пустоту, как если бы они держали книгу с картинками и распределяли работу глаз. В зависимости от скорости штанов они листали то

медленнее, то быстрее. При виде юбок руки проникались отвращением своего хозяина; они перемахивали через то, чего ему не хотелось читать. При этом часто пропадало по многу страниц сразу, о чем он не сожалел, ведь кто знает, что кроется за такими страницами.

Постепенно его успокоило однообразие мира. Великое событие истекшего дня померкло. Та галлюцинация редко примешивалась к шагам туда и сюда. Синий цвет начисто исчез из нее. Игнорируемые юбки, которые ведь были ему безразличны, перебирали разные цвета. Того совершенно определенного и особого синего цвета, оскорбительного и подлого, не носил никто. Причина этого факта, статистически прямо-таки диковинного, была проста. Галлюцинация жива до тех пор, пока не борешься с ней. Наберись силы воочию представить себе опасность, в которой находишься. Наполни свое сознание картиной, которой боишься. Составь перечень примет своей галлюцинации для ее отыскания и держи его всегда наготове. Потом заставь себя взглянуть в глаза действительности и обыщи ее, справляясь с этим списком примет. Если твоя галлюцинация встретится где-нибудь в реальном мире, то знай, что ты сумасшедший, и ступай лечиться в соответствующее заведение. Если нигде не встретится синяя юбка, ты от нее освободился. Кто еще способен различать действительность и фантазию, тот уверен в своих умственных способностях. Уверенности, добытой с таким трудом, хватит на вечность.

Вечером привратник принес еду, приготовленную Терезой, и спросил за нее столько, сколько она стоила бы в гостинице. Кин расплатился тут же и ел с удовольствием.

— Как вкусно! — сказал он. — Я доволен своей работой!

Они сидели рядом на кровати.

— Опять никого не было, такой день! — вздохнул Пфафф и съел больше половины, хотя, в сущности, был уже сыт. Кин был рад, что еда быстро идет на убыль. Вскоре он оставил несъеденное привратнику и прилежно стал на колени.

— Ишь ты! — рычал Пфафф. — Теперь вы вошли во вкус! Это благодаря моему глазку. Человек просто влюбляется.

Он сиял и при каждой фразе хлопал себя по ляжке. Затем он отставил миску, оттолкнул в сторону пытавшегося углубиться во мрак профессора и спросил:

— Все в порядке? Сейчас погляжу!

Вперившись в глазок, он ворчал:

— Ага! Пильциха опять выкидывает свои штучки. В восемь она приходит домой. Муж ждет. А что она ему приготовила? Ни черта. Я уже много лет жду убийства. Другой стоит на улице. У мужа не хватает духа. Я бы ее задушил, душил бы три раза в день. Кошка этакая! Она все еще стоит. Он любит ее бурно. Человек не подозревает. Вот что значит трусость! Я вижу все!

— Но ведь уже темно! — вставил Кин — критически и не без зависти.

На привратника напал смех, и он плюхнулся на пол. Одна часть его оказалась под кроватью, другая сотрясала стену. Он долго пребывал в таком положении. Кин испуганно забился в угол. Клетушка была заполнена дыбившимися волнами смеха, он увертывался от них, он ведь мешал им. Здесь он чувствовал себя все же немного чужим. Одинокое предвечерние часы были гораздо лучше. Ему нужна была тишина. Этот варвар — наемный воин процветал только среди шума. Вдруг тот и в самом деле поднялся, тяжелый, как бегемот, и зафыркал:

— Знаете, какая у меня была когда-то кличка в полиции, господин профессор, — он положил свои кулаки на два слабых плеча, — я Рыжий Кот! Во-первых, потому, что я отличаюсь этой редкой мастью, а кроме того, я все вижу и в темноте! У хищников-кошек это обычное дело!

Он предложил Кину единолично распорядиться всей кроватью и попрощался: он переночует наверху. Уже в дверях он поручил ему особенно беречь глазок. Во сне человек часто размахивает руками, он сам однажды повредил заслонку и, проснувшись на следующее утро, пришел в ужас. Он просит быть осторожным и помнить о ценной аппаратуре.

Очень усталый, огорченный нарушенным ходом своих тихих мыслей — до ужина он три часа был один, — Кин лег на кровать и замечтался о своей библиотеке, о том, как он вскоре опять вернется в нее: четыре высоких комнаты, стены сверху донизу сплошь уставлены книгами, все соединительные двери всегда настежь открыты, никаких несправедливых окон, равномерное освещение сверху, письменный стол, полный рукописей, работа, работа, мысли, мысли, Китай, научные разногласия, мнение против мнения, в журналах, без материальных уст, его высказывающих. Кин победитель, не в кулачном бою, а в споре умов, тишина, тишина, шелест страниц, благодать, ни единого живого существа, никаких пошлых тварей, никаких шипящих

баб, никаких юбок. Квартира чиста, как труп. Останки у письменного стола удалены. Современная вентиляция против упорной плесени в книгах. Иные сохраняют запах и после нескольких месяцев. В сушилку их! Самый опасный орган—это нос. Противогазы облегчают дыхание. Повесить десяток их над письменным столом. Повыше, а то их украдет карлик. Потянет к своему смешному носу. Напяль на себя противогаз. Два огромных, печальных глаза. Одно-единственное сверлящее отверстие. Жаль. Поочередно. Смотри инструкцию. Кулачный бой между глазами. Читать хотят оба. Кто здесь командует? Кто-то щелкает у самых век. В наказание я велю закрыть вас. Кромешная тьма. Хищники-кошки среди ночи. Животные тоже видят сны. Аристотель все знал. Первая библиотека. Зоологическая коллекция. Пристрастие Зороастра к огню. Он был признан в своем отечестве. Плохой пророк. Прометей, бес. Орел жрет только печень. Сожри же его огонь! Седьмой этаж Терезианума... Пламя... Книги... Бегство через крутые лестницы... быстрее, быстрее!.. Проклятье!.. Затор... Огонь! Огонь!.. Один за всех, все за одного... единство, единство, единство... книги, книги... мы все... рыжие, красные... кто запер здесь лестницу?.. Я спрашиваю. Я жду ответа!.. Пустите меня вперед!.. Я проложу вам дорогу!.. Я брошусь на вражеский заслон!.. Проклятье... синего цвета... юбка... тугая, окаменелая, скалой в небо... через Млечный Путь... Сириус... Псы... собаки мясника... вопьемся зубами в гранит!.. Ломают зубы, морды... кровь, кровь...

Кин просыпается. Несмотря на усталость, он сжимает руку в кулак. Он скрежещет зубами. Не надо бояться, они еще здесь. Он с ними расплатится. Кровь тоже сказка. Клетушка давит. Здесь ему спать тесно. Он вскакивает, открывает заслонку и успокаивается при виде великого однообразия снаружи. Ведь только кажется, что ничего не происходит. Кто привыкает к темноте, тот видит все штаны предвечерних часов, непрерывную вереницу, юбки между ними погасли. Ночью все люди носят штаны. Готовится декрет об отмене женского пола. На завтра назначено обнародование. Объявит привратник. *Его* голос услышит весь город, вся страна, все страны, все пространство земной атмосферы, другие планеты пусть заботятся о себе сами, мы страдаем от избытка баб, за отговорки—смертная казнь, незнание законов не принимается в оправдание. Все имена получают мужские окончания, история подвергается переработке для молодежи. Из-

бранной комиссии по истории работать легко, ее президент—профессор Кин. Что создали в ходе истории женщины? Детей и интриги!

Кин снова ложится на кровать. Окольными путями он засыпает. Окольными путями он добирается до синей скалы, которую считал разбитой. Если скала не поддастся, сон не двинется дальше, поэтому он вовремя проснется и склонится к своему аппарату. Тот ведь у него под рукой. Так происходит десятки раз за ночь. Под утро он переносит глазок, это око однообразия, это успокоение, эту радость, в библиотеку своих сновидений. Он делает в каждой стене по несколько отверстий. Ему теперь не надо долго искать. Везде, где недостает книг, он устроил маленькие заслонки. Система Бенедикта Пфаффа. Ловко направляя свои сновидения, он, куда бы ни занесло его, на поводу приводит себя назад, в библиотеку. Бесчисленные отверстия приглашают побыть возле них. Он обслуживает их, как тому научился за день, на коленях и с полной определенностью устанавливает, что на свете существуют только штаны, особенно в темноте. Юбки, окрашенные иначе, исчезают. Синие крахмальные скалы ругаются. Ему незачем больше вскакивать с постели. Его сны регулируются автоматически. Под утро он спит безоговорочно, не отклоняясь. Его голова, полная серьезных мыслей, лежит на письменном столе...

Первый тусклый свет застал его уже за работой. В шесть он обозревал, стоя на коленях, рассветный сумрак, медленно расползавшийся по коридору. Пятно на противоположной стене принимало свой истинный вид. Тени неясного происхождения—неодушевленных предметов, не людей, но каких предметов?—ложились на плиты, переходили в серость опасного и бестактного оттенка и приближались к цвету, определением которого он отнюдь не намерен был портить себе юное утро. Не сосредоточиваясь на них, он, поначалу вежливо, попросил их исчезнуть или принять другую окраску. Они медлили. Он торопил. Их неуверенность не ускользнула от него. Он решил поставить ультиматум, пригрозив, если они будут упорствовать, разрывом отношений. У него есть и другие средства давления, он предупреждает их, он не беззащитен, он внезапно нападет на них из засады и разрушит их надменность и спесь, их зазнайство и наглость одним ударом топора. Они и так-то смешны и жалки, их существование зависит от плит. Плиты же ничего не стоит разбить. Ударить разок-другой, и их несчастным осколкам останется только скорбно задуматься—о чем? А о том,

справедливо ли это — мучить ни в чем не повинного человека, который никому не причинил зла, который сейчас, подкрепившись сном, готовится к дню своего решительного боя. Ибо сегодня вчерашнее горе будет искоренено, уничтожено, похоронено и забыто.

Тени колебались; светлые полосы, отделявшие их друг от друга, расширялись и ярко сияли. Не подлежит никакому сомнению, что Кин победил бы всех врагов и сам. Тут на помощь ему пришли какие-то громоздкие штаны и похитили у него честь победы. Тяжелые ноги ступили на плиты и остановились. Какой-то могучий башмак, поднявшись, описал круг у внешнего отверстия глазка, описал любовно, отнюдь не обижая его, а как бы удостоверясь в неизменности его знакомой издавна формы. Этот башмак удалился, и такую же нежность, при противоположном направлении вращения, позволил себе другой. Затем ноги зашагали дальше. Послышался шум, звяканье как бы ключей, скрежет, шелк. Тени охнули и исчезли. Теперь можно было спокойно признать себе: они были синие, буквально синие. Этот неуклюжий человек снова прошел мимо. Следовало поблагодарить его. И без него справились бы. Тени есть тени, их отбрасывает предмет. Убери предмет — тени застонут и умрут. Что было тут убрано? Ответить на это мог бы только виновник. В клетушку вошел Бенедикт Пфафф.

— Ишь ты! Уже на ногах! Утро добренькое, господин профессор! Вы — само прилежание. Я принес смазочного масла. Слышали, как ноет парадная дверь? На кровати человек спит беспробудно, медведь в берлоге — сиротка по сравнению с ним. Тут ложились втроем, когда еще старуха была жива и покойница дочь. Я дам вам совет как друг и хозяин этого пристанища. Оставайтесь внизу, где вы сейчас находитесь! Здесь вы увидите, как говорится, чудо природы. Дом встает. Все мчатся на работу. Люди торопятся, они спят слишком долго, сплошь бабы и сони. Если вам повезет, пройдут три пары ног сразу. Интересное зрелище! Не разберешься. Ага! — думает себе человек, а это уже, оказывается, совсем другой. Театр, да и только. Смеяться надо поменьше, скажу я вам. А то это будет ваше последнее утро перед похоронами!

Громкоголосый, багрово-румяный от радости, которую доставило ему собственное остроумие, он оставил Кина в одиночестве. Эта противная тень, эти мерзкие полосы рождены, значит, решеткой парадного. Стоит лишь назвать вещи верными именами, как они теряют свое опасное волшебство. Первобытный человек назы-

вал все неверно. Его окружали, наводя на него ужас, сплошные чары, где и когда ему не грозила опасность? Наука освободила нас от суеверия и веры. Она пользуется всегда одними и теми же названиями, преимущественно греческо-латинскими, и обозначает ими реально существующие вещи. Недоразумения невозможны. Кто бы, например, предположил, что «дверь» — не что иное, чем она сама и разве что ее тень?

Однако привратник был прав. Бесчисленные штаны покидали дом; сперва простые, тупые, не слишком ухоженные, свидетельствовавшие о невнимании к ним и, может быть, как надеялся Кин, о некотором уме. Чем позднее становилось, тем более острые появлялись штаны; поспешность, с какой они двигались, тоже соответственно уменьшалась. Когда один нож подходил слишком близко к другому, Кин боялся, что они порежутся, и кричал: «Осторожно!» Он замечал всякие приметы и не боялся определять цвет. Ткань и стоимость, высота над полом, вероятные дыры, ширина, отношение к ботинку, пятна и их происхождение; несмотря на обилие материала, ему иногда удавались неплохие определения. Около десяти, когда стало спокойнее, он пытался на основании увиденного делать заключения о возрасте, характере и профессии владельцев штанов. Систематизация, позволяющая определять людей по штанам, казалась ему вполне возможной. Ему виделась небольшая статья об этом, за три дня ее можно было играючи написать. Наполовину в шутку он стал упрекать некоего ученого, который занимается областью портновского мастерства. Но время, которое он проводит здесь, внизу, все равно потеряно, чем бы он ни занимал его. Он прекрасно знал, почему отдался глазку. Вчерашнее прошло, вчерашнее должно было пройти. И научная сосредоточенность действовала на него чрезвычайно благотворно.

В череду направлявшихся на работу мужчин упорно и назойливо втискивались женщины. С самого утра они были на ногах. Они вскоре возвращались, и при счете их оказывалось вдвое больше. Наверно, они ходили за покупками. Слышны были приветствия и чрезмерные любезности. Даже самые острые и самые степенные штаны задерживались. Свою мужскую покорность они выражали на разные лады. Один изо всех сил щелкнул каблуками. Низко расположенные уши Кина оглушила громкая боль. Другие раскачивались на носках, двое согнули колени. У некоторых слегка вздрагивали складки штанов, доверчивая симпатия выдавала себя острым углом, образуемым штанами и полом. Хоть бы один

мужчина, мечталось Кину, показал какой-нибудь бабе свое отвращение, предпочел тупой угол острому. Такого не было. Надо учесть время суток: только что люди покинули постели, своих законных жен, ведь весь дом был женат. Перед ними открывались день и работа. Они спешили выйти из дому. От их ног на зрителя веяло свежестью и желанием трудиться. Какие возможности! Какие силы! Жизнь их ждала, пусть не духовная, но все-таки жизнь, все-таки дисциплина, распорядок; знакомые цели; осознанные причины; некая ткань, некое произведение—ход их времени, распределенный сообразно с их собственной волей. А что встречалось им в парадном? Жена, дочь, кухарка соседа, и сводил их не случай. Так устраивали бабы; они караулили за дверями квартир; едва услышав шаги того, кого они приговорили к своей любви, они крались за ним, крались к нему, маленькие Клеопатры, сплошь готовые на любую ложь, льстивые, лебезящие, скулящие, чтобы привлечь к себе внимание, сулящие свою благосклонность, свою вину, безжалостно расцарапывающие прекрасный круглый день, к которому устремлялись мужчины, обладавшие силой и сноровкой, чтобы честно его разрезать. Ибо мужчины эти испорчены, — они живут в школе жен; у них, конечно, есть жены, но вместо того, чтобы обобщить свою ненависть, они бегут к следующей бабе.

Какая-то улыбнется, и они останавливаются. Как они унижаются, меняют планы, широко расставляют ноги, теряют время, выторговывают крошечные радости! Снимая шляпу, они опускают ее так низко, что дух захватывает. Если она падает наземь, к ней склоняется жеманно изогнутая рука, а следом ослабившееся лицо. Еще две минуты назад оно было серьезно. Данной особе удалось лишить мужчину его серьезности. Засаду бабы этого дома устраивают как раз перед глазком. Даже когда они делают что-то тайком, им нужно, чтобы ими любовался кто-то третий.

Но Кин ими не любовался. Он мог бы не замечать их, видит бог, ему это ничего не стоит, была бы воля. Способность не замечать у ученого в крови. Наука есть умение не замечать. Он не пользуется этим своим умением по вполне понятной причине. Бабы—невежды, они невыносимы и глупы, они—вечная помеха. Как богат был бы мир без них, огромная лаборатория, битком набитая библиотека, обитель напряженнейшего труда днем и ночью! Одно, впрочем, надо справедливости ради сказать, к чести женщины: они носят юбки, но не синие, насколько Кин мог наблюдать, ни одна из

женщин этого дома не напоминает о той, которая некогда скользила по этой площадке и в конце концов, правда слишком поздно, умерла жалкой, голодной смертью.

Около часу появился Бенедикт Пфафф и потребовал денег на обед. Он должен принести его из гостиницы, а при себе у него ни гроша. Государство платит ему пенсию по первым числам, а не в последний день месяца. Кин попросил оставить его в покое. Его дни здесь наперечет. Скоро он переберется наверх, в свою квартиру. До этого он хочет закончить научную работу у глазка. Задумана «Характерология по штанам» с «Приложением о ботинках». Есть у него нет времени; может быть, завтра.

— Ишь ты! — зарычал привратник. — Так не пойдет! Господин профессор, я по-хорошему прошу вас дать денег. В этой интересной позе человек может умереть с голоду. Я забочусь о вас!

Кин поднялся и бросил испытующий взгляд на штаны нарушителя спокойствия.

— Прошу вас немедленно покинуть *мое*... рабочее место!

Подчеркнув слово «мое», он сделал после него маленькую паузу и выпалил слова «рабочее место» как оскорбление.

Пфафф вытарашил глаза. Кулаки у него зачесались. Чтобы тут же не стукнуть Кина, он с силой потер их о нос. Профессор с ума сошел, что ли? *Его* рабочее место! С чего теперь начать? Переломить ему ноги, проломить череп, раздрызгать мозги или дать разок в живот для почина? Всташить его к его бабе? То-то будет ему радость! Убийцу она запрет в уборной, сказала она. Выбросить на улицу? Проломить стенку и запереть в задней комнате, где потерялась душа покойницы дочери?

Ничего из всего этого не произошло. По приказанию Пфаффа Тереза уже сварила обед, который стоял наверху наготове и на котором он, чего бы это ни стоило, пусть даже сладчайшей мести, должен был заработать. Он рад был бы стать и трактирщиком, не только атлетом. Вынув из кармана маленький висячий замок, он одним пальцем отстранил Кина, нагнулся и запер свой клапан.

— Моя дырка принадлежит мне! — рявкнул он. Кулаки налились снова. — Цыц! — прикрикнул он на них зло. Они недовольно ретировались в карманы. Там они притаились. Они были обижены. Они терлись шерстью о подкладку и рычали.

«Какие штаны! — подумал Кин. — Какие штаны!»
Одной профессии, и притом важной, не подалось ему за время утренних наблюдений: бандита-убийцы. И вот на том же, кто только что хладнокровно запер орудие, необходимое для его исследований, оказались типичные штаны бандита-убийцы: со вмятинами, с красноватым отливом от выцветшей крови, безобразно колышымые изнутри, потертые, липкие, толстые, темные, отвратные. Если бы звери носили штаны, они приводили бы их в точно такой же вид.

— Обед заказан! — прошипел зверь. — Что заказано, за то надо платить! — Пфафф свистом вызвал один кулак, раскрыл его против его воли и протянул ладонь. — Я приплачивать не стану, господин профессор, вы меня плохо знаете! Неуплаты по счету я не потерплю! Призываю вас в последний раз! Подумайте о своем здоровье! Что станет с человеком?

Кин не шевельнулся.

— Тогда я должен буду взыскать с вас долг!

Он взял его под арест, сказал: «Ну и скелет!», бросил скелет на кровать, обыскал все карманы, внимательно пересчитал найденные деньги, взял то, что причиталось за обед, ни на грош больше, назвал себя, ввиду своей честности, душой-человеком и пригрозил:

— Обед я *пришлю!* Меня вы не заслуживаете. Неблагодарность у вас в крови. Это нельзя так оставлять! Я вас предупреждаю! Моя дырка останется заперта. Такова жизнь! Большое количество штанов делает из вас преступника. Я должен быть настороже. Если вы будете вести себя прилично, то завтра я отопру, из уважения и жалости. Мне это знакомо. Будьте молодцом! В четыре вы получите кофе. В семь подадут скромный ужин. Заплатите потом! Или лучше заплатите сейчас!

Не успел Кин стать на ноги, как его уложили снова. Чтобы раз и навсегда избавиться от хлопот, Пфафф подсчитал стоимость недельного содержания, для полицейского он считал совсем недурно, уже на третий раз сумма показалась правильной, потому что была высока, он взыскал ее, написал под счетом: «С наилучшими пожеланиями Бенедикт Пфафф, старший чин на пенсии», бережно, потому что воспользовался ею сам, засунул эту бумажку под подушку, сплюнул (чем выразил отчасти свое разочарование профессором, отчасти разочарование своих кулаков их вынужденной бездеятельностью) и удалился. Дверь осталась цела. Однако он запер ее снаружи.

Кина больше интересовал другой замок. Он подер-

гал заслонку глазка, она немного поддалась, открыть ее, однако, нельзя было. Он обыскал всю каморку в надежде найти ключи. Вдруг какой-нибудь подойдет. Под кроватью ничего не было, шкаф он взломал. В нем оказались части старого обмундирования, горн, не бывшие в употреблении рукавицы, плотно перевязанный пакет с чистым, свежеевыглаженным женским бельем (сплошь белым), служебный револьвер, патроны и фотографии, которые он рассмотрел больше из ненависти, чем из любопытства. Широко расставив ноги, сидел отец, правую руку он арестующе держал на плече узкой женщины; левой он прижимал к себе ребенка лет разве что трех, испуганно висевшего у него над коленями. На обороте, толстыми, крикливыми буквами было написано: «Рыжий Кот в кругу семьи». Тут Кину подумалось о том, как бесконечно долго был женат привратник, прежде чем у него умерла жена. Этот портрет показывал его еще в самой середине супружеской жизни. Кин со злорадством зачеркнул слово «Кот», написал над ним «бандит-убийца», положил фотографию на самый верх, на те части обмундирования, которыми, судя по их положению, часто пользовались, и захлопнул дверцу шкафа.

Ключ! Ключ! Чего бы он ни отдал за ключ! Казалось, будто через каждую пору его кожи пропустили шнурок; будто кто-то сплел из всех этих шнурков канат, и эта крепкая, толстая, нескладная бечева тянется через глазок в коридор, где ее дергает целый полк штанов.

— Я же хочу, я же хочу, — стонал Кин, — мне не дают!

В отчаянии он бросился на кровать. Он вызвал в своем воображении виденное. Мужчины проходили мимо один за другим. Он возвращал их, он не прощал им их зависимости от женщин и осыпал их добавочными обвинениями. Много чего надо было еще обобщить и обдумать. Только бы ум оставался занят! Четырех японских небесных стражей—это были огромные уроды-страшилища—он поставил перед воротами своего ума. Они знают, что нельзя пускать внутрь. Разрешено то, что усиливает уверенность мыслей.

Проверка многих почтенных теорий неизбежна. И у науки есть свои слабые места. Основа всякого настоящего знания—сомнение. Это доказал уже Картезий. Почему, например, физика говорит о трех основных цветах? Важность красного цвета никто отрицать не станет. Тысячи доказательств говорят в пользу его элементарности. Против желтого можно возразить, что

в спектре он граничит с зеленым. А на зеленый, возникающий будто бы из смешения желтого с одним невыразимым цветом, надо смотреть с осторожностью, хотя он будто бы благоприятен для глаз. Лучше повернем факты иначе! То, что оказывает на глаза благотворное действие, не может состоять из компонентов, один из которых есть самое разрушительное, самое безобразное, самое бессмысленное, что можно вообще представить себе. Зеленый цвет не содержит синего. Произнесем это слово спокойно, это же и вправду только слово, не больше, прежде всего не основной цвет. Где-то в спектре, вероятно, прячется какая-то тайна, какая-то неведомая нам составная часть, которая, наряду с желтым цветом, участвует в возникновении синего. Физикам следовало бы поискать ее. А у них есть дела поважнее. Каждый день они наводняют мир новыми лучами, сплошь из невидимой части спектра. Для загадок нашего истинного света они нашли патентованный ответ. Третий основной цвет, которого нам не хватает, который мы знаем по его воздействию, а не по его сути, — это, утверждают они, синий. Берут слово, привязывают его к загадке, и загадка решена. Чтобы никто не распознал обмана, слово выбирают неприличное и одиозное; рассматривать его через увеличительное стекло люди, понятно, стесняются и побаиваются. Воняет, говорят они себе, и обходят стороной все, что отдает синим. Человек труслив. Когда надо принять решение, он предпочитает сто раз разбирать дело, может быть, удастся отбояриться от решения. Так и получилось, в существование какого-то призрачного цвета верят тверже, чем в бога. Синего цвета нет. Синий цвет — выдумка физики. Если бы он существовал, у типичных бандитов-убийц были бы волосы этого цвета. Как зовут привратника? Может быть, Синий Кот? Как бы не так — Рыжий!

К логическим доводам против существования синего цвета прибавляются эмпирические. С закрытыми глазами Кин пытается воссоздать картину чего-то, что общее мнение назвало бы синим. Он рассматривает море. От него идет приятный свет. Вершины леса, которые колышет ветер. Недаром поэты, глядя на лес с какой-нибудь вышки, сравнивают его с морем. Они делают это снова и снова. С некоторыми сравнениями они не могут расстаться. На то есть глубокая причина. Поэты — люди чувственного восприятия. Они видят лес. Он зеленый. В их памяти оживает другая картина, такая же громадная, такая же зеленая, — море. Значит, море зеленое. Над ним — купол неба. Небо в тучах. Они

черные и тяжелые. Приближается гроза. Она никак не разразится. Ни одного синего просвета на небе. День проходит. Как спешат часы! Почему? Кто их гонит? До наступления ночи хочется увидеть небо, его проклятый цвет. Он выдуман. К вечеру в тучах образуются разрывы. Пробивается ярко-красный свет. Где синий? Везде пылает красное, красное, красное! Затем наступает ночь. Разоблачение опять удалось. В красном не сомневался никто.

Кин смеется. Все у него получается, за что бы он ни взялся, все подчиняется его доказательствам. Наука осыпает его своими благодеяниями во сне. Правда, он не спит. Он только делает вид, что спит. Если он откроет глаза, они увидят запертый глазок. Он избавит себя от бесполезного огорчения. Бандита-убийцу он презирает. Когда тот снова вернет ему почетное место, то есть снимет этот висячий замок и извинится за свое наглое поведение, Кин снова откроет глаза, но не раньше.

— Пожалуйста, господин профессор! — отвечает известный голос.

— Тихо! — приказывает он. За синим цветом он забыл об известном голосе. Он уничтожит его, как эту неукоснительную юбку. Он еще крепче закрывает глаза и снова приказывает: «Тихо!»

— Пожалуйста, вот обед.

— Вздор! Обед придет привратник!

Он презрительно кривит рот.

— Он и послал меня. Я вынуждена! Разве бы я сама захотела?

Голос изображает возмущение. Маленькая хитрость заставит его замолчать.

— Мне не нужно никакого обеда!

Он потирает руки. Это он хорошо сделал. Он не станет вдаваться в ее глупости. Сильнейший полемист, он постепенно загонит ее в угол.

— Что же, бросить его, что ли! Жаль такого хорошего обеда. Кто же, доложу я, будет платить? Кто-то другой!

Голос позволяет себе вызывающие нотки. Он чувствует себя здесь как дома. Он ведет себя так, словно воскрес после живодерни. Какой-то искусник сшил все куски, великий искусник, гений. Он это умеет, он вдвухает в трупы их прежние звуки.

— Можете преспокойно бросить несуществующий обед! Ибо одно, дорогой мой труп, я вам сразу скажу. Страха у меня нет. Прошли те времена. С призраков я просто срываю их простыни! Все еще не слышно, как

падает на пол еда? Неужели я не расслышал шума? Да и осколков не вижу. Насколько мне известно, едят с тарелок. Фарфор, говорят, бьется. Может быть, я ошибаюсь. Я посоветовал бы вам рассказать мне теперь какую-нибудь историю о небьющемся фарфоре. Трупы находчивы. Я жду! Я жду!

Кин ухмыляется. Его жестокая ирония веселит его.

— Это, доложу я, не фокус. Открытые глаза что-нибудь да увидят! Слепым может притвориться любой!

— Я открою глаза, и если я тогда не увижу вас, то можете от стыда провалиться сквозь землю! До сих пор я играл честно. Я принимал вас наполовину всерьез. Но если я увижу то, чего из уважения к вам не хотел видеть, — что вы говорите, не находясь здесь, — тогда вам конец. Я вытаращу глаза так, что вы удивитесь! Я полезу пальцами туда, где находилось бы ваше лицо, если бы оно у вас было. Мои глаза открываются с трудом, им надоело ничего не видеть, но уж когда они откроются, горе вам! Взгляд, который готовится здесь, не знает жалости. Еще чуточку терпения! Я немного подожду, потому что мне жаль вас. Лучше исчезните сами! Я разрешаю вам совершить почетное отступление. Считаю до десяти, и моя голова будет пуста. Неужели всегда надо сразу проливать кровь? Мы культурные люди. Вам же будет лучше, поверьте мне! Кстати, эта каморка принадлежит одному бандиту-убийце. Предупреждаю вас. Если он придет, он убьет вас!

— Я не дам себя убить! — визжит голос. — Первую жену — да, вторую — нет!

Тяжелые предметы падают вдруг на Кина. Будь здесь кто-нибудь, он подумал бы, что в него швыряют обеденную посуду. Он умудрен опытом. Он ничего не видит, хотя держит глаза закрытыми, а это состояние благоприятствует галлюцинациям. Он слышит запах еды. Обоняние предало его. В его ушах стоит гул от ужасной ругани. Он не очень-то прислушивается. Однако в каждой фразе повторяется слово «убийца». Его веки держатся храбро. Все мускулы вокруг глаз плотно сжимаются. Бедные больные уши! По груди ползет какая-то жидкость.

— Я ухожу! — кричит голос, кто-то снова прислушивается к каждому слову. — И никакой еды больше не принесу. Убийцы пусть умрут с голоду. Тогда порядочные люди останутся в живых. Во всяком случае, он под замком. Тьфу, как скотина! Вся кровать полным-полна. Жильцы будут совать сюда нос. Дом скажет: сумасшед-

ший. Я скажу: убийца. Уйду отсюда. Жаль этих хлопот! Клетушка воняет. Я ни при чем. Обед был хороший. Сзади есть еще одна комната. Убийц надо замуровывать! Ухожу!

Вдруг наступает тишина. Другой бы сразу обрадовался. Кин ждет. Он считает до шестидесяти. Все еще тишина. Он произносит наизусть одну из речей Будды, в подлиннике, на языке пали, не из самых длинных. Зато он не пропускает ни одного слога и педантично повторяет то, что следует повторить. А теперь наполовину откроем левый глаз, говорит он совсем тихо, все спокойно, кто боится, тот трус. Правый глаз подстраивается. Оба смотрят в пустоту каморки. На кровати лежат несколько тарелок, поднос и прибор, на полу — разбитый стакан. Еще там кусок говядины, а по костюму рассыпался шпинат. Суп промочил его насквозь. Все пахнет обычно и правильно. Кто это принес? Ведь здесь никого не было. Он идет к двери. Она заперта. Он дергает ее, тщетно. Кто его запер? Привратник, когда уходил. Никакого шпината ведь нет. Он стряхивает его с себя. Осколки от стакана он собирает. Его заботы режут его. Течет кровь. Надо ли сомневаться в собственной крови? История повествует нам о самых странных заблуждениях. В столовый прибор входит нож. Чтобы проверить его, он отрезает себе — нож острый, и боль сильная — мизинец левой руки. Кровь течет ручьем. Он обматывает раненую руку белым полотенцем, висевшим на кровати. Это полотенце — салфетка. В углу ее он видит свою монограмму. Как она попала сюда? Словно кто-то сквозь потолок, стены и запертую дверь забросил сюда готовый обед. Окна целы. Он пробует мясо. Вкус правильный. Ему дурно, он голоден, он съедает все. Затаив дыхание, застыв и дрожа, он чувствует, как проходит по пищеводу каждый кусок. Кто-то пробрался сюда, когда он с закрытыми глазами лежал на кровати. Он прислушивается. Чтобы ничего не пропустить мимо ушей, он поднимает палец. Затем заглядывает под кровать и в шкаф и никого не находит. Кто-то здесь был, не сказал ни слова и опять удалился — от страха. Канарейки не запели. Зачем держат этих птиц. Он их не обижает. С тех пор как он здесь живет, он их не трогает. Они предали его. В глазах у него рябит. Вдруг канарейки начинают петь. Он грозит им перевязанным кулаком. Он смотрит на них: птицы синие. Они издеваются над ним. Он вынимает их одну за другой из клетки и сжимает им горло до тех пор, пока они не задыхаются. Он в восторге открывает окно и выбрасы-

вает трупы на улицу. Свой мизинец, пятый труп, он швыряет вдогонку. Как только он удаляет из комнаты все синее, стены пускаются в пляс. От резких движений они распадаются на синие пятна. Это юбки, шепчет он и уползает под кровать. Он начинает сомневаться в своем разуме.

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ

Однажды, волнуяще теплым вечером конца марта, знаменитый психиатр Жорж Кин шагал через палаты своей лечебницы. Окна были распахнуты. Между больными шла упорная борьба за ограниченное место у решеток. Головы ударялись одна о другую. На оскорбления не скупились. Почти все страдали от тревожного воздуха, который они весь день, иные буквально, впивали и глотали в саду. Когда санитары развели их по палатам, они были недовольны. Им хотелось еще воздуха, никто не признавался в своей усталости. До отхода ко сну они у решеток ловили дыхание вечера. Им казалось, что здесь они еще ближе к воздуху, наполнявшему их светлые, высокие залы.

Даже профессор, которого они любили, потому что он был красив и добр, не отвлек их от этого занятия. Вообще же при его приближении большинство обитателей палаты толпой бежали ему навстречу. Обычно они дрались между собой за его прикосновение рукой или словом, как дрались сегодня за места у окон. Ненависть, которую столь многие питали к заведению, где их не по праву держали силой, никогда не была по молодому профессору. Всего два года он был и номинально директором крупной клиники, которой прежде руководил лишь фактически, добрый ангел при начальнике-дьяволе. Все, кто считал себя жертвой произвола или действительно ею был, возлагали вину на всеильного, хотя и покойного уже предшественника.

Тот представлял официальную психиатрию с упорством безумца. Он считал истинной целью своей жизни использовать находившийся в его распоряжении огромный материал для подтверждения ходовых терминов. Типичные в его понимании случаи не давали ему покоя. Он дорожил законченностью системы и ненавидел сомневающих. Люди, особенно душевнобольные и преступники, были ему безразличны. В какой-то мере он признавал за ними право на жизнь. Они поставляли опыт, на основе которого авторитеты создавали науку. Он сам был одним из авторитетов. Скупой на слова,

брюзга, он произносил о создателях науки проникновенные речи, которые Жорж Кин, его ассистент, вынужден был, сгорая от стыда при виде такой ограниченности, выслушивать от начала до конца и от конца до начала— часами и стоя. При выборе между более жестким и более мягким заключением этот предшественник предпочитал более жесткое. Больным, докучавшим ему при каждом обходе одной и той же старой историей, он говорил: «Я все знаю». Жене он горько жаловался на то, что из-за своей профессии должен иметь дело с такими невменяемыми. Ей же поверял он и самые тайные свои мысли о сути душевных болезней, мысли, в которые он не посвящал публику лишь потому, что для системы они слишком просты и грубы, а значит, опасны. Сходят с ума, говорил он многозначительно, пронизывая жену пронизательным взглядом, отчего она краснела, сходят с ума как раз те, кто всегда думает только о себе. Безумие— это кара за эгоизм. Поэтому в психиатрических лечебницах собираются всяческие подонки. Тюремные выполняють такую же функцию, но науке нужны сумасшедшие дома как наглядные пособия. Ничего другого сказать он жене не мог. Она была на тридцать лет моложе его и скрашивала его старость. Первая жена удрала от него раньше, чем он успел засадить ее, как позднее вторую, в собственную лечебницу по поводу неизлечимого эгоизма. Третья, против которой он ничего, кроме своей ревности, не имел, любила Жоржа Кина.

Ей-то он и обязан был своей быстрой карьерой. Он был рослый, сильный, пылкий и надежный; в его чертах было что-то от той мягкости, которая нужна женщинам, чтобы чувствовать себя с мужчиной как дома. С первого же взгляда все называли его Адамом работы Микеланджело. Он прекрасно умел соединять ум с изяществом. Его блестящие способности получили, благодаря политике его возлюбленной, гениальный размах. Убедившись, что преемником ее мужа в руководстве лечебницей никто другой, кроме Жоржа, не станет, она пошла ради него на отравление, о котором даже умалчивала. Она обдумывала и готовила его годами. Муж умер без шума. Жорж сразу был назначен директором и женился на ней из благодарности за ее прежние услуги; о последней он понятия не имел.

В суровой школе своего предшественника он быстро сделался полной его противоположностью. С больными он обращался так, словно они люди. Он терпеливо выслушивал истории, которые слышал уже тысячи раз, и выказывал все новое удивление по поводу самых

старых опасностей и страхов. Он смеялся и плакал с тем пациентом, который в данную минуту сидел перед ним. Его распорядок дня был показателен: трижды, сразу после подъема, вскоре после полудня и поздно вечером, совершал он обход, ни на один день не упуская из поля зрения ни одного из приблизительно восьмисот больных. Достаточно было мимолетного взгляда. Обнаружив малейшую перемену, щелку, возможность пробраться в чужую душу, он не мешкал и брал соответствующего пациента с собой, в свою частную квартиру. Умно отпуская любезности, он вел его не в приемную, которой вообще не существовало, а в свой кабинет и усаживал его на лучшее место. Там он играючи завоевывал, если еще не обладал им, доверие людей, которые от любого другого спрятались бы за своими фантазмагориями. К королям он всеподданнейше обращался словами «ваше величество», перед богами падал на колени и молитвенно складывал руки. Поэтому самые важные лица снисходили до него и делились с ним всяческими подробностями. Он стал единственным, кому они доверяли, кого держали в курсе перемен, происходивших в их сфере, и к кому обращались за советом. Он давал им советы с большим умом, словно сам разделял их желания, ни на миг не забывая об их цели и об их вере, соблюдая осторожность, выражая сомнения в своей компетентности, никогда не позволяя себе с мужчинами властного тона, настолько скромно, что иные, улыбаясь, ободряли его: ведь, в конце концов, он их министр, пророк, апостол или, иной раз, камердинер.

Со временем он превратился в великого актера. Мышцы его лица, на редкость подвижные, приспосабливались в течение одного дня к самым различным ситуациям. Поскольку ежедневно он приглашал к себе минимум трех, обычно же, несмотря на свою основательность, большее число пациентов, ему приходилось исполнять столько же ролей—не считая брошенных как бы невзначай во время обходов, но бьющих в цель взглядов и слов, ибо им числа не было. Горячие споры в ученом мире вызывало его лечение шизофрении всякого рода. Если, например, больной вел себя как два человека, не имеющих между собой ничего общего или враждующих, Жорж Кин применял метод, который поначалу казался опасным ему самому; он вступал в дружеские отношения с обеими сторонами. Эта игра требовала фанатического упорства. Чтобы выяснить истинную сущность обеих, он поддерживал каждую аргументами, из воздействия которых выводил свои

заклучения. Из заклучений он строил гипотезы и придумывал тонкие эксперименты, чтобы их доказать. Затем он приступал к лечению. В собственном сознании он сближал разделенные части больного в том виде, в каком сам воплощал их, и медленно подгонял их друг к другу. Он чувствовал, в каких точках они уживаются одна с другой, и яркими, убедительными картинами направлял к этим точкам внимание обеих сторон до тех пор, пока оно не задерживалось здесь и не застревало автоматически. Внезапные кризисы, резкие разрывы и разломы, когда уже появлялась надежда на окончательное соединение, случались часто и были неизбежны. Не реже удавалось и исцеление. Неудачи он объяснял своей поверхностностью. Он проморгал какое-то скрытое звено, он портач, он работает спустя рукава, он жертвует живыми людьми ради своих мертвых убеждений, он не лучше своего предшественника—и он начинал сначала, начинал серию новых ухищрений и опытов. Ибо в правильность своего метода он верил.

Так жил он в бесчисленном множестве миров одновременно. Благодаря безумцам он вырос в один из крупнейших умов своего времени. Он больше учился у больных, чем давал им. Они обогащали его своими уникальными ощущениями; он только упрощал их, делая их здоровыми. Сколько ума и проницательности находил он у иных из них! Единственно они были настоящими личностями, обладателями совершенной односторонности, истинными характерами такой прямоты и силы воли, что им позавидовал бы Наполеон. Он знал среди них пламенных сатириков, более талантливых, чем любые писатели; их фантазии никогда не становились бумагой, они приходили из сердца, бившегося вне реальности, и набрасывались на нее, как чужеземные завоеватели. Алчущие добычи—лучшие указчики пути к богатствам нашего мира.

Сжившись с больными и целиком растворившись в их химерах, он отказался от чтения художественных произведений. В романах писалось одно и то же. Прежде он читал запоем и находил большое удовольствие в новых поворотах старых фраз, которые считал уже застывшими, бесцветными, затасканными и ничего не говорящими. Тогда язык для него мало что значил. Он требовал от него академической правильности; лучшие романы те, в которых люди говорили наиболее изысканно. Кто умеет выразиться так, как все писавшие до него, тот их законный преемник. Задача такового состоит в том, чтобы свести щербатое, кусачее, колючее многообразие жизни к гладкой бумажной

плоскости, по которой приятно скользить глазами. Чтение—это как поглаживание, другая форма любви, для дам и дамских врачей, чья профессия требует тонкого понимания интимного чтения дамы. Никаких обескураживающих оборотов, никаких незнакомых слов, чем протореннее путь, тем изощреннее удовольствие, которое он доставляет. Вся романная литература—сплошной учебник вежливости. Начитанные люди становятся поневоле воспитанными. Их участие в жизни других исчерпывается поздравлениями и соболезнованиями. Жорж Кин начинал как гинеколог. Его молодость и красота пользовались огромным спросом. В тот период, продолжавшийся лишь несколько лет, он увлекался романами Франции; в его успехе они сыграли существенную роль. С дамами он невольно обходился так, словно любил их. Каждая одобряла его вкус и делала из этого выводы. У этих обезьянок распространился обычай болеть. Он брал то, что сваливалось на него с неба, и с трудом поспевал за своими победами. Окруженный множеством готовых служить ему женщин, избалованный, богатый, благовоспитанный, он жил как принц Гаутама, прежде чем тот стал Буддой. У него не было заботливого отца-князя, который ограждал бы его от мирских бед, он видел старость, смерть и нищих в таком количестве, что уже и не видел. Огражден он все же был, но огражден книгами, которые читал, фразами, которые произносил, женщинами, которые окружали его жадной, плотной стеной.

На путь к своей бесприютности он вступил в двадцать восемь лет. Во время визита к пышной и настырной жене одного банкира—она заболела всегда, когда уезжал муж, — он познакомился с его братом, безобидным безумцем, которого семья из престижных соображений держала, как пленника, дома, даже санаторий казался банкиру подрывом авторитета. Две комнаты его смешной виллы были выделены брату, который властвовал здесь над своей санитаркой, молодой вдовой, отданной ему в тройную неволю. Она не смела оставлять его одного, она обязана была во всем подчиняться ему, а знакомым выдавать себя за его секретаршу, ибо его изображали нелюдимым художником-чудаком, тайне работающим над огромным производением. Ровно столько и было известно Жоржу Кину как лейб-медику дамы.

Чтобы защититься от ее приторной любезности, он попросил ее показать ему художественные сокровища виллы. Согласившись, она неуклюже поднялась с одра болезни. Перед портретами обнаженных, но красивых

женщин — только такие собирал ее муж — она надеялась найти более удобные соединительные мосты. Она восторгалась Рубенсом и Ренуаром.

— Эти женщины, — повторила она любимые слова мужа, — сотканы Востоком.

Прежде ее муж торговал коврами. Таким же проявлением Востока он считал всякую пышность в искусстве. Мадам наблюдала за доктором Жоржем с великим участием. Она называла его по имени, потому что он мог быть ее «младшим братом». Где задерживались его глаза, там останавливалась и она. Вскоре она, показала ей, обнаружила, чего ему не хватает.

— Вы страдаете! — сказала она театрально и опустила взгляд на свою грудь. Доктор Жорж не понял. Он был такой деликатный.

— Гвоздь коллেকции висит у моего деверя! Он совершенно безобиден.

От той действительно бесстыдной картины она ожидала большего. Когда в дом стали заходить образованные люди, ее муж вынужден был, рывкнув, что хозяин здесь *он*, выдворить свою действительно любимую картину, первую, которую ему посчастливилось купить по дешевке (он покупал принципиально только дешевое и платил наличными), в апартаменты большого брата. Доктор Кин не выказал особой охоты встречаться с помешанным. Он полагал, что увидит ухушенный слабоумием вариант банкира. Мадам стала уверять, что та картина представляет собой большую ценность, чем все остальные, вместе взятые; она имела в виду художественную ценность, но в ее устах это слово приобретало то недвусмысленное звучание, которое, как и все здесь, шло от ее мужа. В конце концов она предложила ему взять ее под руку, он повинился и пошел с ней. Нежности на ходу показались ему более безобидными, чем при стоянии на месте.

Дверь, которая вела к деверю, была заперта. Доктор Жорж позвонил. Послышалось тяжелое шарканье. Затем наступила мертвая тишина. В смотровом отверстии появился чей-то черный глаз. Мадам приложила палец к губам и нежно ослабилась. Глаз пребывал в неподвижности. Они терпеливо ждали. Врач досадовал на свою вежливость и на осязательную потерю времени. Вдруг дверь бесшумно отворилась. Горилла в одежде выступила вперед, вытянула длинные руки, положила их на плечи врача и поздоровалась с ним на незнакомом языке. На женщину больной не обратил внимания. Его гости пошли за ним. У круглого стола он предложил им сесть. Его жесты были грубые, но понятные и привет-

ливые. По поводу его языка доктор ломал себе голову. Язык этот больше всего напоминал какое-то негритянское наречье. Гориллообразный привел свою секретаршу. Она была едва одета и явно смущена. Когда она села, ее хозяин указал на висевшую на стене картину и хлопнул секретаршу по спине. Она дерзко прижалась к нему. Ее робость исчезла. Картина изображала совкупление двух обезьяноподобных людей. Мадам поднялась и стала рассматривать ее с разных расстояний, со всех возможных сторон. Мужчину гориллообразный задерживал, он, по-видимому, намеревался объяснить ему что-то. Для Жоржа каждое слово было внове. Уразумел он только одно: пара у стола состояла в близком родстве с парой, изображенной на картине. Секретарша понимала своего хозяина. Она отвечала ему похожими словами. Он стал говорить энергичнее, более взволнованно, за его звуками настойчиво таились аффекты. Она иногда вставляла какое-нибудь французское слово, возможно, чтобы намекнуть, о чем идет речь.

— Не по-французски ли вы говорите? — спросил Жорж.

— Ну конечно, сударь! — ответила она с жаром. — Что вы обо мне думаете? Я парижанка!

Она обрушила на него поток слов, которые плохо произносила и еще хуже связывала, словно уже наполовину забыв язык. Гориллообразный зарычал на нее, она тотчас умолкла. Его глаза сверкали. Она положила руку ему на грудь. Тут он заплакал, как дитя.

— Он ненавидит французский язык, — прошептала она гостю. — Он уже много лет трудится над собственным языком. Работа еще не совсем закончена.

Мадам не отрывалась от картины. Жорж был благодарен ей за это. Одно ее слово лишило бы его всякой вежливости. Он сам не находил слов. Заговорил бы только снова гориллообразный! От этого единственного желания пропадали все мысли об ограниченном времени, об обязательствах, женщинах, успехах, словно он с самого рождения искал человека или гориллу, которые обладали бы своим собственным языком. Плач завораживал его меньше. Вдруг он встал и отвесил гориллообразный низкий и благоговейный поклон. К французским звукам он прибегать не стал, но лицо его выразило величайшее уважение. В ответ на такую почтительность к ее хозяину секретарша приветливо закивала головой. Тут гориллообразный перестал плакать, заговорил на своем языке и позволил себе прежнюю властность. Каждому слогу, который он

произносил, соответствовало определенное движение. Обозначения предметов, казалось, менялись. Картину он имел в виду сотни раз и каждый раз называл ее по-иному; названия зависели от указывающего жеста. Ни один звук, производимый и сопровождаемый всем телом, не звучал безразлично. Смеясь, гориллообразный разводил руки в стороны. Казалось, что лоб находится у него на затылке. Волосы там так стерлись, словно он непрерывно скреб их в часы своей творческой деятельности.

Вдруг он вскочил и со страстью бросился на пол. Жорж заметил, что пол был засыпан землей, наверняка очень толстым слоем. Секретарша потянула лежавшего — он был слишком тяжел для нее — за пиджак. Она взмолилась, чтобы гость помог ей. Она ревнует, сказала она, она так ревнует! Они вместе подняли гориллообразного. Едва усевшись, он начал рассказывать о том, что испытал там, внизу. В нескольких могучих словах, брошенных в комнату, как живые бревна, Жорж услышал мифическое любовное приключение. Он показал себе клопом рядом с человеком. Он спросил себя, как может он понять идущее из глубин, которые на тысячи саженей глубже тех пределов, куда он когда-либо осмеливался спускаться. Какая это самонадеянность с твоей стороны, если ты, благовоспитанный, покровительственно-снисходительный, с душой, все поры которой заросли жиром и обрастают им каждый день, получеловек для практического употребления, не обладающий мужеством быть, потому что «быть» означает в нашем мире «быть другим», если ты, собственный графарет, напыщенная реклама портного, ты, приходящий в движение или в состояние покоя по милости случая, то есть по воле случайности, ни на что не влияющий, ни над чем не властный, твердящий всегда одни и те же пустые фразы, понимаемый всегда с одинакового расстояния, — если ты сидишь за одним столом с таким существом! Ведь где живет тот нормальный человек, который определяет, изменяет, формирует ближнего? Женщины, пристающие с любовью к Жоржу и готовые отдать ему свою жизнь, особенно когда он их обнимает, остаются потом в точности тем же, чем они были раньше, холеными зверюшками, занятыми косметикой или мужчинами. А эта секретарша, некогда обычная баба, ничем не отличавшаяся от других, стала благодаря могучей воле гориллы существом самобытным — сильнее, взволнованнее, самозабвеннее. В то время как он воспевает свое похождение с землей, ее, секретаршу, охватывает беспокойство. Она

вставляет в его рассказ ревнивые взгляды и замечания, беспомощно ерзает на стуле, щиплет его, улыбается, высовывает язык; он не замечает ее.

Мадам картина уже не доставляет удовольствия. Она заставляет Жоржа встать. К ее удивлению, он прощается с ее деверем так, словно тот — Крез, а с секретаршей так, словно у нее в кармане свидетельство о браке с Крезом.

— Он живет на средства моего мужа! — говорит она за дверь, неверных мнений она не любит, об отторгнутой части наследства она умалчивает. Деликатный доктор просит разрешения пользоваться безумца, из научного интереса, для собственного удовольствия, за которое господин супруг, конечно, не должен платить. Она сразу же понимает его превратно и соглашается при условии, что она будет присутствовать на сеансах. Услыхав чьи-то шаги, — может быть, это вернулся муж, — она быстро говорит:

— Планы господина доктора мне так любопытны!

Жорж принимает ее в придачу. Как пережиток прошлого, он перетаскивает ее в свою новую жизнь.

На протяжении нескольких месяцев он приходил ежедневно. Его восхищение гориллообразным возрастал от визита к визиту. С бесконечным трудом он изучил его язык. Секретарша помогала ему весьма мало; когда она слишком часто сбивалась на свой родной французский, она казалась себе отвергнутой. За предательство по отношению к мужчине, которому она была безоговорочно предана, она заслуживала наказания. Чтобы не портить гориллообразному настроения, Жорж отказался от окольного пути через какой бы то ни было другой язык. Он вел себя как ребенок, которого одновременно со словами обучают и связям вещей. Тут связи были первоосновой, обе комнаты и их содержимое растворялись в силовом поле аффектов. У предметов не было — в этом первое впечатление подтвердилось — определенных названий. Назывались они в зависимости от эмоции, в какой в данный момент они пребывали. Их облик менялся для гориллообразного, который вел буйную, напряженную, богатую, грозную жизнь. Его жизнь переходила на них, они принимали в ней деятельное участие. Он вселил в две комнаты целый мир. Он сотворил то, что ему было нужно, и после своих шести дней, на седьмой, разобрался в этом. Вместо того чтобы почивать на лаврах, он подарил своему творению язык. То, что было вокруг него, вышло из него. Ибо убранство, которое он здесь застал, и рухлядь, которую постепенно перетаскивали к

нему, давно носили следы его влияния. С иномирянником, прилетевшим вдруг на его планету, он обращался терпеливо. Возвраты гостя к языку преодоленного, бледного времени он прощал, потому что сам некогда принадлежал к людям. К тому же он, наверно, и замечал, какие успехи делает иномирянин. Меньший сначала, чем его тень, тот вырастал в достойного друга.

Жорж был в достаточной мере ученым, чтобы опубликовать статью о языке этого безумца. На психологию звуков пролился новый свет. Горячо обсуждаемые проблемы науки решило гориллообразное существо. Дружба с ним принесла славу молодому врачу, который раньше знал только успех. Из благодарности Жорж оставил больного там, где тому нравилось быть. Он отказался от попытки исцеления. В свою способность превратить гориллообразного безумца снова в обманутого брата банкира он, видимо, верил, после того как овладел его языком. Но он остерегся преступления, на которое его подбивало только чувство внезапно обретенной власти, и переключился на психиатрию, — в восторге от великолепия безумцев, представлявших ему схожими с его другом, и с твердой решимостью учиться у них и никого не исцелять. Изящной словесности с него было довольно.

Позднее, набравшись всяческого опыта, он научился различать между безумцами и безумцами. В общем его восторг не угасал. Горячее сочувствие людям, достаточно сильно отделившимся от остальных, чтобы считаться безумцами, охватывало его при встрече с каждым новым пациентом. Иные обижали его чувствительную любовь, особенно те слабые натуры, которые, перемогаясь от приступа к приступу, тосковали о промежутках просветления — этикие евреи, жалевшие о котлах с мясом в Египте. Он делал им одолжение и возвращал их в Египет. Пути, которые он придумывал для этого, были, конечно, столь же чудесны, как пути господа при исходе его народа. Методы, рекомендованные им для совершенно определенных случаев, применяли вопреки его воле и к другим, на которые он, полный преданности своему гориллообразному другу, из благоговения никогда бы не посягнул. Его идеи получали распространение. Директор лечебницы, чим ассистентом он был, радовался шуму, который еще делала его школа. Труд его жизни уже привыкли считать законченным. А вон какие коленица откалывает, оказывается, ученик!

Когда Жорж ходил по парижским улицам, случилось, что он встречал кого-нибудь из вылеченных им

пациентов. Его обнимали и чуть ли не сбивали с ног, словно он был хозяин большой собаки и вернулся домой после длительного отсутствия. За своими дружескими расспросами он скрывал одну тайную надежду. Говоря о здоровье, о работе, о планах на будущее, он ждал маленьких реплик вроде: «Тогда было лучше!» — или: «Какая у меня теперь пустая и глупая жизнь!», «Лучше бы мне опять заболеть!», «Зачем вы сделали меня здоровым?», «Люди не знают, какие великолепные вещи таятся в голове», «Душевное здоровье — это своего рода тупоумие», «Следовало бы прекратить вашу деятельность! Вы отняли у меня самое драгоценное», «Я ценю вас только как друга. Ваша профессия — преступление перед человечеством», «Стыдитесь, сапожник, калечащий души!», «Верните мне мою болезнь!», «Я подам на вас в суд!», «Что ни врач, то и портач!».

Вместо этого сыпались комплименты и приглашения. Люди выглядели толстыми, здоровыми и обыкновенными. Их язык ничем не отличался от языка любого прохожего. Они торговали или обслуживали окошечко в учреждении. В лучшем случае они стояли у станка. Когда он еще называл их своими друзьями и гостями, они терзали себя какой-нибудь невероятной виной, которую они будто бы несли за всех, своей, может быть, мелкостью, до смешного не соответствующей крупности обычных людей, завоеванием мира, смертью, которую теперь они снова принимали как что-то естественное. Их загадки погасли, прежде они жили для загадок, теперь для всего, что давно разгадано. Жорж стыдился, хотя его и не призывали к этому. Родственники больных обожествляли его, они рассчитывали на чудо. Даже при несомненных телесных повреждениях они верили, что он уж как-нибудь справится. Его коллеги по специальности поражались и завидовали ему. Его мысли захватывали их сразу, они были просты и ясны, как всякие великие мысли. Как же никто не додумался до этого раньше! Спешили урвать крохи от его славы, присоединяясь к его взглядам и испытывая его методы в самых разнородных случаях. Нобелевская премия была ему обеспечена. Кандидатуру его называли давно; из-за его молодости казалось, что лучше подождать еще несколько лет.

Так его новая профессия перехитрила его. Он начал из чувства бедности, в глубоком благоговении перед безднами и горами, которые он исследовал. И через короткое время из него получился как бы спаситель, окруженный восьмьюстами друзьями — какими друзь-

ями! — обитающими в его лечебнице, почитаемый тысячами, которым он возродил их близких, ибо при отсутствии у человека таких близких, которых можно мучить и любить, ему кажется, что и жить не стоит.

Трижды в день, когда он обходил палаты, ему устраивали орации. Он к этому привык; чем поспешнее бежали ему навстречу, чем яростнее осаждали его, тем вернее находил он нужные слова и мимику. Больные были его публикой. Уже у первого корпуса он слышал знакомый гул голосов. Стоило кому-нибудь увидеть его в окно, как шум приобретал определенное направление и определенный порядок. Этого перелома он ждал. Казалось, будто все вдруг захлопали. Он невольно улыбался. Бесчисленные роли вошли в его плоть и кровь. Его душа жаждала ежеминутных метаморфоз. Добрый десяток ассистентов следовал за ним, чтобы учиться. Многие были старше, большинство трудились на этом поприще дольше, чем он. Они смотрели на психиатрию как на особую область медицины, а на себя как на чиновников, ведающих умалишенными. Все, что относилось к их делу, они усваивали с усердием и надеждой. Порой они вдавались в безумные утверждения больных, как то рекомендовали учебники, из которых они черпали свои знания. Они все, как один, ненавидели молодого доктора, ежедневно твердившего им, что они слуги, а не эксплуататоры больных.

— Видите, господа, — говорил он им, оставаясь с ними наедине, — какие мы жалкие тупицы, какие унылые зануды по сравнению с этим гениальным параноиком. Мы сидим, а он одержим. Мы сидим на чужом опыте, а он одержим собственным. В полном одиночестве, как Земля, несется он через свой космос. Он *вправе* бояться. Он затрачивает больше ума на то, чтобы объяснить и защитить свой путь, чем мы все вместе на объяснение и защиту своих путей. Он верит в то, что инсценируют ему его чувства. Мы своим здоровым чувствам не доверяем. Немногие среди нас верующие цепляются за то, что тысячи лет назад пережили для них другие. Нам нужны видения, откровения, голоса — молнии близости к вещам и людям, — и если их нет в нас самих, мы берем их из традиции. Мы становимся верующими от собственной бедности. Еще более бедные отказываются и от этого. А он? Он аллах, пророк и мусульманин в одном лице. Разве чудо перестает быть чудом оттого, что мы приклеиваем к нему ярлык «*raganoia chronica*»? Мы сидим на своем толстом разуме, как скупцы на своих деньгах. Разум, как мы его понимаем, — это недоразумение. Если есть

жизнь чисто духовная, то ею живет этот сумасшедший!

С наигранным интересом слушали его ассистенты. Когда дело шло об их карьере, они не гнушались притворства. Гораздо важнее общих его замечаний, над которыми они втайне подтрунивали, были для них его специальные методы. Они запоминали каждое слово, которое он в счастливый миг озарения бросал больному, и, соревнуясь, пускали его в ход — в твердом убеждении, что достигают этим точно того же, что и он.

Один старик, пробывший в лечебнице уже девять лет, по профессии деревенский кузнец, разорился когда-то из-за того, что в его родном краю стало много автомобилей. После нескольких недель нищеты жена его не выдержала и сбежала от него с каким-то унтер-офицером. Однажды утром, когда он, проснувшись, стал жаловаться на их горе, она не ответила ему и не оказалась на месте. Он искал ее по всей деревне, двадцать три года прожил он с ней, она пришла в дом ребенком, он женился на ней, когда она была совсем еще девочкой. Он искал ее в близлежащем городе. По совету соседей он справился в казарме о сержанте Дельбёфе, которого ни разу в жизни не видел. Тот уже три дня как пропал, сказали ему, наверняка удрал за границу, а то ведь ему несдобровать бы как дезертиру. Нигде не нашел жены кузнец. На ночь он остался в городе. Соседи дали ему денег в долг. Он заходил в каждый трактир, заглядывал под столы и лепетал: «Жанна, ты здесь?» Под скамейками ее тоже не было. Когда он заглядывал за стойку, люди кричали: «Он лезет за выручкой!» — и оттаскивали его прочь. Отроду его все считали человеком честным. За все время брака он ни разу не бил жену. Она всегда смеялась над ним, потому что он косил на правый глаз. Он с этим мирился. Он говорил только: «Меня зовут Жан! Вот я сейчас задам тебе!» Так хорошо он к ней относился.

В городе он рассказывал людям о своей беде. Каждый давал ему добрый совет. Один грязный сапожник сказал, что ему, кузнецу, надо бы радоваться. Сапожника он чуть не убил. Позднее он встретил одного мясника. Тот помог ему искать, потому что считал полезным для себя двигаться ночью, он был толстяк. Они подняли на ноги полицию и обследовали реку — не плавает ли там труп. К утру нашли одну женщину, но та принадлежала кому-то другому. Стоял густой туман, и Жан-кузнец заплакал, когда это оказалась не она. Мясник тоже заплакал, и его вырвало в реку. Ранним утром он повел Жана на скотобойню.

Здесь каждый знал его и здоровался с ним. Мычали телята, пахло свиной кровью, свиньи визжали, Жан кричал громче: «Жанна, ты здесь?»—и мясник тоже орал, кто уж тут слушал телят: «Этот кузнец мой друг! Его жену доставили сюда! Где она?» Люди качали головами. Жену теперь поминай как звали, бушевал мясник, они забили ее. Он стал искать ее среди свиней, те висели длинной вереницей. Вот она, хрюшка!—рявкнул он. Жан осмотрел ее со всех сторон, обнюхал, он уже давно не ел кровяной колбасы, он был до нее большой охотник. И, нанюхавшись досыта, он сказал: это не моя жена. Тут мясник разозлился и выругался: убирайся к черту, идиот!

Жан заковылял к станции, жена была его болевшей ногой, деньги кончились. Он занял: «Как я доберусь до дому?»—и лег на рельсы. Вместо паровоза явился какой-то добрый человек, нашел его и подарил ему билет из-за жены. В поезде билет оказался недействительным. «Но ведь он же подарил мне его!—сказал Жан, — у меня ушла жена!» В карманах он не нашел ни одного су, на следующей станции его высадила полиция. «Она здесь? Где она?»—лепетал Жан, бросаясь полицейским на шею. «Вот она где!»—сказала полиция, указала на себя и увела его с собой. Так он очутился в камере, где бушевал много дней, а жена пропала совсем. Он нашел бы ее.

Вдруг его отпустили домой. Может быть, она вернулась, подумал он. Кровать исчезла, стол исчез, стулья исчезли, все исчезло. В пустой дом жена уже никогда не вернется.

— Почему дом пустой?—спросил он соседей.

— Ты должен нам деньги, Жан.

— Где теперь спать жене, если она придет?—спросил Жан.

— Жена не придет. Она с молодым сержантом. Спи себе на полу, ты теперь бедняк!

Жан засмеялся и поджег деревню. Из горящего дома одного своего родственника он вынес кровать жены. Прежде чем вытащить ее, он задушил спавших младенцев, трех мальчиков и девочку. В эту ночь у него было много работы. Пока он нашел стол, стулья и все, что принадлежало ему, сгорел его собственный пустой дом. Он отнес свое добро в поле, расставил вещи, как они стояли раньше, и стал звать Жанну. Затем он лег на кровать. Он оставил ей много места, но она не пришла. Долгое время он лежал и ждал. Голод мучил его, особенно по ночам, кто может представить себе такой голод. Он чуть не встал от голода, дождь лил ему в

рот, он пил и пил. Когда было светло, он ловил звезды, ему хотелось схватить их, он ненавидел голод. Когда ему стало совсем неважно, он дал обет. Он поклялся пречистой девой не вставать, пока жена не услышит и не ляжет с ним рядом. Потом его нашла полиция и нарушила его клятву. Он сдержал бы ее. Соседи хотели его убить. Вся деревня сгорела. Он радовался и кричал: «Это я! Это я!» Полиция испугалась и быстро уехала.

В новой камере сидел один учитель. Поскольку у того было красивое произношение, он, Жан, рассказал ему свою историю.

— Как вас зовут? — спросил учитель.

— Жан Преваль!

— Глупости! Вас зовут Вулкан! Вы косите и хромаете. Вы кузнец. Хороший кузнец, если вы хромаете. Так *поймайте* жену!

— Поймать?

— Вашу жену зовут Венера, а сержанта зовут Марс. Я расскажу вам одну историю. Я человек образованный. Я только крал.

И Жан стал слушать, широко раскрыв глаза. Такая новость, можно поймать ее! Это нетрудно. Один старый кузнец это сделал. Жена обманывала его с одним солдатом, сильным, молодым парнем. Когда Вулкан-кузнец уходил на работу, этот красавчик Марс прокрадывался в дом и спал с женой. Домашний петух увидел это, возмутился и донес обо всем хозяину. Вулкан выковал сеть, такую тонкую, что ее не было видно, — старые кузнецы знали толк в своем деле, — и ловко опутал ею кровать. Они туда и забрались, баба и солдат. Тут петух полетел к хозяину и прокукарекал: «Они дома». Кузнец быстро собрал родственников и всю деревню. Сегодня я устрою вам праздник, подождите здесь, подождите немного! Он тихонько пробрался в дом, к кровати, увидел жену с красавчиком и чуть не заплакал. Двадцать три года прожил он с ней и ни разу не бил ее! Соседи ждали. Он затянул сеть, затянул туго, они попались, он ее поймал, жену. Красавца он отпустил на волю, каждый житель деревни смазал его по морде. Потом все они пришли и спросили: где твоя жена? Кузнец ее спрятал. Ей было стыдно, он был доволен. *Вот как* надо поступать! — сказал учитель. История эта истинная. На память о ней именами этих людей названы три звезды — Марс, Венера, Вулкан. На небе их можно увидеть. Чтобы увидеть Вулкана, надо иметь хорошее зрение.

— Теперь я знаю, — сказал Жан, — почему я ловил звезды.

Позднее его увели оттуда. Учитель остался в камере. Зато Жан нашел нового друга. Этот человек был красив. С ним можно было говорить. Все хотели к нему. Жан ловил жену. Иногда дело кончалось удачно. Тогда он радовался. Он часто бывал печален. Тогда в палату приходил его друг и говорил:

— Да она ведь, Жан, в сети, разве ты не видишь ее?

Он всегда бывал прав. Друг только открывал рот, и жена уже была тут как тут. Ты же косишь, говорила она Жану. Он смеялся, он смеялся и грозил: вот я сейчас задам тебе! Меня зовут Жан!

Этот кузнец, пробывший в лечебнице уже девять лет, вовсе не был неизлечим. Попытки директора разыскать его жену успехом не увенчались. Даже если бы ее нашли—кто смог бы заставить ее вернуться к мужу? Жорж воображал, как бы он в самом деле довел до конца сцену, доставлявшую радость его кузнецу. Он соорудил бы у себя в квартире кровать и сеть, жена наконец появилась бы. Жан тихонько вошел бы и стянул сеть. Они говорили бы друг другу прежние свои слова. Жан волновался бы все больше и больше. Сеть и девять лет ушли бы в небытие. Ах, добыть бы мне эту женщину! — вздыхал Жорж.

Каждодневно он помогал Жану обрести ее. Он с такой силой желал ее появления, что мог протянуть ему эту женщину, словно носил ее с собой. Ассистенты, его обезьяны, полагали, что тут кроется какой-то таинственный эксперимент. Может быть, он вылечит его этими словами. Кому из них случалось зайти в палату одному, тот непременно произносил волшебную формулу.

— Да она ведь, Жан, в сети, разве ты не видишь?

Грустил ли Жан или был весел, слушал ли их или закрывал себе уши, они осаждали его этой доброжелательной выдумкой своего учителя. Если он спал, они будили его, если замыкался в себе, они на него прикрикивали. Они тормозили и толкали его, корили его за тупость и глумились над памятью об его жене.

Эта фраза, одна и та же, произносилась на тысячи ладов, в зависимости от их нрава и настроения, и когда все оказывалось без толку, — кузнецу они были безразличны, как воздух, — у них появлялась еще одна причина смеяться над директором. Годами повторял этот чудак свою нехитрую попытку и все еще надеялся одной фразой вернуть разум неизлечимому!

Жорж уволил бы их всех до одного; связывали его с ними контракты его предшественника. Он знал, что они относятся к больным недоброжелательно, и боялся за

судьбу больных, если он вдруг умрет. Мелочного саботирования своего безусловно самоотверженного и полезного даже на их взгляд труда он не понимал. Постепенно он окружил бы себя людьми, которые были бы в достаточной мере художниками, чтобы ему помогать. В сущности, ассистенты, доставшиеся ему от предшественника, боролись за свое существование. Они чувствовали, что с ними ему нечего делать, и подбирали крохи его мыслей, чтобы по истечении своих контрактов пристроиться где-нибудь хотя бы на правах его способных учеников. Весьма чуток он был и к происходящему в людях, слишком простых, вялых и от природы уравновешенных, чтобы когда-либо сойти с ума. Когда он уставал и хотел отдохнуть от высокого напряжения, которым его заряжали его безумные друзья, он погружался в душу какого-нибудь ассистента. Все, что совершал Жорж, разыгрывалось в посторонних людях. В том числе его спокойствие; только спокойствие здесь ему было очень трудно найти. Удивительные открытия сместили его. Что, например, думали о нем эти душонки? Несомненно, они искали какого-то объяснения его успехов и его ясновидящей преданности, которую он доказывал своим больным. Наука приучила их верить в причины. Будучи людьми чинного темперамента, они свято держались господствующих обычаев и взглядов своего времени. Они любили наслаждение и объясняли всех и вся желанием наслаждения; эта модная мания времени владела всеми умами и мало чего достигала. Под наслаждением они понимали, конечно, традиционные непристойности, которые, с тех пор как есть на свете животные, выделяет с позорной неумомимостью индивидуум.

О более глубокой, истинной движущей силе истории, о стремлении человека раствориться в некоем более высоком разряде животного мира, в массе, потерявшись в ней до такой степени, словно человека-одиночки вообще никогда не существовало, они не подозревали. Ибо они были людьми образованными, а образование — это крепостной вал индивидуума для защиты от массы в нем самом.

Наша так называемая борьба за существование — это не в меньшей мере, чем за пищу и за любовь, борьба за то, чтобы убить массу в нас самих. Порой она становится настолько сильна, что толкает индивидуум на самоотверженные или даже противные его интересам поступки. Уже давно, еще до того, как придумали это разжижающее понятие, «человечество» существовало в виде массы. Чудовищное, дикое, могу-

чее и жаркое животное, она бродит в нас всех, она бурлит в глубинах куда более глубоких, чем материнские. Несмотря на свою древность, она — самая молодая живая тварь, самое важное творение земли, ее цель и ее будущее. Мы ничего не знаем о ней; мы все еще живем так, словно мы индивидуумы. Иногда масса захватывает нас, как гремящая гроза, как единый бушующий океан, где каждая капля — живая и хочет одного и того же. Она, масса, еще, бывает, вдруг распадается, и тогда мы — это опять мы, бедные, одинокие. Вспоминая, мы не понимаем, как это нас могло быть так много, как это мы могли быть такими большими и такими едиными. «Болезнь», — объясняет побитый разумом, «зверь в человеке», — успокаивает агнец смирения, и обоим невдомек, до чего это близко к истине. А масса в нас готовится между тем к новому натиску. Однажды она не распадется, сперва, может быть, в каком-нибудь одном земном краю, а оттуда станет пожирать все вокруг себя, пока ни у кого не останется ни малейшего сомнения в ней, потому что больше не будет никаких «я», «ты», «он», а будет только она, масса.

Одним своим открытием Жорж немного гордился, именно этим: роль массы в истории и в жизни индивидуума, ее влияние на определенные изменения души. У своих больных ему удалось их обнаружить. Бесчисленное множество людей сходит с ума потому, что в них особенно сильна и не находит удовлетворения масса. Точно так же объяснял он себя самого и свою деятельность. Прежде он жил ради своих личных пристрастий, ради своего честолюбия и ради женщин; теперь у него была одна забота — непрестанно терять себя. В такой деятельности он подошел к желаниям и чувствам массы ближе, чем прочие индивидуумы, его окружавшие.

Его ассистенты искали более соответствовавшего им объяснения. Почему, спрашивали они, директор в таком восторге от безумцев? Потому что он сам безумен, только наполовину. Почему он лечит их? Потому что не может смириться с тем, что они безумны почище, чем он. Он завидует им. Их присутствие не дает ему покоя. Они считаются чем-то особенным. Его снедает болезненное стремление привлечь к себе столько же внимания, сколько привлекают к себе они. Мир считает его нормальным ученым. Большого он наверняка не добьется. Он умрет директором клиники, находясь в здравом уме, и, надо надеяться, скоро. Я хочу быть сумасшедшим! — кричит он, как

малый ребенок. Это его смешное желание идет, конечно, от какого-то впечатления юности. Надо бы его разок обследовать. Просьбу подвергнуться такому обследованию он, конечно, отклонил бы. Он эгоист, с такими людьми лучше не связываться. Представление о душевнобольном с юности связано у него с похотью. Он боится импотенции. Если бы он мог убедить себя в том, что он сумасшедший, он не знал бы полового бессилия. Любой безумец доставляет ему больше радости, чем он сам себе. Почему они должны брать от жизни больше, чем я?—жалуется он. Совершенно ущемленным чувствует он себя. Он страдает от комплекса неполноценности. Из зависти он изводит себя до тех пор, пока не вылечивает их. Любопытно, что чувствует он в тот миг, когда снова выписывает кого-нибудь из лечебницы. Ему не приходит в голову, что появятся новые. Он пробавляется маленькими сиюминутными триумфами. Вот что такое эта знаменитость, которой восхищается мир!..

Сегодня, при последнем обходе, они даже внешне не выказывали служебного рвения. Было слишком тепло, перемена погоды в последние дни марта обременяла их пошлые души. Они чувствовали себя такими же, как их презренные подопечные. Хорошо устроенные ассистенты, они видели где-то свои окна с решетками и прижимались к ним головами. Они досадовали на неточность своих ощущений. Обычно некоторые забегали вперед и наперегонки открывали двери, если их не опережали санитары или пациенты. Сегодня они следовали за Жоржем на некотором расстоянии, рассеянные и недовольные, проклиная скучную службу, своего начальника и всех на свете больных. Лучше бы им быть сейчас магометанами и сидеть каждому в своем маленьком, благоустроенном раю. Жорж прислушивался к знакомому шуму. Его друзья у окон заметили его, но остались так же равнодушны, как его враги сзади. Печальный день, сказал он про себя, одобрять и ненавидеть он отучился, живя всегда токами чужих ощущений. Сегодня он ничего не чувствовал вокруг себя, кроме тяжелого воздуха.

В палатах царило безобразное спокойствие. Больные избегали ссориться при нем. Но окна продолжали притягивать их. Как только дверь за ним закрывалась, они снова начинали толкаться и ругаться. Женщины, не покидая своих мест, вымаливали у него любовь. Он не находил никакого ответа. Все хорошие и целительные мысли бросили его на произвол судьбы. Одна пациентка, страшнее страшной ночи, визжала: «Нет,

нет, нет! Я не даю согласия на развод!» Другие хором кричали: «Где он?» Одна девушка восторженно лепетала: «Позволь мне!» Жан, добрый Жан, угрожал своей Жанне пощечиной. «Она у меня в сети, я хочу схватить ее, а она ушла!» — жаловался он. «Стукни ее разок», — сказал Жорж, эта тридцатидвухлетняя верность надоела ему. Жан ударил и сам же, вместо жены, позвал на помощь. В другой палате все дружно плакали, потому что было уже темно. «Сегодня они словно с ума сошли», — сказал санитар. Один из множества богов-творцов приказывал: «Да будет свет!» — и негодовал на то, что его здесь не уважают. «Он маленький коммивояжер», — доверительно нашептывал его сосед Жоржу. Кто-то спросил: «Есть ли бог?» — и потребовал его адрес. На плохой сегодня вечером ход дел жаловался некий ухоженный на вид господин, которого погубил его брат. «Как только я выиграю процесс, я обеспечу себя рубашками лет на пятнадцать!» — «А почему люди ходят голые?» — глубокомысленно возражал его лучший друг, они отлично понимали один другого.

Ответ на этот вопрос Жоржу довелось услышать лишь в следующей палате. Один холостяк показывал остальным, как его застигли *in flagranti*¹ с собственной женой. «Я снимаю с ее тела вшей, на ней их не было. Тут тесть просовывает голову в замочную скважину и требует вернуть ему внучку». — «Где, где?» — хихикали зрители. Они все были заняты одним и тем же; как хорошо они понимали друг друга. Санитары слушали не без удовольствия. Один ассистент, сотрудник газеты, записывал характерные для настроения этого вечера речи. Жорж заметил это, не глядя; мысленно он делал то же самое. Он был ходячей восковой табличкой, на которой запечатлевались речи и жесты. Вместо того чтобы осмысливать и возражать, он машинально вбирал в себя. К тому же воск подтаивал. «Моя жена наводит на меня скуку», — думал он. Больные казались ему незнакомыми. Та задняя дверца, что вела в их обнесенные плотной стеной города, обычно только прикрытая, известная ему одному, упорно оставалась сегодня запертой. Взломать? Зачем? Лучше прекратим, завтра, к сожалению, тоже день будет. Каждого я застаю в его палате, всю свою жизнь я буду заставлять восемьсот пациентов. Может быть, моя слава увеличит лечебницу. Со временем их станет две тысячи, десять тысяч. Потоки паломников из всех стран довершат мое счастье. Через тридцать лет образуется этакая всемирная

¹ С поличным (*лат.*).

республика. Меня назначат народным комиссаром по делам сумасшедших. Поездки по всему миру. Инспекция и парад миллионной армии негодных душ. Слева выстрою слабоумных, справа — одержимых. Основание экспериментальных институтов для сверходаренных животных. Превращение сумасшедших животных в людей. Вылечившихся безумцев я с позором выгоняю из своей армии. Мои друзья мне ближе, чем мои приверженцы. Маленьких приверженцев называют великими. Как мала, стало быть, моя жена. Почему я все не уйду домой? Потому что там меня ждет жена. Она хочет любви. Все хотят сегодня любви.

Восковая табличка была бременем. То, что на ней записывалось, обладало тяжестью. В предпоследней палате внезапно возникла жена. Она примчалась бегом.

— Телеграмма! — крикнула она и засмеялась ему в лицо.

— Из-за этого ты так утруждаешь себя?

Любезность стала его кожей; иногда он желал себе сбросить ее, это была бы вершина его грубости. Он вскрыл телеграмму и прочел: «Я окончательно спятил. Твой брат». Из всех мыслимых новостей эту он ожидал меньше всего. Скверная шутка? Мистификация? Нет. Против этого говорило слово «спятил»! Таких выражений брат его не употреблял. Если он все же употребил это слово, значит, что-то неладно. Он благословил телеграмму. Поездка неизбежна. Он может оправдаться перед собой. Ничего больше он сейчас и не желал себе. Жена прочла телеграмму.

— Кто это, твой брат?

— Ах, вот как, я тебе о нем не рассказывал. Величайший синолог из ныне живущих. У меня на письменном столе ты найдешь несколько его последних работ. Двенадцать лет я не видел его.

— Как ты поступишь?

— Поеду с первым же скорым поездом.

— Завтра утром?

— Нет, сейчас.

Она надула губы.

— Да, да, — сказал он задумчиво. — Речь идет о моем брате. Он в плохих руках. А то как бы ему удалось отправить такую телеграмму?

Она разорвала телеграмму в клочья. Разорвать бы ее сразу! Больные набросились на обрывки. Каждый любил ее, каждый хотел получить от нее что-нибудь на память, некоторые проглатывали клочья бумаги. Большинство прятало их у сердца или в штанах. Платон-

философ с достоинством стоял рядом. Он сделал поклон и сказал:

— Мадам, мы живем среди людей!

ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ

Жорж долго спал; поезд остановился. Он поднял глаза; шла большая посадка. Его купе, занавешенное, оставалось пустым. В последний миг, поезд уже тронулся, какая-то пара попросила у него места. Он вежливо подвинулся. Мужчина толкнул его и не извинился. Жорж, которому всякая грубость среди учтивых культурных болванов доставляла удовольствие, посмотрел на него удивленно. Женщина истолковала взгляд Жоржа превратно и, едва они сели, извинилась за мужа, он, мол, слепой.

— Вот уж не подумал бы, — сказал Жорж, — он передвигается с поразительной уверенностью. Я врач, и у меня было много слепых пациентов.

Муж поклонился. Он был длинный и тощий.

— Вам не помешает, если я почитаю ему? — спросила женщина. Кроткая преданность на ее лице была очаровательна, она, видимо, жила только ради слепого.

— Напротив! Только не обижайтесь, пожалуйста, если я вдруг усну.

Вместо вождельных грубостей в обе стороны летели учтивости. Она вынула из дорожной сумки роман и стала читать грудным, приукрашенным голосом.

Наверно, у Петера теперь такой вид, как у того слепого, одеревенелый и озлобленный. Что могло взбудоражить спокойный ум Петера? Он жил одиноко и беззаботно; с отдельными людьми у него не было никаких отношений. Смятение по вине мира, в которое порой приходят натуры чувствительные, было в его случае невозможно; его мир состоял из библиотеки. Его отличала невероятная память. Головы послабее погибали от избытка книг; у него каждый воспринятый им слог четко отделялся от следующего. Он был полной противоположностью актера, оставаясь всегда самим собой, только самим собой. Вместо того чтобы разделять себя на других, он мерил их, видя их извне, собою, которого он тоже знал только извне и со стороны головы. Поэтому он избежал очень больших опасностей, которые неминуемо влекут за собой занятия восточными культурами, если этим занятиям преда-

ется годами человек одинокий. Петер был неуязвим для Лао-цзы и всяких индийцев. Из трезвости он склонялся к философам долга. Своего Конфуция он нашел бы везде. Что угнетало его, существо почти бесполое?

— Ты опять толкаешь меня на самоубийство!

Жорж слушал роман вполуха, читающий голос звучал приятно, он понимал его интонацию; эта дурацкая фраза самого героя заставила его вдруг рассмеяться.

— Вы не стали бы смеяться, сударь, будь вы слепым! — прикрикнул на него гневный голос. Это заговорил слепой, первые его слова были грубостями.

— Простите, — сказал Жорж, — но я не верю в этот род любви.

— Так не мешайте наслаждаться человеку серьезному! В любви я смыслю больше вашего. Я слепой. Вас это не касается!

— Вы неверно поняли меня, — начал Жорж. Он чувствовал, как страдает тот от своей слепоты, и хотел помочь ему. Тут он заметил женщину; она усиленно жестикулировала, то прикладывая палец ко рту, то умоляюще складывая руки, чтобы он ради бога замолчал, и он умолк. Ее губы поблагодарили его. Слепой уже замахнулся. Для защиты? Для нападения? Он опустил руку и приказал:

— Дальше!

Женщина стала читать, голос ее дрожал. От страха? От радости, что ей встретился такой деликатный человек?

Слепой, слепой, давнишнее воспоминание разрасталось, упрямо и мрачно пробиваясь все выше. Была некая комната, и другая с ней рядом. Там стояла белая кровать. В ней лежал маленький мальчик, совсем красный. Он боялся. Незнакомый голос всхлипывал: «Я слепой! Я слепой!» — и плакал, плакал. «Я хочу читать!» Мать ходила взад и вперед. Она прошла через дверь в соседнюю комнату, где кричал этот голос. Там было темно, здесь было светло. Мальчику хотелось спросить: «Кто это кричит?» Он боялся. Он думал, что тогда этот голос придет и отрежет ему язык перочинным ножом. Тут мальчик стал петь, он пел все песни, какие он знал, и, кончив, начинал все сначала. Он пел громко, он ревел, голова у него прямо-таки разрывалась от звуков. «Я красный», — пел он. Дверь отворилась. «Успокойся, — сказала мать, — у тебя жар. Что тебе вздумалось?» Тут страшный голос в соседней комнате застонал и закричал: «Я слепой! Я слепой!» Маленький Георг падает с кровати и с ревом ползет к

матери. Он цепляется за ее колени. «Что с тобой, что с тобой?» — «Мужчина! Мужчина!» — «Где мужчина?» — «В темной комнате кричит какой-то мужчина! Какой-то мужчина!» — «Это же Петер, твой брат Петер». — «Нет, нет! — беснуется маленький Георг. — Оставь этого мужчину, будь со мной!» — «Георг, умничек мой, это же Петер. У него корь, как и у тебя. Он сейчас ничего не видит. Поэтому он капризничает. Завтра он выздоровеет. Хочешь посмотреть на него?» — «Нет! Нет!» — он упирается. «Это же Петер, другой Петер», — думает Георг, тихо похныкивая, пока мать находится в комнате. Как только она уходит к «мужчине», он прячется под одеяло. Когда он слышит голос, он снова начинает реветь. Это длится долго, так долго он еще никогда не плакал. Вся эта картина расплывается в слезах.

Тут Георг ухватил опасность, угрозу которой Петер почувствовал и теперь: он боится ослепнуть! Может быть, у него пошаливают глаза. Может быть, ему время от времени приходится отказываться от чтения. Что могло бы так уж его мучить? Часа, проведенного не по его плану, достаточно, чтобы навести его на чуждые мысли. А чуждо Петеру все, что касается его самого. Пока его голова взвешивала, уточняла и связывала отборные факты, сведения, концепции, польза его одиночества казалась ему несомненной. Действительно одинок, наедине с собой, он никогда не был. Тем и создается ученый, что он живет один, чтобы заниматься как можно большим числом вещей сразу. Как будто он действительно занят тогда хотя бы одной вещью! Вероятно, глаза Петера переутомились. Кто знает, при хорошем ли освещении работает он? Может быть, он, вопреки своему обыкновению и презрению, побывал у врача, который предписал ему непрерывный отдых и покой. Этот-то покой, длясь целыми днями, и мог доконать его. Вместо того чтобы возместить себе больные глаза здоровыми ушами, слушать музыку и людей (что богаче человеческой интонации?), он, конечно, ходил взад и вперед перед книгами, сомневаясь в доброй воле своих глаз, заклиная их и проклиная, с ужасом вспоминая однодневную слепоту в юности, цепenea от страха, что снова и надолго ослепнет, он негодовал, впадал в отчаяние и, будучи человеком крутым и гордым, призвал сперва брата, а не обратился за советом и помощью к соседям, знакомым или кому бы то ни было. Я выбью из него эту слепоту, решил Георг. Более легкого исцеления в моей практике еще не было. Мне нужно сделать три вещи: хорошенько обследовать глаза, проверить освещение в его квартире,

провести осторожную и ласковую беседу, которая убедит брата в нелепости его опасений, если они действительно лишены основания.

Он приветливо глядел на грубияна слепого с тайной благодарностью за его присутствие. Тот навел его на верное толкование телеграммы. Чуткому человеку любая встреча на пользу или во вред, потому что она пробуждает в нем ощущения или воспоминания. Равнодушные — это ходячий ступор, ничто в них не вливается, ничто не переполняет их, застывшими крепостями проходят они по миру. Почему они движутся? Что ими движет? По чистой случайности они передвигаются как животные, по сути же они растения. Их можно обезглавить, и они останутся живы, на то у них есть корни. Стоическая философия создана для растений, это величайшая измена животному. Будем животными! У кого есть корни, тот пусть вырвет их! Георгу было приятно знать, почему поезд с ним едет так быстро. Он сел на поезд вслепую. Вслепую вспоминал во сне свою молодость. Вошел слепой. Тут паровоз вдруг устремился к определенной цели — к исцелению слепого. Ибо был ли Петер слепым или только боялся этого, психиатру безразлично. Теперь не грех и уснуть. Животные доводят свои порывы до крайности, они предельно заостряют их, а потом отламывают у них острие. Больше всего они любят то и дело менять свою скорость. Они нажираются до отвала и любят до изнеможения. Свое спокойствие они доводят до сна. Вскоре уснул и он.

Читавшая женщина гладила между строк его красивую руку, которой он подпирал голову. Она думала, что он слушает ее голос. Некоторые слова она подчеркивала; пусть он поймет, как она несчастна. Эту поездку она никогда не забудет, ей скоро сходить. Книгу она оставит здесь, на память, и просит лишь взгляда. На следующей станции она вышла, муж проталкивал ее вперед, обычно же она тянула его за собой. У двери она задержала дыхание. Не оборачиваясь, — она боялась мужа, ее движения были его злостью, — она сказала, она отважилась на многое:

— Прощайте!

Сколько лет она копила это звучание. Он не сумел ничего ответить. Она была счастлива. Тихо плача, чуть охмелев от своей красоты, она помогла слепому сойти с поезда. Она совладала с собой и не бросила взгляда на окно его купе, где он виделся ей в воображении. Он увидел бы ее слезы, ей было стыдно. Роман лежал рядом с ним. *Он спал.*

Утром он умылся. Вечером он приехал. Он остановился в скромной гостинице. В большей его прибытие вызвало бы шум, поскольку он принадлежал к той дюжине ученых, которую упорно, за счет всех прочих, выставляют для продажи газеты. Посещение брата он отложил на следующий день, чтобы не беспокоить того на ночь глядя. Поскольку его мучило нетерпение, он пошел в оперу. У Моцарта он чувствовал себя в приятной безопасности.

Ночью ему снились два петуха. Тот, что побольше, был красный и слабый, тот, что поменьше, — холеный и хитрый. Их бой тянулся долго, он был так интересен, что ты забывал думать. Видите, сказал один зритель, что получается из людей! Из людей? — прокукарекал маленький петух. — Где люди? Мы — петухи. Бойцовые петухи. Не глумитесь! Зритель удалился. Он становился все меньше. Вдруг увидели, что и он был всего лишь петух. Но трусливый, сказал красный, пора вставать. Маленький был удовлетворен. Он победил и улетел. Красный петух остался. Он становился все больше. Его яркость увеличивалась вместе с ним. Из-за него болели глаза. Тут они открылись. В окно светило какое-то чудовищное солнце.

Георг поторопился и не более чем через час стоял перед домом на Эрлихштрассе, номер 24. Дом был почти аристократичен и уже безлик. Георг поднялся на пятый этаж и позвонил. Дверь открыла какая-то старая женщина. Она была в крахмальной синей юбке и ухмылялась. Он хотел было оглядеть себя, все ли в порядке, но совладал с собой и спросил:

— Дома мой брат?

Женщина сразу же перестала ухмыляться, уставилась на него и сказала:

— Здесь, доложу вам, никаких братьев нет!

— Меня зовут профессор Жорж Кин. Я ищу Петера Кина, свободного ученого по профессии. Восемь лет назад он определенно жил здесь. Возможно, вы знаете, у кого в доме я могу узнать его адрес, если он выехал отсюда.

— Лучше я ничего не скажу.

— Но позвольте, я специально приехал из Парижа. Вы же можете сказать мне, живет он здесь или нет?

— Ну, доложу вам, веселый вы человек!

— Почему это я веселый?

— Мы же не дураки.

— Конечно.

— Рассказать нашлось бы что.

— Может быть, брат болен?

— Нечего сказать, брат! Стыдиться бы надо!

— Скажите же, если вы что-нибудь знаете!

— А на что мне это?

Георг вынул монету из кошелька, схватил женщину за запястье и с дружелюбным нажимом положил монету ей на ладонь, которая открылась сама собой. Женщина ухмыльнулась опять.

— Теперь вы скажете мне, что вы знаете о моем брате, не правда ли?

— Сказать может любой.

— Итак?

— Жизнь, глядишь, и кончается. Пожалуйста, еще! Она вскинула плечо.

Георг достал вторую монету, она протянула ему другую руку. Не дотрагиваясь до нее, он бросил туда монету сверху.

— Теперь я ведь могу и уйти!— сказала она и посмотрела на него со злостью.

— Так что же вы знаете о моем брате?

— Уже больше восьми лет прошло. Позавчера все и открылось.

Петер не писал восемь лет. Позавчера пришла телеграмма. Этой женщине было что-то известно.

— А вы что сделали?— спросил Георг, только чтобы подстрекнуть ее.

— Мы и были в полиции. Порядочная женщина сразу идет в полицию.

— Конечно, конечно. Спасибо вам за помощь, которую вы оказали моему брату.

— Что ж, пожалуйста. Полиция диву далась!

— Что же он сделал?

Георг представил себе, как его слегка сконфуженный брат жалуется грубоватым полицейским на свои больные глаза.

— Он украл! Сердца у него нет, скажу вам.

— Украл?

— Убил он ее! Я-то при чем тут? Она была первая жена. Я—вторая. Куски он прятал. За книгами места хватало ведь. Вор—я всегда говорила. Позавчера открылся убийца. Позор мне. Почему я была такая глупая? Я же говорю: не надо. Так уж водится у людей. Я думала: столько книг. Что делает человек между шестью и семью? Трупы режет—вот что он делает. Куски он берет с собой на прогулку. Никто ничего не замечал. Банковскую книжку он украл. Может быть, у меня что-нибудь осталось на руках? Я же могла умереть с голоду. Меня он тоже хотел. Я вторая. Теперь разведусь. Пусть только, доложу я,

сначала заплатит! Восемь лет назад надо было его посадить! Теперь он там, внизу. Я его заперла! Я не дамся убийце!

Она заплакала и захлопнула дверь.

Петер убийца. Тихий, худой Петер, которого всегда поколачивали его однокашники. Лестница качается. Потолок обрушивается. Человек педантичной опрятности, Георг роняет шляпу и не поднимает ее. Петер женат. Кто мог знать. Вторая жена, старше пятидесяти, безобразная, ограниченная, пошлая, не способная сказать ни одного слова по-человечески, избежала нападения позавчера. Первую он расчленил на части. Он любит свои книги и пользуется ими как тайником. Петер и правда. Лучше бы он лгал, напропалую лгал в юности! Вот зачем вызвали Георга. Телеграмма поддельная, придумана женой или полицией. Сказка о бесполости Петера. Красивая сказка, как все сказки, высосанная из пальца, глупая. Георг — брат убийцы-маньяка. Заголовки во всех газетах. Крупнейший синолог из ныне живущих! Лучший знаток Восточной Азии! Двойная жизнь! Уход с заведования психиатрической лечебницей. Промах. Развод. Ассистенты в качестве преемников. Больные, больные, их будут мучить, их будут лечить! Восемьсот! Они любят его, они нуждаются в нем, он не смеет бросать их, отставка невозможна. Они дергают его со всех сторон, ты не смеешь уходить, мы пойдем с тобой, оставайся, мы всеемс одни, они не понимают нашего языка, ты слышишь нас, ты понимаешь нас, ты улыбаешься нам, его прекрасные, редкие птицы, они здесь совсем чужие, у каждого своя, особая родина, ни один не понимает своего соседа, они ругают друг друга и даже не подозревают об этом, ради них он живет, он не покинет их, он *останется*. Дело Петера надо уладить. Его беду можно перенести. Он был создан для китайской грамоты, а Георг — для людей. Место Петера — в закрытой лечебнице. Он слишком долго жил в воздержании. Из-за первой женщины у него сдали нервы. Как ему было справиться с внезапной переменой? Полиция выдаст его. Может быть, удастся перевод в Париж. Его невменяемость можно доказать. Ни в коем случае не уйдет Георг с заведования своей лечебницей.

Напротив, он делает шаг вперед, поднимает шляпу, вытирает ее и вежливо, но решительно стучит в дверь.

Едва взяв шляпу в руку, он снова становится уверенным и бывалым врачом.

— Сударыня! — лжет он. — Сударыня!

Молодой любовник, он повторяет оба эти слова как

заклинания и с таким пылом, что ему самому делается смешно, словно он сидит в зрительном зале перед сценой, на которой сам же играет. Он слышит ее приготовления. Может быть, у нее есть зеркальце, думает он, может быть, она пудрится и хочет внять моей мольбе. Она открывает дверь и ухмыляется.

— Я хотел бы кое о чем справиться у вас!

Он чувствует ее разочарование. Она ждала продолжения шашней или хотя бы еще одной «сударыни». Рот ее остается открыт, взгляд становится хмурым.

— Я, доложу вам, знаю только одно—убийцу.

— Цыц!—рычит голос какого-то хищного зверя. Появляются два кулака, за ними следует толстая, красная голова. — Не верьте бабе! Она же с придурью! В моем доме убийц нет! Покуда я что-то значу—нет! За ним были четыре канарейки, если вы его брат, породистые птицы, выращенные лично мною в частном порядке. Он заплатил. Хорошо заплатил. Вчера же вечером. Может быть, я сегодня открою ему свою патентованную дырку. Он просто помешан на ней. Хотите взглянуть на него? Еду он получает. Что захочет. Я запер его. Он боится этой бабы. Он ее не выносит. Ни один человек ее не вынесет. Взгляните на нее! Что она из него сделала! Замордовала она его. Ее для него, говорит он, не существует. Лучше он ослепит себя. Прав он. Она—дерьмо, а не баба! Если бы он не женился на ней, все было бы в порядке, и в голове тоже, даю вам слово!

Женщина хочет что-то сказать, он отпихивает ее локтем назад в квартиру.

— Кто вы?—спрашивает Георг.

— В моем лице вы видите лучшего друга вашего господина брата. Я Бенедикт Пфафф, старший сотрудник на пенсии, по прозвищу Рыжий Кот. За домом слежу я. Мое ничтожество обладает зорким оком закона! А кто вы? Я имею в виду—по профессии?

Георг пожелал увидеть брата. Все убийства, все страхи, все козни мира рассыпались в прах. Привратник понравился ему. Его голова напоминала Георгу восходящее солнце сегодняшнего утра. Это было зрелище грубое, но освежающее, могучий малый, каких уже нечасто увидишь в культурных городах и домах. Лестница гремела. Вместо того чтобы держать ее на себе, Атлант бил бедную землю. Его мощные бедра давили ступени. Ботинки и ноги были у него каменные. Стены гудели от его речи. Как только выдерживают его жильцы, думал Георг. Ему было немного стыдно, потому что он не сразу распознал кретинизм отворив-

шей дверь женщины. Как раз синтаксическая простота ее фраз убедила его в правдивости вздора, который она несла. Он свалил всю вину на дорогу, на вчерашнюю музыку Моцарта, впервые за долгое время вырвавшую его из každодневногo круга мыслей, и на ожидание увидеть большого брата, а не больную привратницу. Что Петер нарвался на эту смешную старуху, было ему понятно. Он посмеялся над слепотой и неопытностью брата, радуясь, что беде так легко помочь. Вопрос к привратнику подтвердил его предположение: она несколько лет вела у Петра хозяйство и использовала это свое первоначальное положение, чтобы пробраться к более почетному. Он исполнился нежности к брату, избавившему его от ужасных хлопот. Простая телеграмма имела простой смысл. Кто знает, не доведется ли Георгу уже завтра сидеть в вагоне, а послезавтра опять обходить свои палаты?

Внизу, в подъезде, Атлант остановился у какой-то двери, вынул ключ из кармана и отпер ее.

— Я пойду первым, — прошептал он и приложил к губам толстый палец. — Господин профессор, дорогой друг! — услышал Георг его голос. — Я привел тебе гостя! Что я за это получу?

Георг вошел, закрыл дверь и поразился убогой каморке, которую он увидел. Окно было заколочено досками, свет скупо падал на кровать и на шкаф, отчетливо различить нельзя было ничего. К нему подполз отвратительный запах несвежей еды, он невольно зажал себе нос. Где Петер?

Послышалось урчанье, как в клетках с животными. Георг ощупью нашел стену. В самом деле, она была там, где он и полагал, ужасно, такая теснота.

— Откройте же окно! — сказал он вслух.

— Это никак нельзя! — раздалось в ответ голосом Атланта. Петер страдал, значит, все-таки из-за глаз, не только из-за жены; это объясняло темень, в которой он укрывался. Где он?

— Сюда! Сюда! — Атлант ревел, как лев в логове. — Он прилип к моей патентованной штучке!

Георг сделал два шага вдоль стены и наткнулся на какую-то кучу. Петер? Он наклонился и прикоснулся к человеческому скелету. Он поднял скелет, человек задрожал, или это потянуло ветром, нет, все было закупороено, теперь кто-то шепнул, глухо и слабо, как умирающий, как умерший, если бы он мог говорить:

— Кто это?

— Это я, Георг, твой брат Георг, разве ты не слышишь, Петер?

- Георг? — В голосе появилось звучание.
- Да, Георг, я хотел увидеть тебя, я приехал навестить тебя. Я из Парижа.
- Это действительно ты?
- Почему ты сомневаешься?
- Я плохо здесь вижу. Такая темень.
- Я узнал тебя по твоей худобе.
- Вдруг кто-то резко и строго приказал, Георг немного испугался:
- Выйдите отсюда, Пфафф!
- Ишь ты!
- Пожалуйста, оставьте нас наедине, — прибавил Георг.
- Сию же минуту! — приказал Петер, прежний Петер.
- Пфафф вышел. Новый господин казался ему уж очень шикарным, он выглядел как президент, наверно, чем-то таким он и был. Отплатить профессору за его дерзость времени еще будет достаточно. В виде задатка он захлопнул за собой дверь, из уважения к президенту он не стал запираить его.
- Георг положил Петера на кровать, почти не заметив, что уже не держит его на руках, подошел к окну и стал отдиравать доски.
- Я его потом опять затемню, — сказал он, — тебе нужен воздух. Если у тебя болят глаза, закрой их пока.
- Глаза у меня не болят.
- Почему же ты их щадишь? Я думал, ты слишком много читал и хочешь немного отдохнуть в темноте.
- Доски здесь только со вчерашнего вечера.
- Это ты так крепко приколотил их? Я с трудом отдираю их. Никак не думал, что у тебя столько силы.
- Это привратник, наемный воин.
- Наемный воин?
- Продажный хам.
- Мне он был симпатичен. Если сравнить его с другими людьми из твоего окружения.
- Мне тоже раньше.
- Что же он сделал тебе?
- Он ведет себя нагло, он меня тыкает.
- Я думаю, он делает это, чтобы доказать тебе свою дружбу. Ты же, конечно, не так давно в этой каморке?
- С позавчерашнего дня.
- Ты чувствуешь себя с тех пор лучше? В отношении глаз, я имею в виду. Надеюсь, ты не взял с собой книг?

— Книги наверху. Мою маленькую домашнюю библиотеку стащили.

— Просто счастье! А то бы ты пытался читать и здесь. Для твоих больных глаз это была бы погибель. Думаю, ты и сам теперь беспокоишься за их судьбу. Раньше твои глаза были тебе безразличны. Ты трепал их почему зря.

— Мои глаза совершенно здоровы.

— Seriously? У тебя нет никаких жалоб?

— Никаких.

Доски были содраны. Яркий свет залил каморку. Через открытое окно в нее потек воздух. Георг глубоко и удовлетворенно вздохнул. До сих пор обследование шло успешно. Все, что отвечал Петер на его хорошо рассчитанные вопросы, было верно, разумно, немного сухо, как прежде. Зло заключалось в той женщине, только в той женщине, намек, метивший в нее, он нарочно пропустил мимо ушей. За свои глаза он не боялся, тон, каким он отвечал на расспросы об их состоянии, выдавал справедливое раздражение. Георг повернулся. Две пустые клетки для птиц висели на стене. Постельные принадлежности были в красных пятнах. В заднем углу стоял умывальный таз. Грязная вода в нем отливала красным. Петер был еще худее, чем то предположили пальцы. Две резкие морщины прорезали его щеки. Лицо казалось длиннее, уже и строже, чем много лет назад. Четыре глубокие складки пролегли у него на лбу, как если бы глаза его были всегда широко открыты. Губ совершенно не было видно, их место выдавала скорбная щелка. Глаза его, бедные, водянисто-голубые, испытующе глядели на брата с приторным безразличием, но в их уголках таилось любопытство и недоверие. Левую руку Петер прятал за спиной.

— Что у тебя с рукой?

Георг отнял ее от спины. Она была обмотана тряпкой, сплошь пропитавшейся кровью.

— Я поранился.

— Как это случилось?

— Во время еды я вдруг хватил ножом по мизинцу. Две верхние фаланги я потерял.

— Ты, значит, резанул изо всей силы?

— Фаланги эти почти наполовину отделились от пальца. Я подумал, что они все равно потеряны, и отрезал их вовсе, чтобы сразу покончить с болью.

— Что тебя так испугало?

— Ты же сам знаешь.

— Откуда мне это знать, Петер?

— Привратник сказал тебе.

— Я сам нахожу очень странным, что он не сказал мне об этом ни слова.

— Он виноват. Я не знал, что он держит канареек. Клетки он спрятал под кроватью, черт знает почему. Один вечер и весь следующий день здесь, в каморке, стояла мертвая тишина. Вчера за ужином, когда я как раз разрезал мясо, поднялся вдруг адский шум. Первый испуг стоил мне пальца. Учти, к какой я привык тишине во время работы. Но я отомстил этому негодяю. Он любит такие грубые шутки. Думаю, что он нарочно спрятал клетки под кровать. Он мог бы оставить их на стене, где они снова теперь висят.

— Как ты отомстил?

— Я выпустил птиц на волю. При моей боли не такая жестокая месть. Наверно, они погибли. Он так расвирепел, что заколотил мне окно досками. Кроме того, я заплатил ему за птиц. Он утверждает, что им нет цены, что он приручал их годами. Конечно, он лжет. Ты когда-нибудь читал, чтобы канарейки начинали петь по приказу и по приказу же умолкали?

— Нет.

— Он хотел набить им цену. Как будто только бабы зарятся на деньги своих мужей. Это большое заблуждение. Видишь, чем я заплатил за него.

Георг сбегал в ближайшую аптеку, купил йод, перевязочные средства и кое-какие мелочи для подкрепления Петера. Рана была не опасна; тревожило то, что человек и без того слабый потерял столько крови. Перевязать его следовало вчера же. Этот привратник был изверг, он думал только о своих канарейках. История Петера звучала убедительно. Тем не менее надлежало выяснить у виновного, во всех ли подробностях она правдива. Лучше всего было бы подняться сейчас в квартиру и выслушать его версию вчерашних и более давних событий. Георга это отнюдь не прельщало. Уже второй раз за сегодняшний день ошибся он в человеке. Он считал себя, и его успехи в психиатрии подтверждали его правоту, большим знатоком людей. Рыжий малый был не просто силач Атлант, он был коварен и опасен. Его шутка с птицами, которых он спрятал под кровать, выдавала, насколько безразличен ему Петер, чьим лучшим другом он изображал себя. У него хватило духу отнять у больного свет и воздух, заколовив ему окно досками. О ране он не побеспокоился. Одна из его первых фраз, когда Георг познакомился с ним, гласила: брат заплатил за четырех канареек, которые были за ним, хорошо заплатил. Заботили его

деньги. Он явно был заодно с той женщиной. Он находился у нее в квартире. Его грубый толчок и еще более наглые оскорбления, которыми он осыпал ее, она приняла не без радости, хотя и со злостью. Она была, значит, его возлюбленной. Ни одного из этих выводов не сделал Георг наверху. Так велико было его облегчение, когда он услышал, что ни в каком убийстве Петер не виноват. Теперь ему опять стало стыдно, он оставил свой острый ум дома. Как это смешно — верить такой женщине! Как это глупо — держаться на короткой ноге с каким-то наемным воином! Метко Петер определил его. Конечно, тот ухмыльнется ему в глаза; ведь он же перехитрил его. Ухмылка так и перла из этих прохвостов, они же были уверены в своем превосходстве и в своей победе над Петером. Они собрались, конечно, завладеть квартирой и библиотекой, а Петера держать в дыре внизу. Ухмылкой и приветствовала его эта тетка, когда отворила дверь.

Георг решил перевязать Петера, прежде чем идти к привратнику. Рана была важнее, чем то объяснение. Нового узнаешь немного. Какой-нибудь повод покинуть каморку на полчаса найдется позднее легко.

ХИТРОУМНЫЙ ОДИСЕЙ

— Мы, собственно, еще не поздоровались как следует, — сказал он, входя снова. — Но я знаю, что ты не любишь семейных сцен. Водопровода у тебя нет здесь? В подъезде я видел кран.

Он принес воды и попросил Петера не двигаться.

— Я и без просьбы обычно не двигаюсь, — услышал он в ответ.

— Я буду рад увидеть твою библиотеку. В детстве я не понимал твоей любви к книгам. Я был куда менее умен, чем ты, у меня не было твоей невероятной памяти. Каким я был глупым мальчишкой, каким притворой и лакомкой. Я готов был днями и ночами ломать комедию и целовать мать. Ты же с самого начала стремился к своей цели. Я не встречал человека, который развивался бы так последовательно, как ты. Я знаю, ты не любишь слушать приятные вещи, ты предпочел бы, чтобы я помолчал и дал тебе покой. Не сердись, но я не дам тебе покоя! Двенадцать лет я не видел тебя, восемь лет я читал твое имя только в журналах, собственноручных писем, считая их слишком драгоценными, ты мне не посылал. Вполне вероятно, что в следующие восемь лет ты будешь обращаться

со мной не лучше, чем прежде. В Париж ты не приедешь, я знаю твое отношение к французам и к поездкам. У меня нет времени снова навестить тебя вскоре, я перегружен работой. Ты, может быть, слышал, что я работаю сейчас в одной лечебнице под Парижем. Скажи сам, когда мне и поблагодарить тебя, если не теперь? А поблагодарить тебя я *должен*, ты слишком скромен, ты и не подозреваешь, чем я тебе обязан: своим характером, коль скоро у меня есть таковой, своей любовью к науке, своей обеспеченностью, своим спасением от женщин, тем серьезным отношением к великому и благоговейным к малому, которым еще в большей мере, чем Якоб Гримм, обладаешь ты. И то, что я переметнулся к психиатрии, это в конечном счете тоже твоя вина. Интерес к проблемам языка пробудил у меня ты, а начал я с работы о языке сумасшедшего. Конечно, до полной самоотверженности, до труда ради труда, до долга ради долга, как того требовали Иммануил Кант и задолго до всех Конфуций, мне, в отличие от тебя, никогда не удастся дойти. Я боюсь, что для этого я слишком слаб. Хвала действует на меня благотворно, она мне, вероятно, нужна. Достоин зависти *ты*. Ты должен признать, что натуры с подобной силой воли встречаются редко, до печального редко. Откуда взяться двум сразу в одной семье? Кстати, твою работу о Канте-Конфуции я читал с таким интересом, с каким не читал и Канта или беседы самого Конфуция. Она остра, исчерпывающе многогранна, беспощадна ко всем инаковерцам, она подавляет глубиной и всеобъемлющей широтой знаний. Может быть, тебе попадалась на глаза та голландская рецензия, где тебя называют Якобом Буркхардтом¹ восточных культур. Только ты, мол, менее игрив и намного строже к себе самому. Я считаю твою образованность более универсальной, чем буркхардтовскую. Отчасти это объясняется, может быть, более богатыми знаниями нашей эпохи, но главным образом дело тут в твоей личности, в твоей силе для одиночества. Буркхардт был профессор и читал лекции, этот компромисс повлиял и на его способ формулировать свои мысли. Великолепно твое толкование китайских софистов! По нескольким фразам, которых от них осталось еще меньше, чем от греков, ты выстраиваешь их мир, вернее сказать — их миры, ибо они отличаются друг от друга так, как только философ и может отличаться от

¹ Буркхардт Якоб (1818—1897) — известный швейцарский историк и философ культуры.

другого философа. Приятнее всего была мне твоя последняя большая статья. Школа Аристотеля, говоришь ты, сыграла на Западе ту же роль, какую сыграла в Китае школа Конфуция. Аристотель, внучатый ученик Сократа, вбирает в себя и все прочие притоки греческой философии. Не последние среди его средневековых приверженцев даже христиане. Точно так же позднейшие конфуцианцы перерабатывали всё, что брали у школы Мо-цзы, у приверженцев учения Дао и позднее даже у буддизма, если это казалось им полезным и необходимым для сохранения своего могущества. Эклектиками поэтому ни конфуцианцев, ни преемников Аристотеля нельзя назвать. Они до жути близки друг к другу—как ты убедительно доказал это—по своему воздействию, здесь—на христианское средневековье, там—на ту же эпоху, начинающуюся с династии Сун. Я, конечно, ничего в этом не смыслю, я же не знаю ни слова по-китайски, но твои выводы касаются всякого, кто хочет понять свои духовные корни, истоки своих мнений, духовный механизм, в нем действующий. Можно узнать, над чем ты работаешь сейчас?

Моя и перевязывая руку, он упорно, но как можно незаметнее следил за воздействием своих слов по лицу брата. После последнего вопроса он умолк.

— Почему ты так смотришь на меня все время? — спросил Петер. — Ты путаешь меня с кем-то из твоих пациентов. Мои научные взгляды ты понимаешь только наполовину, потому что ты слишком необразован. Не говори так много! Мне ты ничем не обязан. Терпеть не могу лести. Аристотель, Конфуций и Кант тебе безразличны. Любая женщина тебе милее. Если бы я имел на тебя какое-либо влияние, ты не был бы теперь директором лечебницы для идиотов.

— Но, Петер, ты же меня...

— Я работаю над десятью статьями одновременно. Почти все они буквоедские, как ты про себя называешь всякую филологическую работу. Ты смеешься над отвлеченными понятиями. Труд и долг для тебя отвлеченные понятия. Ты веришь только в людей, предпочитательно—в баб. Чего ты от меня хочешь?

— Ты несправедлив, Петер. Я сказал тебе, что не понимаю по-китайски ни слова. «Сан» значит «три», а «ву» — «пять», вот и все, что я знаю. Я *должен* смотреть тебе в лицо. Как мне иначе узнать, причиняю ли я боль твоему пальцу? Ты же сам не открыл бы рта. К счастью, твое лицо разговорчивее, чем твой рот.

— Тогда поторопись! У тебя самоуверенный взгляд.

Оставь мою науку в покое! Не изображай интереса к ней. Оставайся со своими сумасшедшими! Я же тебя о них не спрашиваю. Ты говоришь слишком много, потому что ты всегда вертишься среди людей!

— Ладно, ладно. Сейчас кончу.

Георг чувствовал по руке, как хотелось Петеру встать, когда тот говорил эти резкости; так легко было вновь пробудить в нем чувство собственного достоинства. Своих возражений он и десятки лет назад не оставлял при себе. Не прошло и получаса с тех пор, как он сидел, скорчившись, на полу, слабый, на ладан дышащий, кучка костей, из которой слышался голос высеченного школьника. Теперь он защищался скупыми, злыми фразами и явно не прочь был воспользоваться как оружием длиной своего тела.

— Я хотел бы посмотреть твои книги там, наверху, если ты не против, — сказал Георг, покончив с повязкой. — Пойдешь со мной или подождешь меня? Тебе надо бы сегодня поберечь себя, ты потерял много крови. Приляг на часок! Потом я найду за тобой.

— Что ты собираешься сделать за час?

— Посмотреть твою библиотеку. Привратник ведь наверху?

— На мою библиотеку тебе потребуется день. За час ты ничего не увидишь.

— Я хочу только бросить общий взгляд, по-настоящему мы осмотрим ее потом вместе.

— Останься здесь, не иди наверх! Я предостерегаю тебя.

— От чего?

— В квартире воняет.

— Чем же?

— Женщиной, чтобы не выразиться грубее.

— Ты преувеличиваешь.

— Ты бабник.

— Бабник? Нет!

— Юбочник! Тебе это приятнее?

Голос у Петера сорвался.

— Я понимаю твою ненависть, Петер. Она заслуживает ее. Она заслуживает гораздо большего.

— Ты не знаешь ее!

— Я знаю, что ты вытерпел.

— Ты говоришь как слепой о цвете! У тебя галлюцинации. Ты избавляешь от них своих пациентов и берешь их себе. То, что творится у тебя в голове, напоминает калейдоскоп. Ты смешиваешь формы и цвета как тебе вздумается. А ведь у каждого цвета есть

свое название! Помолчи лучше о вещах, которых ты не испытал сам!

— Я и помолчу. Я только хотел сказать тебе, что понимаю тебя, Петер, я пережил то же самое, я не тот, что прежде. Потому я и переменял тогда специальность. Женщины—это беда, это вериги духа человеческого. Кто относится к своему долгу серьезно, тот должен сбросить их, иначе он пропадет. Галлюцинации моих пациентов мне не нужны, потому что мои здоровые открытые глаза видели больше. За двенадцать лет я кое-чему научился. Тебе посчастливилось с самого начала знать все, за что мне приходилось платить горьким опытом.

Чтобы брат поверил ему, Георг говорил менее настойчиво, чем умел. Его рот искривила застарелая горечь. Недоверие Петера росло, росло и его любопытство, это было видно по напрягшимся уголкам его глаз.

— Ты очень тщательно одеваешься!—сказал он в ответ на всю резиньяцию.

— Мерзкая необходимость! Такова уж моя профессия. Необразованным больным это часто импонирует, когда с ними на короткой ноге господин, который кажется им аристократом. Иных меланхоликов складки моих штанов воодушевляют больше, чем мои слова. Если я не вылечу людей, они останутся в своем варварском состоянии. Чтобы открыть им путь к образованию, хотя бы и позднему, мне надо сделать их здоровыми.

— Вот как ты ценишь образование. С каких пор?

— С тех пор как знаю действительно образованного человека. Знаю, что он совершил и каждый день совершает. Знаю безопасность, в которой живет его дух.

— Ты имеешь в виду меня?

— Кого же еще?

— Твои успехи основаны на бессовестной лести. Теперь мне ясен шум, который вокруг тебя поднимают. Ты прожженный лжец. Первое слово, которое ты научился говорить, было ложью. Ради удовольствия лгать ты стал психиатром. Почему не актером? Постыдись своих больных! Для них их несчастье—горькая правда, они жалуются, не зная, как им быть. Я могу представить себе такого беднягу, страдающего галлюцинациями определенного цвета. «У меня перед глазами всегда зеленое», — жалуется он. Может быть, он плачет. Может быть, он уже месяцами мучится со своим нелепым зеленым цветом. Что делаешь ты? Я знаю, что ты делаешь. Ты льстишь ему, ты хватаешь его за

его ахиллесовы пятки, — как им не быть у него, человек состоит из слабых мест, — ты называешь его «любезный друг» и «мой дорогой», он смягчается, начинает уважать сперва тебя, а потом и себя. Он может быть последним беднягой на свете — ты осыпашь его знаками величайшего уважения. Когда он уже кажется себе содиректором твоей лечебницы, лишь по случайной несправедливости лишенным единоличной власти, ты выкладываешь ему правду. «Дорогой друг, — говоришь ты ему, — цвет, который вы видите, вовсе не зеленый, он... он... скажем, синий!» — Голос у Петера сорвался. — Разве ты этим вылечил его? Нет! Дома жена будет мучить его точно так же, как прежде, ока будет мучить его до смерти. «Когда люди больны и при смерти, они очень похожи на безумных», — говорит Ван Чун, светлая голова, он жил в первом веке нашей эры, с 27-го по 98-й год, в Китае позднего периода династии Хань, и знал о сне, безумии и смерти больше, чем вы с вашей якобы точной наукой. Вылечи своего больного от его жены! Пока она при нем, он безумен и при смерти — это, по Ван Чуну, два родственных состояния. Удали жену, если можешь! Этого ты не можешь сделать, потому что не схватил ее. А схвати ты ее, ты оставил бы ее себе, потому что ты юбочник. Засади всех жен в свою лечебницу, твори с ними что хочешь, прожигай жизнь, умри в сорок, расточив свои силы и отупев, но ты хотя бы вылечишь больных мужчин и будешь знать, за что тебе такой почет и слава!

Георг прекрасно заметил, когда срывался голос у Петера. Достаточно было его мыслям вернуться к находившейся наверху женщине. Он еще не говорил о ней, а голос его уже выдавал кричащую, пронзительную, неизлечимую ненависть. Он явно ждал от Георга, что тот удалит ее объект; эта миссия казалась ему такой трудной и опасной, что он заранее обругал брата за ее провал. Надо было заставить его выказать как можно больше скопившейся в нем ненависти. Если бы он, просто излагая события, как они запомнились ему, дошел до самого их начала! Георг умел во время таких ретроспективных рассказов играть роль ластика, стирающего все следы на болезненном листе памяти. Но Петер ни за что не стал бы рассказывать о себе. То, что он пережил, пустило корни в область его науки. Здесь было легче растревожить больное место.

— Я думаю, — сказал Георг, посыпая рану солью сочувствия, которое никак нельзя было не принять на свой счет, — что ты сильно переоцениваешь значение женщин. Ты относишься к ним слишком серьезно, ты

считаешь их такими же людьми, как мы. Я вижу в женщинах лишь временно необходимое зло. Даже некоторым насекомым лучше, чем нам. Одна или несколько маток родят на свет целую колонию. Остальные особи недоразвиты. Можно ли жить в большей скученности, чем та, к какой привыкли термиты? Какую страшную сумму половых раздражений представляла бы собой такая колония, будь эти насекомые наделены полом. Они не наделены им, а связанными с ним инстинктами обладают в самой малой мере. Даже этого немного они боятся. В полете роем, при котором тысячи особей гибнут как бы бессмысленно, я вижу освобождение от скопленной сексуальности стаи. Они жертвуют малой частью своей массы, чтобы избавить большую от любовных смут. Колония погибла бы от любви, если бы таковая была разрешена. Я не представляю себе картины великолепнее, чем оргия в термитнике. Снедаемые чудовищным воспоминанием, насекомые забывают, кто они — слепые ячейки фанатичного целого. Каждая особь хочет быть сама по себе. Это начинается с сотни, с тысячи, безумие распространяется, их безумие, массовое безумие, воины покидают входы, колония пылает несчастной любовью, они же не могут совокупиться, у них нет пола, шум, волнение, каких не бывало, приманивают полчища муравьев, через неохраняемые ворота врываются смертельные враги, кто уж из воинов думает об обороне, каждый хочет любви. Колония, которая жила бы, может быть, века, ту самую вечность, по которой мы так томимся, умирает, умирает от любви, от того самого влечения, благодаря которому продлеваем свою жизнь мы, человечество! Внезапное превращение самого осмысленного в самое бессмысленное. Это... сравнить это нельзя ни с чем... да, это все равно как если бы ты среди бела дня, при здоровых глазах и в здравом уме, сжег бы себя вместе со своими книгами. Никто тебе не угрожает, у тебя есть деньги, сколько тебе угодно и нужно, твои работы становятся с каждым днем шире и самобытнее, редкие старые книги сами идут тебе в руки, ты приобретаешь замечательные рукописи, ни одна женщина не переступает твоего порога, ты чувствуешь себя свободным и защищенным своей работой, своими книгами — и вдруг, без всякого повода, в этом благословенном и непреходящем состоянии, ты поджигаешь свои книги и преспокойно сгораешь сам вместе с ними. Это было бы событие, отдаленно сходное с тем смятением в колонии термитов, триумф бессмысленного, как и там, только не в столь великолепной мере. Преодолеем ли

мы когда-нибудь пол, подобно термитам? Я верю в науку, все больше с каждым днем, и с каждым днем все меньше в незаменимость любви.

— Любви не существует! То, чего не существует, не может быть ни заменимо, ни незаменимо. С такой же уверенностью хотелось бы мне сказать: женщин не существует. До термитов нам нет дела. Кто там страдает от женщин? *Hic mulier, hic salta!*¹ Будем говорить о людях! Если самки пауков, надругавшись над хилыми самцами, откусывают им головы, если кровь сосут только комары женского пола, то это не относится к нашей теме. Избиение трутней у пчел—это варварство. Если трутни не нужны, зачем их разводят, если они полезны, зачем убивают их? В пауке, самом жестоком и безобразном животном, я вижу воплощение женственности. Его сеть отливает на солнце ядовитой синевой!

— Но ты же сам говоришь только о животных.

— Потому что я слишком много знаю о людях. Мне не хочется начинать. О себе я молчу, я—частный случай, я знаю тысячи похуже, для каждого его случай—самый плохой. Действительно великие мыслители убеждены в малоценности женщин. Отыщи в беседах *Конфуция*, где ты найдешь тысячи суждений и мнений обо всех насущных и не только насущных предметах, хотя бы одну фразу, которая касалась бы женщин! Ты не найдешь ни одной! Мастер молчания обходит их молчанием. Даже траур по поводу их смерти кажется ему, приписывающему форме внутреннюю ценность, ненужным и неуместным. Его жена, на которой он женился в ранней молодости, женился согласно обычаю, а не по убеждению и тем более не по любви, умирает после долгих лет брака. Ее сын разражается над ее телом громкими воплями. Он плачет, он трясется, поскольку эта женщина случайно доводится ему матерью, он считает ее незаменимой. И тут *Конфуций*, отец, строго выговаривает ему за его боль. *Voilà un homme!*² Его опыт позднее подтвердил это убеждение. В течение нескольких лет он служил министром у повелителя царства Лу. Страна расцвела при его правлении. Народ оправился, вздохнул, взбодрился, проникаем доверием к тем, кто вел его. Соседние государства охватила зависть. Они испугались, что

¹ Здесь женщина, здесь прыгай! (*лат.*) Перефразированная поговорка «Здесь Родос, здесь прыгай!» Смысл: действовать надо здесь и сейчас.

² Вот человек! (*фр.*)

нарушится издревле желанное равновесие. Что они сделали, чтобы обезвредить Конфуция? Самый хитрый среди них, повелитель царства Цзоу, послал в подарок своему соседу в Лу, на службе у которого состоял Конфуций, восемьдесят отборных баб, танцовщиц и флейтисток. Они опутали молодого князя своими сетями. Они ослабили его, политика ему наскучила, совет мудрецов стал ему в тягость, общество баб нравилось ему больше. Из-за них дело Конфуция пошло прахом. Он взял посох и, бездомный, стал скитаться по свету, отчаиваясь при виде страданий народа и тщетно надеясь вновь обрести влияние: властители везде оказывались в руках баб. Он умер в горечи; но он оставался слишком благороден, чтобы хоть раз пожаловаться на свои страдания. Я почувствовал их в некоторых его кратчайших фразах. Я тоже не жалуюсь. Я только обобщаю и делаю необходимые выводы.

Современником Конфуция был *Будда*. Их разделяли огромные горы, как могли они узнать друг о друге? Один, может быть, не знал даже названия народа, к которому принадлежал другой. «Какая тому причина, ваше преподобие, — спросил Ананда, любимый ученик Будды, своего учителя, — почему женщины не заседают в собрании, не ведут дел и не зарабатывают на жизнь собственным трудом?»

«Вспыльчивы, Ананда, женщины; ревнивы, Ананда, женщины; завистливы, Ананда, женщины; глупы, Ананда, женщины. Вот, Ананда, причина, вот почему женщины не заседают в собрании, не ведут дел и не зарабатывают на жизнь собственным трудом».

Женщины молили принять их в орден, ученики ходатайствовали за них, Будда долго отказывался уступить им. Десятки лет спустя он поддался своей кротости, своей жалости к ним и, вопреки собственному благоразумию, основал женский монашеский орден. Из восьми строгих «правил», которые он установил для монахинь, первое гласит:

«Монахиня, даже если она состоит в ордене сто лет, обязана почтительно приветствовать каждого монаха, даже если он принят в орден лишь сегодня, она обязана встать перед ним, сложить руки, надлежаще почтить его. Это правило она должна уважать, соблюдать, считать священным, чтить и не нарушать в течение всей жизни».

Седьмое правило, священная верность которому ей внушается такими же словами, гласит: «Ни в коем случае монахиня не смеет оскорблять или хулить монаха».

Восьмое: «Отныне монахиням закрыта тропа устного обращения к мужчинам. Монахам же тропа устного обращения к монахиням не закрыта».

Несмотря на вал, который возвел для защиты от женщин Возвышенный своими восемью правилами, им овладела, когда это случилось, великая печаль, и он сказал Ананда:

«Если бы, Ананда, по учению и уложению, которые провозгласил Совершенный, женщинам не дозволялось покидать мир и обращаться к бездомности, этот священный порядок сохранялся бы долго; истинное учение сохранялось бы тысячу лет. Но поскольку, Ананда, женщина покинула мир и обратилась к бездомности, этот священный порядок, Ананда, будет сохраняться недолго; только пятьсот лет будет сохраняться истинное учение.

Если на прекрасное рисовое поле, Ананда, нападает болезнь, которую называют мучнистой росой, поле это сохраняется недолго; точно так же, если какое-либо учение и уложение дозволит женщинам покидать мир и обращаться к бездомности, этот священный порядок будет сохраняться недолго.

Если на прекрасную сахарную плантацию, Ананда, нападает болезнь, которую называют *синей* болезнью, плантация эта сохраняется недолго; точно так же, если какое-либо учение и уложение дозволит женщинам покидать мир и обращаться к бездомности, этот священный порядок будет сохраняться недолго».

В безличной речи веры я слышу здесь большое личное отчаяние, отзвук боли, какого я нигде больше не встречал, ни в одной из бесчисленных фраз, дошедших до нас от Будды.

Крив, как река,
Упрям, как дуб,
Зол, как женщина,
Так зол и глуп, —

гласит одна из старейших индийских поговорок, сложенная добродушно, как большинство поговорок, если учесть ужасный смысл такого высказывания, но характерная для народного мнения индусов.

— То, что ты говоришь, ново для меня лишь в частностях. Я восхищен твоей памятью. Из безбрежного материала преданий ты цитируешь то, что годится для подкрепления твоих доказательств. Ты напоминаешь мне древних браминов, которые еще до возникновения письменности устно передавали ученикам свои

веды, более объемистые, чем священные книги всякого другого народа. Ты хранишь в голове священные книги всех народов, не только индусов. Однако за свою научную память ты платишь одним опасным недостатком. Ты не замечаешь происходящего вокруг тебя. На вещи, случившиеся с тобой самим, у тебя памяти нет. Если бы я попросил тебя, чего я, конечно, не сделаю: расскажи мне, как ты попал на эту женщину, как она надувала и обманывала, продавала и ломала тебя, опиши мне злость и глупость, из которых она, по твоей индийской поговорке, состоит, во всех подробностях, — ты оказался бы неспособен на это. Наверно, в угоду мне ты напряг бы свою память, но совершенно без толку. Пойми, этим отсутствующим у тебя видом памяти я обладаю, тут мое превосходство над тобой очень велико. Того, что мне однажды сказал человек, который хотел задеть меня или приласкать, я не забываю. Просто высказывания, обыкновенные замечания, которые в такой же мере, как ко мне, могут относиться к кому-то другому, со временем вылетают у меня из головы. Памятью чувства, как я назвал бы это, обладает художник. Лишь то и другое вместе, память чувства и память разума, — а последнее как раз твое, — делают возможным универсального человека. Я, наверно, переоценивал тебя. Если бы мы, ты и я, могли слиться в одно целое, то из нас возникло бы духовно совершенное существо.

Петер повел левой бровью.

— Мемуары неинтересны. Женщины, если уж они читают, питаются мемуарами. Я прекрасно запоминаю все, что со мной происходит. Ты любопытен, я — нет. Ты ежедневно выслушиваешь новые истории и хочешь сегодня для разнообразия услышать еще одну, от меня. Я отказываюсь от историй. В этом и состоит разница между нами. Ты живешь своими безумцами, я — своими книгами. Что пристойнее? Я мог бы жить и в лачуге, мои книги у меня в голове, тебе нужна целая психиатрическая лечебница. Бедняга! Мне жаль тебя. По сути ты женщина. Ты состоишь из сенсаций. Бегай себе от одной новости к другой! Я стою неподвижно. Если меня беспокоит какая-то мысль, она не отпускает меня неделями. Ты спешаешь обзавестись тут же другой! Это ты считаешь интуицией. Если бы я страдал какой-нибудь бредовой идеей, я ею гордился бы. Что больше свидетельствует о характере и силе? Испытай манию преследования! Я подарю свою библиотеку тебе, если ты поднимешься до этого. Ты третий малый, от всякой сильной мысли ты ускользаешь. Тебе не достичь мании.

Мне тоже нет, но у меня есть необходимый для этого дар — характер. Тебе это кажется хвастовством. Но я доказал свой характер. Только благодаря собственной воле, без чьей-либо поддержки, об этом никто даже не знал, я освободился от некоего гнета, некоей тяжести, некоей смерти, некоей коры проклятого гранита. Где был бы я, если бы дожидался тебя? Наверху! Я вышел на улицу, бросив на произвол судьбы книги, ты не знаешь, какие книги, сперва познакомься с ними, может быть, я преступник. С точки зрения строгой морали, я преступник, но я беру это на себя, я не боюсь. Смерть разрушает браки. Почему мне должно быть дозволено меньше, чем смерти? Что такое смерть? Прекращение функций, отрицание, ничто. С какой стати мне ждать ее? Каприза какого-то упрямого старого тела? Кто станет ждать, когда посягают на его работу, на его жизнь, на его книги? Я ненавижу ее. Я ненавижу ее и теперь, я и после ее смерти ненавижу ее! У меня есть право на ненависть; я докажу тебе, что ненависти заслуживают все женщины; ты думаешь, я смыслю только в Востоке. Нужные ему доказательства он берет из своих специальных областей — так думаешь ты. Я достану тебе синеву с неба, и не ложь, а правду, прекрасную, жесткую, острую правду, правду любого размера и вида, правду для чувства и правду для разума, хотя у тебя, баба ты, работает только чувство, такую правду, что в глазах у тебя посинеет, не потемнеет, а посинеет, посинеет, посинеет, потому что синий цвет — это цвет верности! Но оставим это, ты отвлек меня от нашего первого разговора. Мы докатились до уровня неграмотных. Ты унижаешь меня. Мне следовало бы молчать. Ты делаешь из меня сварливую мегеру, а ведь у меня нашлись бы доводы!

Петер тяжело дышал. Рот его искажала дрожь. Виднелся язык, делавший отчаянные движения и напоминавший утопающего. Складки на лбу пришли в беспорядок. Он заметил это, когда говорил, и потянулся к ним рукой. Вложив в морщины три пальца, он несколько раз с силой провел ими справа налево. Четвертой морщине не повезло, подумал Георг. Удивительно, что при щели имеется рот. У него же есть губы и язык, как у всех у нас, кто подумал бы. Он ничего не хочет рассказывать мне. Почему он мне не доверяет? Какой он гордый. Он боится, что я втайне презираю его за то, что он женился. Еще мальчиком он всегда поносил любовь, став взрослым, он полагал, что она не стоит того, чтобы о ней говорили. «Если бы я встретил Афродиту, я застрелил бы ее». Основателя кинической

школы, Антисфена, он любил за эти слова. И вот появилась какая-то старая шлюха и ввергла убийцу Афродиты в беду. Великий характер! Как твердо он стоял! Георг испытывал злорадство. Петер оскорбил его. К оскорблениям он привык, но эти задевали за живое. В словах Петера был смысл. Без своих больных Георг действительно жить не мог. Он был обязан им большим, чем хлебом и славой; они были основой его умственной и душевной жизни. Хитрость, на которую он пошел, чтобы развязать Петеру язык, потерпела провал.

Вместо того чтобы рассказывать, он ругал Георга и обвинял самого себя в преступлении. От женщины он сбежал. Чтобы не слишком стыдиться этого позорного факта, он объявил себя преступником. Сознание преступления, которого не было, можно вынести. И сильные характеры доказывают себе свою цельность окольными путями. У Петера была причина считать себя трусом. Из квартиры он выдворил не эту женщину, а себя самого. С улицы, где он некоторое время плачевно слонялся, долговязый, смешной, он подался в каморку привратника. Здесь он отбывал наказание за свое преступление. Чтобы сократить срок своего заключения, он заранее телеграфировал брату. Тому была предназначена во всем этом плане особая роль. Он должен был выдворить и отшить женщину, поставить на место привратника, разубедить человека с сильным характером в том, что он преступник, и с триумфом водворить его в освобожденную и очищенную библиотеку. Георг увидел себя теперь важной частью механизма, запущенного кем-то для спасения своего задетого самолюбия. Комедия эта стоила одной фаланги пальца левой руки. Ему все еще было жаль Петера. Но эта симуляция помешательства, эта готовность пренебречь чужим достоинством ради восстановления собственного, эта игра, которую вели с ним, привыкшим играть с другими, ему не понравились. Ему очень хотелось дать понять, что он понял. Он решил помочь Петеру вернуться к спокойной жизни ученого, помочь самоотверженно и осторожно, как того требовала его профессия. Маленькую месть он отложил на будущее. Когда он снова навестит Петера, — а этот визит он наметил уже теперь, — он дружески, но немилосердно объяснит ему, что на *самом деле* произошло между ними в этой каморке.

— У тебя есть доводы? Так приведи их! Думаю, что все твои положения будут возвращать нас в Китай или в Индию.

Он выбрал долгий путь, короткий был закрыт. Поскольку просто рассказывать Петер отказывался, заключать, в чем именно винил брат жену, Георг должен был по его якобы научным соображениям. Как вытащить у него из плоти шипы, если он их не видит? Как успокоить его, если он не знает, где затаилась эта тревога, что она творит, как она заявляет о себе, какого она мнения о прошлом рода человеческого, которое она, словно какого-то чудовищного уroda, подмяла под собственное прошлое?

— Я останусь в Европе, — пообещал Петер, — о женщинах тут можно сказать еще больше. У немцев, как и у греков, предмет великого и представительного народного эпоса—женские смуты. Ни о каком влиянии не может быть речи. Уж не в восторге ли ты от трусливой мести Кримхильды?¹ Разве она бросается в бой сама, разве подвергает себя хоть малейшей опасности? Она только подстрекает других, плетет интриги, использует людей в гнусных целях, предает их. А под конец, уже ничего не опасаясь, она собственноручно отрубает головы связанным Гюнтеру и Хагену. Из верности? Из любви к Зигфриду, в чьей смерти она виновна? Может быть, ее бичуют фурии? Может быть, она знает, что погибнет из-за своей мести? Нет! Нет! Нет! Ничего грандиозного она не совершает. Ее забота—сокровище Нибелунгов! Свои драгоценности она потеряла из-за своей же болтливости; за драгоценности она и мстит. Среди драгоценностей находился мужчина. Вместе с драгоценностями пропадает и он, мстя за драгоценности, мстят и за него. В самый последний миг она еще надеется узнать у Хагена, где сокровище. Я ставлю в заслугу поэту или народу, подготовившему работу поэта, то, что Кримхильду в конце концов убивают!

Значит, она была корыстолюбива и все время выжимала из него деньги, думает Георг.

— Греки были менее справедливы. Они все простили Елене за ее красоту. Я лично каждый раз дрожу от возмущения, видя, как она в Спарте, опять рядом с Менелаем, умильно и весело строит глазки. Как ни в чем не бывало... Десять лет войны... самые сильные, самые прекрасные, самые лучшие греки погибли, Троя сожжена, Парис, ее возлюбленный, мертв... добро бы еще она молчала, столько лет прошло... так нет же, она преспокойно говорит о том времени, когда «за мои умильные взгляды все вы, ахеяне, в Трою пошли

¹ Персонаж из «Песни о Нибелунгах».

истребительной ратью»¹. Она рассказывает, как Одиссей под видом нищего пробрался в осажденную Трою и убил там множество воинов.

Многие вдовы троянские громко рыдали, в моем же Сердце веселие было: давно уж стремилось в родную Землю оно, проклиная безумье, которым богиня Вдруг ослепила меня и велела покинуть отчизну Держко, и брачное ложе, и милую дочь, и супруга, Столь одаренного светлым умом и лица красотою.

Эту историю она рассказывает при гостях и, что существенно, при Менелая. Для него она выводит из нее мораль. Так она подольщается к нему. Так она утешает его, имея в виду свою давнюю измену. Тогда, мол, я находила Париса более одаренным красотой и умом, чем ты, таков подтекст ее слов, а сегодня я знаю, что ты столь же прекрасен. Кто думает о том, что Париса и на свете-то нет? Для женщины живой прекраснее, чем мертвый. Что у нее есть, то ей и нравится. Из этой слабости характера она еще извлекает пользу и подольщается.

Она корила его за его жалкую фигуру, думает Георг, и обманывала его с менее жалкой. Когда тот, другой, умер, она вернулась и стала подольщаться к Петеру.

— О, Гомер знает о женщинах больше, чем мы! Нам, зрячим, есть чему поучиться у слепого! Вспомни измену Афродиты. Гефест ей нехорош тем, что хромает. Так с кем же она обманывает его? Может быть, с Аполлоном, поэтом, художником, как и Гефест, обладающим вроде бы всей красотой, которой ей не хватает в покрытом копотью кузнице, с Аидом, темным, таинственным владыкой преисподней? С Посейдоном, сильным и гневным, насылающим на моря бури? Он был бы законным ее повелителем, она вышла из его моря. С Гермесом, знающим толк во всяких проделках, да и в бабах тоже, с богом, чья хитрость и предприимчивость ее, владычицу любви, казалось бы, способны пленить? Нет, всем она предпочитает Ареса, которому пустоту его головы возмещает полнота его мышц, рыжеволосого олуха, бога греческих наемных воинов, крепкого не умом, а кулаками, не знающего границ лишь в своей грубости, вообще же воплощение ограниченности!

Вот у нас уже и привратник, думает Георг, он сделал ему и эту вторую пакость.

¹ Здесь и ниже слегка препарированный автором перевод стихов из 4-й песни «Одиссеи».

— По своей неуклюжести он запутывается в сети. Каждый раз, когда я читаю, как Гефест накрыл их своей сетью, я от радости захопываю книгу и раз десять—двадцать горячо целую имя Гомера. Но я не пропускаю и окончания. Арес с жалким видом убирается восвояси, он хоть и болван, а мужчина; в нем еще есть искра стыда. Афродита, сияя, удаляется в Пафос, где ее ждут храм и алтари, и оправляется от своего позора, — ведь все боги смеялись над ней, когда она попала в сеть, — тщательно наряжаясь и прихорашиваясь!

Когда он их застиг, думает Георг, привратник, тогда еще не обнаглевший, смущенно убрался прочь, забыв о своих кулаках при виде богатого ученого. А она—это единственная защита застигнутой—состроила дерзкую рожу, унесла свои тряпки в соседнюю комнату и там оделась. Жан, где ты?

— Твои мысли я угадываю. Ты думаешь, «Одиссея» свидетельствует против меня. В твоих глазах я вижу имена Калипсо, Навсикаи и Пенелопы. Сейчас я раскрою тебе их красоту, которую критики принимают на веру *один у другого*. Это, если можно так выразиться, три кота в старом мешке, вернее, три кошки. Но сначала упомяну, что Цирцея, женщина, превращает всех мужчин в свиней. Калипсо удерживает Одиссея, которого любит всем телом, семь лет. Целыми днями он сидит на берегу, горько плача, снедаемый тоской по дому и стыдом, ночью он должен спать с ней, он *должен*, ночь за ночью, хочет ли он или нет. Он не хочет. Он хочет домой. Он деятельный человек, полный сил, отваги и ума, бедовая голова, величайший актер всех времен и все же герой. Она видит, как он плачет, ей отлично известно, отчего он страдает. В праздности, оторванный от людей, чьи речи и дела—его воздух, он теряет у нее свои лучшие годы. Она не отпускает его. Она никогда не отпустила бы его. Тут Гермес передает ей приказание богов: Одиссея надо освободить. Ей приходится повиноваться. Последние часы, которые ей остаются, она бесчестно тратит на то, чтобы выставить себя перед Одиссеем в благоприятном свете. Я отпускаю тебя по собственной воле, говорит она, потому что люблю, потому что мне жаль тебя. Он видит ее насквозь, но он молчит. Вот как поступает бессмертная богиня: мужчины и любовь суждены ей на веки вечные, она никогда не постареет. Что ей за дело до того, как он, смертный, употребит свою короткую, куцую, наполовину уже истощенную временем жизнь?

Она не оставляла его в покое, думает Георг, ни днем, ни во время работы.

— О Навсикае известно мало что. Она молода. Однако склонности ее видны. Она хочет найти себе такого мужа, как Одиссей, говорит она. Она видела его на берегу голым. Этого ей достаточно, он был красив. Кто он, она же не подозревает. Она делает выбор, глядя на тело. О Пенелопе ходит легенда, что она ждала Одиссея двадцать лет. Число лет соответствует действительности, но почему она ждет? Потому что не может остановить свой выбор ни на одном женихе. Сила Одиссея ее испортила. Ни один мужчина уже не нравится ей. Слишком невелико удовольствие, которого она может ждать от этих кутил. Она, дескать, любит Одиссея! Что за сказки! Его старый, дряхлый, еле живой пес узнает его, когда он появляется в виде нищего, и умирает от радости. Она не узнает его и живет себе припеваючи. Только перед сном она плачет каждую ночь. Сначала она тосковала о нем, он был пылкий и сильный мужчина. Затем слезы вошли у нее в привычку, стали снотворным, без которого она не могла обойтись. Вместо луковицы она хваталась за воспоминания о своем любимом Одиссее и ревела с их помощью, пока не засыпала. Добрая старая домохозяйка Еврикля, заботливая нянюшка, мягкосердечная, рачительная, ликует при виде убитых женихов и повешенных слуганок! Одиссей, мститель, человек, который действительно оскорблен, еще и выговаривает ей за это!

В Пенелопе и Евриклее ему ненавистна хозяйственность, думает Георг, она же была сперва его экономка.

— Самым драгоценным и самым личным заветом Гомера я считаю слова, которые говорит Одиссею Агамемнон, вялая синяя тень в преисподней, его зарезала собственная жена:

Слишком доверчивым быть, Одиссей, берегись с женою;
Ей открывать простоудушно всего, что ты знаешь, не должно;
Вверх ей одно, про себя сохрани осторожно другое...
Скрой возвращение свое и войди с кораблем неприметно¹
В пристань Итаки: на верность жены полагаться опасно.

Жестокость — главное свойство и греческих богинь. Боги вечнее. Было ли на свете существо, которое мучило бы и травило всю жизнь безжалостнее, чем Гера Геракла, ничем, кроме своего происхождения, не досадившего ей? Когда он наконец умирает и избавля-

¹ «Одиссея», XI, 441—443, 455—456. Перевод В. А. Жуковского.

ется от ужасных баб, которые даже его смерть превращают в адский огонь, она отравляет ему бессмертие коварной проделкой. Боги хотят вознаградить его за муки, они стыдятся ненависти жестокосердной Геры; в качестве справедливого возмещения они даруют ему бессмертие. И Гера протаскивает в их дар женщину. Она сводит его со своей дочерью Гебой. Боги высокомерны; они считают, что это счастье, если кому-то досталась в жены одна из их шатий. Геракл беззащитен. Будь Геба львом, он убил бы ее своей палицей. Но она богиня. Он улыбается и благодарит. Куда же перенесли его из полной опасностей жизни? В бессмертный брак! Бессмертный брак на Олимпе, под синим небом, с видом на синее море...

Больше всего он боится нерасторжимости своего брака. Георг радовался по поводу развода, это будет его подарок брату. Петер молчал и напряженно глядел в пустоту.

— Подумай-ка, — начал он нерешительно, — я страдаю обманом зрения... Я сейчас попытался представить себе Эгейское море. Оно кажется мне скорее зеленым, чем синим. Означает ли это что-то серьезное? Что ты об этом думаешь?

— Какая блажь! Ты ипохондрик. Море принимает самые разные цвета. Тебе особенно приятно вспоминать зеленоватый оттенок. Мне тоже. Я тоже люблю коварный зеленый цвет, перед грозой, в пасмурный день.

— Синий, по-моему, гораздо коварней зеленого.

— Отношение к отдельным цветам у каждого свое. Вообще синий цвет считается приятным. Вспомни простую, детскую синеву на картинах Фра Анджелико!

Петер помолчал снова. Вдруг он схватил Георга за рукав и сказал:

— Раз уж мы говорим о картинах, то какого мы мнения о Микеланджело?

— Почему ты вспомнил о Микеланджело?

— Как раз в центре потолка Сикстинской капеллы происходит сотворение Евы из ребра Адама. Изображение этого события, которое превращает только что созданный лучший из миров в худший, выдержано в меньшем размере, чем сотворение Адама и грехопадение по обе стороны. Мелко и убого то, что здесь происходит — похищение у мужчины худшего его ребра, разделение на два пола, один из которых составляет лишь дольку другого, но это маленькое событие находится в центре мироздания. Адам спит. Если бы он бодрствовал, его ребро было бы закрыто. Как жаль, что мимолетное желание иметь подругу стало для него

роковым! Доброжелательство бога исчерпалось сотворением Адама. С этого момента бог обращается с ним как с кем-то чужим, а не как со своим же творением. За слова и прихоти, более быстротечные, чем облака, он заставил его поплатиться, навеки взвалив на него бремя его причуд. Из причуд Адама вышли инстинкты рода человеческого. Он спит. Бог, добрый отец, полный за этим делом насмешливой кротости, извлекает из него, как фокусник, Еву. Одной лишь ногой стоит она еще на земле, другая еще не вынута из бока Адама. Еще не в состоянии стать на колени, она уже складывает руки. Ее рот лепечет что-то умильное. Умильные слова по адресу бога называют молитвами. Молиться научила ее не нужда. Она осторожна. Пока Адам спит, она быстренько сколачивает запас прекрасных творений. У нее верное чутье, она угадывает тщеславие бога, которое огромно, как он сам. При разных актах творения он держится по-разному. Между одним творением и другим он меняет одежды. Окутанный просторным, красиво ниспадающим плащом, он озирает Еву. Ее красоты он не видит, потому что он везде видит только себя; он принимает ее хвалу. Ее ужимки низменны и греховны. С первого же своего мгновения она все рассчитывает. Она нага, но она не стыдится бога в его просторном плаще. Стыдиться она будет лишь тогда, когда ей не удастся какой-нибудь грех. Адам лежит утомленный, как после соития. Его сон легок. Ему снится печаль, которую ему дарит бог. Первый сон человека рожден страхом перед женщиной. Когда Адам проснется, — а бог жестоко оставит их одних, — она станет перед ним на колени, сложив руки как перед богом, с той же умильной речью на устах, с преданностью в глазах, с властолюбием в сердце, и склонит его к непотребству, чтобы он никогда уже не мог без нее обходиться. Адам великодушнее бога. Бог любит в своем творении себя. Адам любит Еву, нечто второе, нечто другое, зло, несчастье. Он прощает ей то, что она представляет собой, — его напыщенное ребро. Он забывает, и из одного получаются двое. Какая беда навеки!

Виной его браку каприз, порыв. Он заключил его против собственной воли, этого он себе не может простить. Его злит то, что он верит только в категорический императив, а не в бога. А то бы он свалил вину на него. Он смотрит на потолок Сикстинской капеллы, чтобы хоть немного представить себе бога. Другого достоверного библейского бога в изобразительном искусстве нет. Ему нужен бог, чтобы его поносить. Вслух

Георг произносит какую-то любезную фразу, как можно более далекую от его мыслей:

— Почему навеки? Мы ведь уже говорили о термитах, которые преодолели пол. Значит, это вовсе не непереносимое, вовсе не неискоренимое зло.

— Да, и такое же чудо, как любовный мятеж в колонии термитов, как пожар в моей библиотеке... который невозможен, полностью исключен, немислим, это же явное безумие, беспремерное надругательство над драгоценностями, подобного собрания которых нигде больше нет, это же чистая подлость, такая мерзость, что даже в шутку тебе не следовало бы при мне упоминать, не то что предполагать это, ты же видишь, что я не сумасшедший, у меня нет даже заскоков, я много испытал, волнение—не позор, почему ты насмехаешься надо мной, моя память в порядке, я помню все, что хочу, я владею собой, почему, потому что я однажды женился, у меня в жизни не было ни одной любовной связи, а уж какой любви предавался ты, любовь—это проказа, болезнь, унаследованная от одноклеточных, другие женятся по два и по три раза, у меня ничего с ней не было, ты обижаешь меня, этого тебе не следовало говорить, безумцы, может быть, так и поступают, я свою библиотеку не подожду, убирайся, если ты на этом настаиваешь, возвращайся в свою лечебницу для идиотов, где твоя голова, на все, что я ни скажу, ты отвечаешь поддакиванием! Я еще не услышал от тебя ни одной твоей собственной мысли, болтун ты, ты думаешь, что все знаешь! Я нюхом чувствую твои насмешливые мысли. От них воняет. Он сумасшедший, думаешь ты, потому что поносит женщин. Я не единственный! Это я докажу тебе! Возьми назад свои грязные мысли! У меня ты научился читать, мальчишка. Ты ведь даже китайского не знаешь. Я разведусь задним числом. Я должен восстановить свою честь. Жена для развода не нужна. Пусть перевернется в могиле. Она вовсе и не в могиле. Даже могилы она не заслуживает. Ада она заслуживает! Почему нет ада? Надо устроить его. Для баб и бабников вроде тебя. Я говорю правду! Я серьезный человек. Теперь ты уедешь и не будешь беспокоиться обо мне. Я совершенно один. У меня есть голова на плечах. Я могу сам позаботиться о себе. Книги я тебе завещать не стану. Лучше я их сожгу. Ты же умрешь раньше меня, ты уже изнасиловал, это от твоей грязной жизни, послушай только, как ты говоришь, без силы, длинными, витиеватыми фразами, ты всегда вежлив, баба ты этакая, ты

как Ева, но я не бог, у меня ты этим не добьешься успеха! Отдохни же от своей женственности! Может быть, ты опять станешь человеком. Бедное, грязное существо! Мне жаль тебя. Если бы мне пришлось поменяться с тобой, знаешь, как поступил бы я? Мне не надо меняться, но если бы пришлось, если бы нельзя было иначе, если бы закон природы не сжалился надо мной—я все-таки нашел бы спасение. Я поджег бы твой сумасшедший дом, чтобы он запылал ярким пламенем, вместе со всеми своими обитателями, вместе со мной, а не моя библиотека! Книги ценнее, чем сумасшедшие, книги ценнее, чем люди, этого ты не понимаешь, потому что ты комедиант, тебе нужны аплодисменты, а книги немые, они говорят, а немые, вот что великолепно, они говорят, и ты слышишь их быстрее, чем если бы тебе надо было слушать. Я покажу тебе свои книги, но не сейчас, позже. Ты попросишь у меня прощения за свою гнусную картину, но то я выставлю тебя вон!

Георг не перебивал его, он хотел услышать все. Петер говорил так стремительно и взволнованно, что его не остановили бы никакие любезности. Он говорил стоя; как только речь зашла о книгах, его скупые жесты стали размашистыми и определенными. Георг сожалел о картине, которую он, за неимением другой, к сожалению, неудачно выбрал для иллюстрации счастливой бесполости термитов, чтобы направить фантазию брата в нужную сторону. Сама мысль, что он может поджечь свои книги, жгла Петера сильнее, чем огонь. До такой степени любил он свою библиотеку; она заменяла ему людей. Этой боли не следовало ему причинять; но и она была не напрасна. Благодаря ей Георг узнал, что против женщины есть средство более верное, чем яд, — безмерная любовь, которую стоило лишь пустить в ход, как ненависть погасла и кончилась бы. Ради книг, защищаемых столь рьяно даже от выдуманной опасности, стоило продолжать жить. Эту женщину я быстро и бесшумно выставлю, решил Георг, а с ней и привратника, выкину из квартиры все, что могло бы напомнить о ней, проверю сохранность библиотеки, улажу его денежные дела, денег у него наврядка мало или нет вовсе, буду целый день разжигать его старую любовь, засажу его за работы, задуманные им прежде, и оставлю этого сухаря в его унылой стихии, которую он находит веселой. Через полгода навещу его снова, навещаться—это мой долг перед ним, хотя он мой брат и я презираю его смешную профессию. Об истории его брака я узнал

все, что мне нужно. Его суждения, которые он считает объективными, прозрачной воды. Первым делом мне надо успокоить его. Спокойнее всего он тогда, когда прячет свою ненависть за мифическими или историческими женскими фигурами. За этими бастионами своей памяти он чувствует себя в безопасности от женщины, находящейся наверху. Даже ответить ему на это она не в силах. По сути, он ограничен, и характер у него мелковат. Его ненависть дает ему некоторый задор. Может быть, что-нибудь от этого задора останется для его дальнейших работ.

— Ты перебил себя. Ты собирался сказать еще что-то серьезное, — совершенно спокойно, мягким и полным ожидания голосом оборвал Георг насками Петера. Такая предупредительная серьезность обезоружила того. Он снова сел, порылся в памяти и быстро нашел затребованную нить.

— Таким же чудом, как любовный мятеж в колонии термитов и немислимый пожар в моей библиотеке, было бы разрушение потолка Сикстинской капеллы самим Микеланджело. Может быть, по приказу какого-нибудь сумасшедшего папы, он, несмотря на многолетний труд, стал бы закрашивать или отскребать фигуру за фигурой. Но Еву, *эту* Еву, он защитил бы и от сотни папских швейцарцев. Она — его завет.

— У тебя тонкий нюх на заветы великих художников. История тоже подтверждает твою правоту, не только Гомер и Библия. Оставим Еву, Далилу, Клитемнестру и даже Пенелопу, чью подлость ты доказал. Это — яркие примеры, показательнейшие фигуры, но кто знает, жили ли они когда-либо на свете? Клеопатра говорит нам, любителям истории, в тысячу раз больше.

— Да... Я не забыл о ней, я просто еще не дошел до нее. Ладно, пропустим других! Ты не так обстоятелен, как я. Клеопатра велит убить собственную сестру — каждая женщина борется с каждой женщиной. Она обманывает Антония — каждая женщина обманывает каждого мужчину. Она использует его и азиатские провинции Рима для того, чтобы жить в роскоши, — каждая женщина живет и умирает ради своей любви к роскоши. Она предает Антония в первый же миг опасности. Она уверяет его, что сожжет себя. Он кончает с собой. А она не сжигает себя. Зато траурный наряд у нее наготове, он ей идет, этим она пытается завлечь Октавиана. Он был достаточно умен, чтобы опустить глаза. Спорю, что он не видел ее. Этот хитрый малый был защищен своими латами. А то бы она попыталась счастья при помощи своей кожи и

прижалась к нему как раз в ту минуту, когда Антонию испускал дух. Настоящий мужчина этот Октавиан, мужчина хоть куда, свою кожу он защищает латами, свои глаза — тем, что их опускает. На ее песнь сирены он, говорят, не ответил ни слова. Я подозреваю, что он заткнул себе уши, как некогда Одиссей. А уж через один только нос покорить его она не могла. За нос он был спокоен. Наверно, у него было плохо развито обоняние. Мужчина, мужчина, которым я восхищаюсь! Цезарь пал перед ней, а он — нет. А ведь к тому времени она из-за своего возраста стала гораздо опаснее, то есть напористее.

Даже возраст не прощает он своей жене, думал Георг, понятно. Он слушал еще довольно долго. Не было такого злодеяния женщины, засвидетельствованного историей или легендарного, которое осталось бы неупомянутым. Философы обосновывали свои пренебрежительные суждения. Цитаты Петера были надежны и, поскольку произносил он их тоном наставника, запечатлевались в уме как нельзя лучше. Некоторые фразы, запомнившиеся уже давно, но неверно, были поправлены. Учиться можно всегда, даже у педанта. Многого было для Георга ново. «Женщина — сорняк, который быстро растет, человек незавершенный, — сказал, оказывается, святой Фома Аквинский. — Ее тело созревает раньше потому, что оно менее ценно и природа меньше о нем печется». А где Томас Мор, первый коммунист нового времени, касается законов о браке, по которым живут его утописты? В главе о рабстве и преступлениях! Аттилу, царя гуннов, женщина, Гонория, сестра римского императора, позвала в свою родную страну, Италию, которую гунны не преминул разграбить и разорить. Несколько лет спустя вдова этого же императора, Евдоксия, после его смерти вышла замуж за его убийцу и преемника, навлекла на Рим вандалов. Своим знаменитым опустошением Рим обязан ей точно так же, как нашествием гуннов ее золовке.

Пыл Петера шел понемногу на убыль. Он говорил все спокойнее, касаясь иных страшных преступлений лишь вскользь. Материал был больше, чем его ненависть. Чтобы ничего не упустить, — главным его свойством оставалась точность, — он справедливо распределил свою ненависть между разными периодами, народами и мыслителями. На долю каждого в отдельности ее поэтому приходилось немного. Еще час назад Мессалине довелось бы услышать о себе совсем другое. А теперь она дешево отделалась строчкой-другой из

Ювенала. Даже мифология многих негритянских племен оказалась пропитанной презрением к женщине. Петер брал себе союзников отовсюду, где находил их. Неграмотным он прощал их нищету, если они разбирались в женщинах.

Воспользовавшись маленькой заминкой памяти, Георг позволил себе почтительно и с неослабевающим интересом к рассказу брата сделать некое предложение, касающееся, впрочем, всего лишь приема пищи. Петер принял его; предпочитает, сказал он, поесть не дома. Эта каморка надоела ему. Они пошли в ближайший ресторан. Георг чувствовал, что за ним пристально следят сбоку. Как только он открывал рот, Петер возвращался к своим гиенам. Но его фразы быстро переходили в молчание. Умолк и Георг. Несколько минут они отдыхали от своей внимательности. В ресторане Петер усаживался весьма обстоятельно. Он двигал свой стул до тех пор, пока не повернулся спиной к какой-то даме. Тут же появилась другая, еще старше и быстрее; даже Петера она разглядывала, не смущаясь его худобой, благодарная за внимание, которое надеялась у него вызвать. Стоя перед Георгом, которого счел покровителем умирающего с голоду второго гостя, главный официант принимал заказ. С легким кивком в сторону нищего он рекомендовал блюда двух видов — более питательные для того и более изысканные для его благодетеля. Вдруг Петер поднялся и резко заявил:

— Мы уходим из этого заведения!

Официант очень огорчился. Он винил во всем себя и рассыпался в любезностях. Георгу было неловко. Без объяснений они удалились.

— Ты видел эту старую шлюху? — спросил Петер на улице.

— Да.

— Она глазела на меня. На меня! Я не преступник. Как она смеет разглядывать меня! За все свои поступки я отвечаю!

Во втором ресторане Георг занял ложу. За едой Петер продолжал свой прерванный рассказ — медленно и скучно, все время следя глазами, слушает ли еще брат. Он сбился на банальности и общеизвестные истории. Его речь стала вялой. Между фразами он засыпал. Скоро он и слова будет разделять целыми минутами. Георг заказал шампанское. Если он будет говорить быстрее, он раньше кончит. Кроме того, я узнаю его последние тайны, если у него есть таковые. Петер отказывался пить. Он терпеть не мог алкоголя.

Потом он все-таки выпил. А то, мол, Георг подумает, что он хочет от него что-то скрыть. Ему скрывать нечего. Он—сама правда. Его беда в его любви к правде. Он выпил много. Его эрудиция переместилась. Он обнаружил поразительное знание исторических судебных процессов по делам об убийствах. С жаром защищал он право мужчины на устранение своей жены. Его речь перешла в речь адвоката, объясняющего суду, почему его подзащитный вынужден был убить свою демоническую жену. Ее демонизм явствует из распутной жизни, которую ей хотелось вести, из ее вызывающей одежды, из ее возраста, который она скрывала, из пошлых слов, составивших ее словарный запас, и особенно из садистского рукоприкладства, доходившего до ужасных побоев. Какой мужчина не убил бы такую женщину? Эти доводы Петер излагал долго и настойчиво. Кончив, он удовлетворенно, как истый адвокат, погладил подбородок. Затем он произнес речь в защиту убийц немногих одаренных женщин.

Нового о конкретном случае брата Георг не узнал. Составленное им мнение осталось, несмотря на алкоголь, прежним. Повреждения педантичного ума легко поправимы. Они возникают по точным правилам и по точным правилам вылечиваются. Эти заболевания—единственные, которых Георг не любит. Это не заболевания. Кто под хмельком остается таким же, каким он был трезвый, заслуживает самого скверного мнения. Ни капли фантазии нет у этого Петера! Свинцовый мозг, из отлитых литер, холодный, застывший и тяжелый. В техническом отношении, может быть, и чудо; но бывают ли еще чудеса в наш технический век? Самая смелая мысль, к которой воспаряет филолог, — это мысль об убийстве жены. Но уж тогда жена должна быть чудовищна, лет на двадцать старше, чем данный филолог, она должна быть его злобным подобием, она должна обходиться с живыми людьми, как он обходится с текстами великих писателей. Если бы он хотя бы совершил это убийство, если бы он поднял на нее руку и не дрогнул в последний миг, если бы он погиб из-за своего преступления, если бы принес в жертву своей мести конъектуры, рукописи и библиотеку, все, что вмещало его убогое сердце, — тогда честь и хвала его памяти! Но он предпочитает отделаться от нее! Предварительно он посылает телеграмму своему брату. Он просит помочь не убивать. Еще тридцать лет он будет жить и работать. В каких-то анналах он будет сиять звездой первой величины, пока существует зем-

ля. Внуки, перелистывающие синологические ежегодники, — а такие внуки тоже родятся на свет, — будут наткнуться на его фамилию. Эту же фамилию носит Георг. Надо бы поменять ее. Через пятьдесят лет китайское национальное правительство почтит его статуей. Дети, прелестные, нежные создания, с косыми глазами, с тугой кожей (когда они смеются, поникает самая суровая власть), будут играть на улице, названной в его честь. Для их глаз (дети—это пучок загадок, и они сами, и всё вокруг них) буквы его фамилии станут тайной, носитель которой был при жизни ясен, прозрачен, понятен, понят, а если когда и загадкой, то тут же разгаданной. Какое счастье, что люди обычно не знают, в чью честь названы их улицы! Какое счастье, что вообще знаешь так мало!

В начале второй половины дня он отвел филолога в свой отель и попросил его отдохнуть здесь, пока он уладит его дела дома.

— Ты хочешь вычистить квартиру, — сказал Петер.

— Да, да.

— Не удивляйся, там страшная вонь.

Георг улыбнулся; трусы склонны к перифразам.

— Я зажму нос.

— Глаза держи открытыми! Может быть, ты увидишь призраки.

— Я никогда не вижу призраков.

— Может быть, какие-нибудь и увидишь. Тогда скажи мне!

— Да, да. — Как пошло он шутит!

— У меня к тебе просьба.

— А именно?

— Не говори с привратником! Он опасен. Он нападет на тебя. Только скажешь слово, которое ему не по вкусу, и он уже дерется. Я не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня. Он переломает тебе все кости. Каждый день он выставляет из дому нищих; сначала он избивает их. Ты не знаешь его. Обещай мне, что ты не станешь с ним связываться! Он лжет. Ему нельзя верить ни в чем.

— Я знаю, ты меня уже предостерег.

— Обещай мне!

— Да, да.

— Даже если он ничего не сделает тебе, он будет потом издеваться надо мной.

Он уже заранее боится того часа, когда снова будет один.

— Не беспокойся, я удалю его из дому.

— Правда?— Петер засмеялся, на памяти брата—

впервые. Он полез в карман и протянул Георгу пачку мятых банкнот. — Он захочет денег.

— Это, наверно, все твое состояние?

— Да. Остальное ты найдешь наверху в более благородном виде.

От этой последней фразы Георгу чуть не стало дурно. Одна половина очень большого отцовского наследства вложена в мертвые тома, другая — в психиатрическую лечебницу. Какая половина помещена лучше? Он ожидал, что у Петера еще остались какие-то деньги. Мне жаль их не потому, сказал он себе, что теперь мне придется кормить его всю жизнь. Его бедность злит меня потому, что этими же деньгами я мог бы помочь многим больным.

Затем он оставил его одного. На улице он вытер руки носовым платком. Он собирался провести им и по лбу и уже поднял было руку, как вдруг вспомнил о похожем жесте Петера. Рука его поспешно опустилась.

Подойдя к двери квартиры, он услышал громкий крик. Они спорили там. Тем легче он справится с ними. На его энергичный звонок открыла женщина. Глаза у нее были заплаканные, на ней была та же смешная юбка, что утром.

— Ну, доложу вам, господин брат! — завизжала она. — Он обнаглед! Он заложил книги. А я-то при чем? Теперь он хочет донести на меня. Так не пойдет, скажу я вам! Я женщина порядочная!

Георг с изысканной вежливостью повел ее в комнату. Он предложил ей руку. Она быстро схватила ее. Перед письменным столом брата он попросил ее сесть. Он сам пододвинул ей стул.

— Устраивайтесь поудобнее! — сказал он. — Вы же, надо надеяться, чувствуете себя здесь хорошо! Такую женщину, как вы, следовало бы носить на руках. Сам я, к сожалению, женат. Вам бы вести собственное дело. Вы прирожденная деловая женщина. Нам ведь не помешают здесь?

Он подошел к двери в соседнюю комнату и подергал ручку.

— Заперто. Превосходно. Заприте, пожалуйста, и другую дверь.

Она повиновалась. Он умел сразу превращать *себя* в хозяина, а хозяев дома — в гостей.

— Мой брат вас не заслуживает. Я говорил с ним. Вы должны уйти от него! Он хотел заявить властям о вашей двойной неверности. Он ведь все знает. Я отговорил его от доноса. Такого мужчину обманет любая женщина. Я думаю, он вообще не настоящий

мужчина. Тем не менее при разводе он может легко добиться, чтобы виновной признали вас. Вы бы остались ни с чем. За все ваши мученья с этим негодяем — я знаю, каков он, — вы бы тогда ничего не получили. На старости лет вы оказались бы в нищете и одиночестве. Такая порядочная женщина, у которой по меньшей мере еще тридцать лет впереди. Сколько вам, кстати, лет? Максимум сорок. Жалобу он тайком уже подал. Но я позабочусь о вас. Вы мне нравитесь. Вы должны немедленно уйти из дому. Если он вас не увидит, он не станет ничего предпринимать против вас. Я куплю вам молочный магазин в другом конце города. Необходимую сумму я ссужу при одном условии: вы никогда не покажетесь на глаза моему брату. Если вы это все-таки сделаете, сумма, которой я вас ссужу, перейдет снова ко мне. Соглашение такого содержания вы подпишите. Вы счастливо отделаетесь. Он хотел засадить вас в тюрьму. Закон на его стороне. Закон не на стороне справедливости. Из-за нескольких пропавших книг должна страдать такая женщина, как вы. Этого я не потерплю. Ах, если бы я не был женат! Позвольте мне, сударыня, как вашему деверю, поцеловать вам ручку. Укажите мне, пожалуйста, точно, каких книг не хватает. Возместить их я считаю своим долгом. А то он не возьмет назад свою жалобу. Он человек жестокий. Мы оставим его одного. Это его дело, как ему жить дальше. Никто не станет заботиться о нем. Так ему и надо. Если он потом снова натворит глупостей, пусть винит самого себя. Теперь он все сваливает на вас. Привратника я лишу места. Он вел себя с вами нагло. Пусть теперь трудится в каком-нибудь другом доме. Вы скоро снова выйдете замуж. Будьте уверены, весь мир будет завидовать вам из-за вашего нового магазина. Мужчины в таких случаях рады пристроиться к делу через женитьбу. У вас ведь есть все, что нужно женщине. Никаких изъянов. Поверьте мне! Я — тонкая штучка. Кто сегодня так чистоплотен, как вы? Эта юбка — редкость. А глаза! А молодость! А ротик! Как я уже сказал, не будь я женат... я бы совратил вас с пути истинного. Но к жене брата я отношусь с уважением. Когда я позднее снова приеду, чтобы присмотреть за этим дураком, я почтительнейше позволю себе навестить вас в вашей молочной. Тогда вы уже не будете его женой. Тогда мы дадим волю своим сердцам.

Он говорил со страстью. Каждое слово оказывало рассчитанное воздействие. Она изменилась в лице. После некоторых фраз он выжидательно замолкал. До такого мелодраматического пафоса он еще не осмели-

вался доходить. Она ничего не говорила. Он понял, что это он поразил ее немотой. Он говорил, на ее вкус, так замечательно. Она боялась пропустить хоть одно слово. Глаза у нее выкатились, сперва от страха, потом от любви. Уши она хоть и не собака, а навострила. Из рта у нее текли слюни. Стул, на котором она сидела, счастливо скрипел на мотив какой-то уличной песенки. Ее сложенные чашей руки были протянуты к нему. Она пила губами и руками. Когда он поцеловал ей руку, чаша потеряла форму, и губы ее прошептали, он слышал: еще, пожалуйста. Преодолев отвращение, он снова поцеловал ей руки. Она дрожала, ее волнение перешло даже на ее волосы. Обними он ее, она бы упала замертво. После его последней фразы, насчет сердца, она застыла в некоей венчающей позе. Ладонь и рука до локтя клятвенно прижалась к груди. У нее есть сберегательная книжка, сказала она затем. Ни одна книга не пропала, у нее есть ломбардные квитанции. Громоздко и неуклюже она отвернулась — застенчивость бесстыжей! — и вынула из юбки, в которой, видимо, был карман, толстую пачку квитанций. Не хочет ли он и сберегательную книжку? Она подарит ему ее из любви. Он поблагодарил. Именно из любви он не возьмет ее. Он еще отказывался, а она уже сказала: кто знает, доложу я, заслуживает ли он сберегательной книжки. Она пожалела о своем подарке, прежде чем он принял его. Наверняка ли он навестит ее тогда, он же мужчина. Эти несколько слов, которые она произнесла, вернули ей самообладание. Как только он открыл рот, она опять оказалась в его власти.

Спустя полчаса она помогала ему в его действиях против привратника.

— Вы, видимо, не знаете, кто я! — кричал на него Георг. — Начальник парижской полиции в штатском! Стоит мне слово сказать, и мой друг, здешний начальник полиции, прикажет арестовать вас! Пенсию вы потеряете. Я знаю все, что у вас на совести. Взгляните на эти квитанции. О другом я пока помолчу. Ничего не говорите. Я вижу вас насквозь. Вы скрытный тип. Таким я не даю спуска. Я попрошу своего друга, здешнего начальника полиции, провести чистку личного состава. Вы уйдете из этого дома! Чтобы завтра утром здесь духа вашего не было! Вы — подозрительный субъект. Собирайте свои манатки! Пока объявляю вам выговор. Я вас уничтожу! Преступник вы! Знаете, что вы сделали? Это уже притча во языцех.

Бенедикт Пфафф, рыжий детина, весь сжался, упал на колени и попросил прощения у господина начальни-

ка. Дочь была больна, она и сама умерла бы, он покорнейше просит не прогонять его с поста. У человека нет ничего, кроме глазка. Что у него еще осталось? Несколько нищих пускай уж у него будут! И так-то ведь они почти не показываются. В доме его так любят, так любят. Он попал в беду! Если бы он это знал! По виду господина профессора не скажешь, что брат у него — начальник полиции. Великая честь была бы встретить его на вокзале! Да смилуется господь бог. Он с благодарностью позволит себе встать.

Он был очень доволен своей хвалой такому важному лицу. Поднявшись, он дружески подмигнул ему. Георг оставался замкнут и строг. В деловом отношении он пошел ему навстречу. Пфафф обязался не далее как завтра утром выкупить все заложенные книги. От своего дома ему пришлось отказаться. На другом конце города, рядом с ее молочной, он получил зоологический магазин, они заявили о своей готовности съехаться. Она поставила условием, чтобы ее не били и не щипали, а кроме того, чтобы ей разрешалось принимать визиты господина брата, когда тот захочет. Пфафф согласился, явно польщенный. Запрет на щипки вызвал у него возражения. Он тоже всего-навсего человек. Помимо любви, которая вменялась им в обязанность, они обязались следить друг за другом. Если одна сторона очутится вдруг вблизи Эрлихштрассе, другая тотчас же сообщит об этом в Париж. Тогда магазин и свобода — конец. По первому же сигналу последует телеграфный приказ об аресте. Донесший получает право на вознаграждение. Пфафф клал на Эрлихштрассе, если он будет жить среди сплошных канареек. Тереза пожаловалась: опять он, доложу я, кладет. Хватит уж ему класть. Георг посоветовал ему выражаться, как то подобает приличному коммерсанту. Он теперь не жалкий пенсионер, а человек с положением. Пфафф предпочел бы стать трактирщиком, а всего лучше директором цирка с собственным атлетическим номером и дрессированными птицами, которые по приказу поют и по приказу же умолкают. Начальник полиции разрешил ему, если его магазин даст соответствующий доход и сам он будет вести себя как положено, открыть трактир или цирк. Тереза сказала: нет. Цирк — это непристойно. Трактир — пожалуйста. Они решили распределить труд. Она будет заниматься трактиром, он — цирком. Хозяин он, жена — она. Клиентов и гостей из Парижа обещал господин начальник полиции.

В тот же вечер Тереза принялась тщательно чистить квартиру. Она не стала нанимать никаких уборщиц, она делала все сама, чтобы не вводить господина брата в ненужные расходы. На ночь она застелила кровать мужа свежим бельем и предложила ее господину брату. В гостиницах все с каждым днем дорожает. Она не боится. Георг сослался на то, что ему надо последить за Петером. Пфафф в последний раз отправился в свою каморку; последний сон — самая святая память. Тереза шуровала всю ночь.

Три дня спустя хозяин въехал в свой дом. Первым делом он взглянул на каморку. Она была пуста; на месте глазка в стене зияла дыра. Пфафф выломал и упаковал свое изобретение. Библиотека наверху была цела. Двери между комнатами были распахнуты. Перед письменным столом Петер несколько раз прошелся вперед-назад.

— На коврах нет пятен, — сказал он и улыбнулся. — Будь на них пятна, я бы сжег их. Терпеть не могу пятен!

Он вытащил из ящичков рукописи и взгромоздил их на стол. Заголовки он прочел Георгу.

— Работы на много лет, друг мой! А теперь я покажу тебе книги.

Приговаривая «вот видишь» и «как ты думаешь, что у меня здесь», покровительственно поглядывая на брата и терпеливо подбадривая его (не каждый владеет десятком восточных языков одновременно), он извлекал тома, еще недавно лежавшие в ломбарде, и объяснял изумленному Георгу, в чем их особенности. Атмосфера переменялась до жути быстро; она гудела датами и номерами страниц. Буквы приобретали сногшибательный смысл. Опасные сочетания призывались к порядку. Легкомысленные филологи изобличались, как чудовища, которые следовало, закутав их в синие одежды, предавать на площадях публичному осмеянию. Синий цвет, как самый смешной, — цвет некритично-доверчивых, легковерных. Некий новооткрытый язык оказывался давно известным, а его мнимый открыватель — болваном. Звучали злобные возгласы против него. После всего лишь трехлетнего пребывания в стране этот тип осмелился выступить с трудом о тамошнем языке! И в науке тоже брала верх наглость выскочек. Науке следовало бы иметь свои суды инквизиции, которым она предавала бы своих еретиков. Не надо при этом думать сразу о сожжении на костре. В пользу юридической независимости касты священников в средние века доводов много. Если бы ученым сегодня

жилось так хорошо! Из-за какого-то пустякового, может быть, необходимого проступка ученого, чей труд бесценен, осуждают профаны.

Георг стал чувствовать себя неуверенно. Даже десятой части обсуждавшихся книг он не знал. Он презирал это подавлявшее его знание. Рабочий пыл Петера не унимался. Он пробудил в Георге тоску по месту, где тот был таким же абсолютным властителем, как Петер в своей библиотеке. Он наскоро назвал его новым Лейбницем и воспользовался как предлогом некоторыми истинными обстоятельствами, чтобы уйти из-под его власти во второй половине дня. Надо было, например, нанять какую-нибудь безобидную уборщицу, договориться в ближайшем трактире о регулярном питании; открыть в банке счет, с которого первого числа каждого месяца будет автоматически переводиться на дом определенная сумма.

Они простились поздно вечером.

— Почему ты не зажигаешь свет? — спросил Георг. В библиотеке было уже темно. Петер гордо засмеялся.

— Я ориентируюсь здесь и в темноте.

Вернувшись домой, он превратился в человека уверенного и чуть ли не веселого.

— Ты портишь себе глаза! — сказал Георг и включил свет. Петер поблагодарил за услуги, ему оказанные. Он перечислил их с язвительным педантизмом. Важнейшую из них, удаление жены, он не упомянул.

— Писать я тебе не буду! — заключил он.

— Могу понять. При той огромной работе, которую ты наметил себе.

— Не поэтому. Я никому не пишу из принципа. Писать письма — это бить баклуши.

— Как хочешь. Если я понадоблюсь тебе, телеграфируй. Через шесть месяцев я снова навещу тебя.

— Зачем! Ты мне не нужен!

Голос его прозвучал гневно. Видно, прощание задело его за живое. За своей грубостью он прятал боль.

В поезде Георг продолжил свои размышления. Диво ли, если он немного привязан ко мне? Я же помог ему. Теперь у него все в точности так, как ему хочется. Решительно ничто не мешает ему.

Выход на волю из этой адской библиотеки настроил его на радостный лад. С великим терпением ждали его восемьсот верующих. Поезд шел слишком медленно.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ

Петер запер за братом входную дверь. Она была застрахована тремя сложными замками и широкими, тяжелыми металлическими засовами. Он подергал их, они не шелохнулись. Вся дверь была как плита из стали, за ней ты был действительно дома. Ключи подходили к замкам, краска на дереве облупилась; на ощупь оно казалось шербатым. Ржавчина на темных засовах была старая, и непонятно было, в каком же месте чинили дверь. Ведь привратник разворотил ее, когда входил в квартиру. От одного его пинка засовы погнулись, как прутья, несчастный лжец, он лгал кулаками и ногами, квартиру тоже он просто-напросто растоптал. Настало однажды первое число месяца, а господин Пфафф не получил презента. «С ним что-то стряслось». Бушуя, он бросился наверх, к источнику денег, который вдруг иссяк у него. По пути он убивал лестницу. Камень стонал под кулачищами его башмаков. Люди выходили из своих нор, подданные его дома, и зажимали носы. «Воняет!»—жаловались они все. «Где?»—спрашивал он угрожающе. «Вонь идет из библиотеки». — «Я ничего не обвоняю!» Он даже немецкого языка не знал. У него был толстый нос и гигантские ноздри, но усы под ними были нафабрены и влезали в их полости. Поэтому он всегда слышал запах помады, а запаха трупа не слышал. Усы у него слиплись в плотную массу, он подфабривал их изо дня в день. Красную помаду он держал в тысяче разных тюбиков. Под кроватью в его клетушке находилась коллекция мазей всех оттенков красного цвета, и такого, и сякого, и этакого. Ведь голова у него была *огненно-красная*.

Кин погасил свет в передней. Достаточно было повернуть выключатель, и уже стало темно. Через щели из кабинета к нему проникал слабый свет и нежно гладил его штаны. Сколько он видел штанов! Глазка больше не существовало. Этот грубиян выломал его. В стене теперь дыра. Завтра в каморке поселится новый Пфафф и замурует отверстие. Надо было сразу перевернуть стену. Салфетка затвердела от крови. Вода в умывальном тазу была такого цвета, как после морского боя у Канарских островов. Почему они прятались под кроватью? У стены хватало же места. Четыре клетки висели наготове. Но они надменно не замечали простонародье. Котлы для мяса были пусты. Тогда налетели перепела, и у Израиля появилась пища. Всех

птиц убили У них совсем маленькие горлышки под желтыми перьями. Кто бы подумал, что у них такой мощный голос, да и горло найдешь не сразу! А найдя, зажмешь, и конец четырехголосому пению, кругом брызжет кровь, густая, теплая кровь, эти птицы всегда живут в лихорадке, горячая кровь, она *жжет*, штаны *горят*.

Кин стер со своих штанов кровь и отсветы. Вместо кабинета, откуда на него падал свет, он прошел по длинному темному коридору в кухню. На столе стояла тарелка с булочками. Стул перед ним был сдвинут, словно еще только что кто-то сидел здесь. Он нелюбезно отодвинул стул в сторону. Он схватил несколько желтых мягких булочек и сунул их в жестянку для хлеба. Она выглядела как крематорий. Это он спрятал в кухонном шкафу. На столе осталась одна тарелка, светящаяся, ослепительно белая, подушка. На подушке лежали «Штаны». Тереза оставила книгу раскрытой. Она дошла только до двадцатой страницы. Она надевала перчатки. «Я перечитываю каждую страницу шесть раз». Она хочет совратить его. Он хочет только стакан воды. Она приносит его. «Я уезжаю на полгода». — «Нет, доложу вам, так не пойдет!» — «Это необходимо». — «Я не позволю!» — «А я все-таки уеду». — «Тогда я запрусь в квартире!» — «Ключи у меня есть». — «Где они? — доложу я». — «Вот!» — «А если случится *пожар?*»

Кин подошел к крану и отвернул его до отказа. Струя мощно ударила в тяжелую раковину, та чуть не разбилась. Вскоре она наполнилась водой. По полу кухни растеклись лужи, гася всякую опасность. Он закрыл кран. На скользких каменных плитах он оступился. Он прошмыгнул в смежную комнатку. Она была пуста. Он улыбнулся ей. Раньше здесь стояла кровать, а у противоположной стены сундук. На кровати спала синяя ведьма. В сундуке хранилось ее оружие — юбки, юбки и юбки. Ежедневно она совершала молитву перед гладильной доской в углу. Тут складки ложились, тут они, накрахмаленные, снова вставали. Позднее она перебралась к нему и взяла эту мебель с собой. Тут стены побледнели от радости. С тех пор они оставались белыми. А что прислонила к ним Тереза? Мешки с мукой, толстые мешки с мукой! Она превратила эту клетушку в кладовку, запасшись на тощие годы. С потолка повисли копченые окорока. Пол украсился твердыми шляпами сахарных голов. Караваи подкатились к бочкам со сливочным маслом. Молочники накалились до отвала. Мешки с мукой у стен защищали

город от вражеской атаки. Здесь все было припасено на века. Она спокойно позволила запереть себя, кичась своими ключами. Однажды она открыла клетушку. Она не нашла в кухне уже ни крошки, но что же она застала в кладовке? От мешков с мукой остались одни дыры. Вместо окороков висели веревки. Молочники высохли, а сахарные головы стали просто синей бумагой. Пол поглотил хлеб и замазал все свои щели сливочным маслом. Кто? Кто? Крысы! Вдруг появляются крысы, в домах, где их никогда не было, неизвестно, откуда они взялись, но они здесь, они всё пожирают, славные, благословенные крысы, и оставляют голодным бабам лишь ворох газет, вот они лежат еще, ничего больше. Газеты им не по вкусу. Крысы терпеть не могут целлюлозы. В темноте они, правда, шебаршат, но они не термиты. Термиты пожирают дерево и книги. Любовный мятеж в колонии термитов. *Пожар в библиотеке.*

Со всей поспешностью, какую допускала его рука, Кин потянулся за газетой. Нагнуться ему пришлось лишь немного, стопа была выше колен. Он с силой оттолкнул ее в сторону. Пол перед окном был загроможден газетами во всю свою ширину; старые газеты скапливались здесь годами. Он высунулся в окно. Внизу, во дворе, было темно. От звезд до него доходил свет. Но для газеты света было недостаточно. Может быть, он держал ее слишком далеко от глаз. Он приблизил ее, его нос коснулся бумаги и вобрал в себя с жадностью и со страхом керосиновый запах. Бумага задрожала и затрещала. Из его ноздрей подул ветер, от которого газетный лист изогнулся, и его ногти впились в бумагу. А глаза искали заголовка, настолько крупного, чтобы его можно было прочесть. Если он зацепится за него, он прочтет газету при свете звезд. Первым, что он разобрал, было заглавное У. Речь, стало быть, шла об убийстве. Дальше и вправду следовало Б. Этот заголовок, жирный и черный, заполнял шестую часть листа. Вот как раздули его поступок! Теперь он притча во языцех, он, любящий тишину и одиночество. И Георгу попадет еще эта газета, прежде чем он пересечет границу. Теперь и он уже знает об убийстве. Если бы существовала ученая цензура, лист был бы наполовину белый. Тогда бы люди прочли ниже меньше синего. Второй заголовок начинался с П, а дальше сразу шло О: *Пожар.* Убийства и пожары опустошают газеты, страну и головы, ничто не интересует их до такой степени, если за убийством не следует пожар, им уже чего-то не хватает для полного удовольствия, они с

радостью и сами что-нибудь подожгли бы, для убийства им не хватает храбрости, трусы они, не надо бы читать газеты, чтобы они сами собой перестали выходить из-за всеобщего бойкота.

Кин бросил бумажное полотнище на кипу остальных. От газеты, на которую он подписан, надо откажаться как можно скорее. Он вышел из этой мерзкой каморки. Но ведь сейчас ночь, сказал он вслух в коридоре. Как я сейчас откажусь от подписки? Чтобы продолжать читать, он вынул часы. Они могли предложить только циферблат. Время разобрать не удалось. *Убийство и Пожар* были не так неприступны. Там, в библиотеке, свет ведь горел. Ему не терпелось узнать время. Он вошел в кабинет.

Было ровно одиннадцать. Но церковные колокола молчали. Тогда сиял день. Напротив желтая церковь. По маленькой площади взволнованно сновали люди. Горбатого карлика звали Фишерле. Он вопил так, что камень разжалобился бы. Камни мостовой прыгали вверх-вниз. Терезианум был оцеплен полицией. Операцией руководил майор. Приказ об аресте лежал у него в кармане. Карлик сам раскусил его. Враги прятались даже на лестничной клетке. Наверху распоряжалась свинья. Книги отданы на произвол бессовестных скотов! Свинья составляла поваренную книгу на сто три рецепта. Говорили, что живот у свиньи угловатый. А почему Кин был преступником? Потому что он помогал беднейшим из бедных. Ведь полиция издала приказ об аресте, еще не зная о трупе. Вся эта силища—против него! Пешие и конные. Новехонькие револьверы, карабины, пулеметы, колючая проволока и броневики—но против него все напрасно, они не повесят его, пусть сначала поймают! Между ногами оба пробираются на волю, он и его верный карлик. А теперь за ними гонятся, он слышит, как они сопят и пыхтят, и собака мясника хочет схватить его за горло. Но, увы, есть беда похуже. На седьмом этаже Терезианума эти скоты говорят друг другу «спокойной ночи», там противозаочно держат под арестом тысячи книг, десятки тысяч, против их воли, без вины, что им поделать с этой свиньей, отрезанным от земли, под *жарким* чердаком, изголодавшимся, приговоренным, приговоренным к *сожжению*.

Кин услышал крики о помощи. В отчаянии он дернул шнурок, открывавший окна верхнего света, и створки над ним вспорхнули. Он прислушался. Крики усилились. Он не поверил им. Он побежал в соседнюю комнату и потянул за шнурок здесь тоже. Здесь крики

о помощи звучали тише. Третья комната отозвалась гулом, в четвертой он едва слышал шум. Он побежал через комнаты назад. Он бежал и прислушивался. Крики волнами накатывались и откатывались. Он прижал ладони к ушам и быстро отнял их, прижал и отнял. Точно так же звучал этот, доносившийся сверху шум. Ах, уши сбивали его с толку. Он дотасил лесенку, наперекор ее сопротивлявшейся ножке, до середины кабинета и влез на верхнюю ступеньку. Верхняя часть его туловища возвысилась над крышей, он держался за створки окна. Тут он услышал дикие крики; это кричали книги. Со стороны Терезианума он увидел красноватое зарево. Оно медленно ползло по черному зияющему небу. В носу у него стоял запах керосина. Зарево, крики, вонь: Терезианум *горел!*

Ослепленный, он закрыл глаза. Он склонил плающую голову. По его затылку зашлепали капли. Шел дождь. Он запрокинул голову и подставил дождю лицо. Так прохладна была эта чужая вода. Даже тучи сжалились. Может быть, они потушат пожар. Тут ему оледенило веки. Он озяб. Кто-то фотографировал. Его раздели догола. Обыскали все его карманы. Оставили его в одной рубашке. Он увидел себя в зеркальце. Он был очень худ. Вокруг него росли какие-то красные плоды, толстые и набухшие. Среди них был привратник. Труп пытался говорить. Он не слушал ее. Она все время говорила «доложу вам». Он заткнул себе уши. Она стучала по синей юбке. Он повернулся к ней спиной. Перед ним сидел мундир без носа. «Ваше имя?» — «Доктор Петер Кин». — «Профессия?» — «Крупнейший ныне живущий синолог». — «Не может быть». — «Клянусь». — «Вы даете ложную клятву!» — «Нет!» — «Преступник!» — «Я в своем уме. Я признаюсь. В полном сознании. Я убил ее. Я психически здоров. Мой брат этого не знает. Пощадите его! Он знаменит. Я обманул его». — «Где деньги?» — «Деньги?» — «Вы украли их». — «Я не вор». — «Грабитель-убийца!» — «Убийца». — «Грабитель-убийца!» — «Убийца! Убийца!» — «Вы арестованы, вы останетесь здесь!» — «Но придет же брат. Оставьте меня до тех пор на свободе! Он не должен ни о чем знать. Заклинаю вас!» А привратник выходит вперед, он еще его друг, и добивается для него свободы на несколько дней. Он доставляет его домой и охраняет, он не выпускает его из каморки. Там Георг и застал его, в беде, но не в положении преступника. Теперь он снова в дороге, лучше бы он остался здесь! Он помог бы ему на суде! Убийца должен, наверно, прийти с

повинной? Но он не хочет. Он останется здесь. Он будет охранять горящий Терезианум.

Он медленно поднял веки. Дождь утих. То красноватое зарево потускнело, и пожарные были на месте наконец-то. Небо больше не жаловалось. Кин спустился с лесенки. Крики о помощи во всех комнатах смолкли. Чтобы услышать их, если они возобновятся, он оставил окна открытыми настежь. Посреди комнаты наготове стояла лесенка. При крайней нужде она поможет бежать. Куда? В Терезианум. Свинья лежала под балками обугленная. Там—а в толпе тебя не узнали бы—дел было сейчас по горло. Покинь дом! Осторожно! Броневики проезжают по улицам. Кони, люди, колесницы... Они думают, что он уже у них в руках... Господь их не пощадит... а он, убийца, улизнет. Но сначала он заметет следы.

Он становится на колени перед письменным столом. Он проводит рукой по коврику. Здесь лежал труп. Видна ли еще кровь? Ничего не видно. Он втыкает пальцы глубоко в ноздри. Они лишь немного пахнут пылью. Крови нет. Надо посмотреть получше. Свет плохой. Он слишком высоко. Шнур торшера не дотягивается до этого места. На письменном столе лежат спички. Он зажигает сразу шесть, шесть месяцев, и ложится на ковер. Он освещает его, в поисках следов крови, с совсем крошечного расстояния. Красные полосы— часть узора. Они всегда здесь были. Надо вывести их. Полиция примет их за кровь. Надо выжечь их. Он вдавливает спички в ковер. Они потухают. Он отбрасывает их. Он зажигает шесть новых. Он тихонько проводит ими по одной из красных полос и осторожно вдавливает их в ковер. Они оставляют бурый след. Вскоре они потухают. Он зажигает новые. Он изводит целую коробку. Ковер остается холоден. Он покрывается бурыми полосками. Кругом тлеют обгоревшие спички. Теперь ему ничего не докажут. Ах, зачем он признался? При тринадцати свидетелях. При этом присутствовали труп потерпевшей и Рыжий Кот с глазами, которые видят ночью. Грабитель-убийца с женой и ребенком. Стучат. Полиция за дверью. Стучат.

Кин не открывает. Он затыкает себе уши. Он прячется за какую-то книгу. Она лежит на письменном столе. Он пытается читать ее. Буквы пляшут. Не разобрать ни слова. Прошу соблюдать тишину! В глазах у него огненно-красная рябь.

Это сказывается страшный испуг от пожара, как не испугаться, если горит Терезианум, если несметное множество книг охвачено пламенем. Он стоит. Как тут

читать? Книга лежит слишком низко. Сядь! Он садится. Сидит. Нет, он дома, письменный стол, библиотека. Здесь всё на его стороне. Ничего еще не сгорело. Читать он может, когда хочет. Но книга-то вовсе и не открыта. Он забыл открыть ее. За глупость надо бить. Он открывает книгу. Он бьет по ней рукой. Бьет одиннадцать. Теперь ты попалась. Читай! Перестань! Нет, сволочи! Ай! От первой строки отделяется длинный брусок и бьет его по уху. Свинец. Больно. Бьет! Бьет! И еще один. И еще. Какая-то сноска несносно пинает его носками сапог. Все яростнее. Он шатается. Строки и целые страницы, все набрасываются на него. Они трясут и бьют, они тормозят его и толкают друг к другу. Кровь! Отпустите меня! Проклятая шушера! На помощь! Георг! На помощь! На помощь! Георг!

Но Георг уехал. Петер вскакивает. Он с силой хватается книгу и захлопывает ее. Теперь он поймал буквы, все до одной, и, конечно, не выпустит их на волю. Никогда! Он свободен. Он стоит. Стоит один. Георг уехал. Его он перехитрил. Что он смыслит в убийстве. Врач из сумасшедшего дома. Дурак. Широкая душа. А книги красть горазд. Ему надо, чтобы я поскорей умер. Тогда библиотека—его. Не получит. Терпение! «Что тебе нужно наверху?»—«Охватить взглядом». — «Не охватить взглядом, а захватить, захватить!» Да, ты бы не прочь. Оставайся, сапожник, при своих идиотах. Он ведь опять придет. Через шесть месяцев. Тогда ему повезет больше. Завещание? Незачем. Единственный наследник берет что хочет. Специальный поезд в Париж. Киновская библиотека. Ее создатель? Психиатр Жорж Кин! Конечно, кто же еще? А брат, синолог? Недоразумение, это никакой не брат, однофамилец, чистая случайность, какой-то убийца, какой-то женоубийца. *Убийство и Пожар*, во всех газетах, приговорен к пожизненному заключению... пожизненно... посмертно... пляска смерти... золотой телец... миллионное наследство... Кто смел, тот и съел... тот и сгорел... проститься... нет, слиться... да, навсегда... до смерти... пора... до *костра*... умереть... *сгореть... пожар... огонь огонь огонь*.

Кин хватается со стола книгу и грозит ею брату. Тот хочет обокрасть его, за завещаниями все гоняются, каждый рассчитывает на смерть своего ближнего. На то, чтобы умереть, брат годится. Мир—это вертеп и ад, люди пожирают и похищают книги. И все чего-то хотят, и никто не остается на земле, и никто не может надеяться, что останется. Раньше вместе с умершим сжигали его имущество, и никаких завещаний не было,

а оставались, оставались от покойного только кости. Буквы лязгают в книге. Попались и не могут выйти. Они избили его до крови. Он грозит им сожжением. Так он отомстит всем врагам! Желю он убил, свинья лежит обуглившаяся, Георг не получит книг. А полиция не получит его. Вяло стучатся буквы. За дверью громко стучит полиция. «Просим открыть!» — «Экая пруть!» — «Именем закона! Это не шутки!» — «Дудки!» — «Немедленно отворите!» — «Не ждите!» — «Мы будем вынуждены стрелять!» — «Плевать!» — «Тогда мы просто выкурим вас!» — «В добрый час!» Они хотят высадить его дверь. Это им не так-то легко сделать. Дверь у него крепкая и горячая. Трах. Трах. Трах. Удары все тяжелее. Они слышны уже в кабинете. Его дверь обита железом. А если железо разъест ржавчина? Вечного металла нет. Трах! Трах! Это свиньи стоят перед дверью и таранят ее угловатыми животами. Дерево, конечно, треснет. Оно ведь такое старое на вид. Они прорывают оборону противника. Оборудовать позицию! Раз, два — трах! Раз, два — трах! Трезвон. В одиннадцать звонят колокола. Терезианум. Горб. Уйдут несолено хлебавши. Разве я не прав — раз, два! Разве я не прав — раз, два!

Книги валяются с полок на пол. Он тихонько, чтобы не было слышно за входной дверью, подхватывает их своими длинными руками и переносит, стопку за стопкой, в переднюю. Он высоко взгромождает их возле железной двери. И в то же время как мозг его еще разрывает грохот, он строит из книг мощное укрепление. Передняя заполняется томами и томами. Он приносит на помощь себе лесенку. Вскоре он добирается до потолка. Он возвращается в свою комнату. Полки зияют. Перед письменным столом полыхает ковер. Он идет в клетушку при кухне и вытаскивает оттуда все старые газеты. Он разнимает и мнет их, комкает и бросает во все углы. Он ставит лесенку на середину комнаты, где она стояла прежде. Он взбирается на шестую ступеньку, следит за огнем и ждет. Когда пламя наконец достигает его, он смеется так громко, как не смеялся никогда в жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Затонский. Автор «Ослепления» Элиас Канетти 5

ОСЛЕПЛЕНИЕ

Перевод С. Анта

Часть первая. ГОЛОВА БЕЗ МИРА	27
Часть вторая. БЕЗГОЛОВЫЙ МИР	185
Часть третья. МИР В ГОЛОВЕ	395

Элиас Канетти

ОСЛЕПЛЕНИЕ

Редактор Е. МАРКОВИЧ

Художественный редактор Л. КАЛИТОВСКАЯ

Технический редактор Л. ВИТУШКИНА

Корректор Н. УСОЛЬЦЕВА

ИБ № 4567

Сдано в набор 21.12.87. Подписано к печати 06.06.88. Формат 84x108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отг. 26,46. Уч.-изд. л. 29,82. Тираж 100 000 экз. Изд. № VI-2307. Заказ № 2108.
Цена 3 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
«Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 113054, Москва, Валуевая, 28

Элиас Канетти
ОСЛЕПЛЕНИЕ

